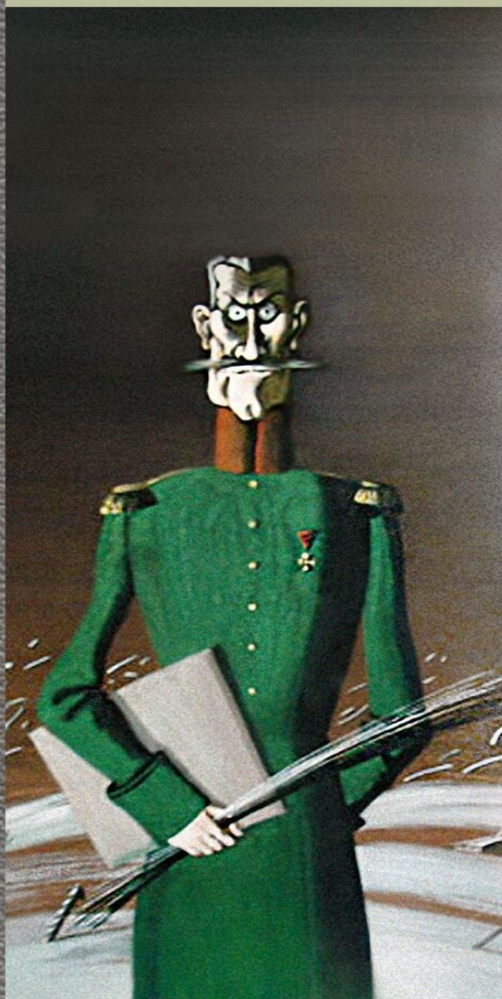


# САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)



Сергей  
Дмитренко



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Этот писатель известен всем, его произведения давно входят в школьную программу, однако его биография известна немногим. Его настоящее имя – Михаил Евграфович Салтыков – и псевдоним «Н. Щедрин» прочно соединились в фамилию «Салтыков-Щедрин», которой он никогда не пользовался. В советское время его считали революционером, обличителем «язв самодержавия», хотя он был сторонником реформ и царским чиновником, дослужившимся до вице-губернатора. Книга историка литературы Сергея Дмитренко с небывалой прежде объективностью и полнотой описывает творческую и личную жизнь Салтыкова (Щедрина) – человека удивительного таланта и громадного трудолюбия, имевшего много друзей и ещё больше врагов, искренне любившего свою страну и верившего в её будущее.

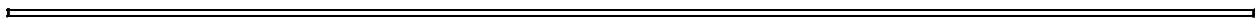
---

- [Сергей Дмитренко](#)
  - 
  - [От автора](#)
  - [Часть первая. Пушкин тринадцатого выпуска \(1826–1848\)](#)
    - 
    - [Спас-Угол](#)
    - [Из института в лицей](#)
    - [Запутанное дело](#)
  - [Часть вторая. Вятская служба \(1848–1855\)](#)
    - 
    - [Встреча с распростёртыми объятиями](#)
    - [При исполнении особых поручений](#)
    - [Кабинет в тарантасе](#)
    - [Под покровом тихой ночи](#)
  - [Часть третья. Женитьба Салтыкова и рождение Щедрина \(1856\)](#)
    - 
    - [В разгар мечтаний матримониальных](#)
    - [Тернии невесты, розы жениха](#)
  - [Часть четвёртая. Служить как писать \(1857–1868\)](#)
    - 
    - [«Была бы страсть в пере»](#)
    - [Перо вице-губернатора](#)



- [Поселиться в Твери](#)
  - [«Русская правда» и современники](#)
  - [В стране волшебств](#)
  - [Два медведя в тульской берлоге](#)
  - [Рязанские страдания – 2](#)
- [Часть пятая. Действительный статский советник в непокое \(1868–1884\)](#)
  - 
  - [Горький хлеб журнальной подёнщины](#)
  - [Салтыковы и Головлёвы](#)
  - [Отец семейства](#)
  - [Литература в мире, увиденном Салтыковым](#)
  - [Мир, показанный Щедриным](#)
  - [Третье предостережение](#)
- [Часть шестая. Житие Михаила Салтыкова, русского писателя \(1884–1889\)](#)
  - 
  - [Недоконченные беседы](#)
  - [Сказки между делом](#)
  - [Пошехонье надо любить](#)
- [Основные даты жизни и творчества М. Е. Салтыкова \(Щедрина\) \[47\]](#)
- [Краткая библиография](#)
  - [Основные издания сочинений М. Е. Салтыкова](#)
  - [Воспоминания и биографические работы](#)
  - [Материалы и исследования](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)



# **Сергей Дмитренко Салтыков (Щедрин)**

© Дмитренко С. Ф., 2022

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление,  
2022

## От автора

Москва. Кремль. К его северо-западной стене во времена князя Дмитрия Донского подступали поля с небольшим лесом посередине, отчего место стали называть Остров. Полтора века спустя сюда от грузной Кутафьей башни уже тянулась улица: поначалу именно она называлась Арбат (по-арабски *арбад* – «пригороды»: городом был Кремль, а здесь селились купцы из жарких стран – совсем и не дремотная Азия издавна стремилась в Белокаменную). Потом улица называлась Смоленской, а в XVIII веке её стали величать Воздвиженкой – при Иване Грозном основали в начале улицы по левую руку монастырь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, что на Острове, в обиходе – Крестовоздвиженский. Но в 1812 году вторгшиеся в Москву наполеоновские вояки монастырь разграбили-осквернили, и он был упразднён.

Так монастырский соборный храм эпохи Петра Великого стал храмом приходским, Крестовоздвиженской церковью. Сама по себе живописная, в стиле украинского барокко, ярусная церковь к 1849 году обрела и шестиярусную колокольню, построенную по проекту архитектора Петра Буренина. Такая архитектура особым образом знаменовала устремлённость ввысь всего сооружения. Стоящий на пути в Кремль храм с высокой колокольней, осеняя окрестные дома, словно перекликался-перезванивался с колокольней Ивана Великого.

В Крестовоздвиженской церкви 6 июня 1856<sup>[1]</sup> года венчались Михаил Евграфович Салтыков и дочь владимирского вице-губернатора, юная Елизавета Аполлоновна Болтина, рабы Божии Михаил и Елизавета. К сожалению, самого Крестовоздвиженского церковного ансамбля, располагавшегося близ нынешнего дома 7 на Воздвиженке, давно нет – он беспечально снесён в 1934 году при прокладывании линии метро. Потом и Крестовоздвиженский переулок на сорок лет переименовали: до 1994 года он был переулком Янышева – чем славен этот комиссар-чекист, сгинувший в огне Гражданской войны? Сохранялись, правда, ворота монастыря, но их тоже уничтожили при строительстве здесь подземного перехода в 1979 году. Экскаватор, вгрызаясь в землю, разбил древние фундаменты, ковш стал тащить из земли человеческие останки – попали на монастырское кладбище... «Культурный слой!» – заволновались бы археологи, да только кто их сюда приглашал? В самосвал этот слой – и на вывоз. Переход

построили, действует он и поныне.

Вздыхнув, воспользуемся этим чересчур дорогим тоннелем и перейдём на чётную сторону Воздвиженки, двинемся по ней вверх до пересечения с Моховой, затем повернём по Моховой налево – и так выйдем к ограде университета, об учёбе в котором Салтыков мечтал.

Свернём с Моховой на Никитскую, оставив по правую руку любимый студентами трактир «Британия» напротив Манежа... то есть экзерциргауза, так он в салтыковские времена назывался. Воображение разыгрывается, но только представляем, ничего не придумываем – здесь трактир и стоял, прямо напротив нынешнего входа в Манеж. Не очень-то приглядный домишко, но всем в Москве известный. Беседы об искусстве и эстетические споры в застолье, между пуншами и глинтвейнами – эта *атмосфера студенчества* вспоминалась Салтыкову до конца дней.

Теперь с Большой Никитской улицы направо к Тверской, в Никитский переулок, а здесь окажемся не перед Центральным телеграфом, а у стоявшего прежде на его месте массивного квадратного здания-каре с внутренним двором и садом. Это Дворянский институт. В нём подросток Салтыков провёл почти два года, а затем, в 1838 году как «отличнейший по поведению и по успехам в науках» (но против его воли) был отправлен в Императорский Царскосельский лицей...

Обогнув Дворянский институт, пройдем по Газетному переулку назад, на Никитскую, а потом наискосок по переулку Большому Кисловскому. Здесь, на антресолях двухэтажного каменного, под белой краской дома помещалась редакция журнала «Русский вестник», где в августе того же 1856 года началось печатание «Губернских очерков» никому ещё не известного Щедрина. Книга сразу нашла тысячи читателей и открыла автору дорогу в литературу. Один из друзей, вспоминая Салтыкова той поры, сравнивал его с «чудесным кровным скакуном, который в крови и пене всегда приходил первым к цели и так восхищал всех».

Ещё вперёд, и Кисловка выводит нас на уже знакомую Воздвиженку, к нашей церкви, подле которой, представим, стоит то ли в раздумье, то ли в приятном волнении новоиспечённого супруга тридцатилетний худощавый брюнет, довольно высокий, в летнем пальто по моде того же самого, многорадостного для Салтыкова года, о котором он на склоне лет в очерке «Счастливец» скажет: «Хорошее это было время, гульливое, весёлое...»

На склоне лет, в частном письме – обращённом, впрочем, к собрату-литератору, Салтыков обронил: «Ежели будет моя правдивая биография, то она может быть любопытна» (Письмо А. М. Жемчужникову. 25 января 1882 года<sup>[2]</sup>).

Но что значит это – *правдивая биография*?

Кто может стать её состоятельным оценщиком, кроме самого главного героя?

Кажется, круг замыкается. Но Салтыков подсовывает предполагаемому биографу искусительный, казалось бы, выход. «Следить за личностью автора по его произведениям дело очень интересное и поучительное» – эту цитату, взятую из его рецензии, доводилось в качестве оправдания встречать в трудах, где сочинения Салтыкова «довольно широко» использовались «с целью извлечения из них автобиографического материала».

Однако мы в эту ловушку не полезем – ни ради поиска «внешнежитийных» подробностей, ни ради схождения «мировоззренческих и публицистических». Разумеется, статьи и рецензии Салтыкова, относящиеся не к беллетризованной части его наследия, дают немало фактов для размышлений и сопоставлений и пройти мимо них нам не придёт в голову. Но читать, например, «Пошехонскую старину» как автобиографическую книгу столь же нелепо, сколь высматривать в чертах Кругогорска из «Губернских очерков» силуэты реальной Вятки.

Мне повезло: когда я входил в круг серьёзного чтения, стало издаваться собрание сочинений Салтыкова-Щедрина в двадцати томах. Так что я вначале прочёл «Губернские очерки», «Историю одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Дневник провинциала в Петербурге» в этом доньше лучшем издании классика (сейчас оно удобно выложено и в Сети: <http://rvb.ru/saltykov-shchedrin/toc.htm>) и только потом стал разбираться с биографией и комментариями.

Но сразу хотелось пробиться к жизни Салтыкова сквозь идеологический треск и превратные толкования скрупулёзно собранных исторических фактов. Пробиваюсь до сих пор, и нижеследующее – итог моих попыток понять жизнь Михаила Евграфовича Салтыкова, подписавшего большинство своих произведений псевдонимом «Н. Щедрин».

Спасибо Владиславу Ходасевичу, который в предисловии к своему «Державину» обосновал главную цель авторов биографических повестей: *по-новому рассказать о писателе и попытаться приблизить к сознанию современного читателя его образ, порой забытый, часто затемнённый*



*широко распространёнными, но неверными представлениями.*

И последнее: эта биографическая повесть по праву должна быть посвящена всем советским щедриноведам – архивистам, текстологам, историкам литературы, краеоведам во главе с Сергеем Александровичем Макашиным. Их разыскания я беззастенчиво изучал и сопоставлял, а также благодарно использовал. Список литературы дан в заключение книги.

## **Часть первая. Пушкин тринадцатого выпуска (1826–1848)**

*Каждому человеку дороги самые первые его воспоминания о жизни. Им придаётся особое значение, в них видят черты знамений и пророчеств. Подавно особое внимание вызывают воспоминания о младенчестве выдающихся людей. И Салтыков вроде бы своих поклонников не разочаровал.*

*Вскоре после кончины Михаила Евграфовича его сотрудник по журналу «Отечественные записки», литератор по профессии, социал-радикал по образу мысли и действий Сергей Кривенко выпустил первую биографию писателя, где щедро делился впечатлениями о своём общении с классиком.*

*«Однажды мы заговорили с ним о памяти, – повествует Кривенко, – с какого возраста человек начинает помнить себя и окружающее, и он мне сказал: “А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут, кто именно, не помню; но секут как следует, розгою, а немка – гувернантка старших моих братьев и сестёр – заступается за меня, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком ещё мал для этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше”».*

*Правда, в наследии самого Салтыкова собственноручных его подтверждений этому замечательному свидетельству обнаружить не удалось. Но камертон был задан.*

*Например, как ни объяснял писатель, что в его закатной книге «Пошехонская старина» «автобиографического элемента... очень мало», его столь же мало слушали, выводя именно из «Пошехонской старины» историю детства сатирика и особое его мировидение. Так, в первой салтыковской биографии советского времени соответствующая глава называется «Пошехонское детство» и начинается словами: «Страшно было детство Щедрина...» Впрочем, трогательное, но отнюдь не благое слияние живого писателя с его литературным доверенным лицом – вообще характерная черта трудов многих пишущих о Салтыкове-Щедрине.*

*Поэтому, чтобы удержаться на поле реальности, мы отложим пока что прекрасные щедринские книги и отправимся на родину Салтыкова.*

## Спас-Угол

Сейчас это север Московской области, Талдомский район, но так стало только в XX веке. Во времена Салтыкова его родное село Спас-Угол относилось к Тверской губернии и пребывало в самом углу Калязинского уезда, откуда и пошло название. В автобиографических заметках Салтыков назвал своих родителей «довольно богатыми местными помещиками», добавив: «Род мой старинный, но историей его я никогда не занимался».

Здесь заметим: ко времени появления Салтыкова на свет в русском национальном сознании уже прочно угнездился образ чудовищной Салтычихи. Эта помещица-садистка стала олицетворением произвола и всех мерзостей крепостничества. При этом Салтыковой Дарья Николаевна Иванова (1730–1801) стала только в недолгом замужестве (рано овдовела), а впоследствии по решению суда её было запрещено именовать как Салтыковой, так и Ивановой – впрочем, для народной молвы любые юридические решения не указ. Муж Салтыковой принадлежал к старобоярской, княжеско-графской ветви обширного салтыковского рода, а Михаил Евграфович – к менее именитой, известной с 1560-х годов, причём под фамилией *Сатыковых*.

Решительно изменил историческую судьбу семьи Тимофей Иванов сын Сатыков по прозвищу Курган. Он, как установил главный щедриновед XX века Сергей Александрович Макашин, отличился в русско-польской войне начала XVII столетия и позднее был записан в число «дворян и детей боярских», а также «верстан» поместьем и денежным окладами. Но главное, что Сатыков ничтоже сумняшеся смог переделать свою фамилию на *Салтыков*, тем самым приписав себе принадлежность к упомянутому знатному роду. Не без сложностей она всё же перешла к его потомкам, среди которых был и Михаил Евграфович.

Вероятно, талдомские земли оказались во владении ещё Сатыковых и постепенно стали наследственной собственностью, вотчиной уже Салтыковых. Вотчина получила своё имя по сооружённой здесь, по некоторым данным, ещё в XVI веке первоначально деревянной церкви Спаса Преображения Господня. Она сгорела в конце XVIII века, после чего по велению бабушки писателя Надежды Ивановны на её месте возвели каменную. Затем в преобразование храма вложил силы Евграф Васильевич, отец: появились трапезная и колокольня. Спасская церковь сохранилась доныне, хотя при коммунистическом правлении её на полвека закрывали и

разрушили ограду с двумя воротами и часовню. К счастью, кладбище, где упокоены многие Салтыковы, всё же уцелело. Здание церкви в стиле стандартного классицизма, впрочем, оживлённого некоторыми мотивами барокко, поставлено продуманно, на взгорке, а трёхъярусная, увенчанная шпилем, с парными колоннами колокольня, оказавшаяся сегодня у самой автотрассы, вызывает у проезжающих и приезжающих бодрящие чувства, тем более после проведённого обновления её побелки и покраски.

В трапезной церкви к 160-летию Салтыкова открыли небольшую памятную экспозицию, а с 1990-х годов в церкви вновь идут службы. Сама салтыковская усадьба в Спас-Угле, расположенная, по сегодняшней топографии, напротив храма, через дорогу, выглядит заброшенным парком, в котором вольготно чувствуют себя бобры и прочая живность. Дом, где родился писатель, сгорел (или, скорее, был сожжён) в пожарах Гражданской войны. В 1976 году Советом министров тогдашней РСФСР было отдано распоряжение местным властям «восстановить историко-мемориальную усадьбу писателя в селе Спас-Угол», но до перестройки дело так и не сдвинулось, а потом стране стало не до мемориального Щедрина.

Но у нас есть возможность дать волю своему воображению, вдохновлённому фактами, и представить, что происходило здесь, в Спас-Угле, в январе 1826 года.

\*

Михаил Евграфович Салтыков родился 15 (27) января 1826 года. Минул всего через месяц после произошедшей в Петербурге и аукнувшейся в Киевской губернии попытки государственного переворота, в точном значении слова – путча. Его называли *мятежом* (князь Пётр Вяземский), *заговором возмутителей 14 декабря* (Пушкин), а советские историографы – *восстанием декабристов*. Но все позднейшие оценки нам сейчас не интересны. Важно, как происшедшие события воспринимались их современниками. Пушкин, стремясь вырваться из михайловской ссылки, писал Жуковскому как раз во второй половине января 1826 года: «Кто же кроме правительства и полиции не знал о нём [заговоре]? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности». В письме 7 марта он не менее красноречив: «Какой бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и

необходимости». Признание это адресовано Жуковскому, но Пушкину ли не знать, что его письма не зашторены от чужих глаз?! При этом мы можем предположить, что слова Пушкина передают отношение многих к мятежу и к мятежникам.

Вполне возможно, что сходным образом развивались мысли и у Евграфа Васильевича Салтыкова, отставного коллежского советника (то есть полковника), томившегося в Спас-Угле в ожидании очередных родов жены. Далёкий от веселья оборот эти мысли имели хотя бы потому, что в декабре у них во младенчестве, не дожив и до года, скончалась дочь Софья. Эта смерть была тем более печальной, что доселе его и Ольги Михайловны дети – Надежда, Дмитрий, Николай, Вера, Любовь – рождались и росли без особых тревог. Поскольку рожать Надежду, Дмитрия и Николая жена выезжала в Москву, в семью отца, постольку и теперь, для верности, надо было бы туда отправиться, но вот, поди ж ты, не сложилось (вероятнее всего, из-за смерти малышки), а теперь поздно, ведь без малого полтора года вёрст, по зимним-то дорогам – что по тракту Угличскому, через Троице-Сергиев, что по старому Кашинско-Дмитровскому тракту, мимо Талдома через Вотрю, всё одно – двое суток...

Не тешил Евграфа Васильевича и его возраст. В наступившем году ему исполнилось пятьдесят – притом что старшей дочери, Надежде, было всего восемь. Сам-то он остался без отца в десять лет. Жена, конечно, у него хозяйка такая, что вся округа дивится, но дети совсем малы...

От размышлений о судьбе наследников сидевший среди спасских снегов и в крещенских морозах Евграф Васильевич, надо полагать, переходил к тревожным догадкам о том, что же всё-таки произошло в столице. То, что он знал о военном *возмущении*, – бесспорно. Бездетный император Александр Павлович, младше Евграфа Васильевича на год с небольшим, умер в ноябре, и наследником престола был объявлен его младший брат, Константин Павлович. С 27 ноября в Петербурге и в Москве армия, чиновники, члены Государственного совета приносили присягу на верность новому императору и самодержцу всероссийскому. Хоть и не было в те времена интернета, телефона и даже телеграфа, курьерская служба действовала исправно, Спас-Угол, несмотря на своё название, медвежьим углом не был, а Святки и новогодье распространению новостей, да ещё таких, только способствовали.

Конечно, Евграф Васильевич не знал, что Константин отрёкся от престола, не знал и о манифесте 16 августа 1823 года, согласно которому наследником престола объявлялся следующий брат, Николай – да ведь и сам Николай узнал об этом манифесте только после смерти Александра



Павловича. Но даже узнав, не решился выполнить распоряжение покойного императора – и присягнул Константину. Но живший в Варшаве Константин стоял на своём и дважды заявил об отречении...

Впрочем, как раз эти придворные страсти едва ли произвели на Евграфа Васильевича особое впечатление. Дело в том, что его отец, поручик лейб-гвардии Семёновского полка Василий Богданович Салтыков, в солидном тридцатипятилетнем возрасте в 1762 году участвовал в дворцовом перевороте – и участвовал успешно. Ставшая императрицей Екатерина Вторая среди прочих вознаградила и его. Недолго думая, лейб-гвардии капитан-поручик Салтыков вышел в отставку, а также нашёл себе молодую невесту из купеческого рода Надежду Нечаеву, девушку не только с образованием, но и с сильным характером. И семья сложилась, лишь с сыновьями родителям не везло, Евграф был единственно выжившим из трёх, правда, ещё шестеро сестёр рядом...

Хорошо помнил Евграф Васильевич и годы правления императора Павла. Умная, дальновидная Надежда Ивановна серьёзно подготовила его к государственной службе по дипломатической части. На семнадцатом году жизни записала сына сержантом лейб-гвардии Преображенского полка, но главное, на свои средства дала ему серьёзное образование. Учителя приглашались не только из столиц, а также иностранные. Он прошёл курсы математики, географии, истории, изучал тактику, фортификацию и артиллерийское дело. Знал немецкий, французский, английский язык, затем выучил и голландский. Однако 1 января 1797 года только что обретший трон Павел безо всякой причины исключил Евграфа Салтыкова из военной службы, что ввергло того в тяжёлую тоску. Даже удачно выпавшая московская встреча с императором в пору Троицы 1798 года в итоге ничего в его судьбе не сдвинула.

Так что переворот 1801 года Евграф Васильевич, вне сомнений, встретил с воодушевлением, ибо вскоре подал императору Александру Павловичу прошение о пожаловании ему офицерского чина и уехал из Спас-Угла в Петербург. Здесь он даже ухитрился угодить в круг ордена мальтийских рыцарей, стать «юстицким кавалером великого приорства Российского» и получить кавалерский крест державного ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Однако эти громкие титулы и отличия никаких доходов не приносили. Тогда Евграф Васильевич погрузился в иностранные труды и на основании извлечений из них подготовил внушительный трёхтомник – «Полный курс всей военной архитектуры, или легчайший способ изучиться инженерному искусству, собранный из лучших иностранных авторов и на российский язык переведённый с

прибавлением кавалером Евграфом Салтыковым». Книга была посвящена государю и поднесена ему в надежде получить какое-нибудь учёное место в императорской свите. Однако выпал ему лишь чин переводчика в Государственной коллегии иностранных дел, причём поначалу даже «без получения жалованья», да и потом жалованье было не по столичным тратам.

Волей-неволей пришлось переводиться в Московский архив той же коллегии, входившей теперь в новое Министерство иностранных дел, и уже здесь 11 лет, до 1816 года, тянуть служебную лямку, впрочем, перемежающуюся книжно-переводческими занятиями и продолжительными отъездами в имение. Следует заметить, что в Спасском шла жизнь, которая не сводилась к сельскохозяйственным или матримониальным заботам. Так, Евграф Васильевич создал герб своего рода с генеалогическим «древом Салтыковых» – как впоследствии выяснили учёные, во многом легендарным, но, судя по всему, поддержанным матерью, Надеждой Ивановной. Зато она, да, пожалуй, и её дочери, как видно, не печалились по поводу холостого состояния Евграфа Васильевича и не стремились помочь ему определить семейную участь. Сам он задумался над сим предметом лишь после кончины маменьки в 1813 году и обретения наследства.

Как отмечено выше, Надежда Ивановна была дамой образованной, начавшей вести историю семьи в книжках «Месяцесловов», неуклонно следившей за книжными новинками. Незадолго до кончины она просила сына прислать ей труд французского историка, королевского историографа Шарля Пино-Дюкло «Considrations sur les mœurs de ce sicle». Он вышел в Петербурге в русском переводе под заглавием «Рассуждения о нравах сего века». Скорее всего, книга сохранилась в библиотеке бабушки и едва ли была оставлена без внимания её внуком. Во всяком случае, у Михаила Евграфовича не раз встречаются рассуждения о нравах его века, разумеется, в соответствующем стиле обработанные. Однажды он, представляя свои сочинения, обозначенные как *сатиры в прозе*, даже просил читателей: «Примите меня благосклонно и не думайте, что я домогаюсь чести быть вашим учителем! Я только заношу, что между вами происходит, я описываю ваши нравы и обычаи, ваши горести и увеселения, ваши досуги и сновидения...»

Проблема этих самых *нравов* как существеннейшего начала человеческого развития волновала и многочитающего, многознающего Евграфа Васильевича. Политика нового императора довольно скоро стала вызывать его недовольство. Ещё в 1807 году, когда Александр поддержал

континентальную блокаду Англии, устроенную Наполеоном, Салтыков, не подозревая, что ему суждено стать отцом величайшего сатирика, пишет обличительное стихотворение «Плач здешних жителей», где раскрывает козни *внутренних врагов*, воспользовавшихся затруднениями в товарообороте:

Враги же в свете есть бесстыдные плутцы,  
Грабители людей, бесчестные купцы.  
На сахар цену вновь и тотчас наложили,  
Полтину стоит фунт, – рублём уж обложили!

Указав властям на необходимость ограничить аппетиты *мерзких плутов*, Евграф Васильевич, впрочем, не надеется на них и потому призывает другую силу покарать барышников, готовых ради выгоды дойти и до христопродавства:

Священные отцы! вы милость нам явите  
И лихоимцев всех в соборе прокляните.

Любопытно, что в литературно беспомощных версификациях отца явственно просматривается та оппозиция, которая впоследствии предопределит общий пафос гениальных творений сына: стиль Щедрина отличается удивительное сочетание фантазмагорий, изображающих несовершенное земное мироустройство, с упрямо повторяющимися лирическими высказываниями, основанными на поистине религиозной вере в существование Идеала, который и есть высшая справедливость.

Также забавно заметить, что обличитель *бесчестных купцов* Евграф Васильевич и сам принадлежал по матери к купеческому сословию и невесту себе нашёл среди московских купеческих дочек. Ольга была дочерью откупщика (то есть купца, приобретшего право на вино-или солоторговлю) Михаила Петровича Забелина, а будущий тесть был всего одиннадцатью годами старше искателя руки его дочери. Нам ничего не известно о том, как пережил Евграф Васильевич наполеоновское нашествие и пожар Москвы, а состоятельный, вероятно, виноторговец, купец первой гильдии Михаил Петрович, если воспринимать вслед за щедриноведами известный фрагмент из «Пошехонской старины» как исторический источник, как раз в 1812 году сделал значительное

пожертвование на армию и за это был награждён чином коллежского асессора (майора) и так получил право на потомственное дворянство.

Если же держаться документов, то мы не можем не отметить, что приданое, полученное Евграфом Васильевичем за пятнадцатилетней, недавно оставшейся без матери невестой, оказалось намного меньше, чем он рассчитывал, но всё же его хватило на то, чтобы поправить его ветшающую вотчину. Да и жена ему досталась хозяйственная и рьяно взялась за дела. Зато супруг в карьере не преуспел. Вышедший накануне женитьбы в отставку, Евграф Васильевич через несколько лет вновь попытался вернуться на службу. Он надеялся получить почётное придворное звание камергера, которое не приносило каких-то имущественных благ, но уравнивало с особами генеральских чинов, приближало ко двору. Тщетно! Потерпев неудачу, он окончательно погрузился в усадебную жизнь.

\*

Щедринovedы нескольких поколений, порой с поистине детской наивностью, соединяли в своих работах многодневными усилиями добытые документированные факты с художественными пассажами из книг Салтыкова-Щедрина. Не без оснований полагая, что образ его матери, Ольги Михайловны, так или иначе отразился в соответствующих персонажах «Благонамеренных речей», «Господ Головлёвых», «Пошехонской старины» и так далее, они всё же не учитывали той творческой свободы, которой наделён даже писатель средней руки – а Салтыков был литературный гений.

Дочь его вятского знакомого Николая Ионина рассказывала, что отец всегда «возмущался, когда Михаил Евграфович говорил о своих родителях»: он «был чрезвычайно неводержан в словах и выражениях». Сходно писала в своих воспоминаниях и жена младшего брата Салтыкова Ильи: «Не могу простить глумления его над собственной семьёй, а в особенности выставления напоказ родной своей матери». Но если человек может быть субъективен в восприятии своих близких, писатель и подавно не обязан быть *воздержан* в своих художественных фантазиях. Романы и даже хроники не могут быть источником информации. Объективные сведения о родителях Салтыкова мы извлекаем из сохранившегося, пусть и разрозненно, семейного архива, обращаясь к письмам Евграфа Васильевича и Ольги Михайловны, к другим документам.

Определённый интерес представляют и немногочисленные воспоминания. Так, племянница Салтыкова, дочь его младшего брата Ильи, Ольга Зубова, проведшая с бабушкой-тёзкой детство, замечала: «При описаниях краски ведь всегда сгущаются, а тип помещицы Арины Петровны Головлёвой, выведенный Михаилом Евграфовичем, это ведь художественный образ, а вовсе не портрет его матери, хотя при создании этого образа и были использованы коекакие черты, действительно присущие моей бабушке. Насколько мне помнится, сам автор не раз ведь просил и устно, и в печати не считать его произведения за биографические или автобиографические. Была Ольга Михайловна в самом деле барыня-самодурка, крикливая и несдержанная, допускавшая иногда в своих поступках несправедливость и пристрастность, но не жестокая, не злобная и никогда никого не загубившая».

Нет свидетельств о том, получила ли Ольга Михайловна хотя бы начальное систематическое образование. Но её орфографически не очень совершенные письма показывают, что она чувствовала и любила живую речь, имела природный дар рассказчицы, языковой слух – она легко находит точные, незатасканные слова в описаниях событий, лиц, переживаний. Быть может, одолей она вполне грамматику – и этот стихийный разлив кипящей жизни потерял бы и сердечную горячность, и упругую страстность. Можно видеть, что в её характере деловитость сочеталась с живостью ума и разнообразными талантами. Будучи матерью семейства (в итоге родила девяти детей), она, почувствовав необходимость, вместе с детьми стала учить французский язык – и выучила. А своих дочерей отдала в учение систематическое – в Московский Екатерининский институт благородных девиц (он, между прочим, помещался в бывшей загородной усадьбе графа Алексея Салтыкова, из другой, именитой ветви рода; теперь это Суворовская площадь Москвы, а здание занимает Культурный центр Вооружённых сил России). Ольга Михайловна была чутким воспитателем, куда более успешным, чем её витавший в эмпиреях муж.

Когда Евграф Васильевич стал жаловаться уехавшей в Москву рожать жене на неумёху-учителя, Ольга Михайловна ответила коротко и чётко: «Учитель глуп и от глупости не умеет ими управлять... А ты не философствуй, о чистописании хлопочи и тверди ему о науках – вот главное, а у тебя голова пустяками полна».

В другом письме из Москвы мужу, пожаловавшемуся на непослушание и озорство сыновей, она снова проявляет своё педагогическое искусство: «Послушайте, дурные и непокорные дети,



особливо ты, Николай. Вы меня до того раздражали, что я Веру и Любовь отдала на пять лет в институт. А про тебя просила, Николай, Государя, как непокорного и огорчившего сына, за дерзости и непослушание наставникам и разные пороки, куда угодно Государю удалить на вечное удаление от родительского дому и жду на днях предписания, чтоб тебя велел представить. Ежели же ты исправишься и я получу от папеньки и твоих наставников хорошие отзывы, то могу тебя опять просить и спасти от вечного заключения, а не то – прощай навсегда. Я жертвую тобой, как недостойным сыном, для спасения, примерным наказанием тебя, меньших, коим Мише и Сергею, – приказываю себя вести кротко и послушно, иначе то же и с ними будет».

Вместе с тем Ольга Михайловна, сомневаясь в способности мужа руководить учением сыновей, отдаёт соответствующие распоряжения старшему сыну Дмитрию: «Смотри, чтоб дети... учились... Во время класса надзирай и останавливай их... И чтобы не играли всякий день по 2 часа и во время игранья на фортепиано ты будь подле них». Но главное то, что завершает она письмо красноречивым пассажем, написанным, обратим внимание, на отдельном листке. Начертанное здесь говорит очень многое и о личности Ольги Михайловны, и о том, что её воспитательные принципы были не стихийными, а имели убедительную психологическую основу:

«Митя, хоть я и пишу и приказываю тебе быть строже с братьями твоими, позволяю тебе их наказывать, ты то им письмо и покажи, чтобы они тебя слушались и боялись, но о сей записке им не говори, а мой совет таков: старайся их уговаривать ласково, но жестокости не делай, не озлобляй их против себя, помни, что они хотя меньшие, но равные тебе братья, то неприлично тебе жестоко поступать. Наказать в угол или как-нибудь увещевание благородным образом, но отнюдь не бить и подлыми словами не ругаться. И учитель ежели будет их ругать или бить, то ты его останови и скажи, что ты мне напишешь, но ему не позволишь так поступать без моего позволения, ибо я тебе поручила за обращением наставника глядеть и мне сказать и в случае дурного обхождения его остановить. И сам поступай нежнее и благороднее, за что я тобой буду благодарна».

Мы забежали немного вперёд, в 1834 год, когда Ольга Михайловна в Москве рожала последыша, сына Илью. Забежали намеренно, чтобы попытаться всё же увидеть мать писателя без искажающих теней. Нет нужды её приукрашивать, но тем более было бы странным составлять её мозаичный портрет из фрагментов, относящихся к соответствующим щедринским персонажам. И подавно нелепицей стали бы попытки рисовать

в этой биографической книге *пошехонское детство* Михаила Евграфовича. Мы хотим знать, как выглядело детство *салтыковское*.

\*

Ольга Михайловна разрешилась от бремени успешно и уже через день, 17 января 1826 года мальчика крестили в Спасо-Преображенской церкви. Новорождённый оказался наделён даром сочетать буйную творческую фантазию с педантизмом чиновника Министерства финансов и архивиста-историографа. Так что когда в пору работы над «Пошехонской стариной» он готовился праздновать день рождения, то в пригласительной записке одному из своих друзей счёл необходимым сообщить подробности происшедшего: «Принимала бабка повитушка Ульяна Ивановна, калязинская мещанка. Крестил священник села Спас-Угол Иван Яковлев Новоселов; восприемниками были: угличский мещанин Дмитрий Михайлов Курбатов и девица Мария Василиевна Салтыкова. При крещении Курбатов пророчествовал: “Сей младенец будет разгонщик женский”».

Сказанное соответствует церковной метрической книге, но очевидно, что подробности своего рождения Салтыков знал также из родительских писем и семейных хроник, которые в той или иной форме вели и отец и мать. Но в записях Ольги Михайловны отмечено, что при совершении крещения Курбатов сказал несколько иное: новорождённый «будет воин». Едва ли Михаил Евграфович не ощущал себя литературным воином, но тем не менее и в пригласительной записке несколько сместил акценты. Между прочим, в «Пошехонской старине» появляется третий вариант, вновь подтверждающий, что надо воспринимать книгу Щедрина так, как просил Салтыков: «Она просто-напросто свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано с своим, а в то же время дано место и вымыслу». Это плод художественной фантазии, а не простой источник материалов к биографии писателя. Здесь слова восприемника повествователь передаёт так: «Он предсказал и будущую судьбу мою, – что я многих супостатов покорю и буду девичьим разгонником».

Но по-своему любопытно и упоминание «разгонщика женского» в пригласительной записке. Так, скорее всего, самоиронически отразилась ревнивая любовь Михаила Евграфовича к жене, красавице Елизавете Аполлоновне, и притворная строгость к такой же красавице, дочери Лизе. Впрочем, о «разгонщике женском» мы ещё вспомним, когда обратимся к частной жизни молодого Салтыкова и к своеобразному отражению в его

произведениях любовной темы.

А пока мальчик растёт. Ольга Михайловна на него не нарадуется и пишет уехавшему из усадьбы мужу: «Миша так мил, что чудо. Всё говорит и хорошо. Беспреданно со мной бывает и не отходит. Всё утешает меня в разлуке с тобой... Признаюсь, мой друг, я при нём покойнее и веселее, и все его целуют». Эта же говорливость и общительность будущего лидера журнала «Отечественные записки» отмечена и в другом письме Евграфу Васильевичу, относящемся к тому же сентябрю 1827 года: «Миша столько мил, что не могу описать. Вообрази, всё говорит, беспреданно у меня и поутру, как проснётся, то в столовую идёт меня искать, спрашивает: тятя где? маменька, чаю хочу. Идёт в твой кабинет, мы там пиём чай, потом возвращается в мою спальню, где все радости свидания и поцелуи, берёт за руку и ведёт: дай чаю, маменька. Сколько он меня утешает, что при нём немного забываю нашу разлуку».

Тогда же крепостной художник Лев Григорьев пишет первый портрет Салтыкова. В правой руке у младенца, судя по всему, погремушка, но держит он её так, словно это перо или даже скипетр.

На четвёртом году жизни сестра Надя берётся за обучение Миши азбуке, а вскоре гувернантка старших детей мадам де Ламбер начнёт преподавать ему французский язык. Впрочем, занятия эти шли, по разным сведениям, ни шатко ни валко, хотя иностранный язык давался Мише легче, чем родная речь. Только в январе 1832 года он, по его собственному позднему свидетельству, «был посвящён в русскую грамоту»: «Отслужили молебен и призвали крепостного живописца Павла, которому и приказали обучать меня азбуке, чтению и письму. Помню я и азбуку (с картинками: А – Арбуз, Д – Данило и т. д.), и красную указку, и самого Павла, высокого худого старика в зеленовато-желтоватом фризном сюртуке. Учил он меня по-старинному *азами*, и выучил на всю жизнь. Так что и теперь могу проговорить азбуку только по-старинному: аз, буки, веде, а по-новому сбиваюсь... Впрочем, месяца через два я уже связно читал и даже писал по-линейному...»

Успехи во французском языке пришли одновременно: отца с днём рождения Миша поздравил французским стихотворением, подписав его: «*Ecrit par votre trs humble fils Michel Saltykoff. Le 16 Octobre 1832*». Вероятно, это первый автограф писателя. Листок с ним отыскан в бумагах Салтыкова вскоре после его кончины, но наш «весьма скромный автор» задал исследователям задачу. То, что это стихотворение, с соответствующим изменением обстоятельств его представления, попало в «Пошехонскую старину», не вызывает удивления и даже особого интереса.

А вот его авторство не прояснено, и даже Сергей Кривенко, первый биограф Салтыкова и его сотрудник, не имел внятного ответа: то ли Михаил Евграфович «читал и писал по-французски раньше, чем по-русски», то ли «стихотворение было написано от его имени кем-нибудь из старших детей».

Так или иначе, этот эпизод и его толкование современником вновь отводит нас от превратно рисуемых картин жизни Салтыкова в отчем доме. Как видно, детство всех восьмерых детей Салтыковых – и пятерых братьев, и трёх сестёр, бесхитростно носивших излюбленные русские имена Надежда, Вера, Любовь (не забудем об умершей малютке Софье) – протекало не только в играх и забавах, но и в учении.

Особой радостью были поездки в Москву, к арбатскому жителю, дедушке Михаилу Петровичу (точно установлено, что он владел деревянным домом в Большом Афанасьевском переулке, где, вероятно, и скончался в 1840 году). По тогдашнему обыкновению Салтыковы проводили в Москве и некоторые зимы. Верно, из-за того, что дом отца был невелик, Ольга Михайловна, приезжая в Москву с разраставшимся семейством, нередко останавливалась в съёмных квартирах или домах – в арбатских переулках, на Тверском бульваре, Малой Дмитровке, Третьей Мещанской, на постоялом дворе у Сухаревой башни (разрушена в советское время, имя сохранилось в названии станции метро).

Постоянно ездила Ольга Михайловна в Москву и по делам. «Живу совершенно для семейства, для всех вас, домашних, обо всех хлопочу, а мне же спасибо нет» – это её заявление в письме можно прочитать по-разному. Чаще всего оно толковалось как «частнособственнический фетиш семьи». Однако как ни крути, а она чувствовала ответственность за обеспечение восьмерых детей при меланхолическом, мечтательном муже, уже входившем в возраст старости.

Ольга Михайловна внимательно изучила мужнины владения и принялась за преобразования. По площади и количеству душ (275) вотчина, которой владел Евграф Васильевич – то есть село Спасское с деревнями, – даже в пределах Калязинского уезда считалась средней. Но благодаря грамотному устройству хозяйства, очевидно, созданному ещё Надеждой Ивановной, была доходной. Из 3539 десятин земли (*десятина* – это чуть больше гектара) почти половина была отдана крестьянам, причём часть, оставленная за Евграфом Васильевичем, на три четверти была занята лесами. После прихода Ольги Михайловны доходность усадьбы стала неуклонно повышаться, и в 1832 году она, не отрываясь от постоянного деторождения, стала после аукционных торгов в Москве совладелицей села

Заозерье (Заозёры), разумеется, вместе с двумя десятками деревень и с тысячью душ крепостных (напомним, что считали только мужской пол) в Угличском уезде Ярославской губернии.

«Совладелицей» означает то, что она приобрела лишь часть богатого села, бывшего вотчиной князей Волконских и Одоевских, а позже оказавшегося в собственности у нескольких помещиков. Село на юго-западе Ярославской губернии, через которое проходили три большие дороги: угличская, калязинская и ростовская, в течение XIX века крепло и разрасталось, становясь не только торговым, но и ремесленным центром. Заозерье было известно своими кузнецами, мастерами по выделке кос, расходившимися по разным российским ярмаркам, начиная с самой знаменитой – Нижегородской. Ярославщина издавна славна холстами, но и здесь особенно ценилось заозерское полотно, вывозившееся не только в российские столицы, но и за границу. В селе было две церкви – Казанской Божьей Матери на ярмарочной площади и кладбищенская церковь Успения Пресвятой Богородицы.

В высшей степени наделённая чувством реальности Ольга Михайловна мгновенно приспособила обстоятельства новых угодий к своим собирательским целям. Оставив себе сто десятин лесов, около 5700 десятин она передала на хозяйствование крестьянам. Поскольку от Спас-Угла Заозерье было в значительном отдалении (по прямой 50 вёрст, а дорогами, через Троицу-Нерль и Калязин, все 70 выйдёт), Ольга Михайловна поставила почти всех своих крестьян на оброк, освободив их от обременительной для неё самой опеки, – и успешно.

Вероятно, именно Заозерье окончательно укрепило её в собственной жизненной силе, она полюбила это владение, часто бывала здесь, иногда с подрастающим Михаилом. В 1913 году в Угличе вышел любопытный историко-археологический очерк «Летопись села Заозерья», написанный священником Михаилом Миролюбовым «по церковным документам и устным сказаниям». Здесь приводится история о том, как Ольга Михайловна приобрела Заозерье, и приезжая туда, «нередко ходила в гости в дом купцов Ореховых. У них была икона Нерукотворного Спаса, которую Ореховы дорожили как добытою некоторым чудесным способом. Ольга Михайловна как ни придёт в дом Ореховых, так непременно и сядет против этой иконы. Придя однажды в дом и севши по обыкновению на этом месте, против иконы, Салтыкова и говорит: “Алексей Васильевич! я надеюсь, что ты не откажешь сделать для меня то, что я попрошу?” Орехов согласился. А она и говорит: “Подари ты мне эту икону Нерукотворного Спаса”. Всё семейство так и ахнуло. Стали было просить, чтобы она взяла что-то



другое. Куда тут. Давай икону – да и только! Так и пришлось отдать икону, которую она и увезла в свой Спас-Угол».

Надо полагать, Ольга Михайловна прознала, что Орехов рассказывает о чудотворности этой иконы: вскоре после того, как Спас оказался в его доме, он, выходец из крепостных, разбогател – и тоже решила так своеобразно благословиться. Возразить на это нечего: богатство коллежской советницы Салтыковой продолжало приумножаться.

Вслед за далёким Заозерьем Ольга Михайловна присмотрела имение всего в десяти верстах от Спасского – сельцо Ермолино с деревнями (тогда в России сельцом называлось поселение с помещичьей усадьбой и несколькими избами крестьян, обслуживающих своего барина, иногда и с часовней). Ермолинское имение было куплено в 1836 году с явным замыслом стать до поры до времени резиденцией Ольги Михайловны. По её велению здесь вырыли пруд, разбили парк и сад, выстроили большой дом и переименовали сельцо в Салтыково. Поблизости у деревни Станки, через которую протекала речка Хотча, воздвигли каменную церковь. Ольга Михайловна намечала передать преобразённое Ермолино Михаилу после его женитьбы. Но история приняла особый оборот, о котором будет рассказано в своём месте, и в 1859 году братьям Михаилу и Сергею Евграфовичам в совместное владение достались заозерские земли.

Увы, наш герой, в отличие от матушки, эти земли не очень любил. О том, как он в своём имении хозяйствовал, речь впереди, а пока отметим, что впечатления от Заозерья мелкнули уже в первом щедринском шедевре – «Губернских очерках». Здесь появляются большое село Заовражье и речка Уста – Устье в настоящем Заозерье. Поэтическое название «Заозерье» трансформируется под острым пером Салтыкова в довольно угрюмый топоним.

И в закатной «Пошехонской старине» не менее угрюмо звучащее Заболотье имеет своим прототипом, как в один голос твердят щедриноведы, то же Заозерье. И то сказать: близ Заозерья было не только озеро, но и обширное болото. Мирлобов в своей «Летописи...» дал зримое описание здешней местности, представляющей собой широкую болотистую долину, среди которой в версте от села находится небольшое, но довольно глубокое безымянное озеро с размытыми, топкими берегами. От этого озера, в совокупности с Терпенским (Харловским), в 27 десятин, болотом на восточной стороне села, разделяющим Заозерскую местность от Сигорской, вероятно, и возникло название села.

Впрочем, название «Заболотье» могло прийти в «Пошехонскую старину» совсем не как вольная фантазия салтыковского ума при виде

ландшафта полученного наследства. Салтыков с детства знал другое Заболотье – село и окружавшую его топкую торфяную местность, порождённую стоячими водами рек Дубно (Дубна), Кунья и Сулоть (Сулать). Эти Заболотья находились на пути из Спас-Угла в Сергиев Посад, которым Салтыков много раз ездил. Тогда это был Переяславский уезд Владимирской губернии. Так что разрисовывать поля его произведений (да и не только его!) ссылками на предметы и факты из биографической хроники – занятие унылое, а порой и нелепое. Но подавно не следует превращать художественные сочинения писателя в источник исторической фактологии. Пожалуй, лишь однажды можно говорить об особых соотношениях жизненных впечатлений писателя с написанным им.

В абсолютном большинстве случаев на страницы художественных произведений, что называется, с *натуры*, без каких-либо домыслов, преувеличений и фантазий попадают описания природы, мест, краёв, где писатель родился, развивается и живёт. Разумеется, влияет угол зрения, под которым смотрит на мир писатель (в нашем случае нельзя не отметить, что Салтыков, по свидетельствам современников, был близорук), но это отражается лишь в особенностях колорита, цветопередаче, контрасте, не более.

Пейзажи в салтыковских книгах, прежде всего пейзажи российские, встречаются гораздо чаще, чем можно было бы ожидать от сочинений сатирического склада. Более того, к родной природе и даже к родной погоде Салтыков относился с истинно лирическим чувством. Тон был задан признанием ещё в «Губернских очерках»:

«По сторонам тянется тот мелкий лесочек, состоящий из тонкоствольных, ободранных и оплешивевших ёлок, который в простонародье слывет под именем “паршивого”; над леском висит вечно серенькое и вечно тоскливое небо; жидкая и бледная зелень дорожных окраин как будто совсем не растёт, а сменяющая её по временам высокая и густая осока тоже не ласкает, а как-то неприятно режет взор проезжего. По лесу летает и поёт больше птица ворона, издавна живущая в разладе с законами гармонии, а над экипажем толпятся целые тучи комаров, которые до такой степени нестерпимо жужжат в уши, что, кажется, будто и им до смерти надоело жить в этой болотине. И если над всем этим представить себе неблагоприятные туманы, которые, особенно по вечерам, поднимаются от окрестных болот, то картина будет полная и, как видится, непривлекательная.

А тем не менее я люблю её. Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она всё-таки принадлежит мне; она

сроднилась со мной, точно так же как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость, она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошной природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, я всё-таки везде найду милые мне серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моём сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее своё достояние».

В Индию и Бразилию Салтыков так и не попал (правда, последствия катаклизмов 1917 года забросили его внука в Мексику), да и российскую границу впервые пересёк только двадцать лет спустя после того, как написал эти строки – увидел наконец Европу. И всё же он не лукавил.

Работая в пору, когда пространные описания природы стали художественным анахронизмом и даже властелины литературного ландшафта отказывались от них в пользу изображения воздействий лесов и степей на переживания персонажей, Салтыков не пропускал удовольствия взяться за кисть пейзажиста. И как раз в «Пошехонской старине», словно в перекличку с «Губернскими очерками», решил более подробно объяснить свои пристрастия, вновь связав это с дорожными впечатлениями:

«Хотя я до тех пор не выезжал из деревни, но, собственно говоря, жил не в деревне, а в усадьбе, и потому казалось бы, что картина пробуждения деревни, никогда мною не виденная, должна была бы заинтересовать меня. Тем не менее не могу не сознаться, что на первый раз она встретила меня совсем безучастным. Вероятно, это лежит уже в самой природе человека, что сразу овладевают его вниманием и быстро запечатлеваются в памяти только яркие и пёстрые картины. Здесь же всё было серо и одноцветно. Нужно частое повторение подобных серых картин, чтобы подействовать на человека путём, так сказать, духовной ассимиляции. Когда серое небо, серая даль, серая окрестность настолько приглядятся человеку, что он почувствует себя со всех сторон охваченным ими, только тогда они всецело завладеют его мыслью и найдут прочный доступ к его сердцу. Яркие картины потонут в изгибах памяти, серые – сделаются вечно присущими, исполненными живого интереса, достолюбезными. Весь этот процесс ассимиляции я незаметно пережил впоследствии, но повторяю: с первого раза деревня, в её будничном виде, прошла мимо меня, не произведя никакого впечатления».

Да, литературное произведение почти никогда не может быть источником для биографии писателя. Но при этом оно почти всегда остаётся источником, в котором, как в зеркале тихого родника, можно

разглядеть психологическое состояние человека в определённую эпоху и в определённых обстоятельствах. Имение Малиновец в «Пошехонской старине» – это не вотчина Салтыковых Спас-Угол в Калязинском уезде Тверской губернии. Однако переживания в Малиновце перенесены из Спас-Угла:

«Что касается до усадьбы, в которой я родился и почти безвыездно прожил до десятилетнего возраста (называлась она “Малиновец”), то она, не отличаясь ни красотой, ни удобствами, уже представляла некоторые претензии на то и другое...

Думаю, что многие из моих сверстников, вышедших из рядов оседлого дворянства (в отличие от дворянства служебного, кочующего) и видевших описываемые времена, найдут в моём рассказе черты и образы, от которых на них повеет чем-то знакомым. Ибо общий уклад пошехонской дворянской жизни был везде одинаков, и разницу обуславливали лишь некоторые частные особенности, зависевшие от интимных качеств тех или других личностей».

## Из института в лицей

И всё же *интимные качества* со счетов не сбросишь. Документы свидетельствуют, что и мечтательный Евграф Васильевич, и волевая Ольга Михайловна устроили свою семейную жизнь таким образом, что главным нематериальным делом в ней было учение детей, причём без оглядок на так сказать гендерное различие.

Первоначальное образование дети получали в усадьбе, причём как раз Михаил Евграфович биографов запутывает. Несмотря на документальные свидетельства о его ранней грамотности, приведённые выше, в разное время он называл разный возраст, когда обучился грамоте, – то семь, то шесть лет. Также мы знаем, что гувернанткой у детей Салтыковых с января 1832 года была «мамзель Мария Андреевна Мертенс». Поскольку гувернантка Марья Андреевна появляется в «Пошехонской старине», мы, не отождествляя реальную Мертенс и литературный персонаж, всё же можем обратить внимание на психологические особенности портрета последней. Да и вообще образ гувернантки как таковой у Салтыкова получается неласковый, плохо соотносящийся с общегуманистической задачей, поставленной русской литературной критикой русской же литературе – поддерживать сирых и убогих.

Вот как изображаются Салтыковым гувернантки *на лоне крепостного права*: «Припоминается целая свита гувернанток, следовавших одна за другой и с непонятною для нынешнего времени жестокостью сыпавших колотушками направо и налево. Помнится родительское равнодушие. Как во сне проходят передо мной и Каролина Карловна, и Генриетта Карловна, и Марья Андреевна, и француженка Даламберша, которая ничему учить не могла, но пила ерофеич и ездила верхом по-мужски. Все они бесчеловечно дрались, а Марью Андреевну (дочь московского немца-сапожника) даже строгая наша мать называла фурией. Так что во всё время её пребывания у детей постоянно бывали покрыты болячками».

Также среди гувернанток младших детей Салтыковых была Авдотья Петровна Василевская, поступившая в их дом на эту службу после окончания Екатерининского института, где она была товаркой Надежды Салтыковой. Тогда Михаилу шёл девятый год, и сестра с Авдотьей Петровной стали обучать его музыке. Учение детей продолжалось и при поездках в Заозерье – здешний священник отец Иоанн (Иван Васильевич) обучал Михаила латинскому языку по грамматике Кошанского. Был среди

учителей и «студент Троицкой духовной академии Матвей Петрович Салмин, который два года сряду приглашался во время летних вакаций».

В автобиографической записке 1878 года Михаил Евграфович итожит: «Вообще нельзя сказать, чтоб воспитание было блестящее, тем не менее в августе 1836 года, то есть десяти лет, Салтыков был настолько подготовлен, что поступил в шестиклассный, в то время, московский Дворянский институт (только что преобразованный из университетского пансиона), в третий класс, где и пробыл два года, но не по причине неуспеха в науках, а по малолетству».

Давайте разберёмся в подробности, куда попал Салтыков, когда попал и что это ему принесло. В Москве он бывал сизмальства. Она была для него родной уже потому, что оказалась первым большим городом – да ещё каким, первопрестольным! – который он увидел. В те времена Москва тяжело восстанавливалась после опустошительного пожара 1812 года, во время которого выгорели не только центр и окружающие части столицы, но отчасти Пречистенка и даже Немецкая слобода. В Москве осталось чуть больше пятой части из двух с половиной тысяч каменных домов, а деревянные (сгорела треть из шести с половиной тысяч) уцелели только на окраинах. В огне погибли лаборатории, музеи, архивы, библиотеки университета, в том числе единственный известный список «Слова о полку Игореве». Даже через десять лет население Москвы не восполнилось до предпожарного количества – недоставало почти двадцати трёх тысяч человек... Но эта историко-культурная и человеческая катастрофа имела неожиданную сторону, и здесь парадоксальным образом прав полковник Сергей Сергеевич Скалозуб с его знаменитой фразой о Москве: «Пожар способствовал ей много к украшению».

До пожара Москва выглядела как сформировавшийся в течение веков конгломерат городских усадеб – разумеется, с садами, сараями и прочими хозяйственными пристройками. Теперь же повелением императора Александра I предусматривалось «исправление плана Москвы» ради «лучшего устройства и порядка в расположении ея улиц и кварталов». Помимо прочего, рядом с Красной площадью в самом центре Москвы появилась ещё одна просторная площадь – Театральная. Известная московская жительница Елизавета Янькова, урождённая Римская-Корсакова, вспоминала: «Увидев Москву в таком разгроме, я горько заплакала: больно было увидеть, что случилось с этою древнею столицей, и не верилось, что она когда-нибудь и могла застроиться. Но нет худа без добра: после пожара Москва стала гораздо лучше, чем была прежде: улицы стали шире, те, которые были кривы, выпрямились, и дома начали строить

больше всё каменные, в особенности на больших улицах».

Так что в своём мнении Скалозуб был не одинок. Забавно, но его слова, причём отмаркированные *Грибоедов*, даже стали эпиграфом к главе «Улицы» в интересной для нас книге бытописателя Петра Вистенгофа «Очерки московской жизни», вышедшей в 1842 году. Вистенгоф пишет о том, что «с каждым годом наружный вид Москвы украшается быстрою постройкою огромных, красивых домов, принадлежащих казне и частным лицам; тротуары на многих улицах сделаны из асфальта или дикого камня... площади везде чисты и украшены фонтанами». О Тверской, в начале которой располагался Дворянский институт, сказано – «главная московская улица, идущая от Петербургской заставы к Иверским воротам, здесь находятся лучшие гостиницы для приезжающих, магазины, кондитерские лавки, множество красиво отстроенных домов и дом московского военного генерал-губернатора» (всем известное красное здание, принадлежащее сейчас московской мэрии; ныне, правда, оно имеет несколько иное обличье).

В преобразившейся Москве бурлила и умственная жизнь. Колоритный московский деятель Александр Кошелёв вспоминал о том времени: «Летнее и осеннее время мы проводили в деревне, а зимы – в Москве, куда мы приезжали в конце ноября или в начале декабря; я же ежемесячно совершал поездки в деревню. В Москве мы мало ездили в так называемый *grand monde*<sup>[3]</sup> – на балы и вечера; а преимущественно проводили время с добрыми приятелями Киреевскими, Елагиными, Хомяковыми, Свербеевыми, Шевырёвыми, Погодиным, Баратынским и пр. По вечерам постоянно три раза в неделю мы собирались у Елагиных, Свербеевых и у нас; и сверх того довольно часто съезжались у других наших приятелей. Беседы наши были самые оживлённые; тут выказались первые начатки борьбы между нарождавшимся русским направлением и господствовавшим тогда западничеством. Почти единственным представителем первого был Хомяков; ибо и Киреевский, и я, и многие другие ещё принадлежали к последнему. Главными самыми исключительными защитниками западной цивилизации были Грановский, Герцен, Н. Ф. Павлов и Чаадаев. Споры наши продолжались далеко за полночь, и мы расходились по большей части друг другом недовольные; но о разрыве между этими двумя направлениями ещё не было и речи».

Сам год поступления Салтыкова «полным пансионером» в Дворянский институт, 1836-й, был отмечен ещё одним событием, прогремевшим не только в Москве, но и по всей России. В сентябре в отделе «Науки и искусства» 15-й книги московского «журнала современного просвещения»



«Телескоп» появился русский перевод написанной по-французски статьи «Философические письма к госпоже \*\*\*. Письмо первое». Его автором как раз и был названный Кошелёвым Пётр Чаадаев, фамилию которого и мы знаем со школьных времён благодаря хрестоматийному стихотворению Пушкина. Известно и то, что царь Николай I, прочитав это письмо, объявил Петра Яковлевича сумасшедшим. Пострадали и другие: издателя журнала, философа и критика Николая Надеждина император выслал на житьё в Усть-Сысольск (это нынешний Сыктывкар, столица Республики Коми, тыща триста вёрст от Москвы). Цензором журнала был ректор Московского университета – выдающийся лингвист-полиглот и педагог Алексей Васильевич Болдырев, которого в итоге отправили в отставку.

Хотя соседствующий с университетом Дворянский институт, возникший после нескольких преобразований из Московского университетского благородного пансиона, был учреждением организационно независимым, его воспитанники, в большинстве грезившие об университетском студенчестве, так или иначе об этом скандале слышали. Что, разумеется, не позволяет нам фантазировать, как одиннадцатилетний Салтыков бегал по московским знакомцам и по трактирам (в ту пору уважающие себя трактиры выписывали журналы для привлечения серьёзных посетителей, о чём пишет упомянутый Вистенгоф) в поисках крамольного «Телескопа», а потом читал его под одеялом в дортуаре. С трудами Чаадаева он, если придерживаться точных фактов, познакомился в 1860 году, когда критик Николай Чернышевский из наконец приветившего Салтыкова журнала «Современник» подготовил для публикации перевод ещё одного сочинения к тому времени уже покойного Чаадаева – незавершённого трактата «Апология сумасшедшего», своего рода отповеди державному диагнозу. (Западник Чаадаев любил писать по-французски, справедливо полагая, что и в России те, кому это надо, найдут возможности прочесть желаемое на любом языке.)

В предисловии к публикации «Апологии сумасшедшего» (она, разумеется, была запрещена цензурой и в номер не попала) Чернышевский дал значительные отрывки из первого, телескоповского «Философического письма», но главное то, что именно в «Апологии» Салтыков нашёл пассаж, вскоре им использованный. Чаадаев писал (даём в переводе, имевшемся у Чернышевского): «История народа не только ряд фактов, следующих друг за другом, но и ряд идей, вытекающих одна из другой. Факт должен выражаться идеею – идея, принцип должны проходить через события и стремиться к осуществлению. Тогда факт не пропадёт: он озарил умы, он остался запечатлённым в сердцах, и никакая власть в мире не может

изгнать его из них. Эту историю создаёт не историк, а сила вещей. Историк, являясь, находит её уже готовую и рассказывает её; но появись он или нет, она всё равно существует, и каждый член исторической семьи, как бы тёмн и ничтожен он ни был, носит её в глубине своего существа. Вот этой-то истории у нас нет. Надобно нам приучиться обходиться без неё, а не побивать камнями людей, которые первые заметили это».

Как видно, эта мысль приглянулась Салтыкову и запомнилась. Вскоре, ища подступы к своей важнейшей теме взаимоотношений народа и власти, он в очерке «Глухов и глуповцы», так и не опубликованном при его жизни, писал, явно обыгрывая и развивая тезис «истории у нас нет»: «Истории у Глухова нет – факт печальный и тяжело отразившийся на его обитателях, ибо, вследствие его, сии последние имеют вид растерянный и вообще поступают в жизни так, как бы нечто позабыли или где-то потеряли носовой платок». Пожалуй, это единственный чаадаевский парафраз у Салтыкова, которого тоже можно причислить к западникам, правда, очень своеобразным.

Впрочем, наверное, не следует упускать из виду ещё одно схождение двух афористических высказываний тех же самых фигурантов русского исторического процесса. Первое, чаадаевское, дадим в том переводе, который знал Салтыков (часть его, правда, в другой огласовке, широко используется по разным поводам и сегодня): «Больше, нежели кто-нибудь из нас, верьте мне, люблю я своё отечество, горжусь его славой, умею ценить высокие достоинства моего народа; но правда и то, что патриотическое чувство, меня оживляющее, не совершенно одинаково с тем, крики которого разрушили спокойствие моей жизни и снова ринули в океан житейских бедствий мою ладью, разбившуюся у подножия креста. Я не умею любить своё отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я полагаю, что родине можно быть полезным только под условием ясного взгляда на вещи; я думаю, что время слепых привязанностей миновалось».

В странном очерке «Монрепо-усыпальница» (1879) из цикла «Убежище Монрепо», которое один чуткий критик с полным основанием назвал «сатирической элегией», Салтыков, как и Чаадаев, собравший на себя немало обвинений с разных сторон, писал: «Я знаю, есть люди, которые в скромных моих писаниях усматривают не только пагубный индифферентизм, но даже значительную долю злорадства, в смысле патриотизма. По совести объявляю, что это – самая наглая ложь. <...> Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. <...> Хорошо там, а у нас... положим, у нас хоть и не так

хорошо... но, представьте себе, всё-таки выходит, что у нас лучше. Лучше, потому что больней. Это совсем особенная логика, но всё-таки логика, и именно – логика любви. Вот этот-то культ, в основании которого лежит сердечная боль, и есть истинно русский культ. Болит сердце, болит, но и за всем тем всеминутно к источнику своей боли устремляется...»

Несмотря на то, что оба автора отважно используют в своих заявлениях образность, связанную с анатомией, и оба пытаются как-то достойно обойтись с безупречным жупелом патриотизма, всё же нельзя не видеть различия в их судьбах. Чаадаев и при жизни был, и в российской истории остался *басманным философом*, рано замкнувшимся в своём флигеле и не претендовавшим на широкое признание. Напротив, Салтыков даже после закрытия «Отечественных записок» не только не успокоился, но с виртуозностью великого мастера слова отринул конъюнктуру публицистики, завоевав себе в историческом пантеоне России место в самой почётной его части – среди писателей.

И в московский Дворянский институт Салтыков поступал если без возвышенных мечтаний, то с явной уверенностью в том, что судьба ведёт его правильным путём. Его старшие сёстры учились в Екатерининском институте (Вера, правда, не успела закончить, умерев от скоротечной «простудной чахотки» в декабре 1839 года). Окончили московский Дворянский институт братья Дмитрий, Николай и впоследствии Илья. Сергей был выпущен мичманом из петербургского Морского корпуса. Эстафета учения в салтыковской семье, как видно, увлекала и Михаила. Переезд в Москву и начало жизни вне родительского дома он воспринял как новое время в своей судьбе.

Здесь нужно заметить, что как раз в том же 1836 году программа Дворянского института была преобразована. Если прежде воспитанники изучали философию, политическую экономию, политическую историю, теорию изящных искусств и даже «дипломатию», то теперь внимание переносилось на языки – латинский, немецкий, французский (также можно было добровольно изучать древнегреческий язык, но, судя по всему, Салтыкова эта возможность не увлекла). Много времени отводилось математике, изучались, разумеется, Закон Божий и священная история, история как таковая, география, черчение и рисование, преподавались и танцы. Но, главное, здесь уделялось серьёзное внимание изучению предмета, который назывался «русская словесность».

Григорий Данилевский, будущий автор исторических романов, в том числе «Сожженной Москвы» (впоследствии Салтыков не раз будет писать о его сочинениях), учился в Дворянском институте несколькими годами

позже. В своих воспоминаниях об этом времени он отмечает: «Над Дворянским институтом в Москве, как и над родственным ему во многих отношениях, хотя и более молодым по времени открытия, Александровским лицеем в Петербурге, незримо как бы веяло знамя русской литературы...» Действительно, согласно программе воспитанники в третьем классе изучали «переложение из Крылова, более и более отдаляющееся от оригинала, чтение Карамзина с разбором периодов, переводы с иностранных языков, переводы с славянского, переложение из Ломоносова, Кантемира и других старинных писателей, подражания из Карамзина и других новейших писателей, построение правильных риторических периодов».

Кроме того, при изучении иностранных языков воспитанники читали не только «латинских прозаиков: Корнелия Непота, Аврелия Виктора, Евтропия», но и Виктора Гюго с Генрихом Гейне – то есть современных, даже молодых по возрасту писателей. Перевод «из Гейне» – «Рыбачке» – стал одной из первых публикаций Салтыкова, а впоследствии он писал о Гейне в частном письме: «...для меня это сочувственнейший из всех писателей. Я ещё маленький был, как надрывался от злобы и умиления (отметим это характерное сочетание! – С. Д.), читая его». Именно в институте Салтыков, помимо обязательных занятий, увлёкся переводами «для себя» – впрочем, во все времена это было распространённой формой литературного учения.

«Вступавшим под кровлю института ученикам, – продолжает Данилевский, – товарищи прежде всего указывали на золотую доску в его рекреационном зале, где были написаны имена Жуковского, Грибоедова, кн. Шаховского и других знаменитых русских писателей, кончивших здесь курс учения». О мраморных досках с позолоченными буквами в здании института на Тверской надо сказать несколько слов. Здание было выстроено на месте погибшего в пожаре 1812 года, а после его посещения императором Александром Павловичем в 1816 году на особой доске, осенявшей всех входящих сюда, были выбиты его слова: «Истинное просвещение основано на религии и Евангелии».

Здесь уместно заметить, что, несмотря на писания щедриноведов советской эпохи, воспевающие атеизм Салтыкова, его антицерковность и т. п., никаких достоверных свидетельств о таком мировидении автора «Христовой ночи», «Рождественской сказки» и «Сельского священника» у нас нет. Более того, ежели пытаться облечь – как долгое время предлагалось – «Пошехонскую старину» в форму «суда писателя-демократа над крепостническим строем», мы быстро начнём спотыкаться.

Коль автор был преисполнен обличительного пафоса, зачем ему понадобилось оснащать своего главного героя проникновенным признанием о «потрясающем действии» на него Евангелия?

Описанию пережитого посвящены многие строки, их легко найти в книге, здесь же приведём лишь заключительные слова взволнованного монолога Никанора Затрапезного, которого щедриноведы обычно объявляют двойником автора: «Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моём сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, своё, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко поработал меня. При содействии этих новых элементов я приобрёл более или менее твёрдое основание для оценки как собственных действий, так и явлений и поступков, совершавшихся в окружавшей меня среде. Словом сказать, я уже вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком». Никоим образом, при честном отношении к слову, не найти во всём этом монологе сатирических или иронических интонаций – здесь Салтыков, бесспорно, передаёт своё восприятие и Евангелия, и христианской этики, которая, очевидно, для него не просто неоспорима, а жизнотворна.

Обратим внимание ещё на одну подробность. Законоучителем в Дворянском институте с 1834 года был протоиерей Иван Николаевич Рождественский, настоятель уже нам известной Крестовоздвиженской церкви, к которой был приписан институт. Документы и воспоминания свидетельствуют, что это был не только широко образованный человек, но и тонкий психолог, чутко разбиравшийся в мирских делах (консистория отправляла к нему для вразумления, примирения или отрешения супругов, возалкавших развода). Очевидно, у Салтыкова сохранились хорошие воспоминания и о хорошо ему знакомой церкви, и о самом отце Иоанне как духовном наставнике и проповеднике. И хотя в 1856 году Рождественский был уже настоятелем другой церкви, всё же церковь для важнейшего дела его жизни – венчания – Салтыков выбрал родную, институтскую.

Перейдём к другой почётной доске, сохранившейся в институте. Она была посвящена выпускникам пансиона, успешным в учении и прославившимся своими деяниями на благо Отечества. Эта доска сохранялась в Дворянском институте как подтверждение приверженности традициям. Московский университетский благородный пансион окончили не только трагически погибший Грибоедов и ещё здравствовавшие при пансионере Данилевском поэт и переводчик Василий Жуковский и комедиограф, «пылкий» Шаховской. Среди его выпускников были

переводчик «Илиады» Николай Гнедич, поэт и филолог Степан Шевырёв, энциклопедически образованный Владимир Одоевский, знаменитый военачальник Алексей Ермолов, трагический Лермонтов...

Много лет спустя, разбирая книгу с материалами для биографии Лермонтова, Салтыков заметил: «Судя по рассказам близких к Лермонтову людей, можно заключить, что это был человек, увлекавшийся так называемым светским обществом, любивший женщин и довольно бесцеремонно с ними общавшийся, наживший себе злословие множество врагов в той самой среде, над которой он ядовито издевался и с которою, однако ж, не имел решимости покончить, и, наконец, умерший жертвою своей страсти к вымучиванию и мистифицированию людей, которых духовный уровень (так, по крайней мере, можно подумать по наивному тону рассказчиков) был ниже лермонтовского только потому, что они были менее талантливы и не отличались особенно ядовитым остроумием. Одним словом, материалы эти изображают нам Лермонтова-офицера, члена петербургских, московских и кавказских салонов, до которого никому из читателей, собственно, нет дела. Но о том, какой внутренний процесс, при столь обыденной и даже пошловатой обстановке, произвёл Лермонтова-художника – материалы даже не упоминают».

Кажется, здесь Михаил Евграфович нашёл в Михаиле Юрьевиче не только определённые автопортретные черты, но и высказал своим предполагаемым биографам пожелание – разглядеть тот внутренний процесс, который произвёл Салтыкова-художника, но, разумеется, не в безвоздушном и не во вневременном пространстве. Поэтому вернёмся к памятной доске в Дворянском институте. Здесь есть одно имя, сохранение которого вновь подтверждает банальную, но постоянно забываемую или попросту не воспринимаемую истину: наше современное мировосприятие нельзя переносить на отношения, существовавшие в былые времена. На доске незыблемо стояло имя выпускника, выдающегося интеллектуала Николая Ивановича Тургенева. Также он был знаменит как шестой декабрист, приговорённый к смертной казни, но заочно – успел уехать из России (император Николай I заменил казнь вечной каторгой, но и это не выманило умного Тургенева на родину). Тургенев был, во-первых, убеждённым республиканцем, а во-вторых, борцом за отмену крепостного права. Вступив в ещё в 1819 году в «Союз благоденствия», он стал призывать, как ему казалось, новых соратников в своей борьбе: «Освободите немедленно ваших дворовых и в силу закона добейтесь освобождения своих крестьян; благодаря этому не только будет меньше несколькими рабами, но вы покажете и власти, и обществу, что наиболее

уважаемые собственники желают освобождения крепостных. Так разовьётся идея освобождения». Сам он так и поступил: своим дворовым дал вольную, а крестьян для начала перевёл с барщины на оброк.

Но что же соратники? А ничего. Как этим вольтерьянцам без рабов?! Никак! Призыв Тургенева они пропустили мимо ушей. Например, романтизированный многими декабрист Михаил Лунин, владевший тысячью крепостных душ, в том же 1819 году составил завещание, согласно которому его крестьяне после его кончины передавались в полное владение брату Николаю, а тот лишь через несколько лет должен был отпустить их – но без земли и с условием содержать своего благодетеля. Такое не могло прийти в голову иным консерваторам! Так что честный прагматик Николай Тургенев оказался в фантастической компании болтунов и прожектёров и, действительно, по своим талантам был куда опаснее графомана Рылеева, тоталитарного мечтателя Пестеля и даже тупого убийцы Каховского. (При этом, должен заметить в скобках, погибший от пули Каховского генерал Михаил Милорадович успел перед смертью передать просьбу Николаю I – дать вольную всем его крестьянам, и эта просьба была императором выполнена.)

Тот же император, прибывший летом 1826 года в Москву на свою коронацию и уже знавший, что среди бунтовщиков 14 декабря более полусотни выпускников Московского университета и университетского благородного пансиона, не отдал распоряжение внести коррективы в список на почётной доске. Хотя именно после его инспекции пансиона последний был лишён особых прав и преимуществ и подвергся глубокой перестройке, превратившись вначале в гимназию, а затем, с 1833 года, в московский Дворянский институт.

Знал ли об этих околодекабристских коллизиях Салтыков? Скорее всего, что-то знал, а про Николая Тургенева знал подавно. Тем более что тот, оказавшись долгожителем, уже при Александре II не раз приезжал на родину. Но упоминаний о нём в сохранившемся наследии Салтыкова не находится, хотя о нём писали и «Русский архив», и «Вестник Европы», и другие издания, хорошо известные Салтыкову. Если закончить, наконец, перелицовку Салтыкова-Щедрина в фантомного *революционного демократа* или даже в *пламенного революционера*, придётся признать, что и бунтовщики 14 декабря, и даже специфическая деятельность разбуженного ими Герцена интересовали его мало. Хотя, вернувшись из Вятки, Салтыков и в «Полярную звезду» заглядывал, и в «Колокол». Почему бы нет? Собираение разносторонней информации не означает бездумного её использования. Как известно, и император Александр

Николаевич читал издания своего удалившегося за пределы Отечества тёзки...

Но вернёмся от страстей политических на ниву просвещения и вновь обратимся к воспоминаниям Григория Данилевского, свидетельствовавшего о нелёгкости учения в институте. «Несмотря на его осмысленность и отличных преподавателей, из числа учеников, поступивших в институт, кончали курс обыкновенно не более одной трети».

Но это не про Салтыкова. Хотя и оставили его, успешного в науках, по малолетству на второй год, а ещё через год ему пришлось институт покинуть, воспоминания о нём он хранил всю жизнь. Вначале они, художественно преображённые, возникнут в его неиссякаемо актуализирующейся феерии «Господа ташкентцы», а позднее в книге «Недоконченные беседы (Между делом)» – уже как рассуждения о былом, полные подробностей и признаков времени.

Впервые эти рассуждения появились в 1884 году в предпоследнем, перед закрытием, номере журнала «Отечественные записки» и были связаны с появившейся рекламой «гигиенических кушеток» системы Кунца из ясеневоего дерева для «наилучшего сечения» провинившихся детей – явное приготовление для уродения Кафки с его *In der Strafkolonie* («В исправительной колонии»). Саркастически сделав оговорку: «Я всё-таки очень рад, что кушетки эти изобрёл Кунц, а не Иванов», Салтыков вспоминает о телесных наказаниях в Дворянском институте:

«Я не припомню, чтоб лично я много страдал от розги; но свидетелем того, как терпела “средняя часть тела” за действия и поступки, совсем не по её инициативе содеянные, бывал неоднократно. Публичное воспитание я начал в Москве, в специально-дворянском заведении, задача которого состояла преимущественно в подготовке “питомцов славы”. Заведение, впрочем, имело хорошие традиции и пользовалось отличною репутацией. Во главе его почти всегда стояли ежели не отличнейшие педагоги, то люди, обладавшие здравым смыслом и человечностью. В первый год моего пребывания в заведении директором его был старый моряк, С. Я. У. (то есть Семён Яковлевич Унковский; директор московского Дворянского института с 1834 по 1837 год. – С. Д.), о котором, я уверен, ни один из бывших воспитанников не вспомнит иначе, как с уважением и любовью. Об сечении у нас не было слышно, хотя оно несомненно практиковалось, как и везде в то время.

Но, во-первых, практиковалось только в крайних случаях и, во-вторых, келейно, не задаваясь при этом ни теорией устрашения, ни теорией правды



и справедливости, якобы вопиющей об отмщении именно на той части тела, которую г. Кунц именует среднею. Присутствовал ли при этих экзекуциях лично сам директор – не знаю; но уверен, что ежели и присутствовал, то не для того, чтоб кричать: “Шибче-с!”, а для того, чтобы своевременно скомандовать: “Довольно-с!”

Через год старый директор, однако, вынужден был удалиться. На его место был назначен бывший инспектор, добрый человек, но не самостоятельный, а в качестве инспектора явился молодой человек, до тонкости изучивший вопрос о роли, которую должна играть «средняя часть тела» в деле воспитания юношества. Этот молодой человек почему-то вообразил себе, что заведение, отданное ему в жертву, представляет собой авгиевы конюшни, которые ему предстоит вычистить, и, раз задавшись этою мыслью, начертал для её выполнения соответствующую программу...».

Здесь остановимся, ибо представляем читателю не хрестоматию, а биографическую повесть, которая должна споспешествовать самостоятельному чтению выдающихся в своей как сатирической, так и, главным образом, в психологической неувядаемости сочинений Михаила Евграфовича Салтыкова (Щедрина). Так что господа читатели соблаговолят обратиться к соответствующим страницам «Недоконченных бесед», а мы продолжим разглядывать время и место, в котором ныне пребывает наш герой.

Само собой, среди педагогов были не только страстные флагелляторы и, вне сомнений, тайные поклонники своеобразных сочинений маркиза Донасьена Альфонса Франсуа де Сада. Большинство прилежно выполняли свои профессиональные обязанности и, без сомнений, были вдумчивыми педагогами, ибо, сделав успешного ученика Салтыкова второгодником *по малолетству*, они дали ему возможность отличиться на торжественном собрании в Дворянском институте по итогам учебного года.

Мише было предложено прочитать стихотворение патриарха русской литературы и притом действительного тайного советника и орденов кавалера, друга Карамзина и Державина, поэта Ивана Ивановича Дмитриева. Он жил в Москве (скончался в октябре того же года), но на собрании, очевидно, не был и не имел возможности, как Державин Пушкина, благословить Салтыкова на литературное поприще. И то сказать: Михаил читал не своё стихотворение (это было впереди), хотя длинное дмитриевское «Освобождение Москвы», сокращённое для публичного исполнения, начиналось восклицанием:

Примите, древние дубравы, —  
Под тень свою питомца муз!  
Не шумны петь хочу забавы,  
Не сладости цитерских уз, —

а завершалось словами о необходимости утвердиться «в прямой к Отечеству любви».

Словом, всё было хорошо, пока не стало ещё лучше. Как можно было заметить, учебная программа Дворянского института имела серьёзную гуманитарную направленность и открывала его успешным воспитанникам прямую дорогу в расположенный поблизости университет. Но после реформирования из программы этой выпал прагматический сегмент, а именно задача готовить не только поэтов и Любомудров, но и квалифицированных чиновников, дипломатов и офицеров, между прочим, тоже. Поэтому в Царскосельском лицее, который, собственно, и создавался как инкубатор чиновников-интеллектуалов, были открыты вакансии для двоих «во всех отношениях совершенно достойных» воспитанников Дворянского института, которые каждые полтора года после сдачи экзаменов становились лицеистами на казённом содержании.

Получив в феврале 1838 года от министра народного просвещения очередное распоряжение на сей счёт, директор Дворянского института, очевидно, обсудив дело с педагогами, достойных кандидатов в лицеисты легко определил: Михаил Салтыков и его товарищ Иван Павлов. Однако предложение стать лицеистом в пушкинской *alma mater* Салтыкова не вдохновило. Много лет спустя он рассказывал своему врачу и приятелю, что собирался, окончив курс в институте, поступить в университет. Увы! По обыкновению того времени, родители для ухода и наблюдения над своим отпрыском приставили к нему дядьку из крепостных. Звали его Платон и он много лет верно служил Михаилу Евграфовичу. При этом, согласно существовавшим правилам, в институте Платон был введён в состав комнатных сторожей и ему, как и другим сторожам, было назначено небольшое казённое жалованье... Узнав, что барин ехать в лицей не хочет, Платон незамедлительно донёс Ольге Михайловне (ну не Евграфу же Васильевичу!) о складывающейся ситуации, и мать расставила все точки над *i*: после вразумляющей выволочки Миша – вместе с Иваном Павловым и в сопровождении старшего надзирателя Сильвестра Жонио – 30 апреля 1838 года выехал в Царское Село.

Салтыков расставался с городом, который любил, в котором хотел

продолжать учение и, вероятно, мог поселиться. Уже когда близилось завершение его учения в лицее, Евграф Васильевич предался новой мечте о будущем сыновей. «По моему мнению, гораздо лучше и способнее для всех вас служить в Москве, – писал он сыну Дмитрию, – где бы и ты, и Николай, да со временем бы и Мишенька могли быть ближе к нам и для содержания всякое продовольствие получать из нашей деревни, то есть бы в Москве и подолее производство в чины было, так это бы было не столь чувствительно, будучи всегда с своим семейством...»

В год, когда *Мишенька* поступил в Дворянский институт, отсюда за успехи в Царскосельский лицей также был переведён воспитанник Лев Мей, впоследствии известный поэт. У него есть раннее стихотворение «Москва», относящееся примерно к началу 1840-х годов и воспевающее «город-великан»:

Весь из куполов, блистает  
На главе венец златой;  
Ветер с поясом играет,  
С синим поясом – рекой,  
То величья дочь святая,  
То России голова,  
Наша матушка родная,  
Златоглавая Москва!

А Салтыков при всех своих лирических чувствах по отношению к этому городу в середине 1870-х годов именно с Москвой и с московским дворянством связывал стагнационные задержки в развитии реформ императора Александра II. Он задумал посвятить этой проблеме целый цикл и написал очерк «Дети Москвы», где, в частности, нашлось место таким строкам:

«Мой культ к Москве был до того упорен, что устоял даже тогда, когда, ради воспитательных целей (а больше с тайной надеждой на лёгкое получение чина титулярного советника), я должен был, по воле родителей, переселиться в Петербург. И тут продолжала меня преследовать Москва, и всегда находила во мне пламенного и скорого заступника своих стогнов. Я до сих пор не могу забыть споров о том, где больше кондитерских, в Москве или в Петербурге, и тех вопиющих натяжек, которые я должен был делать, чтоб отстоять хотя в этом отношении славу перед выскочкой Петербургом. Я припоминал и о кондитерской Тени на Арбате, и ещё о

какой-то кондитерской у Никитских ворот, и, благодаря тому, что политические мои противники игнорировали большую часть равносильных кондитерских, которыми изобиловали Мещанские, Мастерские, Офицерские и проч., выходил из споров победителем. Этого мало: когда мы, москвичи (а нас было в “заведении” довольно), разъезжались летом на каникулы, то всякий раз, приближаясь к Москве, требовали, чтоб дилижанс остановился на горке, вблизи Всесвятского, затем вылезали из экипажа и целовали землю, воспитавшую столько отставных корнетов, в просторечии именующих себя “питомцами славы”».

Надо заметить, что за этими ироническими фиоритурами все современники, конечно, видели затяжной спор Салтыкова с редактором журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости», москвичом и тёзкой Катковым, с которым он было сдружился, но потом навсегда расплевался. Да только сатирические удары требуют прицельности, и коль целишь в Каткова, надо рушить его идеи, а не Страстной бульвар, где находятся катковские редакции, а тем более не сам город.

Тургенев, которого Салтыков всегда ценил, прочитав «Детей Москвы», вздохнул: «Довольно дешёвое и довольно тяжёлое, часто даже неясное глумление». Хотя в те же годы хвалил Салтыкова за изобразительную мощь и подвигнул на создание «Господ Головлёвых». Впрочем, суждение о «глумлении» было высказано в частном письме и до Салтыкова едва ли дошло.

И главное: все эти литературно-политические коллизии были впереди. Апрельским утром 1838 года Салтыков выехал из родной ему Москвы в почти незнакомый Петербург.

\*

В отечественном культурном сознании Императорский Царскосельский лицей навсегда и неразрывно связан с именем Пушкина. Между тем за долгие годы существования – 1811–1918 – из его стен вышло немало выдающихся деятелей, достигших известности и славы в самых разных сферах человеческой деятельности, хотя образование, даваемое здесь, всегда имело гуманитарно-юридический уклон. Кроме того, важная подробность в связи с вышесказанным: в отличие от Дворянского института, устав лицея запрещал телесные наказания.

О лицее существует огромная литература: как исследовательская, так и вполне популярная, причём переполненная неточностями и

недоговорённостями. Вместе с тем нам повезло в том смысле, что сам Михаил Евграфович не раз высказывался о своём пребывании в лицее, что нельзя не учитывать даже при возможной субъективности его оценок. Успешно сдав экзамены – набрал 75 баллов при необходимых 64, – Салтыков, как и его товарищ Павлов, был зачислен в лицей, где 1 августа 1838 года начались занятия. Здесь был свой счёт выпускам – тому, где учились Салтыков и Павлов, было суждено именоваться тринадцатым (Пушкин был лицеистом первого выпуска, но набирали в лицей не каждый год).

К своему прилежанию и устремлённости учиться Салтыков относился самокритично. Такой увлечённости, как в институте, у него уже не было, хотя «в то время Лицей был ещё полон славой знаменитого воспитанника его, Пушкина, и потому в каждом почти курсе находился воспитанник, который мечтал сделаться наследником великого поэта». Вот и Салтыков – в своих записях о лицейских годах он неизменно сообщает об этом – именно здесь «начал писать». «За страсть свою к стихотворству претерпевал многие гонения», так что должен был укрывать свои стихотворения, «большую частью любовного содержания» в рукава куртки и даже в сапоги, «дабы не подвергнуть их хищничеству господ воспитателей, не имевших большого сочувствия к словесным упражнениям», однако «их и там находили», а также к чтению книг, которые не были определены учебными программами.

При этом, начиная со второго класса, воспитанникам лицея дозволялось «выписывать на свой счёт журналы». Прежде всего выписывались возобновлённые после перерыва «Отечественные записки» и журнал с несколько странным названием, но с богатым содержанием – «Библиотека для чтения», который издавал выдающийся учёный и столь же выдающийся литературный предприниматель Осип Иванович Сенковский. Также внимание лицеистов, в том числе и Салтыкова привлекали петербургский журнал «Revue Etrangere» (так и хочется перевести его название как «Иностранка» – здесь публиковали произведения современных французских писателей, среди которых блистали Бальзак и Жорж Санд), а ещё нечто новое – «Маяк современного просвещения и образованности», журнал, издаваемый генералом-кораблестроителем Степаном Бурачком и явно находящийся в противостоянии к «Revue Etrangere». В его программе говорилось о необходимости «современного просвещения в духе русской народности» и противодействия влиянию просвещения западного, исправлению его и переделки «в духе русской народности». Отметил Салтыков и «журнал словесности, истории и

политики» «Сын Отечества», очень неровный по составу и авторов и публикаций, то прекращавшийся, то вновь возникавший с обновлённой программой. Может быть, наш юный читатель интуитивно чувствовал, что через много лет, в 1857 году, вновь трансформировавшийся еженедельный «Сын Отечества» откроет на своих страницах отдел иллюстраций к его гремевшим по всей России «Губернским очеркам»...

Никакого благолепия, ни интуитивного, ни педагогического не чувствовали к Салтыкову его наставники. В особенности, меланхолически отмечает Михаил Евграфович, его творческие искания преследовал учитель русского языка Гроздов. Эти обстоятельства влияли «на ежемесячные отметки “из поведения”, и Салтыков в течение всего времени пребывания в лицее едва ли получал отметку свыше 9-ти (полный балл был 12), разве только в последние месяцы перед выпуском, когда сплошь всем ставился полный балл, но и тут, вероятно, не долго, потому что в аттестате, выданном Салтыкову, значится: *при довольно хорошем поведении*, что прямо означает, что сложный балл его в поведении, за последние два года, был ниже 8-ми. И всё это началось со стихов, к которым впоследствии присоединились: “грубости”, расстёгнутые пуговицы в куртке или мундире, ношение треуголки с поля, а не по форме (что, кстати, было необыкновенно трудно и составляло целую науку), курение табаку и прочие школьные преступления». Это писалось треть века спустя всероссийски знаменитым прозаиком и публицистом, а в интонациях слышна знаменитая салтыковская ирония, замешенная на невозмутимости и полном понимании происходящего в реальности.

Тщательно отмечая время своих первых стихотворных опытов и то, что начал печататься именно со стихотворений, Салтыков вскоре стал относиться к ним критически. И не только к ним. Например, по воспоминаниям критика Александра Скабичевского, он однажды высказал «о поэтах парадокс, что они все, по его мнению, сумасшедшие люди.

– Помилуйте, – объяснял он, – разве это не сумасшествие – по целым часам ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать во что бы то ни стало в размеренные рифмованные строчки. Это всё равно что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе как по разостланной верёвочке, да непременно ещё на каждом шагу приседая».

Скабичевский относит это высказывание к «сатирическим гиперболам великого юмориста», а мы, ему не возражая, всё же заметим, что историко-литературный и литературно-психологический интерес версификации юного Салтыкова всё же представляют.

Первое известное его стихотворение, «Два ангела», датировано им 23

сентября 1840 года. Парню пятнадцатый год, самое время для писания стихов. При всей внешней лирической стандартности сочинения к нему следует присмотреться, сопоставить смысл в нём сказанного с тем, что входит в классический свод наследия писателя.

Ангел радужный склонился  
Над младенцем и поёт:  
«Образ мой в нём отразился,  
Как в стекле весенних вод.  
О, прийди ко мне, прекрасный, —  
Ты рождён не для земли.  
Нет, ты неба житель ясный;  
Светлый друг! туда!.. спеши!  
Там найдёшь блаженства море;  
Здесь и радость не без слёз, —  
Клик восторга – полон горя —  
Здесь и счастлив, – а вздохнёшь! <...>  
В дом надзвёздный над мирами  
Дух твой вольный воспарит,  
Счастлив ты под облаками!  
Небо Бог тебе дарит! <...>».  
И умчался среброкрылый,  
И увял чудесный цвет!..  
Мать рыдает и уныло  
Смотрит ангелам вослед!..

Это отнюдь не тот «ложный романтизм», который в те годы неустанно критиковал Белинский. Все стихотворение построено на противопоставлении неба с его «блаженства морем» и земли, где «и радость не без слёз». И потому следует говорить об оппозиции, не только главенствующей в пёстрой практике, но и имеющей фундаментальные, бытийственные основания.

С предельной ясностью юным Салтыковым представлена сама суть романтического мировидения, основанного на осознании непреодолимого противоречия между небесным идеалом и земной дисгармонией. Этот ключевой постулат философии европейского романтизма уже имел в русской литературе свои художественные воплощения, например, у Гоголя, творчески близкого к Салтыкову, в его «Невском проспекте» поистине

философской метафорой звучит восклицание художника Пискарёва: «Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!»

За этими словами – формула, пришедшая в Россию с немецких земель и получившая в конце концов наименование «романтическое двоемирие» или «двоемирие Гофмана» – по имени уроженца Кёнигсберга Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822), немецкого классика, известного и любимого в России, пожалуй, больше, чем на родине. Салтыков не оставил собственноручных свидетельств о своём отношении к творчеству Гофмана. Но при его начитанности и при том ещё знании немецкого языка ничего не ведать о Гофмане и других немецких романтиках он не мог.

Романтизм ни в коем случае не может быть ограничен литературой или искусством. Романтическое мировосприятие имеет в своей основе фундаментальную идею, насчитывающую многовековую историю. Эта идея *противоположности Небесного и земного*. Суть знаменитого романтического двоемирия (пока без наименования таковым) задолго до Гофмана и его литературных собратьев обсуждалась Платоном (не бдительным слугой Салтыкова, а древнегреческим философом) и Блаженным Августином. Так, в диалоге «Политик» Платон повествует о существовавшем в незапамятные времена совершенном мире «под властью Кроноса». «Тогда, вначале, самым круговращением целиком и полностью ведал [верховный] бог, но местами, как и теперь, части космоса были поделены между правящими богами». По Платону, мир «то направляется богом – и тогда движения его правильны, то предоставляется самому себе – и тогда он движется беспорядочно и смутно». В зависимости от этого находится жизнь людей, которая «тоже делается беспорядочной, смертной, так что весь человеческий род погибает, а люди, вырастающие из земли вследствие падения на неё остатков небесной человеческой души, ведут жизнь весьма озабоченную и затруднённую, вечно болеют и умирают». Это происходит «в противоположность прежней жизни при Кроносе, которая была вполне беззаботна и счастлива» – «ввиду “судьбы и врождённого космосу вождения”, ибо он и бестелесен, и причастен телу».

С полной определённой выражена противоположность Божьего царства (*civitas Dei*) и земного царства (*civitas terrena*) в знаменитом сочинении Аврелия Августина «О граде Божьем». Через много веков (мы всего лишь проводим пунктир) эту идею подхватил романтизм. «В сознании романтических мыслителей – свидетелей заката французской революции – *идеал* и *реальность* истории располагаются... <...> в разных плоскостях, – писал филолог и культуролог А. В. Михайлов. – Идея, идеал бесконечно выше, существеннее реальности». И далее: идеал «подкрепляет



старинное, традиционное, восходящее к мифологии дуалистическое представление о противоположности небесного и земного, богов и людей, неба и земли. Идеал для романтиков – это орудие критики исторической реальности с позиций идеала».

Теперь нам остаётся только раскрыть книги Салтыкова и убедиться, что обозначенная романтическая оппозиция, усвоенная им в юности, остаётся для него непреложной на протяжении всей творческой жизни.

«Предположим, читатель, что путём наблюдения, размышления и размена мыслей ты дошёл до некоторых положений, совокупность которых составляет твой так называемый идеал. Предположим даже, что это совсем не тот мошеннический идеал, который заключается именно в отрицании необходимости и плодотворности идеала в жизни, но идеал поистине честный, могущий дать действительное мерило для оценки явлений. Обладая своим сокровищем, ты мыслишь идти твёрдой стопой по жизненному пути; ты рассматриваешь и обсуждаешь; одному явлению присвоиваешь название худого, другому – название хорошего; одним словом, ты распоряжаешься в мире, как в своей собственной квартире, и с восхищением видишь, как перед умственным твоим оком встаёт целая картина, в которой недостаёт только балетной мифологии, чтобы дело было совсем как следует. Но увы! практика на каждом шагу разбивает твой идеал, и даже не идеал собственно, а, что всего обиднее, разбивает его отношение к действительности. Она говорит: ты можешь иметь всякие идеалы, какие тебе заблагорассудится, но в то же время обязываешься хранить их для себя и для друзей. Повторяю: это очень обидно. С разбитием идеала примириться можно, потому что здесь есть возможность прийти, по крайней мере, хоть к внешнему оправданию такого факта; можно, например, солгать себе, что идеал, которым я доселе питался, оказывается слабым и ложным и что путём убеждения меня привели к сознанию этого грустного обстоятельства; но примириться с бессилием, но признаться себе, что сам-то я молодец, да вот руки, ноги у меня связаны, не позволяет ни самолюбие, ни здравый смысл. Я полагаю даже, что от одной мысли об этом бессилии можно с ума сойти и постепенно довести себя до зубовного скрежета. “Господи! да где я? да что со мной делается?” – придётся беспрестанно восклицать жадному искателю идеалов в этом море яичницы, каковым представляется жизнь, не выросшая ещё в меру естественного своего роста».

Это из салтыковского обозрения «Наша общественная жизнь» декабря 1863 года. Интересное время, когда в «Современнике» невероятным образом, то есть очень по-русски проходит цензуру и печатается роман

Чернышевского «Что делать?», весь закрученный вокруг фантазмагорической идеи построить на земле Царство Божие, а Салтыков начинает подумывать о возвращении на государственную службу, что через год и происходит. Искатель идеалов вновь кидается в «море яичницы», прекрасно понимая, что не обретёт ничего, кроме практикования в сноровке приспособленчества, которую можно для облагораживания назвать компромиссом...

«Существует в Европе и, вероятно, в целом мире политическое и философское учение, известное под именем учения о компромиссах и сделках, – напишет Салтыков ещё через десяток с лишним лет, когда грёза о гражданственных подвигах на государственном поприще окончательно будет развеяна отставкой. – Сущность этого учения заключается в том, что человечество должно подвигаться вперёд, отступая. Некоторые адепты этого учения ещё сохранили память о кой-каких идеалах и собственно ради их достижения рекомендуют уступки и компромиссы; но другие до того завертелись в беличьем колесе компромиссов, что уже ничего впереди не видят и ничего назад не помнят, а смотрят на жизнь как на исторически организованную игру, в которой никакой цели никогда не достигается, хотя все формы неуклонного поступательного движения имеются налицо».

Очерк вместе с этим суждением Салтыков включит в очень важную для него книгу «Недоконченные беседы (Между делом)», выпущенную вскоре после закрытия его журнала «Отечественные записки».

Развесёленькое дельце! Бурно развивается наука, тут же продвигая технику – когда Салтыков приехал учиться в Москву в 1836 году, фотографии ещё не существовало, и Пушкин, например, так и не успел сфотографироваться. В 1839 году Луи Жак Дагер запатентовал свою дагеротипию, которая недолге стала называться фотографией, и уже Гоголь смог оставить потомкам своё фото. А дальше пошло-поехало: в семидесятых годах уже вовсе стала развиваться фотография цветная... Вот сажают тебя в кресло перед аппаратом, несколько движений, некая возня с растворами и ванночками, немного ожидания – и пожалуйста: это ты, никакие художники теперь не нужны, разве что карикатуры рисовать! Философы-позитивисты, торжествуя, пишут о науке без берегов. Да что там философы! Все одержимы вопросом: «Нет ли в самой жизни чего-то такого, что ставит разделяющую черту между идеалами человека, с одной стороны, и практической, живою его деятельностью – с другой?» С улыбкой познания всё попробуем на вес и на зуб.

Немец Давид Фридрих Штраус пишет «Жизнь Иисуса». Бог, может, и есть, но в рамках природных законов, надо выбирать: или наука, или чудо,

Евангелие – лишь неграмотная запись проделанного эксперимента, сделанная старательными, но необразованными лаборантами. Почти через тридцать лет, в один год с «Что делать?» публикует свою «Жизнь Иисуса» француз Жозеф Эрнест Ренан, явно начитавшийся романтиков, но воспринявший их идеи самым вульгарным образом. Ренану и Бог уже не нужен, лишь десять заповедей, как некая культурная легенда, укоренившаяся в сознании лишь в силу давности её бытования...

Салтыков прямо не высказывался по поводу сочинений Штрауса и Ренана, но зная круг его чтения и то, что печатали его журналы «Современник» и «Отечественные записки» (а кто станет утверждать, что он не следил за публикациями и «Русского вестника?»), осмелимся предположить: и о Штраусе, и о Ренане ему было ведомо немало. Иначе откуда бы появиться салтыковской язвительной реплике в письме твердокаменному позитивисту Пыпину: «И всё это так серьёзно, точно Ренан с Штраусом переписку ведут!» Речь здесь идёт о довольно грязном обмене открытыми письмами между Ренаном и Штраусом в 1870 году, в период Франко-прусской войны (не по поводу отношению к Христу, а по поводу определения истинных врагов цивилизации). Письма эти немедленно перевели, издали в Петербурге, а следом отрецензировали в «Отечественных записках». С незадачным, но понятным вопросом: какое понимание противоположности Божьего и земного царств можно искать в головах этих авторов «Жизни Христа», если они даже о принадлежности Эльзаса Лотарингии договориться не могут?

Это историко-культурное отступление без уклонения важно потому, что в мировоззрении Салтыкова, наряду с незыблемостью метафизической оппозиции *идеал – реальность*, определяющей всё и в творческом сознании, и даже в бытовом поведении (с молодости Михаил Евграфович славился как несносный ворчун), была неиссякаема энергия изучения того, как люди в подлунном мире справляются с обстоятельствами, обусловленными этой оппозицией, энергия поиска примеров этого тотального единоборства человека с несовершенствами жизни.

«Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практических идеалов, то они так разнообразны, начиная с конституционализма и кончая коммунизмом, что останавливаться на этих стадиях – значит добровольно стеснять себя. Я положительно убеждён, что большее или меньшее совершенство этих идеалов зависит от большего или меньшего усвоения человеком тайн

природы и происходящего отсюда успеха прикладных наук. Ведь семья, собственность, государство – тоже были в своё время идеалами, однако ж они видимо исчерпываются. Устраиваться в этих подробностях, отстаивать одни и разрушать другие – дело публицистов. Читая роман Чернышевского “Что делать?”, я пришёл к заключению, что ошибка его заключалась именно в том, что он чересчур задался практическими идеалами. Кто знает, будет ли оно так! И можно ли назвать указываемые в романе формы жизни окончательными?»

Это из достаточно известного письма Салтыкова 1881 года – впрочем, известного лишь в узкой литературной среде, ибо долгие десятилетия из-за вольно препарированных реалий, сакрализированных большевиками, его старались не упоминать. Далее в этом письме (пересказываю лишь из экономии места) Салтыков говорит о необходимости всегда отстаивать лишь один частный идеал – «идеал свободного исследования», под которым он понимает литературное творчество.

А теперь обратимся к самому первому опубликованному стихотворению Салтыкова. Хотя воспитанники выпускали в лицее рукописные журналы и альманахи («Лицей», «Столиственник», «Вообще»), как видно, Михаил стремился проверить себя в настоящем литературном пространстве. Его «Лира» была опубликована в 1841 году в третьем номере журнала «Библиотека для чтения». Здесь представлены «два мужа» с «русского Парнаса», отличные тем, что:

К ним звуки от неба слетели  
И приняли образ земной.

Установлено: Салтыков имел в виду Державина и Пушкина, причём сожалея, что последний «песни допеть не успел», автор утешался: «исповедь сердца» была допета «в светлой обители неба». В стихотворении ясно выражена мысль о лире как единственном «утешении средь бурь и волнений земли»: лишь она способна облечь «в волшебные звуки» мира «безжизненный холод». Это стало и убеждением самого Салтыкова, хотя это своё стихотворение, как и другие лирические опыты юношеских времён, он оценивал критически и не раз заявлял, что после лицея *ни одного стиха не написал*.

Между тем в лицее существовала традиция устанавливать в каждом выпуске продолжателя Пушкина. В XI выпуске таковым был назван Владимир Зотов, впоследствии плодовитый драматург, ныне совершенно

забытый. Он начинал со стихов, и, печатая их в «Маяке», его издатель, экстравагантный Степан Бурачок, назвал Зотова «вторым Пушкиным». В лицее Салтыков с Зотовым сдружились: оба были и книголюбями, и театрами.

Пушкин XII выпуска Николай Семёнов, дослужившийся до сенатора, активно участвовал в проведении Крестьянской реформы и впоследствии выпустил фундаментальное исследование «Освобождение крестьян в царствование Императора Александра II», удостоенное академической премии. Государственные занятия Семёнов сочетал с литературными и как переводчик Адама Мицкевича получил известную Пушкинскую премию. Заслужил этот разносторонний человек благодарность и от ботаников – за свою «Русскую номенклатуру наиболее известных растений». В Пушкины XIV выпуска попал Виктор Павлович Гаевский, также не посрамивший своего лицейского титула. Он стал крупным юристом и одним из первых пушкинистов, также известен как один из основателей Общества для пособий нуждающимся литераторам и учёным (Литературного фонда), не раз избиравшийся его председателем. С лицейских времён он был одним из ближайших друзей Салтыкова и входил в раблезианскую «компанию мушкетёров», о которой будет своевременно и подробно рассказано.

Ну а Пушкиным XIII выпуска стал Михаил Салтыков. И это решение лицейства, как видим, тоже имело все основания. Тем более что он напечатал в настоящем журнале не только «Лиру». Накануне выпуска два стихотворения, причём подписанные его фамилией, без псевдонимов, опубликовал журнал «Современник», основанный Пушкиным и редактируемый его другом, ректором Санкт-Петербургского университета Петром Плетнёвым. Правда, по признанию Салтыкова, в лицее особенно ценили «Отечественные записки», а в них – критические статьи Белинского, но в это издание, как видно, он постучаться не решился.

Литературная львица и одарённая писательница Авдотья Яковлевна Панаева, пережившая многое и многих, среди коих был и младший годами Салтыков, рассказывала, что встретила его «в начале сороковых годов» в доме петербургского остроумца, хлебосола, библиофила Михаила Александровича Языкова. Салтыков гостил у него по праздникам. «Юный Салтыков и тогда не отличался весёлым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал. Помню только раз на лице молчаливого и сумрачного лицеиста улыбку. Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против дверей, и оттуда внимательно слушал разговоры.

Как теперь помню Белинского, расхаживающего по комнате, заложив,

по обыкновению, руки в карманы и распекавшего А. С. Комарова, известного всему кружку хвастуна. У Комарова было плаксивое выражение в лице, так что смешно было на него смотреть. Панаев, Языков и ещё двое не литераторов, но постоянных членов кружка, слушали его распеканье. Я сидела против двери, и мне было видно лицеиста.

– Господи, зачем я вру! – патетично воскликнул Комаров.

– Мамка вас в детстве зашибла! – заметил ему Белинский.

При этих словах на лице у лицеиста изобразилась улыбка.

– Чудеса, сегодня ваш мрачный лицеист улыбнулся, – сказала я Языкову.

– Я знаю, – отвечал Языков, – что он ходит ко мне, чтобы посмотреть на литераторов. Он сам стихи пишет, и их напечатали в “Библиотеке для чтения”. Кто знает! может, и будет со временем известным поэтом».

«Библиотеку для чтения», «Отечественные записки», правда, наряду с «Сыном Отечества», Салтыков советовал выписывать и родителям. Ольга Михайловна не раз навещала сына в лицее, причём в первый приезд постаралась, помимо встреч со своим чадом, нанести визиты педагогам. Она даже познакомилась с директором лицея генерал-лейтенантом Фёдором (Фридрихом-Агатусом) Гольтгоером, который за долголетнее управление – хочется написать «командования» – вверенным ему учебным заведением перестроил в нём многое на военный манер. Само его назначение не было произвольным: в 1822 году лицей был передан из подчинения Министерству народного просвещения в военное ведомство. Не вникая в лицейские программы – отношения с русским языком у генерала-немца были непростыми, – Гольтгоер поставил в основу всей лицейской жизни строжайшую дисциплину.

Ольга Михайловна осталась довольна: «Приехав в Лицею, я увидела Мишу, который здоров, мил, очень вырос, ловок стал, хорошо учится и ведёт себя; словом, я полюбила его. Он был обрадован до крайности нам. Тут я пробыла до понедельника, а в его время полюбила на Царское Село... Познакомилась я с семейством Мишина Начальника, генералом, его описать нельзя, что за почтенное семейство, и они все меня обласкали. Также познакомилась с инспектором, его семейством и г-ном Бегеном и протодьяконом и всеми их семействами, все меня обласкали, и я как будто с ними со всеми давно знакома...»

Гольтгоера вскоре, правда, сменил другой генерал – Дмитрий Богданович Броневский. При нём лицей в сентябре 1843 года перевели из Царского Села в Санкт-Петербург, на Каменноостровский проспект и переименовали, в память об основателе он стал называться Императорским

Александровским. В лицее начались серьёзные преобразования в системе преподавания с расширением места для юридических наук и языков. Однако лицеиста Салтыкова и его выпуск они коснулись лишь в малой степени. Тем более что весной 1843 года он вместе с однокашниками выступил против профессора Флегонта Васильевича Гроздова, чьи педагогические чудеса ему навсегда запомнились. Бунтарям пригрозили исключением и отправлением на службу простыми канцеляристами, но это Салтыкова не испугало, и он решил всё же вернуться к своей мечте – поступить в университет.

Однако родители были начеку (они оба все лицейские годы опекали Мишу, возлагая на него особые надежды, хотя мать и сетовала на его «строптивное бездравие»). Тем более что старший сын Дмитрий, который после окончания московского Дворянского института начал делать карьеру, теперь, служа в Петербурге в лесном департаменте Министерства государственных имуществ и, как видно, собравшись жениться, решил выйти в отставку. Ольга Михайловна вновь проявила свою стальную волю и развеяла завиральные идеи своих отпрысков. «На весьма скользкую и безнадёжную надежду я никак не могу согласиться, потому что это неосновательно, как нельзя хуже, – писала она Дмитрию. – Что иначе нельзя согласиться на переход в университет как с I-го курса, с самого начала и поместиться в казённое заведение со взносом денег, чтобы на всём казённом, а не так самовольничать, как Николай-свет, который останется на всю жизнь потерян от себя, а судьбу Божию кладёт на отца за баловство, на мать, что строга была». К сожалению, ни «строгости», ни жизненной силы Ольги Михайловны на всех не хватило. Николай Евграфович, второй её сын, окончивший Дворянский институт, на выпуске уже из Московского университета осенью 1842 года впал в меланхолию и испытал «желание на самоубийство», причём не впервые. Вразумления матери помогли мало, и в дальнейшем «сын-злодей» приносил ей, окружающим да и себе самому только хлопоты.

А Михаил в 1844 году лицей окончил. Как пушкинский выпуск был первым в Царскосельском лицее, так их тринадцатый выпуск становился первым выпуском Александровского лицея. При выходе из лицея Салтыков, хотя и с титулом здешнего Пушкина, получил лишь чин коллежского секретаря, то есть, по собственному признанию, отличником не был. Сам он объяснял это тем, что «заленился» с начала учения, обнаружив, что многое уже изучил в институте, а здесь приходится «повторять зады». Как казённокоштный воспитанник Салтыков должен был теперь не менее шести лет состоять на государственной службе.

## Запутанное дело

Но милостив государь император, милостив и его Правительствующий сенат. Согласно сенатскому указу от 17 июля 1844 года, выпускаемые воспитанники лица определялись «на службу в разные ведомства, согласно с их желанием». Причём делалась особая оговорка: «Если в избранных ими местах не будет пристойных вакансий, то до открытия оных, производить им... <...> жалование из государственного казначейства по следующему назначению...»

Михаил, при поддержке родителей, выбрал Военное министерство, но зачислили новоиспечённого коллежского секретаря в министерскую канцелярию лишь сверх штата. Согласно вышеприведённому указу, ему было назначено 700 рублей в год ассигнациями (для сравнения: в Дворянском институте зачисленному комнатным сторожем Платону положили триста рублей в год).

Почему Михаил решил идти именно в военное ведомство, доподлинно не известно. Хотя ведомство, что и говорить, было солидное и сулившее возможности для карьерного роста. Но это в будущем – а пока заштат сулил неопределённость, малоденежье и угрозу наступления традиционной русской болезни, хандры. Правда, Ольга Михайловна, имея перед глазами судьбу Николая, пообещала коллежскому секретарю «впредь до получения штатного места прибавить пятьсот рублей» и призвала «идти путём кротким, терпеливым, не отчаиваться и сильно не надеяться, а предаваться воле Божией и несомненному родительскому расположению».

Вместо пути кроткого Миша, противостоя хандре, решил покамест пойти путём литературным. Несмотря на его позднейшее утверждение, что после лица он стихов не писал, всё же в 1845 году в «Современнике» появилось несколько его стихотворений. Редактор Плетнёв благоволил ему с лицейских лет и однажды даже приехал на экзамен, чтобы порадоваться учёности юного пииты. Но Салтыкову блеснуть знаниями не удалось, о чём он с досадой вспоминал много лет спустя.

Так или иначе, большинство первых литературных опытов Салтыкова, в том числе наброски стихотворной трагедии «Кориолан» (читал он Шекспира, читал!), до нашего времени не добрались и тем историков литературы огорчили, вместе с тем доставляя посмертную радость Михаилу Евграфовичу. Уцелело то, что должно было уцелеть.

Но тогда литературные дела у него тянулись кое-как, и это своим



материнским чутьём вычитывала из его писем Ольга Михайловна. И в письмах Дмитрию Евграфовичу рассуждала: «Мне кажется, его вся хандра происходит от его поэзии, которая никогда мне не нравилась, потому что я много начиталась даже бедственных примеров насчёт этих неудачных поэтов в деньгах. Да это и вероятно... А можно ли ему мечтать, имея службу, это невозможно, одним надобно чем-нибудь заниматься... мне кажется, что он, по неопытности своей, более, сколько нужно, представляет себе картину жизни в самом трудном положении и чрез это даёт ход самым мрачным своим мыслям».

Кроме того, освобождённый от лицейской дисциплины молодой – ему шёл лишь 19-й год – чиновник Салтыков должен был испытать все столичные искушения и соблазны. Несмотря на строгое рабочее расписание в министерстве (даже для не имевших жалованья), вечера у Салтыкова были свободны, а первое время после выхода из лицея он жил у только что женившегося Дмитрия Евграфовича на Офицерской улице, в доме наследников Герарда – близ Большого (Каменного) театра. С 1843 года здесь выступала итальянская оперная труппа, а в ней пела новая европейская оперная звезда – меццо-сопрано Полина Виардо-Гарсия, имевшая в своих поклонниках не только Ивана Сергеевича Тургенева. И не одна она здесь пела: петербургский аплодисмент срывали «король теноров» Джованни Батиста Рубини и баритон Антонио Тамбурини – что и говорить, это были европейски знаменитые итальянцы.

Театром Салтыков увлёкся ещё в Москве, когда воспитанников Дворянского института возили на спектакли Малого театра со Щепкиным и Мочаловым (мемуаристы пишут *возили*, хотя от Тверской через Камергерский переулок до Малого театра совсем близко, но значит – положено было возить). С тех пор, бывая в Москве, Салтыков нередко бывал и здесь – теперь здание Малого было расширено. В лицейские годы он часто ходил в оперу и в драму – и так стал настоящим театралом. Театральные мотивы возникают в его произведениях постоянно, приобретая разнообразное художественное воплощение, часто давая толчок к созданию гротескных, фантазмагорических образов, становясь основой для сюжетных положений, где знаменитое «весь мир – театр» представало в щедринской редакции: «Весь мир – театр абсурда». Впрочем, афоризм этот – через Шекспира – восходит как раз к словам автора «Сатирикона», римлянина Гая Петрония: «Mundus universus exercet histrionam (Весь мир занимается лицедейством)».

Уже в 1860-е годы, в одном из своих театральных обзоров, Салтыков не без ностальгического лиризма писал об этих послелицейских годах: «Я

вспомнил незабвенную Виардо, незабвенного Рубини, незабвенного Тамбурины, вспомнил горячие споры об искусстве, вспомнил тёплые слёзы, которые мы проливали <...> слушая потрясающее “maledetto!”<sup>[4]</sup>, которым в Люции оглашал своды Большого театра великий Рубини... Вспомнил и заплакал».

Пожалуй, это не только риторический плач, хотя понятно, что свои воспоминания Салтыков противопоставляет театральным впечатлениям 1863 года, года, когда он готовил свой обзор. Но ведь и Белинский в 1843 году писал своему задушевному другу Василию Боткину: «Слушал я третьего дня Рубини (в “Люции Ламмермур”) – страшный художник – и в третьем акте я плакал слезами, которыми давно уже не плакал. Сегодня опять еду слушать ту же оперу. Сцена, где он срывает кольцо с Люции и призывает небо в свидетели её вероломства, – страшна, ужасна, – я вспомнил Мочалова и понял, что все искусства имеют одни законы. Боже мой, что это за рыдающий голос – столько чувства, такая огненная лава чувства – да от этого можно с ума сойти!»

Белинский вспомнился недаром: и он, и Салтыков, действительно, понимали, что без чувства, без «огненной лавы чувства» искусство (понятно, что и литература) мало что значит. Салтыков ставил в тупик толкователей своей любовью к итальянской и французской опере, обычно очень далёкой от больших общественных проблем, – но зато она всегда переполнена «огненной лавой чувства», не говоря уже о комической опере, в которой создатель сатирических шаржей на Мусоргского и Стасова тоже находил что-то для себя.

Но Михаил в 1844 году жил не только рядом с театром, но и в одной квартире с семьёй брата (кроме Аделаиды Яковлевны, с ними делила кров её сестра Алина). Трудно представить, как такое соседство их всех воодушевляло. Хотя отношения вроде были добрые, у холостого Михаила были свои интересы, кроме театральных и литературных. Он стал искать другую квартиру и через несколько месяцев вместе со своим верным дядькой Платоном переехал в дом Волкова на Большой Конюшенной (дом этот не сохранился).

Ольга Михайловна этим разездом была недовольна, но для украшения кабинета послала Михаилу «пюпитр для чтения твоих мечтаний» и «альбом для твоей милой поэзии». Всмотривались родители и в окружение сына. Там довольно заметно присутствовал однокашник Михаила граф Алексей Бобринский, изрядно куролесивший в лицейские годы и отправившийся на службу в Министерство иностранных дел. Впоследствии Бобринский остепенился, активно участвовал в реформах

императора Александра II, стал министром путей сообщения, членом Государственного совета, а на склоне лет крупным деятелем в движении евангельских христиан. Но молодость он проживал бурно и, как видно, с ним захороводило и Мишу.

В это время после окончания Московского университета в Петербурге оказался друг детства Салтыкова – их имения соседствовали – Сергей Юрьев. Встретившиеся вновь друзья, найдя общую почву теперь уже не для детских, а для молодёжных или, говоря по-тогдашнему, молодецких занятий, решили поселиться вместе, но эту идею разбили родители. Особенно негодовал обычно погружённый в свои занятия Евграф Васильевич.

«Мишеньке скажи, чтобы он ради Бога не соглашался жить вместе с Юрьевым, – писал он Дмитрию в ноябре 1845 года, – который по ветрености своей ещё ему неприятности наделает, подобно как Бобринский на его счёт подарками Мишу утешал, а после за них Миша должен был платить. Таковые друзья подобно тому, как бы голым телом в крапиву сракой садиться. А жил бы Миша один, так, как и сам я в службе ни с кем ни жил и всегда был один, и от того и душе и телу и карману было много лучше».

И Мишенька стал жить один – то есть при нём ещё был верный Платон, но это не считается. Однако много позднее сам Михаил Евграфович рассказывал критику Скабичевскому, что первые три года по выходе из лицея он «очень бурно справлял “праздник жизни, молодости годы”». По своей страсти всё представлять в комическом виде, не щадя и самого себя, Салтыков рассказывал о себе несколько анекдотов из этого периода своей жизни, которые по крайней курьёзности вполне совпадают с жанром его сатир».

К горечи любителей культурно-исторической клубнички, эти анекдоты не сохранились, во всяком случае, не найдены. Случился, правда, один довольно скверный анекдот политического свойства, о котором было немало написано в советское время. Ещё в лицее Михаил познакомился со своим тёзкой Михаилом Буташевичем-Петрашевским. Его отец, военный хирург, был личным врачом генерала Милорадовича и безуспешно пытался спасти его, смертельно раненного декабристом Каховским. Сын, окончив лицей и юридический факультет Петербургского университета, служил переводчиком в Министерстве иностранных дел и в своём доме завёл «пятницы», куда ходило немало всякого народу, в том числе молодые Достоевский и Салтыков. В 1849 году кружок Петрашевского был раскрыт, дело петрашевцев завершилось известным процессом. И хотя на судьбе

Салтыкова, уже больше года служившего в Вятке, эта история не отразилась, редко кто из его биографов удерживался от того, чтобы не отметить некое революционизирующее для Салтыкова значение его общения с Петрашевским.

В действительности более всего Салтыкова интересовала библиотека Петрашевского, в которой было немало запрещённых в России книг, прежде всего утопических и философских сочинений. Пополнялась библиотека за счёт взносов её посетителей, из-за чего у Салтыкова назрел конфликт с Петрашевским, приведший к разрыву их отношений. По некоторым данным, он мог быть связан с различием взглядов бывших приятелей на пути преобразования России. Радикал Петрашевский искал панацею от всех бед в писаниях утопистов, где тоталитарная идея всеобщей регламентации выдавалась за необходимую основу всеобщего счастья. Салтыков видел залогом процветания родины экономические преобразования и требовал от Петрашевского покупать для общей библиотеки труды по праву и политической экономии, от чего последний уклонялся. В итоге уже в 1846 году Салтыков кружок покинул и поэтому в поле зрения следствия не попал. В этой истории вновь проявились особые качества салтыковской натуры: прямоту, честность, советливость.

Вместе с тем он был не только честным человеком. С одной стороны, обладая нелёгким даром видеть разнообразные проявления комического в жизни, а с другой – неусыпно и даже независимо от себя помня об этическом идеале, сопровождающем человека в его земном пути, Михаил Евграфович никогда не был лицемером и ханжой. Бурное, гоголевское, раблезианское веселье то и дело озорными волнами выплёскивается на страницы его произведений, очерков, статей, писем... Впрочем, определения этого веселья нужно связать не только с литературой. Салтыков, судя не только по его произведениям, но и по письмам разных лет жизни, остро чувствовал народно-поэтическую стихию, а *нескромные сказки*, вольные истории знал не только по собраниям Кирши Данилова, Александра Афанасьева, других русских фольклористов. Помогало ему ставить руку чтение Гоголя, знал он и о книгах Рабле. Дело не только в том, что роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» был хорошо известен в России уже в XVIII веке и широко читался в оригинале. Во времена Салтыкова о Рабле ведал даже не очень сильный в иностранных языках Белинский. В рецензии, появившейся в марте 1847 года в «Современнике» (с октября Салтыков начинает печатать в родном ему журнале свои рецензии), Белинский пишет о «гениальном Рабле – этом Вольтере XVI века», который «облекал сатиру в форму чудовищно безобразных романов».

Годом ранее, в «Петербургском сборнике», который сразу вызвал литературный и цензурный скандал, Белинский высказался о Рабле не менее красноречиво. «Французы до сих пор читают, например, Рабле или Паскаля, писателей XVI и XVII века, – пишет он в статье «Мысли и заметки о русской литературе», ставшей программной для нашей мгновенно прославившейся «натуральной школы». – Язык этих писателей, и особенно Рабле, устарел, но содержание их сочинений всегда будет иметь свой живой интерес, потому что оно тесно связано с смыслом и значением целой исторической эпохи. Это доказывает ту истину, что только содержание, а не язык, не слог может спасти от забвения писателя, несмотря на изменение языка, нравов и понятий в обществе».

Последний тезис замечателен по нескольким причинам. Во-первых, это попытка обрушить всё знание изящной словесности, художественной литературы: если нет языка, какое же «содержание» можно извлечь из романа или повести? Во-вторых, как же можно говорить об устарелости языка Рабле, если он в своих «чудовищно безобразных романах» именно открыл новые возможности литературного языка, соединив в своём самозабвенном повествовании наивные и вечные физиологические радости земледельцев, фантастику, порождённую впечатлительными созерцателями подлунного мира, причуды гротеска и бурлеска? Объяснение этому можно найти, только предположив, что Белинский узнал содержание романов Рабле в пересказе своих более образованных друзей, как узнавал многое.

В-третьих, этому нелепому парадоксу Белинского ныне противостоит – тоже парадоксально, однако на незыблемом основании – всё творчество того же Салтыкова-Щедрина. Ведь долгое – советское как минимум – время образами и языком нашего героя восхищались, числя его именно по разряду главного обличителя самодержавной власти, её механизмов, её персон. То есть тесно связывали с смыслом и значением целой исторической эпохи – но эпохи ушедшей, не могущей представлять сколько-нибудь серьёзный интерес для новых поколений читателей. Образы Щедрина в пропагандистских, конъюнктурных целях широко использовал Ленин, другие большевистские публицисты, да и не только они. Но уже к 1930-м годам стало ясно, что императорская Россия уходит в невозвратное былое, а значит, с сочинениями Щедрина надо что-то делать. И здесь учителем советских щедриноведов стал... правильно, товарищ Сталин. Он дал пример, как отвести актуальность написанного Щедриным от государственного монстра, созданного большевиками.

В 1936 году на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов, посвящённом принятию новой, сталинской Конституции СССР, вождь

вдруг обратился к щедринской «Сказке о ретивом начальнике, как он своим усердием вышнее начальство огорчил» из романа «Современная идиллия». Сказка, как и весь роман, что и говорить, доньше читаются как вчера написанные. Так же они были актуальны в СССР 1930-х годов, после костолома коллективизации и надрывов индустриализации, с разрастающимся ГУЛАГом и предчувствием Большого террора. Но вождь почему-то видит в ретивом начальнике не свою, по локоть в крови, ленинско-сталинскую большевицкую гвардию, а иностранных критиков СССР. Он рассказывает о критиках его конституции из «германского официоза» (его дружба с Гитлером ещё впереди) и сравнивает их с щедринским «бюрократом-самодуром», который распоряжается: «Закреть снова Америку!»

Свой пассаж Сталин завершает так: «Кладя резолюцию о том, чтобы закрыть снова Америку, щедринский бюрократ, несмотря на всю свою тупость, всё же нашёл в себе элементы понимания реального, сказав тут же про себя: “Но, кажется, сие от меня не зависит”. Я не знаю, хватит ли ума у господ из германского официоза догадаться, что “закреть” на бумаге то или иное государство они, конечно, могут, но если говорить серьёзно, то “сие от них не зависит”».

Что и говорить, Салтыков писал не только о России. Он писал о людях и об отношениях между людьми. А все люди – люди, как было замечено однажды. Иные щедринovedы той поры подхватили идею Сталина и начали прикладывать описанное Салтыковым к международным событиям. Один из них писал: «“Программа” ретивого начальника – упразднить науки, палить города, а в итоге превращать “остепенившийся” вверенный край в “каторгу” – поразительным образом предсказывает современный фашизм с его концлагерями, а слова о “спалённых городах” в дни героической обороны Мадрида звучали особенно метко своей жестокой реальностью».

Однако, возвращаясь к Белинскому (недаром всё же братья Стругацкие в «Хромой судьбе» хлестнули фразой: «Виссарион Григорьевич и сын его Иосиф»), следует признать: в вышеобозначенной идее он ошибся и в целом, и конкретно в Салтыкове (не говоря о Рабле). О словесном, образном раблезианстве Салтыкова много лет пишут критики – это раблезианство у него явно не вычитанное, оно генетического свойства, хотя, наверное, подпитывалось и конкретными соприкосновениями Салтыкова с творчеством великого француза (есть, замечу коротко, история, как в 1874 году Некрасов и Салтыков безуспешно пытались напечатать в журнале «Отечественные записки» статью критика Зайцева «Франсуа Рабле и его поэма»).

Салтыков, выросший отнюдь не только «на лоне крепостного права», но в том мире, который это право лишь сгибало, но одолеть не могло, – в мире русской деревни, с её вольной речью и с не менее вольными людскими взаимоотношениями, не только усвоил этот раблезианский ген (будем называть его по имени литературного первопроходца), но и раскрыл его, так сказать, *на лоне русской литературы*. Занимаясь вечной проблемой взаимоотношений человека и власти, он с завораживающей мощью показал не только процессы стирания живого языка административными клише, но и особые случаи их почти мистического взаимодействия. Причём литературоведы давным-давно отметили у Салтыкова его особую самоцензуру: впадая в раблезианство, он нередко, перед сдачей в печать, вымарывал в своих рукописях колоритные, особенно экспрессивные пассажи.

Например, из рукописи губернаторской феерии «Помпадуры и помпадурши» он вычеркнул немало фраз:

«Из административных его руководств мне известны следующие: “три лекции о строгости” (вступительная лекция начинается словами: “первым словом, которое опытный администратор имеет обратить к скопищу бунтовщиков, должно быть слово матерное...”); “о необходимости административного единогласия как противоядия таковому же многогласию...”...» и т. д.

Однажды он на полях своего наброска «Бедный мужчина» написал: «Вчера прочитал свои рассказы и удивился грубости выражений. Это во мне всё прежнее действует». Что прежнее? За что он винится? Можно только догадываться. Или гадать. Поэтому пойдём дальше – и обратим внимание на обстоятельства времени, системы отношений, в которых растёт и развивается писатель.

К Белинскому русские писатели – его современники в большинстве своём относились если не с почтением, то с уважением. Человек, для начала провозгласивший «у нас нет литературы», убедил всех, что до него у нас, во всяком случае, не было критики. Но «вдруг налетела буря Белинского» (выражение поэта Аполлона Майкова<sup>[5]</sup>, старшего брата Валериана Майкова, критика не из последних, нелепо погибшего за год до смерти Белинского; к слову, впервые серьёзно о нём заговорили именно в некрасовско-салтыковских «Отечественных записках», но в 1872 году, а при жизни Салтыков был с ним дружен)...

Михаил Евграфович со своим особым юмором, и даже не без гордости, говорил о том, что Белинский называл первый его прозаический опыт – повесть «Недоразумения» (в действительности – «Противоречия»;

едва ли это обмолвка, скорее всего, ещё одна «сатирическая гипербола великого юмориста») – «бредом младенческой души», «бредом куриной души» или даже «бредом больного ума». Тут Салтыков, как нередко и в других случаях, прибавляет *от себя*. Белинский его повесть особо не выделял, ему вообще перестала нравиться проза покинутых им «Отечественных записок». «Идиотская глупость» – отвесил он в её адрес. Но это не значит, что Салтыков высмеивал мнение о своей повести, приписанное им Белинскому.

Стилистически «Противоречия» тяжеловесны, повесть имеет трактатную, рассудочную форму, главное – художественное, интуитивное начало в ней ослаблено. Тем не менее как этап движения писателя к своему языку как средству выражения мировидения повесть отнюдь не пуста. Её главный герой Нагибин рассуждает: «...идя шаг за шагом по горячим следам развития человечества, я пришёл к признанию другой действительности, – действительности не только возможной, но непременно имеющей быть. <...> И когда я сопоставляю эти две действительности, столь между собою несходные, хотя и та и другая носят в себе те же семена жизни, тогда я вполне несчастлив, тогда мне делается несносно и тяжело жить, и невольно приходят в голову самые чёрные мысли. Не сопоставляй я этих двух несовместных друг с другом противоположностей, существуй для меня одно какое-нибудь из двух представлений действительности, я был бы вполне счастлив: был бы или нелепым утопистом, вроде новейших социалистов, или прижимистым консерватором, – во всяком случае, я был бы доволен собою».

Подчёркнутые слова особенно знаменательны в этом концептуальном фрагменте повести, который с большой степенью вероятности следует признать авторской декларацией – обычное для начинающих писателей дело. Как видим, за строчками – всё то же романтическое двоемирие, однако воплощаемое не эмоционально-лирически, а с попыткой сознательного его осмысления.

И вот поэтическая натура, привычная для романтической литературы, – студент Ансельм из гофмановского «Золотого горшка» и тот же художник Пискарев из «Невского проспекта» оказываются если не в кругу, то рядом с «нелепыми утопистами, вроде новейших социалистов», а традиционные филистеры, обличавшиеся романтизмом, именуются консерваторами, что также сближает произведение с конкретным социумом, выводит его из пространства, создаваемого летящей романтической фантазией, в мир «трезвого понимания действительности».

«Многие, например, из нас понимают разумность сущего, – пишет



Нагибин (повесть эпистолярная), – и вы и я очень хорошо понимаем, что всё существующее уже по одному тому имеет право на существование, что оно есть; что если один человек более или менее счастлив, а другой вовсе несчастлив, то причина этого заключается в вещах, а не в людях; но мы только понимаем справедливость этих положений, а на самом-то деле куда как иногда жутко приходится нам, куда как ропщем мы на эту разумность!»

Кроме романтизма и гегельянства, в «Противоречиях» обнаруживается смешение социальных, экономических, религиозных, этических теорий. Как показано Т. И. Усакиной, в повести отразился круг чтения Салтыкова в 1840-е годы – а читатель он был не только увлекающийся, но и умелый уже в молодости. Но главное всё же – передача этого мировосприятия, эта непреодолимая коллизия, которая так или иначе проявляется в любой человеческой жизни, которая определила основное направление проблематики и поэтики всего салтыковского творчества.

В неопубликованном при жизни Салтыкова рассказе «Брусин», датировка которого до сих пор остаётся предметом обсуждения и колеблется от 1847 до 1856 года, с акцентом на 1849 год, автор пишет о главном герое: «Брусин был *романтик в душе, романтик во всех своих действиях*. Обстоятельства ли его так изуродовали или уж, в колыбели, судьба задумала доставить себе невинную утеху, создав нравственного уродца, – право, не могу достоверно сказать вам. Это такие тёмные, запутанные дела, над которыми тысячи здоровых и счастливо организованных голов сломаются прежде, нежели будут хоть на шаг придвинуты к вожделенному решению. Приятель мой весь был составлен из противоречий» (курсив мой).

Однако, по Салтыкову, есть противоречия и противоречия. Брусин, – как, впрочем, и сам рассказчик, он признаёт это, – получил «ложное воспитание», которое «развило в нас только потребности и стремленья, а не указывало на средства удовлетворить им. Следствием этого направленья было то, что мы до того забежали вперёд, до того разошлись с действительностью, что не имели ни одной точки, на которой бы могли, без тягостного чувства, примириться с нею. Из всего воспитания мы видели только конец, а начала и середины для нас не существовало».

Кажется, перед нами критика романтического героя с вполне определённой точки зрения – житейского рационализма, уверенного в знании точек «примирения с действительностью». Но если мы обратимся к последнему, обработанному, как принято считать, в 1856 году, уже автором «Губернских очерков» варианту «Брусина», то увидим: теперь акцент сделан уже не на «глубокое бессилие и извращенность» этой натуры, а на

её признание: «Несмотря на все его яркие недостатки, редко можно было встретить в ком-либо столько симпатии ко всему честному, благородному и страждущему, сколько нашёл я в нём». Брусин уже не именуется, как ранее, «великим романтиком».

Впрочем, черты творческого, а не критического, под стать Белинскому, восприятия Салтыковым романтизма обнаруживаются ещё в повести «Запутанное дело. Случай» (1848). Отказавшись в ней от публицистических пассажей в пользу сюжетного повествования, своеобразную, именно в романтическом ключе динамику которому придают сны-видения главного героя, молодого человека Ивана Самойлыча Мичулина, автор невольно (скорее всего) открывает подходы к тому, что впоследствии станет содержанием его художественного гения.

В центральном видении повести исследователи обычно обращают внимание на явившуюся Мичулину пирамиду, составленную «из таких же людей, как и он», среди которых герой узнаёт «различные знакомые лица». Пирамиду, в которую попадает и он сам. Однако, кроме этого «образа имущественно-правовой иерархии», как её назвала Т. И. Усакина, Мичулин видит нечто куда более впечатляющее: возвышающееся над хаосом жизни «*бесконечное* на бесконечно маленьких ножках, совершенно подгибавшихся под огромную, подавлявшую их, тяжестью» (здесь и далее выделено мною). Вглядываясь в «это страшное, всепоглощающее *бесконечное*, он ясно увидел, что оно не что иное, как воплощение того же самого страшного вопроса, который так мучительно и настойчиво пытал его горькую участь». Он увидел, что «*бесконечное* так странно и двусмысленно улыбалось, глядя на это конечное существо, которое под фирмою “Иван Самойлов Мичулин” пресмыкалось у ног его, что бедный человек оробел и потерялся вконец...

– погоди же, сыграю я с тобой шутку! – говорило *бесконечное*, подпрыгивая на упругих ножках своих, – ты хочешь знать, что ты такое? изволь: я подниму завесу, скрывающую от тебя таинственную действительность, – смотри и любуйся!».

Но что же такое это *бесконечное*? Для романтизма категория не просто знакомая – основополагающая. «Ничто другое не является столь достижимым для духа, как *бесконечное*», – сказано, например, во «Фрагментах» Новалиса, едва ли не первом романтическом манифесте. «Идеалистический порыв к бесконечному как одна из характерных идейно-эстетических позиций романтиков являлся реакцией на скептицизм, рационализм, холодную рассудочность Просвещения. Романтики утверждали веру в господство духовного начала в жизни, подчинение

материи духу. Основанием мироздания они полагали духовное бытие»<sup>[6]</sup> – эти слова А. С. Дмитриева можно считать комментарием к тезису автора «Генриха фон Офтердингена».

Спору нет, *бесконечное* в повести Салтыкова в сравнении с классическим бесконечным романтизма преисполнено безысходного трагизма, но речь-то идёт не о копировании чего-то, не о совпадении слов даже, а о восприятии духовно-эстетической традиции, сформировавшейся в Европе начала XIX века и перешедшей в Россию. Иенские романтики, к которым принадлежал Новалис, отвергали «завершенность акта познания» и утверждали «процесс бесконечного постижения идеала»<sup>[7]</sup>.

Бесконечное, явившееся Мичулину, показывает ему, однако, не идеал, а «неизвестное» государство с пирамидой, составленной «из бесчисленного множества людей, один на другого насаженных», изуродованных, скрюченных, где «часть, называемая черепом, даже обратилась в совершенное ничтожество и была окончательно выписана из наличности».

Однако эта фактическая полемика с романтическими воззрениями не отвергает их всецело хотя бы потому, что само по себе *бесконечное* может быть вместилищем и бездушной салтыковской пирамиды из видения Мичулина, и волшебного голубого цветка Новалиса из сна Генриха фон Офтердингена – кто что видит. А запутанность в понимании, в толковании ранней салтыковской повести, сохраняющаяся до сей поры, соединилась поначалу с запутанностью иного свойства. Попытаемся её распутать.

Все эти литературные труды, это освоение прозаических жанров стали совмещаться у Салтыкова с чиновничьей службой: в августе 1846 года он получил штатную должность помощника секретаря (столоначальника) 2-го отделения канцелярии Военного министерства. Повесть «Запутанное дело» появилась в мартовском номере журнала «Отечественные записки» за 1848 год (до этого она была по цензурным соображениям отклонена И. И. Панаевым в «Современнике»), а в феврале начались революционные события во Франции. Монархия Луи-Филиппа была свергнута, образовалось временное правительство. В России же ещё 27 февраля по распоряжению Николая I учреждается «комитет для рассмотрения действий цензуры периодических изданий». Повесть Салтыкова попадает на глаза искателям крамолы и 29 марта на заседании вышеназванного комитета признаётся предосудительным сочинением.

Около 20 апреля император обращает внимание военного министра графа Александра Ивановича Чернышёва на то, что в его министерстве служит чиновник, напечатавший произведение, «в котором оказалось

вредное направление и стремление к распространению идей, потрясших всю Западную Европу». И вот в ночь с 21 на 22 апреля по распоряжению пришедшего в ярость Чернышёва Салтыков арестован. По его делу назначается специальная следственная комиссия.

Писатель Нестор Кукольник, делопроизводитель комиссии, увидевший в повестях Салтыкова «несомненный талант», старается смягчить участь молодого писателя и расположить к нему участников следствия. Однако Чернышёв был непреклонен: по его докладу, поданному Николаю I, «Государь Император, снисходя к молодости Салтыкова, высочайше повелеть соизволил уволить его от службы по Канцелярии Военного Министерства и немедленно отправить на служение тем же чином в Вятку, передав особому надзору тамошнего начальника Губернии, с тем, чтобы губернатор о направлении его образа мыслей и поведении постоянно доносил Государю Императору». Вечером 28 апреля прямо из помещения гауптвахты, в сопровождении жандармского штабс-капитана Рашкевича и дядьки Платона титулярный советник Салтыков отбыл в Вятку. 7 мая он с сопровождающими в Вятку прибыл.

Такова канва событий. Но пояснения необходимы. Излишнее рвение российских борцов с идеями французских катаклизмов хорошо известно. Можно предположить, что Салтыков высмеял их и им подобных в книге «Помпадуры и помпадурши» («утопия» «Единственный»).

Но всё же не надо забывать, что, во-первых, при поступлении после лица в канцелярию Военного министерства Салтыков дал собственноручное, требовавшееся от министерских чиновников того времени обязательство: «Я, нижеподписавшийся, объявляю, что не принадлежу ни к каким тайным обществам, как внутри Российской Империи, так и вне оной, и впредь обязуюсь, под какими бы они названиями ни существовали, не принадлежать к оным и никаких сношений с ними не иметь».

И хотя он в «тайные общества» действительно не вступал, а с Петрашевским рассорился из-за различия взглядов на пути преобразования России, Салтыков нарушил одно требование, ставшее особенно серьёзным в 1848 году. По тогдашним правилам министерским чиновникам среди прочего было запрещено печатать свои сочинения без разрешения начальства.

К тому же существовала ещё одна тонкость, о которой обличители «проклятого самодержавия» предпочитали умалчивать. Конечно, не только с разрушительными, но и с либеральными идеями соответствующие императорские службы боролись достаточно жёстко, но всем известна

(даже по собственному опыту) нехитрая истина: служить в столице куда приятнее, чем где-то в глубинке, в глуши. Естественно, желающих отправляться туда по доброй воле не всегда хватало и нередко правительство пользовалось такого рода удобными (конечно, не для самого отправляемого) случаями, чтобы заполнить вакансии в провинции. И южная ссылка (в самом сочетании заключён оттенок несерьёзности) Пушкина, и вятская – Герцена, а затем – Салтыкова (примеры можно множить) оформлялись как служебный перевод. В формулярном списке у Салтыкова записано: 19 мая 1848 года «переведён в Вятскую губернию для определения на службу».

Дальнейшее во многом зависело от опального чиновника.

## Часть вторая. Вятская служба (1848–1855)

От Санкт-Петербурга до Вятки – полторы тыщи вёрст. До родного Спас-Угла, до Москвы от Вятки – тысяча. Впервые Салтыков ехал так далеко. Впервые в жизни он, несмотря на сопровождавшего его жандармского офицера, становился самостоятельным – самостоятельным в том смысле, в каком человек оказывается ответственным за свои решения, за свои поступки. Контроль твоих начальников – внешний, родители далеко, энергичные приятели с их искусительными, но завиральными идеями остались в столице. Теперь только ты – и твоя судьба. Ты – и твоя вещественно неосязаемая, но постоянно о себе напоминающая совесть...

Без малого сорок лет спустя свою книгу «Мелочи жизни», оказавшуюся последней прижизненной, Салтыков завершил очерком «Имярек», который приближённый к нему современник назвал «личной исповедью знаменитого автора». Сквозь толщу времени смотрит Салтыков на прожитое и, стараясь удержаться от личного лиризма, пишет о себе как о персонаже, в третьем лице:

«По обстоятельствам, он вынужден был оставить среду, которая воспитала его радужные сновидения, товарищей, которые вместе с ним предавались этим сновидениям, и переселиться в глубь провинции. Там, прежде всего, его встретило совершенное отсутствие сновидений, а затем в его жизнь шумно вторглась целая масса мелочей, с которыми волей-неволей приходилось считаться. Юношеский угар соскользнул быстро. Понятие о зле сузилось до понятия о лихоимстве, понятие о лжи – до понятия о подлоге, понятие о нравственном безобразии – до понятия о беспробудном пьянстве, в котором погрязало местное чиновничество. Вместо служения идеалам добра, истины, любви и проч., предстал идеал служения долгу, букве закона, принятым обязательствам и т. д. Отделял ли в то время Имярек государство от общества – он не помнит; но помнит, что подкладка, осевшая в нём вследствие недавних сновидений, не совсем ещё была разорвана, что она оставила по себе два существенных пункта: быть честным и поступать так, чтобы из этого выходила наибольшая сумма общего блага. А чтобы облегчить достижение этих задач на арене обязательной бюрократической деятельности, – явилась на помощь и целая своеобразная теория. Сущность этой теории заключалась в том, чтобы практиковать либерализм в самом капище

*антилиберализма...»*

*Неплохая теория – но проверяться она будет повседневностью, мелочами жизни.*

## Встреча с распростёртыми объятиями

К воспоминаниям о вятском времени Салтыков возвращался на протяжении всей жизни. В январе високосного 1848 года ему исполнилось 22 года – возраст, когда в человеке вскипает энергия такой силы, что волей-неволей он вынужден и много лет спустя спрашивать себя: так ли ею распорядился, не растратил ли её на пустяки. Конечно, Салтыков, которого отправили далеко на восток, хоть и вдоль петербургской, шестидесятой широты, но с тридцатого меридиана аж к пятидесятому, мог найти основания, чтобы пожалеть себя и сострадать самому себе – да только много ли в том было бы толку?

Неизвестно, знал он или не знал тогда, что едет в город, примечательный тем, что в нём провёл два с половиной года другой молодой интеллектual, выпускник Московского университета, кандидат по отделению физико-математических наук, серебряный медалист Александр Герцен – впрочем, теперь уже скрывшийся за границей. В 1834 году в результате полицейской провокации против него и товарищей, рассказывал позднее Герцен в «Былом и думах», он попал под следствие и был «подвергнут исправительным мерам» – отправлен «на бессрочное время в дальние губернии на гражданскую службу и под надзор местного начальства». Герцену вначале выпала Пермь, но затем этот город «возле Уральского хребта» ему обменяли на Вятку – по просьбе угодившего туда такого же страдальца, имевшего родственников как раз в Перми.

В Вятке Герцена определили на службу в канцелярию губернского правления, и для него «канцелярия была без всякого сравнения хуже тюрьмы. Не матерьяльная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени». Но Герцен не только жалуется на собственную участь, он приходит к выводу: «Один из самых печальных результатов петровского переворота – это развитие чиновнического сословия. Класс искусственный, необразованный, голодный, не умеющий ничего делать, кроме “служения”, ничего не знающий, кроме канцелярских форм; он составляет какое-то гражданское духовенство, священнодействующее в судах и полициях и сосущее кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых».

Этот эффектный до абсурда парадокс – ведь среди чиновников был и сам Герцен, а любая система государственного управления невозможна без чиновничества – далее получает гротескный поворот: упоминается Гоголь,



так или иначе ставший предтечей Щедрина, то есть законного сына чиновника Салтыкова: «Гоголь приподнял одну сторону занавеси и показал нам русское чиновничество во всём безобразии его; но Гоголь невольно примиряет смехом, его огромный комический талант берёт верх над негодованием. Сверх того, в колодках русской цензуры он едва мог касаться печальной стороны этого грязного подземелья, в котором куются судьбы бедного русского народа...»

В этих немногих строках тем не менее обозначены важнейшие точки изображения чиновников в русской литературе: Герцен безоглядно негодует, а Гоголь *примиряет смехом*. Нам остаётся только разобраться: как относится к чиновникам Салтыков. И сам Михаил Евграфович, и его неотрывный *alter ego* – Н. Щедрин. Вот и будем разбираться.

Достоверно о взаимоотношениях Салтыкова и Герцена известно немного, хотя (а может быть, «вследствие того, что») оба были в коммунистическое время внесены в сакрализованный реестр «революционных демократов». Понятно, что они читали друг друга. Можно даже предположить, что Салтыков с его литературной введливостью в своё время мог добраться до дебютного очерка Герцена «Гофман», напечатанного под псевдонимом «Искандер» в ставшем знаменитым журнале «Телескоп» (1836. № 10; в № 15 появилось «Философическое письмо» Чаадаева, в том же году журнал был закрыт).

Как было замечено выше, гофмановское, немецко-романтическое зримо проглядывает в ранней прозе Салтыкова, а пришло оно туда, понятно, и под влиянием прочитанного. Правда, в целом Салтыков отзывался на герценовские сочинения вяло: если судить по тому, что сохранилось, – это цитата из «Московских ведомостей» в сентябрьском (1863) обозрении «Наша общественная жизнь», где Катков называет Герцена «помешанным фразёром в Лондоне», да упоминание в «Органчике» в хитроумном художественном обрамлении «лондонских агитаторов» (то есть Герцена и Огарёва).

Но важен общий контекст, и, конечно, причины здесь не конспиративного свойства. Например, в прозе Лескова в тех же 1860–1870-х годах герценовский слой очень заметен. Однако Николай Семёнович, которому щедро и по-хамски несправедливо досталось от литературных радикалов и в начале, и в конце творческого пути, стремился привести свою литературную репутацию в соответствие с собственными воззрениями, и тень мятежного Искандера в его сочинениях была шлейфом писателя-прогрессиста. А для Салтыкова, как видно, Герцен был и остался смотрящим на Россию vom andern Ufer, с того берега, в то время как он,

прирождённый ворчун, долгие годы не покидавший отечества, а впоследствии ездивший за границу лишь на курорты, не подчинил свой, под стать гоголевскому, комический талант «негодованию», хандре или ненависти к обстоятельствам жизни.

Герцен – если исходить из того, что он сам пишет в «Былом и думах», – оказавшись в российской глубинке, своей хандрой разве что не упивался. Да и Россия сама по себе для него – зачарованный мир, вековое царство лесов и снегов, которое не поддаётся какой-либо переделке.

«От Яранска дорога идёт бесконечными сосновыми лесами. Ночи были лунные и очень морозные, небольшие пошевни неслись по узенькой дороге. Таких лесов я после никогда не видал, они идут таким образом, не прерываясь, до Архангельска, изредка по ним забегают олени в Вятскую губернию. Лес большей частью строевой. Сосны чрезвычайной прямизны шли мимо саней, как солдаты, высокие и покрытые снегом, из-под которого торчали их чёрные хвои, как щетина, – и заснёшь и опять проснёшься, а полки сосен всё идут быстрыми шагами, стряхивая иной раз снег. Лошадей меняют в маленьких расчищенных местах: домишко, потерянный за деревьями, лошади привязаны к столбу, бубенчики позванивают, два-три черемисских мальчика в шитых рубашках выбегут заспанные, ямщик-вотyak каким-то сиплым альтиком поругается с товарищем, покричит “айда”, запоёт песню в две ноты... и опять сосны, снег – снег, сосны...»

С такой особой поэтичностью Герцен описывает свой переезд из Вятки во Владимир, к новому месту службыссылки. Но ни сам Герцен, ни его исследователи не дают оснований говорить о его трудовом рвении в годы службы как в Вятке, так и во Владимире, а затем в Новгороде (1835–1842). Он участвовал, конечно, в подготовке выставки естественных и искусственных произведений Вятской губернии весной 1837 года, а при открытии первой публичной библиотеки в Вятке даже речь произнёс, но... «Сбитый канцелярией с моих занятий, я вёл беспокойно праздную жизнь», – признаётся Александр Иванович, а потом ещё прибавляет подробности этой жизни. Справедливости ради, среди откровенных рассказов о себе в «Былом и думах» он находит место, чтобы поведать о встреченном в Вятке другом ссыльном – выдающемся архитекторе Александре Витберге (1787–1855), который даёт, по сути, вариант поведения в ссылке, противостоящий герценовскому, «прозябательному».

Если Герцен и Салтыков оказались вдали от столиц по причинам административного и номенклатурно-воспитательного свойства по отношению к поступившим на службу молодым лоботрясам-дворянам, то Витберг попал в Вятку вследствие навета и, значит, его пребывание здесь

следует без оговорок признать наказательной ссылкой. Родившийся в семье переехавших в Россию на жительство шведов Александр (Карл-Магнус) Витберг, успешно окончив Академию художеств, стал изучать зодчество, и первый же его самостоятельный проект – 240-метровый храм Христа Спасителя в Москве – победил в 1814 году на международном конкурсе.

Были собраны значительные народные пожертвования, огромные деньги выделила казна, а для храма было определено место на Воробьёвых горах, тогда самом высоком примосковском месте (примерно там, где сейчас находится известная смотровая площадка перед зданиями Московского университета). Однако талантливый художник и архитектор оказался неудачливым прорабом. Ко времени кончины императора Александра Павловича выяснилось, что при строительстве был расхищен миллион рублей (по тем временам огромная сумма; впрочем, в России перед масштабами расхищений всегда ничтожны любые сопоставления). В итоге строительство на Воробьёвых горах остановили (как оказалось, навсегда), а Витберг вместе с другими строителями оказался под следствием, которое надолго затянулось. Большинство полагало, что Витберг не украл ни копейки, но пал жертвой своей неопытности и доверчивости. Однако император Николай Павлович счёл, что он, а до него его брат слишком доверились Витбергу, который этим доверием злоупотребил. За это в 1835 году архитектор был наказан конфискацией имущества, штрафом и ссылкой в Вятку. Сюда за ним поехала и его молодая жена с младенцем-сыном (несчастье не любит одиночества: первая жена Витберга умерла, когда он находился под следствием).

Хотя Витбергу было запрещено поступать на государственную службу, без дела в Вятке он не сидел. Занимался живописью и рисунком, появились вятские ученики, ему принадлежит всем хорошо известный профильный портрет Герцена карандашом, о котором сам объект изображения писал невесте: «Сходство разительное; там всё видно на лице – и моя душа, и мой характер, и моя любовь. Кроме Витберга, кто мог бы это сделать? <...> Я радовался, что черты моего лица выражают столько жизни и восторга».

Как раз в 1835 году в Вятке был открыт городской сад, получивший имя Александровского в честь наследника престола, будущего императора Александра II, но устройство его ансамбля продолжилось, и губернатор поручил Витбергу спроектировать портал и ограду лицевой стороны сада. И этот художник-архитектор настолько успешно вписал строения в парковый и городской ландшафт, что вятский Александровский сад доньше относят к лучшим памятникам классицизма в российской парковой культуре. Наконец именно в Вятке удалось воплотить в камне самый

значительный, после храма Христа Спасителя проект Витберга – Александро-Невский собор. Его начали сооружать в 1839 году на Хлебной площади города, переименованной в Александровскую, и освятили уже в 1864 году, когда Салтыков давно покинул Вятку.

Строительство, хоть и медленное, пришло к впечатляющему результату. «Если град Вятка есть мать градов в благословенной стране Вятской, то храм Александро-Невского собора, сооружённый по столь высоким и святым побуждениям, должен быть достойным величия и славы триипостасного Божества, проявителем чувств общего усердия и признательности к Богу, Благодетелю нашему не только от частных семейств, но и от всех обществ, приходо́в и церквей в здешнем краю существующих, за избавление от бед, столь преславно отражённых от всех и каждого державною десницею уполномоченного свыше избранника Божия, Александра Благословенного», – говорилось в отчёте Комитета по сооружению в городе Вятке Александро-Невского собора, опубликованном в «Вятских губернских ведомостях» в июне 1848 года, то есть вскоре после прибытия Салтыкова в Вятку.

Опальный Витберг вложил в этот, созданный на добровольные народные пожертвования храм всё то, что виделось ему самым выразительным и прекрасным не только в древнерусской, но и в мировой архитектуре – романской, готической, ампирной. Он, словно предчувствуя приход в конце века *русского стиля*, сумел соединить всё это в монументальное целое, и собор стал поистине народным памятником, на долгие годы украшением города, составив вместе со Спасским и Свято-Троицким соборами особую вятскую архитектурную троицу, собиравшую вокруг себя другие вятские церкви. Впрочем, утраченную: все три храма были снесены в 1930-е годы, последним в 1937 году варварски взорвали Александро-Невский собор – с целью добычи кирпича (!). Трудолюбивому шведу, ставшему русским, не повезло при жизни, не повезло и в российской истории. Но он старался в поте лица своего, перешёл в православие из лютеранства и где бы ни оказывался, это пространство любил и преображал.

Так что город, в котором предстояло оказаться титулярному советнику Салтыкову, готовил ему немало занимательного. Отмечая двадцатилетие своего прибытия в Вятку, он опубликовал автобиографический рассказ «Годовщина», начав его с описания своего пути туда, и этот травелог правильнее всего просто прочитать. Дорога пролегла через Шлиссельбург, Вологду, Кострому.

«Я помню, как мы приехали в Шлюссельбург, или, по местному

названию, Шлюшин, и как расходившееся Ладожское озеро заглушало не только говор, но даже крик наш. Я помню, как около “Сяссских Рядков” сломалась подушка у нашего тарантаса и мы вынуждены были остановиться часа на два, чтоб сделать новую; как станционный писарь смотрел на меня, покуда мы пили чай, и наконец сказал:

– Да, нынче “несчастливых” довольно провозят!

Я помню, как мы приехали в недавно выгоревшую тогда Кострому; с каким остолбенением рассказывали нам о бывшем там пожаре; я помню, как мы перевалились наконец за Макарьев (на Унже), как пошли там какие-то дикие люди, которые на вопрос: нет ли что поесть? – отвечали: – сами один раз в неделю печку топим! Помню леса, леса, леса...

Помню, что когда мы въехали в эту непросветную лесную полосу, я как будто от сна очнулся, и в голове моей ясно мелькнула мысль: да! это так! Это иначе и быть не должно! Одной этой мысли достаточно было, чтоб я вышел из моего нравственного оцепенения и понял моё положение во всём его объёме.

Я понял, что всё это не сон. Что я сижу в тарантасе, что передо мной дорога, по которой куда-то меня везут, что под дугой заливается колокольчик, что правая пристяжная скачет и вскидывает кобелями грязи... Не таинственным миром чудес глянули на меня леса макарьевские и ветлужские, а какою-то неприветливою пошло-отрезвляющею правдою будничной жизни.

– Что это, ваше высокоблагородие, уж не плакать ли выдумали! – утешал меня добрейший мой спутник, – а посмотрите-ка, птицы-то, птицы-то в лесу сколько! а рыбы-то в реках – даже дна от множества не видать!

Но, несмотря на это, я продолжал плакать. Мне казалось, что здесь, на этом рубеже, я навсегда покинул здание мысли, любви и счастья, к которому так безрасчётливо привязалось моё молодое воображение, и что затем я уже бесповоротно вступаю в область рябчиков, налимов и окуней...»

Описание лесов сходно с герценовским, но всё же тональность здесь иная. Герцен в этих лесах осознаёт себя путешественником-визионером, Салтыков – частью этого пространства, этого мира, невообразимого им прежде. *Добрейший спутник*, штабс-капитан Рашкевич, становится залогом того, что едет сюда титулярный советник Салтыков надолго. Впрочем, Рашкевич, судя по всему, был служака, и путевые впечатления сопровождаемого не растягивал во времени. В сутки их тарантас делал, как предписывалось, двести вёрст, немало для тогдашних дорог и конной тяги, так что беспросветные леса вдруг кончились – через восемь суток после

отъезда из Петербурга, 7 мая 1848 года, они прибыли в Вятку, прямёхонько к дому губернатора Акима Ивановича Середы на Спасской улице, главной улице города.

В позднесоветское время академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв опубликовал большое эссе «Заметки о русском». Одним из главных его тезисов была идея о том, что каждую страну нужно воспринимать как ансамбль культур – такова и Россия. Противостоя неизбывному отечественному инстинкту центростремительности во всём – от государственного управления до мод и меню, – академик напоминает, что есть и другое на российских просторах – желание разнообразия и своеобразия: «Ведь почти каждый старый дом – драгоценность. Одни дома и целые города дороги своей деревянной резьбой, другие – удивительной планировкой, набережными, бульварами (Кострома, Ярославль), третьи – каменными особняками, четвёртые – затейливыми церквями, пятые – “небрежно” наброшенной на холмы сетью улиц...»

Но одна особенность городского русского ансамбля – не измышленная, не возбуждённая управителями государства, а пришедшая из самой жизни – повторяется многократно в разных краях и местностях. Это, пишет Лихачёв, расположение городов «на высоком берегу реки. Город виден издалека и как бы втянут в движение реки: Великий Устюг, волжские города, города по Оке. Есть такие города и на Украине: Киев, Новгород-Северский, Путивль. Это традиции Древней Руси – Руси, от которой пошли Россия, Украина, Белоруссия, а потом и Сибирь с Тобольском и Красноярском... Город на высоком берегу реки в вечном движении. Он “проплывает” мимо реки...»

Из столичного Петербурга, после уютной Москвы, после родного Спас-Угла неведомая Вятка, древний Хлынов виделась каким-то невероятным, удалённым почти на расстояние Луны местом, куда свозят ссыльных, островом, затерянным среди этих дремуче-девственных лесов – *от потрясённого Кремля до стен недвижного Китая, от хладных финских скал до пламенной Колхиды и, конечно же, от Перми до Тавриды...* («Клеветникам России» Салтыков цитирует в своих сочинениях многократно – и в разных огласовках).

То южная ссылка у Пушкина, то северная, а у Пушкина XIII выпуска – восточная...

«Что это такое? – река или город? и то и другое, но не одно и то же. Река рекой, а город городом, – так начал свой очерк «Вятка» в «Вятских губернских ведомостях» старший советник Вятского губернского правления, статский советник Яков Алфеевский. Напечатан он был 3

сентября 1848 года, то есть вскоре после приезда сюда Салтыкова. – Город Вятка, расположенный по хребтам и падям левого берега реки Вятки, среди своих амфитеатральных окрестностей представляет картину редкую, достойную кисти гениального живописца. Не знаешь, чем более любоваться, окрестностями ли из города или городом из окрестностей? Город стоит как бы в обширном блюде, куда ни поглядишь из него, всюду представляется кайма гор, то покрытых перелесками, пажитями и селениями, то увенчанных белеющими Божиими храмами...»

«Крутогорск расположен очень живописно; когда вы подъезжаете к нему летним вечером, со стороны реки, и глазам вашим издалека откроется брошенный на крутом берегу городской сад, присутственные места и эта прекрасная группа церквей, которая господствует над всею окрестностью, – вы не оторвёте глаз от этой картины...

Но мрак всё более и более завладевает горизонтом; высокие шпили церквей тонут в воздухе и кажутся какими-то фантастическими тенями; огни по берегу выступают ярче и ярче; голос ваш звонче и яснее раздаётся в воздухе. Перед вами река... Но ясна и спокойна её поверхность, ровно её чистое зеркало, отражающее в себе бледно-голубое небо с его миллионами звёзд; тихо и мягко ласкает вас влажный воздух ночи, и ничто, никакой звук не возмущает как бы оцепеневшей окрестности. Паром словно не движется, и только нетерпеливый стук лошадиного копыта о помост да всплеск вынимаемого из воды шеста возвращают вас к сознанию чего-то действительного, не фантастического...»

Это не Чехов, не Бунин. Это строки из введения к «Губернским очеркам», напечатанного в 1856 году. Главный персонаж, рассказчик, въезжает в город. Но кто он – Салтыков, Щедрин, *отставной надворный советник Щедрин*, как он обозначен на титульном листе? Михаил Евграфович всегда очень внимателен, выбирая, кому дать слово: от этого зависят и характер рассказа, и степень его сближенности с действительностью. И потому рассказчик здесь – вобравший всех перечисленных и даже читателя просто путешественник, преодолевший долгий путь и достигший наконец града, в коем обретёт пристанище.

Но в какое время суток впервые въехал в Вятку сам Салтыков, определить непросто. Была пятница, день присутственный, служака-губернатор мог принимать и до глубокого вечера (такое бывало и в Вятке тоже).

28 октября 1887 года, то есть при жизни Салтыкова, в газете «Псковский городской листок» появились «отрывочные воспоминания» некоего *Вятича* о пребывании Салтыкова в Вятке. Несмотря на все усилия

щедринovedов, псевдоним не удалось достоверно раскрыть, хотя, судя по подробностям, это мог быть только записчик (или обработчик) воспоминаний «домашнего врача» губернатора Середы или сам врач. (Поскольку имена если не всех, то большинства врачей в тогдашней Вятке известны, постольку есть основания для дальнейших предположений – так, при хворавшем Серее, вероятнее всего, был старший врач больницы приказа общественного призрения, штаб-лекарь Николай Евграфович Щепетильников. Между прочим, он известен печатными трудами, в которых обобщал свой медицинский опыт.) С другой стороны, не все – правда, второстепенные – подробности воспоминаний *Вятича* соответствуют действительности, хотя это могло быть связано с давностью происшедшего или составлением этих воспоминаний из нескольких источников.

Вот как описывает *Вятич* явление титулярного советника Салтыкова действительному статскому советнику Серее: «В одно осеннее утро 1848 года к дому вятского губернатора подъехала тройка почтовых лошадей; на перекладной телеге сидел какой-то молодой человек. Губернатор Аким Иванович Середа в это время сидел в халате, беседуя со своим домашним врачом. Услыхав стук подъезжающей телеги и звон колокольчиков, он, обратившись к доктору со словами: “Опять привезли какого-нибудь поляка”, поручил ему узнать, кого привезли, а также взять у жандармского офицера сопроводительные бумаги. Доктор вышел в приёмную и увидел молодого человека, среднего роста, с длинными волосами, разминающего свои члены перед зеркалом, произнося при этом: “Вишь, как укатали, черти!”...»

На этой беллетристической реплике следует остановиться. У авторов биографических повестей нередко возникает искушение (порой непреодолимое) оживить повествование прямым диалогом, изображением рефлексирования своих героев, живописными картинками тех или иных событий, бытовых, интимных или исторических. Источником для такой формы рассказа становятся как раз воспоминания, письма, различного рода сочинения современников и так далее. Но это *дорога никуда* (воспользуемся названием романа Александра Грина – чуть ниже станет понятно, почему допустима такая ассоциация).

Прежде всего, любые воспоминания надо проверять и перепроверять другими воспоминаниями, а лучше документами. Мемуаристы всегда поневоле субъективны. Не менее субъективны и письма: их автор, взявшись за перо, нередко стремится не передать информацию, а напротив – скрыть её или представить в необходимом ему свете (потому даже не говорю о



банальном, но неистребимом приёме вкладывать в уста исторических лиц фрагменты их писем, статей и других сочинений). Писания современников, где содержатся сопутствующие ведущемуся биографическому сюжету сведения, также должны быть изучены в реальном контексте их возникновения прежде того, как выхватывать из них что-либо...

И так далее и тому подобное.

Однако вышесказанное вовсе не означает, что автор биографической повести утыкается в стену и должен расщепить о неё своё перо, разбить пишущую машинку или ноутбук. Напротив – у автора биографической повести есть самая увлекательная форма работы с последующей её записью: историко-культурная реконструкция дней и трудов её героя. Так и здесь. Вот Середа в представлении *Вятчи* упоминает о поляках. Переданная в прямой речи эта реплика условна лишь по форме, но по смыслу вполне правдива. Вятская губерния была в числе тех российских местностей, куда ссылали по разным причинам жителей Царства Польского. В частности, два десятилетия спустя здесь оказался будущий отец Александра Грина – участник Польского восстания 1863 года Стефан Гриневский. Кроме того, истории с сосланными в Вятку поляками приводятся *Вятчем* далее.

Салтыков с жандармом, по *Вятчу*, приезжает на «перекладной телеге», запряжённой тройкой. Про тройку можно не сомневаться, но про телегу следует уточнить. По нашим современным представлениям, телега – это прежде всего повозка для груза (мешков, дров, сена и т. д.), а не для междугородных маршрутов. Однако, по словарю Даля, составлявшемуся как раз в середине XIX века, слово *телега* в те времена нередко было синонимом повозки, несло родовое, а не видовое значение. Да и тарантас, появляющийся на первых страницах «Губернских очерков», – слово также родовой принадлежности, как и повозка, экипаж. Это может быть и фаэтон, и дормез (каре́та, приспособленная для сна в пути), и кабриолет... Так что *телега* с жандармом, Салтыковым и его слугой не должна нас смущать.

Зачин с «осенним утром» – прямая ошибка мемуариста. Документально известно, что Салтыков приехал 7 мая. По календарю выясняется день недели – пятница, а с помощью газет того времени можно узнать и погоду в необходимый нам день. Тогда уже десять лет в Вятке по субботам выходили «Вятские губернские ведомости», газета здесь единственная, где в каждом номере «Части неофициальной» печатались «Метеорологические наблюдения». В № 20 сообщается, что 7 мая в городе было облачно и ветрено, к вечеру облака растянуло, стало ясно, потеплело от 14 до 17.

Вятский краевед Е. Д. Петряев в своей книге «М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке» пишет, что 7 мая 1848 года в садах Вятки «уже начинала распускаться сирень». Эта лирическая подробность, наверное, могла возникнуть на основании личных наблюдений Петряева за тем, когда и как распускаются эти прекрасные кусты уже в его время. Но ему можно верить – по своей первой профессии Евгений Дмитриевич был военный врач-эпидемиолог, кандидат биологических наук, а выйдя в отставку в звании полковника, перенёс методики точного исследования в краеведение; его работы сопровождают длинные шлейфы ссылок на архивы, губернские издания и т. д. Естественно, мимо его книги пройти нельзя, и к фактам из неё я не раз буду обращаться и впредь – что, разумеется, не означает простого переписывания.

Например, Е. Д. Петряев предполагает, что *Вятич* – псевдоним Альберта Алоизовича Родзевича (1821–1896), бывшего учителя, ставшего при Салтыкове чиновником особых поручений вятского губернатора. Но если Родзевич был при Салтыкове чиновником, то почему он не оставил собственных воспоминаний? Ясно, что его при появлении Салтыкова у губернатора не было, иначе Середа посылал бы к жандарму Родзевича, а не доктора. Или Родзевич позднее собрал всё ему известное о Салтыкове – лично или по рассказам – и подготовил эти «отрывочные воспоминания»? Вопросы остаются – но на письменном столе биографа. Читателя перегружать такими вопросами ни к чему, ему нужна история и, разумеется, история достоверная. Поэтому биограф договаривается сам с собой: ты въедливо изучаешь написанное другими, а затем, избегая завихрений творческой фантазии, аккуратно выкладываешь читателю то, что у тебя сложилось. Предупреждая его вопросы.

Скажем прямо: портрет Салтыкова у *Вятича* банален (ещё один довод в пользу того, что эти воспоминания вызваны не непосредственными впечатлениями, а последующей славой писателя). Куда выразительнее дан портрет Середы, которого, по *Вятичу*, Салтыкову удалось увидеть не сразу, ибо губернатор по приезде к нему не вышел, а отправил вместе с жандармом к полицмейстеру. Тот принял Салтыкова под расписку и занялся его устройством. Между прочим, эти подробности маршрутирования – только подробности! – оспариваются Александром Лясковским, искушённым исследователем вятской жизни Салтыкова, что вновь напоминает нам о необходимости придерживаться изучения психологических мотивов поступков героя и не завораживаться особенностями памяти мемуаристов.

Середа, по *Вятичу*, был таков: «Высокого роста, угрюмый на вид, с

суровым взглядом голубых глаз из-под нависших бровей, он производил впечатление деспота, в особенности на новичка; при этом справедливость требует сказать, что под эту суровую оболочку хранилось золотое сердце, отзывчивое на всякое доброе дело, спешащее облегчить горе и страдание всякого. Сколько сосланных в то время поляков получили через его содействие прощение! Справедливость, неустанное трудолюбие и бескорыстие делали его образцом губернаторов, в особенности в тогдашнее время».

Этот портрет, во всяком случае, в его психологической части подтверждается в дальнейшем и самим Салтыковым в его письмах. Правда, Середа первоначально определил его в штат губернского правления по канцелярии присутствия канцелярским чиновником без жалованья (по существу, писарем, что особенно трогательно: почерк у Салтыкова был совсем не каллиграфический, мелкий, с вольными вывертами), причём только с 3 июля. Причины этой задержки были связаны с отсутствием более или менее привлекательных вакансий, а может быть, и с какой-то болезнью Салтыкова. Но так или иначе от вынужденного путешествия он отдохнул, причём в самое благодарное время года, а одновременно смог поискать себе подходящее жильё.

Главный вятский адрес Салтыкова – квартира, а затем и весь дом выходца из Баварии, мастера Медянской бумажной фабрики Иоганна Христиана Раша на Вознесенской улице (с 1968 года в нём находится первый в нашей стране музей писателя). Дом был новый, деревянный, на каменном фундаменте, пятикомнатный, с тремя печами, общим размером восемь с половиной метров по уличной линии и 15 – вглубь двора. Салтыков снимал здесь также усадьбу при доме с двумя *службами*, то есть тем, что сегодня называется подсобными помещениями.

Эта часть Вятки считалась окраинной, она отделялась от центра города широким оврагом Засора. В центр с Вознесенской улицы можно было попасть по мосткам или по не менее шаткому, ненадёжному мосту на Царёво-Константиновской улице, названной так по возведённой здесь в 1688 году деревянной церкви во имя святых равноапостольных Константина и Елены, вскоре сгоревшей. Но от пожара среди других святынь была спасена икона Знамения Пресвятой Богородицы, так что когда почти век спустя новое, не раз перестроенное каменное здание церкви освящалось, она получила имя в честь этой иконы и стала именоваться Знаменской, хотя имя *Царёво-Константиновская* сохранилось в городском обиходе, отсюда имя улицы. Салтыков был прихожанином этой церкви, уцелевшей в советское время и действующей доныне. Здания

губернского правления и других присутственных мест располагались близ набережной Вятки перед Александровским садом. Отсюда до дома Салтыкова более двух вёрст, но, впрочем, выбор пути был небольшой: как ни пойдёшь, если не грязи, то пыли на улицах было предостаточно.

Полученная Салтыковым должность была незначительна, но и здесь просматривается здравый смысл: опытный Середа едва ли стремился облагодетельствовать неведомую ему *столичную штучку*, вынужденно попавшую под его начало, во многом вследствие европейских событий 1848 года. А международная обстановка, что и говорить, всегда находила своеобразный отклик в нашей внутренней политике и общественном поведении. В мае и намёка не было на то, что Европа хочет успокоиться. Напротив, бурлила Венгрия, а во Франции после отречения короля Луи-Филиппа была провозглашена республика, где во временном правительстве ключевое место занял прославленный поэт Альфонс де Ламартин, прекрасно известный и в тогдашней читающей России.

Кроме международной обстановки, была у Середы и докуча посерьёзнее. Вскоре после явления Салтыкова в Вятке, ещё в мае он, избавившись от хвори, отправился на север губернии, в Слободской уезд, важнейший на торговом пути Вятка – Архангельск (его центр, город Слободской, даже после антицерковных смерчей XX века называют «вятским Суздалем»). В крае могла начаться эпидемия холеры – и с наступлением июньской жары она действительно началась. В свою очередь засуха привела к обмелению рек, отчего нарушился вывоз товаров, богатого урожая вятской земли – зерна, льна, конопли – всё это водными путями, через Архангельск отправляли за границу. Надо знать, что особой силой вятской жизни было не дворянство. Здесь не было ни дворянских родословных книг, ни собраний дворянства и, значит, дворянских выборов. Зато по числу государственных крестьян Вятская губерния занимала первое место в Европейской России (в помещичьей собственности находилось лишь два процента от общей численности крестьян).

Между прочим, Герцен, рассказывая в «Былом и думах» об альпийских горцах Швейцарии, называл их людьми «такого же закала», который он встречал в Перми и Вятке: «По горам живёт чистое и доброе племя, – племя бедное, но не несчастное, с малыми потребностями, привычное к жизни самобытной и независимой. Накипь цивилизации, её ярь-медянка не осела на этих людях; исторические перемены, словно облака, ходят под ними, мало задевая их. <...> Может, в Пиренеях или других горах, в Тироле, найдётся такой же здоровый кряж населения – но вообще его в Европе давно нет».

На Вятской земле в силе было купечество, деятельность которого зависела в том числе и от урожаев, состояния земных и водных путей и т. д. Вот и получалось: с одной стороны хорошо, что поместное дворянство с его амбициями не мешает, но и купечество желательно не поддерживать, а создавать ему такие условия, чтобы город и губернию поддерживало оно.

По архивным данным, в 1849 году в Вятке насчитывалось около восьми тысяч жителей, из которых купцов всех трёх гильдий было 523, дворян потомственных 192, дворян личных (то есть в абсолютном большинстве чиновников) 740, казённых крестьян 571, дворовых людей 194 (один из них – салтыковский Платон Иванов, которому барин всё никак не мог оформить вольную – то из-за удалённости от Спас-Угла, то потому, что Платон официально числился не за ним). В городе было 86 каменных домов и 764 деревянных, четыре собора, семь церквей, а также пять церквей домовых. Различных лавок и питейных заведений в Вятке насчитывалось до двухсот, было также две гостиницы.

Упоминавшаяся ранее уроженка Вятки-Хлынова Лидия Ионина, в замужестве Спасская (1856–1928), родителей которой связывали с Салтыковым особые отношения, не без иронии писала: «Провинция была в его [Салтыкова] глазах царством тьмы», но она оказалась «не слишком уже тёмною». И приводила свидетельства вятского историка А. С. Верещагина о грамотности большинства хлыновцев уже в начале XVIII века. В 1735 году здесь была открыта духовная семинария (Хлыновская славяно-латинская школа), выпускники которой становились не только священниками вятской епархии. Среди них были как крупные церковные деятели и богословы, так и учёные, в том числе крестьянский сын Константин Иванович Щепин (1728–1770), ставший врачом и реформатором медицины, одним из первых русских диетологов, бальнеологов, а также ботаников-систематизаторов. Значителен его вклад в военную медицину, а смерть учёного-новатора была героической: во время работ по ликвидации эпидемии чумы. Вятским уроженцем и выпускником семинарии был поэт Ермил Костров (1755–1796), первым переведший на русский язык «Илиаду» и «Метаморфозы» Апулея.

Ионина-Спасская называет современников Салтыкова – своих земляков, постоянных авторов столичных журналов, напоминает о том, что, помимо открытой в Вятке публичной библиотеки, домашние библиотеки были обыкновением во многих вятских семьях, и наконец сообщает знаменательный факт: «В 1847 году издавался по подписке в Петербурге альбом “104 рисунка к сочинению Гоголя ‘Мертвые души’ ” – прекрасный альбом работы известного художника Агина. Цена была, если не

ошибаюсь, десять рублей (сумма по тем временам весьма значительная. – С. Д.). Имена всех лиц, подписавшихся на издание, напечатаны на первой странице альбома. Всего было востребовано подписчиками сто пять экземпляров, из которых восемь приходится на долю особ императорской фамилии; шестьдесят пять на долю петербургских жителей, различных графов и князей или аристократов литературы и художеств, например, министр народного просвещения граф Уваров, граф Виельгорский, князь Любомирский и др.; знаменитые писатели: князья Вяземский и Одоевский, Плетнёв, Сологуб, Некрасов, Струговщиков; художники Брюллов, Бруни и тому подобные лица; остальные тридцать один экземпляр разошлись на всю Россию. Из них двадцать было выписано в Вятку».

Словом, медвежьей глушью Вятка не была, и Гоголя, а также, пожалуй, писателей вообще местные интеллектуалы воспринимали явно не так, как Антон Антонович Сквозник-Дмухановский: «Найдётся щелкопёр, бумагомарака, в комедию тебя вставит... Чина, звания не пощадит, и будут всё скалить зубы и бить в ладоши».

Впрочем, бумагомарака в 1847 году уже кропал своё «Запутанное дело», обеспечивая себе подорожную в Вятку и тем материал для «Губернских очерков», где в полумасках выведется вятский бомонд, – саму книгу пронизательный Владимир Зотов, как помним, «Пушкин одиннадцатого выпуска», утверждая мнение многих своих современников, поставит подле «Мертвых душ» и «Записок охотника». Но это через девять лет. А пока губернатор Середа по императорскому повелению брал на службу не наследника Гоголя, не автора «Губернских очерков», «Помпадуров и помпадурш» и «Истории одного города», а столичного холостого юнца, попавшего в немилость к императору и военному министру.

Об Акиме Ивановиче Салтыков, уже перейдя под управление сменившего его губернатора Семёнова, писал брату Дмитрию: «Если бы ты увидал меня теперь, то, конечно, изумился бы моей перемене. Я сделался вполне деловым человеком, и едва ли в целой губернии найдётся другой чиновник, которого служебная деятельность была бы для неё полезнее. Это я говорю по совести и без хвастовства, и всем этим я вполне обязан Середе, который поселил во мне ту живую заботливость, то постоянное беспокойство о делах службы, которое ставит их для меня гораздо выше моих собственных. Середа всегда смотрел на меня с надеждою и участием, и я до конца жизни буду уважать это участие и благоговеть перед памятью этого святого и бескорыстного человека». Принадлежащий к дворянам Полтавской губернии, пятидесятилетний Середа был ветераном войны на

Кавказе, где показал себя отважным офицером и мужественным командиром, затем служил в Оренбургском военном округе, а при переходе на службу гражданскую в 1844 году получил должность губернатора в Вятке.

В 1850 году в городе оказалась ещё одна жертва европейских событий – сорокалетний чиновник особых поручений при московском гражданском губернаторе Илья Селиванов. С 1848 года он был во Франции, писал оттуда письма со своими впечатлениями о происходящем – и, как водится, вскоре после возвращения в Россию был арестован, а затем «за превратный образ мыслей, выраженный в литературных сочинениях и частной переписке» сослан в Вятку, правда, без сопровождения жандарма. К счастью, его «отчуждение» оказалось непродолжительным, десять месяцев, но он успел послужить в вятском статистическом комитете, познакомиться с Салтыковым, составить своё мнение о Серее и дать его портрет (вскоре Селиванов стал довольно известным писателем, причисленным к *обличительному* направлению в литературе).

«Это был высокий, с проседью человек, серьёзный, малоразговорчивый, очень красивый, должно быть, в молодости; ему было лет около пятидесяти, – пишет Селиванов о губернаторе. – Это была такая благородная, такой высокой честности личность, какие встречаются не часто; труженик своей должности, он сделался жертвою своего усердия к службе; часто, когда люди шли к заутрени (в Вятке вообще люди очень богомольны, и священники, как исключение из общего правила, заслуживали полного уважения, как по своей образованности, так и по уменью держать себя), в его кабинете видели огонь, – он ещё не ложился». Будучи «губернатором в губернии ссыльных», он «много мог бы наделать зла», но он «был провидением несчастных».

Столь же высоко отзывался о неподкупном Серее, знавший его по Оренбургу Алексей Плещеев, поэт, а впоследствии сотрудник Салтыкова в «Отечественных записках»: «Умный и деятельный, обаятельный как личность, он не знал никаких побуждений корысти и карьеры. Он желал работать только для пользы дела. К высокому посту начальника обширнейшего края он был приведён собственными и действительными заслугами. Связей он не имел и не искал их, даже чуждался петербургских сфер... Он был великий труженик, службе отдавал всё, включая и личную жизнь, в которой, может быть, потому был несчастлив».

Став губернатором, первым делом Серее изучил состояние дел в подведомственном ему крае и взялся за канцелярию и присутственные места, расширил деятельность статистического комитета, одного из первых

в России, чиновники которого, помимо прочего, собирали материалы по истории губернии. Особое внимание он уделял отчётам, отправляемым в столицу, не без оснований полагая, что жёсткий анализ происходящего может если не устранить проблемы, то во всяком случае сделать их заметными даже из Зимнего дворца. Середа старался искоренить волокиту в земских судах, добивался увеличения числа полицейских чиновников, надзиравших за Вятской губернией (площадью около 160 тысяч квадратных вёрст, что, для наглядности, немногим меньше площади современных Эстонии, Латвии и Литвы вместе взятых).

К слову, возможно, доклады Середы в столицу и способствовали отправке туда недобровольным образом грамотных чиновников. Середа писал со всей определённости: «В достижении отличной исправности в Вятской губернии представляется, может быть, более, нежели где-либо, затруднений по недостатку способных, благонамеренных и с хорошим поведением чиновников. Внимательное наблюдение, к сожалению, не оставляет сомнений, что многие из служащих в Вятской губернии, не исключая и состоящих в губернском правлении, могут быть терпимы только по недостатку лучших. Переходящие сюда из других губерний... почти исключительно состоят или из чиновников, вовсе нетерпимых уже на службе в других губерниях, или из канцелярских служителей, молодых людей, не имеющих ещё опытности, необходимой для того, чтобы они могли быть употребляемы с пользою для службы». Надо заметить, что Салтыков, вскоре пошедший резко вверх по служебной лестнице, став причастным к составлению годовых отчётов, эту кадровую проблему продолжал подчёркивать. «Открытый по закону вызов лиц на службу в Вятскую губернию, – говорится в отчёте за 1850 год, – хотя вначале доставил возможность заместить некоторые полицейские места способными и надёжными чиновниками, но впоследствии не приносил почти никакой пользы. Часть из приехавших на службу из других губерний лиц – люди малоспособные, без всякого почти образования. Таким образом, мера эта далеко недостаточна».

Делал Салтыков это, понятно, по нескольким причинам, среди которых своё место занимала и личная: отправленный в Вятку бессрочно, он мог рассчитывать на возвращение в столицу или хотя бы на перевод поближе к Заозерью и Спас-Углу только при благополучии дел в Вятке, то есть укреплении чиновничьего корпуса. Поэтому и сам он работал не за страх, а за совесть. Но, без сомнений, в начале самостоятельного служебного поприща (канцелярская служба в Военном министерстве явно не принесла ему сколько-нибудь поучительного опыта) ему повезло попасть в среду,



созданную Середой (каламбур напрашивается), – нацеленную на добросовестное исполнение своих обязанностей, на преуспевание губернии.

## При исполнении особых поручений

Мелкая чиновничья должность, поначалу полученная Салтыковым, его совсем не устраивала, и он обратился за помощью к своему непосредственному начальнику, вятскому вице-губернатору, должность которого исправлял тогда бывший лицеист Сергей Александрович Костливцов (в современном начертании чаще Костливцев).

Как видно, Костливцов руководствовался не только неписаным кодексом лицейского братства, но и собственными наблюдениями за Салтыковым, когда посоветовал ему вовсе не являться на службу. Но в то же время и он, и Салтыков, очевидно, предприняли определённые действия, адресуясь ко своим столичным приятелям – так что вскоре Середа получил два благоприятных для Салтыкова письма, частных, но написанных крупными чиновниками Министерства внутренних дел. Одно – от директора хозяйственного департамента Николая Милютина, принадлежащего к прославившейся вскоре семье российских реформаторов, человека редчайшей доброжелательности, уже пытавшегося помочь Салтыкову в дни скандала с «Запутанным делом». Второе – от чиновника особых поручений, бывшего лицеиста Якова Ханькова. Оба рекомендовали Салтыкова с наилучшей стороны и просили Середу найти его способностям должное применение.

Губернатор, приняв к сведению эти рекомендации, однако, не торопился. Лишь с 12 ноября 1848 года Салтыков получил должность старшего чиновника особых поручений при вятском гражданском губернаторе – хотя вновь без содержания. Теперь ходить на место новой службы, требовавшее ежедневного на ней пребывания, стало ближе. Это была канцелярия губернатора – одноэтажный угловой флигель на Спасской улице, рядом с губернаторским домом. Начиналась одна из самых удивительных чиновничьих карьер в истории России.

Поначалу Салтыкову выпало стать, по сути, детективом, занявшись изучением и расследованием целого ряда дел, зависших в канцелярии. Первым на его стол легло дело неопределённого заседателя Вятского земского суда Крылова, под колёсами свадебного кортежа которого погиб ребёнок. Дознание по делу как стряпчий проводил секретарь суда Лукин, и Крылов попытался вызвать благосклонность своего сослуживца, а когда тот повёл расследование беспристрастно, начал привлекать на свою сторону знакомых, родственников, тех вятчан, которые в той или иной форме могли

оказать на Лукина давление. В итоге дело, как водится, погрязло в кляузах и четыре года оставалось без движения – только бумаги множились. Салтыков вник в его подробности и подготовил для передачи в суд. Также он занялся ещё шестью делами, требовавшими «безотлагательного окончания следствия», среди которых для нас представляют литературный интерес дела «о найденном в реке мёртвом крестьянине Пантелееве и о вымогательстве, учинённом в связи с сим жителям деревни Кирибеево» и «о сборе денег с крестьян деревни Пахомовской Троицкой волости в пользу станового пристава Двинянинова».

Как знать, может быть, именно они подтолкнули автора «Запутанного дела», ставшего старшим чиновником особых поручений, к обновлению своих литературных стратегий и положили начало «Губернским очеркам», принёсших ему литературную славу. Так, дело о мёртвом крестьянине нельзя назвать рутинным по нескольким основаниям. Не только потому, что обнаружение трупа всегда, и в те времена тоже, требовало расследования причин смерти. Такие факты вызывали, с одной стороны, юридические последствия, а с другой стороны, находили отклик в русской литературе ещё до Салтыкова.

Сюжет с мёртвым телом неожиданно стал едва ли не бродячим, хотя само это выражение восходит ещё к Священному Писанию. В книге пророка Исаии читаем: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мёртвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе..» (26:19; в живом русском языке очень существенно это различие: *мёртвое* – означает то, что не связано с таинственным существованием души человека, в то время как *мёртвое* – лишившее души, восходящее именно к сакральным текстам или прямо связанное с ними; здесь многострадальная буква ё, как всегда передаёт различие в смысле, напоминает, что в церковнославянском (старославянском) языке её нет, у неё своё ответственное поле деятельности и уже тем требует своей радостной приязни). *Мёртвое тело* – плоть без души, понятие онтологически важное, но естественно, что это выражение существовало и широко употреблялось также в бытовом значении. Даль в своём словаре приводит такие выражения, как «упился до мёртвого тела» (II, 319) и «мёртвым (мёрзлым) телом хоть забор подпирай» (IV, 448). Но до этого, ещё в петровские времена, появилась литературная обработка русской народной сказки «Повесть о купце, купившем мёртвое тело». В детские годы Салтыкова «Сказка о мёртвом теле, неизвестно кому принадлежащем» появилась в сборнике Владимира Одоевского (1833). То есть существует специфика обращения в речи неделимого словосочетания «мёртвое тело», которое при явной информационной избыточности

представляет собой соединение религиозно опосредованной метафоры и юридического термина.

Сам Салтыков открывает сюжетное повествование «Губернских очерков» «Первым рассказом подьячего» (в журнальной первопубликации – «Рассказ подьячего»: «Русский вестник», август 1856 года), вошедшим в раздел «Прошлые времена». Здесь очевидна авторская перестраховка – он относит описываемое, во всяком случае, к предшествующему, николаевскому царствованию. И даже именует своего персонажа-повествователя «подьячим» – сохранившимся лишь в бытовой речи допетровским названием одного из низших административных чинов, переименованных уже в 1720-е годы в подканцеляристов. Хотя в рассказе перед нами, судя по всему, становой пристав, это определение появляется в книге много позднее. Станового пристава назначал губернатор и, хотя он был подчинён земскому исправнику и земскому суду, фактически именно он становился высшей властью над жителями своего стана (стан в императорской России того времени объединял несколько волостей в существовавшей административно-хозяйственной системе: сельское общество – волость – уезд – губерния). Приставу было вменено в обязанность исполнять законы и распоряжения правительства, а также наблюдать за их исполнением жителями и поддерживать правопорядок в стане. Кроме того, что очень важно, пристав был заседателем в земском суде (отметим, что Салтыков именно с этой подробности и начинает «Первый рассказ подьячего»).

Но так в документах, а жизнь предлагала свои обстоятельства, и вот на них-то и обращает внимание Салтыков, знаменательно переименовывая пристава в подьячего, что должно подчеркнуть особые взаимоотношения между властью и народом – сложившиеся ещё в далёкие допетровские времена, но никак существенно не изменившиеся доньше.

Живая речь, монолог персонажа зачастую, особенно в большом произведении, может сказать читателю больше, чем авторская препарация событий. Вот и салтыковский «подьячий» на нескольких страницах, данных ему автором, со всей откровенностью живописует то, что было и остаётся в истории как нашей страны, так и всего человечества, неистребимым: вымогательство, сбор денег в пользу станового пристава и т. п., то есть взяточничество или, говоря по-современному, коррупцию.

Пагуба порока выглядит особенно выразительно, когда есть история, где порок этот проявляется с особой злостью, циничностью, бесчеловечностью. Салтыков такой пример отыскал в вышеупомянутом деле «о найденном в реке мёртвом крестьянине Пантелееве и о

вымогательстве, учинённом в связи с сим жителям деревни Кирибеево». Хотя в рассказе историю о мёртвом теле, найденном в пруду кумачной фабрики купца Платона Троекурова, сопровождает феерический каскад других историй о вымогательстве, куда входят даже гиньольные сюжеты с оспопрививанием крестьян и рекрутским набором.

Что же происходило с *мёртвыми телами* в изложении подъячего?

«Заводчиком» всяческого взятковымогания был уездный лекарь, который «наставлял нас всему» и жил с убеждением: «никакого дела, будь оно самой Святой Пасхи святее, не следует делать даром: хоть гривенник, а слупи, рук не порти». «Утонул ли кто в реке, с колокольни ли упал и расшибся – всё это ему рука. Да и времена были тогда другие: нынче об таких случаях и дел заводить не велено, а в те поры всякое мёртвое тело есть мёртвое тело. И как бы вы думали: ну, утонул человек, расшибся; кажется, какая тут корысть, чем тут попользоваться? А Иван Петрович знал чем. Приедет в деревню, да и начнёт утопленника-то пластать; натурально, понятия тут, и фельдшер тоже, собака такая, что хуже самого Ивана Петровича.

– А ну-ка ты, Гришуха, держи-ко покойника-то за нос, чтоб мне тут ловчей резать было.

А Гришуха (из понятых) смерть покойника боится, на пять сажен и подойти-то к нему не смеет.

– Ослобони, батюшка Иван Петрович, смерть не могу, нутро измирает!

Ну, и освобождают, разумеется, за посильное приношение. А то другого заставляет внутренности держать; сами рассудите, кому весело мертвечину ослизлую в руке иметь, ну, и откупаются полегоньку, – ан, глядишь, и наколотил Иван Петрович рубликов десяток, а и дело-то всё пустяковое».

История для современного читателя вполне понятная, правда, не совсем ясно с особым значением в вымогательстве *мёртвого тела*, тем более что в рассказе подъячего с ним связана ещё одна история. Всё началось с того, что чиновники никак не могли добиться от богатого купца Троекурова какой-либо для себя «прибыли», то есть приношений. Направить дело в нужную сторону помог случай – «мёртвое тело нашли неподалёку от фабрики». И Иван Петрович придумал. Троекурову, рассказывает подъячий, он диктует соответствующее письмо: «“По показаниям таких-то и таких-то поселян (валяй больше), вышепоименованное мёртвое тело, по подозрению в насильственном убийтии, с таковыми же признаками бесчеловечных побоев, и притом рукою некоего злодея, в предшедшую пред сим ночь, скрылось в фабричном

вашем пруде. А посему благоволите в оный для обыска допустить”.

– Да помилуй, Иван Петрович, ведь тело-то в шалаше на дороге лежит!

– Уж делай, что говорят.

Да только засвистал свою любимую “При дороженьке стояла”, а как был чувствителен и не мог эту песню без слёз слышать, то и прослезился немного. После я узнал, что он и впрямь велел сотским тело-то на время в овраг куда-то спрятать.

Прочитал борода наше ведение, да так и обомлел. А между тем и мы следом на двор. Встречает нас, бледный весь.

– Не угодно ли, мол, чаю откушать?

– Какой, брат, тут чай! – говорит Иван Петрович, – тут нечего чаю, а ты пруд спущать вели.

– Помилуйте, отцы родные, за что разорять хотите!

– Как разорять! видишь, следствие приехали делать, указ есть.

Слово за словом, купец видит, что шутки тут плохие, хочь и впрямь пруд спущай, заплатил три тысячи, ну, и дело покончили. После мы по пруду-то маленько поехали, крючьями в воде потыкали, и тела, разумеется, никакого не нашли. Только, я вам скажу, на угощенье, когда уж были мы всё выпивши, и расскажи Иван Петрович купцу, как все дело было; верите ли, так обозлилась борода, что даже закорчился весь!»

К сожалению, хотя взятки, судя по всему, неистребимы, история взяточничества требует исторических же комментариев – и истории с мёртвым телом тоже. Механизм вымогательств с помощью мёртвого тела, как это нередко бывает, был заложен тогдашним законодательством. 3 июня 1837 года появился высочайше утверждённый наказ чинам и служителям земской полиции (тогда-то и появилась должность станового пристава, которому подчинялись сотские и десятские). В «Обязанностях земской полиции по предмету осмотра найденных мёртвых тел и производства следствий об оных» говорится: «Когда найдено будет в поле, в лесу или же ином месте, мёртвое тело, то сотский, осмотрев и заметив имеющиеся на оном знаки, доносит о том немедленно Становому Приставу; к телу же приставляет стражу из поселян, под надзором десятских, и велит его хранить в удобном и безопасном месте до приказанья. Между тем он старается узнать, кто был умерший, и не подозревается ли кто в убийстве его, и о сём, по прибытии Станового Пристава, также ему доносит. В случае скоропостижной, или почему-либо иному возбуждено подозрение смерти, десятские доносят об оной сотскому, а сей последний Становому Приставу, оставляя тело под надёжным осмотром».

Источник злоупотреблений властей, отразившихся у Салтыкова,

содержится также в следующих параграфах вышеназванного наказа: «§ 63. Становой Пристав наблюдает, чтобы умершие скоропостижно, равно и мёртвые тела, найденные на дорогах, в полях, лесах и при реках, не были погребаемы без его разрешения. Он обязан при всяком таковом случае исследовать: точно ли и от чего внезапная смерть последовала?» И далее: «§ 64. Если будут, по достоверным свидетельствам, признаны видимые и несомнительные причины смерти, как-то: поражение молниею, нечаянный ушиб, чрезмерное употребление крепких напитков, угар, утопление, самоубийство от известного уже помешательства ума и тому подобные, то Становой Пристав, удостоверясь в том чрез исследование, дозволяет предать тело земле. Но если напротив откроется сомнение или подозрение о постороннем насильственном действии, или же причины смерти не совсем ясны, то Пристав, прежде погребения трупа, требует присылки уездного врача» и т. д.

Салтыков не просто показал, как легко находятся в юридических предписаниях лазейки для их извращения. Уже в самом начале книги он напомнил о важнейшем: *буква закона* не просто находится в сложной связи с *духом закона*. Сам дух закона становится абстракцией, если он не соотнесён с тем, что называется *духом народа*, его пониманием смысла закона и законодательства как такового.

\*

В «Губернских очерках» очевидны и следы штудий Салтыкова-читателя. Вскоре после его кончины юрист и публицист Константин Арсеньев опубликовал в журнале «Вестник Европы» (1890. № 1–2) «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова». Они приобрели особое значение, ибо все бумаги Салтыкова, относящиеся, в частности, к вятскому периоду, с которыми работал Арсеньев, сгорели в пожаре на его даче. От него мы узнаём, что Салтыков, увлёкшись давно известным в России трактатом «О преступлениях и наказаниях» итальянского правоведа и философа-просветителя Чезаре Беккариа (1738–1794) и самой историей его жизни, оставил заметки, представляющие собой вольные размышления над идеями Беккариа. Так, он ставит под сомнение тезис итальянца, что люди «согласились, молчаливым контрактом, пожертвовать частью своей свободы, чтобы пользоваться остальным спокойно и чтобы воздерживать постоянные усилия отдельных лиц к восстановлению полной свободы». «Нельзя себе представить, – возражает Салтыков, – чтобы человек мог

добровольно отказаться от части свободы, да и нет в том никакой необходимости».

В другой заметке, «Об идее права», Салтыков высказывает убеждение, что в уголовных законах «отражается, со всеми её безобразными или симпатическими сторонами, внутренняя и внешняя жизнь народов. Если нравы народа мягки, если в сознании народном живёт идея правды, то законодатель является не исключительным запретителем или равнодушным карателем известной категории действий, называемых преступлениями. <...> Редко случается так, что уголовный кодекс является не продуктом народной жизни, а чем-то случайным, внешним, применённым к народу без всякой живой с ним связи. Такие факты никогда не проходят даром; рано или поздно народ разобьёт это Прокрустово ложе, которое лишь бесполезно мучило его. Как бы ни был младенчески неразвит народ (а где же он развит?), он всё-таки никогда не хочет улечься в тесные рамки искусственно задуманной административной формы».

Не потому ли, что в «Первом рассказе подьячего», отнесённого как бы к «прошлым временам», за фарсовыми историями просматриваются общие черты своеобразного российского правоприменения, исходящего из векового принципа: *закон что дышло*, и другие писатели стали предлагать новые вариации на тему *мёртвого тела*. О случаях с *мёртвым телом* как возможности получить взятку и метафоре российских отношений в обществе чуть раньше Салтыкова сказал Герцен: «Начнётся следствие о мёртвом теле какого-нибудь пьяницы, сгоревшего от вина и замёрзнувшего от мороза. И голова собирает, староста собирает, мужики несут последнюю копейку. Становому надобно жить; исправнику надобно жить, да и жену содержать; советнику надобно жить, да и детей воспитать, советник – примерный отец... Чиновничество царит в северо-восточных губерниях Руси и в Сибири; тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки... даль страшная, все участвуют в выгодах, кража становится *ges publica*. Самая власть царская, которая бьёт как картечь, не может пробить эти подснежные, болотистые траншеи из топкой грязи. Все меры правительства – ослаблены, все желания искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано, и всё с видом верноподданнического раболепия и с соблюдением всех канцелярских форм».

Здесь, нельзя не отметить, возможно, таится литературно-конспиративный сюжет. Дело в том, что приведённые выше строки, вошедшие в итоге в «Былое и думы», впервые были напечатаны в книге «Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера» (Лондон, 1854). Можно предположить, что это издание могло попасть в руки Салтыкову сразу



после его возвращения из ссылки и вызвать свои воспоминания об историях с *мёртвым телом*. Так или иначе, вскоре после появления «Губернских очерков», которые читала вся Россия, вышли одноимённые рассказы Владимира Даля (1857) и Василия Слепцова (1866), стихотворения Ивана Никитина (1858) и Николая Некрасова (1861), «Следствие» (1867) Николая Успенского. Но Салтыков, сделав акцент на связи лихоимства с важнейшим в человеческой жизни событием: смертью, причём в этих обстоятельствах соединённой с государственно-общественными отношениями, переводит то, что его рассказчик воспринимает как забавный анекдот, в метафизическую сферу. И главное – задаёт особую тональность в восприятии последующих страниц «Губернских очерков»...

Впрочем, мы зашли в биографии Михаила Евграфовича на восемь лет вперёд. Зашли ради того, чтобы отметить его замечательное качество – умение извлекать из одного и того же факта, события, дела сразу несколько смыслов – от злободневного до экзистенциального. И не просто извлекать, но находить им должное место в своих творениях, причём относясь к их первоисточникам с абсолютной творческой свободой.

Но вернёмся в осеннюю Вятку 1848 года, в кабинет старшего чиновника особых поручений Салтыкова.

Вятское время в биографии Михаила Евграфовича – не просто в жизни, но и в творческой биографии – невозможно переоценить. Прежде всего, в эти годы произошло преобразование романтика-лирика в романтика-философа. До Вятки вечный идеал Салтыкова парил над Петербургом, над его уже двоящимся внутри себя миром: «В самом деле, и туман, который, как удушливое бремя, давит город своею свинцовою тяжестью, и маленькая, острая жидкость, – не то дождь, не то снег, – докучливо и резко дребезжащая в закрытые окна кареты, и ветер, который жалобно стонет и завывает, тщетно силясь вторгнуться в щегольской экипаж, чтоб оскорбить нескромным дуновением своим полные и самодовольно лоснящиеся щёки сидящего в нём сытого господина, и гусиные лапки зажжённого газа, там и сям прорывающиеся сквозь густой слой дождя и тумана, и звонкое, но тем не менее, как смутное эхо, долетающее “пади” зоркого, как кошка, форејтора – всё это, вместе взятое, даёт городу какую-то поэтически улетучивающуюся физиономию, какой-то обманчивый колорит, делая все окружающие предметы подобными тем странным, безразличным существам, которые так часто забавляли нас в дни нашей юности в заманчивых картинах волшебного фонаря...»

Уже в Вятке, за которой последовали Рязань, Тверь, Пенза, Тула, под

видимым Салтыкову небесным Градом Божьим простирались грады и вести тысячелетней России, черты «поэтически улетучивающейся физиономии» которой имели совершенно иной, в отличие от Петербурга колорит, – и подавно совершенно иной жизнь этих городов и весей оказывалась в действительности.

Вслед за дознаниями по самым разнообразным делам, залежавшимся в его ведомстве, Салтыков был посажен Середой за составление годового отчёта по управлению губернией. Этот ежегодный документ имел особое значение, ибо один из его экземпляров предназначался лично императору, который, заметьте, внимательно его прочитывал. При этом за долгое время существования такой отчётности, естественно, уже существовали её проверенные формы и сама логика, predetermined обязательным выводом об общем благополучии жизни в губернии.

Но Салтыков презрел проверенную бюрократическую поэтику. Его отчёт, свободный от шаблонов, выглядит как своего рода аналитический репортаж с особым вниманием именно к проблемам губернии, требующим правительственного вмешательства. Отказ от принятых фраз-формул позволил ему в деловом стиле, как впоследствии в «Губернских очерках» в стиле художественном, обозначить не просто факты, а существующие за ними юридические, экономические, государственные огрехи. И если в первый год в итоговом варианте отчёта у Салтыкова были соавторы – другие чиновники и сам Середа, – то в последующие три года составление годовых отчётов, также поручавшееся ему, приобретало всё больше салтыковских черт. Наконец отчёт 1850 года становится уже, с небольшими оговорками, авторским документом самого Салтыкова, дополнением к его творческим сочинениям, которым невозможно пренебречь как свидетельством становления стиля писателя.

Так, в разделе «Состояние крестьян всех ведомств» он счёл необходимым сообщить следующее: «С каждым годом заметны весьма резкие и значительные улучшения как в нравственном, так и в материальном быте государственных крестьян. Главнейшие пороки государственных крестьян в Вятской губернии, свойственные, впрочем, вообще всем местным жителям, заключаются в страсти к пьянству и ябедничеству. К искоренению первого из сих пороков, как подрывающего материальное благосостояние крестьян, направлены постоянные заботливые действия местного управления государственными имуществами, состоящие во внушении крестьянам пагубных последствий сего порока и в употреблении самых строгих мер наказания в отношении к лицам, предающимся пьянству. Сверх того, лица, замеченные в

расточительности и развратном поведении, по распоряжению начальства, отдаются под присмотр общества, а имения их берутся в опеку. Весьма важное влияние может иметь на нравственность крестьян предоставленное обществу по закону право отдавать в рекруты крестьян, замеченных в дурном поведении, и ссылат в Сибирь на поселение тех из них, которые опорочены по суду».

Если учесть, что годовые отчёты писались на основании многих десятков документов – прежде всего докладов по отделам губернского правления, где состоянию крестьян неизменно уделялось особое внимание, – то станет очевидным: помимо собственных впечатлений, Салтыков использовал огромный аналитический материал из всех сфер вятской жизни. Поэтому в «Губернских очерках», да и не в них одних, не раз встречаются отзвуки тем и фактов служебных бумаг, к которым имел касательство автор – естественно, художественно обработанных.

Например, в связи с крестьянской «страстью к ябедам» вспоминаются остро сатирические «Озорники», главный персонаж которых заявляет: «Вы мне скажете, что грамотность никто и не думает принимать за окончательную цель просвещения, что она только средство; но я осмеливаюсь думать, что это средство никуда не годное, потому что ведёт только к тому, чтобы породить целые легионы ябедников и мироедов». Столь же хитроумно введена в книгу и тема пьянства, начиная со знаменитого пассажа: «Сон и водка – вот истинные друзья человечества. Но водка необходима такая, чтобы сразу забирала, покоряла себе всего человека; что называется вор-водка, такая, чтобы сначала все вообще твои суставчики словно перешибло, а потом изныл бы каждый из них в особенности. Странная, однако ж, вещь! Слыл я, кажется, когда-то порядочным человеком, водки в рот не брал, не наедался до изнеможения сил, после обеда не спал, одевался прилично, был бодр и свеж, трудился, надеялся, и все чего-то ждал, к чему-то стремился... И вот в какие-нибудь пять лет какая перемена! Лицо отекло и одрябло; в глазах светится собачья старость; движения вялы; словесности, как говорит приятель мой, Яков Астафьич, совсем нет... скверно!

И как скоро, как беспрепятственно совершается процесс этого превращения! С какою изумительною быстротой поселяется в сердце вялость и равнодушие ко всему, потухает огонь любви к добру и ненависти ко лжи и злу!»

Особенно трогательно, что это бурное освоение Салтыковым жизни российской глубинки и вместе с тем выразительных возможностей русского языка проходило при полном отсутствии жалованья да ещё и с

наложением неудобств иного свойства. Хлопоты Салтыкова по возвращению в столицу не достигали успеха, зато ему, уже ставшему приходить в себя после катаклизма 1848 года, о нём вдруг напомнили. В Петербурге разворачивалось дело петрашевцев, и 30 августа 1849 года из Третьего отделения (то есть жандармерии) вятскому губернатору был отправлен пакет с пометами «весьма секретно» и «в собственные руки», где находилась просьба «отобрать» от Салтыкова «письменные ответы» на несколько вопросов в связи с делом о титулярном советнике Буташевиче-Петрашевском. Но когда пакет прибыл в Вятку, Аким Иванович Середа находился в Елабуге. Курьер с пакетом отправился туда, а уж из Елабуги пакет вместе с Середой поехал вновь в Вятку.

Условия грядущего мероприятия были, мягко говоря, экстравагантными: саму бумагу Салтыкову не предъявлять, а лишь отобрать у него письменные ответы на изложенные в ней вопросы, которые касались знакомства с Петрашевским и другими лицами из его окружения, участия в собраниях, обсуждения «предметов политических» и т. д. «Все это Салтыков обязан объяснить с полной откровенностью, – говорилось в сопроводительном письме, подписанном самим управляющим Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, начальником штаба Корпуса жандармов, генерал-лейтенантом Леонтием Васильевичем Дубельтом, – обнаружив, если ему известно, всех лиц, принимавших участие в суждениях и действиях Петрашевского и подтверждая при том каждое указание или какой-либо вывод определёнными фактами».

Губернатор поручил выполнить эту просьбу-приказ советнику губернского правления, коллежскому асессору Ивану Кабалерову, причём «внезапно» и в присутствии вятского жандармского штаб-офицера, полковника. Так что 24 сентября в шесть часов вечера в дом к гостеприимному Салтыкову вдруг явились гости внезапные, и *отобрание ответов* началось. Бумаги эти сохранились, хотя для биографии Салтыкова они представляют небольшой интерес. Он отвечал искренне, подробно, но скрывать, по чести, ему было нечего – устремлённый к социал-радикализму агрессивный мечтатель Петрашевский и его ближайшее окружение явно не были героями салтыковской судьбы. Он вновь указал на главный пункт своих расхождений с интересовавшим жандармов деятелем:

«Петрашевский предложил сделать складку, сколько кто может, на выпуск книг, преимущественно школы Фурье, но из нас некоторые, а в том числе Есаков, Данилевский, Майков и я, настаивали и настояли на том, чтобы библиотека была составлена не из одних книг, касающихся

социальных систем, но по преимуществу, из сочинений политико-экономистов. Впрочем, этой библиотекою я вовсе не занимался, и книг из неё почти никогда не брал, за весьма малыми исключениями, и какие именно книги выписывались не знаю, потому что Петрашевский, как распорядитель, совершенно забрал деньги к себе и выписывал, что хотел, а по преимуществу ничтожные и по существу и по цене своей брошюры вроде: “Rotschild roi des juifs”<sup>[8]</sup> и разные другие.

Всё это вместе взятое, и кроме того разные выходки Петрашевского, выходки дикие и неуместные, клонившиеся большею частью к произведению скандала в публичных местах, а также появление в нашем обществе новых лиц, с которыми я не имел никакой охоты сблизиться, как напр. Благовещенского, какого-то господина в синих очках, произвели мало-помалу охлаждение в отношениях моих к Петрашевскому, так что, с начала 1846 года или в конце 1845 года, я совершенно прекратил с ним всякое знакомство, и разве изредка встречался с ним на улице. В одно время со мною перестали ездить к Петрашевскому Есаков и Майков. Что же касается до Данилевского и Григорьева, то первый из них около этого времени выбыл из Петербурга и прожил в деревне более года, а второго я так мало знал, что не интересовался знать, что с ним сделалось».

Салтыков признавал, что «в собраниях у Петрашевского бывали иногда и политические разговоры, но они никогда не имели другого предмета, кроме текущих новостей. Особенно демагогических идей не помню, чтобы кто-нибудь высказывал, исключая разве Петрашевского, который делал это более по удали и молодечеству, нежели по убеждению. Резкость мнений Петрашевского была одною из причин моего отдаления от него вместе с Майковым и Есаковым».

Понятно, что при таких подневольных *отобраниях ответов*, когда дело исходит из цензурирования мыслей, а не из преследования за противоправные действия, любой человек с представлениями о чести и достоинстве сделает всё возможное, чтобы смягчить мнение карающей стороны о тяжести вины подозреваемых. Здесь Салтыкову даже лукавить не пришлось: несимпатичный ему Петрашевский по характеру своему был личностью вздорной, склонной к спорадическим проявлениям чувств, ищущей споров, столкновений, конфликтов.

Но самое важное, что Салтыков сумел повернуть визит нежданных гостей в свою пользу. После того как ответы у него были *отбраны*, он не только не впал в волнение, но сел за стол и уже в благом одиночестве написал дополнение к своим показаниям, где подчеркнул свой интерес к сугубо литературным занятиям и таковой же у Петрашевского, а также своё

«желание заниматься политической экономией» и «пенитенциарною системой». Однако Петрашевский не выполнял его просьбы выписывать труды «главнейших экономистов» и «сочинения о тюремной системе», а, выписав в 1846 году трактаты «Thorie de l'emprisonnement» par Ch. Lucas и «Le systeme pnitentiare en Amrique» par Qustave de Beaumont, вдруг, по словам Салтыкова, не позволил ему читать таковые по причине неуплаты очередного взноса на покупку (когда же Салтыков вносил деньги, покупались книги ему ненужные). После этого их отношения были окончательно прекращены.

После изложения этой меркантильной истории Салтыков пишет собственно то, ради чего он и решился на это «дополнительное показание». «При сём осмеливаюсь сказать несколько слов о собственном моём положении, – выводит он своих читателей, среди которых могли оказаться и Дубельт, и сам император, к главной для него теме. – Находясь полтора года в изгнании и удалённый от родных, я, как особой милости, прошу в оправдание своё рассмотреть статью, за которую я наказан. Я вполне убеждён, что в ней скорее будет замечено направление совершенно противное анархическим идеям, нежели старание распространить эти идеи. Постоянный мой скромный образ жизни, постоянное моё усердие по службе, которое как бывшим, так и настоящим моим начальством может быть засвидетельствовано, достаточно опровергают мысль о разрушительных будто бы намерениях моих. Более же всего непричастность моя подобным намерениям доказывается постепенным моим удалением с 1846 года от общества Петрашевского. Конечно, и у меня были заблуждения, но заблуждения эти были скорее результатом юношеского увлечения и неопытности, нежели обдуманном желанием распространять вред, да и при том же за них я уже полтора года страдаю изгнанием. Хотя я, по особой милости Государя Императора, переведён в г. Вятку не просто на жительство, а на службу, но я доселе не имею никакого штатного места, да и едва ли могу его иметь, потому что характер сосланного по Высочайшему повелению будет постоянной преградой к поручению мне какой-либо сколько-нибудь значительной должности. Таким образом, служебная карьера, на которую я единственно рассчитывал, навсегда для меня закрыта.

Все эти обстоятельства и, наконец, искреннее моё раскаяние в совершённом моём проступке, осмеливаюсь повергнуть на милостивое усмотрение правительства».

Хотя главной своей цели это *показание* не достигло, и Салтыков был оставлен в Вятке, из дела Петрашевского он был исключён и оставлен в

покое. Да и сам губернатор, судя по всему, окончательно принял Салтыкова. После того, как последний выполнил довольно сложную работу по составлению по городам инвентарей недвижимых имуществ, статистических описаний и проектов их общественного и хозяйственного переустройства, его с 17 января 1850 года ввели в штат и назначили содержание, определённое по должности старшего чиновника особых поручений. До этого он жил на скудные казённые начисления, обеспечивающие квартиру, стол, выезд и т. п. – что-то вроде командировочных, и на то, что присылали из Спас-Угла.

\*

Среди более или менее надёжных источников биографа – письма. К письмам Ольги Михайловны и Евграфа Васильевича Салтыкова мы уже обращались, они довольно хорошо сохранились. А вот первое дошедшее до нас письмо Михаила Евграфовича, из Царского Села, относится только к марту 1839 года, да и письма последующих лет, вплоть до 1848-го, наперечёт. Зато уцелело восемь десятков его посланий из Вятки.

Уже на следующий день после приезда в город, 8 мая Салтыков передал своему *добрейшему* спутнику, штабс-капитану Рашкевичу, спешившему далее по своим жандармским маршрутам, несколько писем. Как видно, это был действительно человек не без достоинств – недаром изгнанник доверил ему свои послания, причём на революционном французском языке. А позднее, вспоминая Рашкевича и его поведение в дороге, Салтыков выдал один из своих афористических парадоксов: «Если за доблести и военную опытность признаётся справедливым постепенно производить из унтер-офицеров в генералы, то было бы столь же справедливо за благодушие и сердечную мягкость с тою же постепенностью производить из генералов в унтер-офицеры».

Так или иначе, Рашкевич повёз в Петербург письма (их сохранилось три), где Салтыков сообщал милым его сердцу француженкам – жене брата Дмитрия Аделаиде, её сестре Алине Гринвальд и их матери, тёще Дмитрия Евграфовича Каролине Павловне Брюн де Сент-Катрин – о благополучном прибытии в Вятку. На тональность и особенности этих писем нельзя не обратить внимания. Даже в русском переводе (французский оригинал легко доступен в собрании сочинений Салтыкова) эти письма живо напоминают нам об одном классическом уже тогда персонаже русской литературы.

В письме Каролине Павловне мы не без изумления прочитаем

следующее: «Сударыня! Моя несчастная судьба захотела оторвать меня от Вас и всего, что мне более всего дорого, но она бессильна, когда дело идёт о моих сердечных привязанностях. Ибо я умоляю Вас, сударыня, верить, что лучшее место в моём сердце вечно будет принадлежать Вам и тем, кто дорог Вам, и что безграничная моя преданность будет служить лишь слабой данью, которая так и не даст мне возможности расплатиться за все благодеяния, которыми Вы меня осыпали...»

Эта тень Ивана Александровича Хлестакова, стоящего на коленях перед Анной Андреевной Сквозник-Дмухановской, продолжает свою неуклонную материализацию в последующих строках, завершающихся головокружительным финалом: «Если в горькие дни учатся узнавать тех, кто нас любит, то у меня были такие дни, сударыня, и я знаю долю Вашего участия, облегчившего мои невзгоды. Поэтому, мне остаётся только просить Вас ещё раз, сударыня, быть уверенной в моей сыновней преданности, которая тем более искренна, что я не имею счастья именоваться Вашим сыном».

Интересно, успел ли *Мишенька* 8 мая 1848 года написать что-то подобное своей пребывающей в полном здравии и в успешных трудах маменьке Ольге Михайловне? Неизвестно, но зато в письме свояченице брата, замужней полковнице Алине Яковлевне Гринвальд словесный гран-каскад нарастает, доходя до семантических сбоев: «Милостивая государыня и любезная сестрица! Вы дали мне столько доказательств дружбы в течение всего того времени, которое я провёл в Вашем очаровательном обществе, что, я уверен, Вы мне простите название сестры, которое я осмеливаюсь Вам дать теперь, когда я так далеко от Вас. Что касается меня, то я похож на Калипсо, которая “не могла утешиться после отъезда Телемака”, с тою маленькой разницей, что теперь это Калипсо покинула своего Телемака. В ожидании будущего я обречён увеличивать воды Вятки потоками своих слёз. Я надеюсь всё-таки, что Вы не забудете меня, дорогая сестра, и окажете мне честь, написав мне несколько строчек Вашей прелестной маленькой ручкой. Прощайте и не забывайте неутешную Калипсо».

Адресанта занесло настолько, что он, переменяя свой пол и объекты перемещения, перепутал Телемака с Одиссеем. А ведь ещё следует объясниться с женой брата: «...в моём изгнании, как везде и всегда, воспоминание о Вашей доброте будет запечатлено в моём сердце. Мой ментор – жандарм уезжает через несколько часов: поэтому у меня нет достаточного времени для того, чтобы выразить Вам всё моё сожаление о том, что я так далеко от Вас. Впрочем, меня встретили в Вятке с распростёртыми объятиями, и я прошу Вас поверить, что окружающие



меня здесь не людоеды; они таковы не более чем наполовину и поэтому не смогут съесть меня целиком. Вятские дамы, наоборот, совершенные людоедки, кривые, горбатые, одним словом, самые непривлекательные, и тем не менее мне говорят, что надо стараться им понравиться, потому что здесь, как и повсюду, всё делается при посредстве прекрасного пола...»

Это письмо невестке Аделаиде Яковлевне сохранилось не полностью, но и то, что сохранилось, лишь подтверждает прочитанное в предыдущих двух письмах: перед нами безудержная хлестаковщина.

Но каковы её причины? Угрюмый советский щедриновед, наверное, усмотрит здесь черты уже в дощедринский период складывавшегося знаменитого *эзопова языка* Салтыкова, о котором он сам понаписал немало. Логика проста: коль письма повезёт жандарм, их содержание надо зашифровать. Но эта логика столь же фиктивна, ибо никакой зашифрованной крамольной информации здесь не вычитаешь, хоть сто раз перечитай. Зато, помимо прямых, вычитаешь косвенный комплимент адресатке, впрочем, переходящий в сальную двусмысленность там, где автор пишет про необходимость понравиться вятским «людоедкам» (много же их он видел за сутки!), поскольку «здесь, как и повсюду, всё делается при посредстве прекрасного пола».

Комментатор посовременнее предположит, что этими своеобразными письмами, которые явно были перлюстрированы, Салтыков сбивает с толку своих особых читателей, создаёт автопортрет разгильдяя-вертопраха, скрывая подлинное своё обличье петрашевца и социального сатирика. Но если учесть, что, кроме предполагаемых жандармов, эти письма будут читать и очевидные адресатки, милые столичные дамы, даже с учётом особенностей эпистолярного этикета той поры содержащееся в них требует особого объяснения.

Нет слов, Салтыков блистателен во всём, что бы он ни писал. Собрание его писем – полноценная часть его творческого наследия, и мы ещё не раз будем иметь возможность в этом убедиться. И то, что он, едва оказавшись в Вятке – на неопределённое время, надо это помнить, – вдруг решил предстать перед столичными дамами в обличье Хлестакова, имело свою логику. Вне сомнений, он продолжал переживать тяжелейшее психологическое потрясение и попросту не знал, что написать о своём состоянии родителям в считанные часы до отъезда Рашкевича. (Хотя известно, что к началу июня Ольга Михайловна уже получила от него два письма из Вятки, в которых «он очень грустит и просит, чтобы мы ходатайствовали у милосердного монарха о нём прощение»; Дмитрию Евграфовичу он тоже писал, но письмо 8 мая не сохранилось.) Поэтому,

явно дурачась со знакомыми дамами (все три его старше), он, скорее всего, попросту глушил свою тоску, взбадривал самого себя тем, что он умел, – словописанием, приданием увиденному особых черт и пропорций.

Это, если смотреть на всю жизнь Салтыкова, без сомнения, было важной чертой его характера, очень сложного, прихотливого и отнюдь не подходящего к житийному разряду – даже сакрализированных «революционных демократов». Перфекционист, если использовать модное сегодня определение, Михаил Евграфович неуклонно, с педантизмом, доходящим до брюзгливости, отмечал расхождения своих представлений о мировой гармонии с повседневностью, в которой ему выпало существовать. Но при этом ему и в голову прийти не могло впасть в меланхолию, хандру, тоску, в душевное и физическое прозябание. На всё это он охотно жаловался знакомым и даже малознакомым, в письмах родным, близким и дальним, всё это своими замысловатыми путями проникало в его художественный стиль, делая его не просто неповторимым, но и вдруг наполняя неиссякаемой энергией. Что удивительно – именно такое разностороннее выбрасывание-разбрасывание душевных переживаний не только не разрушало его личность, но и укрепляло её. Это зримо подтверждается происшедшим с Салтыковым после закрытия «Отечественных записок» в 1884 году. Казалось бы: катастрофа, *тёмная завесь, конец света* – ан нет. За последующие, последние пять лет жизни Михаил Евграфович, при всех своих ревматизмах и невралгиях, написал столько и такой художественной силы, что диву даёшься.

Вот и вятские сохранившиеся письма Салтыкова неизменно содержат жалобы на пребывание в *изгнании* (любимое слово), не менее красноречиво свидетельствуют, что их автор не высчитывал время, когда ему придёт освобождение, а старался жить полной жизнью в том месте, куда его занесла склонность к литературному творчеству. Например, из тех же вятских писем следует, что он при всех своих философских, эстетических и прочих исканиях был франт и, пренебрегая искусством вятских портных, предпочитал заказывать одежду в Петербурге. Посредником здесь нередко выступал брат Дмитрий Евграфович.

«Я писал к Клеменцу, чтобы он выслал мне сюртук, два жилета и брюки, – из письма брату 7 августа 1850 года, – получил ли он письмо моё, не знаю, и намерен ли он шить; не знаю также, заплачено ли ему маменькой что-нибудь долгу, как она это обещала мне, а равно заплачен ли ею долг мой тебе, о чем я прошу тебя написать мне, чтобы принять меры, а также сколько именно я должен Клеменцу и Лауману и намерен ли первый выслать мне платье по моему требованию, ибо я нищ и наг и хожу, как

Тришка, с протёртыми рукавами, так как сюртуку моему скоро исполнится два года и он скоро начнёт говорить».

Писать о многих, если не обо всех своих проблемах в иронической и саркастической манере – обыкновение для Салтыкова. Но при этом он всегда настойчив и целеустремлён в их преодолении.

Ольга Михайловна, придя в дом мужа с невеликим приданым, ко времени, когда *Михайла* загремел в Вятку, удесятирила семейные богатства, а сама стала в своей округе одной из крупнейших помещиц. Новоприобретённое она записывала на себя, в то время как за Евграфом Васильевичем, что перед женитьбой, что перед кончиной в 1851 году, числилось около трёхсот крепостных душ. У Ольги Михайловны за годы супружества стало таковых 2527.

Естественно, Михаил Евграфович, оказавшийся *далеко от Москвы* (а подавно от Петербурга), да к тому ещё без сколько-нибудь приличного содержания, хотел получить от родителей внятное решение о своём дальнейшем имущественном положении. Отменой крепостного права и другими реформами ещё не пахло, так что надо было как-то определять свою жизнь в предлагаемых обстоятельствах.

Ольга Михайловна поддерживала сына своей помещичьей копеечкой, но как-то несерьёзно, бессистемно. Вследствие чего Михаил обращался к брату Дмитрию весной того же 1850 года: «Маменька ещё пишет мне, что не может выслать мне денег ранее мая, потому что страдает денежною чахоткою. Я, напротив, всегда думал, что она в этом случае скорее подвержена водяной, а оказывается совсем иначе. Впрочем, она тут же отзывается, что ты коротко знаешь её обстоятельства, и потому я прошу тебя убедительно растолковать мне причину такого необыкновенного безденежья, тем более что мне надобно же чем-нибудь жить. А по-моему, лучше всего было бы отделить всех; тогда всякий бы рассчитывал только на то, что у него есть, а то насулят золотые горы, да потом и утягивают, так что нет возможности распорядиться своею жизнью определённым образом. Во всяком случае, я рад, что она согласилась уплатить тебе долг мой, и прошу тебя уведомить, исполнила ли она это, как пишет мне».

Естественно, это письмо ничего не решило, лишь дало нам, потомкам, возможность строить всякие предположения и высказывать догадки касательно отношений внутри обширного салтыковского семейства. У Ольги Михайловны, по всему, была своя стратегия, свои расчёты, кому, как и сколько давать. К *Михайле* она относилась, может быть, даже с большей теплотой, чем к другим своим сыновьям, но её наблюдения за тем, как складывалась его жизнь, радости не вызывали. Попав в Вятку и стремясь

вырваться оттуда, виды на дальнейшее он имел самые смутные. Писал в том же 1850 году Дмитрию, что хочет немедленно отправиться в деревню, как только получит известие об освобождении из Вятки. «Я хочу также просить, если это только возможно, об отделе и согласился бы дать отказную во всем, если бы мне отдали Глебово и тысяч двадцать на устройство его. Главная цель моя заключается в том, чтобы выйти в отставку и поселиться в деревне, чего я не могу сделать, не имея достаточного обеспечения. Дай Бог, чтобы всё это так и случилось; мне не хотелось бы вновь поступать на службу уже по тому одному, что искать места в Петербурге будет для меня довольно затруднительно, да едва ли я найду что-нибудь по своему желанию».

Это едва ли устраивало Ольгу Михайловну, у которой перед глазами уже был пример супруга, много лет вкушавшего в имении все прелести отставной жизни. Как человек предельно хозяйственный, то есть стремящийся извлечь наибольшую выгоду отовсюду, где только можно, она, разумеется, считала, что её молодые сыновья должны служить и своими чинами, своим положением в обществе укреплять значение уже обретенных имений. Вместе с тем, видя, что Евграф Васильевич слабеет на глазах, хотя он ещё в 1837 году завещал Спас-Угол с деревнями Ольге Михайловне для раздела между детьми после его кончины, она решила, очевидно, ещё при его жизни, что называется, *по-людски* принять отдельный акт, устанавливающий наследственные права детей.

Все эти обстоятельства породили немало коллизий, которые, хотя и касались отдалённого Михаила Евграфовича лишь краем («Вятка во многом меня убедила, и убедила к лучшему»), всё же безмятежности у него не вызывали. И он вновь показал достойные черты своего сложного характера, что отразилось в его письмах: «Все мы равны как братья и, следовательно, должны иметь равную часть в родительском имении» (брату Дмитрию); «...я прошу Вас думать, что денежные или другие корыстные соображения совершенно чужды меня, что я люблю Вас для Вас самих, а не для имения Вашего» (матери), «...нечего и уверять Вас, в какой степени я благодарен Вам за участие Ваше в моём несчастном положении. Впрочем, я не в такой степени поражён им, как бы это можно предполагать, потому что у меня в Вятке есть уже некоторые интересы, о которых Вы, впрочем, уже знаете, а именно ожидаемое мною разрешение на представление меня в советники...» (родителям)...

Ни на день не оставляя попыток вырваться из Вятки, волей-неволей впутываясь в выяснение отношений со своими родными, Салтыков оставался усердным служакой, тем более что Середа заметил его рвение,

всячески поддерживал и, точно в соответствии с именованием должности, давал ему самые разные поручения – от редакции докладов, поступавших из разных отделов, до управления делами губернаторской канцелярии.

Салтыкову пришлось заниматься усовершенствованием работы почтовых станций и поддержкой приходских училищ, разрешением вопроса о присоединении к Вятской губернии Быховской и Ношульской пристаней, откуда пролегал путь к северному морю, важнейший для вятских купцов. Такое обращение к разнообразным делам вызывало собственные идеи хозяйственных преобразований – именно по его предложению занялись устройством гостиных дворов в Вятке, Котельниче, Царёвосанчурске и других городах губернии.

Салтыкову приходилось не только допоздна засиживаться в служебном кабинете. Он начал ездить по своей обширной губернии. Первой выпала дорога дальняя – на север, в город Кай Слободского уезда. Министр юстиции потребовал провести ревизию делопроизводства Кайской городской ратуши. Поехал вице-губернатор Костливцов и взял с собой Салтыкова. Будучи при начальнике на подхвате, он, однако, быстро разобрался, что ратуша существовала сама для себя – чиновники ничего не делали для города, занимаясь лишь разрешением своих дел.

Получив в августе 1850 года должность советника губернского правления, Салтыков добился упразднения Кайской городской ратуши и слияния её со Слободским городским магистратом. Затем то же самое он проделал с совершенно праздным Царёвосанчурским городским магистратом, слив его с Яранским магистратом, и так начал изучение административно-хозяйственной жизни вятских городов и прежде всего состояния городских финансов и сбора налогов.

Обратил он внимание и на Вятскую городскую думу, что ничего хорошего этой думе не принесло. В городе всюду велось самовольное строительство, причём низкого качества, леса в округе безнаказанно вырубались и расхищались, арендная плата и налоги не вносились... Все предложения Салтыкова по устранению недостатков были продуманными и незамедлительно поддерживались Середой. В частности, в губернаторском отчёте за 1850 год подчёркивалась особая польза статистических исследований: «По замеченным в городском хозяйстве и общественном управлении города Вятки беспорядкам и недостаткам сделаны были многие распоряжения, которые должны иметь необходимым последствием устранение всех сих беспорядков. Сверх того, чиновником Салтыковым, ревизовавшим Вятскую городскую думу и обзревавшим городское имущество, открыты в городе Вятке некоторые оброчные статьи, бывшие

доселе в неправильном пользовании частных лиц и окружающих селений государственных крестьян, о чём и требуются от подлежащих мест и лиц нужные объяснения».

Следует заметить, что несмотря на внушительность звучания сама по себе должность чиновника особых поручений при губернаторе, даже старшего, подразумевала именно исполнительство, а не инициативу, она не считалась важной в губернской чиновничьей номенклатуре. Но, как известно, *не место красит человека...* Салтыков и на этой должности смог сделать много доброго: он стал верным помощником честного Середы, с молодой силой стал воплощать в жизнь здравые идеи губернатора, – в эти годы он получил первый опыт применения той своей *теории*, которая выражалась в уже известной нам строчке: *практиковать либерализм в самом капище антилиберализма*.

И то сказать: окажись на месте Середы губернатор иного склада, из тех, с которыми Салтыкову довелось работать в 1860-е годы, вышла бы история жизни с иными подробностями. Но здесь Михаилу Евграфовичу повезло, и повезло всесторонне. Середа, проверив Салтыкова в деле и доверившись ему, не только сделал его своим надёжным помощником, но и поручал, при необходимости, исправлять ответственную и многосложную должность правителя губернской канцелярии. И на ней Михаил Евграфович не срамлился, «за усердную и неутомимую деятельность» заслужив «признательность Начальника Губернии», а затем «особую благодарность» – «за отличные труды и усердие по означенной должности».

Кроме того, Середа представил Салтыкова по сокращённому сроку к награждению чином коллежского асессора. В представлении он подчёркивал, что, «получив отличное воспитание, весьма замечательных умственных способностей», Салтыков «во всё время... <...> исполнял обязанности с особым усердием и деятельностью». И хотя коллежским асессором император удостоил Салтыкова только 13 апреля 1852 года, за выслугу лет, всё же старшинство ему пошло с года 1851-го. В этих отношениях Николая Павловича с Михаилом Евграфовичем просматривается особая, непростая, требующая объяснений игра. Во всяком случае император сохранял к вятскому служаке особое внимание. Как некогда он предложил Пушкину стать его цензором, так теперь по отношению к «Пушкину XIII выпуска» он выступил, по сути, начальником верховного отдела кадров. Постоянные и разносторонние попытки вернуть Салтыкова из Вятки, во всяком случае, приблизить его к Петербургу или к Москве вызывали у державного администратора суровые отклики, кратко,

но с полной определённой выразившиеся дважды в резолюциях, начертанных на прошениях смилостивиться над Салтыковым. «Рано», – писал император, и это *рано* длилось вплоть до его кончины в 1855 году.

Но тот же Николай Павлович в августе 1850 года проявил определённую благосклонность, назначив Салтыкова советником Вятского губернского правления, а эта должность была и сама по себе весомой и очень ответственной по своим обязанностям, даже вне зависимости от близости к губернатору. Дело в том, что в представлении императору на эту вакансию Середа, согласно служебным правилам того времени, должен был, кроме Салтыкова, назвать и других подходящих претендентов на неё. Это были нолинский земский исправник Хрейтович и старший чиновник особых поручений Наркиз Игнатьевич Циолковский (Циолковский), волею судеб брат Эдуарда Циолковского, лесничего в Спасском уезде Рязанской губернии, то есть будущий дядя нашего легендарного энтузиаста освоения космических пространств. Оба были старше Салтыкова годами, выслуга лет у них была значительнее, а Наркиз Игнатьевич был ещё и одним из ближайших вятских приятелей Михаила Евграфовича. Правда, у него обнаруживалось и слабое звено, он был кузеном вице-губернаторши Марии Станиславовны Костливцовой (урождённой Циолковской). Сегодня это может показаться странным, но такие даже не родственные, а свойственные отношения между вице-губернатором и его чиновником рассматривались как заведомая помеха при повышении последнего в должности.

Также нельзя не обратить внимания и на другие особенности обретения Салтыковым должности советника (на ней он оставался вплоть до освобождения от вятской службы). Прежде всего, Салтыков, обнаружив, что дело по назначению советника в Петербурге замерло, написал брату Дмитрию с просьбой «похлопотать», впрочем, сопроводив просьбу оговоркой: «Во всяком случае, я не желаю, однако ж, отбивать дорогу у Циолковского, потому что ему место нужно, как кусок хлеба, но мне было бы крайне обидно, если бы ни его, ни меня не утвердили, а послали бы кого-нибудь из Петербурга».

Но судьба, исторгнув Салтыкова из столицы, в дальнейшем ему неудобств не чинила. Принимавший решение для представления наиболее подходящего кандидата императору министр внутренних дел Лев Алексеевич Перовский, любимец Николая Павловича и притом противник крепостного права, интеллектualan, не мог не помнить давнюю уже историю с отцом жены Костливцова, генерал-майором Станиславом Циолковским. В 1839 году его родной брат, оренбургский военный губернатор и командир

Отдельного оренбургского корпуса Василий Перовский (обратим внимание, что братья были родными дядьями поэта Алексея Константиновича Толстого) возглавил военный поход на Хивинское ханство, жители которого постоянно нападали на российские торговые караваны. Однако поход окончился неудачей, и при расследовании её причин Василий Перовский установил, что участвовавший в Хивинской экспедиции Циолковский не только за жестокость заслужил у солдат прозвище *живодёр*, но и занимался незаконной перепродажей верблюдов, приобретённых для нужд похода. Последовала скандальная отставка, что, впрочем, ставшего оренбургским помещиком генерал-майора не отрезвило. В 1842 году он был убит за то же самое *живодёрство* своим крепостным поваром, причём крестьяне не позволили барыне упокоить супруга на местном кладбище, дважды отрывая его тело из могилы и исхлестывая его плетьюми, так что в итоге то, что осталось от Циолковского, было перезахоронено в Оренбурге.

Нельзя не заметить и следующее: выбрав на должность советника Салтыкова, Лев Перовский вскоре способствовал и другим интересным назначениям вятских чиновников. В 1851 году Василий Перовский вернулся в Оренбуржье, став генерал-губернатором Оренбургской и Самарской губерний. К нему поехал давно добивавшийся перевода в этот край Аким Иванович Середа, «с переименованием в генерал-майоры с зачислением по кавалерии» – на должность командующего Башкиро-Мещерякским войском. Там же, в управлении этим войском получил должность и Наркиз Циолковский. (В этом не было какого-то административного умысла, просто в Оренбуржье находилось имение Станислава Циолковского, где жила его вдова с младшими детьми.) Заодно Перовский разделил родственников – вице-губернатор Костливецов в том же 1851 году стал управляющим Пермской палатой государственных имуществ – важным подразделением в управлении казёнными делами.

Мы обращаемся к этим тонкостям административных назначений в императорской России по нескольким причинам. Во-первых, потому, что следует, наконец, изучить в подробностях логику развития и реальный опыт государственного управления нашей страной до катаклизма 1917 года, который руками большевиков систему вроде бы *до основанья* стёр, но уже через несколько лет она теми же самыми руками стала воспроизводиться в самом уродливом и жестоком виде.

Во-вторых, надо увидеть существование этой системы в связи с жизнью и трудами нашего героя, Михаила Евграфовича Салтыкова и, разумеется, по возможности, его глазами. Здесь особое значение имеет то, что Второе отделение правления, куда был назначен Салтыков, занималось,



помимо прочего, казёнными поставками и считалось среди чиновников *хлебным* или, как сказали бы сегодня, *взяткоемким* – подрядчики, стремясь получить государственные заказы, денег на то, чтобы умаслить нужных людей, не жалели. При Салтыкове такой их путь к успеху если не закрылся, то стал достаточно тернистым.

Наконец (по меньшей мере), в-третьих: надо внятно и точно описать то, как Салтыков (Щедрин) образно осмыслил систему государственного управления, к каким выводам он пришёл и чего ждал от своего читателя.

## Кабинет в тарантасе

Представляя Салтыкова к должности советника губернского правления, Середа обращал особое внимание на то, что «определение Салтыкова советником было бы весьма подходящим и целесообразным с точки зрения государственных интересов, так как он, в должности чиновника особых поручений, имея дела, однородные с производившимися в хозяйственном отделении губернского правления, достаточно с ними ознакомился и более чем кто-либо, без затруднения и с пользой для службы мог бы управлять отделением».

Подчеркнём ещё раз: Салтыков стал руководить самым крупным, ключевым отделением Вятского губернского правления. В его ведение были отнесены дела о городских думах, магистратах, ратушах и т. д. Отделение должно было контролировать общественные выборы, всевозможные торги, подряды, городские сборы, а также отправление крестьянами натуральной дорожной повинности. Кроме того, Второе отделение ведало делами о раскольниках, о тюрьмах и тюремных комитетах и это, в случае с Салтыковым, порождало ситуацию с фарсовым оттенком.

Впрочем, до Салтыкова в такой же ситуации побывал Герцен, будучи также и поднадзорно ссыльным и в должности советника Второго отделения губернского правления, только Новгородского. «Нелепее, глупее ничего нельзя себе представить, – восклицает жёлчный Искандер в «Былом и думах», – я уверен, что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят, а между тем это сушая правда, что я, как советник губернского правления, управляющий Вторым отделением, свидетельствовал каждые три месяца рапорт полицмейстера о *самом себе* как о человеке, находившемся под полицейским надзором. Полицмейстер, из учтивости, в графе поведения ничего не писал, а в графе занятий ставил: “Занимается государственной службой”».

Далее Герцен рассказывает известную ему историю, происшедшую в те же времена в Тобольске: «Гражданский губернатор был в ссоре с виц-губернатором, ссора шла на бумаге, они друг другу писали всякие приказные колкости и остроты. Виц-губернатор был тяжёлый педант, формалист, добряк из семинаристов, он сам составлял с большим трудом свои *язвительные* ответы и, разумеется, целью своей жизни делал эту ссору. Случилось, что губернатор уехал на время в Петербург, Виц-

губернатор занял его должность и в качестве губернатора получил от себя дерзкую бумагу, посланную накануне; он, не задумавшись, велел секретарю отвечать на неё, подписал ответ и, получив его как вице-губернатор, снова принялся с усилиями и напряжениями строчить самому себе оскорбительное письмо. Он считал это высокой честностью».

Надо заметить, что Салтыков, оказавшийся в сходных обстоятельствах, отнёсся к ним не столь эмоционально и не стал делать каких-либо суровых сатирических обобщений. Хотя по должности он стал членом «Вятского попечительного о тюрьмах комитета», а также занимался устройством работного (рабочего) и смирительного домов, то есть непосредственно контролировал лиц *непотребного и невоздержного жития*, его фамилия, как было положено, вносилась в ведомость о поднадзорных, которая дважды в год отправлялась в Петербург. В графу «о поведении» Середа вписывал: «В Вятке состоит на службе советником губернского правления с полным окладом жалования. По отличному усердию к службе и хорошему поведению вполне одобряется».

Возмущение Герцена можно понять, но жить без отвлечения от этого возмущения очень трудно. Более того, здесь налицо парадокс, который, судя по всему, в отличие от Герцена, полностью осознавал Салтыков. Только поднадзорное положение этих советников удерживало их в российской глубинке. Освободи их от него и – прощай, Вятка, *addio*, Новгород! При этом формальная регистрация как Герцена, так и Салтыкова и других, попавших в подобные обстоятельства, не только не поражала их в правах по месту жительства – напротив, от них ждали деятельного участия в провинциальной культурной жизни. В отличие от Герцена, испытывавшего аллергическое отвращение к любым формам систематического труда, кроме литературного, Салтыков ни от какой работы в Вятке не бегал: он состоял членом-корреспондентом Вятского статистического комитета, был *непременным членом* многих благотворительных и других общественных учреждений.

Как раз в январе 1850 года в Вятке для «приятного препровождения времени в позволенных играх, чтении газет и других изданий» было возобновлено Вятское благородное собрание, почётным попечителем которого стал Середа, а среди шестидесяти учредителей был и Салтыков. Помещалось собрание на втором этаже примечательного здания купца Аршаулова на углу Спасской и Вознесенской улиц и было открыто по воскресеньям, вторникам и пятницам, с семи часов вечера до двух часов пополуночи. (На нижнем этаже размещался первый в Вятке книжный магазин Николая Чарушина. Впрочем, книги Салтыков нередко, с помощью

Дмитрия Евграфовича, заказывал в Петербурге – возможно, так они обходились дешевле, да и выбор в столице был несравненно больше.) В собрании постоянно устраивались танцевальные и юбилейные вечера, торжественные обеды, благотворительные любительские спектакли (театра в Вятке тогда не было).

Членами собрания могли быть постоянно проживающие в Вятке, а также иногородние дворяне, чиновники, купцы. Постоянные члены платили ежегодные взносы и могли являться в собрание с семейством. Кроме того, каждый член собрания имел право привести с собой двух гостей, оплатив вход гостей-мужчин; дамы от входной платы освобождались. Были установлены правила, нарушение которых могло вызвать исключение. В частности, в правилах был пункт, вне сомнений, вызванный обстоятельствами времени и правления: «Никакие разговоры в предосуждение веры, правительства или начальства, никакие оскорбительные рассуждения, вовлекающие в ссору или клонящиеся к личности, равно и запрещённые правительством игры в собрании сём терпимы быть не могут».

Разумеется, Михаил Евграфович, как бы того ни хотелось его биографам-ригористам, часто посещал это собрание не для того, чтобы вышеприведённое правило нарушать и пропагандировать своим сослуживцам афеизм или идеи очередной французской революции. Холостого курильщика и картёжника Салтыкова, бывшего завсегдатаем собрания, мог привлекать буфет с богатым меню: кроме разнообразных блюд, закусок, шоколада и сладостей, чая, кофе, лимонада, грога и пунша, здесь можно было получить горячительные напитки – водку, ликёры, пиво, включая портер, и разнообразные вина. Хотя в собрании были шахматы и шашки, они привлекали немногих (хотя эти эстеты даже турниры устраивали). Большинство, не исключая Салтыкова, приходило сюда поиграть в карты – чаще всего в бостон, по характеристике одного из вятчан, современников Салтыкова, «чрезвычайно тонкую, умную и интересную игру, представляющую соединение винта и преферанса». Как установил уже упоминавшийся вятский краевед Евгений Дмитриевич Петряев, в карты играли и у губернатора, в его доме было установлено девять ломберных столов, но приглашались туда немногие. Карточные игры в Вятке были столь распространены, что выигрыши удачливых игроков время от времени даже облагались благотворительными сборами. Инспектор Вятского врачебного управления Константин Пупарев в декабре 1850 года предлагал губернатору Серее вводить пятипроцентные взносы с карточных выигрышей для передачи «больным и страждущим бедного

класса, лечимым в собственных их помещениях». Деятельный Середа послал на этот счёт прошение в Министерство внутренних дел, однако поскольку Николай Павлович по какой-то причине уже давал распоряжение «о недопущении учреждения обществ в пользу бедных», Середе было отказано. Далее всё пошло обычным русским путём: в Вятке решили, что сборы с выигрышей «необременительны для общества», так что карточные деньги продолжали собирать – как для болящих, так и на другие нужды, например на содержание уездных библиотек.

Разумеется, была библиотека и в Вятке (в её открытии, как мы помним, принимал участие Герцен). В годы пребывания Салтыкова она – вместе с квартирой библиотекаря – помещалась в бельэтаже недавно построенного дома Сунцова, стоящего на углу Спасской и Царёво-Константиновской улиц. К сожалению, читательские формуляры библиотеки не сохранились, но, по предположению Е. Д. Петряева, имеющему свою логику, Салтыков был читателем библиотеки и читал здесь, кроме свежих газет и журналов (их выписывалось десять, также поступали шесть ведомственных журналов бесплатно), книги на французском языке, в том числе романы Поль де Кока (тоже форма отдыха от канцелярской рутины). Петряев именно с Салтыковым связывает решение попечительного комитета библиотеки выдавать за посуточную плату (три копейки серебром) книги на дом – «в уважение того, что многие и искренно желающие читать книги, как-то: приказнослужители и ученики гимназии и семинарии имеют в неделю только день или два свободные, но и теми не могут пользоваться, потому что по своей бедности не могут платить денег за чтение книг помесечно».

Надо полагать, у Салтыкова тоже свободных дней было немного. Так, извещение о назначении его советником пришло в те дни, когда в Вятке началась очередная сельскохозяйственная выставка – он был назначен членом Комитета выставки и её распорядителем. По тому, как она прошла, очевидно: это дело вызвало у него живой интерес. Салтыков постарался, чтобы на выставке были представлены в наибольшей полноте успехи губернского сельского хозяйства, крестьянского труда. Для того чтобы привлечь побольше крестьян, он распорядился проводить по волостям разъяснение значения и смысла выставки, причём в самой доступной форме. Крестьянам предлагалось: «Везите на выставку всё, что у вас есть, что производите и вырабатываете» («отказ в приёме вещей на выставку мог бы поселить в крестьянах равнодушие к сему делу на будущее время», справедливо полагал Салтыков).

Это неожиданное приглашение вызвало у крестьян доверие, и к 15

августа 1850 года (выставка проводилась до 1 сентября) земледельцы привезли в Вятку многие пуды продуктов от пшеницы, овса, льна, конопли до мёда и сала, сотни предметов кустарных промыслов, включая ткани, кожи, меха, земледельческие машины, предметы столярного и токарного мастерства, крестьянское рукоделие, превращая выставку в ярмарку (всего присутствовал 1861 предмет от 1227 представителей). Пришлось даже увеличить помещение, подготовленное для неё, – в итоге выставка открылась в доме Гусева на Орловской улице, в торговой части города, где находилась Новая Хлебная площадь с возводимым там Александро-Невским собором, и разворачивалась в начале сентября издревле славная, богатая Семёновская ярмарка. По своим итогам эта выставка, ставшая сугубо вятской, имела беспрецедентный успех.

Салтыков подготовил для печати описание выставки, и оно было опубликовано под заглавием «Вятская очередная выставка сельских произведений» – вначале в неофициальном отделе «Вятских губернских ведомостей» (1851. № 4–7), а затем в «Журнале Министерства государственных имуществ». Хотя эта обзорная статья давалась анонимно, она заключается фразой, снимающей вопрос об авторстве: «Описание выставки было поручено комитетом распорядителю выставки, титулярному советнику Салтыкову».

Это была его первая публикация с апреля 1848 года, и хотя её не перепечатавают, ограничиваясь лишь отрывком, не только рассуждения автора по проблемам отечественного хозяйствования и, в частности, землевладения (он выступает против мелкого землевладения в пользу крупного) требуют пристального внимания к ней.

Характерно, что свою статью Салтыков начал сожалением о неучастии в работе Комитета выставки предусмотренных в нём «комиссаров из помещиков». Таковых просто не удалось найти, несмотря на усилия губернатора и губернского предводителя дворянства, ибо помещичьих имений в губернии было очень мало, а их владельцы в них не жили. «Отличительная характеристическая черта Вятской губернии», особенно подчёркивает Салтыков, заключается в составе её народонаселения, которое «состоит преимущественно из казённых крестьян. Факт этот запечатлевает совершенно отличный от других губерний характер не только на все существующие общественные отношения, но и на самую сельскую промышленность. В других губерниях поземельная собственность и все вообще капиталы сосредоточены в немногих руках, тогда как в Вятской губернии собственность эта раздроблена на бесчисленное множество участков. Очевидно, что человек, обладающий значительной

собственностью, может иметь больше средств к улучшению её, нежели другой, который обладает собственностью ограниченной. <...> Конечно, с другой стороны раздробленность поземельной собственности соединяет с собой другое неоценённое свойство, а именно возможность лучшего ухода за хозяйством, но и это удобство только тогда может иметь действительное осуществление, когда землевладелец имеет к тому средства, которые столько же заключаются в личных трудах и достоинствах хозяина, сколько и в материальных способах, ему предоставленных. Поэтому весьма не мудрено, что в Вятской губернии, где, как сказано выше, поземельная собственность раздроблена до чрезвычайности, сельская промышленность находится в более младенческом состоянии, нежели в других губерниях России».

Выставка должна была собрать производителей шести губерний – Вятской, Казанской, Пензенской, Нижегородской, Симбирской и Саратовской, но в итоге обнаружилось, что из других губерний ни одного предмета для участия прислано не было. Впрочем, Салтыков извлёк и из этого факта свою пользу: удалось получить реальное представление о сельском хозяйствовании Вятской губернии (хотя он сожалел, что сроки проведения выставки не были перенесены на конец августа – начало сентября, когда «самые значительные полевые работы» уже закончены). Из 1227 представителей 1092 были государственные крестьяне, 39 – цеховые мастера и мещане, 16 купцов, четыре помещика...

Салтыков подробно описал доставленное на выставку, а в описании назвал множество имён, производителей, заслуживающих поощрения. Но и среди них выделяется, например, Лаврентий Власьев, крепостной человек помещицы Сарапульского уезда Машковцевой. Он представил на выставку ананас и виноград и был награждён тремя рублями серебром. Статью заключал список награждённых. Золотые медали получили государственный крестьянин Уржумского уезда Макар Максимовых – «за образцы хлебов в семенах и снопах» и государственный крестьянин Нолинского уезда Андрей Вшивцов – «за приведённых на выставку четырёх жеребчиков и одной кобылки, составляющих приплод от жеребцов Земской случной конюшни». Также были присуждены серебряные медали «большого и малого размера», похвальные листы и денежные премии.

Несмотря на внешнюю официальность этой статьи-отчёта, её значение как итога Вятской выставки в жизни и творчестве Салтыкова нельзя недооценивать. Попав в эту стихию народной жизни, он представляет её плоды не парадно, не празднично – перед нами отнюдь не ранний вариант фильмов «Богатая невеста» или «Кубанские казаки» и даже не предтеча

советской ВДНХ. Но в подробностях рассказывая как о достоинствах, так и о недостатках привезённого крестьянами, Салтыков очевидно неравнодушен – сквозь строчки точных, педантичных описаний то и дело прорывается лирическая интонация, уважительная и сострадательная не только к крепостному их положению, но и просто к превратностям их нелёгкого труда.

\*

После выставки, придавшей Салтыкову новые силы и отвлекшей его от неотвязных размышлений о своём положении (от Министерства государственных имуществ он получил «признательность»), он вновь погрузился в рутину повседневных дел советника. Теперь он был освобождён от поручения по инвентарному описанию городов губернии, хотя за ним была оставлена обязанность описывать саму Вятку, а также надзирать за топографическими работами по прочим городам. Но этим дела не ограничивались, ибо работа отделения в целом была сосредоточена на устройстве городов и совершенствовании их общественных самоуправлений и хозяйственной жизни.

Ещё будучи чиновником особых поручений при ревизии городов губернии, Салтыков не мог не обратить внимания на удивительную особенность их жизни. Наряду со взяточничеством и хищениями, при очевидно недостаточном финансовом обеспечении городского самоуправления, неизменно открывались изъяны, которые вызывались самой системой выборов лиц на должности, связанные с обеспечением работы городского хозяйства. В сознании большинства жителей общественные должности по выборам виделись неблагоприятно обременительными. В итоге население относилось к выборам равнодушно, приходилось ради формального оформления итогов подделывать бумаги. Места занимали случайные люди, в том числе, как тогда говорилось, «опороченные по суду».

Это сочетание людского безразличия, общественной апатии с хозяйственно-экономическими изъянами, открывшееся Салтыкову, он попытался разбить, а затем перевести на путь преобразований посредством действий, для чиновника самых естественных: опираясь на принципы законности и порядка, он стал рассылать по губернии предписания и циркуляры, направленные на оздоровление институтов самоуправления. Он испытал изумление образованного человека перед полным нежеланием



людей воспользоваться даваемыми им правами и погрузился в изучение причин этого. Обнаружив, что купцов на общественных местах больше, чем мещан, Салтыков предполагает причину этого в отчуждённости низшего сословия от идей самоуправления. Решение проблемы, однако, неожиданно: для привлечения мещан на общественные должности «следует принять принудительные меры». Правда, здесь его административная фантазия дала сбой и что это за меры, приносящие «возможно большую искренность в выборах», он не пояснил.

«Соблюдение городскими обществами всех форм, которые предписаны законом, – во всяком случае настаивал он, – служит единственным ручательством к искоренению произвола и злоупотреблений». Пытаясь вызвать общественную активность, вменил всем городским самоуправлениям в обязанность составление перед выборами списков кандидатов, а до этого сбор сведений, не было ли включаемое в кандидатский список лицо под судом, за что именно, исправляло ли оно общественные должности, какие и когда именно... Сами выборы предлагалось проводить только при наличии не менее трёх четвертей членов общества, а избранные лица допускались к исправлению должности только после утверждения их соответствующей инстанцией – и только после проверки всех выборных процедур.

Надо отметить, что изначально настроивший себя на деятельность и набиравший чиновничий опыт Салтыков довольно часто, понимая необходимость незамедлительно принимать решения именно из-за ограниченности своих возможностей, действовал необычным образом. Так, установив, что на материальном состоянии крестьян особенно пагубно отражаются пьянство и ябедничество (превратно понимаемое право на жалобы в суд), он выступил со своими предложениями, которые ярко отражают естественные превратности его личностного роста.

Зная, что Управление государственных имуществ не достигло успеха, отдавая имущество пьянчуг под опеку, Салтыков решил даже усилить карательные меры, полагая, что «весьма важное влияние» на «нравственность крестьян» может иметь «предоставленное обществом право отдавать в рекруты без зачёта, замеченных в дурном поведении и ссылая в Сибирь на поселение тех из них, которые опорочены по суду». То есть он предлагал оживить ту меру наказания, которая самим крестьянским обществом не одобрялась. При этом он понимал, что развитие правосознания в народе – процесс длительный, требующий значительных усилий как от властей, так и от самих крестьян. Так, крестьянская «страсть к ябедам» вызывает у него следующую оценку: «хотя с одной стороны

порок этот много способствует к умножению и без того уже значительного числа дел в присутственных местах Вятской губернии, но, с другой стороны, факт этот доказывает и то, что крестьяне имеют доверие к лицам, на которых возложены обязанности управления».

Один из первых подступов к художественному осмыслению этой проблемы виден в «провинциальных сценах» «Просители», входящих в раздел «Драматические сцены и монологи» «Губернских очерков». Здесь среди просителей оказываются как раз трое крестьян, правда, в списке действующих лиц выразительно отмаркированные как «пейзаны».

Александр Лясковский, внимательно изучивший чиновничью деятельность Салтыкова в Вятской губернии, обратил внимание на то, что въедливого Михаила Евграфовича не удовлетворили даже те случаи, когда сметы некоторых городов сводились без дефицита, а то и с экономией. Салтыков этому не обрадовался, а заинтересовался, на какие общественные нужды образовавшийся *капиталец* употребляется. И недаром: оказалось, что эти суммы отдавались в ссуду частным лицам под векселя, а затем возникало уже знакомое и родное до боли сердечной: кумовство, ссуживание причастными самих себя или родственников и всё такое прочее. Салтыков попытался это обыкновение остановить, распорядившись, чтобы города «отнюдь не позволяли себе отдавать остаточных городских капиталов в ссуду частным лицам, а немедленно отсылали их на хранение в приказ общественного призрения». Однако это и многие другие его распоряжения, направленные на усовершенствование городских хозяйств, несмотря на свою общую здравость и продуманность в деталях, в целом выглядят печальной мечтой. Это, как видно, понимал и сам их автор, когда в одном из своих докладов выражал надежду на то, что «со временем, когда все сии распоряжения примут надлежащее действие и укоренятся силою обычаев, общественное управление и городское хозяйство приобретут более правильное устройство».

К счастью, у Салтыкова-чиновника было замечательное качество. Он мог потосковать и о народной апатии, и о бессовестности чиновников, и о бездушии власти, и даже о собственной участи *изгнанника*, как он себя воспринимал. Но недолго – предпочитая тоску глушить и изгонять делами службы, которую, по его собственным словам, считал «далеко не бесполезною <...>, хотя бы уже по одному тому, что я служу честно».

1851 год принёс Салтыкову не только новые служебные дела и надежды на возвращение в столицу. Губернатора Акима Ивановича Середу потянуло в родные ему места, в Оренбуржье, и он ждал перевода. Это огорчало Салтыкова, с губернатором у него сложились самые добрые отношения, а о прочем речь пойдёт впереди.

Евграф Васильевич давно болел, и сын не раз пытался получить отпуск с тем, чтобы его навестить, но тщетно. В разговорах с ним Ольга Михайловна не вдавалась в подробности вятской службы сына, отделяясь общими рассуждениями, но отец продолжал выписывать газеты и внимательно изучал их, надеясь, что про *Михайлу*, ставшего советником губернского правления, объявят и здесь. К сожалению, писем Салтыкова той поры родителям почти не сохранилось, хотя их было немало; недаром Ольга Михайловна с её особым народным сарказмом писала в декабре 1850 года сыну Дмитрию: «Бывало, Михайла редко писал, а как укусил сырой земли, так милее не стало родителей. Неделю не пропустит и пишет, неделю не получил от нас и скучает. Видно, горе умягчает русские сердца».

В письмах Ольги Михайловны конца 1850-го – начала 1851 года постоянны сожаления о болезни Евграфа Васильевича и надежды на то, что Михаил сможет приехать к ним в имение. «Если Богу угодно спасти папеньку, то я бы хотела, чтобы вы и Миша все к нам приехали летом в августе, ибо сего года в сентябре 22-го будет нашему супружеству 35 лет» (из письма сыновьям Дмитрию, Сергею и Илье 11 февраля 1851 года).

Впрочем, печали не отвлекают её от дел: в связи с неизбежным она занята переоформлением владения СпасУглом в пользу Дмитрия Евграфовича. Для этого Михайлу надо подписать отказной акт, что он незамедлительно делает: «Я полагаю лучше предоставить это дело тому течению, которое оно приняло в настоящее время, чем заводить новую переписку». Но при этом, зная сложность отношений Ольги Михайловны с сыновьями Николаем и Сергеем, просит Дмитрия Евграфовича убедить Сергея также подписать отказной акт: «Скажи ему, что я прошу его об этом, любя его искренно, и что этим он скорее выиграет, нежели проиграет, тем более что 10 т. р. с, которые следуют за часть в папенькином имении, вовсе не так важны. Во всяком случае, я беру на себя всю ответственность в отношении к нему, если он из имения маменьки не получит часть, по крайней мере, равную этим деньгам, и в несчастном случае обязуюсь выделить ему такую часть из своего имения, если у меня самого что-нибудь будет».

К сожалению, погрузившись в дела семейные, Михаил Евграфович

подзабыл, что при переходе Спас-Угла к Дмитрию Евграфовичу к нему переходили и крепостные крестьяне, в том числе принадлежавший ему верный дядька Платон Иванов и его родственники. Вообще-то Платону он собирался дать вольную, но в этих условиях дело осложнилось и чем оно кончилось, неясно. Платон, а также слуга Григорий, летами помоложе, продолжали оставаться при Салтыкове.

13 марта 1851 года Евграф Васильевич умер. Салтыкову не удалось ни повидаться с ним перед смертью, ни приехать на похороны. Отец упокоился на родовом кладбище при Спасской церкви, а сын смог навестить его могилу только в декабре 1855 года по возвращении из Вятки. К счастью, могила сохранилась доньше. Ольга Михайловна не без оснований связывала роковое ухудшение здоровья мужа и с «положением» *Миши*. «Право, как теперь всё вздумаю, так и вижу, что это событие его (Евграфа Васильевича. – С. Д.) в могилу свело, ужасно он скорбел об нём, скрепя сердце своё, бедный страдал сей горестью, а после сего всё стал слабеть. Подумаешь, вот как дети дороги, что жизнью за них квиваешься».

Вместе с тем, узнав, что после отъезда в апреле 1851 года губернатора Середы на новое место службы в Оренбург Михаил хлопочет и о своём переводе туда и даже готов на первых порах там «послужить без жалованья несколько времени», Ольга Михайловна воспротивилась этому. «Я сужу, что он или в отчаянии, или упрямство, и так меня этим расстроил, – пишет она в конце мая 1851 года Дмитрию Евграфовичу. – Ему грех пользоваться моей снисходительностью в помощи с угнетением меня и братьев его, кои много менее его получают от меня, ибо я не имею возможности одинаково удовлетворять других, а через это они делают ропот на него и укор меня. А как он избаловался моею снисходительностью, привык к излишеству (здесь мать кивает на франтовство Михаила. – С. Д.), так и цены не знает ничему и не умеет себе отказывать ни в чём. Если будет служить без жалованья, так я вижу, он опять хочет навалиться на меня, будучи сам во всём виноват, и собою всех тяготит. Вот терпишь, терпишь, да и терпение потеряешь. Что же я, как лошадь, что ли, должна работать век на него, ну коли сам себя посадил, так и сиди там. Право, досадно».

Это письмо я привожу не затем, чтобы показать зловредность и скаредность Ольги Михайловны, а чтобы ещё раз полюбоваться живостью, яркостью её речи. Её доводы против устремления Салтыкова в Оренбург совершенно рациональны («Пожалуй, потеряет место и жалованье, после и совсем не поправить»), менять хорошую должность в далёкой Вятке на непонятное положение в не менее захолустном Оренбурге для неё необъяснимая нелепость.

Но *Миша*, как видно, не отступал, надеясь в обстоятельствах смены не только губернатора, но и перемещения в связи с этим многих вятских чиновников взять то, что ему желалось. Так что вскоре Ольга Михайловна получила письмо и от теперь уже бывшей вятской губернаторши, Натальи Николаевны Середы, где она просила мать разрешить сыну добиваться перевода в Оренбург. Неизвестно, догадывалась ли проницательная Ольга Михайловна о том, о чём догадался Дмитрий Евграфович, если судить по его письмам младшему брату – но так или иначе она сосредоточилась именно на попытках перевести сына из чувства в разум, убедить его добиваться изменения своей участи, служа именно в Вятке. При этом она не оставила своих хлопот, только изменила их причину: стала «просить его в отставку на родину. Пускай живёт около своей больной несчастной матери».

Ну а сам сын продолжал тянуть свою служебную лямку, расставшись с очередной надеждой – перебраться в Оренбург (хотя слухи о его переводе, по обыкновению, ходили по Вятке ещё несколько месяцев), как терял он надежду вырваться из Вятки в родные края. Более того, хотя перед своим отъездом в Оренбург Середа отправил министру внутренних дел Перовскому представление о снятии с Салтыкова полицейского надзора, Перовский, которому, возможно, стала надоедать кутерьма с нашим героем, решил перестраховаться. Представление было перенаправлено военному министру князю Чернышёву, раздувшему дело 1848 года, а тот, как и прежде, вновь в ходатайстве отказал.

Несколько месяцев – с мая до конца июля 1851 года – в губернии шла перемена начальства. Не только Середа, но, как уже говорилось, и вице-губернатор Костливецов получил новое назначение – в Пермь. Его место занял статский советник Аполлон Петрович Болтин, до того бывший в Томске председателем губернского правления. Он приехал в Вятку 12 мая, а с 16 мая стал исполнять обязанности гражданского губернатора до приезда нового, приняв дела у предыдущего заместителя. Таковым после отъезда Середы был председатель Вятской казённой палаты действительный статский советник Владимир Александрович Тиньков, чиновник, явно не чуждый сомнительных финансовых операций, о чём хорошо знали в губернии, в том числе и Салтыков.

А новым вятским гражданским губернатором стал действительный статский советник, 55-летний Николай Николаевич Семёнов (дядя и воспитатель впоследствии знаменитого путешественника Петра Семёнова-Тян-Шанского). Это была личность не менее интересная, чем Середа. Кое-где в современных статьях его повышают в чине до действительного

тайного советника, но это не так, хотя у Семёнова были серьёзные заслуги перед Отечеством и российским просвещением. Он много лет исправлял должность директора Рязанской губернской мужской гимназии и одновременно директора народных училищ Рязанской губернии и вывел гимназию в число лучших в России. Будучи книголюбом и галломаном, Семёнов был не чужд изящной словесности. У него уже были заслуги перед русской литературой – как директор гимназии он поддержал и благословил на творческую стезю учившегося у него Якова Полонского. В Вятку он приехал с должности вице-губернатора Минской губернии.

Но ещё до появления Семёнова Салтыков успел подпортить отношения с Болтиным. Аполлон Петрович на месте губернатора, ощущая своё положение временщика, решил, судя по всему, покомандовать чиновниками, обеспечивая себе на дальнейшее репутацию строгого начальника. Салтыкову это не могло понравиться: о «различных неудовольствиях с вице-губернатором» он не раз упоминает в письмах второй половины 1851 года. Хотя новый вице-губернатор был вполне обаятельным, образованным человеком, увлекался музыкой, любил играть в любительских спектаклях и, вероятно, дело было не только в его придирках, но и в самом характере Салтыкова, который, имея безупречную служебную репутацию и прижившись в Вятке при благоволившем ему Серее, совершенно не воспринимал *новую метлу*, к тому же на время.

Зато отношения Салтыкова с Семёновым вполне сложились («Губернаторша ко мне очень ласкова, губернатор тоже», – замечает он в письме брату Дмитрию в марте 1852 года, поздравляя его с прошедшим днём рождения и наступающим праздником Пасхи). Хотя не обходилось и без служебных сложностей. 10 ноября того же года Семёнов отправил Салтыкова в заштатный город Кай. Здесь, в Трушниковской волости Слободского уезда возникли волнения государственных крестьян, вызванные запутывавшейся в течение многих лет проблемой «починок» – то есть участков, расчищенных от казённого леса и превращённых в сенокосы. Держатель оброка на этих участках, кайский городской голова Иван Дмитриевич Гуднин, узнав, что крестьяне Путейского и Нелысовского сельских обществ скосили всю траву на «починках», решил добиться от них оброка во что бы то ни стало, для чего на следующий день после праздника Покрова, 2 октября послал в волость станового пристава с требованием вернуть сено. Через сутки появился и сам, в сопровождении сорока подвод для вывоза сена.

Не тут-то было – возмущённые несправедливостью, как они её понимали, они силой прогнали возчиков с их транспортом, а испуганного

Гуднина, спрятавшегося в сарай, выволокли оттуда, избили и отвели в свою деревню. Здесь они потребовали от Гуднина подписку о том, что он не только никогда не будет требовать с них оброк, но и не будет больше брать в аренду никаких земельных угодий. Испуганный Гуднин бумагу подписал. Крестьяне, которых было более сотни, вдохновлённые успехом, решили, что, кроме «починок», надо добиться прав на всю *Камскую статью*. Об этом они заявили приехавшим чиновникам земского суда, прибавив: «Лучше погибнем со своими семействами, чем дадим пользоваться оброчной статьёй мещанину».

Семёнов, уже убедившись в человеческой порядочности Салтыкова и его стремлении разбираться во всех обстоятельствах дел, понять мотивы и интересы сторон, решил, что он сможет уладить конфликт миром. На крестьянском сходе Салтыков попытался объяснить крестьянам самоуправность их действий, вместе с тем обещая от имени губернатора впоследствии пересмотреть вопрос о «починках». Он уговаривал крестьян, чтобы они подали прошение с объяснением, что не платят оброк не по упорству, а по бедности, что давало возможность затем решать вопрос с Гудниным – но тщетно. Крестьяне в благополучный исход не поверили и продолжали отстаивать своё право на покосы. Ни к чему не привели и переговоры Салтыкова с некоторыми крестьянами, которых он посчитал наиболее здравыми в представлениях о случившемся и способными убедить других в необходимости договариваться с властью, а не дожидаться применения силы.

При этом он, не веря в достижимость результата, применил своеобразный воспитательный приём: в присутствии крестьян составил и прочитал рапорт губернатору с просьбой прислать воинскую команду «для приведения крестьян в повиновение, без чего никоим образом желаемой цели достигнуть невозможно». После чего он, а также жандармский штабс-капитан Иван Антонович Дувинг и ревизор корпуса лесничих Алексей Павлович Соломка рапорт подписали и отправили с нарочным в Вятку. Но этот экстравагантный жест привёл лишь к недолгим колебаниям среди крестьян – они забыли про доводы благоразумия, подавили сомневавшихся и отвергли любые уступки.

Тогда Салтыков, установив, что главными застрельщиками борьбы за «починки» были три крестьянина, совершил ошибку – арестовал их. «Дабы и в предстоящих по сему предмету распоряжениях не встретить в подстрекательстве сих крестьян, – писал он губернатору, – главной причины недостижения возложенного на нас поручения я распорядился вызвать их из места жительства и дабы пресечь всякий способ к побегу,

подвергнуть их аресту с заключением в кандалы, в каком виде и препроводил их в временное отделение Слободского суда к производимому им следственному делу с тем, чтобы в дальнейшем оно поступило с ними по обстоятельствам дела».

Но арест ни к чему не привёл. Крестьяне попросту разошлись по домам и в городишке Кае, где находился Салтыков, больше не появлялись. Они, как всегда и бывает в народной среде, почувствовали колебания чиновника, его нерешительность (которая, очевидно, была вызвана пониманием, что только правых и только виноватых в этом деле нет). Эти колебания почувствовал и губернатор Семёнов, умудрённый большим, в том числе педагогическим опытом. Вместо воинской команды к Салтыкову приехал его добрый вятский приятель, управляющий палатой государственных имуществ, коллежский советник Василий Ефимович Круковский. Он был всего на пять лет старше Салтыкова, но обладал спокойным, рассудительным характером, был чужд взрывов чувств, которые сопровождали Михаила Евграфовича всю жизнь.

Помня, что посылка военной команды – крайняя мера, а также то, что все расходы по такой экспедиции закон заботливо относил на счёт недоимщиков и неплательщиков, Семёнов в письменном распоряжении Круковскому ставил под сомнение обоснованность просьбы Салтыкова, прибавляя: «посылка сей команды при известной с давнего времени бедности крестьян, не имеющих даже возможности уплачивать государственной подати, повергло бы их в совершенное разорение». Губернатор предлагал Круковскому и Салтыкову всё старание к вразумлению и убеждению крестьян прекратить беспорядки, «если будет возможно без употребления воинской команды».

Попытки Салтыкова как-то оправдать свои действия – то нерешительные, то чересчур радикальные – Семёнов отвёл, а в его просьбе вернуться в Вятку, верно, возмущённый её двусмысленностью («если посылка воинской команды будет неизбежной, то распорядиться ею может и местная земская полиция»), отказал. Одновременно Семёнов, разумно решив подстраховаться, ещё когда конфликт был в самом разгаре, отправил в Петербург представление министрам государственных имуществ и внутренних дел о необходимости отдать крестьянам в надел всю *Камскую статью*.

В свою очередь обстоятельный Круковский, прибыв на место, быстро вник в суть дела. Он учёл мнение чиновников отделения земского суда, также полагавших, что единственным справедливым выходом из положения было бы наделение крестьян землёю. Сообща они смогли



уговорить крестьян уплатить Гуднину часть оброка, а тот, в свою очередь, обязался не требовать его с неимущих. И самое главное: Гуднин с 1 января 1853 года отказывался от аренды *Камской статьи*, которая переходила в надел крестьянам.

Словом, обошлось без военной экзекуции, хотя «подстрекатели» за избиение Гуднина и провокацию беспорядков были отданы под суд. Добросердечный Круковский в рапорте губернатору постарался представить действия Салтыкова, а также Дувинга и Соломки в самом выгодном свете, подчёркивал, что именно они создали основания для мирного разрешения конфликта. Здесь надо учесть, что по российским орденским статусам той поры за прекращение крестьянских беспорядков без вызова воинской команды полагался орден Святого Владимира 4-й степени. Однако Семёнов, согласившись с предложением Круковского представить к ордену Дувинга, Салтыкову в этом отказал: «Распоряжениями Салтыкова я недоволен», «Салтыков ничего не сделал к усмирению крестьян». Надо подчеркнуть: здесь нет какой-либо предвзятости Семёнова – ведь ещё за полгода до Кайских событий он смог завершить дело, начатое Середой, – произведение Салтыкова в коллежские асессоры.

По некоторым сведениям Круковский попытался добиться, чтобы Салтыкова наградили хотя бы менее значительным орденом Святого Станислава 3-й степени, но также безуспешно. Но, может, это и к лучшему. Из этой относительной (всё же кровь не была пролита) административной неудачи (очень редкой в его государственной службе) Михаил Евграфович извлёк куда больше, чем награждение орденом (забегая вперёд заметим, что, по итогам службы, был едва ли не единственный в Российской империи действительный статский советник, не имевший ни одного ордена).

Смысл этого урока, возможно, получил своё краткое выражение в суждении, которое появилось в незавершённом цикле «Книга об умирающих» (1858) и фактически является автобиографическим. «Действительная служба, – отмечает Салтыков, – ставила меня в прямые отношения к живым силам народа, но я сам чувствовал, как я робел и мешался при первом прикосновении ко мне жизни, как мне казалось всё это дико, не так, как сложилось в моём воображении».

Очень полезные, отрезвляющие слова.

Новый губернатор, очевидно, сделал свои выводы из кайского анабасиса Салтыкова и стал чаще отправлять его в разъезды по губернии с разными, всегда непростыми поручениями. Если в 1851 году у него не было ни одного сколько-нибудь продолжительного выезда за пределы Вятки, то в последующие четыре года вятской службы он совершил множество поездок, многие из которых пришлось на холодное время года, в морозы, которые в этих краях нередко опускаются за минус тридцать.

Орловская, Слободская и Сарапульская городские думы, Сарапульский городской магистрат, Елабужское городское управление и Елабужский земский суд, Нолинский земский суд, Малмыж, Глазов, заштатный городок Кай, село Уни... Всю губернию объехал Салтыков – причём не миражным гоголевским, а суровым, въедливым – и неподкупным – ревизором. При таком навале работы у него не могло не возникнуть искушения пойти в ревизиях по сложившейся форме, а именно оценивать количество рассмотренных и отложенных дел, жалоб и неисполненных бумаг. Если последних было немного, выносилось положительное заключение о ревизуемом учреждении. Но Салтыков, как видно, решил превратить ревизии в форму работы, необходимой ему для приобретения аналитического опыта, понимания того мира, в котором он живёт и о котором пытается писать.

Докладные записки Салтыкова вятских лет выглядят сегодня как упражнения в преддверии его литературных трудов. Он стремится уловить и описать как механизмы злоупотреблений, так и состояния бездействия, чиновничьего равнодушия. «Очевидно, что все действия членов думы, – пишет он о думе города Орлова, – направлены к тому, чтобы как-нибудь отбыть время службы, не попав под ответственность, а не к тому, чтобы принести пользу». Некоторые его заключения звучат почти афористически: «Нет злоупотреблений, но нет и ни малейшей заботливости к сохранению городских интересов».

Именно в вятской глубинке впервые открылись ему те механизмы государственного управления, которые с небольшими видоизменениями повторялись и в высоких эшелонах власти, а главное – повторялись во времени, преодолевая не только десятилетия, но и столетия. Так же, пожалуй, именно в Вятке Салтыков стал изучать взаимосвязи между общими чертами человеческой природы с конкретной социально-политической системой. Первоначально выстраивая здесь, подобно Герцену, линейные взаимосвязи между человеком и, так сказать, Табелью о рангах, формой его отчуждения от себя самого, вскоре, то есть в той же Вятке он понял, что такая социологизация многослойного человеческого

нутра поверхностна и к постижению как мира, так и человека в нём не ведёт.

Здесь многое Салтыкову принесло то, что в его служебном ведении оказались все тюрьмы и этапы губернии. Прежний, ещё с лицейских времён интерес к человеку, преступающему закон, и к системе, которая предназначена для исправления преступников, теперь, после книжных штудий получил возможность проникнуться реальностями этой системы. Судя по первому докладу Салтыкова, он был этими реальностями потрясён, а читавший доклад губернатор поначалу изложенному в нём не поверил. Но Салтыков настоял на своём и начал последовательно добиваться прежде всего улучшения быта заключённых. При тюрьмах стали сооружаться бани и организовываться дворы для прогулок, но, главное, Салтыков попытался бороться с воровством смотрителей тюрем, бесстыдно наживавшихся на питании заключённых, их одежде, бельё, обуви. Безбожно извращая библейский принцип «всякое даяние благо», тюремные чиновники превращались на службе в совершенных монстров, вызывавших чувство омерзения.

Впрочем, Салтыков постарался отринуть эмоции, обратившись к литературному оформлению своих пенитенциарных впечатлений и наблюдений. Раздел «В остроге», поставленный им в финальную часть «Губернских очерков», – особая его заслуга перед русской литературой. За несколько лет до «Записок из Мёртвого дома» Достоевского он обратился к теме человека в неволе, положив начало её развитию в сочинениях Сергея Максимова, Чехова, Власа Дорошевича и так далее до «Колымских рассказов» и «Архипелага ГУЛАГ».

В Вятской губернии существовал «Попечительный о тюрьмах комитет», в обязанности которого входила забота об облегчении быта заключённых, однако на деле организация эта была формальной, членство в комитете было почётным, но не побуждало к тому, ради чего комитет создавался. Став членом комитета, Салтыков не просто прекратил его бездействие, он добился создания таких же уездных комитетов и повёл дело так, что постепенно возникла система мероприятий по облегчению участи заключённых.

В связи с реформированием тюремной системы в Вятке был образован комитет по разработке плана устройства здесь, применительно к местным условиям, смиренного и рабочего домов. Но, как это обычно бывает, большинство в этом комитете составили люди совершенно бесполезные, но со своими интересами к этому членству. Салтыков как советник губернского правления оказался в комитете главным двигателем, которому

предстояло подготовить такой план устройства смиренного и рабочего домов, когда бы достигалась полная изоляция арестованных различных полов, возрастов и нравственности. При этом арестованные, которым был вменён физический труд как исправительная мера, должны были иметь для этого условия (производились различные предметы быта для сбыта на местных рынках с тем, чтобы вырученные деньги шли на питание заключённых и их вознаграждение). Рабочий и смиренный дома, построенные по архитектурному плану, разработанному под руководством Салтыкова, просуществовали многие десятилетия и продолжали действовать после 1917 года, при большевиках.

Но не только службой и её промыслительными уроками жил в Вятке Салтыков. Как ни убеждали его друг Василий Круковский и, понятно, другие вятчане, что жизнь в этом городе тоже имеет свои радости и даже черты счастья, письма Михаила Евграфовича – из тех, что сохранились (но, значит, и пропавшие тоже) – полны волнами накатывающих жалоб, перемежающихся строками, где просматриваются попытки *изгнанника* как-то расцветить свою жизнь.

«Ты не поверишь, любезный брат, какая меня одолевает скука в Вятке. Здесь беспрерывно возникают такие сплетни, такое устроено шпионство и гадости, что подлинно рта нельзя раскрыть, чтобы не рассказали о тебе самые нелепые небылицы, – это Михаил Евграфович пишет брату Дмитрию на пятом году вятской жизни, в октябре 1852 года, и нам, конечно, хотелось бы узнать, какие небылицы о нём рассказывал вятский бомонд, если, без сомнений, в почтовом ведомстве знали о длившейся уже после кончины в Оренбурге бывшего губернатора переписке с его теперь уже вдовой Натальей Николаевной Середой. – Хотелось бы хоть куда-нибудь перейти в другое место, только чтобы избавиться от этой неpotребной Вятки», – продолжает Салтыков, и мы, кажется, догадываемся, куда он продолжает рваться. Но есть дела насущные и в *непотребном* городе, и он спрашивает брата: «Получил ли ты моё письмо, которым я просил тебя о заказе Клеменцу нового платья, и взялся ли он исполнить этот заказ. Уж вот конец октября, а я ничего не получаю из заказанных вещей».

Впрочем, дело молодое, и новые наряды Салтыкову тоже требовались. Его отношения с вице-губернатором Аполлоном Петровичем Болтиным вскоре после появления губернатора Семёнова совершенно исправились, и однажды (газетная хроника сохранила дату – 7 декабря 1851 года) он отправился на благотворительный концерт в пользу учреждавшегося детского приюта. Конечно, присутствовать на нём он должен был и по

должности, и по долгу сердца, и скуки ради, и потому, что распорядителем концерта был Болтин.

Концерт состоял из музыкальных номеров. Дочь губернатора, дочери и жёны чиновников пели арии и романсы, играли на фортепьяно. Вероятно, именно на этом вечере Михаил Евграфович впервые увидел дочерей Болтина – двойняшек Аню и Лизу. Девочки, им было по тринадцать лет, сыграли фрагмент из оды-симфонии «Пустыня» (*Le désert*) модного тогда композитора Фелисьена Сезара Давида. Кроме того, поскольку могла возникнуть накладка – заявленная в программе жена жандармского офицера Дувинга занемогла, Аполлон Петрович незамедлительно вновь усадил за фортепьяно своих дочерей, и они вдохновенно сыграли попури на мотивы опер Доницетти, а в завершение вечера под аккомпанемент Анны Аполлоновны был исполнен гимн «Боже, Царя храни!».

Хотя в концерте пела девятнадцатилетняя Мария Николаевна Семёнова, меланхолический взор не вырвавшегося в Оренбург холостого титулярного советника Салтыкова упал на сестёр Болтиных (надо подчеркнуть: Михаил Евграфович никогда не гонялся за богатыми, именитыми невестами – скорее, напротив). Словом, через короткое время Михаил Евграфович вспомнил адрес вице-губернаторского дома на Спасской улице. Прежде здесь жил Сергей Александрович Костливцов, и он заглядывал к старшему однокашнику отдохнуть в разговорах о лицее, о Петербурге. Теперь же приходил туда повидать сестёр.

История главной, а может, и единственной любви Салтыкова, не без помощи его собственного злоязычия, до наших времён добралась в виде желтоватой легенды, и пора наконец освободить её от шлейфа анекдотических рассказов, очистить факты от превратных толкований. Салтыков поначалу и сам не мог разобраться в своих чувствах к девочкам-подросткам, хотя чувства, что и говорить, были – и самые романтические, и совсем неизъяснимые. Что ж, влюбился в обеих? Едва ли он сам смог поначалу дать ответ на этот вопрос. Но когда в августе 1853 года Болтин получил новое назначение, поближе к Москве, – стал вице-губернатором Владимирской губернии, – Михаил Евграфович, предварительно заручившись согласием Ольги Михайловны, просил у Аполлона Петровича и Екатерины Ивановны Болтиных руки их Елизаветы.

Вокруг причины такого выбора щедринovedы настроили немало псевдопросветительских сказочек, неизменно подчёркивая, что интеллектуально Анна Аполлоновна была куда выше хохотушки Лизы, и даже сокрушаясь, что жених якобы ошибся невестой. Но нет, этот суровый господин, пребывающий в постоянных раздумьях о себе и о собственных

поступках, не ошибся. Много лет спустя Михаил Евграфович на вопрос, почему он, человек умственного труда и «широких общественных интересов», женился на Елизавете, а не на Анне, которая, несомненно, была образованнее, неизменно отвечал: «Елизавета была много пригляднее». И то сказать: когда Анна Аполлоновна вместе со своим мужем увлеклись спиритизмом, Салтыков разочаровался и в её умственной основательности.

Однако первый подход не удался. Родитель обратил внимание жениха на то, что Лизе всего пятнадцать лет (*Михайла*, пожалуй, извинял себя примером маменьки, которая как раз в пятнадцать и пошла под венец). Впрочем, затем господину советнику губернского правления было сказано, что он может «возобновить своё предложение через год». Во всяком случае, итожил Салтыков в письме брату и невестке, «я имею надежду, что моё предложение не будет отвергнуто, и потому вправе считать себя в настоящее время женихом. Одно только вводит меня в сомнение: боюсь, чтобы отдалённость и разлука не изменили чувств персоны, о которой идёт речь. А персона такая миленькая, что, право, жалко будет, если достанется она в удел какому-нибудь шалопаю».

Стремясь не то чтобы прикрыть свою растущую влюблённость в Лизу, но сделать естественными свои частые визиты в дом Болтина, Салтыков заводил здесь разговоры о прочитанном, о необходимости женского образования, пусть домашнего (впрочем, родители не возражали и без советов Михаила Евграфовича обучали дочерей языкам, музыке, рукоделию)... Чтобы подольше побыть с Лизой (ну, и с Аней, как получалось), Салтыков, с детства владевший фортепьяно, скрыл это и стал брать уроки музыки у сестёр, преимущественно у Лизы. Со своей стороны он решил преподавать им основы отечественной истории. Как проходили эти занятия, нам в точности неизвестно, но Салтыков даже написал для сестёр «Краткую историю России». Сама эта идея возникла у него, скорее всего, во время четырёхмесячного (с 16 июня по 16 октября) отпуска в Тверскую, Московскую и Ярославскую губернии, то есть в салтыковские имения, который он наконец получил летом 1853 года.

Думается, эта «Краткая история», которую, как видно, Салтыков посылал частями в письмах сёстрам, давала ему возможность постоянной переписки с Елизаветой, а также, что важно, он волей-неволей, уже с административным опытом, получил возможность вновь вникнуть в сложности родной истории, попытаться объяснить их так, чтобы было понятно даже подросткам. Задача трудноразрешимая, но, несомненно, способствовавшая возникновению и созданию одного из главных

салтыковских шедевров – «Истории одного города».

«Краткая история России» до нас не дошла, возможный первоиздатель сорокастраничной рукописи К. К. Арсеньев отнёсся к ней пренебрежительно, как к компиляции, а сама рукопись вскоре погибла в пожаре. Но всё же среди напечатанных Арсеньевым строчек «Краткой истории» оказались несколько тех, которые вскоре едва ли не вспомнил Салтыков. «Язвою русского государства были староверы, – писал он. – Секта эта возникла по случаю исправления церковных книг. Некоторые из исправителей издали имевшиеся у них в руках списки не только без исправлений, но даже с ложными толкованиями. Патриарх Никон жестоко преследовал таких ересиархов и высылал их из Москвы. Возникла ересь, распространившаяся с необычайной быстротой. Дерзость староверов дошла до того, что они не усомнились окружить Успенский собор во время патриаршего служения и настойчиво требовали публичного прения».

Старообрядцы, староверы – одна из самых больных, тяжёлых проблем самодержавной России. Власти преследовали их очень жёстко, так что семейства староверов и целые общины вынуждены были бежать из центральных губерний, стараясь спрятаться на окраинах империи. Их в те времена официально именовали раскольниками, хотя, по совести говоря, раскол православной церкви был порождён именно реформами патриарха Никона (недаром в среде старообрядцев бытует выражение «никонианский раскол»). Поэтому знаменательно уже то, что в своей истории Салтыков называет их староверами, что и справедливее, и правильнее исторически. Так что в дальнейшем рассказе о том, как жизнь вовлекла Салтыкова в тяготы старообрядческой жизни, мы будем пользоваться обоими именованиями – в зависимости от обстоятельств действия.

Немало староверов нашли прибежище в обширной, покрытой дремучими лесами Вятской губернии. Их семейства селились в городах и сёлах, а в лесах скрывались староверческие «наставники», «странники», монахи и монахини обителей, объявленных властями раскольничьими и разгромленных. Обретя приют в устроенной себе пещере-келье, монахи и странники обычно не вели отшельническую жизнь, а отправлялись по окрестным деревням нередко лишь в поисках пропитания. Кусок хлеба они зарабатывали тем, что умели – совершали требы, то есть крестили, причащали, венчали, отпевали, просто вели душеспасительные беседы. По сути, это было не насаждение старообрядчества, а приближение православной веры к тем, кто в ней нуждался и о ком мало пеклась официальная церковь...

Осенью 1854 года сарапульские власти задержали «бродягу», который

называл себя «странником Ананием». После чего сарапульский городничий, штабс-капитан фон Дрейер провёл расследование, на основании которого послал донесение вятскому губернатору. Некогда Ананий Ситников был казённым мастеровым на одном из уральских заводов, но не исполнял молча и прилежно свои трудовые обязанности, а проводил время в беседах с забредавшими в те места странниками, обычно староверами. В итоге Ситников решил отрешиться от мира и «спасать душу» – для начала бросил семью, жил в старообрядческих скитах, принял монашество, ходил по святым для старообрядцев местам: побывал на Сиверском озере в Кирилло-Белозерском монастыре, в Спасо-Прилуцком Дмитриевом монастыре близ Вологды, на Белом море в монастыре Соловецком. Посетил он и особо чтимое старообрядцами Рогожское кладбище в Москве. В итоге своего замысловатого по путям-дорогам паломничества Ситников ощутил себя готовым к миссии «наставника» и, приплыв на пароходе в Сарапул, навестил знакомого старообрядца Смагина, за которым был установлен полицейский надзор. Недолго думая, у Смагина провели обыск, в результате которого были обнаружены, по мнению фон Дрейера, всяческая раскольникья крамола и, главное, сведения о связях раскольников с единоверцами в Греции, Австрии и Турции, где жили так называемые «некрасовские» раскольники, потомки беглых казаков.

Особенно растревожило городничего упоминание о «некрасовцах», так как в это время по России ходил слух о заговоре против императора Николая Павловича, который связывался как раз с «некрасовцами». Вместе с тем Густав Густавович фон Дрейер, которого, когда появились «Губернские очерки», многие соотносили с изображённым там Фейером, простодушно просил губернатора послать для расследования происхождения чиновника из Вятки, ибо раскольники – народ богатый и местных могут подкупить. Губернатор Семёнов, в свою очередь, решил, что наилучшим образом с этим делом справится имеющий репутацию неподкупного Салтыков.

Прибыв в Сарапул, Михаил Евграфович быстро понял, что дело Ситникова раздуто и мало чем отличается от других раскольникских дел, которые уже были ему известны по долгу службы. Ананий Ситников представился ему обыкновенным праздношатающимся, бегающим от труда лентяем, решившим облагородиться под обликом странника и проповедника. Столь же надуманным выглядело в его глазах и «окружное послание некрасовцев», раздутое лишь в связи с беспочвенными, но вязкими слухами о заговоре против императора. Салтыков попытался



свернуть дело, но этому помешало пришедшее из Петербурга распоряжение.

В 1852 году Министерством внутренних дел была организована статистическая экспедиция по изучению старообрядческого раскола в Нижегородской губернии, которой руководил нижегородский уроженец, чиновник особых поручений Павел Иванович Мельников (уже заявивший о себе и в литературе под псевдонимом Андрей Печерский). Он жестоко преследовал старообрядцев, по его распоряжению разорялись старообрядческие скиты и молельни, он был фигурой в старообрядческой среде ненавистной настолько, что приобрёл легендарные черты злодея, поступившего в услужение дьяволу.

Как раз в 1854 году он представил «Отчёт о современном состоянии раскола», в котором обвинил в распространении этой «язвы государственной» провинциальное православное духовенство, погрязшее в бытовых пороках и позабывшее про паству. Записка Мельникова породила решение повсеместно обследовать состояние дел с раскольниками, и уже потому появление «странника» Ситникова требовало проявить бдительность. Салтыкову пришлось не только заниматься этим раздутым делом, но и охотиться за молитвенными собраниями старообрядцев, переодеваясь в крестьянскую одежду в надежде застигнуть их врасплох, в обличье странника выведывать у старообрядцев необходимые сведения, под видом расследования мелких преступлений (краж и т. д.) выведывать места, где располагались старообрядческие скиты...

Но добравшись до скитов, Салтыков обнаружил, что разложение проникло и в эту среду. Наряду с настоящими иноками и послушниками, среди братии обнаружились не только скрывавшиеся от рекрутчины, но и разного рода уголовные преступники. Не лучше обстояло и дело в женских скитах, где развивалась своя особая жизнь. Салтыков, готовя донесения, должен был признать, что укрывательство преступников в скитах «приняло такие обширные размеры, что вся северная часть Чердынского уезда, а также северо-восточная часть Усть-Сысольского в полном смысле кишит беглыми людьми, безнаказанно живущими там под защитой непроходимых лесов и покровительством простодушия и робости лесных жителей – пермяков и зырян. При открытии скитов всегда находят кости и могилы, что свидетельствует о том, что здесь скрываются самые гнусные злодеяния».

Чердынские леса открылись Салтыкову как одно из самых заповедных мест России, неизведанная земля, живущая по своим законам. Но как одиночка (слуги не в счёт) он попросту опасался углубляться в них и

предлагал петербургским чиновникам организовать большой, не менее двухсот человек, отряд полицейских-лыжников, который бы мог в весеннее время провести необходимые облавы, чтобы получить хотя бы первоначальное представление о происходящем там.

Выполняя начальственные распоряжения, Салтыков переезжал и на территорию Пермской губернии, где сложились свои отношения чиновников со староверами – раскольничьих дел заводилось немало, но подследственные обычно откупались. Преодолевая сопротивление пермских властей, Салтыков стал изучать историю с «матерью Торсилой», монахиней закрытого Иргизского монастыря. Против неё было возбуждено дело в распространении раскола, но за неё поручился авантюрист-купец Аггей Шалаевский, после чего она благополучно скрылась. Салтыков нашёл её настоятельницей в тайном женском монастыре среди Чердынских лесов и не только возобновил дело, но и возбудил новое против Шалаевского. Как выяснилось, тот формально принял православие, оставаясь старообрядцем. Шалаевский попытался откупиться в полиции, но при Салтыкове это ему не удалось.

Кроме того, Салтыкову пришлось, проверяя показания Ситникова о раскольниках и их скитах, ездить по местам его странствований – он побывал на реках Лупье и Лёле, в Ильинском, Бикбардинском, Камбарском и других заводах, в Осе, Ножевке, Оханске, добрался даже до Казанской губернии. В Казани Салтыков встретился с Мельниковым, но отношения их не сложились, а впоследствии это неприятие Салтыкова перешло и на литературное поле. Он не раз критически отзывался о сочинениях Мельникова-Печерского.

Не желая влезать в сферу широких полномочий Мельникова, Салтыков провёл лишь безрезультатный обыск у *картузника*, старообрядца Трофима Тимофеева Щедрина (вспоминаем о нём лишь из-за его фамилии: гадатели над псевдонимом писателя почему-то включают Трофима Щедрина в круг возможных подсказчиков Салтыкову его литературного имени). После Казани Салтыков отправился в Нижегородскую, а затем во Владимирскую и Ярославскую губернии. Во время этих дальних поездок Салтыков брал с собой жандармского унтер-офицера Северьяна Панова – это, наверное, единственный пример, когда жандарм нужен был ему для поддержки, а порой и для охраны на неведомых путях. Разъезды эти заняли около восьми месяцев; было проделано свыше трёх тысяч вёрст. Причём первоначально он поехал в своём экипаже, это был его первый выезд, незадолго до того приобретённый, но потом его пришлось заменить на зимний возок, а к весне вновь менять... Обычно сдержанный в своих просьбах Салтыков

вынужден был отметить в отчёте, что шестидесяти копеек суточных ему на прожитие в дорожных обстоятельствах никак не хватало, и просил выдать денежное пособие «хотя бы в возмещение расходов по покупке экипажей».

С административной точки зрения итоги всех этих инспекций и ревизий оказались ничтожными. Кто-то из раскольников был отдан под суд, но отделался мягким приговором, арестованные беглые каторжники были водворены обратно, несчастный Ситников умер в тюрьме, но проблема староверов как была, так и осталась. В этой долгой поездке Салтыков не раз жестоко простужался и заработал болезни, которые начали преследовать его и сопровождали вплоть до гробового входа. Но как писатель он получил неоценимые знания о народной жизни, о её тяготах и о тех народных исканиях, которые почти не воспринимались ни властями, ни так называемым образованным обществом.

Тема староверов возникнет на художественном уровне в «Губернских очерках» и станет для Салтыкова важной ступенью для перехода от гонителя раскола, пусть невольного, по службе, к глубокому исследователю старообрядчества и, главное, носителей этой веры. Рассказы-очерки «Старец» и «Матушка Мавра Кузьмовна» из раздела «Казусные обстоятельства» в «Губернских очерках», не очень у Салтыкова читаемые, открывают не только заповедные стороны русского мира, к пониманию которого стремится писатель. Они, по сути, противостоят официальному, репрессивному отношению власти к староверам.

Первоначальный набросок очерка «Старец» начинался словами: «Двадцать лет, сударь, я странствую, двадцать лет ищу своей правды... С юных лет возгорелся я ревностью по христианстве, с юных лет тосковала душа моя по небесном отечестве и всё томилась, всё искала тех многотесных евангельских врат, чрез которые могла бы пройти от мрачных и прегорьких темницы в присносущий и неумирающий свет райского жития... Часто я думал: о, сколь сладостно, сколь честно и доброхвально за отеческие законы плечи свои на ударение, хребет на раны, жилы на прервание, уды на раздробление, тело на муки предать! Голова, сударь, у меня горела, сердце в груди трепетало от единой мысли мученического пресветлого венца сподобиться! Часто я думал: зачем не родился я в те древние времена, когда святые Христовы воины были мучимы яко злодеи, злодейства не ведавшие, истязуемы яко разбойники, разбойничества ниже помыслившие! И даже до смерти прискорбна была душа моя!..»

И видятся за этими строками мысли не только старца-раскольника, но и самого автора, извечного романтика Михаила Салтыкова.

## Под покровом тихой ночи

Покидая вместе с Салтыковым Вятку, нельзя не обратиться ещё к одной стороне его жизни здесь. Она доныне почти не освещалась, а если и писали о ней многознающие советские щедриноведы, то со многими умолчаниями и оговорками, так что реальная история жизни Михаила Евграфовича нелепо запутывалась, превращалась в нестерпимо приторное псевдожитие одного из назначенных на должность предтеч коммунизма-большевизма в России.

Хорошо известен пассаж из ноябрьского (1825) письма Пушкина князю Вяземскому, где он, сомневаясь в необходимости «записок», то есть дневников, воспоминаний и т. д., провозглашает афористическое: «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением». По убеждению Пушкина, в «хладнокровной прозе» писем, записок автор лжёт и хитрит, «то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов». Вместе с тем «толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врёте, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе» (курсив А. С. Пушкина).

Но в случае Салтыкова, где всё соткано из парадоксов и движется парадоксами, эта в общем смысле безупречная максима вдруг даёт сбой, тянет определённые оговорки. Его биографию настолько вычистили и выгладили, так залакировали, что любые живые факты его бытового поведения – например склонность к выпивке, «страстишка пофрантить», увлечённость карточными играми и даже страсть к курению – вызывают желание не прятать их впредь, а напротив, обозначить с полной открытостью и наглядностью. Почему? Не только потому, чтобы попросту воссоздать *нёстрый сор* салтыковской жизни, среди которого выросли его сатирические шедевры, с философской глубиной и с лирическим состраданием изображающие вечную человеческую трагикомедию. Биография Салтыкова также даёт возможность ярко подтвердить яростное пушкинское: *мал и мерзок – не так, как вы – иначе*, то есть представить, что за этим *иначе* уже не просматриваются ни малость, ни мерзость.

Именно потому, что Салтыков был не чужд питию сам, он смог писать о пьянстве не с тоскливо-бесплодной назидательностью трезвенника, а с состраданием, как и заповедал Пушкин, призывающий *милость к падшим*. Игра в карты была для него очищающим мозг отдыхом, без которого

просто невозможно возвращаться к письменному столу, а пагубу курения он, напротив, доводил до бытового гротеска, когда, назло запрету чиновникам курить в служебном кабинете, перед тем как достать папиросу, прятал в шкаф зеркало – стоявший на чиновничьем столе символ государственности и законности.

Не был чужд Михаил Евграфович и страсти нежной – дело молодое. Правда, он был наделён особой природной стыдливостью, которая не имеет ничего общего с дюжинным ханжеством. «Моя жизнь проходит довольно печально, и я чувствую, что живу только тогда, когда думаю о Петербурге и о тех, кого я там оставил, – писал он жене брата Дмитрия в августе 1850 года (оригинал по-французски). – Чтобы время прошло незаметно, я хотел бы влюбиться и уже много раз пытался это сделать; но, к несчастью, моё внимание привлекают кобылы, которые здесь гораздо интереснее дам. Ах! жизнь в Вятке очень грустна. – После чего не удерживается от двусмысленной фразы, даром, что письмо по-французски: – Не желая Вам самим испытать её, остаюсь навсегда преданный Ваш брат М. Салтыков».

М. Салтыков лукавит. Конечно, он не желал Аделаиде Яковлевне переезда в Вятку, хотя Дмитрий Евграфович как чиновник Лесного департамента Министерства государственных имуществ мог – с повышением по службе и с семьёй – оказаться и там, как оказался, скажем, его бывший сослуживец Карл Карлович фон Людевиг. Лукавство – в жалобах на невозможность в Вятке влюбиться. Влюблялся!

После долгих недоговорок главный советский щедриновед Сергей Александрович Макашин наконец решился в полуакадемическом собрании сочинений Салтыкова-Щедрина на признание, правда, размонтировав его по нескольким томам, так что придётся прибегнуть к реконструкции и к некоторым другим источникам. У Михаила Евграфовича был долгий и, очевидно, страстный роман с женой губернатора Акима Ивановича Середы. Красавица Наталья Николаевна Середа (урождённая Немятова) была почти на четверть века младше своего мужа и немногим старше Салтыкова, лет на пять. Сведения о её жизни скудны, порой противоречивы. Вероятно, это был не первый брак Акима Ивановича, у них было двое маленьких сыновей.

Ходила легенда, постепенно просочившаяся даже в профанную, но очень распространённую пушкинистику, что *солнце нашей поэзии*, оказавшись в Оренбурге, посвятил Наталье Николаевне один из своих мадригалов, от которого сохранились лишь заключительные строки:

Затем, что эта Середа

## Прелестней ангела иного.

Не вдаваясь в хронологическо-матримониальные противоречия этой истории, отметим всё же, что *Пушкина тринадцатого выпуска* губернаторша очаровала всерьёз и надолго. Действительно, Наталья Николаевна, по сохранившимся о ней суждениям, была не только красавицей, но и добросердечным, обаятельным человеком. Получив должное воспитание, она создавала вокруг себя обстановку непринуждённости, естественности, легко поддерживала беседы на разные темы. Если и можно было её назвать, по тогдашнему обыкновению, хозяйкой губернии, это была истинная помощница своего деятельного мужа в устройстве культурной жизни Вятки. При ней стали обыкновением любительские спектакли, восстановилось Благородное собрание. Возможно, не без участия Натальи Николаевны в Вятке ещё в 1847 году появился Михаил Ольшванг – петербургский дантист, уже успевший освоить только-только входившее тогда в обиход искусство дагеротипии – предтечу фотографии. Несмотря на то, что дагеротипы стоили тогда очень дорого, заказчиков у Ольшванга оказалось столько, что он смог открыть фотографическое ателье, в котором, возможно, снимался и Салтыков.

А среди вятских городских историй долгое время перебирали ту, согласно которой Наталья Николаевна тоже снималась на дагеротипы, и хотя получившиеся портреты ей не понравились, она разрешила выставить их в ателье. Затем, по воспоминаниям уже нам известного Ильи Селиванова, их скупил некий молодой красавец, ссыльный (надо заметить, что губернаторша, занимаясь благотворительностью, обращала особое внимание на положение ссыльных, которых и в губернии, и в самой Вятке было много). Портреты эти ссыльный «повесил в своей спальне и всем приходящим к нему стал хвастать, что он с губернаторшей находится в интимных отношениях и что все эти портреты она подарила ему в знак памяти. Это дошло до Акима Ивановича, и как он ни был терпелив и кроток, – это его взорвало, он отослал его в Глазов».

Едва ли он не догадывался об отношениях его жены с Салтыковым, но в этом случае Аким Иванович, вероятно, имел свои расчёты. Он как предчувствовал, что годы его сочтены, и, возможно, видел в Салтыкове надёжного спутника для будущей вдовы. Во всяком случае такое предположение подтверждается его хлопотами о переводе Салтыкова вместе с ним в Оренбург. Нельзя не отметить, что Ольга Михайловна к близости сына к губернаторской семье отнеслась благосклонно и даже

просила Дмитрия Евграфовича нанести, вместе со снохой, визит Наталье Николаевне, когда та будет в Петербурге: «Это нехудо, кабы она всё семейство узнала наше, жалею, что меня нет, я бы всё с ней переговорила».

Но расстояния разлучили возлюбленных навсегда, а затем Михаил Евграфович увлёкся сёстрами Болтиными, и эта неожиданная вроде бы после бурного романа влюблённость всё же является подтверждением того, что этот молодой человек, которому пророчили стезю «разгонщика женского», оказался вовсе не упоённым любителем *попользоваться насчёт клубнички*. (Как известно, это взятое из уст гоголевского Ноздрёва выражение Салтыков превратил в *клубницизм* – увиденное им в литературе и в жизни явление, на которое он в своих сатирических построениях обрушивался с особым ожесточением.)

Однако когда Лиза Болтина в ранге салтыковской полуневесты на время отдалилась от жениха, у Михаила Евграфовича возник новый роман, который Сергей Александрович Макашин также решил обозначить. Оказавшись в Вятке, Салтыков сдружился с врачом Вятской палаты государственных имуществ Николаем Васильевичем Иониным и его женой Софьей Карловной, она была младше Салтыкова на два года. Здесь история развивалась более замысловато. Их дочь Лидия Николаевна Ионина, в замужестве Спасская, оставила воспоминания о вятской жизни Салтыкова, к которым мы уже обращались. Однако у этого мемуара есть одно очень слабое место: это воспоминания не самой Иониной, которая родилась уже после отъезда Михаила Евграфовича из Вятки, а записи рассказов её родителей и, вероятно, ещё кого-то о частом госте их дома. Большая их часть перепечатывается в сборниках воспоминаний о писателе, но не может не удивить сама тональность повествования: если не враждебная по отношению к Салтыкову, то во всяком случае саркастическая. Возможно, эта тональность была вызвана некими историями, оставленными Спасской-Иониной за пределами её текста.

Её воспоминания впервые были напечатаны в Вятке в 1908 году, а в 1914 году журнал «Солнце России» опубликовал неизвестную рукопись Салтыкова, уверенно атрибутируемую вятскими годами и примыкающую к «Губернским очеркам».

«Вчера ночь была такая тихая, такая тёмная и звёздная! Не похоже даже, чтобы это было на далёком севере и чтобы на дворе стоял сентябрь в половине; точно тёплая, славная южная осень, которой я, впрочем, не видал. Мне было как-то тоскливо, томительно-грустно после вчерашних сладостных впечатлений; и вместе с тем, хотя сердце моё болело, хотя все струны души моей были настроены на печальный лад, мне было хорошо и

легко.

Часу в восьмом я вышел бродить по улицам; везде уже, во всех окнах, зажглись огни, которые на этот раз как-то особенно приветливо смотрели; гуляющих не было, чему я на этот раз был очень рад. И сердце, и привычка влекли меня к дому, где живут Погонины, но когда я поравнялся с ним, во мне явилось, несмотря на вчерашнее запрещение, непреодолимое желание хоть издали посмотреть на Ольгу, видеть её детски целомудренный профиль, полюбоваться её грациозною и вместе с тем как будто утомлённою позою, вновь испытать все тревоги ненасытного и неудовлетворённого желания. Тихо перелез я через забор их сада, без шума прошёл по тёмным аллеям, усыпанным жёлтыми листьями берёз; вон сквозь ветви сверкнул огонёк в окнах её комнаты...

Она сидела на диване вся в белом, грудь её, эта чудная полная грудь, к которой так ещё недавно губы мои с таким трепетом прикасались, была раскрыта; на щеках горел румянец, глаза были мутны, губы сухи от желания; было душно, тяжко в этой атмосфере, проникнутой миазмами сладострастия... Подле неё сидел Дернов, тот самый Дернов, о котором она вчера с таким холодным презрением говорила! Я видел, как он обнимал её, слышал его поцелуи! Но нет, это были не объятия, это были не поцелуи – то была какая-то оргия чувственности, которой нечистые испарения долетали до моего обоняния...»

За обнародование этого отрывка (мы привели только начало) досталось не только публикатору, но и, посмертно, самому Салтыкову, который поставил в тупик многих ригористов. Лишь через полвека С. А. Макашин дал к нему туманный комментарий: в наброске «отразилось пережитое Салтыковым в Вятке кратковременное, но сильное чувство к женщине, чьё имя мы не можем назвать с уверенностью. Набросок, несомненно, и не был полностью использован в печати вследствие своей интимно-автобиографической подкладки». То, что Сергей Александрович это имя знал, выяснилось ещё через десяток лет с лишним, когда он, комментируя вятские письма Салтыкова, решил несколько развеять туман, но всё же, по особой ханжеской традиции советского разлива, возможно, зависящей не только от него, точки над *i* не расставил: «Есть достаточные основания предполагать, что с Софьей Карловной Салтыкова связывали чувства более сильные, чем дружеские, и что это они получили отражение в наброске “Вчера ночь была такая тихая...”». Но что это за «достаточные основания», где они, в каком архиве таятся, пока неизвестно.

Зато несколько лет назад один из популярных в советское время молодёжных журналов напечатал заметку, согласно которой Лидия Ионина



– родная дочь Салтыкова. Правда, доказательств никаких и даже не обращается внимание на то, что дата рождения Иониной, указанная в том же журнале – 30 декабря 1856 года, а Салтыков оставил Вятку 24 декабря 1855 года и никогда сюда не возвращался. Разумеется, любители историко-литературного клубничества могут высказать предположение, что Софья Карловна могла встретиться с Михаилом Евграфовичем где-то в начале 1856 года и вне Вятки, – или потребовать документального подтверждения того, что Ионина родилась именно в 1856 году, а не годом ранее. Конечно, история и в том числе история литературы – безбрежное поле для всяческих домыслов, фантазий и версий. Ведь знают же современные щедринисты о некоей семье, которая рассказывает, что они прямые потомки Михаила Евграфовича – мол, родился у него в Вятке в некоей прежде бездетной паре Щедриных сын Иван, от этой фамилии и псевдоним...

Да-а... Вот и поди распутай! А ведь до сих пор в точности не известны даже обстоятельства освобождения Михаила Евграфовича из ссылки. Знаем, что осенью 1855 года, уже после кончины императора Николая Павловича, в Вятку по делам ополчения – Восточная (Крымская) война ещё длилась – приехал генерал-лейтенант и генерал-адъютант Пётр Петрович Ланской, женой которого была Наталья Николаевна Ланская, в прошлом вдова поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь прибывших в Благородном собрании состоялся бал, на котором Ланским представили и Михаила Евграфовича: вот, мол, посмотрите, у нас уже семь лет томится *Пушкин тринадцатого выпуска*... Добросердечная Наталья Николаевна расчувствовалась, а Ланской пообещал попросить вмешаться в участь изгнанника своего двоюродного брата, нового министра внутренних дел Сергея Ланского. И выполнил обещанное: 23 ноября в Вятку пришло письмо из Петербурга, в котором Ланской известил вятского губернатора Семёнова, что император Александр Николаевич «высочайше повелеть соизволил: дозволить Салтыкову проживать и служить, где пожелает».

29 ноября с Михаила Евграфовича был наконец снят полицейский надзор, а 24 декабря, сдав дела и распродав, а частью бросив имущество, он покинул Вятку.

## **Часть третья. Женитьба Салтыкова и рождение Щедрина (1856)**

*В ноябре 1855 года известный критик и переводчик Василий Боткин писал из Москвы в Петербург Николаю Некрасову: «Катков желал непременно поместить меня в число сотрудников своего журнала; отказать в этом я не мог». «Впрочем, – стремится развеять Боткин возможную тревогу своего давнего приятеля и соредактора журнала «Современник», – я сказал, что мои труды принадлежат тебе».*

*Михаил Никифорович Катков – фигура в российском интеллектуальном мире заметная. Знаток древнегреческой философии, он преподавал в Московском университете, затем стал редактором университетской газеты «Московские ведомости» и вот задумал издавать журнал «Русский вестник». Разрешение получил, правда, при условии строгого воздержания от каких-либо обсуждений политических и военных вопросов. Можно было лишь перепечатывать известия из других изданий. Впрочем, Катков был приверженцем идеи превосходства эстетических начал творчества над утилитаристскими и поначалу не кручинился над историческими судьбами родины. Собственно, потому и позвал к себе исколесившего Европу Боткина, к той поре многообразными деяниями заработавшего себе репутацию не только эпикурейца, но и тонкого исследователя изящных искусств.*

*К тому же этот путешественник по миру прекрасного зря волновался. Доносившиеся из Москвы вести о новом журнале не будоражили Некрасова. Восходящая литературная звезда Лев Толстой пообещал ему для январского номера «Современника» рассказ «Севастополь в августе 1855 года», готовился к печати новый роман Тургенева «Рудин», а главное: «Не сглазить бы, подписка повалила!» Некрасов едва ли не сбивался в подсчёте новых подписчиков журнала.*

*Но все они и помыслить себе не могли о тех умственных и художественных страстях, которые мощной вольтовой дугой загудят между «Современником» и «Русским вестником» всего через несколько месяцев...*

## В разгар мечтаний матримониальных

28 ноября 1855 года советник Вятского губернского правления Михаил Салтыков, вернувшись из большой поездки по губернии, узнал, что отныне он свободен от административного надзора и может распоряжаться своей жизнью, как ему заблагорассудится.

Первым делом наш герой подал прошение в отпуск и тут же написал брату Дмитрию Евграфовичу. Сообщив о благой вести и ближайших планах (поехать «в деревню к маменьке, а оттуда во Владимир» к невесте – незадолго до этого Елизавета Аполлоновна прислала ему обручальное кольцо), свободный человек настойчиво напоминает о своей просьбе, которую он высказал в начале ноября, посылая брату 150 рублей. Он просил купить в магазине Буца на Большой Морской (там «эти вещи продаются дешевле, нежели в других магазинах; впрочем, тебе виднее») «дамские часики с крючком и брошкой, как нынче носят»: «Я бы желал, чтобы часы стоили 75 р. и столько же прочее; часы, пожалуйста, купи с эмалью, если можно, синею». Он наметал сделать этот подарок Лизе к Новому году, но оговаривал: «Мне не хотелось бы, чтобы маменька знала об этом, потому что, того и гляди, старуха скажет, что я мотаю, а сам ты посуди, как, бывши женихом целую земскую давность, не побаловать хоть изредка мою девочку?»

Во время своего, по сути, полулегального июльско-августовского отпуска Салтыков побывал в гостях у матери и у Болтиных во Владимире. Невеста подросла, прошло уже два года со времени первой попытки, и он получил окончательное согласие родителей Лизы на их женитьбу. И Ольга Михайловна в письмах той поры постоянно обсуждает назревшие изменения в жизни Михаила. «Дай Бог, хоть бы Господь наградил его супружеством», – пишет она Дмитрию. Не видев будущую сноху, она вполне к ней благосклонна: «Он (Михаил. – С. Д.) казал мне её письма, очень она мило ему пишет, и видно, что любит его».

Мать прекрасно понимает, как изменится и бытовая жизнь сына: «Обстоятельства его теперь по женитьбе требуют устроиться квартирой, мебелью и прочим, чтобы жить как порядочному человеку семейному, приведя жену в жизнь, взгляд на которую другой, не на холостую руку. Всё лишнее нужно: и прислуга, и чашечка, и ложечка». И не только ложечка – узнав, что Елизавета Аполлоновна «очень хорошо играет на фортепьяно», Ольга Михайловна поддерживает желание жениха приобрести для будущей

супруги рояль и доставить его в Вятку. Заняться этим она предлагает всё тому же Дмитрию Евграфовичу, отправляя его за покупкой в Голландскую церковь на Невском, где располагался известный музыкальный магазин Брандуса. Между прочим, Салтыковы не стали мелочиться. Советник губернского правления выбрал для грядущих семейных музицирований кабинетный рояль знаменитой парижской фабрики «Эрар» («Érard»).

С другой стороны, до глубины натуры домовитая хозяйка, Ольга Михайловна оставалась жизненным стратегом. Узнав из разговоров с Михаилом, что у вятского губернатора Семёнова на выданье младшая дочь Любовь и ему делались вполне определённые намёки (на свадьбе старшей дочери Марии, вышедшей в 1854 году за лицеиста XV выпуска Михаила Бурмейстера, будущего директора Канцелярии государственного контроля, он был поручителем со стороны жениха), мать уверилась, что, во всяком случае, губернаторша Любовь Андреевна не возрадуется, узнав, что видный жених ушёл. Да и от доброжелательного губернатора она не ждала при таком обороте особого содействия в устройстве служебных дел своего Михайлы.

Но тем не менее поддержала выбор сына и, узнав, что он собирается жениться в сентябре следующего, то есть 1856 года, посоветовала перенести свадьбу на июль, а затем и вовсе стала предлагать «уладить в январе, в день его рождения или ранее в начале», то есть сразу после Рождества («Полагаю, чем скорее кончить свадьбу, тем будет отраднее для него, ибо он очень скучает об ней»). То есть видов на Семёнову, вообще-то довольно выгодную со всех сторон невесту – она и пела, и наверняка музицировала – Ольга Михайловна не имела вовсе.

Все эти подробности важны ещё и потому, что по поводу факта непоявления Ольги Михайловны на свадьбе сына в Москве 6 июня 1856 года в щедриноведении создалось устойчивое суждение: мать, приготовив для сына богатую невесту из тверской помещичьей семьи, была недовольна, если не сказать разозлена выбором Михайлы. Однако развитием событий эта версия едва ли может подтвердиться. Свадьбу и первоначально предполагалось сделать «самым скромным образом, без расходу» – и без присутствия братьев и матери. Было решено позднее собраться всем вместе в её имении – главное, что «я уже его благословила и образ с ним отпустила» (это было сделано ещё в июле 1855 года).

Раздражение Ольги Михайловны было вызвано иным. Как видно, Михаил Евграфович довольно долго не просто скрывал от матери, что его невеста – по существу, бесприданница. «Моя нежность избаловала; посмотрим, как пойдёт далее, – жалуется она Дмитрию Евграфовичу. –

Прошу написать ему, что меня трогает. Дело кончено, я не хочу неприятности, тем более он заверил меня, и я помню, почему я согласилась. Обманывать мать и уверять, что за ней будет, а после открывается – ничего, и потом, когда стала возражать, так укорять, что я согласилась. Но я хоть стара, хоть, положим, неуч, но природного имею, может, много-много более учёных понятия».

Обман – вот что её возмутило, и негодование, порождённое этим, прямо скажем, глупым враньём, вызвало дальнейшие решения и действия Ольги Михайловны. Причём их никак нельзя назвать спорадическими. Коллизии вокруг брачных приготовлений не застилали от неё вопроса о дальнейшей судьбе сына. Она понимала, насколько угнетало его то, что семейную жизнь придётся начинать под надзором в Вятке. Ведь у Салтыкова возник даже замысловатый план последовать примеру старшего брата Николая Евграфовича, поступившего во время войны в ярославское ополчение. Тем более что по долгу службы он занимался делами государственных ополчений и мог, что называется, составить протезе самому себе. Ольге Михайловне идея об ополчении приглянулась. «Человек, ища спасение, решается испытать счастье, что, может, успеет заслужить на войне прощение или уже получить конец своему существованию. Для меня, я не прочь его благословить, если ему позволят вступить в ополчение, ибо и я надеюсь, что, может, Господь уже ведёт его по сему пути спасения». Свои размышления о возможной ратной стезе сына мать не без грустного юмора завершает воспоминанием: «Может быть, предречение отца крестного сбудется над ним, который по совершении крещения сказал, что он будет воин. Может, Господь ведёт его к сему пути».

Но ему не пришлось записываться в ополчение и даже тащить рояль в Вятку. Вероятно, его не купили вовсе – Ольгу Михайловну рассердило, что родители невесты не участвуют в оплате дорогой покупки, и она дала только часть необходимой суммы – пятьсот рублей серебром из необходимых трёх с половиной тысяч: «А поди скажи, так и губу надует: вы нас не любите, и ревность сейчас». Здесь вспомнилось и то, что Михайла по отношению к деньгам попросту легкомыслен: на Макарьевской ярмарке в Нижнем Новгороде жулики вытащили у него подаренные ею двести рублей (тоже серебром): «Хотел купить что-то невесте», а «остался парень без алтына».

Изменившиеся обстоятельства привели Ольгу Михайловну к новому решению – неуклюжего лгуна и «простофилю» перестать, наконец, баловать. Она делает всё, чтобы всплывающие у Михайлы от времени до

времени фантазии уединиться с женой в том имении, которое она ему выделит, и заняться хозяйством так фантазиями и остались. К этому времени она уже потеряла всех своих дочерей: после младеницы Софьи ещё в девичестве от чахотки умерла Вера. Недолго прожила в супружестве старшая дочь Надежда Евграфовна, оставив Ольге Михайловне после себя только дочку Катеньку. 16 ноября 1854 года умерла и Любовь Евграфовна, которой едва исполнился тридцать один год.

Правда, все братья Салтыковы были пристроены. Даже добровольный неудачник Николай в то время, как мы уже знаем, пребывал в ополчении. Дмитрий уверенно двигался по служебной лестнице, Сергей после окончания Морского корпуса служил на флоте, а младший, красавец Илья, выпустившись из Школы гвардейских подпрапорщиков и кirasирских юнкеров, поступил в Кирасирский полк. Забавная подробность: опекавший младшего брата Михаил выпросил у матери портрет новоиспечённого кирасира, чтобы показать его Елизавете Аполлоновне, но обратно не прислал. Дальнейшее известно из эпистолярного рассказа Ольги Михайловны: «Пишет, что оттого долго не шлёт, он-де цел и здоров, да лакей положил в чемодан да задницей сидел и стекло продавил. Вот те и цел. Жду не дождусь, когда прийдёт. Право, чай, исказил милого Илю... Авось милая рожица его уцелела, ну а стекло наплевать...»

Так что, осознавая себя как приумножительницу и хранительницу салтыковских капиталов, Ольга Михайловна рассуждала очень здраво: если служба у сыновей ладится, почему не послужить?! Помещичье уединение никуда от них не денется, но мало ли что в жизни стрясётся! Когда Михаил получил так сказать вольную, она и создала ему обстоятельства для дальнейшего карьерного продвижения: ежели ты, молодец, не уповаешь, как немало кто, на богатства невесты, то и собственное своё наследство пока что проедать ни к чему!

Она едва ли забыла, что несколько лет намеревалась просить государя отпустить Михаила «хоть на родину в отставку», ибо «спокойствие и семейное счастье менять ни на что нельзя». однако при обретённом Михаилом «спокойствии» решила, что ему будет полезно самому создать своё «семейное счастье».

\*

Салтыков возвращался из Вятки через хорошо ему известный богатый купеческий Яранск с достраивавшимся в те месяцы собором

Живоначалной Троицы – по проекту Константина Тона; собор уцелел в большевистские времена и доныне остаётся достопримечательностью города. Затем двинулся на уже приволжский Козьмодемьянск, а далее Нижний Новгород, откуда в Калязинский уезд Тверской губернии, где в Ермолине Ольгой Михайловной было создано новое, после Спас-Угла семейное гнездо. По подсчётам С. А. Макашина, Салтыков за неполные четверо суток – с 24 по 28 декабря проделал более тысячи двухсот вёрст, то есть гнал вовсю, останавливаясь лишь для перемены лошадей.

Встреча с матерью, судя по её письму Дмитрию Евграфовичу, была тёплой – расчётливый ум Ольги Михайловны отступил перед материнским сердцем. Но теплоте не выпало согреть сына долго: Михаил Евграфович собрался встречать Новый год с Елизаветой Аполлоновной, и мать не возразила против этого желания.

О появлении Салтыкова во Владимире у Болтиных сохранился отрывок воспоминаний угрюмого мизантропа, будущего создателя фантастической *ейтихиологии* – «науки о счастье в коммунистическом строе», – а в то время пятнадцатилетнего воспитанника Училища правоведения Владимира Танеева. Вероятно, Танеев гостил на Святках в родном городе и повстречал здесь Салтыкова-жениха. Тогда, впрочем, тот не произвёл на него впечатления, кроме того, что он, «как мальчик», стоял позади кресла, в котором сидела Елизавета Аполлоновна. «Ничего особенного ни в его словах, ни в его наружности я не заметил. По тогдашней моде он был гладко выбрит и носил длинные бакенбарды. Особыми приметами были: большие глаза навывкате и несколько грубый голос».

Между прочим, «тогдашняя мода» на бакенбарды тоже была «особой приметой». При императоре Николае Павловиче растительность на мужеских лицах чиновничьей принадлежности возбранялась, но после его кончины, по позднейшему замечанию Салтыкова, «бороды и усы стали носить даже прежде, нежели вопрос об этом “прошёл”». И Михаил Евграфович, как видно, был среди тех, кто не дожидался особых распоряжений на сей счёт.

Александр Николаевич, не мешкая, отменил ещё один запрет отца. «Когда я добрался до Петербурга, то там куренье на улицах было уже в полном разгаре», – радостно пишет неуёмный курильщик Салтыков, который носил с собой не просто портсигар, а большую планшетку-папиросницу на ремне. Добродушные сплетники говорили, что за такое послабление табакозависимые сограждане должны быть благодарны Василию Андреевичу Жуковскому: будучи воспитателем наследника

престола, он не только преподавал его императорскому высочеству Александру Николаевичу основы изящных искусств, но и научил курить – со всеми сопутствующими и благими для сонмища курильщиков последствиями. Так что «свежий воздух», о котором писал Салтыков, вспоминая о Москве тех месяцев, содержал не только озонирующие флюиды политических изменений, но и терпкие табачные ароматы.

«Несколько суток я ехал, не отдавая себе отчёта, что со мной случилось и что ждёт меня впереди. Но, добравшись до Москвы, я сразу нюхнул свежего воздуха. Несмотря на то, что у меня совсем не было там знакомых, или же предстояло разыскивать их, я понял, что Москва уже не прежняя». По принципиальным историко-литературным основаниям отказываясь превращать автобиографические мотивы, так или иначе питающие творчество любого писателя, не только Салтыкова (где же тогда художественная фантазия?!), в источник биографических сведений, всё же признаю, что общие пространственно-временные картины, появляющиеся в тех или иных произведениях, нередко представляют мир, в котором живёт их автор, с замечательной яркостью и завораживающей зримостью.

В позднем очерке «Счастливчик», вошедшем в один из последних салтыковских шедевров, цикл «Мелочи жизни», Михаил Евграфович, как мало кто из его современников, провёл и прокатил нас по российским столицам, древней и петровской, с удалью настоящего извозчика-«лихача», зоркого и остроязычного:

«На Никольской появилось Чижовское подворье, на Софийке – ломакинский дом с зеркальными окнами. По Ильинке, Варварке и вообще в Китай-городе проезду от ломовых извозчиков не было – всё благовонные товары везли: стало быть, потребность явилась. Ещё не так давно так называемые “машины” (органы) были изгнаны из трактиров; теперь Московский трактир щеголял двумя машинами, Новотроицкий – чуть не тремя. Отобедавши раза три в общих залах, я наслушался того, что ушам не верил. Говорили, что вопрос о разрешении курить на улицах уже “прошёл” и что затем на очереди поставлен будет вопрос о снятии запрещения носить бороду и усы...» Выше об этом мы уже вспоминали. Салтыков ухватил в Москве многие *гульбывые, весёлые* черты нового времени, но всё же в святочные дни 1856 года заторопился в Петербург.

Железнодорожный путь туда из Москвы «был уже открыт». И хотя подробностями своего первого путешествия по железной дороге Салтыков не поделился, можно представить, что это техническое чудо его впечатлило. Действительно, и мир, и Россия вступали – въезжали в совершенно новую эпоху, когда у человека стремительно переменялись



представления и о пространстве, и о времени. Академик (и притом выходец из крепостных) Александр Никитенко ровно за год до Салтыкова, в январе 1855 года, то есть ещё до внезапной кончины Николая Павловича, совершил поездку из Петербурга в Москву и обратно. После чего писал в своём ныне хорошо известном дневнике:

«Из Петербурга я отправился с министром. Нам дали особый вагон, где помещался также и Яков Иванович Ростовцев (известный военный интеллектуал, генерал-лейтенант, которому вскоре было суждено стать разработчиком Крестьянской реформы. – С. Д.). Поезд был огромный: масса народу ехала на юбилей Московского университета, Предстоящее торжество возбуждало замечательное сочувствие во всех, кто когда-нибудь и чему-нибудь учился. С нами ехали депутаты от всех петербургских учёных сословий и учебных заведений. Яков Иванович большинство из них созвал в наш вагон. <...> Яков Иванович устроил настоящий пир; подали завтрак; не жалели вина; общество сделалось шумным и весёлым. Потом играющие в карты сели за карточные столы, остальные разделились на группы, где разговор затянулся далеко за полночь. <...> Вагон наш был хорошо прибран и натоplen. В Москву мы приехали на следующее утро, ровно в девять часов. На дебаркадере министра встретили попечитель, ректор и деканы университета».

Здесь особенно интересна тональность: о железнодорожном путешествии рассказывается как о чём-то не просто обыденном, но даже связанном с приятным времяпрепровождением. И четырёх лет не прошло со времени пуска дороги, а «чугунка» уже стала частью быта. Замечательная деталь: возвратившись из Москвы, Никитенко сетует на то, что поезд опоздал на два с половиной часа: «Замедление произошло от вьюги, которая бушевала всю ночь и заметала рельсы». Так ли он был привередлив, когда ездил в Первопрестольную на перекладных? Но к хорошему привыкаешь быстро – и навсегда.

Что же говорить о Михаиле Евграфовиче, человеке на поколение младше Никитенко, куда больше ценившем технический прогресс и, разумеется, быструю езду? Как забыть, например, что ещё в Вятке он разъезжал в «премиленькой пролетке», купленной «маменькой» в Москве и отправленной ему в подарок? Так что железная дорога пришла в его жизнь без каких-либо сокращений и опасений.

Это при том, что его многолетний если не друг, то, во всяком случае, литературный соратник Некрасов отметил в этой теме стихотворением «Железная дорога» (1865), издавна включаемым во все школьные программы по литературе (недаром при первой публикации в журнале

«Современник» автор сопроводил его подзаголовком: «Посвящается детям»). В отличие от большинства русских писателей и поэтов, в ту пору писавших о железной дороге в восторженно-энергическом тоне, наш конфиден *музы мести и печали* представил современникам и неисчислимым поколениям российских школьников свою историю строительства дороги между Москвой и Петербургом, наименованной по понятным причинам Николаевской.

Вместо того, чтобы радостно изумляться новому техническому чуду, радикально, повторим, изменяющему вековые человеческие представления о времени и пространстве, Некрасов сосредоточивается на тяжёлых обстоятельствах строительства этой дороги (подразумевается, и других: к 1865 году, когда стихотворение было написано, общая длина российских железных дорог далеко перевалила за две тысячи вёрст, поезда ходили из Москвы в Нижний Новгород, из Петербурга в Варшаву и далее, до Вены).

Но кто будет спорить с поэтом, печальником народных тягот? Никто. Никто не попеняет Некрасову, что, изображая обстоятельства строительства, он стал говорить о тяжёлом положении рабочих. Но хотя бы ради точности в исторических знаниях надо помнить, что в действительности организация труда на этом строительстве по тем временам была вполне прогрессивной. Основные работы проводились с 1 мая по 1 ноября, то есть при благоприятной погоде; использовались так называемые «землевозные вагоны» на рельсовом ходу и конной тяге. Для механизации работ в Соединённых Штатах были закуплены четыре паровых копра и четыре паровых экскаватора на рельсовом ходу. Тем не менее поэтическое вдохновение оказалось сильнее фактов...

Но Салтыков если и был поэтом, то лишь в невозвратной юности. Его нынешний поверенный в литературе, надворный советник Н. Щедрин писал прозу, ну, в крайнем случае выражался в драматургическом роде. Именно в драматургических сценах, также входящих в «Губернские очерки», появившиеся вскоре после железнодорожных разъездов Салтыкова между Москвой и Петербургом (всего двенадцать часов!), видим знаменательный диалог.

Некто «Праздношатающийся» (этот тип навсегда полюбится писателю) заявляет, что, по его мнению, железные дороги могли бы «значительно подвинуть нашу торговлю». Но его собеседник, «важно и с расстановкой», переводит тему из прагматической в мировоззренческую плоскость: «Да-с, это точно... чугунки, можно сказать, нонче по Расеи первой сюжет-с... Осмелюсь вам доложить, ездили мы с тятенькой летось в Питер, так они до самого, то есть, Волочка молчали, а как приехали мы

туда через девять-ту часов, так словно закатились смеючись. Я было к ним: Христос, мол, с вами, папынька! – так куда! “Ой, говорят, умру! эка штука: бывало, в два дни в Волочок-от не доедешь, а теперь, гляди, в девять часов, эко место уехали!” А они, смею вам объясниться, в старой вере состоят-с!»

Как видно, для Салтыкова (и его Щедрина), в отличие от Некрасова, проблема охраны труда железнодорожных строителей посредством изящной словесности не представляла значительного интереса. Другое дело – железная дорога как новая реальность российской жизни, а самое главное то, как Россия приспособливает «под себя» эту реальность.

Сцена с Праздношатающимся, где обсуждаются преимущества и коварные стороны «чугунки», завершается его многозначительно вопросительной репликой: «С одной стороны, старая система торговли, основанная, как вы говорили сами, на мошенничестве и разных случайностях, далее идти не может; с другой стороны, устройство путей сообщения, освобождение торговли от стесняющих её ограничений, по вашим словам, неминуемо повлечёт за собой обеднение целого сословия, в руках которого находится в настоящее время вся торговля... Как согласить это? как помочь тут?»

Удивительное качество писателя, исходя из нового, злободневного, вдруг проговорить вопрос так, что ответ тянет отыскивать в вечном. Допустим, мошенническая система торговли станет невозможной на новых «путях сообщения», но обеднеет ли «сословие, в руках которого находится в настоящее время вся торговля»? Надо ли помочь ему? Или это мобильное сословие и без нашей помощи «согласит это»?

В отличие от Праздношатающегося, неторопливо осваивающего «чугунку», Салтыков понимал, что ему, коль он остаётся на службе, ограничиться риторическими парадоксами не удастся.

\*

Приехав в Петербург, в течение февраля 1856 года Салтыков уладил свои служебные дела. По его просьбе он был причислен к Министерству внутренних дел – с оставлением, «по домашним обстоятельствам», в столице. Затем священник Троицкой церкви при Театральной дирекции Михаил Боголюбов привёл нового чиновника к присяге, коя была скреплена его собственноручной распиской на особом «Клятвенном обещании».

Старший однокашник Салтыкова по Царскосельскому лицей, а к тому

времени академик, известный экономист-статистик Константин Степанович Веселовский оставил воспоминания о первом поручении, данном в министерстве новому сотруднику: «Правительство после Крымской войны озабочено было оказанием помощи местностям, разорённым войною. Для принятия мер по этому предмету необходимо было привести в известность, как поступали в подобных случаях в прежнее время. Пожелали узнать, что было сделано, при сходных обстоятельствах, после войны 1812 г. Изучение этого вопроса по печатным источникам и архивным документам поручено было Салтыкову».

Руководил нашим героем директор хозяйственного департамента Министерства внутренних дел, член Государственного совета Николай Алексеевич Милютин. Совсем недавно он пережил тяжёлую трагедию – в августе 1855 года покончил с собой, не справившись с роковой любовью к барышне из самых низов общества, его младший брат, талантливый экономист, адъюнкт-профессор Санкт-Петербургского университета Владимир Милютин. Ровесники с Салтыковым, они в сороковые годы были очень дружны, увлечённо изучали «сочинения политико-экономистов» и требовали от Петрашевского, чтобы составлявшаяся в складчину общая библиотека пополнялась их книгами, а не писаниями утопистов-социалистов, которые с эгоистическим упорством продолжал закупать ей распорядитель.

Страдания после нелепой гибели брата Николай Милютин, как видно, пытался смягчить попечительством над Салтыковым, и они едва ли не ежедневно виделись как запросто, так и по деловой надобности: Салтыков постоянно докладывал «свои обозрения Милютину». Вместе с тем будущий герой стихотворения Некрасова «Кузнец-гражданин», почеловечески тепло относясь к своему протеже, очень требовательно оценивал его работу. Случалось, вспоминает Веселовский, что, побывав у Милютина с докладом, Салтыков «возвращался совершенно взбешённым и говорил, что не знает, чего от него хотят, что он всё бросит и т. п. Впрочем, он окончил свою работу...».

Более того, исторический обзор Салтыкова «Пособия и льготы после Отечественной войны 1812 года» был одобрен министром внутренних дел Сергеем Степановичем Ланским, потребовавшим «продолжения работы». И работа была продолжена. Много позже Салтыков вспоминал, что он «в параллель» с первым сделал «обзор того, как были велики нужды в населении, пострадавшем после войны 1853–1856 годов, что было пожертвовано на помощь пострадавшим» – это было необходимо для определения «того, что должно было сделать» для этих пострадавших.

Таким образом, с мая 1856 года Салтыков составлял свод распоряжений Министерства внутренних дел, относящихся до войны 1853–1856 годов. К делу он отнёсся уже без «взбешенности», а с прагматизмом: воспользовавшись поручением и его объёмностью, уже в августе выправил себе командировки «для обозрения подвижного делопроизводства Тверского и Владимирского губернских комитетов ополчения, равным образом и делопроизводства канцелярии сих губерний по предмету устройства перевязочных парков для действующей армии».

Понятно, что Владимир и Тверь были выбраны не случайно. Во Владимире жили теперь уже тесть и тёща (в трёхмесячную командировку Салтыков отправился, естественно, с молодой женой), а в родной Тверской губернии были дела родственные, о которых речь впереди. Здесь же обратим особое внимание на суть выполняемых Салтыковым поручений. Нетрудно увидеть, что он занимался делами, которые в нашей России (а может быть, и не только в России, но нам ведь интересна именно родная страна) всегда принимали довольно однообразный оборот. Скорее рано, чем поздно, необходимость начислять за те или иные заслуги «пособия и льготы» приводила к значительным злоупотреблениям, вплоть до казнокрадства. Трудно представить, что Салтыков к этому моменту своей жизни не читал «Мёртвые души», а в них – «Повесть о капитане Копейкине» о горькой судьбе инвалида Отечественной войны 1812 года. Но с достаточным основанием можно предположить, что, вникая в служебные распоряжения и рапорты начала века, он вспоминал не только свой, уже обрётённый опыт по снаряжению и обмундированию ополченских дружин в Вятке, но и вспомнил поведанную Гоголем историю Копейкина.

Можно сказать, что в 1856 году все документы по названным вопросам читали двое: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. И после того как чиновник свою работу завершил и за неё перед начальством отчитался, взялся за своё перо писатель. Но не сразу: к сожалению, подготовленные Салтыковым материалы о государственном ополчении (положение о нём было утверждено Николаем I 29 января 1855 года) дошли до нас лишь частично: в некоторых черновиках и в изложении. Хотя даже из немногого сохранившегося видно, что автор вместо составления простого «свода распоряжений» подготовил аналитическую записку, в которой показал, как исполнялись в губерниях эти распоряжения – а исполнялись они, увы, со множеством злоупотреблений. Вероятно, эти злоупотребления были повсеместными.

Через полтора года, по предложению профессора Николаевской академии Генерального штаба генерал-майора Дмитрия Милютина, ещё

одного выходца из реформаторской семьи, при штабе Гвардейского корпуса стал выпускаться аналитический ежемесячник. Сам Милютин отправился на Кавказ, где возглавил главный штаб Кавказской армии, а в первом же номере нового издания под скромным названием «Военный сборник» один из его редакторов – Николай Обручев, также профессор Академии Генштаба (литературным редактором там был не кто иной, как Николай Чернышевский), начал печатать цикл статей «Изнанка Крымской войны». В нём были жёстко проанализированы обстоятельства снабжения армии и лечения раненых на том же самом театре военных действий.

Статьи бурно обсуждались в обществе, в том числе печатно, мнения разделились, в среде служаков против редакции начали плести интриги, ибо издание считалось официальным органом Военного министерства. Однако император изданием и его направлением был доволен. И всё же эта административная линия по поиску причин наших неудач, в данном случае крымских, имела органический изъян. Он был связан с самими основами государственного управления: обобщения, выводы всегда относятся лишь к совокупности конкретно происшедшего в конкретное время, и не более того. В этом тоже есть своя логика: сколько-нибудь серьёзный анализ психологических и социальных причин происходящего уведёт административную силу из сферы конкретных решений в те пространства, где она силой уже не будет. Короче говоря, конкретных воришек и недобросовестных поставщиков власть может наказывать, а вот обеспечить заслон воровству и высокое качество поставок чаще всего уже не в состоянии.

Именно поэтому там, где ставит точку чиновник-аналитик, начинает историк – или писатель. У нас в России чаще всего писатель. Вновь вспомним «Повесть о капитане Копейкине», так выразительно, так убедительно отражающую уже *послевоенные* проблемы Отечественной войны 1812 года. Вспомним и вышеупомянутую «Железную дорогу» Некрасова. Да, её автор утрированно отнёсся к технической стороне дела, но всё-таки эта передержка имеет свои основания: стихотворение в целом построено на противопоставлении куратору строительства дороги, главноуправляющему путями сообщений и публичными зданиями, графу Петру Андреевичу Клейнмихелю тех, кто дорогу непосредственно проторил: крестьян, мастеровых – «божиих ратников, мирных детей труда». В литературе статистика теснится куда более тонкими категориями, находящимися «на почве человека» (А. Н. Веселовский).

Ещё один пример из литературы, прямо связанный с «Изнанкой Крымской войны». Накануне Русско-турецкой войны 1877–1878 годов

Николай Лесков печатает небольшой рассказ «Морской капитан с сухой Недны». Потом через годы его перерабатывает, и теперь под заглавием «Бесстыдник» он появляется в изданиях писателя. Те, кто не поленится его прочитывать (перечитать), увидит художественное изображение всё той же «изнанки Крымской войны», а по слову рассказчика, «воровства и казнокрадства тех комиссариатщиков и провиантщиков, благодаря которым нам не раз доводилось и голодать, и холодать, и сохнуть, и мокнуть». И вспомнит, может быть, с добавлением других примеров, как из литературы, так и из собственной бытовой жизни, что одно и то же событие можно представить совершенно по-разному. Один из персонажей «Бесстыдника», «провиантщик», разбогатевший в пору севастопольской кампании, возражая обличавшему его моряку, излагает целую теорию, направленную против разделения людей на честных и мошенников.

Поверьте, говорит он, «что не вы одни можете терпеливо голодать, сражаться и героически умирать; а мы будто так от купели крещения только воровать и способны. Пустяки-с! Несправедливос! Все люди русские и все на долю свою имеем от своей богатой натуры на всё сообразную способность. Мы, русские, как кошки: куда нас ни брось – везде мордой в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем; где что уместно, так себя там и покажем: умирать – так умирать, а красть – так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде – вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали...».

Не успел опешивший моряк возразить «бесстыднику» покруче, как другие слушатели стали славить «провиантщика», так что он ещё и за обобщения принялся: «Зачем одних хвалить, а других порочить; мы положительно все на всё способны».

Обдумывая этот, предложенный Лесковым этический парадокс, академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв в конце концов написал целую статью. Он обратил внимание на то, что и в рассказе Льва Толстого «Севастополь в августе 1855 года» (мы вспоминали о нём по другой причине в начале этой части) есть эта тема: «работаем, куда поставили». Станционный смотритель говорит, что готов отправиться воевать на Малахов курган, только чтоб не терпеть хамство проезжающих, а о трусоватом офицере говорится: «Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы...» Не утверждая, что в своём рассказе

Лесков вступает по этому вопросу в диалог с Толстым, Лихачёв всё же предлагает признать: «Лесков воспользовался толстовской концепцией героизма, чтобы создать интригующую моральную загадку в своём произведении. В отличие от прямого морализирования “в лоб” у Толстого, Лесков очень часто превращает мораль в элемент литературной интриги».

И для нас эти литературно-нравственные и просто нравственные коллизии так же важны. Обратившись к деятельности комитета ополчения Тверской губернии, действовавшего под председательством губернатора, тайного советника Александра Павловича Бакунина, Салтыков в своём отчёте разворачивает панорамную историю злоупотреблений, причём доказывает, что и нечистый на руку губернатор, в свою очередь, попал под влияние местного денежного воротилы, купца Ветошкина. На жалобы с мест губернатор отвечал присылкой комиссий, которые оправдывали провинившихся, а то и сам выступал защитником разгулявшихся мошенников. Можно предположить, что отчёт Салтыкова повлиял на отставку Бакунина с поста губернатора в октябре 1857 года. Его ретроградство и неприятие реформаторских идей можно было понять и объяснить, но покрытие воров, да ещё в лихую годину министр Ланской терпеть не стал.

Документы салтыковской ревизии по Владимирской губернии не сохранились в сколько-нибудь значительной полноте, осталось только замечание Михаила Евграфовича: вопреки закону при избрании офицеров ополчения была допущена замена одних лиц другими, правда, по добровольному с ними соглашению, то есть «нечто в роде личного найма». Но это было всё-таки небольшое прегрешение, по сравнению, например, с Московской губернией, где половину офицеров набрали из отставных военных и «гражданских чинов зазорного поведения, недостойных офицерского звания». Половина офицеров того же Тверского ополчения не явилась к своим местам, едва не попав под военный суд; из-за неблагонадёжности некоторых офицеров Ярославского и Костромского ополчений пришлось провести следствие...

Правда, говоря о пребывании Салтыкова во Владимире (он, напомним, явился сюда с любимой Лизой), мы волей-неволей должны учесть два обстоятельства. Прежде всего, в годы Крымской войны губернатором здесь был генерал-лейтенант Владимир Егорович Анненков. Юным прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка он участвовал в Заграничном походе русской армии 1813–1814 годов, а в 1831 году воевал в Польше, когда там началось восстание против российского правления. Так что старый служака, судя по историческим документам, отнёсся к делу



ответственно: после формирования дружина Владимирского ополчения в июле 1855 года своим ходом отправилась на театр военных действий, хотя принять в них участия владимирцам не довелось. И главное: хотя незадолго до приезда во Владимир Салтыкова Анненков вышел в отставку, то бывший при нём вице-губернатором Аполлон Петрович Болтин сохранил свою должность. И, разумеется, было бы по меньшей мере странно, если бы молодой зять стал проявлять излишнее рвение, въедливо изучая недавнюю деятельность тестя. Как здесь вновь не вспомнить парадокс лесковского «провиантщика» и не признать: знаменитый нравственный императив тоже не удаётся утвердить безгранично? Можно удерживаться и попросту отвергать взяточничество, не интриговать, избегать неправосудных решений, но всё же обстоятельства обыденной жизни порой складываются таким образом, что нашу принципиальность, наши нравственные устремления так или иначе приходится приглушать ради соблюдения по разным причинам удобных нам компромиссов...

И всё же многие годы спустя Салтыков, теперь не молодой литератор на чиновничьем посту в Министерстве внутренних дел, а всероссийски известный писатель, отстаивающий «идеал свободного исследования как неотъемлемого права всякого человека», вернулся к событиям времён его человеческого и писательского утверждения, знаменательнейшего для него 1856 года. В конце концов необходимо было их осмыслить вне каких-либо конъюнктурных воздействий – к тому же обретя определённую историческую перспективу, получив фоном множество других впечатляющих событий, происшедших в России, в других странах, наконец, в литературе. Так, Лев Толстой в «Войне и мире» обратил внимание на особую линию человеческих взаимоотношений, связанную со *скрытой теплотой патриотизма*.

Она, вне сомнений, ощущалась и Салтыковым, но этой «теплотой» все состояния, объемлемые понятием патриотизма, для него не ограничивались. Вспоминая «скорбную пору» Крымской войны, он, уже давно сроднившийся с Н. Щедриным, пишет: тогда «моему встревоженному уму впервые предстал вопрос: что же, наконец, такое этот патриотизм, которым всякий так охотно заслоняет себя, который я сам с колыбели считал для себя обязательным и с которым, в столь решительную для отечества минуту, самый последний из прохвостов обращался самым наглым и бесцеремонным образом?».

Этот очерк, «Тяжёлый год», сегодня воспринимается как итоговая художественная оценка всех разнообразных впечатлений Салтыкова, вызванных «великой ополченской драмой» и прежде оформленных лишь в

служебных бумагах. Теперь он не концентрируется на фактах и на их сцеплении, а идёт писательским путём Гоголя, как бы предваряя Лескова («Бесстыдник» появился позднее):

«И вот весь мало-мальски смышлёный люд заволновался. Всякий спешил как-нибудь поближе приютиться около пирога, чтоб нечто урвать, утаить, ушить, укроить, усчитать и вообще, по силе возможности, накласть в загорбок любезному отечеству. Лица вытянулись, глаза помутились, уста оскалились. С утра до вечера, среди непроходимой осенней грязи, сновали по улицам люди с алчными физиономиями, с цепкими руками, в чаянии воспользоваться хоть грошом. Наш тихий, всегда скупой на деньгу город вдруг словно ошалел. Деньги полились рекой: базары оживились, торговля закипела, клуб процвёл. Вино и колониальные товары целыми транспортами выписывались из Москвы. Обеды, балы следовали друг за другом, с танцами, с патриотическими тостами, с пением модного тогдашнего романса о воеводе Пальмерстоне, который какой-то проезжий итальянец положил, по просьбе полицеймейстера, на музыку и немилосердно коверкал при взрыве общего энтузиазма.

Бессознательно, но тем не менее беспощадно, отечество продавалось всюду и за всякую цену. Продавалось и за грош, и за более крупный куш; продавалось и за карточным столом, и за пьяными тостами подписных обедов; продавалось и в домашних кружках, устроенных с целью наилучшей организации ополчения, и при звоне колоколов, при возгласах, призывавших победу и одоление.

Кто не мог ничего урвать, тот продавал самого себя. Всё, что было в присутственных местах пьяненького, неспособного, ленивого, — всё потянулось в ополчение и переименовывалось в соответствующий военный чин. На улицах и клубных вечерах появились молодые люди в новеньких ополченках, в которых трудно было угадать вчерашних неуклюжих и оципанных канцелярских чиновников. Ещё вчера ни одна губернская барыня ни за что в свете не пошла бы танцевать с каким-нибудь коллежским регистратором Горизонтовым, а нынче Горизонтов так чист и мил в своей офицерской ополченке, что барыня даже изнемогает, танцуя с ним “польку-трамблямс”. И не только она, но даже вчерашний начальник, вице-губернатор, не узнаёт в этом чистеньком офицерике вчерашнего неопрятного, отрёпанного писца Горизонтова.

— А! Горизонтов! мило! очень, братец мой, хорошо! — поощряет вице-губернатор, повёртывая его и осматривая сзади и спереди.

— Сегодня только что от портного, ваше высокородие!

— Прекрасно! очень, даже очень порядочно сшит кафтанок! И скоро в

поход?

- Поучимся недели с две, ваше высокородие, и в поход-с!
- Смотри! Сражайся! Сражайся, братец! потому что отечество...
- Нам, ваше высокородие, сражаться вряд ли придётся, потому – далеко. А так, страны света увидим...

И шли эти люди, в чаянье на ратницкий счёт “страны света” увидеть, шли с лёгким сердцем, не зная, не ведая, куда они путь-дороженьку держат и какой такой Севастополь на свете состоит, что такие за “ключи”, из-за которых сыр-бор загорелся. И большая часть их впоследствии воротилась домой из-под Нижнего, воротилась спившаяся с круга, без гроша денег, в затасканных до дыр ополченках, с одними воспоминаниями о виденных по бокам столбовой дороги странах света. И так-таки и не узнали они, какие такие “ключи”, ради которых черноморский флот потопили и Севастополь разгромили».

Однако тональность процитированного фрагмента, как и всего очерка, непроста и сатирическими фиоритурами не исчерпывается. И, пожалуй, именно за эту тональность Салтыкову как редактору пришлось ответить по полной: номер «Отечественных записок» (пятый за 1874 год) был Комитетом министров запрещён и приговорён к уничтожению (уже в советское время в библиотеках удалось разыскать всего четыре экземпляра этого номера).

Обратимся к цензорскому отзыву, приведшему к репрессии номера. В нём говорится: «Щедрин, посвящающий свою сатиру в последнее время не на бичевание и осмеяние общественных пороков и недугов, а избравший предметом для неё преимущественно администрацию и в особенности тех лиц, которые на административной лестнице занимают высшие ступени, и в означенном очерке имеет целью представить в самом невыгодном свете действия какого-то губернатора и управляющего палатою государственных имуществ в одной из губерний. Замаскировав звание губернатора прозвищем патриарха, избрав временем действия Крымскую войну 1853–1856 годов, Щедрин описывает, как губернатор этот... <...> не обладая никакими положительными качествами и быв весьма скромным человеком вначале, вдруг сделался взяточником, когда для этого открылась возможность при происходивших в то время беспрестанных наборах, сборе ополчений и разных поставках для армии; как он соединился для этого с управляющим палатою, отъявленным плутом и негодяем, и как вдвоём они стали грабить всех и каждого. Рассказ этот, наполненный разными подробностями безобразий, со свойственным перу автора юмором, становится особенно предосудительным по одному месту, где влагается в

уста управляющего палатой известное мнение о самодержавии и республике, приписываемое императору Николаю I, и с нескрываемым сарказмом и иронией доказывается польза для России самодержавия, как самого лучшего образа правления» (курсив мой. – С. Д.).

Слова «особенно предосудительным» знаменательны. Цензоры в Российской империи существовали разные, и многие из них относились к своим обязанностям без излишнего рвения. Цензором «Отечественных записок» был скромный чиновник Николай Егорович Лебедев, в творческих успехах не замеченный, очень медленно двигавшийся по служебной лестнице – просто выслуживший своё место. Но действовал он, между прочим, в соответствии с давним распоряжением императора Николая Павловича: не вычитывать в произведениях вторых смыслов. Поэтому, вероятно, и здесь решил ограничиться указанием лишь на самое, с его точки зрения, острое место.

У Салтыкова крамольный, по Лебедеву, монолог звучит так:

«— Я понимаю одно из двух... <...> – или неограниченную монархию, или республику; но никаких других административных сочетаний не признаю. Я не отрицаю: республика... *res publica*... это действительно... Но для России, по мнению моему, неограниченная монархия полезнее. Что такое неограниченная монархия? – спрашиваю я вас. Это та же республика, но доведённая до простейшего и, так сказать, яснейшего своего выражения. Это республика, воплощённая в одном лице. А потому, ни одно правительство в мире не в состоянии произвести столько добра. Возьмите, например, такое явление, как война. Какая страна может разом выставить такую массу операционного материала? Выставить без шума, без гвалта, без возбуждения распрей? Или, например, такое явление, как неурожай. Какая страна может двинуть разом такое громадное количество продовольственного материала из урожайной местности в неурожайную, при помощи одной натуральной подводной повинности? – Конечно, ни одна страна в целом мире, кроме России и... Американских Соединённых Штатов (повторяю, он до того был прозорлив, что уже в то время провидел “заатлантических друзей”)! Итак, дело не в имени, а в результатах. Говорят, что у нас, благодаря отсутствию гласности, сильно укоренилось взяточничество. Но спрашиваю вас: где его нет? И где же, в сущности, оно может быть так легко устранимо, как у нас? Сообразите хоть то одно, что везде требуется для взяточников суд, а у нас достаточно только внутреннего убеждения начальства, чтобы вредный человек навсегда лишился возможности наносить вред. Стало быть, стоит только быть внимательным и уметь находить достойных правителей. Вот и всё».

Что и говорить, пассаж крепкий. И придраться можно, и номер запретить, даже если не обращать внимания на то, что на жупеле патриотизма автор оттоптался ещё виртуознее... Но мы-то должны обратить внимание, что перед нами всё же не документальный очерк, а полноценный рассказ. Губернатор, которого автор назвал «патриархом», это вовсе не, как иногда утверждают, начальник Вятской губернии, образованнейший Николай Николаевич Семёнов (он был ещё жив, когда «Тяжёлый год» вышел в номере «Отечественных записок»). Но едва ли он срисован прямолинейно и с тверского воришки Бакунина – к этому времени за плачами Салтыкова были не только служба в пяти губерниях, но и своеобразный галерейный роман «Помпадуры и помпадурши», и шедевр «История одного города» – огромный опыт вольного письма, которое только и может привести к подлинной художественности, неотвратимо влекущей читателя.

В «Тяжёлом годе» налицо полноценное сюжетное действие, эта хроника, военно-историческая в исходных знаках (пусть и со стороны тыла), развёртывается в социально-психологическое полотно, где представлены, по сути, универсальные модели человеческого поведения и яркие характеры, их воплощающие.

Удивительная подробность: в начале 1876 года давние приятели Салтыкова, юрист Владимир Лихачёв и литературный деятель Алексей Суворин, приобрели газету «Новое время». Суворин решил привлечь к ней внимание, напечатав здесь произведения Салтыкова, не пропущенные цензурой в «Отечественные записки». И добился своего – хоть и со смягчающей правкой «Тяжёлый год» в «Новом времени» был напечатан. Это вдохновило Салтыкова и, готовя летом 1876 года первое отдельное издание цикла «Благонамеренные речи», он «Тяжёлый год» туда не только вернул, но и восстановил, насколько возможно, изъятия, сделанные для газеты. Хотя язвительнейший монолог о неограниченной монархии как республике, воплощённой в одном лице, так до читателя и не добрался. Впрочем, он относится к тому своду текстов Салтыкова, которые срока годности не имеют и, при художественном блеске, всегда актуальны.

## Тернии невесты, розы жениха

Столь подробное рассмотрение того, как жизненный материал воплощается в текст, в тексты разного назначения и применения, сделано намеренно. События зимы-весны-лета 1856 года в жизни Салтыкова имеют особое, исключительное значение как для него самого, Михаила Евграфовича, так и для Николая Ивановича Щедрина. Вспомним, что Салтыков, работая над запиской о документах 1812 года, нередко бывал «взбешённым». Кажется, можно догадаться о причинах этого. Он по природе своей мог делать только ту работу, необходимость которой им осознавалась. Каталогизировать старые документы ему было попросту скучно, хотя в итоге он описал их так, что даже заслужил похвалу начальства. Кроме того, в это же время он всю работу над «Губернскими очерками», желанной книгой, и в этих обстоятельствах служба, тем более, также связанная с бумагомаранием, оказывается для него попросту обузой.

Но затем происходит почти чудо – впрочем, сходного рода чудес немало в литературе. Получив новое задание, связанное с событиями и деяниями, пережитыми и им самим, Салтыков испытывает такой прилив и творческой, и жизненной энергии, что от его «взбешённости» не остаётся и следа. Он всё успевает, причём за канцелярским и письменным столами спокойно и продолжительное время посидеть ему не удаётся. По служебным и личным причинам то и дело приходится (или хочется) куда-то ехать...

А нам все эти матримониальные метели, вьюги, а затем и грозы первых месяцев 1856 года надо как-то соотнести с тем, что уже в августе, из номера в номер в журнале «Русский вестник» начинают печататься «Губернские очерки». Ибо существующая история их создания до сих пор выглядит почти фантасмагорически: например, Сергей Александрович Макашин отверг сложившееся было в дооктябрьской щедринистике представление, что начальная часть «Очерков» была написана ещё в Вятке.

В этом есть некоторая убедительность: сама тональность рассказа, оптика взгляда повествователя вызывает ощущение, что это не письма из провинции, а письма о провинции. Повествователь свободно летает над российским пространством, да и во времени перемещается не менее свободно. Но если согласиться с Макашиным и отнести начало работы ко времени *«между серединой февраля и началом марта 1856 года»*, то нам,

уже знающим о предсвадебных страстях, остаётся только подтвердить вывод о каких-то особых обстоятельствах работы Салтыкова над книгой.

С. А. Макашин выяснил, что примерно с середины февраля 1856 года Салтыков, прожив около месяца в доме старшего брата Дмитрия Евграфовича, переселился в дом Волкова на Большой Конюшенной улице (сейчас на этом месте находится Ленинградский дом торговли). В этом трёхэтажном каменном доме-гостинице, принадлежавшем чиновнику Александру Волкову, Салтыков жил и ранее, в 1845 году, после окончания лицея. Как видно, недорогие номера с резными дверями и жаркими кафельными печами ему, франту и мерзляку, пришлись по нраву. Можно представить, что грело «Пушкина XIII выпуска» и само место – поблизости Невский проспект, набережная Мойки, по соседству – знаменитый *Демутов трактир*, то есть гостиница, навсегда связанная с именами Грибоедова и Пушкина. Сюда первый привёз из Москвы комедию «Горе от ума», а второй здесь многократно останавливался. Именно здесь за неполные три недели, в октябре 1828 года он дописал и переписал поэму «Полтава».

Если мы верим в *гений места* (а с чего бы нам в него не верить?), то на исходе зимы 1856 года, в центре Петербурга, среди шума городского Салтыков обрёл то творческое уединение, то благое одиночество, которое словно бы вдруг обеспечивает чудо сотворения. Вот ведь ещё прецедент: болдинская осень 1830 года. Холерные карантинные три месяца – с 3 сентября до конца ноября – удерживали томящегося жениха в арзамасско-нижегородской глуши. Салтыков внешне был свободен, но неопределённость с местом да и временем свадьбы была преодолена им сидением за гостиничным столом, превращённым в письменный. Подсчитано, что в Волковых номерах он прожил до двух с половиной месяцев, кроме того, с 9 по 25 апреля ездил в Москву и Владимир – тоже была возможность не тратить дорожное время впустую.

Так или иначе, Салтыков быстро двигался к тому радостному для всякого писателя мигу, когда будущее создание не только приобретает реальные очертания, но и может быть показано доверенным людям – родным, литераторам. Таким человеком для возвращающегося в литературу автора «Запутанного дела» стал Александр Васильевич Дружинин, с которым он приятельствовал со времён совместной службы в Военном министерстве. Когда Салтыков оказался в Вятке, они долгое время состояли в переписке, но когда к 1853 году таковая иссякла, Дружинин оставил в своём дневнике признание: «По части корреспонденции за мной много грехов. Самый сильный грех – прекращение переписки с Салтыковым, но

Салтыков очень умен и, когда явится в Петербург, не будет помнить моей лениности».

Сибарит Дружинин оказался прав. Он, вне сомнений, чувствовал, что натура Салтыкова не сводится к эмоциональным взрывам, доходящим до гнева («вспыльчивый, как вулкан», пишет о нём близкий друг и лечащий врач, терапевт Николай Андреевич Белоголовый). Страстное переживание событий действительности сочеталось у Михаила Евграфовича с потребностью разобраться с тем, что же он переживает.

Тот же Белоголовый приводит в своих воспоминаниях замечательный случай, который относится к последнему периоду жизни Салтыкова и тем самым подтверждает, что этот человек до последних дней сохранял совершенно необходимый для творческого человека эмоциональный накал. «Человек он был чрезвычайно горячий и страстный, – об этом Белоголовый говорит в своих воспоминаниях о Салтыкове не раз, – в спорах сильно разгорячался, начинал говорить с окриком, но ни разу не помню, чтобы спор у него переходил, что в наших нравах, в личности, и готов был сейчас же согласиться с доводами противника, если находил их убедительными. Иногда такой конец спора у него выходил очень оригинально и даже поражал своей быстротой; например, как-то мы заспорили о даровитости и нравственных достоинствах еврейской расы; он нападал на евреев, я защищал их, доказывал, что евреи способны выставить крупных деятелей не только в банкирской и ремесленной сфере, но и в учёной, называл имена известных мыслителей и учёных и т. д.

– Да, знаете ли? – загремел М. Е., – мне уж до крайности противна в них – эта операция обрезания, которой они калечат своих детей.

– Ну, а я, вообразите, наоборот, великий партизан с медицинской точки зрения этой операции, – отвечал я. – На своих наблюдениях я убедился, что между евреями неизмеримо реже встречаются онанисты, чем между русскими детьми, и отчасти приписываю это той самой операции, на которую вы нападаете, и на этом основании нередко настаиваю на этой операции в русских семьях. И затем пояснил, почему я пришёл к такому убеждению, с такими подробностями, которые приводить здесь было бы неуместно. Я не мог удержаться от смеха, когда, вместо всякого ответа, М. Е. вскочил с кресла, стремительно подошёл ко мне и серьёзно спросил меня: “А как вы думаете, не надо ли нам обрезать Константина (его 13-тилетний сын?)”». Здесь же нельзя не сказать: эмоции эмоциями, а поступки Салтыкова-публициста очевидно свидетельствовали о его убеждениях. И потому среди многих венков на его свежей могиле на Волковом кладбище был хорошо заметен и такой, сплетённый из терниев, с



надписью: «От благодарных евреев».

А пока Салтыков, прибыв в столицу, едва ли не в первый день заявился к Дружинину. Тот радостно записал в дневнике (15 января) о появлении «Салтыкова, милейшего моего товарища». Важнейшая новость: «Он женится – одним словом, разговор наш преисполнен был изумительными вещами. Я был рад страшно». Дружба была немедленно восстановлена, уже 18 января пятеро бывших сослуживцев по канцелярии Военного министерства праздновали встречу, а Дружинин и Салтыков отныне надолго не расставались.

Александр Васильевич был чуть старше Михаила Евграфовича (одному шёл тридцать второй, другой готовился отмечать тридцатилетие), но Дружинин имел несравненно более широкий литературный опыт. Его повесть «Полинька Сакс», опубликованная ещё в юности, оказалась одним из главных русских литературных событий второй половины 1840-х годов: автору удалось в запутанной любовной истории молодой жены чиновника по особым поручениям соединить многие проблемы времени и человека. Начатое Дружининым в последующие годы получило дальнейшее художественное развитие у Тургенева, Гончарова, Писемского... Природою он был наделён и другими талантами. Знаменитый остроумец, популярный фельетонист, музыкально чуткий литературный критик, а ещё гурман и женолюб. А главное, он входил в круг журнала «Современник», издания, автором которого стремился стать Салтыков, хотя в первые же недели и поделился с другом о желании иметь журнал собственный.

Но журнал – это в будущем, а пока надо пристроить куда-то «Губернские очерки». Дружинин прочёл и отозвался благоприятно: «Вот вы стали на настоящую дорогу: это совсем не похоже на то, что писали прежде». По воспоминаниям известного издателя Лонгина Пантелеева, записанным со слов самого Салтыкова, Дружинин передал сочинение друга Тургеневу с надеждой на их дальнейшее продвижение в «Современник».

Однако дело не пошло. Автору «Записок охотника» «Губернские очерки» не понравились. «Это совсем не литература, а чёрт знает что такое!» – припечатал он. Оценка эта подтверждается и более весомым свидетельством – письмом Тургенева Павлу Васильевичу Анненкову от 9 (21) марта 1857 года: «г. Щедрина я решительно читать не могу. <...> Это грубое глумление, этот топорный юмор, этот вонючий канцелярский кислятиной язык... Нет! лучше записаться в отсталые – если *это* должно царствовать». Написано в то время, когда сочинение Салтыкова привлекло повсеместное внимание.

Здесь есть одна коллизия, которая в советское время плохо

вписывалась в тогдашнюю бодрую концепцию о Салтыкове-Щедрине как антисамодержавном сатире и революционном демократе. Согласно этой концепции, журнал «Современник» характеризовался как соответствующее издание, в котором Салтыкову только и печататься. И то, что редакция «Современника» во главе с Некрасовым «Губернские очерки» отвергла, было в этих координатах почти нонсенсом. Почему книга оказалась в только что основанном журнале «Русский вестник» и принесла ему первую славу, почти не объяснялось.

История издания «Губернских очерков» плохо изучена и сегодня, но кое-что существенное сказать следует. Обратим внимание на то, что настороженное отношение к новаторскому художественному стилю Салтыкова возникло именно у писателей. Не только Тургенев – лидер «Современника» Некрасов также с неприятием отнёсся к автору «Губернских очерков». Делясь с тем же Тургеневым своими впечатлениями от встречи с Салтыковым летом опятьтаки 1857 года, он писал, красноречиво объединяя реального человека и его литературную маску: «Гений эпохи – Щедрин – туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин.

Некрасов словно забыл, что менее чем за месяц до этого он хвастался тому же Тургеневу: «Чернышевский написал отличную статью по поводу Щедрина» – поясним: о первых двух томах книжного издания «Губернских очерков», высоко их оценивающую. Но быстро осознал, что и в книжном виде «Губернские очерки» распродаются с невероятным успехом, а «Русский вестник», продолжая печатать новые «очерки» Щедрина, приобретает репутацию одного из самых влиятельных российских изданий. Когда выйдет третий том «Очерков» (октябрь того же года), «Современник» тут же даст статью Добролюбова, а Некрасов и Панаев пригласят Салтыкова (и П. И. Мельникова) сотрудничать в журнале.

Такое нестроение слов и поступков отражает ошеломляющее впечатление, произведённое на современников сочинением Щедрина. Это подтверждается большим письмом Л. Н. Толстого, отправленного В. П. Боткину и И. С. Тургеневу между 21 октября и 1 ноября 1857 года: «Новое направление литературы сделало то, что все наши старые знакомые и ваш покорный слуга сами не знают, что они такое, и имеют вид оплётанных. <...> Некрасов... <...> Панаев... <...> сыплют золото Мельникову и Салтыкову, и всё тщетно. <...> Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время (и не для России теперь, а вообще), что во всей Европе Гомера и Гёте перепечатывать не будут больше».

Но это всё относится ко времени, когда «Губернские очерки» стали не только, по словам эмоционального Чернышевского, «прекрасным литературным явлением», но также «историческим фактом русской жизни». А поначалу всё развивалось настолько незаметно для окружающих, что литературоведам до сих пор не удаётся установить с точностью, рассматривались ли «Губернские очерки» редакцией «Современника». Скорее всего, нет. Вероятнее всего, Тургенев даже не сказал Некрасову о предлагавшейся ему рукописи, а если и сказал, то в таких тонах, что сообщение этого никакого интереса у соредактора «Современника» не вызвало.

Сам Салтыков тоже не сообщал когда-либо, что «Губернские очерки» были отвергнуты «Современником». Зато рассказывал в 1885 году одному из своих самых доверенных людей, уже упомянутому терапевту Белоголовому, что, не будучи знакомым с кружком «Современника», решил «по совету приятелей» послать «Очерки» в Москву, в «Русский вестник». Имена «приятелей» известны. Это вышеназванный Александр Васильевич Дружинин, а также бывшие лицеисты – однокашник Салтыкова Евгений Семёнович Есаков и экономист, публицист, впоследствии академик Владимир Павлович Безобразов (из XV выпуска).

У эстета Дружинина уже тянулись несхождения с бытовиками-утилитаристами «Современника», он примеривался к журналу «Библиотека для чтения» (и, к слову, Салтыкова с Безобразовым на него нацеливал), но, главное, и он, и Безобразов были приглашены к сотрудничеству в новый журнал «Русский вестник». И, скорее всего, на этой почве проклюнулась идея отправить Михаила Евграфовича с его «Очерками» к Михаилу Никифоровичу Каткову, деятельно искавшему новых авторов.

Стремящийся вернуться в литературу Салтыков, судя по дальнейшему, совету внял. Ибо совет, вообще-то говоря, со всех сторон был здравый. Прежде всего, как уже было понятно, согласия с заносчивыми господами-товарищами из «Современника» у него не складывалось. А коль «Современник» в пролёте, надо сделать так, чтобы получилось не грустно. Московское местонахождение журнала было по-своему выгодно. Что и говорить, острее родовой травмы помнил Салтыков, что главным толчком к казусу с «Запутанным делом» в 1848 году было то, что он не согласовал публикацию с начальством, как следовало. По сути, Салтыков как автор «Запутанного дела» пострадал не от лютости цензуры, а от её отсутствия – и лютости, и самой цензуры. Повесть прошла в печать беспрепятственно и лишь потом вызвала аллергические реакции у начальников юного прозаика, забывшего, что он является чиновником Военного министерства.

На этот раз он, Салтыков, очевидно, предпринял все необходимые меры предосторожности, в журнале прикрывался подписью «Н. Щедрин», а в первом отдельном издании им был придуман двухступенчатый подзаголовок.

Заглавие – «Губернские очерки».

Первый подзаголовок – «Из записок отставного надворного советника Щедрина».

Второй подзаголовок – «Собрал и издал М. Е. Салтыков».

Разумеется, было сделано это не для маскировки, но всё же исходило именно из обстоятельств, когда прямое обозначение авторства казалось не очень полным отражением сложных отношений автора с написанным им. Хотя книга выходила уже на волне успеха, причём высочайше поддержанного. Ещё в декабре 1856 года, когда продолжалось печатание «Губернских очерков» в «Русском вестнике», министр юстиции граф Виктор Никитич Панин подsunул императору это крамольное, по его убеждению, сочинение. Однако Александр Николаевич, получивший консервативного краснобая и полиглота Панина в наследство от отца, не внял бдительному охранителю и, по воспоминаниям, сказал, что радуется появлению таких произведений в литературе. (В 1862 году Панин был заменён сенатором Дмитрием Замятниным, запустившим судебную реформу, которая вывела Российскую империю в круг самых цивилизованных в юридическом плане государств того времени.)

Так или иначе – вернёмся к поиску места печати – «Русский вестник» выглядел для нового дебюта почти идеально. Журнал был и новый, и не совсем новый: впервые его стали издавать ещё в начале века, до войны с Наполеоном колоритный литературный деятель Сергей Глинка и знаменитый московский градоначальник Фёдор Васильевич Ростопчин. Название было придумано в полемическом раже, в противовес «Вестнику Европы», издаваемому Николаем Карамзиным. Отечественная война 1812 года дала прилив патриотической энергии основателям и авторам журнала, но всё же к середине 1820-х годов «Русский вестник», потерявший поддержку страдавшего от финансовых и личных неурядиц Ростопчина, закрылся. В 1841 году Николай Греч и Николай Полевой, уже в Петербурге, попытались его восстановить, но долго не продержались.

Так что Катков взялся за журнал, имя которого имело определённую и вполне спокойную историю, без каких-либо скандалов, можно сказать, журнал пока что без репутации (чего не скажешь о «Современнике», уже не раз попадавшем во всякие истории, нередко с политическим шлейфом). Журнал издавался далеко от министерской столицы, но и в силу той же

своей истории не был при этом *губернским*, не смотрелся провинциальным. Наряду с этим у издателя была репутация англomана и либерала (слово ещё не испакощенное последующими применениями), наконец, состав лиц, согласившихся с ним сотрудничать, был для автора, вновь начинающего путь в литературу, человечески близок и творчески лестен.

Видя все эти и последующие обстоятельства, надо признать: Салтыков так или иначе заявил о своём желании напечатать «Губернские очерки» в «Современнике», но и Некрасов, и Тургенев, и вся редакция в 1856 году этого – *своего* – автора просмотрели. А Михаил Никифорович Катков волей-неволей, но уже в силу своей изначально прозорливой редакционной политики, печатая «Губернские очерки», получил мощный задел для дальнейшего развития журнала.

\*

Нельзя не обратить внимания на ещё одно обстоятельство: до сих пор точно не известно, как именно впервые попала рукопись «Губернских очерков» к Каткову. По воспоминаниям Белоголового, вроде бы передающего свидетельство Салтыкова, тот *послал* «Очерки» в Москву Каткову. По другому свидетельству, это сделал Безобразов, уже призванный Катковым под знамя «Русского вестника». Но больше ничего конкретного мы не знаем – ни времени отсылки, ни конкретных реакций Каткова. Однако есть ощущение, что установление взаимоотношений Салтыкова с «Русским вестником» и обстоятельства его венчания могут быть между собою связаны.

Сохранилось немало писем Ольги Михайловны и братьев Салтыкова, относящихся к первой половине 1856 года, так что мы можем достаточно подробно проследить, как развивались предсвадебные события. Мать, в новогодье тепло встретившая сына, вскоре начинает на него сердиться. Даже не потому, что он побывал у неё мимоходом, торопясь во Владимир к Лизе. «Он мне из Москвы не только не написал, даже не плюнул», – жалуется она Дмитрию Евграфовичу в январе. Но наш возвращающийся в литературу писатель, занятый устройством уже в Петербурге, молчит, и Ольга Михайловна 8 февраля вновь взывает к Дмитрию: «Что это Миша мне не пишет, как у него ходы, скажи ему, чтобы писал почаще, мне что-то грустно».

Однако Миша, как видно, погружённый теперь в известную нам министерскую писанину, по-прежнему оставляет родных без своего живого

слова, так что в марте к Дмитрию обращается брат Николай Евграфович. Он, можно вспомнить, в семье Салтыковых на особом счету, живёт с особыми представлениями о времени и пространстве, но всё же и он несколько озадачен. «Поздравляю брата Мишу с наступающим браком, который, вероятно, устроит его счастье, – начинает он. – Вместе с тем весьма сержусь на него, что он ничего мне не пишет, в особенности в таких обстоятельствах, не уведомляет о своём счастье, не описывает качеств своей невесты, и вообще это мне передано тобою очень неопределённо, между тем как я желал бы знать: хороша ли его невеста, умна ли, любезна, воспитана, богата ли; одним словом, это меня интересует весьма как человека близкого».

Нужно учесть, что в это время Николай Евграфович, так и не сделавший карьеру в Петербурге, пребывает в Спасском «на дожитии», под приглядом матери, и за этими строками – желание именно Ольги Михайловны узнать, пусть обиняком, коль напрямую не удаётся, побольше о планах и деяниях Миши. Самого Николая больше, честно говоря, интересует другое: он просит, чтобы брат по случаю своей свадьбы сделал ему подарок – прислал, «если можно, хорошенькую боевую шашку и пистолет двустольный». Следовательно, на свадьбе присутствовать он не рассчитывает. Да и когда будет свадьба? Где?

Ещё 11 апреля ничего внятного не знает о сём событии и брат Сергей (все коммуникации братья пытаются установить с помощью Дмитрия Евграфовича): «Целую брата Мишу, но, впрочем, он, я думаю, во Владимире, а потому, если будете писать, то прошу вас передать ему от меня моё поздравление». Так же мало ведает о грядущем торжестве Илья Салтыков (его письмо Дмитрию Евграфовичу и его жене датировано 12 апреля): «Что брат Миша, верно, у невесты? Не пишу ему, потому что не знаю, где он».

Миша, действительно, 9 апреля отправился из Петербурга во Владимир, естественно, по пути Москвы не миновав. Однако Ольга Михайловна в это время была в Твери и о перемещениях сына узнала только, когда он через две недели вернулся в Петербург («Видно, Михайла дует на меня губу, не пишет ко мне, али укатил к своей невесте и старуха выпрыгнула из головы»). Но, говоря по совести, для Михайлы это было неуютное, суетливое время. Ольгу Михайловну удивила «цель его желания свадьбу играть в Петербурге». Она не видит в этом никакого смысла – только непомерные расходы. «Если он предполагает, что я буду на свадьбе, то я нарочно ни за что не поеду и при том при болезни моей меня это расстроит, я не в силах ни хлопотать, ни выезжать, да и сужу... – здесь

Ольга Михайловна возвращается к вариантам, которые возникали, когда Михаил был ещё в Вятке, – не лучше ли просто обвенчаться в деревне, и пускай хоть бы на обмезблировку спальни это употребили».

Здесь следует обратить внимание на два очень важных обстоятельства. Первое. Как бы ни сокрушалась и ни жаловалась Ольга Михайловна на неразумные, по её мнению, поступки сына, она постоянно помнит о необходимости денежно его поддерживать, и едва ли не в каждом письме той поры этот вопрос с Дмитрием Евграфовичем обсуждает – обычно в виде распоряжений: «Выдай ему к 300 р. серебром, взятым прежде, остальные 2700 р. серебром»; «если можно, отдай Мише и на фортепьяно 500 р. серебром» и так далее. Второе: надо ли напоминать, что у матерей обычно, то есть в большинстве случаев, особое отношение к избраннице сына? Ольга Михайловна здесь не исключение, тем более что её и жизненный статус, и жизнепонимание в целом значительно, если не сказать – радикально отличается от представлений легкомысленной семьи Болтиных. Можно представить, что будь жив фантазёр Евграф Васильевич, он легко бы нашёл общие интересы с артистичным Аполлоном Петровичем – но то Евграф Васильевич...

Так или иначе, объявив, что её на свадьбе в Петербурге не будет, Ольга Михайловна продолжает внимательно следить за приготовлениями к ней. 10 мая он рассылает письма своим сыновьям, как можно предположить, примерно одного содержания. Дмитрию Евграфовичу, которому также велено передать письмо Мише (не найдено), она пишет: «Поначалу я была как очумленная Михайловой женитьбой или расшибленная. Обыкновенно при страданиях человек не может здраво рассуждать, но теперь как стала в себя приходить, то час от часу раны более меня стали язвить и убивают меня насмерть, когда всё это соображу, что он без всякого резону, не сообразясь и не посоветовавшись ни со мною, ни с тобою, предоставил только одному своему соображению и, получа прощение, взял всё за бесценок распродал и уехал из Вятки как будто на готовое всё для него. Сделал столько ошибок неисправимых и тягостных, тогда как ему следовало там бы пожить, жениться. Его жена при недостатках не могла бы быть недовольной вятской жизнью, тем более она там жила. Между тем, бывши при месте, получая 1500 р. серебром жалованья и от меня 1500 р. серебром, значит, мог бы жить очень хорошо, благородно, даже если бы хоть отец не помогал бы его жене, а этим временем приехал бы в Петербург искать место, с которого бы его и перевели...»

Этот пассаж надо пояснить. Попросив предоставить ему службу в Петербурге, Салтыков поначалу не получил должности, а был до открытия

вакансии лишь «состоящим при министерстве». Но продолжим: «Теперь же он самонадеянностью своею состряпал себе болтунь, что меня поставил в самое критическое положение. Признаюсь, не ожидала я с его стороны такого действия, которое, конечно, поставит меня в его глазах недоброй матерью, но я в необходимости нахожусь держаться истины, любо или не любо ему, я не могу и не хочу молчать и терпеть...» После этого заявления Ольга Михайловна вновь перешла к конкретным финансовым распоряжениям относительно Миши.

Трудясь над этим письмом, мать ещё не знала, что 7 мая сын подал министру Ланскому следующее прошение: «Имея намерение вступить в законный брак с дочерью статского советника Болтина, девицею Елизаветою Аполлоновною, долгом считаю испрашивать на сие разрешения вашего высокопревосходительства». Министр наложил резолюцию: «Разрешить», а узаконенный жених сделал ещё один ход навстречу матери: свадьбу было решено играть в Москве, 3 июня. Сюда из Владимира удобнее было добираться семье Болтиных. Сюда, сын до последнего дня на это надеялся, достаточно просто было приехать и матери.

Про перемену места Ольга Михайловна промолчала, а про дату написала, опятьтаки Дмитрию: «Свадьбу Михайлову нельзя и 3-е число играть, ибо будет на Духов день. Вот русские какие сошлись, не понимают и праздников своих». Духов день – праздник Сошествия Святого Духа на апостолов – отмечается на следующий день после Троицы (Пятидесятницы); понятно, что это всегда понедельник. Напомнила Ольга Михайловна и о том, что в среду тоже венчаться нельзя – постный день.

И хотя твердокаменный советский щедриновед Валерий Кирпотин объявил Салтыкова «атеистом, не признающим никаких уступок»<sup>[9]</sup>, Михаила об этом не знал и потому смиренно прислушался к материнским церковнокалендарным рекомендациям. В итоге он остановил свой выбор на 6 июня, четверге. Тоже не самый удачный день, в четверг заключают брачные союзы вдовцы и разведённые (если им разрешат) – по народному поверью, брак в четверг чреват потрясениями в семейной жизни. Но вот уж в приметы раб Божий Михаил как истинный православный христианин никогда не верил!

Для венчания им была выбрана, как мы уже знаем, Крестовоздвиженская церковь. Вероятно, потому, что этот и сам по себе радующий глаза храм с высокой, стройной колокольной Салтыков хорошо знал – он, напомню, был приходским для воспитанников Дворянского института. Кроме того, и остановился жених, а заодно и семья Болтиных,



вероятно, поблизости, в Старогазетном (Одоевском, Камергерском) переулке. Здесь располагалась считавшаяся едва ли не лучшей в Москве гостиница Ипполита Шевалье с таким же приманчивым рестораном. Как мы уже знаем, Михаил Евграфович ценил бытовые удобства, справедливо полагая, что в человеческих условиях и работается, и отдыхается куда лучше, нежели в условиях экстремальных. Известно, что, приезжая в Москву, он обычно поселялся у Шевалье. Впрочем, эту гостиницу любили и другие писатели – Фет, Некрасов, Григорович, а особенно Лев Толстой. Здание, даже здания (если войти во двор), между прочим, сохранились – это напротив Художественного театра, – но ныне пребывают в небрежении: город не знает, что с ними делать, хотя литературно-художественное будущее этих строений очевидно любому человеку, сколько-нибудь любящему Москву и равнодушному к родной культуре.

И ещё одно здание на пути между гостиницей и церковью стало в это время очень близким для Салтыкова – Газетный переулок после пересечения с Большой Никитской улицей переходит в Большой Кисловский переулок. Не исключено, что приехав в Москву для женитьбы, Салтыков без промедлений отправился сюда, где на антресолях двухэтажного каменного дома, выкрашенного белой краской, помещалась редакция «Русского вестника». Он мог принести в эту крохотную, низенькую комнатку свои «Губернские очерки» впервые, мог прийти, чтобы справиться о судьбе посланных ранее, или мог нести новые очерки, в дополнение к тем, что уже были в редакции.

Не исключено, что встретил его молодой человек с папиросой в зубах – секретарь редакции Ардальон Васильевич Зименко. Он непрерывно курил, и Салтыков, встретив родственную натуру, табаком удушающую свою душу, едва ли не выкурил с ним тройку-пятёрку папирос. Мог он тогда же познакомиться и с Катковым, которого, надо признать, шумная разговорчивость неизвестного, но желанного автора порой приводила в конфуз, и он называл Михаила Евграфовича «диким».

Зная о темпераменте Салтыкова, нельзя исключить то, что и церковь для своего венчания он выбрал, отправившись в «Русский вестник». Увидел, вспомнил об институтских годах, а церковь теперь стала ещё краше, обрела необычную колокольню – и принял решение. Фантазия может подсказать нам ещё одну сцену: после венчания 6 июня молодой супруг мог не сразу устремиться праздновать свершившееся, а заглянуть на редакционные антресоли, чтобы справиться о продвижении «Очерков» к читателю. Во всяком случае, такое предположение психологически не менее достоверно, чем описание салтыковской свадьбы, которое однажды

довелось прочитав в книге, претендующей на документальную:

«Ласковым солнечным днем... в Крестовоздвиженской церкви... стоял наш герой под венцом с Елизаветой Аполлоновной Болтиной. Многочисленные зеваки, присутствующие при этом, – вход в храм Божий открыт для всех – отмечали интересную особенность: вокруг невесты толпилось множество родственников и друзей, а жених стоял один как перст. “Одинёшенек стоит – должно быть, сирота”, – сочувственно шептались богомольные старушки. Впрочем, они ошибались: на венчании всё-таки присутствовал один из Салтыковых – младший, любимый брат жениха Илья. Но он стоял в стороне, поскольку считал ситуацию, мягко говоря, двусмысленной.

Высокая сероглазая невеста, раба Божия Елизавета, теперь уже Салтыкова, в своём роскошном подвенечном платье была дивно хороша. Мягким грудным голосом она смиренно отвечала на вопросы священника... А неподалёку от аналая, рядом с отцом, молодожавым господином с полувоенной выправкой и крашеными волосами, стояла сестра-близнец невесты...» и т. д., и т. п.

Возразить нечего: действительно, со стороны родных жениха на свадьбе был только Илья, но прочие подробности – и здесь и далее – ту книгу едва ли украшают. Такая беллетризация исторических фактов, такое стремление влезть в черепную коробку исторических лиц, такое неистребимое искушение высказаться от их имени, используя тексты писем, дневников, мемуаров, могут довести читателя до ошеломления и окончательно отвести его от реальных представлений о далёких временах. Между тем у сочинителей биографических повестей есть увлекательнейшая возможность – пойти за фактами не ради оперных мизансцен и демонстрации сверхчувственной проницательности повествователя, а с тем, чтобы психологически достоверно попытаться объяснить поступки своих героев, увидеть их не только на фоне времени, но и в координатах судьбы.

В сохранившейся переписке семьи Салтыковых этой поры отыскиваются причины отсутствия на свадьбе родни со стороны жениха. До нас дошёл черновик майского письма Дмитрия Евграфовича Илье Евграфовичу, вероятно, так и не отосланного – из-за его откровенности. Старший брат, в противоречие с известными нам (и ему, естественно) доводами Ольги Михайловны за свадьбу в Москве, теперь высказывает убеждение, что окончательное решение Михаила вызвано не чем иным, как хотением «невесты, которая, мимоходом сказать, кажется, никого из нас знать не хочет и не только до сих пор ни строчке моей Аделаиде не

написала, но даже и поклоном никого из нас не удостоила в письмах своих к брату Мише». Далее следует вывод: «Так что мы теперь поневоле должны будем держаться в стороне, ибо нет никакого основания бежать к молоденькой девочке навстречу с распростёртыми объятиями».

Вероятно, утверждение такой точки зрения выросло на почве бурной переписки с Ольгой Михайловной. Эти заявления стали знаком согласия с матерью. Тем более что, действительно, Елизавета Аполлоновна, которой едва ли исполнилось семнадцать (точная дата рождения неизвестна, но, вероятнее всего, это август 1838 года), может быть, даже в силу возраста робела вступать в эпистолярный диалог с незнакомыми людьми. Её лёгкий, живой характер описан многими мемуаристами, её трудно назвать жеманницей, зато можно отметить естественность её поведения в разных ситуациях. Во всяком случае, сугубо этикетная переписка явно была ей не по сердцу и не по душе.

С другой стороны, решение Дмитрия Евграфовича не ехать в Москву даже без его объяснений (тем более если они остались в черновике) было вполне понятным. Отсутствие брата Сергея, флотского офицера на Балтике, также не требует отдельных вопросов. Добросердечный брат Илья на свадьбу приехал. Брат Николай, находящийся при маменьке, целиком зависел от её предначертаний – но вот с ними-то как раз в эти недели была сложность у неё самой.

Досточтимые читатели не могли не почувствовать моей расположенности к этой воительнице с её всеокрушающей силой воли и управляющей мощью. Но видно, как сейчас её мотает между желанием устроить бытовой уют женившемуся сыну и стремлением объяснить ему и всем остальным, что Миша действует не по уму. Находясь 23 мая по делам в Твери, Ольга Михайловна отправляет жениху оттуда в Петербург две иконы – «Спасителя Саваофа и Корсунской Божией Матери», – вместе с просьбой к Дмитрию Евграфовичу передать ему «мое и папенькино благословение»: «Прошу тебя и друга Аделиньку (то есть сноху. – С. Д.), замените папеньку и меня. Благословите посылаемыми иконами Мишу и примите их от венца».

Наряду с этим она, продолжая запутывать дело, вдруг заявляет: если свадьба будет назначена на 8 июня, «я бы приехала». Зато на следующий день, 24 мая, пишет: «Во всяком случае день назначенной свадьбы прошу никак не отлагать, ибо я ни в каком случае не ручаюсь за приезд мой и потому вас окончить и без меня». Тем не менее она не едет из Твери в Петербург, где ещё пребывает в раздумьях Михаил (хотя здесь к услугам Ольги Михайловны железная дорога), а возвращается в Спасское. Здесь она

узнаёт, что свадьба, как она о том не раз просила, будет в Москве. Но теперь это её не радует, а вызывает очаровательный дискурс: «Как это всё будет у него, кто заменит у него меня и папеньку, кто его благословит, не знаю. В Петербурге я просила тебя с другом Аделинькою. Теперь же уже, конечно, её родители должны и наше родительское место занять, ибо я по расстроенному здоровью и так кружиться из угла в угол решительно не могу». Далее ещё хитроумнее: в Петербург 8 июня она «может быть» приехала бы, «при слабости, хоть на постели сидя, его благословила, и вы бы мне помогли» (!), но в Москве – «с незнакомыми лицами я остатки расстроилась бы». За сим следует вывод: «Я подозреваю, что им совестно ехать в Петербург. Надо бы устроить хоть комнату одну – спальню – дочери, а тут сыграют по-походному, и дело в шляпе».

Короче говоря, в Москву на свадьбу сына Ольга Михайловна не поехала. 7 июня она отправилась... куда, догадайтесь с одного раза – правильно, в Петербург. Думается, это не было безумное решение своевольной барыни, пришедшей в неистовство оттого, что сын так и не разобрался в её противоречащих друг другу указаниях. «Право, мне даже гнусно, а не грустно, такие выходки. Конечно, по крайности своей ошибки он делает, я знаю его честную и добрую душу, не способную ни на что чёрное, но тонкие и горькие обстоятельства его влекут со мною в расчёт». Это замечание Ольги Михайловны в письме 30 мая – насквозь фарисейское, ибо её вклад по переводению обычных бытовых обстоятельств в сферу абсурда очевиден. Она и сама в них запуталась. Вдруг настаивать на свадьбе в Петербурге, причём не ранее 8 июня, она решила, вероятно, по каким-то своим деловым расчётам. Её разъезды в это время подтверждают такое предположение.

Но не будем при звуках свадебных колоколов углубляться в коммерческое, в слишком приземлённое. Отметим лишь следующее: мать, снабжая сына средствами к существованию (после возвращения из Вятки он находился при министерстве без должности и денежного содержания не получал), вместо гонорара в течение нескольких месяцев отнимала у него покой. Зато начальство, то есть Ланской, сделало Михаилу Евграфовичу достойный подарок. 20 июня он был назначен «исправляющим должность чиновника особых поручений VI класса» с жалованьем тысяча двести рублей серебром в год. Очень и очень кстати.

Ещё в Вятке, решив жениться, Салтыков писал брату Дмитрию: «Не знаю... <...> не будет ли мне тяжело жить вдвоём при моих ограниченных средствах; знаю только, что до бесконечности люблю мою маленькую девочку и что буду день и ночь работать, чтобы сделать её жизнь спокойною».

Сегодня, когда история супружества Михаила Евграфовича стала историей, мы можем с полной уверенностью сказать, что своё слово он сдержал. Но важны подробности. У биографов Салтыкова советского времени было много мишеней для обозначения *неправильного* окружения великого сатирика. Две ближайшие – мать и жена. Это само по себе очень любопытно, если не сказать даже – забавно. Поэтому мы так подробно, опираясь только на документы, а не на домыслы и подавно не на художественные произведения Салтыкова, пытаемся разобраться в его взаимоотношениях с Ольгой Михайловной – и сюжет этот далеко ещё не окончен.

Однако сейчас удобный момент подойти поближе и к Елизавете Аполлоновне Салтыковой, своеобразно благословлённой свекровью на супружество с её сыном. «Благословение я ему, надеюсь, наше ты передал, – пишет Ольга Михайловна Дмитрию Евграфовичу, зная, что Михаил вот-вот уедет из Петербурга в Москву жениться. – Как и что у него будет, я не знаю да и отстранить себя желаю, ибо так всё мудрёно делается, непостижимо, что самое лучшее устранимся, он же по вляпанью своему, кажется, одурел и позволяет собой играть, как шутком, своей девочке, которую по всем этим выходкам, равно и ея родителей, я почитаю людьми бесхарактерными и невнимательными к семейству вступающими их в родству без всякой деликатности, даже можно сказать невежества, и мне больно будет, что Миша ошибётся. Я почитаю её девочкой ветреной, избалованной и капризной, ну в сём грехе я не буду отвечать...»

Надо сказать, это эмоциональное прощание матери с женившимся сыном очень радовало тех щедриноведов, которые изо всех сил старались создать образ сурового революционного демократа, изнывающего в супружеских силках пустопорожней кокетки-жены. Они, обычно столь же сурово, как Елизавету Аполлоновну, распатронивающие Ольгу Михайловну, здесь на мгновение забывали о всех её прегрешениях перед историей революционного движения в России и кивали на процитированное письмо как свидетельство материнской прозорливости, изначального понимания ею того, в какое мещанское болото ухнул наш писатель-гражданин.

И всё же не будем искажать наши лица гримасами сострадания, а

вновь погрузимся в исторические обстоятельства и факты. Двумя годами ранее свадьбы Салтыкова другой жених решил обратиться к избраннице сердца на страницах своего дневника: «Желаю тебе счастья и делаю и всю мою жизнь буду делать всё, что ты считаешь, что ты сочтёшь нужным для твоего довольства, для твоего счастья». Правда, затем, когда он стал просить у возлюбленной руки, счёл необходимым оговорить: «У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, Бог знает, на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгою...»

А Салтыков, решив жениться и установив себе как мужу программу, напротив, усилил свои попытки во что бы то ни стало вырваться из Вятки, обрести полную свободу. То есть соответствия между словами и предполагаемыми поступками у него куда больше, нежели у жениха второго. И ведь при этом несходстве оба вполне одинаково объяснили причины своего выбора. Михаил, напомним, на вопрос, почему он, человек умственного труда и «широких общественных интересов», женился на Елизавете, а не на её сестре Анне, которая, несомненно, была образованнее, отвечал: «Елизавета была много пригляднее».

Второй жених, которого звали Николаем, признавался в подобном, причём его оговорки лишь подчёркивают неодолимость того «сильного движения нежности» к невесте, о котором он пишет в дневнике многократно: «Если бы она не была так хороша, я не очаровался бы ею, но всё-таки её красота, хотя весьма важная для меня, всё-таки важнее, гораздо важнее для меня качества её сердца и характера, и когда я думаю о блаженстве, которое ожидает меня, конечно, тут является и чувственная сторона этого блаженства, но гораздо сильнее занимает, гораздо более очаровывает меня сердечная сторона её отношений».

«Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» – воскликнул однажды поэт, которого ценили оба жениха. «Не из неё надобно выспрашивать, она сама требует – это решение необходимо при моём характере, который необходимо должен всегда дожидаться, чтобы им управляли, – писал Николай с полным одобрением о своей невесте. – Так и в семействе я должен играть такую роль, какую обыкновенно играет жена, и у меня должна быть жена, которая была бы главою дома».

Салтыков, правда, был куда самостоятельнее, свой характер управляемым извне признать не мог, но всё же современники свидетельствуют: Елизавета Аполлоновна, «при всех своих недостатках (какие ригористы! – С. Д.), была существом весьма добродушным и

незлобливый. <...> ...Она знала, что сколько бы её Мишель ни ворчал и ни ругался, она в каждом отдельном случае поступит не так, как этого требует грозный Мишель, а так, как решила она, “дура” Лиза. Жизнь семьи в Петербурге шла так, как ей хотелось».

Обе невесты устремлялись душой и телом из своих российских захолустий в столицу и готовы были ради этого на разлуку с близкими. «Что делать! Я очень люблю папеньку, но всегда хотела жить врозь с ним», – признавалась Николаю его Ольга. А Михаил в своё время говорил, что «не может без досады смотреть» на то, как сестра жены Анна «любит отца своего, которого он не выносит, и что с этой её привязанностью ему невозможно примириться» – тоже лишний довод в пользу женитьбы на Елизавете...

Николай, как и Михаил, поселился с молодой женой в Петербурге. Салтыков говорил впоследствии доктору Белоголовому, что на новое выступление его в литературе «главной побуждающей причиной был недостаток в материальных средствах для сносной жизни с молоденькой женой в Петербурге». Учитель русского языка и словесности Николай ради беспечального жилья своей жены стал сотрудничать с различными журналами и газетами. «Буду писать всё, что угодно», – обещал он в дневнике. И хотя, безусловно, Салтыков был наделён огромным даром художника, а второй, поверьте пока мне на слово, – талантом критика-исследователя, признаем, поскольку они сами этого хотели, что, кроме влечения, которое «род недуга», к литературе, здесь было и это: *шерше ля фам*.

В свою очередь, у жён были свои интересы. Помыслы Елизаветы Аполлоновны «вращались исключительно вокруг различного рода источников развлечения и средств повышения её красоты и внешней обаятельности» (так обобщил воспоминания современников М. А. Унковский). Впрочем, Михаил знал, что выбирал. Но ведь и Ольга Сократовна, несмотря на своё красноречивое, как, впрочем, и у Елизаветы, отчество и на похвалы её умственным интересам, расточавшиеся Николаем, тоже смотрела на жизнь «как на вечный, словно для неё созданный праздник» (вывод её свойственницы В. А. Пыпиной).

Не только Елизавета Аполлоновна «после каждого обхода магазинов... <...> возвращалась в сопровождении магазинных рассыльных, нёсших груды, несомненно с большим вкусом выбранных, но вовсе не необходимых вещей». Ольга Сократовна тоже любила объезжать лавки: «Купцы были её приятели. Они приносили ей складной стул, если в лавке не было дивана. Они потчевали её чаем, если пили. Она толковала с

купцами о их семейных делах. Они показывали ей новые товары... Многие приказчики Гостиного двора долго помнили Ольгу Сократовну и при мне, много лет спустя, расспрашивали о ней мою мать в магазинах Погребова и Барышникова, где она всегда забирала много товара», – рассказывает В. А. Пыпина.

Не только Елизавета Аполлоновна «имела непреодолимое желание не стариться»: в частности, ела «только молодое мясо, то есть цыплят, телят, барашков, и даже ухитрилась раз зайти в рыбную лавку и попросить там продать ей несколько рыбок, но обязательно молоденьких, на что продавец ей ответил: “Мы рыбам, сударыня, годов не считаем”». Свои рецепты продления молодости находила и Ольга Сократовна: особенно полюбилось ей, свидетельствуют большинство мемуаристов, общение с горячим южным студенчеством и юными друзьями её мужа, так же как и он, одержимыми поиском новых форм взаимоотношений между мужчинами и женщинами.

Однако упаси боже кого-то заподозрить меня в попытке посмеяться над этим естественным стремлением милых женщин к «вечной сладостной весне Хиоса» (это эстетическое выражение я нашёл в дневнике Николая Чернышевского; читатель, конечно, давно догадался, что я рассказываю о нём и его супруге)...

Это сопоставление потребовалось для того, чтобы и историю супружества Салтыкова рассмотреть в реальных исторических координатах, а не в тени вымышленного образа писателя, сложившегося в идеологизированном литературоведении. Чернышевский был одержим идеями женской эмансипации, но и у Салтыкова были свои взгляды на брак и семью. В пору завершения своего великого семейного романа «Господа Головлёвы», по художественной силе сопоставимого с написанной чуть ранее «Анной Карениной», он высказывается с определённой, почти декларативной: «В настоящее время существуют три общественные основы... <...>: семейство, собственность и государство. Вот эти-то самые основы значатся и на моих знамёнах. Знамя первое: семейство. Приемлю и немало вопреки глаголю».

«Вопреки» – что? Салтыков особо оговаривает: «Семья, собственность, государство – тоже были в своё время идеалами, однако ж они видимо исчерпываются». Но эта самая исчерпываемость прежней формы не означает необходимость каких-либо сокрушающих действий. Далее во вновь цитируемом письме (Евгению Утину, 2 января 1881 г.) следует знаменательное: «Читая роман Чернышевского “Что делать?”, я пришёл к заключению, что ошибка его заключалась именно в том, что он



чересчур задался практическими идеалами. Кто знает, будет ли оно так! И можно ли назвать указываемые в романе формы жизни окончательными?»

В самом деле: всегда ли хороша всеохватная рационализация, всегда ли установим критерий истинного знания, а добродетель может быть отдана исключительно под контроль самосознания (фундаментальные вопросы, которые возникли, между прочим, в лоне сократической философии)?

Ответы поищем в биографии Ольги Сократовны, получившей, как известно, от супруга карт-бланш на абсолютную личную свободу. Так, она весело вспоминала историю с одним из своих возлюбленных: Иван Фёдорович «ловко вёл свои дела, никому и в голову не приходило, что он мой любовник». Но: «канашечка-то (О. С. называла Николая Гавриловича «канашечка» и «лапунишка», свидетельствует Пыпина. – С. Д.) знал: мы с Иваном Фёдоровичем в алькове, а он пишет себе у окна». Просвещённая умница, какой полагал свою жену Чернышевский, могла бы не забывать, что её близорукий – в прямом и переносном смысле слова – муж пишет не «себе», а ради достаточной семейной жизни, зарабатывает, как изначально велено, хлеб в поте лица своего.

И, с другой стороны, как упустить другие мемуарные свидетельства: светская кокетка и модница Елизавета Аполлоновна «очень тщательно переписывала многие рукописи своего сурового мужа, причём только она и разбирала его очень неразборчивый в последние годы почерк». А ведь материальное положение Салтыковых было всегда несравненно лучше, чем у Чернышевских, и скрягами они не были никогда: могли бы нанять переписчика.

Спокойное разглядывание вроде бы известных исторических картинок открывает их особую занимательность. По внешности угрюмый правдоискатель на чиновничьем поприще, Салтыков оказался заботливым отцом семейства, нежно любившим своих детей (признание дочери Елизаветы Михайловны, подтверждающее особую теплоту его писем детям), понимавшим, хотя и не всегда принимавшим женские слабости своей жены... Повторю, супружеские обещания, содержащиеся в письме старшему брату, он полностью выполнил.

Пылкий романтик Чернышевский, несмотря на все свои старания и декларации (прочитайте его «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет моё счастье»), проявил совершенную супружескую несостоятельность. По сути, он выполнил только один пункт своих посулов невесте: и в самом деле оказался в несвободе (впрочем, в России это всегда было не очень сложно: Салтыков поехал в ссылку за якобы крамольные

сочинения, Чернышевского отправили в Сибирь по недоказанному обвинению – ничего, кроме глубокого сожаления, это вызвать не может).

Но не только это! В то время как Елизавета Аполлоновна объездила со своим служивым мужем несколько российских губерний, натасканная в идеях эмансипации Ольга Сократовна примеру жён декабристов и просто многих русских жён не последовала. Хотя можно предположить: супруга Чернышевского своим женским чутьём раньше многих почувствовала, что так называемое освобождение женщин, тем более сопряжённое с революционным радикализмом, пагубно, бесплодно, разрушительно, если самой природой женщине назначена такая миссия, которую, без улыбки говорю, никаким мужчинам не осуществить. Мужчины могут лишь обеспечить женщине достойную жизнь, что стремился делать – и делал – Салтыков.

Далее нельзя не задаться вопросом: помогла ли Ольге Сократовне вручённая ей свобода, когда пришла пора после кончины мужа (Салтыков и Чернышевский ушли из жизни в одном и том же 1889 году) обустраивать дела семейные? После смерти своего эксцентричного мужа, на четверть века заживо от неё упрятого, она следующую четверть века прожила если не в нужде, то в крайней скромности. «Тяжёлые свойства характера О. С.: болезненное самолюбие и гордость, нетерпимость, чёрствость и отсутствие доброго, сердечного отношения к кому-либо обострились к концу её жизни в такой степени, что сделали её совершенно одинокою» (В. А. Пыпина). Уже в восьмидесятилетнем возрасте, пережив старшего своего сына и не ужившись в семье младшего, она оказалась в богадельне, где и скончалась в июле ура-революционного 1918 года.

И вновь другая судьба (ах этот Аполлон: как установили историки, защитник традиции, защитник отцовского права!). Хотя многие считали Елизавету Аполлоновну «пустой» и «глупой» женщиной, «практически она была очень не глупа». Факты показывают, как «рассудительно вела она свои дела и после мужа»: смогла добиться доходности имевшихся средств; с пользой для своих осиротевших, ещё юных детей распоряжалась их долями наследства. Скончалась в 1910 году.

Дело, конечно, не только в разности судеб двух супруг-красавиц, которым, волею судьбы, знаменательно выпало носить отчества лучезарного Феба и афинского мудреца, приговорённого к смерти, между прочим, за поклонение «новым божествам». Дело в тайнах жизнеустройства, которые Салтыков с его огромным практическим опытом понимал много лучше кабинетного публициста Чернышевского. Именно поэтому он, Салтыков, и не позволял своему confidentу Н. Щедрина

увлекаться всякого рода утопиями, в том числе – семейного толка. «Прикладной части» теории он предпочитал «идеал свободного исследования» – вновь цитирую его позднейшее, но представляющее программным письмо Утину.

Эта приверженность «идеалу свободного исследования» проявится в полной мере в «Господах Головлёвых», но и до того, в «Губернских очерках» этот идеал станет ключевым.

\*

«Русский вестник» выходил два раза в месяц, и вот во второй августовской книжке, 15 августа, за подписью: «Н. Щедрин», появились первые четыре рассказа из «Губернских очерков».

Выбор псевдонима не раз оживлённо обсуждался в щедриноведении и существует, по меньшей мере, четыре версии его происхождения. Но, к счастью, я пишу биографическую повесть, и эти умозрительные версии, не имеющие сколько-нибудь убедительных документальных подтверждений, могу не рассматривать. Куда интереснее другое: это литературное имя настолько срослось с биографией реального Михаила Евграфовича Салтыкова, что, не сумев, к счастью, совсем заменить его родовую фамилию, заметно её потеснило. Во всяком случае, в нашем обиходе, когда мы говорим: «Щедрин», все понимают, о ком идёт речь, – о хрестоматийном писателе, авторе «Истории одного города» и сказок. Но этот Щедрин как раз достояние обыденного сознания, культурный миф, не только не совпадающий, но и сложно соотносящийся с тем Щедриным, который был создан Салтыковым. И рассматривать прежде всего остального следует именно взаимоотношения Михаила Евграфовича с Николаем Ивановичем.

Взаимоотношения это непростые. Например, есть обширная тема «Салтыков-Щедрин и цензура», породившая немало трескучих страниц в щедриноведении, но всё же за долгое время здесь накопился обширный материал. Так вот, простое статистическое его изучение показывает: цензурные гонения произведений Салтыкова трудно сравнить с диоклетиановыми (пользуюсь салтыковским образом). Да, журнал «Отечественные записки» был закрыт (обстоятельства рассмотрим в своём месте). Но как раз сочинения Салтыкова страдали от цензорских ножниц не более, чем сочинения многих его современников. Это плохо, что страдали даже так, но ведь *признаки времени* почти непреодолимы, а на фоне того,

что творила отечественная цензура коммунистического времени, российская цензурная история XIX века выглядит попросту плюшевой.

Однако, помимо общения с цензурой, написанное Салтыковым нередко, если не сказать постоянно, подвергалось серьёзным притеснениям со стороны его самого. И речь не идёт о естественной авторской работе над текстом, об авторской правке. Это явление открылось уже при первопубликациях – журнальной и книжной – «Губернских очерков», а вскоре было отмечено мемуаристами. Так, писатель из круга некрасовско-салтыковских «Отечественных записок» Илья Салов свидетельствует: «Мне неоднократно случалось читать “Губернские очерки” в рукописи, и я отлично помню, что в печати многое из написанного Салтыковым либо совсем выбрасывалось, либо исправлялось, потому что он не стеснялся в выражениях».

Но это довольно поверхностная характеристика. Существо комического гения Салтыкова органически происходит из той стихии народной культуры, которую мы после исследований М. М. Бахтина почти терминологически называем раблезианской. Оно неотъемлемо от того, что Бахтин назвал «телесным низом», от того особого угла зрения, который держит в своём фокусе порождающую, жизнетворную стихию. Например, в сохранившемся белом автографе начальной редакции первых глав «Очерков» Салтыков аккуратно, карандашом вычеркнул немало фраз и даже фрагментов, само содержание которых не могло стать причиной цензурного недовольства. А вот с позиции осторожного редактора, может быть, самого эстета Каткова эти изъятия вполне объяснимы. Судите сами.

В «Первом рассказе подъячего» выпадает следующая история о холере: «Получаем мы это из губернского города указ, что, мол, так и так, принять бдительные меры. Думали мы долго, какие тут меры брать, и всё не придумали, а насупротив воли начальства идти не осмеливались. “Дураки, говорит, вы все; вот посмотрите, какие я меры приму”. И точно, поехал он на другой день в уезд и взял с собой – что бы вы думали? да нет, не угадаете! взял, сударь, один клистир!!! В какую волость приедет, народ собьёт и говорит:

– Вот, ребята, холера промеж вас ходит, начальство лечить велит; раздевайтесь все.

– Да помилуй, Иван Петрович, – мы как есть всем здоровы.

– Это ты, дура-борода, глупым делом так рассуждаешь, а вот видишь указ!

– Видим, батюшка.

– А вот это видите, православные?

Показывает им клистир.

– А штука эта такая, что начальством самим для вас прислана, и кто даст за лекарство двугривенный, тому будет только кончик, а кто не даст, весь всажу! Поняли?

Мнутя мужики, не надувает ли, мол, лекаришка, да нет, бумагу показывает, и не белую бумагу, а исписанную. Ну, и кончается дело, как всегда. Таким-то манером он все до одной волости изъездил; сколько он тогда денег привёз! да над нами же потом и смеётся!»

Вычеркнуты и реплики о супружестве Ивана Петровича: «Жену свою он не то чтобы любил, а лучше сказать, за сосуд почитал. “Я, говорит, братцы, женился весенним делом, а весной и щепка на щепку лезет, не то что человек!”».

В 1933 году, для Полного собрания сочинений Салтыкова (том II) Б. М. Эйхенбаум и К. И. Халабаев подготовили «Губернские очерки», восстановив в тексте все изъятия, и такое решение, несмотря на критические возражения, представляется художественно здоровым. Оно возвращает читателям, открывает им свободного от собственных стеснений Салтыкова-Щедрина. Он, не трепеща перед цензурой, при первой возможности (в переизданиях) восстанавливал изъятые, но нередко отступал, оглядываясь на существующий литературный этикет, собственноручно дистиллировал свой текст.

Может быть, лишь в исключительных случаях следует согласиться с авторскими изъятиями. Как, например, в очерке «Скука», где преображены переживания самого Салтыкова, связанные с любовью к Лизе Болтиной. В четвёртом издании «Губернских очерков» (1882) Салтыков вычеркнул следующий фрагмент:

«Ужели вы также любите?

И вы, о молодой человек, вы желаете быть остроумным и произносите лишь фразы, поражающие вас самих своей казённостью; вы желаете выразить, как глубоко вы счастливы, как много вы думали об *ней*, которая, и на будущее время, должна составлять источник всех тревог и волнений вашего сердца, – и вместо того говорите только о красоте вечера, о завтрашнем спектакле, о предстоящей вам поездке в деревню. О, как хотелось бы вам, чтобы она исчезла и провалилась сквозь землю, эта гнусная гувернантка-англичанка, как тень преследующая вашу Бетси! Вы и не подозреваете того, что если бы в целом мире были только вы да бесценная Бетси; вы и тогда не нашли бы сказать ей ничего особенно глубокомысленного и острого.

Но утешьтесь, молодой человек! Бетси уже очень хорошо умеет читать

за строками, и в вашей ничего не значащей фразе о погоде чуткое её ухо очень отчётливо слышит: “Как хорошо, о, как отрадно было бы в этот тихий вечер, под этим безоблачным небом, при этих звёздах, обнять тебя, дорогое дитя, обнять и умереть, упиваясь твоим молодым дыханием!” Вот что слышится ей в ваших будничных фразах, вот что читает она на вашем лице, недовольному выражению которого как-то странно противоречит беспредельная нежность ваших взоров».

Правда, и здесь нужно не поддаться просящемуся на бумагу очень спорному выводу о желании постаревшего и рассорившегося с Елизаветой Аполлоновной Салтыкова вычеркнуть свою любовь даже из литературного прошлого. Достаточно перечитать вышеприведённое, чтобы признать его художественную маломощность, отсутствие в нём подлинной экспрессии и страсти, которые в прозе Салтыкова привычны, повсеместны и разнообразны. Вычёркивая, Салтыков не прощался со своей странной, но до гроба любовью, а убирал просмотренное ранее свидетельство о неизжитом ещё в «Губернских очерках» литературном ученичестве.

О последних годах Салтыкова и о его тогдашних чувствах у нас будет особый рассказ, а теперь попрощаемся с этим, со всех сторон замечательным 1856 годом, годом, который начался у нашего героя торопливым возвращением из Вятки в столицы, а завершился первыми семейными радостями и первым литературным триумфом.

## **Часть четвёртая. Служить как писать (1857–1868)**

Всего через два года после возвращения из вятского «изгнания» в Петербург чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Михаил Салтыков вновь запросился на службу в российскую глубинку. За это время он успел прославиться как издатель записок «Губернские очерки» отставного надворного советника Щедрина (открыто условный псевдоним никого не смущал). Книгу читали по всей России, она стала в буквальном смысле этого слова бестселлером русской литературы той поры.

Салтыкову выпало место вице-губернатора в Рязани. Утверждая назначение, император Александр II сказал: «И прекрасно; пусть едет служить да делает сам так, как пишет». Эти слова передали Салтыкову, и он их не раз с удовольствием вспоминал, поясняя слова государя, который стал его «читателем и защитником»: «...то есть так, как желает, чтобы действительно делали хорошо».

Между тем из напутственной фразы можно извлечь и более определённый смысл. В «Губернских очерках», по проницательному замечанию современника, «сказывается нам писатель, несомненно обладающий знанием дела и пониманием быта им изображаемого». Думается, император по достоинству оценил умение автора видеть реальность без прикрас. Его увлекло в «Губернских очерках» не обличительство, не сатира, хотя она там – временами сатира уже щедринская – не просто присутствует, живёт. Куда важнее, первостепенно важнее для Александра II был другой очевидный – дорогой и для подлинного автора, Салтыкова – мотив книги. В эпилоге «Очерков» изображены похороны, не только символические сами по себе, но ещё и получающие пояснение в торжественной фразе: «“Прошлые времена” хоронят!» Вот царь-реформатор и отправлял чиновника-«похоронищика» с безупречной репутацией продолжать это необходимое нелёгкое дело, без которого не приступить к новому.

Так что последующие десять лет восходящая литературная звезда, надворный советник Н. И. Щедрин волею своего прямого начальника коллежского, а впоследствии и действительного статского советника М. Е. Салтыкова провёл, не раз переменяя писательский стол на стол

*канцелярский. А уж поездили-то...*



## «Была бы страсть в пере»

Сослуживец Салтыкова по Министерству внутренних дел, интеллектуал, сам обладавший яркими литературными способностями, Александр Артемьев записал в своём дневнике 19 января 1857 года его признание, отметив «Салтыков смотрит чахоточным»: «В Вятке я скучал о Петербурге, а теперь здесь – сплю и вижу, как выдраться отсюда куда-нибудь в Малороссию, в степи Приволжские... Меня убивает здешняя жизнь, здешний климат».

Мотив для этого удивительного человека не новый. Ещё не зная, как долго ему придётся служить в Вятке и добиваясь отзыва из неё, Салтыков в то же время писал брату: «Теперь я один, и то тяжело переносить, а каково же будет, как я женюсь? Впрочем, нельзя сказать, чтобы и служба в Петербурге обещала мне особенные удовольствия; я прошу о причислении меня к министерству (в настоящее время другого выхода и нет для меня) и Бог знает ещё когда-то выйдет для меня место, а покамест, может быть, года три буду разъезжать по матушке России; да и это бы хорошо, потому что во время командировок дают и суточные и подъёмные, а вот будет скверно, как придётся жить в Петербурге да ничего не делать». Такие размышления, как видно, были у него постоянными до навязчивости, хотя сказать, что, вернувшись в Петербург, Салтыков «ничего не делал» было бы просто пустословием.

Мы уже упоминали историю с министром юстиции графом Паниным. Стремясь предстать блюстителем идейной и нравственной чистоты «русского мира», Панин не раз притаскивал новому императору литературную, с его точки зрения, крамолу. Как оказалось, напрасно: воспитанный Жуковским, знавший и понимавший изящную словесность император поддержал на только «Губернские очерки». До того он отстоял от панинских нападок вышедший осенью 1856 года большой сборник Некрасова «Стихотворения» – по существу, его настоящий дебют в литературе, дебют-триумф. Более того, интриганство Панина привело к замечательному повороту. Каким-то образом о панинской охоте за предосудительными изданиями узнали книгопродавцы и незамедлительно пустили слух о запрете «Стихотворений». Цена и без того недешёвого тома взвинтилась до восемнадцати рублей за экземпляр, тираж книги был полностью раскуплен.

Салтыков тоже, осознавая успех, а также и скандалы вокруг

журнальной публикации «Губернских очерков», решил самостоятельно выпустить их книгой. Однако недостаток, если не сказать отсутствие, издательского опыта и неимение средств для первоначального вложения принудили его отказаться от соблазна: право на книгу было отдано Каткову, и уже 11 января 1857 года пришло цензурное разрешение на двухтомник «Губернских очерков», а в сентябре того же года появился и третий том – с новыми очерками.

Ранее, в июне «Современник» печатает рецензию (но в объёме статьи) Чернышевского о книжном издании «Губернских очерков». Очевидно, редакция, осознав, какого налива она упустила, решила воздать должное своему возможному в будущем автору и его творению. Со стороны литературно-общественной лица «Современника» сохранялось: московский журнал-конкурент «Русский вестник» и его издатель, выведшие Салтыкова с его Щедриным в мир, похвалы не дождались. Не разбирал подробно Чернышевский и книгу («Из двадцати трёх статей, составляющих “Губернские очерки”, мы коснулись только некоторых страниц из пяти очерков»). Очевидно, соотнеся написанное Салтыковым с так называемой обличительной литературой, Чернышевский, бесспорно, проницательнейший читатель, не только вылуцивающий из литературы её функциональное начало, но и чувствующий этико-эстетические силы произведений (если они были, а здесь они есть), стремится вывести «Губернские очерки» за границы зоны действия таких произведений.

Поэтому, кроме тактических пассивов, в его статье мы обнаруживаем очень важное высказывание. Отдав основной объём своего сочинения обсуждению «общественных вопросов», а не конкретному их отражению в книге (то есть разбору «художественных вопросов, ими возбуждаемых»), Чернышевский почти издевательски (правда, цензура осталась величественно невозмутимой, сочтя, очевидно, ниже своего достоинства гоняться за такими дроздами) заявляет: «Нас очень мало интересовали все эти так называемые общественные язвы, раскрываемые в “Губернских очерках”».

И далее самое важное: «Гораздо интереснее показалось нам сосредоточить всё наше внимание исключительно на чисто психологической стороне типов, представляемых Щедриным. Мы охотно признаёмся, что этот личный наш вкус, быть может, ошибочен; но что ж делать? У каждого человека есть свои любимые пристрастия. <...> У нас два таких пристрастия: во-первых, склонность к разрешению чисто психологических задач, во-вторых, склонность к извинению человеческих слабостей. Нам показалось, что, защищая людей, мы не защищали

злоупотреблений. Нам казалось, что можно сочувствовать человеку, поставленному в фальшивое положение, даже не одобряя всех его привычек, всех его поступков. Удалось ли нам провести эту мысль с достаточной точностью, пусть судят другие».

Признаем, что Чернышевский эти замечательные идеи, свидетельствующие о том, что он сразу ухватил в салтыковском произведении именно сильное психологическое начало, а не просто обыденную сатиру, в статье подробно не развил. Но хотя систематического анализа «Губернских очерков» именно с этой стороны не предусматривалось, автор всё же счёл необходимым, выпутываясь из собственных конъюнктурных построений, сказать в финале о самом важном.

Завершалась статья общим мажорным для Салтыкова тезисом, что, собственно, и выражало её цель – не каясь в допущенном промахе, протянуть Михаилу Евграфовичу из «Современника» руку дружбы: «Как бы ни были высоки те похвалы его таланту и знанию, его честности и проницательности, которыми поспешат прославлять его наши собратия по журналистике, мы вперёд говорим, что все эти похвалы не будут превышать достоинств книги, им написанной».

И вот 30 июня Некрасов сообщает Тургеневу, из-за отрицательного мнения которого «Современник» в своё время и отверг «Губернские очерки»: «Чернышевский написал отличную статью по поводу Щедрина» (смысл здесь и в том, что статья вышла без подписи, надо сообщить Тургеневу, кто её автор). Сохранилось мемуарное свидетельство: примерно тогда же Некрасов, надо полагать, как редактор, ищущий ярких авторов, «приехал с визитом к Салтыкову и выражал крайнее сожаление, что, положившись на отзыв Тургенева, не дал места “Губернским очеркам” в “Современнике” и предложил ему сотрудничество».

Однако 27 июля Некрасов уже как суровый лидер «Современника» пишет всё тому же «любезному Тургеневу, очевидно, несколько перелицовывая свою встречу с Салтыковым и её содержание: «В литературе движение самое слабое. Все новооткрытые таланты, о которых до тебя слухи, – сущий пух. <...> Гений эпохи – Щедрин – туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин. Публика в нём видит нечто повыше Гоголя! Противно раскрывать журналы – всё доносы на квартальных да на исправников, – однообразно и бездарно! В “Русск<ом> Вест<нике>”, впрочем, появилась большая повесть Печерского “Старые годы” – тоже таланта немного, но интерес сильный и смелость небывалая».

Как видим, характеристика дана противоречивая (письмо большое,

литературно интересное, но не будем увлекаться-отвлекаться) и расходящаяся с общей тональностью статьи Чернышевского. Мы – в сфере редакционной политики, издательских стратегий. Некрасов, добившись от Тургенева, А. Н. Островского, Григоровича и «графа Л. Н. Толстаго» согласия с 1857 года печататься только в «Современнике», выносит на обложку журнала сообщение об этом. Но надо идти дальше: поэтому приезд к Салтыкову (который уже «туповатый» Щедрин), поэтому прицел на Мельникова. Как следствие, в широко распространявшемся осенью 1857 года обширном анонсе **«Об издании “Современника” в 1858 году»** (не раз помещённом и в «Московских ведомостях») сообщалось: «В недавнем времени публика встретила в “Современнике” произведение г. Щедрина, и в скором времени мы напечатаем произведения г. Печерского. Таким образом, и эти два писателя, которых дарования справедливо привлекли к ним сочувствие публики, не чужды “Современника”».

Это произведение Салтыкова – рассказ «Жених» – было напечатано в десятом, октябрьском номере журнала, а Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) дебютировал в некрасовском «Современнике» только через год – с исторической стилизацией «Бабушкины рассказы». Медлительности Мельникова есть несколько объяснений. Как чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел он не раз вызывал нарекания начальства за свою литературную деятельность; кроме того, он по-человечески не любил Некрасова, полагая его «неискренним и двуличным». И хотя с 1856 года жил в Петербурге, вскоре как автор вернулся в «Русский вестник».

Журнальные нравы причудливы. Через номер после появления «Жениха» «Современник» (№ 12) по поводу выхода третьего тома «Губернских очерков» поместил новую статью, тоже без подписи (что, вероятно, свидетельствовало о полном её одобрении всей редакцией). Общая цель публикации была понятна – привадить нового автора «Современника» к журналу, ибо в прочем она – ранний образчик критической методы её автора Добролюбова. Суть оставалась неизменной – самозабвенно отвернувшись от художественных достоинств произведения (хотя Николай Александрович никак не относился к эстетическим глухарям), порассуждать про общественное нестроение, протесты, провозглашаемые над безднами русской жизни и т. д. Но всё же салтыков(щедрин)ское письмо, его органический, хотя своеобразно представляемый психологизм зацепили и Добролюбова. В статье он довольно интересно пишет о феномене «талантливых натур», а в итоге о жизненной стезе, о человеке и его судьбе – общественной, но в координатах

частной жизни.

Щедриноведением советского времени насаждалась идея, что «именно Чернышевский и Добролюбов подсказали Салтыкову тот путь, на котором выросла его *политическая сатира*» (ссылку на источник давать не стану, любознательные найдут сами). Однако непредвзятое чтение и перечитывание Салтыкова (Щедрина) и его назначенных «подсказчиков» показывает лишь то, что критикам не по чину куда-то тянуть многовидевшего писателя Салтыкова (Чернышевский младше его на два года, Добролюбову и вовсе – двадцать один). Да и можем ли мы утверждать, что этот «грубый и страшно зазнавшийся господин» прочёл данные пространные писания полностью и выудил из этих недр хотя бы две-три здравые мысли?

Наверяд ли.

«Жених», напечатанный в «Современнике», неплох – да и только. Хотя писался он после «Губернских очерков», но на волне их успеха и, очевидно, в увлечении творчеством Гоголя (что сразу же было отмечено литературными обозревателями, а затем литературоведами). Впрочем, нюансы есть: «Рогожкин был мастер играть на гитаре и охотно пел русские песни под звуки её. Голос у него был немудрый, сиповатый и жиденский, а пел он всё-таки хорошо; казалось, вся его маленькая душа поселялась исключительно в русскую песню, и от этого самого он сделался неспособным ни на что другое. Маленькие глаза его, которые я однажды уже уподобил глазам пшеничного жаворонка, изображаемым можжевёловыми ягодами, теряли свой ребяческий глянец и принимали благодушно-грустное выражение».

Это и Гоголь, и уже не Гоголь (вероятно, между Гоголем и Салтыковым прослаивается Тургенев, тоже гоголевское впитавший). Здесь кроется начало особого, именно щедринского ожесточённого лиризма, смешавшего в слезе сострадательную иронию и сарказм.

Но продолжения не последовало – постоянным автором «Современника» Михаил Евграфович тогда не стал.

Пока критики вертятся вокруг едва ли не самой читаемой книги в России, её автор берётся за драматургию, продолжив отношения с «Русским вестником». В том же октябре журнал печатает комедию «Смерть Пазухина» (подпись – Н. Щедрин). Она также вырастает из «Губернских очерков» – и тематически, и жанрово: как помним, здесь есть целый раздел: «Драматические сцены и монологи». По воспоминаниям, Салтыков на закате жизни, в свойственной ему манере словесно не щадить ни себя, ни всех прочих, обвинил в своих драматургических опытах Каткова, давно уже

причисленного им к стану, мягко говоря, недругов. «Это тогда всё Катков натвердил мне: “У вас настоящий талант для сцены”; вот я послушался его и написал чёрт знает что такое – “Смерть Пазухина”. Я её теперь никогда больше и не перепечатаваю».

Однако самохарактеристики всегда следует проверять, причём не только на похвалу, но и на хулу. Хотя в обширном творческом наследии Салтыкова (Щедрина) драматургические сочинения занимают достаточно скромное место, а их сценическая судьба, с небольшой оговоркой, началась только в XX веке, численные показатели здесь непригодны.

Многие писатели предпочитают работать в довольно узком круге жанровых форм. Нет пьес у Гончарова, Достоевского, как у Александра Островского или Чехова нет романов. Самого Салтыкова долгие годы относил от пространства психологической прозы, которая, очевидно, ему удавалась, в маргинальные полосы очерка и публицистики.

Своя довольно запутанная история сложилась у него и с драматургией. Хотя *театр* сам по себе для Салтыкова-человека был необходимостью, по меньшей мере со времени учения в московском Дворянском институте. И драматургию с отроческих лет Салтыков знал неплохо. Один из главных его литературных богов – Шекспир, «царь поэтов, у которого каждое слово проникнуто дельностью», «величайший из психологов». В 1864 году, уже разругавшись с Катковым-издателем и общественным деятелем, Салтыков всё же признаёт его талант как переводчика Шекспира: «Был настоящий Катков, переведший “Юлию и Ромео”, и есть псевдо-Катков, издающий теперь “Московские ведомости”».

Салтыков любил Малый театр, в тех же «Губернских очерках» (а также в позднейших произведениях) упоминается спектакль 1837 года «Гамлет», где главную роль исполнял прославленный Павел Мочалов. Хотя нет документальных подтверждений того, что писатель видел этот спектакль, есть лишь косвенные свидетельства, мы точно знаем, что после вятской службы, в пору «Губернских очерков», Салтыков, часто бывая в Москве, озадачивался не только литературным хлебом, но и зрелищами – бывал на спектаклях Малого театра, концертах в Манеже, наносил визиты многим и встречался со многими, среди которых были друг детства, а ныне театральный и литературный деятель, переводчик Сергей Юрьев и входивший в силу драматург Александр Островский.

Здесь уместно напомнить, что Салтыков по своей природе был артистичен, а в одежде долгие годы – франт. Мы уже приводили доказательства этого; множество свидетельств современников создают живой образ человека, внешне сумрачного, но тонко чувствующего

человеческое пространство, аудиторию, находившего общий язык с любым собеседником – от собственных сына и дочери до сослуживцев, крестьян, петербургских мещан... Салтыков умело пользовался различными психологическими масками, зачастую парадоксальными в своих чертах: недаром его называли «суровым добряком».

При этом в серьёзных, конфликтных ситуациях Салтыков не терпел лицемерия, высказывал свою точку зрения, своё мнение прямо, вплоть до прямолинейности, порой даже с грубостью в выражении.

Волей-неволей умение и даже склонность к наигрыванию ситуаций привели к очень своеобразному рисунку взаимоотношений Михаила Евграфовича с женой. Страстно в неё влюблённый со дня вятского знакомства, он с годами не погас в чувствах, но в силу многочисленных болезней при разнице в возрасте постоянно впадал в ревность. Но опятьтаки по воспоминаниям можно заметить, что Елизавета Аполлоновна была не только природной красавицей, но и житейски мудрой дамой. Прекрасно зная силу мужниных чувств по отношению к ней и, вероятно, ценя это, она поистине виртуозно подыгрывала ему в его припадках а-ля Отелло. Впрочем, мы ещё найдём справедливо достойные слова для этой соратницы литературного гения.

Так что Каткова Михаил Евграфович ругал несправедливо. Катков как раз услышал особую ноту в его творческом инструменте. Сейчас мы видим, что в литературной судьбе Салтыкова отчасти повторились своеобразные отношения с драматургией у Достоевского. Непревзойдённый и неутомимый изобразитель человеческих конфликтов, страстей, кипучих характеров и общественных нестроений, Достоевский, повторим известное, пьес не писал. Природа его писательского таланта, очевидно, не нуждалась, а возможно, и уклонялась от театральных условностей, допущений и заострений. Хотя театральность в прозе Достоевского, разумеется, есть: недаром она не уходит с прицелов театра и кинематографа.

У Салтыкова всё же есть две полноценные пьесы – «Смерть Пазухина» и «Тени», – а также содержательно и художественно интересные драматические сцены и отрывки, как отдельные, так и вошедшие в его прозу. Но рассматривая его наследие в целом, правильнее говорить о том, что в его художественной прозе, многообразно питаемой стихией комического, как характерология, так и сюжетосложение развиваются от театральных к драматургическим, собственно драматическим доминантам. В этом смысле его творчество следует разделить на два периода с ключевым произведением в центре.

В первом всё у Салтыкова что-то, кого-то играют – от нацеленно романтического Мичулина, жителей «Губернских очерков», властителей и народа в «Помпадурах и помпадуршах» и в «Истории одного города» до провинциалов и столичных в «Дневнике провинциала в Петербурге», до *господ ташкентцев*, персонажей, переселённых Салтыковым в свои очерки 1870-х годов из комедий Фонвизина, Грибоедова, Гоголя (здесь и «Мёртвые души» пригодились).

В «Господах Головлёвых», драматургия которых была вычитана Тургеневым из названных очерков (он и обратил Салтыкова окончательно к психологической прозе, притом пронизанной токами всех форм комического), возникает и новое драматургическое качество: привычное писателю общественное пространство сводится к пределам усадьбы, к семейному кругу, а действующие лица – глаза в глаза друг к другу. Здесь, среди своих, уже не сыграешь, а начнёшь играть – не поверят.

Недаром именно в этом романе, совершенно традиционном внешне (в отличие от большинства других произведений Салтыкова с их доходящими порой до экстравагантности жанровыми формами), появляется Порфирий Головлёв, о котором уже после кончины Салтыкова разносторонне знаменитый критик А. М. Скабичевский справедливо писал: «Тип Иудушки можно поставить рядом с лучшими типами европейских литератур, каковы Тартюф, Дон-Кихот, Гамлет, Лир и т. п.» (отметим: трое из названных пришли из драматургии).

Наконец, в прозе, созданной Салтыковым после закрытия «Отечественных записок», он окончательно переходит к изображению именно внутреннего мира своих героев, их жизненного поиска. Мир, действительность (Салтыков не уворачивался от этого слова) по-прежнему воздействуют на его героев, и жёстко воздействуют, но характеры теперь не просто приспособляются к внешнему, но самоопределяются под этим воздействием (в этом смысле особый многозначительный интерес представляют те сказки Салтыкова, которых он населил различными представителями земной фауны).

Венчает творчество Салтыкова эпическая, без иронии *житийная* «Пошехонская старина», созданная им своеобразная *человеческая и божественная комедия одновременно*, в которой автор проходит вместе со своими героями все круги жизни, чтобы в конце, на Масленице, обрести блин, олицетворяющий своим кругом и солярный, и погребальный мифы.

Позволю себе умышленную тавтологию: корни драмы щедринской драматургии – в её сценической судьбе. Точнее, в её многолетнем отсутствии. Салтыков, побуждаемый Катковым, взялся за пьесу с



увлечением. Успех «Губернских очерков» вызвал у него ощущение творческого всемогущества: он, по одному из свидетельств того же октября 1857 года, говорил, что «без труда может написать за ночь рассказ или сцену, была бы страсть в пере, да хорошая бумага, да бутылка красного бордо». В течение июня – сентября он вдохновенно написал пьесу «Смерть» («Царство смерти»), пристраивая её к «Губернским очеркам», а затем переработав в самостоятельную комедию «Смерть Пазухина». При этом явно позволил себе самоцензуру, предупреждая конфликты с цензурой журнальной. Однако, очевидно, проблем не возникло, и чуть позже часть самоизъятого рачительный Михаил Евграфович, возможно, ругая себя за излишнюю осторожность, встроил в «драматический очерк» «Утро у Хрептюгина», напечатанный в 1858 году (не в «Современнике» – в журнале «Библиотека для чтения»).

Салтыков хотел, чтобы его «Смерть Пазухина» перешла с журнальных страниц на сцену, но драматическая цензура была начеку. Цензор Иван Андреевич Нордстрем, вооружившись красным карандашом, страницы пьесы оным разрисовал, подчёркивая не только социально и религиозно предосудительные, с его точки зрения, реплики, вложенные в уста персонажей, но и все церковнославянские обороты, ссылки на Священное Писание и другие религиозные книги, упоминания о староверах. Завершал всё вывод: «Лица, представленные в этой пьесе, доказывают совершенное нравственное разрушение общества».

Это произошло 2 ноября всё того же 1857 года, а уже в XX веке щедриноведы добрались до записи 21 октября Александра Артемьева (его дневник мы уже цитировали в самом начале): «Комедия Щедрина: “Смерть Пазухина” – хороша и замечательна в том отношении, что в первый раз выводит на сцену генералов и статских советников настоящими ворами, забирающимися в чужой сундук». Два взгляда – бдящего цензора-перестраховщика и умного, рассудительного чиновника, Но цензура торжествует, тем более что как раз 21 октября Нордстрем изваял запретительный отзыв на ещё не опубликованное в печати «Утро у Хрептюгина».

Салтыкова со справедливой горечью называют драматургом без постановок, его неоднократные попытки увидеть свои драматургические сочинения, притом опубликованные, на подмостках оказались тщетными. Лишь упомянутое «Утро у Хрептюгина» после долгих цензурных согласований добралось до Александринского театра в 1867 году и до Малого театра в 1868-м, хотя здесь его пытался поставить Пров Садовский ещё в 1862 году. При этом петербургская постановка оказалась

маловыразительной, а сам автор к тому времени уже не писал для театра. Исследователи предполагают, что Салтыков перестал верить в возможность пробиться сквозь новые «временные правила» по цензуре (1862), наглухо закрывавшие дорогу на русскую сцену политической сатире.

Однако с доводом о цензурных притеснениях сатиры как причине салтыковского охлаждения к драматургии нельзя безоговорочно согласиться. Весь творческий путь Салтыкова свидетельствует о том, что он никогда не связывал свои литературные замыслы и предпочтения с общественными обстоятельствами, тем более прогностически их не рассчитывал. Как истинный художник слова, он вначале создавал произведение, а потом искал площадку для его обнародования. И здесь он не осторожничал, даже шёл на очевидный риск.

Так у него повелось с молодости, когда он опубликовал свою первую литературную удачу – повесть «Запутанное дело», не испросив, как следовало, разрешение начальства. Последствия нам известны. Освобождённый только через семь лет от службы в Вятке, ожидая нового, теперь удачного для него и юной жены назначения, он тем не менее, не рассчитывая последствий, печатает свои острые «Губернские очерки», прикрывшись лишь ничуть не спасающей оговоркой, что это описываются «прошлые времена». Да и позднее, навсегда Салтыков остался верен этому своему принципу – жалуясь постоянно на цензуру, постоянно же её и связанный с нею государственный аппарат, по сути, дразнить.

Если разобраться, отхода от драматургии у Салтыкова не произошло. Да, сам он писать пьесы прекратил. Но при этом, став в 1868 году вместе с Некрасовым во главе журнала «Отечественные записки», сразу не только сделал А. Н. Островского ведущим, ключевым автором-драматургом этого издания, но и сдружился с ним и с его братом. Никакой ревности к собственной неудаче – только радость, что заполучил самого именитого современного драматурга.

В некоторой мере драматургические устремления Салтыкова были удовлетворены тем, что начиная с 1857 года и в Петербурге, и в Москве, и в губерниях ставили сцены и монологи, инсценировки рассказов из его «Губернских очерков». Тогда в петербургском Александринском театре появилась сценическая композиция на основе книги под названием «Провинциальные оригиналы», и её, вероятно, следует считать первым значительным выходом прозы Щедрина к зрителю.

Очевидный смысл имеют и три статьи, написанные Салтыковым в 1863–1864 годах для общей журнальной рубрики «Современника» «Петербургские театры». Правда, они, хотя и важны для понимания его

художественного мира, были опубликованы анонимно. И причины этой анонимности не могут быть связаны, повторим, только со следованием журнальным традициям. Нужно учесть, что Салтыков вплоть до середины 1860-х годов не оставлял творческих поисков на собственно драматургическом поприще. Вне сомнений, автор, сюда устремившийся, по ряду понятных причин не может быть чересчур агрессивным по отношению к уже действующим здесь, как бы ни был он справедлив и праведен в своей их критике. Анонимность – может быть, и не слишком приглядный, но всё же допустимый компромисс в этих обстоятельствах, если учесть и прозрачность российского литературно-театрального мира того времени, и общую узнаваемость щедринаского (в данном случае – так) стиля.

Была ещё и четвёртая статья – всесторонне интересная, замысловатая по жанровой форме фельетонная пародия о поставленном в петербургском Большом театре балете «Наяда и рыбак». Её изъела из номера цензура, а затем она претерпела ряд изменений уже под пером автора. Встроенное в текст либретто «современно-отечественно-фантастического балета» «Мнимые враги, ври и не опасайся!» представляет собой ярчайший образчик салтыковской сатиры, где с виртуозной художественностью изображены явления современной российской политической, социально-бытовой, литературно-журнальной и, разумеется, театральной жизни.

Полностью текст открылся читателям только в 1966 году, и он, помимо многого прочего, ярко подтверждает принципиальный для Салтыкова (не Щедрина!) принцип жанровой свободы, отказ от выступлений с соблюдением жанровых и стилевых традиций, форматов изданий и рубрик.

Оставив драматургические опыты и полностью погрузившись в журнальную и литературную деятельность, Салтыков именно в театре обрёл приют отдохновения, что подтверждается его перепиской. При этом, оставаясь до исхода дней взыскательным зрителем, он, воздерживаясь многие годы от публичных выступлений на театральные темы, отводил душу, высказываясь о репертуаре и многом прочем на подмостках, в жёлко-остроумных беседах с близкими друзьями, в переписке с ними.

А в ту пору его ещё продолжало занимать служебное будущее. По своему опыту и чину Салтыков мог претендовать на достаточно высокую должность в губернии, причём он не рвался на первую же вакансию, а терпеливо ждал. Уже известный нашим читателям Иван Павлов, душевный друг Салтыкова с институтско-лицейских времён, в 1857 году служил в палате государственных имуществ Орловской губернии, где у него было поместье. Его переписка на всякий случай перлюстрировалась

чиновниками Третьего отделения, и благодаря жандармской бдительности сохранились очень интересные подробности *реальной* жизни Михаила Евграфовича.

Так, из письма Павлова Салтыкову от 13 августа следует, что он критически смотрит на состояние дел в губернии, куда на службу желал бы попасть Салтыков: «Губернатор же наш – это тип, какого в твоих очерках не встречается. Это петербургский понатершийся холуй, который, в сущности, гораздо бессовестнее Порфирия Петровича (главный персонаж одноимённого рассказа в «Губернских очерках», одно из первых сатирических достижений щедринской сатиры. – С. Д.), но за веком следует: грабит не через правителя канцелярии, а через тёмного и грязного столоначальника губернского правления Игнатьева, который хотя в так называемый свет и не показывается, но имеет дома, рысаков, любовниц».

Далее следуют метафорическое сравнение «петербургских холуёв, рассылаемых на различные кормления по губерниям» с засаленной карточной колодой, и вывод, что если и следует ехать задушевному другу в Орёл, то лишь для того, чтобы возвести губернских правителей в «“перл создания”». А затем – рассуждение, которое привлекло внимание Салтыкова:

«Я в последние четыре года много читал древних актов и пришёл к следующему убеждению: сказание о призвании варягов есть не факт, а миф, который гораздо важнее всяких фактов. Это, так сказать, прообразование всей русской истории. “Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет”, вот мы и призывали варягов княжить и владеть нами. Варяги – это губернаторы, председатели палат, секретари, становые, полицеймейстеры – одним словом, всё воры, администраторы, которыми держится какой ни на есть порядок в великой и обильной земле нашей. Это вся ваша 14-классная бюрократия, этот 14-главый змий поедучий, чудо поганое наших народных сказок. Змия этого выпустил Пётр Великий на народность русскую за то, что она не укладывалась в рамки европейского государства. Только при помощи змия он одолел и сломал её. Всё, что носит печать змия, обстоятельствами поставлено во вражду с народностью и само по себе с нею враждует. Стоит администраторам официально признать какое-нибудь народное учреждение, так оно тотчас же опохабится в глазах народа. Главная опора змия – это крепостное право, в котором закон освящает эксплуатацию человека человеком, произвол, насилие и грабёж. Всякий варяжский администратор действует, следовательно, в духе закона. Оттого бессильны все нападки на взяточничество и капнистова “Ябеда”, и гоголев “Ревизор”, и твои очерки – увы! Пока по закону

существует крепостное право, до тех пор в сплошной твердыне взятки даже и бреши нельзя сделать».

Цитата большая, но сократить не получилось. В ней всё содержательно, к тому же идеи Павлова Салтыкова взбаламутили – и это для нас важно. 23 августа он пишет в ответ: «Уж как бы хорошо было в Орёл вице-губернатором, но вряд ли это может случиться». Далее идёт в довольно грубых сатирических выражениях характеристика тогдашних орловских губернатора, вице-губернатора и столоначальника Орловского губернского правления.

Из дальнейшего следует, что Салтыков, нацеливаясь на службу в губернии, полностью разделяет суждение Павлова о существующем «змие поедучем, чуде поганом», понимает, что окажется в опасности стать частью описанной системы и видит возможность противостояния лишь в литературном воплощении всего здесь происходящего. Эта ясная логика если не оправдывала, то объясняла очевидную двойственность салтыковского мироощущения, внешне довольно нелепую.

## Перо вице-губернатора

В год, когда в русской литературе обустроивалось место вечного надворного советника Щедрина, надворный советник Салтыков получил чин советника коллежского, то есть при военном расчислении полковника. Это произошло 10 октября 1857 года.

К тому времени Салтыков имел и другие отличия. 27 октября 1856 года его избрали действительным членом Императорского Русского географического общества. Основанное в 1845 году, оно быстро стало крупной научно-исследовательской организацией, совершенно необходимой для нашей страны, в которой, по глубокому суждению Гоголя, история имеет свойство превращаться в географию. Один из основателей общества, вице-адмирал Фёдор Литке так определил самый смысл его существования: «Наше отечество... <...> представляет само по себе особую часть света <...> и... <...> главным предметом Русского географического общества должно быть воздвигание географии России». Салтыкова избирали по отделению статистики России и представили как исполнителя различных официальных поручений министра внутренних дел по предмету статистики, имеющего «много данных для хозяйственно-статистических описаний некоторых приволжских губерний» (очевидно, имелся в виду его опыт проведения в Вятке в 1850 и 1854 годах сельскохозяйственных выставок).

Но, как видно, академические исследования не подходили для сложноустроенного разума Михаила Евграфовича. Получив назначение в Рязань, он вернул в общество нерассмотренной посланную ему статью «Очерки промышленности в Устье Великом, в прежнем и нынешнем состоянии». Что ему теперь далёкий Великий Устюг, когда досталась служба в месте, географически от нашей древней столицы близком, но административно, можно сказать, скандальном?

С 1851 года Рязанской губернией управлял действительный статский советник, камергер Пётр Петрович Новосильцев (Новосильцов). Это была довольно заметная личность того времени, прославившаяся отнюдь не своими свершениями на благо Отечества. Его дед происходил из мценских мещан, попался на краже со взломом, но ему повезло. После наказания кнутом вместо сибирской ссылки он был отправлен на военную службу. И солдатом оказался лихим – дослужился до офицерства и личного дворянства. Сын его, Пётр Иванович, достижения отца не распылил, а

приумножил. Начав при императрице Елизавете службу мелким чиновником, при Екатерине II обрёл потомственное дворянство и был внесён в дворянскую родословную книгу Орловской губернии. Не только злые, но и знающие языки говорили, что своей карьерой этот Новосильцев был обязан выгодной женитьбе на генеральской дочке Екатерине Торсуковой. Все начальники ценили его за честность и предусмотрительность. «Он заботится много о своих собственных интересах, однако он заботится равным образом и об армии», – сказала императрица Екатерина о Новосильцеве как генерал-провиантмейстере, отвечавшем за обеспечение войск продовольствием.

Главная выгода женитьбы была в обретённых родственных связях. Тёткой жены, хотя и по свойству, оказалась всем известная Мария Саввишна Перекусихина, служанка-наперсница Екатерины II, именовавшей её *мой друг*. Под покровительством Перекусихиной Пётр Иванович Новосильцев с деликатным упорством двигался по коридорам власти. И дети его в этих коридорах не растерялись. Интересный нам Пётр Петрович Новосильцев, кавалергард в молодости, стал адъютантом прославленного московского военного губернатора, светлейшего князя Дмитрия Голицына, затем, до назначения гражданским губернатором в Рязань, московским вице-губернатором. Вероятно, собственно военная стезя его не увлекала, ибо ротмистром лейб-гвардии Кавалергардского полка много лет он числился без прохождения службы. Имел довольно экстравагантную внешность (в свете находили, что лицом он схож с орангутангом, а из-за выдающегося вперёд подбородка удостоили прозвища *casse-noisettes*, то есть «щелкунчик»). Однако ни обличье, ни известная болезненность не мешали многочисленным успешным романам Новосильцева с именитыми красавицами. Общительность Петра Петровича простиралась и на литературные салоны, где он слыл завсегдатаем, сумев познакомиться с Карамзиным, Жуковским, Пушкиным – как однажды заметил Гоголь, Новосильцев «был знаком всем нашим литераторам». Но этот внешне деликатный, беззлобный, отчасти добродушный человек не имел сколько-нибудь твёрдых убеждений и, по признанию многих, оставался вполне легкомысленным.

Оказавшись в Рязани, Новосильцев, заботясь о карьере, не прозябал в кабинете, а занялся уездными ревизиями. Но одно дело – нежные амуры с прекрасными дамами, наполненные остротами и лирическими откровениями встречи с писателями, а совсем другое – бесконечные конфликты крепостных с их немилосердными хозяевами. Здесь было всё: обложение непосильным оброком во время неурожая и обременение

крестьян господскими работами – продолжающееся насаждение барщины, которой занято до шести дней в неделю, в то время, как для своей работы крестьянам оставляются только ненастные дни; изъятие у крестьян земли; отдача в рекруты в счёт будущих наборов; принуждение дворовых девушек к сожительству с барином, другие бесчинства над дворовыми людьми и, как следствие, покушения на жизнь помещиков, поджоги имений. А ещё мздоимство чиновников, поборы, казнокрадство...

Меры оздоровления, предлагавшиеся Новосильцевым, ничего не оздоравливали, только обостряли. Нередко он приезжал на место происшествия в сопровождении военной команды Рязанского внутреннего гарнизонного батальона, но какое согласие может быть под воздействием грубой силы? Повсюду звучало одно и то же требование: «приобрести освобождение от крепостного состояния». Но рязанская власть его не слышала.

Пожар разгорелся в большом селе Мурмине в Зарайском уезде Рязанской губернии. Его получила в наследство от отца известная поэтесса и переводчица, держательница одного из московских литературных салонов Каролина Карловна Павлова (в девичестве Яниш). Отношения её с мужем, прозаиком Николаем Павловым, оказавшимся картёжником, пьяницей и волокитой, разладились ещё в начале 1850-х годов, и она отвлекалась от жизненных страстей в заграничном путешествии. Так что Мурмино и находящаяся в нём большая фабрика армейского сукна попали под надзор беспутного супруга. А он оказался хозяином суровым, что не очень-то вязалось с фактами его замысловатой жизни.

Происхождение Павлов имел вполне демократическое: его мать, уроженка Южного Кавказа, подростком вывезли в Москву из Персидского похода 1796 года, а отцом был то ли дворовый генерала Владимира Грушецкого Филипп Павлов, то ли сам Грушецкий. Окончив Московский университет, Николай Филиппович одно время служил заседателем Московского надворного суда и, в частности, расследовал злоупотребления на бумажной фабрике, где обнаружил не только незаконное использование труда крепостных, но и участие в этом грязном предпринимательстве ряда «значительных лиц». Такая въедливость не способствовала карьерному росту Павлова, но он уже имел репутацию искусного переводчика, а вскоре завоевал известность как автор незаурядной прозы. Среди тех, кто в 1830–1840-е годы был одержим, как тогда говорили, «умственными занятиями», Павлов относился, наряду с Герценом и Чаадаевым, к «главным, самым исключительным защитникам западной цивилизации» (характеристика А. И. Кошелёва).



Однако, получив в свои руки фабрику, превратился в нещадного эксплуататора: понуждал крестьян возить дрова для паровой машины в воскресенье и в дни церковных праздников, распродал зерно из общественного амбара, не обращая никакого внимания на жалобы... В конце концов работавшие на фабрике попросту забастовали. Здесь вновь возникает интересная подробность: к бунтовщикам приехал собственной персоной губернатор Новосильцев. Трудно удержаться от предположения, что Пётр Петрович, водивший, как мы помним, дружбу с литераторами, наверняка бывавший в салоне госпожи Павловой, решил и теперь не отказать себе в удовольствии пообщаться с именитым писателем, пусть в экстравагантных обстоятельствах. Правда, прибыл он в сопровождении двухсот пятидесяти солдат всё того же рязанского гарнизонного батальона и воза розог.

Встреча получилась на славу, ибо Павлов губернатора не подвёл. Когда на площади в центре села, перед церковью, любитель изящной словесности, отшвырнув поднесённые ему на вышитом полотенце хлеб-соль, поставил крестьян под прицел солдат, затем на колени и велел высечь их розгами, он потребовал, чтобы и старикам и подросткам обоих полов в этом назидании не делали исключения. Вероятно, особую ярость у прибывших вызвало то, что большая часть крестьян, почуяв недоброе, успела скрыться в лесу.

Эта дикая история дошла до Петербурга, однако губернатор как ни в чём не бывало философически писал министру внутренних дел: «Я нисколько не сомневаюсь, что цель их жалобы заключается не в указании притеснений и обременении их работами, как пишут они в своей просьбе, но в отыскании свободы из помещичьего владения».

Новосильцев словно забыл, что в 1856 году в Рязанской губернии уже была министерская ревизия, открывшая множество злоупотреблений со стороны администрации. Итоги её были грозными: отчётность в производстве дел запущена, вице-губернатор четыре года не производил ревизии, тогда как по правилам они должны производиться дважды ежегодно, чиновники особых поручений передают порученные им следствия один другому, и никто не поверяет их, хотя дела очень серьёзные: жестокое обращение помещиков со своими крестьянами, подделка кредитных билетов, раскольничьи дела. Кумовство в полной силе, жалование многим служащим выдаётся несвоевременно...

После событий в Мурмане губерния не успокоилась. Жалобы крестьян на помещиков продолжались, участились случаи неповиновения. В декабре 1857 года крестьяне деревни Островки ворвались в дом помещика

Жилинского, потребовав уменьшения оброка, прекращения бесчинств в отношении крестьянских жён... Опасаясь за свою жизнь, помещик с требованиями крестьян согласился и затем бежал из имения. Помещица Иващенко из сельца Щурово Касимовского уезда написала на крестьян, не платящих повинности, жалобу в присутствии предводителей и депутатов дворянства. Однако при рассмотрении дела выяснилось, что и помещица, и управляющий имением жестоко обращаются с крестьянами, что привело к удалению управляющего.

Наконец удалён был и рязанский губернатор Новосильцев. Его отставили от должности «за несочувствие крестьянской реформе». Исполняющим обязанности губернатора был назначен действительный статский советник, камергер Михаил Карлович Клингенберг. В 1839 году он окончил с серебряной медалью Императорский Царскосельский лицей, делал карьеру по Министерству внутренних дел, и это с психологической точки зрения заведомо было на руку Салтыкову («Поздравь меня, – пишет он старшему брату Дмитрию Евграфовичу. – Я назначен совершенно неожиданно вице-губернатором в Рязань. <...> Я совершенно доволен. Губерния хорошая, близко от Москвы, и губернатор только что назначенный из лицейских»). К тому же Клингенберг был сыном выдающегося военного педагога, генерала от инфантерии, а женился на незаурядной даме из рода Пущиных, дочери знаменитого начальника Дворянского полка, впоследствии начальницы петербургского Елизаветинского училища.

6 марта 1858 года издаётся высочайший приказ: «Чиновник особых поручений VI класса Министерства внутренних дел, коллежский советник Салтыков назначается рязанским вице-губернатором на место статского советника Веселовского, согласно прошению уволенного от службы с производством в действительные статские советники».

Здесь, в начале рассказа об административных странствиях Салтыкова по разным губерниям необходимо сказать несколько слов. Все биографии Салтыкова советского времени (а других, пожалуй, и нет) довольно однообразно описывают его взаимоотношения с начальством. А именно: прогрессивный писатель-гражданин, наделённый мощным и необычным художественным даром, единоборствует со своими начальниками – крепостниками, ретроgrадами, мздоимцами, а то и замешанными в тяжких уголовных преступлениях. И, в изнеможении неравного сражения, отступает к письменному столу...

Пора наконец закрыть эту дурную традицию. Мы уже обращались к переписке Салтыкова с Иваном Павловым, известной нам именно

благодаря жандармской перлюстрации. А это значит, салтыковские взгляды на систему государственного управления в России властям были прекрасно известны. Вот ещё важные пункты, из другого письма Павлову (15 сентября 1857 года): «Ты хочешь истребить взятки, узаконив их. Это уже существует в наших остзейских губерниях и известно под именем акциденции, и подобного мучительства, какое испытывают там тяжущиеся и всякого рода просители, – нигде в мире никто не испытывает».

Здесь Салтыков обращает внимание на абсурдную систему жизненного обеспечения младших служащих российских административных и судебных учреждений, узаконенную Петром I и существовавшую повсеместно до времён Екатерины II. Им не полагалось жалованья, взамен они получали право на акциденции – якобы добровольные приношения челобитчиков. Понятно, что отмена акциденций ничего не изменила, и далее Салтыков пишет: «Каждый шаг стоит денег, и приказная мелкая тварь делает все усилия, чтобы тянуть дело и втравлять в него как можно более народа». За этим следует предложение: «Есть одна штука (она же и единственная), которая может истребить взяточничество и поселить правду в судах и вместе с тем возвысить народную нравственность. Это – возвышение земского начала за счёт бюрократического. Я даже подал проект, каким образом устроить полицию на этом основании...»

Салтыков вспоминает свой проект, разработанный им незадолго до этого по поручению министра внутренних дел Ланского, – «Об устройстве градских и земских полиций». Сейчас мы знаем, что «записка» с его подробным изложением долго изучалась в министерстве. Для её обсуждения, как вспоминает А. И. Артемьев, был «созван особый совет с приглашением в заседание и находящихся... <...> в Петербурге губернаторов». Однако, по мнению Артемьева, Салтыков впал в «крайность, рассматривая всё с точки индивидуальной неприкосновенности, с точки той, что полиция не смеет нарушать семейного спокойствия, входить в дом и проч. Кроме того, все полицейские должны быть выборные». Артемьев, может и справедливо, критикует Салтыкова за утопизм, но это очень необычный, гуманный утопизм без тоталитаризма – родовой черты утопизма классического.

К сожалению, большинство материалов по этому салтыковскому проекту канули в небытие; разыскать его подлинник впоследствии не удалось. Но из того, что нам известно, можно сделать вывод о здоровой склонности писателя к продуманным реформам, о его неприятии любого радикализма в общественном переустройстве.

Недаром в том же письме Салтыков называет Петра «величайшим самодуром своего времени»: «Настоящее положение дела» – «половина России в крепостном состоянии» – «есть не что иное, как логическое развитие мысли Петра». Пётр, по убеждению Салтыкова, «нас обрёл на вечное рабство или вечную революцию». Не выступая против «заморских обычаев», Салтыков полагает, что они должны были слиться «с нами естественным порядком, и тогда бы не было того странного раздвоения, которое теперь в России».

Уже одного этого письма было бы достаточно, чтобы, если принять логику развития событий, на которой настаивали советские щедринеды, очень надолго отправить Салтыкова уже не в Вятку, а куда восточнее (или северо-восточнее). А вместо этого он менее чем через месяц получает чин статского полковника, а через полгода – вице-губернаторскую должность...

Вот какие биографические схождения открываются, когда мы, по проверенному завету, смотрим на факты *без гнева и пристрастия*, без модернизации и идеологической конъюнктурщины, не затискивая человеческие взаимоотношения на фоне исторического времени в клетку рассчитанной не на небесах биографии. Литературе от этого только прибудет, а её создателю прибудет вдвое, а то и втрое.

Зададимся простым вопросом: почему Салтыков, оказавшись одним из лидеров литературы нового времени, не продолжил в столице творческие занятия, а предпочёл добиваться места, причём вне столиц?

Если отказаться от дутого пафоса (а взрывной человек Салтыков с пафосом не заигрывался), то можно увидеть здесь точный расчёт. От природы человек ответственный и свободный от каких-либо иллюзий, знающий, что его мать не склонна поощрять его от времени до времени возникающее желание зажить помещиком, Салтыков, ставший семейным человеком, стремился найти долговременный источник достойного дохода. То, что литература если и кормит, то кормит весьма прихотливо, он уже убедился, когда попытался самостоятельно издать «Губернские очерки» отдельной книгой. Не получилось. Да, гонорары Катков ему платил высокие, но надо писать новое – и каким оно будет, это новое?

Выше мы показали, что написанное Салтыковым в конце 1856-го и в течение 1857 года оказывалось так или иначе связанным с «Губернскими очерками». Качество грозило перейти в количество. Да, многие издания ждали от него новых произведений, но, как видно, ждущих становилось больше, чем произведений. С театром он тоже, полагаю, поступил мудро: пусть инсценировки «Губернских очерков» идут без его участия, может быть, таким образом они проложат путь на сцену его пьесам, которые тоже

ещё надо написать. Как видно, Салтыков решил несколько отстраниться от триумфа «Губернских очерков» и вновь нырнуть в живую жизнь, тем более обещавшую много светлых перемен.

Редактор журнала «Русская старина» Михаил Иванович Семевский, почитавший Салтыкова как «гениального сатирика» и не обращавший внимания на то, что Михаил Евграфович порой довольно язвительно высказывался о его исторических штудиях, в феврале 1882 года сделал важную запись беседы с писателем, достоверность которой подтверждается косвенными свидетельствами. В ней прояснены некоторые подробности служебной деятельности Салтыкова, завершающиеся его красноречивым признанием: «Я – писатель по призванию. <...> Куда бы и как бы меня ни бросала судьба, я всегда бы сделался писателем, это было положительно моё призвание».

Салтыков поначалу добивался службы именно в Петербурге, но вскоре нескончаемая рутина бумаготворчества начала его тяготить. Причём, как видно, место себе он искал в губерниях, близких к Москве – чтобы не отдаляться ни от материнских владений, ни от Владимира, где был вице-губернатором его тесть (хотя оказаться с ним в одном городе зять никогда не хотел).

Назначение в Рязань устраивало и его, и, очевидно, министерство. На место Новосильцева, которого многолетний опыт губернского правления повёл вразнос, и престарелого интригана Сергея Семёновича Веселовского назначались новички в этом деле. Очевидно, министр Ланской, которому император, намеревавшийся «исцелить Россию от хронических её болезней», всецело доверял, решился на незаурядный административный эксперимент: вверить бразды правления в одной из центральных губерний чиновникам, свободным от рутины карьерного опыта и вместе с тем честных, не склонных к злоупотреблениям. Особенно благоволил Ланской Салтыкову, напомним, вызволенному им из Вятки. Несмотря на то, что по-прежнему для чиновников сохранялось ограничение на литературную деятельность, Ланской на прямой вопрос Салтыкова об этом прямо и ответил: «Это до вас вовсе не касается».

Разумеется, перевод прогремевшего на всю Россию автора в вице-губернаторы переполошил Рязань и всю губернию. Если прибытие Клингенберга в город прошло тихо, то явление через неделю Щедрина в обличье молодого Салтыкова, щегольски одетого, при монокле (не станешь же объяснять каждому, что это не от франтовства, а по близорукости), да ещё с красавицей-женой, вызвало повсеместные толки, свидетельства которых обнаруживались и многие годы спустя. Дочь автора «Аленького

цветочка» (сказка, к слову, вышла в том же 1858 году) Вера Сергеевна Аксакова писала двоюродной сестре, что едущий в Рязань Салтыков «распугает, верно, всю губернию своим появлением». Салтыков был в гостях у семьи Аксаковых 5 апреля, переезжая через Москву из Петербурга в Рязань.

В Первопрестольной он нанёс несколько визитов, но этот был особо значимым. Его объяснение надо связать с салтыковским письмом 23 августа 1857 года. «Я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления, – признаётся он Ивану Павлову. – В нём одном есть нечто похожее на твёрдую почву, в нём одном есть залог здорового развития: а реформато Петра, ты видишь, какие результаты принесла. Господи, что за пакость случилась над Россией? Никогда-то не жила она своею жизнью: то татарскою, то немецкою. Надо в удельный период залезать, чтобы найти какие-либо признаки самостоятельности. А ведь куда это далеко: да и не отскоблишь слоёв иноземной грязи, насевшей, как грибы, на русского человека».

Известно, что советские щедриноведы целенаправленно разводили Салтыкова и славянофилов, изо всех сил стараясь показать, что эти их соприкосновения были едва ли не ошибкой, вскоре, впрочем, Салтыковым исправленной. В действительности всё было куда интереснее и, можно сказать, мягче, без грубых рубежей противостояния, сформированных идеологическим экстремизмом XX века, который насаждался большевиками. Славянофильство надо видеть таким, каким оно было, а не тем, которое нам обрисовали после 1917 года. По итогам своего развития оно не то чтобы не стало – не могло стать значимым политическим течением (не говоря о движении, направлении). Само его наименование – странное, разноязыкое, с иноземным, пусть и греческим, корнем – свидетельствует о его герметичности, пространственно-временной ограниченности. Но у славянофильства была особая сила, и эту силу сразу, при встрече с семьёй Аксаковых, почувствовал Салтыков.

Она заключалась в «разъяснении внутренней жизни русского народа». В ключевых произведениях Сергея Аксакова – повестях «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» – автор въедается в метафизику семьи, притом именно русской. Знаменательно, что Салтыков связывал замысел и исполнение своего раздела «Богомольцы, странники и проезжие» в «Губернских очерках» с «решительным влиянием» аксаковских «прекрасных произведений», прежде всего «Семейной хроники». Ибо именно в ней мы отмечаем как главную ту мысль, которую выделяет и в своих сочинениях Салтыков. «Мысль эта – степень и образ

проявления религиозного чувства в различных слоях нашего общества».

Историки литературы не испытывают никаких иллюзий по отношению к писательскому слову. Писатель – мы говорим только о настоящих писателях, особенно в частной переписке, – бывает и прагматичным, и лицемерным, и даже лживым. Но это враньё и чувствуется, и вычисляется. Достаточно перечитать «Семейную хронику» и «Богомольцев», чтобы увидеть: Салтыкову просто незачем рассыпаться перед Аксаковым в мармеладных комплиментах. Он пишет «Губернские очерки» в те месяцы, когда Аксаков издаёт первое и второе издание своей книги (известно, что содержание её отнюдь не благостное, и готовилась она не без внутреннего сопротивления. «Мне надобно преодолеть сильную оппозицию моей семьи и родных, – писал Аксаков Михаилу Погодину, – большая часть которых не желает, чтоб я печатал самые лучшие пиесы»).

Салтыкову как общественной личности понятно теоретическое славянофильство, он легко выуживает из славянофильских построений важное для его собственных историософских образов. Но всё же своё писательское сердце он отдаёт не сыновьям Аксаковым, а, несмотря на наглядные источники «оппозиции», их отцу с его, так сказать, практическим славянофильством, воплощённым в «Семейной хронике». Причём, как легко видеть, упомянутое «решительное влияние» имеет характер не тематический, не бытописательный. Он связан со стремлением уяснить и запечатлеть, хотя бы силуэтно, психологический портрет русского человека, совокупность его чувствований и переживаний.

Урок Аксакова был нерастрчиваемой силы: он помогал в выстраивании логики поведения Салтыкова-администратора в пору его службы, а через десятилетия мощно отозвался в изображении головлёвской семьи как универсальной семейной модели.

Но вернёмся в Москву. По пути в Рязань Михаил Евграфович и Елизавета Аполлоновна провели в ней несколько дней. Кроме встреч с Аксаковым, Катковым (по литературным делам), Львом Толстым (об этом мы ещё вспомним), Салтыков беседовал с Александром Ивановичем Кошелёвым, излюбленным человеком, но уже умудрённым годами – ему было за пятьдесят. Кошелёв принадлежал к старинному дворянскому роду (с французской матерью, что было тоже очень по-русски), хотя числился в смутьянах, карбонариях, якобинцах – щедра наша речь на политические ярлыки. В действительности этот «беспокойный человек» во время европейских вояжей не усмотрел там форм, пригодных для российского переустройства, и по хорошему, но очень редко применяемому правилу – *начал с себя*. Обратившись к родовой памяти – корни его были на

Рязанщине, – Кошелёв стал заниматься там сельским хозяйством, скупал имения и к началу сороковых годов стал в крае одним из самых преуспевающих помещиков, был избран предводителем дворянства Сапожковского уезда.

В 1847 году Кошелёв опубликовал в «Земледельческой газете» статью «Добрая воля спорее неволи». И хотя её пощипала цензура, смысл выступления остался незыблемым, ибо зиждился на императорском указе 12 июня 1844 года, дававшем право помещикам отпускать дворовых крестьян на волю без земли, заключая с ними добровольные обязательства. По убеждению Кошелёва, это стало бы первым шагом к полному освобождению крестьян, причём с землёй, находящейся в их владении (правда, на основе выкупа). «Одна привычка, одна восточная (не хочу сказать сильнее) лень удерживает нас в освобождении себя от крепостных людей, – выразительно писал Кошелёв. – Почти все мы убеждены в превосходстве труда свободного перед барщинскою работою, вольной услуги перед принуждённою, – а остаёмся при худшем, зная лучшее».

Кошелёв занимался винным откупом, но быстро пришёл к выводу о его непреодолимой вредности. Этот откуп был введён Екатериной II и в самой своей основе – торговля по установленным ценам алкоголем, приобретённым Казённой палатой у казённых и частных заводов, – был порочен. Откупщики, связанные обязательствами, включая откупную сумму, могли повысить свою выгоду, только снижая качество напитков или незаконно занимаясь бесконтрольным винокурением (оно существовало всегда, в советское время таких производителей напитков всенародного потребления называли самогонщиками).

Предлагая заменить откуп акцизными сборами (налогом на товар, который заведомо закладывается в его цену) и в конце концов ставши одним из главных энтузиастов этой реформы 1860-х годов, Кошелёв стремился также обратить всеобщее внимание на социально-психологические корни русского пьянства. В названной статье он писал: «Часто слышим мы жалобы на пьянство русского народа. Да как, почтенные читатели, не быть им пьяницами! Какое главное действие пьянства? Что в пьянстве всего привлекательнее? По мере как вино разыгрывается, человек чувствует, что всё около него преобразовывается, предметы смешиваются, воспоминания покидают, и он входит в иной какой-то мир. Он забывает горе, становится смелее, живёт какою-то другою жизнью, – пьяному море по колено, говорит пословица. – Можно ли ставить в вину нашим людям, что им хочется хоть изредка отведать иной жизни?» И завершал неожиданным, но очень глубокомысленным



парадоксом: «Пьянство есть необходимое утешение в их положении, и горе нам, когда они в настоящем своём быту перестанут пьянствовать».

Словом, Салтыков в лице прекрасно видевшего, чувствующего реальность Кошелёва обрёл необходимого для своей грядущей службы собеседника, с которым многократно встречался и в Рязани. Здесь же заметим, что Кошелёв оставил мемуарные «Мои записки» (впервые изданные его вдовой в Берлине из-за опасения цензурных изъятий). В них мы находим довольно подробный очерк умонастроений как раз тех месяцев, когда Салтыков вернулся на губернскую службу.

«Зима 1857–1858 года была в Москве до крайности оживлена. Такого исполненного жизни, надежд и опасений времени никогда прежде не бывало. Толкам, спорам, совещаниям, обедам с речами и проч. не было конца. Едва ли выпущенный из тюрьмы после долгого в ней содержания чувствовал себя счастливее нас, от души желавших уничтожения крепостной зависимости людей в отечестве нашем и наконец получивших возможность во всеуслышание говорить и писать о страстно любимом предмете и действовать как будто свободно. Другие и, к сожалению, весьма многие волновались от страха и успокаивали и утешали себя только тем, что это дело не может осуществиться, что поговорят, поговорят о нём и тем оно и покончится; а потому они не скупились на словоизвержения и пуще всего угощали своих собеседников возгласами и застрачиваниями. В обществе, даже в салонах и клубах только и был разговор об одном предмете – о начале для России эры благих преобразований, по мнению одних, и всяких злополучий, по мнению других; и московские вечера, обыкновенно скучные и бессодержательные, превратились в беседы, словно нарочно созданные для обсуждения вопроса об освобождении крепостных людей. Одним словом, добрая старушка Москва превратилась чуть-чуть не в настоящий парламент».

К сожалению, в записках Кошелёва нет упоминаний о его общении с Салтыковым (которое, очевидно, было важнее для последнего, что понятно и по его письмам из Рязани), однако рязанская тема всё же присутствует. Мы ещё воспользуемся кошелёвскими свидетельствами, а пока обратим внимание на то, без чего невозможно любое жизнеописание, – на источники. Кроме разного рода официальных документов, собственноручных записок и других текстов героя повествования, первостепенное значение имеет его переписка (в случае Салтыкова, увы, сохранившаяся достаточно прихотливо, далеко не удовлетворительно), упоминания о нём в письмах знавших его современников, воспоминания этих современников. Хотя воспоминания всегда субъективны и нуждаются

в проверке и перепроверке. И всегда их тональность зависит от личности мемуариста, от целей, которые он себе обозначил. Любая подробность, отмеченная прозорливым писателем воспоминаний, может передать не только колорит времени, но и увлечь читателя на собственные размышления.

13 апреля 1858 года Салтыков с женой приехали в Рязань из Москвы, по свидетельству одного из мемуаристов, «в простом тарантасе». И через два года они покидали Рязань на подобном транспорте, но трудно представить, что при возвращении в 1867 году Салтыковы не воспользовались поездом – за эти годы между Москвой и Рязанью была проложена железная дорога, причём с необычным для России левосторонним движением. И это оттого, что подрядчики наняли в строители англичан, а у них на всё своё мнение, в том числе и на обустройство направлений.

Поселились Салтыковы на Большой Астраханской улице, в каменном особняке – одноэтажном, но с антресолями. Построили его ещё в конце XVIII века, и хотя при нём были сад, просторный двор и необходимые службы, жилище новому хозяину пришлось не по нраву. «Мы нанимаем довольно большой, но весьма неудобный дом, за который платим в год 600 р., кроме отопления, которое здесь не дешевле петербургского, а печей множество, – это Михаил Евграфович в письме 20 июня 1858 года жалуется брату Дмитрию. Зимой в доме он ещё не жил, но расходы уже прикинул. Далее не менее жалостливо. – Комнат очень много, а удобств никаких, так что, будь у нас дети, некуда бы поместить. Расчёты мои на дешевизну жизни мало оправдались. Хотя большинство провизии и дешевле петербургского, но зато её вдвое больше выходит». Аппетит, получается, разыгрался в глубинке после столицы. Эта постоянная амбивалентная самоирония в письмах Салтыкова восхитительна!

Это письмо (знаменательно сохранившееся, хотя от рязанских лет их наперечёт) никак не вписывается в привычные силуэты личности Салтыкова, слоняющиеся в разного рода сочинениях о нём. Но зато оно очень точно передаёт реальное психологическое состояние писателя, оказавшегося на административной службе.

Когда Салтыков угодил в Вятку, у него не было ни выбора, ни литературной славы, поэтому он стоически переносил то, что называл изгнанием. Теперь у него были и свобода, и литературное признание, и опыт, и юная красавица-жена, чёрт побери! А счастья всё не было. Потому что свобода закончилась, когда он согласился на Рязань («Я живу здесь не как свободный человек, а в полном смысле слова, как каторжник, работая

ежедневно, не исключая и праздничных дней, не менее 12 часов. Подобного запущения и запустения я никогда не предполагал, хотя был приготовлен ко многому нехорошему... <...> в месячной ведомости показывается до 2 тыс. бумаг неисполненных»).

Литература осталась в столицах («...средства мои между тем убавились, потому что я не могу писать, за множеством служебных занятий...»). С женой проблистать негде («Жизнь мы ведём здесь самую скучную и почти нигде не бываем, как потому, что теперь лето и никто почти в городе не живёт, так и потому, что дело решительно душит меня»). И общий вывод: «Мне и самому теперь начинает делаться и скучно и досадно на себя, что поехал в эту каторгу. Если это так продолжится, то я выйду в отставку».

Теперь посмотрим, как было в Рязани 1858 года на самом деле, когда туда приехал Салтыков. Здесь мы можем полагаться на уже читанные нами записки Александра Ивановича Кошелёва, изобразившего в них то же самое рязанское лето, в начале которого губернатор Клингенберг, как губернаторы и других российских губерний, где находились помещичьи крестьяне, получил высочайший рескрипт, побуждавший помещиков к подготовке местных проектов крестьянской реформы. Необходимо было учредить в губерниях «комитеты об улучшении быта помещичьих крестьян», и дворяне стали приглашаться на уездные собрания для выбора их членов.

Кошелёв стремился участвовать в деятельности этого комитета, но понимал, что дворяне Сапожковского уезда, где находилось его центральное имение, ни за что его туда не изберут: он, свободный интеллектual, был в их глазах «одним из главных виновников предстоявшего бедствия для российского дворянства» и заслуживал «по крайней мере колесования». Однако, оказавшись в Рязани, Кошелёв встретился с Клингенбергом, и тот предложил ему быть членом комитета от правительства. «Я спросил его, не обязаны ли члены от правительства поддерживать все мнения и требования министерства внутренних дел, и сказал ему, что, душою преданный делу освобождения крепостных людей, я не могу принять на себя защиту того, что счёл бы для этого дела вредным. По получении от него успокоительного ответа я изъявил согласие на принятие на себя обязанностей члена от правительства и вскоре был утверждён в этом звании министром внутренних дел».

Однако дальше дело пошло туго. В конце августа состоялось первое заседание. «Председателем комитета был губернский предводитель дворянства А. В. Селиванов, человек неглупый, добрый, но малоразвитой и

отменно неловкий, и особенно вследствие своего странного положения, не позволявшего ему быть вполне ни на стороне правительства, желавшего уничтожения крепостной зависимости, ни на стороне дворянства, надеявшегося отделаться одними словами и удержать в сущности свою власть на крестьян и дворовых людей. <...> Большинство членов комитета состояло из крепостников, а меньшинство – из робких либералов».

Кошелёв довольно подробно рассказывает об интригах и кознях, которые устраивали рязанские крепостники в комитете. Своей кульминацией они имели попытку вовсе вытеснить его из состава комитета. Потребовалось вмешательство не только губернатора Клингенберга, но и министра Ланского, чтобы его оставить. Когда после окончания дел Рязанский комитет был закрыт, Кошелёв получил предложение продолжить дальнейшую работу над проектами в Редакционных комиссиях по крестьянскому делу, но был туда не допущен по настоянию известного нам министра юстиции графа Панина, заявившего, что «главу славянофилов неприлично и невозможно приглашать в правительственную комиссию».

Теперь у нас есть более или менее зримое представление о пространстве, в котором пребывал Салтыков. Те его эпистолярные жалобы, с которыми мы тоже познакомились, умело разводились им со служебными обязанностями. Поэтому у разных мемуаристов Салтыков-чиновник несёт одни и те же единообразные черты.

О двух рязанских периодах жизни и творчества Салтыкова нам могут поведать более трёх десятков его писем и три статьи. Все три увидели свет в конце XIX века, но содержательно они разнородны. Первая – «Воспоминания о М. Е. Салтыкове» – написана Сергеем Николаевичем Егоровым, в описываемое время молодым человеком, делопроизводителем губернского правления. Воспоминания Егорова бесхитростны, однако этим и ценны. Проблема в том, что мемуаристы волей-неволей модернизируют свои воспоминания, вместо реконструкции примет времени, бытовых деталей выдвигают общегражданские тезисы, необходимые, по их мнению, для укрепления возвышенного положения их героя в истории страны (это не российское, а всемирное свойство мемуаров).

Вот и Егоров пишет о нём: «Строгий в службе, он был в высшей степени правдив и человечен. Требуя от других работы... <...> он сам изумлял всех своим трудолюбием». Это при том, что круг ведомства вице-губернатора и губернского правления был обширен: в него входили административные, судебные, хозяйственные, благотворительные и прочие учреждения. По словам Егорова, Салтыков успешно боролся за

искоренение взяточничества, протекционизма. И в качестве примера приводит себя: «Я был на хорошем счету, постоянно исправлял классные должности, но при назначениях меня обходили. Салтыков, кроме моей службы, ничего обо мне не знавший, вскоре же зачислил в классную должность, а через год дал высшую».

Егоров сожалеет, что в рязанские годы Салтыков «мало писал для печати». Это и так и не так. В 1859–1860 годах им действительно опубликовано меньше десятка сочинений, причём кое-что было написано раньше. Но надо учесть, что в Рязани у Салтыкова как вице-губернатора были обязанности официального редактора «Рязанских губернских ведомостей» (по подписям в номерах, с 19 апреля 1858 года по 5 марта 1860 года). И давно существует, хотя до сих пор подробно не исследован вопрос о принадлежности Салтыкову некоторых публикаций и его редактуре материалов других авторов в газете этого периода. Без сомнений, ждать здесь бесспорных открытий невозможно, но если учесть последующее соответствующее редакторство Салтыковым «Тверских губернских ведомостей», а позднее «Отечественных записок», то проблема примет чёткие историко-литературные и культурологические черты. Сама практика салтыковской редактур, его мощный стиль не могли не оказывать влияния на всё то, к нему он прикасался.

Это относится и к служебному делопроизводству. По свидетельству Егорова, Салтыков постоянно вынужден был править и даже полностью переписывать многие безграмотно составленные дела, но затем они просто перебелялись писцами, «так как считалось неудобным оставлять при делах своеручное письмо вице-губернатора»; оригиналы должны были уничтожаться, но то ли по нашему отечественному вечному разгильдяйству, то ли из благоговения перед строками, вышедшими из-под пера знаменитости, часть служебных бумаг, написанных рукой Салтыкова, сохранилась в Рязанском архиве.

Надо отметить, что до Егорова известный социал-радикал, с претензиями на литературное творчество, Григорий Мачтет, оказавшись в ссылке в Зарайске, собрал в 1889–1890 годах немало материалов о рязанских годах Салтыкова и написал на их основе беллетризованный очерк. Он со временем, за скудостью документов, приобрёл значение почти первоисточника, хотя читавшие его современники указывали на различные огрехи и недостоверные данные в нём. Так, вдова Салтыкова иронически отозвалась о живописном изображении в очерке рязанского городского сада, который в годы правления Салтыкова якобы «превратился в клуб, куда сходились люди для толков и споров. “На террасе, за столом... <...>

каждый вечер можно было видеть Михаила Евграфовича, окружённого лучшими, интеллигентными людьми Рязани того времени... <...> передовыми впоследствии деятелями земской реформы»».

По утверждению Елизаветы Аполлоновны, Салтыков отнюдь не был завсегдатаем городского сада. Они действительно были дружны с богатыми помещиками Офросимовыми (в отличие от Кошелёва, который в вышеназванном губернском комитете находился с Офросимовым в жёстком противостоянии), и в саду их пригородного имения «может быть удалось кому-нибудь слушать, что скажет Михаил Евграфович. Но он там больше играл в карты».

То, что Салтыков был заядлым картёжником – истинная правда, засвидетельствованная многими современниками. Как говорится, мы любим его не за это. И то сказать, в отличие от Николая Алексеевича Некрасова, имевшего в литературных кругах титул «головореза карточного стола» и в карточной игре избывавшего свои финансовые затруднения, Михаил Евграфович за картами отдыхал от своих многообразных трудов (и, между прочим, хотя игрок он был азартный, карта в руки ему шла редко).

В замечании Елизаветы Аполлоновны важна не последняя насмешливая фраза, а общий возражающий тон. Кто бы что ни писал и ни говорил, своего супруга она чувствовала идеально и тот благостный тон при изображении Салтыкова, который главенствовал в мачтетовской переработке чужих воспоминаний, был для неё нестерпим.

Из того же сочинения Мачтета вышли и пошли гулять по научно-и ненаучно-популярным сочинениям фраза, якобы произнесённая Салтыковым: «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа... Очень, слишком даже будет!» и салтыковское прозвище «вице-Робеспьер». Понятно, что крепостником в общеизвестном отрицательном значении этого слова Михаил Евграфович не был. Но он был помещиком, владевшим крепостными крестьянами, и осознание этого факта приносило ему известные и справедливые неудобства. Так что если он в каких-то неведомых нам обстоятельствах и произнёс подобную фразу, афористическая красота её если не пустопорожняя, то во всяком случае не подходит для иллюстрации взаимоотношений Салтыкова с собственными мужиками. Мы ещё найдём место, чтобы их беспристрастно рассмотреть.

А вице-Робеспьером назвать Михаила Евграфовича мог только человек недалёкий, пустослов, не понимающий ни того, кто был Робеспьер (а это был садистический головорез, провокатор Великой французской катастрофы), ни того, что Салтыков никогда не стоял на стороне какого-

либо социал-радикализма, и даже употребления в его прозе имени Робеспьера неизменно пренебрежительны. Например, в очерке «Наши глуповские дела» (1861) он язвительно пишет о новоглуповце, который «докажет целому миру, что и в Глупове могут зарождаться своего рода Робеспьеры». Так что к такому своему прозвищу, даже если оно имело какое-то хождение в Рязани, Салтыков относился, скорее всего, с презрительным недоумением.

Наряду с фальшью в революционизации Салтыкова, Мачтет фальшивит и в изображении его характера и его отношений с сослуживцами, нередко грубыми и не подобающими благородному человеку.

В «Истории одного города», а значит, и в городе Глупове есть такое колоритное место – Солдатская слобода. Была она и в Рязани во времена салтыковского там пребывания. У Салтыкова в его шедевре это место, смысл которого определён авторским сюжетом. А в Рязани на этой далёкой «немощенной окраине, по колено в грязи», селились мелкие служащие губернского правления. Салтыков, приводивший в порядок запущенные канцелярские дела, потребовал от служащих вечерних выходов на работу, при этом не оплачиваемых. Такой поворот не просто возмутил тех, кого это касалось, распоряжение вице-губернатора оказалось почти невыполнимым. «Через невылазные грязи бедному чиновничьему классу приходилось ходить под дождём в самом карикатурном виде. Со снятыми ради экономии сапогами, подвешенными на плечи, с подсученными по колено брюками, бедняк чиновник принуждён был переправляться через лужи, чтобы не портить обуви и платья, и только тогда решался надеть сапоги, когда, обмыв ноги в последней луже, выбирался, наконец, в мощёную часть города».

Рязанцы решили действовать по-щедрински: один из чиновников отправил в газету «Московские ведомости» статью, которая, не касаясь прямо Салтыкова и лишь намекая на его монокль, осуждала сами формы и методы борьбы со взяточничеством и за повышение нравственности. Автор справедливо полагал, что понуждением и строгостью, доходящей до произвола, повернуть что-либо к оздоровлению невозможно. «Думали ли вы когда-нибудь о влиянии нужды и бедности на нравственность и служебный характер презираемых вами людей?» – восклицал он.

Статья «Ещё несколько слов о чиновниках» была лихо написана и её напечатали. Когда номер «Московских ведомостей» добрался до Рязани (надо заметить, что при Салтыкове в городе была открыта первая публичная библиотека, занимался он и усовершенствованием губернской

типографии, а также продвигал постройку каменного здания для городского театра) и вице-губернатор его прочитал, он, как вспоминали, не только стал более продуманно давать распоряжения, но и отправился в Солдатскую слободу посмотреть, в каких условиях живут подчинённые. Как полагает Мачтет, впрочем, изложивший эту историю с неточностями, не остался в накладе и автор статьи, получив, по ходатайству Салтыкова, неплохую должность.

Самая содержательная работа о рязанской службе Салтыкова принадлежит историку театра, барону Николаю Васильевичу Дризену (1868–1935). После обучения в Санкт-Петербургском университете он в 1897 году оказался в Рязани, где недолго служил при губернаторе, а затем, выйдя в отставку, внёс немало труда в развитие губернской культурной жизни. После катаклизма 1917 года оказался в изгнании, и это роковым образом сказалось на его статье «Михаил Евграфович Салтыков в Рязани». Хотя она и появилась в 1900 году, в советское время её добросовестно собранные и представленные материалы могли быть использованы лишь без упоминания имени Дризена, что приводило к вынужденному нарушению литературоведческой этики.

Дризен правомерно поставил вопрос о личности Салтыкова как чиновника и особенностях его служебной деятельности. Как о писателе судят по его произведениям, вероятно, так рассуждал Дризен, так и о чиновнике надо судить по результатам того, что он сделал. Как мы уже знаем, Клингенберга и Салтыкова направили в Рязанскую губернию наводить порядок по результатам министерской ревизии или, по выражению Дризена, «расхлебывать кашу, заваренную другими». Чтобы устранить замечания, Салтыкову пришлось заново перечитать множество документов, вникнуть в десятки дел, зачастую безграмотно оформленных. А Дризен столь же внимательно изучил пометы вице-губернатора, приводя примеры наиболее выразительные, свидетельствующие о точности салтыковского слова. Например, на деле с невнятно изложенными обстоятельствами вице-губернатор начертал: «Был ли в виду какой-нибудь закон или это теперешнее толкование столоначальника?» А на неопределённое решение отзывался классическим: «Кто виноват?»...

Как установил Дризен, в министерстве благосклонно отнеслись к первым трудам Салтыкова, однако недовольным оставался он сам, отсюда и жалобы брату, и сравнение службы с каторгой. Но это у Салтыкова, наверное, самолечение такое. Жалуясь близким, он одновременно проводит реформу губернского правления, упорядочив распределение дел по столам (по-нынешнему – отделам). Так установился порядок, который, по мнению



Салтыкова, дал органическую связь делам между собой. Губернатор реформу одобрил, а министр утвердил её. Дризен также показывает, что покончив с «внешним обликом губернского делопроизводства», Салтыков обратился к внутреннему. Предметом его неусыпного внимания стало городское хозяйство (не только Рязани, но всех городов губернии).

«Память у него огромная, ни одна мелочь не ускользает от его внимания, особенно если дело касается желанного всеми казённого пирога, – отмечает Дризен, находя в архиве всё новые свидетельства салтыковских служебных усилий. – Творческая мысль его постоянно в движении, рядом с простым замечанием мелькнёт иногда остроумный проект, иногда целая система новая городского хозяйства, как, например, в росписи города Раненбурга».

Тот же автор отметил в вице-губернаторстве Салтыкова очень важную особенность: при подготовке постановлений по делам «знаменитый сатирик не обнаруживает никакой оригинальности и строго придерживается формальной стороны дела». Дризен показывает это, подробно рассматривая почти абсурдную, полную гротескных подробностей историю с жалобой рязского купца Калашникова на командира Сибирского гренадерского полка полковника Зеланда, поселившегося в доме его матери «на основании действующих правил воинского постоя». Излагая обстоятельства дела и ход тяжбы, в которую были втянуты не только губернатор Клингенберг, но и министр Ланской, Дризен словно указывает читателю своей статьи: ситуация-то совершенно щедринская, задел для ещё одной яркой главы «Губернских очерков»... Но нет, литература когда-нибудь потом, а сейчас надо устранить несправедливость. Впрочем, с другой стороны, можно прочесть собственноручно написанные Салтыковым выводы по расследованию дела Калашникова как применение им в служебных обстоятельствах приёма невозмутимости, который был характерен для Салтыкова-рассказчика. О самых невероятных, странных, диких с точки зрения заповедей случаях и событиях он повествовал отстранённо, без какого-либо проявления чувств – и это впечатляло.

Если мы сопоставим все имеющиеся у нас источники по рязанскому вице-губернаторству Салтыкова, то увидим: его очевидное служебное рвение сочетается со стремлением «выйти из омуты чернильных дрызгов» и при этом, как один из вариантов, даже вернуться в Министерство внутренних дел. «А здесь я решительно бедствую, потому что окружён людьми безграмотными и бессмысленными и должен один работать за всех и исправить то, что нагадила столетняя кляуза, – это написано 1 октября

1858 года, в разгар его многообразных трудов. – Хотя у меня достаточно энергии и довольно верный деловой взгляд, но при окружающем меня всеобщем служебном неряшестве я положительно упадаю духом. С каждым днём всё более и более убеждаюсь, что бюрократия бессильна...»

В январском письме 1859 года Салтыков упоминает о слухе, что его переводят в Тверь, добавляя: «Это было бы отлично, но кажется, всё это не более чем сплетня». Возможно, что не совсем сплетня, а хитроумный кульбит самого Салтыкова, если обратить внимание на дальнейший ход событий. Возможно, он сам пускает слух о своём переводе в Тверь, ибо очень желает этого.

Тверь вновь возникает в письмах Салтыкова в ноябре 1859 года – с появлением нового губернатора. Император произвёл административную рокировку: Клингенберг поехал управлять Вятской губернией, а из Вятки на Рязанскую губернию был брошен действительный статский советник Николай Михайлович Муравьев. Губернатором в Вятке он пробыл недолго. Между прочим, получив туда назначение в ноябре 1857 года (и впервые – губернаторскую должность), Муравьев прочитал «Губернские очерки» и познакомился с их автором. Он подробно расспрашивал Салтыкова о жизни и жителях Вятской земли и это казалось залогом их доброжелательных отношений и в Рязани.

Но суждено ли было им возникнуть реально?

Причины названной рокировки доподлинно установить сложно. Высказывалась версия, что Клингенберг не справлялся с обязанностями губернатора, что на него слишком влиял Салтыков, забирая в свои руки бразды губернского правления. Однако нельзя сказать, что Вятская губерния по своим особенностям проще, чем Рязанская. Да, в Вятской губернии не было такого бурления помещичьих сил, но Клингенберг, при поддержке Салтыкова, с этим справлялся. Есть и предположение, что Клингенбергу уже в Рязани светила скорая отставка, но и это не соответствует фактам его реальной биографии. Примечательно, что он первоначально был назначен исполняющим обязанности рязанского губернатора и был утверждён в должности лишь через десять месяцев. Возможно, секрет перемещений в том, что Клингенберг владел в Рязанской губернии помещьем, и это приносило ему как губернатору очевидные сложности в период реформ.

В какой-то степени здесь могла присутствовать интрига в министерских коридорах. Николая Муравьева, страдающего от болезней, но продолжающего стремиться вверх по карьерной лестнице, надо было перевести поближе к Москве по заслугам отца – выдающегося

государственного деятеля, министра государственных имуществ и так далее Михаила Муравьёва. И тут подвернулся вариант взаимоперемещения. Иной расклад выглядит странным: не проще ли было убрать от Клингенберга Салтыкова, если он действительно начал превышать свои полномочия?

Сохранившиеся документы особой экспансии Салтыкова не показывают. Служа под началом Клингенберга, он, казалось бы, не имел оснований для конфликтов с ним. Пунктуальный и честный Клингенберг не переваливал на вице-губернатора свои обязанности, в частности, не отправлял его на места разбираться в причинах крестьянских волнений (что было нередким событием). Они занимали согласную позицию – прогрессистскую – по отношению к конфликтам, возникавшим в губернской комиссии по подготовке Крестьянской реформы. В 1859 году Клингенберг с воодушевлением представил Салтыкова к чину статского советника, и только формальное требование пребывания в предшествующем чине не менее трёх лет (едва ли Клингенберг не знал об этом, но всё же дал делу ход) отсрочило результат (статским советником Салтыков стал 21 апреля 1860 года).

А вот Салтыков не просто попрощался с Клингенбергом в Рязани. Литературоведы склоняются к мнению, что позднее Михаил Евграфович послал Михаилу Карловичу своеобразный привет, придав коекакие клингенберговские факты биографии и черты характера образу старого помпадур из рассказа «Прощаюсь, ангел мой, с тобою!» в цикле «Помпадуры и помпадурши». Может быть – искусительна стезя писательская, а уж если у писателя характер особого склада...

Надо, надо помнить об особенностях салтыковского характера, их знали и отмечали все, полагая непреодолимой данностью. Например, хотя Салтыков, в отличие от Вятки, не состоял в Рязани под полицейским надзором, соответствующее ведомство приглядывало и за ним, одарив, само того не предполагая, и нас ценными свидетельствами. Так, в жандармском донесении 18 июня 1858 года отмечалось, что вице-губернатор Салтыков в исполнении обязанностей «точен, деятелен, распорядителен, добросовестен и благонамерен... <...> но Салтыков нелюбим в губернии за неприятные манеры и грубое его обращение».

В тезаурус щедриноведения должен быть включён штаб-офицер Корпуса жандармов по Рязанской губернии, подполковник Пётр Иванович Ивашенцов (1815–1871). Выходец из древнего дворянского рода, судя по всему, человек чести, любящий Россию не просто как государство, а как вековую свою родину, он по роду службы обязан был посылать в Петербург

донесения о состоянии дел во вверенной ему губернии. И Пётр Иванович своего дворянского герба не посрамил. По своим служебным обязанностям он не мог быть ни лириком, ни сатириком, но читая его донесения, нельзя не прийти к мысли, что он обладал незаурядными литературными способностями. Его точные характеристики происходящего в губернии были вначале причиной проверки и смены предыдущей администрации, а затем поддержкой преобразований Клингенберга и Салтыкова, без сокрытия усмотренных им узких мест, не исключая и своеобразного характера Салтыкова (одно из его донесений мы уже процитировали, давал он Михаилу Евграфовичу характеристики и пожёстче).

Зато уже первые деяния Муравьёва привели изначально к нему расположенного Ивашенцова в негодование. Вот что сообщал этот честный служака о первом полугодии правления Муравьёва: «Губернатор рязанский, как бы чуждый государственным и общественным пользам, продолжает по-прежнему злоупотреблять своей властью и по-прежнему направляет свою деятельность преимущественно к удовлетворению своих страстей. Это паша, утопающий в сладострастии и безнаказанном произволе. Кичась честью быть сыном министра, он управляет губерниею на полном крепостном праве». Салтыков не отставал – уже через месяц после вступления Муравьёва в должность он сравнивает его с ордынским ханом Тохтамышем, разорившим, в числе прочих, и Рязанскую землю. Салтыкову и при кротком Клингенберге хватало прелестей рязанской жизни, а вступать в единоборство с Муравьёвым он не помышлял, так как за этим не было никакой реальной цели.

Цель была в иной сфере – Тверь! Находится между двух столиц, можно сказать, родные края. В Твери свои страсти вокруг Крестьянской реформы, но где их нет? Интересно! Михаил Евграфович совершенно уверился в необходимости покинуть Рязань. Когда Муравьёв, в связи со своим отъездом в служебно-святочную командировку в Петербург (с 24 декабря 1859 года по 23 января 1860 года) спросил, есть ли у него какие-то ходатайства к министру, вице-губернатор, становящийся на это время исправляющим обязанности губернатора, попросил передать Ланскому, что для него «величайшей наградой» будет уход из-под начала Муравьёва.

Но прошло ещё несколько месяцев и несколько кругов разнообразных интриг, прежде чем Салтыкова всё же перевели вице-губернатором в Тверь. Забавно, что Муравьёв, уже зная и о новом назначении своего конфликтного подчинённого, и о том, что в Твери также возможна смена губернатора, стал, пользуясь своими разветвлёнными петербургскими связями, выяснять возможности и его перевода в Тверь – губернатором:

«Совместно служить с Салтыковым как в Рязани, так и в Твери для меня всё равно».

## Поселиться в Твери

На склоне лет, в 1880-е, Салтыков, обсуждая дела житейские, обмолвился, что сам бы «охотно поселился в Твери, именно потому, что там порядочных и сочувственных людей встретить можно». Сомневаться в искренности этих слов не приходится. Салтыков любил Тверскую землю. В автобиографиях обычно указывал, что он тверской уроженец. Добился вице-губернаторского места именно в Твери. И впоследствии, несмотря на свой сатирический дар, писал об этом крае с теплотой. Даже авантюрное кашинское виноделие изображено в «Современной идиллии» с неизъяснимо нежным юмором.

Надо сказать, что тверяки ответили Михаилу Евграфовичу взаимностью. Из его доныне немногочисленных музеев самый большой и богатый экспонатами находится в Твери. Здесь всегда было много энтузиастов изучения наследия Михаила Евграфовича. Ещё в 1939 году в областном издательстве выпустили книгу «М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии». Её автор, архивист и краевед Николай Венедиктович Журавлёв (1901–1957) много лет собирал сведения о тверском периоде жизни Салтыкова. После многолетнего вынужденного перерыва, вызванного войной и последующей воинской службой, он вернулся к захватившей его теме и подготовил новое исследование – «М. Е. Салтыков-Щедрин в Твери. 1860–1862».

Занимались изучением жизни и творчества Салтыкова в местном педагогическом институте, позднее реорганизованном в университет. Здесь начало тверскому филологическому щедриноведению в 1930-е годы положил известный фольклорист, профессор Ю. М. Соколов, а в 1970—1980-е годы новую энергию придал работе профессор Г. Н. Ищук. В 1990-е годы под руководством профессора Р. Д. Кузнецовой была создана Щедринская лаборатория, изучающая язык произведений мастера. В этот период и вплоть до недавнего времени регулярно проводились научные конференции, собиравшие щедринистов не только разных мест России, но и зарубежья. А главное – многочисленные публикации, включая научный альманах «Щедринский сборник», появившиеся попечением двух филологов-энтузиастов, профессоров Евгении Строгановой и Михаила Строганова, создали весомый задел для дальнейшего развития щедринистики в информационно-интеллектуальных обстоятельствах XXI века.

Пишу об этом подробно потому, что добросовестное и скрупулёзное изучение всего оставленного Салтыковым требует особой ответственности от его биографов, в круге которых оказался и автор этих строк. Взявшись за изображение жизни писателя на фоне эпохи, я с благодарным чувством, как уже говорил в самом начале книги, изучал собранное и описанное многими филологами, историками, краеведами и простыми, но чуткими поклонниками щедринской сатиры – от современников Салтыкова до моих современников. Но должен заметить, что сотни уже накопленных страниц о тверских страницах жизни Салтыкова эту работу не упрощают. Известно: чем больше знаешь, тем протяжённее граница с полем неведомого.

Так и здесь: непродолжительное – чуть более полутора лет – тверское вице-губернаторство Салтыкова представляется сегодня особым временем его жизни, в котором он сумел не только обдуманно посмотреть на уже прожитые десятилетия, но и установить то направление, в котором путём судьбы есть основания двигаться. В Рязани он получил разнообразный и поучительный опыт управления – и губернского, и общероссийского – в сложной системе существующего и пытающегося самореформироваться государственного механизма. В Рязани он ещё осматривался, хотя быстро понял, что до похорон «старых времён» ещё далеко. А затем ему открылось – после появления губернатора Муравьёва – с трагизмом непреложной безысходности, что он поторопился с самим понятием «старые времена» и с тем конкретным историческим смыслом, который он в него вкладывал. Отсчётом времени распоряжались люди, занимавшие то или иное пространство и владевшие им.

Да, Салтыков вроде бы выбирал Тверь по географическим свойствам, которые мы уже назвали. Но подспудно он искал тот город, в котором не проглядывали неизбежные черты Глупова – таково уж было у Михаила Евграфовича мировосприятие, *ничего другого не напишешь*. Ища, куда бы ему с Елизаветой Аполлоновной перебраться из быстро опостылевшей Рязани, Салтыков в первую очередь искал людей, которые бы не подсовывали ему жизнь в обстоятельствах «старых времён». И вдруг счастливо выпала вакансия в родной изначально и попросту удобной Твери (кроме проходившей близ города чугунки между Москвой и Питером, ещё было пароходное сообщение по Волге – как раз для поездок в Ермолино, куда переселилась матушка).

Не вызывал неприятия у Салтыкова и тверской гражданский, он же военный губернатор, генерал-майор свиты Его Императорского Величества, граф Баранов. Павла Трофимовича он знал с сороковых годов: в Военном министерстве, где служил тогда Салтыков, Баранов был

адъютантом министра. В то время он стал и графом: его мать из рода Адлербергов была воспитательницей в младенчестве будущего императора Александра II, а затем его сестёр, великих княжон, и за «отличное попечение при воспитании» была возведена в графское достоинство со всем своим нисходящим мужским потомством. Он был женат на родовой красавице Анне Алексеевне Васильчиковой, даме доброй и умной. К моменту появления в Твери Салтыкова у супругов уже было четверо детей, и Анна Алексеевна была беременна пятым ребёнком: дочь Евгения родилась 18 июня 1860 года.

Надо сразу сказать, что Баранова очень трудно втиснуть в конструкцию тотального противостояния Салтыкова с губернаторами, которую ещё в XIX веке стали сооружать интерпретаторы его творчества. Хотя администраторам иметь дело с писателями всегда опасно. Например, Достоевский, по дороге из Сибири осенью 1859 года оказавшийся в Твери, отозвался о Баранове как «наипревосходнейшем человеке, редком из редких»: губернатор с женой приняли деятельное участие в дальнейшем обустройстве писателя. Однако впоследствии, в «Бесах», по мнению достоевсковедов, Фёдор Михайлович взял супругов Барановых в прототипы губернатора и губернаторши фон Лембке. Причём обошёлся с ними, на мой вкус, довольно банально: наградил фон Лембке «бараньими глазами» и соответственно «бараньим взглядом», а этимологически его фамилию вымучил из слова «барашек» (по-немецки *Lamby*).

Но мы разбираемся с историей жизни Салтыкова. И можем с облегчением сказать, что под перо Щедрина Барановы не попали. Вполне вероятно, что какие-то подробности их общения (а Михаил Евграфович на ниве губернской благотворительности подружился с Анной Алексеевной) на что-то в произведениях Салтыкова повлияли, но это, скорее всего, будут вольные ассоциации, гадательные интертексты. Порадуемся тому, что художественная суть дарования Салтыкова не предусматривает памфлетной или того пуще прямолинейности.

Кроме приемлемого Баранова, Салтыкова вдохновляли новости и слухи из Твери и о Твери, до него доходившие. Ещё в декабре 1857 года губернский предводитель тверского дворянства Алексей Унковский подал императору записку, где был изложен проект освобождения крестьян с землёй. Не успело известие об этом разойтись по помещичьим усадьбам и особнякам, как его догнало новое: в начале января 1858 года Унковский был вызван в Петербург...

Разумеется, матушка Михаила Евграфовича, Ольга Михайловна, занятая своим привычным делом, расширением владений, взволновалась.



Она как раз приценивалась к выставленному на продажу «отличному имению» Климентьева, из старого боярского рода, на которое было «много охотников», и хотела разузнать, что готовит день грядущий, тербя сыновей вопросами. Но «Михайла» отмалчивался; «или не знает, или знает да не говорит», жаловалась мать на младшего сына старшему, Дмитрию. Просила сыновей приехать на чрезвычайный съезд тверского дворянства, стремилась залучить Михаила в Тверь на помощь в устройстве дел. Вызывало живой интерес Ольги Михайловны и открытие дворянского комитета в Ярославской губернии: ведь она со своим «милым Заозерьем» была не только тверской, но и ярославской помещицей.

Впрочем, как мы знаем, в стратегических планах Ольги Михайловны Заозерье предназначалось её сыновьям Сергею и Михаилу. Ей хватало мудрости не влезать туда, где её голос был не слышен и ничего не значил. Она, насколько можно судить по сохранившимся документам, не нацеливалась поправить сложившиеся воззрения сыновей на мир и в нём происходящее. Но как человек прямых действий и глава семейства постоянно напоминала своим потомкам, что они тоже помещики, тоже землевладельцы и негоже им уворачиваться от происходящего в России. В эти же зимние месяцы 1858 года объявляются дворянские выборы в Калязинском и Угличском уездах, и Ольга Михайловна настойчиво просит Дмитрия и Михаила не только в них участвовать, но и добиться своего избрания.

Салтыкова-мать прекрасно чувствовала время и те конфликты, которые оно рождает. В марте 1858 года она пишет сыновьям, что с крестьянами «ничего сделать будет невозможно». Ольга Михайловна полагает, что помещики не смогут с ними договориться: «Вижу, что они не помнят моей добродетели и делают беспрестанные сходбища и толкуют втихомолку». Для неё очевидно, что разговор идёт и будет идти на разных языках. Противоречие между интересами землевладельцев и возделывателей этих земель было непреодолимо тотальным.

К конкретным коллизиям взаимоотношений Салтыковых со своими крестьянами мы ещё будем обращаться, а сейчас надо отметить следующее. Не знаю, как в других странах, но у нас на Руси это обычное дело: все, сверху донизу и снизу доверху всё понимают и знают, но заметно ничего не меняется, пребывая в геологической неподвижности. Особенно это касается земли. *Власть земли*, называл это Глеб Иванович Успенский, бывший у Салтыкова в «Отечественных записках» любимым публицистом (забегаю немного вперёд). *Аграрный вопрос*, по излюбленному наименованию Ульянова (Ленина), подведшего страну к новому

крепостному праву. Ленин Глеба Успенского вроде бы читал, да ничего у него полезного для народа и страны не вычитал. Но, скорее всего, этого ему было и не надо. Какая там ещё *поэзия земледельческого труда*?!

Но, с другой стороны, здесь случай, когда на Ленина и его большевиков много собак не навешаешь. Этот самый *аграрный вопрос* в императорской России так и остался нерешённым, что в итоге её и погубило.

Ольга Михайловна Салтыкова и ей подобные, здраво и угрюмо в своём помещичьем захолустье рассуждавшие о главной российской проблеме, знали, без сомнения, и о записке Унковского, поданной Александру II. В точности она называлась «Мысли об улучшении быта помещичьих крестьян Тверской губернии, изложенные тверским губернским предводителем дворянства Унковским и корчевским уездным предводителем дворянства Головачевым». Записка эта тогда наделала шуму – и не затерялась среди многообразных документов, рескриптов, реляций, протоколов, споров, выливавшихся в печать дискуссий, хотя и легла в архивную папку упущенных Россией возможностей. А сегодня нам этот выдающийся сам по себе документ интересен, прежде всего, как памятник места и времени, связанного с именем Салтыкова, а также личностями, его создавшими.

Алексей Михайлович Унковский (1828–1893), помещик Тверской губернии, юрист, известный своей этической взыскательностью, не раз заявлял о соавторстве с Алексеем Головачёвым, который к тому же был его двоюродным братом. Но всё же двигателем в этой истории был именно он – противник крепостничества, начавший помещичье хозяйствование с выдачи вольной своим дворовым крестьянам и хозяйственных послаблений принадлежащим ему крепостным. (Вопрос, почему до начала реформ императора Александра II помещики, даже при их желании, очень редко отпускали на волю всех крестьян, не так прост, как он трактовался в советское время; сама структура хозяйствования, сложившаяся в Российской империи, делала помещика не только владельцем крепостных душ, но и управляющим от государства тем пространством, которое составляли его владения, и населением, там проживавшим.)

После окончания Московского университета, недолго послужив в Московском главном архиве Министерства иностранных дел (он признан «дедушкой русских архивов»; здесь, в палатах Хохловского переуллка, как мы помним, более десяти лет подвизался и отец Салтыкова Евграф Васильевич), Унковский вышел в отставку и удалился в своё тверское имение. Но не скучать и не *давить мух* он сюда приехал. Избранный

депутатом дворянства от Тверского уезда, а затем тверским уездным судьёй, Унковский быстро приобрёл репутацию неуклонного борца с лихоимством и финансовыми злоупотреблениями.

На волне надежд, возникших с приходом на престол императора Александра II, тверское дворянство в феврале 1857 года избрало Унковского своим губернским предводителем. Тем засвидетельствовав свою зрелость, то, что тверяки видят историческую реальность. Так что Унковский, представляясь императору, совершенно искренне ему заявил: «Дворянство Тверской губернии будет сочувствовать отмене патриархальных отношений, ибо хорошо понимает, что нельзя оставаться с крепостным правом». При этом Унковский был убеждён, что усилия по введению реформы надо направлять на те губернии, где есть сопротивление ей: «Едва ли можно ожидать бунта от человека, которого только что освободили».

Поданная императору в декабре того же 1857 года вышеназванная записка содержала обоснованные, внятно выраженные предложения по проведению Крестьянской реформы. Несмотря на её сугубо прагматический характер, можно видеть: текст отличается живостью языка, передающего, причём с некоторой уместной романтизацией, психологический облик крестьянства, готового к упорному труду на справедливой основе.

Первую часть записки, где содержался критический разбор правительственной программы решения крестьянского вопроса, подготовил Головачёв. Вторую с предложениями по организации жизни и быта крестьян в условиях отмены крепостного права – Унковский. Центральным пунктом здесь стояла необходимость выкупа помещичьих земель: «С освобождением крестьян с землёю, с отделением их совсем от помещика, т. е. с уничтожением всяких взаимных их обязательных отношений, свобода крестьян, даже при большей или меньшей крепости их земле, неоспорима; помещик, получив за крестьян с землёю капитальный выкуп деньгами или облигациями, по возможности вознаграждён, а исполнение крестьянами обязанностей пред правительством обеспечивается землёю, отдаваемою им в собственность. Вот единственное и верное средство *освободить крестьян не словом, а делом, не постепенно, а разом*, единовременно и повсеместно, не нарушить ничьих прав, не порождая ни с какой стороны неудовольствий и не рискуя будущим России».

Прихотлива судьба жизнеспособных проектов! Возможно, на печальную участь этого роковым образом повлияло то, что его часть

(написанная Унковским) попала на лондонский стол герцено-огарёвского «Колокола», где и была опубликована 1 апреля 1859 года (№ 39). А публикации во враждебном стане никогда не вызывали одобрения начальства (хотя Александр II издания лондонских агитаторов и почитывал). С другой стороны, надо также отметить, что записка Унковского – Головачёва в январе 1858 года была разослана ими во все уездные дворянские собрания Тверской губернии, но только в четырёх уездах, включая Тверской и Корчевский, была воспринята сочувственно. Первая эйфория прошла, метание шапок себе под ноги завершилось, слёзы покаянных клятв и посулов утёрты – начался этап прикладывания локтя к носу, подсчёта выгод и потерь.

Так или иначе, 7 августа 1858 года открылся тверской губернский комитет по улучшению быта крестьян. Здесь, несмотря на то, что за Унковским брезжились лучи государевой благосклонности, исходящие от властей распоряжения сильно разошлись с идеями его записки, прежде всего в ключевой части – праве крестьян на выкуп всего земельного надела. В этих противоречивых обстоятельствах началась словесная казуистика с определением, что считать земельным наделом, а что крестьянской усадьбой, обсуждалось, как на началах всесословности преобразовать волостные и уездные административные учреждения, как отделить судебную власть от административной и полицейской, ввести суд присяжных, установить ответственность чиновников перед судом за все нарушения закона, читай – преступления по должности. В итоге всё же составленный и кое-как подписанный всеми членами комитета (при этом из двадцати семи двенадцать оставили за собой особое мнение) проект отправили в Петербург.

Однако, когда в августе 1859 года дворянские депутаты, отобранные для работы в редакционных комиссиях, прибыли в Северную столицу, многое даже из этого половинчатого, но выстраданного, оказалось если не отвергнутым, то перелицованным по прежним лекалам, читайте – в пользу помещиков. Это при том, что и теперь среди депутатов никакого согласия не было, дело нам хорошо известное и непрестанно воспроизводящееся. Дальнейшее также до тоски привычно: за излишнюю активность Унковский получил выговор, а в Твери попал под полицейский надзор. Но не уgomонился: на прошедшем в декабре 1859 года тверском губернском Дворянском собрании, несмотря на запрет обсуждать проблемы Крестьянской реформы, он подготовил принятое большинством голосов прошение императору дозволить «иметь суждение о своих нуждах и пользах, не стесняясь возможной соприкосновенностью их с крестьянским

вопросом».

Ответ из столицы не замедлил прибыть: Унковскому припомнили и то, что он выступал не только за широкое освобождение крестьян, но и предложения ввести местное бессловное выборное управление, свободу печати, суд присяжных и гласное судопроизводство (тогда император до них ещё не дозрел и называл «западными дурачествами»). Алексей Михайлович был «удалён от должности», а поскольку тверское дворянство не пожелало избрать себе другого предводителя, таковой был назначен от правительства. Соответствующие отставки и назначения прошли и среди уездных предводителей. Хотя уважение и доверие к Унковскому у губернских властей, включая жандармского штаб-офицера, было настолько высоким, что он и после отставки продолжал принимать участие в губернаторских совещаниях по различным вопросам развивающихся реформ.

Впрочем, и недругов у него хватало: среди них едва ли не главный – тогдашний вице-губернатор, статский советник Павел Егорович Иванов. Вероятно, по заботливым доносам в феврале 1860 года Унковского сослали в Вятку (где как раз начал службу переведённый из Рязани доброжелательный Клингенберг). Но не на того напали: Унковский с юридическим устройством его живого ума, сидя в вятской глубинке, в особом послании не только подробнее обосновал полное соответствие всех своих деяний существующему законодательству и повелениям государя, но и пожаловался на очевидные нарушения, допущенные при его отставке и оформлении ссылки.

В итоге уже в сентябре 1860 года он получил право свободного передвижения по России, хотя и с запретом проживания в Петербурге. Разумеется, Алексей Михайлович выбрал хорошо ему известную и ближайшую к Тверскому краю Москву. Зарекшись впредь влезать в административные механизмы, Унковский взялся, что называется, за работу по специальности: стал участвовать в судебных процессах между помещиками и крестьянами, причём всегда выступая на стороне крестьян и настолько успешно, что через непродолжительное время крестьянскими делами заниматься ему запретили под вечным предлогом о политической неблагонадёжности (здесь постарался влиятельный Дмитрий Андреевич Толстой, прижимистый граф и страстный противник отмены крепостного права, у которого Унковский неизменно выигрывал дела).

Без сомнения, в Тверской губернии, во многом усилиями Унковского, возникла возможность проверить жизнеспособность аграрных, административных, общественных преобразований, причём не только

исходивших от правительства, но и выверенных непосредственным опытом тех, кого они касались – и дворян, и крестьян. Но не станем говорить, подобно прежним биографам Салтыкова (Щедрина), что именно такой расклад стал решающим доводом в его стремлении в Тверскую губернию. Посмотрим на положение с другой точки зрения: это не Салтыков нашёл себе пространство для осуществления своих предположительно прогрессистских идей, а сама жизнь, среда поставила его перед необходимостью разобраться в своём мировоззрении и в определении собственных мироустроительных идей.

Присутствие в этом пространстве именно Алексея Михайловича Унковского лишь придавало происходящему особую остроту. Салтыков и Унковский были знакомы со времён Царскосельского лицея, где последний тоже некоторое время учился. Дружба подростков оказалась пожизненной. Надо признать, что у писателей редко когда бывает много друзей. Тем более мало их было у Михаила Евграфовича с его внутренне добродушным, но внешне непростым и изменчивым характером. Но с Унковским он поладил – впрочем, может быть, справедливее сказать, что Унковский поладил с ним. Не только в быту и в больших делах, а в самом серьёзном. Салтыков стал крёстным отцом сына Унковского, а Унковский – крёстным отцом дочери Салтыкова. Именно Унковского Салтыков впоследствии попросил быть его душеприказчиком.

Обаяние Унковского было безграничным, и один из его почитателей, притом социал-радикал по взглядам, величая нашего героя «лучшим из людей», договорился до следующего заявления: «Я бы назвал Унковского святым, если бы сравнение с ним не было для святых слишком большою честью». Впрочем, в таких крайностях Алексей Михайлович несколько не виноват.

\*

Получив назначение в Тверь, Салтыков не переехал сюда незамедлительно. С апреля по июнь 1860 года он находился в Петербурге, выполняя в Министерстве внутренних дел какое-то «особое поручение», вероятно, связанное с бюрократической рутинной, с которой он уже был достаточно знаком и из которой не мог извлечь ничего, кроме каких-то деталей для своих художественных построений.

Впрочем, за это время по меньшей мере один раз, не позже 12 мая, он в Тверь приезжал. За этот факт мы должны благодарить жандармское

ведомство, неусыпно влезавшее в частную переписку и делавшее перлюстрационные выписки. Читая послания соавтора Унковского Алексея Головачёва, жандармский чиновник обратил внимание на то, что помещик-активист недоволен и губернатором, и ещё не приступившим к своим обязанностям новым вице-губернатором, то есть Салтыковым. «У нас на каждом шагу делаются гадости, а “вежливый нос” смотрит на всё телячьим взглядом, – пишет Головачёв (ох, не повезло графу Баранову с фамилией!). – Салтыкова... <...> ещё не видел, но разные штуки его сильно мне не нравятся с первого раза. Например, посылать за полицмейстером для отыскания ему квартиры и принимать частного пристава в лакейской; это такие выходки, от которых воняет за несколько комнат».

Прежде чем прокомментировать жандармскую выписку, сделаем небольшое отступление по существу дела. Выпускник юридического факультета Московского университета Алексей Адрианович Головачёв (1819–1903), как и Унковский, был человек деятельный, честный, но с совершенно другим характером. Если Салтыкова, используя современную лексику, можно назвать перфекционистом, то Головачёв был перфекционистом в квадрате. Требовательный к себе, он всегда очень требовательно относился к любому отклонению от воплощения важных идей, отсюда его недовольство ходом императорских реформ: они должны были уничтожить «не только одни грубые формы крепостного права, но и самые его принципы, которыми прониклись все сферы нашей жизни..., но этого не случилось».

Постепеновец в воззрениях, по характеру Головачёв, вне сомнений, был нетерпеливцем. Он полагал, впрочем, вполне справедливо, что реформаторские идеи сами по себе оберегают от радикальных сломов и потому должны воплощаться быстро и неуклонно. В этом смысле очень красноречив пафос его позднейших замечательных книг «Десять лет реформ 1861–1871» (1871) и «История железнодорожного дела в России» (1881). В первой он, мало обращая внимания на очевидные успехи, анализирует причины неудач в реформах («Новые семена свободы, труда, самоуправления, независимого суда и некоторой свободы печати брошены были не на расчищенное поле, а среди старых плевел крепостных порядков»). Вторая, вышедшая в пору бурного развития железных дорог в нашей стране, сосредоточена на фактах виртуозных хищений на магистралях, столь же впечатляющих, сколь впечатляющи были построенные дороги.

Так и здесь: узнав о появлении знаменитого литератора Салтыкова, любимого Унковским, Головачёв, недовольный и его предшественником

Ивановым, не только боровшимся с дворянскими инициативами, но боровшимся топорно, и самим губернатором, сделал скоропалительные выводы. Хотя, если разобраться, поступки Салтыкова вполне объяснимы: в поисках подходящей по его рангу квартиры он здраво обратился к всеведущему полицмейстеру, а общение находившегося в Твери проездом Салтыкова с частным приставом в какой-то лакейской вообще отнесём к числу досужих пересудов, если и стоящих внимания, то уж действительно – лишь жандармского.

Сейчас важно отметить лишь следующее: прибытия Салтыкова, рокировкой с Ивановым переброшенного из Рязани, ждали в Твери с настороженностью (знавший его Унковский в эти месяцы, как помним, сидел в Вятке), а также то, что никаких известий о его рязанском легендарном якобы «вице-робеспьерстве» до Твери не дошло. Ждали нового крупного губернского администратора, и вот 24 июня 1860 года с красавицей супругой Елизаветой Аполлоновной, которой я не устаю любоваться, он наконец в Твери появился.

В пору своего тверского вице-губернаторства Салтыковы жили в бельэтаже большого особняка, углом выходящего на Рыбацкую улицу и Пивоваровский переулок (ныне странно отмаркированная улица Салтыкова-Щедрина). Сейчас в особняке музей писателя, впрочем, поставленный под реставрацию. Место в городе совсем неплохое: с выходом на набережную Волги. Недалёкая дорога на службу – по Миллионной улице, к площади Присутственных мест, где находились губернское правление и Казённая палата (место службы Салтыкова отмечено теперь мемориальной доской). Далее, если проехать по Миллионной, на Соборной площади расположился известный императорский путевой дворец. Построенный в эпоху Екатерины II для проезжающих через Тверь императоров и особ императорского дома, он теперь был также резиденцией губернатора (ныне здесь помещается областная картинная галерея). Своё имя площадь носила потому, что там возвышались Спасо-Преображенский собор и его колокольня (был перестроен в самом конце XVII века, уничтожен большевиками в 1934–1935 годах, ныне с трудом восстанавливается). Ездил Михаил Евграфович на службу и по городу в собственном экипаже, запряжённом парой серых лошадей, присланных ему Ольгой Михайловной.

Между прочим, по служебным установлениям Салтыков должен был представляться и епархиальному архиерею, то есть управляющему тверской епархией. Таковым был тогда епископ Тверской и Кашинский Филофей (в миру Тимофей Григорьевич Успенский). Ему было уже за



пятьдесят, тверскую кафедру он занимал с 1857 года, но большую часть времени проводил в Петербурге, занимаясь делами Священного синода. Сведений о первом визите вице-губернатора Салтыкова к архиерею нет, но известно, что впоследствии он бывал на приёмах в резиденции Филофея – Трёхсвятском монастыре, «в полверсте от города на юг, к станции Николаевской железной дороги» (постройки не сохранились, ныне это пространство в центре города, к которому выходит Трёхсвятская улица).

В церковных кругах Филофей имел репутацию сурового подвижника и впоследствии обрёл сан митрополита Киевского и Галицкого. Вместе с тем, по отзывам знавшим его, Филофей, занятый собственным молитвенным самоусовершенствованием, не выступал радетелем погружения всех окружающих в аскетическую суровость. Возможно, многое о ключевых жизненных принципах Филофея скажет название его магистерской диссертации, подготовленной в Московской духовной академии, – «О достоинстве человека, раскрытом и утверждённом христианскою религиею».

Репутация хлебосольного пастыря, радушного устроителя встреч с губернским бомондом в итоге отозвалась тем, что черты Филофея стали усматривать в известной озорной сказке Салтыкова «Архиерейский насморк», которую он в 1880 году послал в письме Унковскому и не предназначал для печати. Однако непредвзятое изучение этого салтыковского сочинения, попечением О. М. Потаповой и Е. Н. Строгановой без изъятий напечатанного только в 1996 году, показывает, что эта сказка – выразительнейший пример совершенного владения Салтыковым раблезианским стилем письма, когда реальная жизнь преобразена настолько, что не только отрывается от реальной фактографии, но и выворачивает её наизнанку. Персонажи этого текста носят имена исторических лиц, но даже первичное сопоставление сюжетных подробностей сказки с их биографиями показывает её отдалённость от форм конкретно-социальной сатиры, это вольная, вызванная определённым жизненным впечатлением писательская реплика на происходящее, без претензий на какую-либо объективность (кстати, не единственная в письмах Салтыкова, о чём мы ещё вспомним).

После необходимых представлений и выслушивания докладов чиновников губернского правления начались служебные будни. Среди первых дел Салтыкова, которые нельзя не отметить, – членство в составе попечительного комитета Тверской губернской библиотеки (председателем здесь был губернатор). Формальное внешне, по отношению к Салтыкову, постоянно поглядывавшему по направлению как московских, так и

петербургских журналов, оно, разумеется, приобретает особый смысл. В соответствии с должностью, как и в Рязани, Салтыков становится редактором газеты «Тверские губернские ведомости». Издание официальное, но и здесь у него, с тенью Щедрина за спиной, появляется ещё одна площадка для творческих упражнений, тем более что редакция и типография располагались в том же здании губернского правления.

Но библиотечно-газетные дела можно было считать просто развлечениями среди повседневности, где тучами наползали требующие разбирательства дела: о жестоком обращении помещиков (и помещиц!) с крестьянами и о волнениях крестьян в имениях, о послаблениях крестьянам, ссылаемым помещиками в Сибирь, о загрязнении протекающей через город реки Тьмаки нечистотами бумагопрядильной фабрики, о конфликте между тверской полицией и тверскими рабочими... По поводу последнего Салтыков собственноручно пишет постановление губернского правления, где отклоняет предложенный полицией проект особого отделения для надзора за рабочими: «Проект этот может послужить лишь к стеснению рабочего класса новыми формальностями и к обложению его отяготительными сборами». *Рабочий класс...* Вот ещё когда и под каким пером заявляло о себе это выражение! Факт вдохновляющий для рисующих портрет краснопролетарского Щедрина и очень выразительный для разбирающихся в хитросплетениях судьбы Салтыкова и пытающихся постичь, хотя бы отчасти, морфологию того пространства, которое есть – наша Россия.

Салтыкову, как и прежде, пришлось много ездить по губернии. Он провёл въедливые ревизии присутственных мест Калязина, Кашина, Бежецка, Красного Холма, Весьегонска, Корчевы (ударение на последний слог, этого города сейчас нет – был затоплен при сооружении канала «Москва – Волга»). По okazji навещал он в Ермолине и Ольгу Михайловну, ибо так или иначе приходилось принимать участие в решении семейных хозяйственных вопросов.

По должности ему постоянно приходится вникать в суть замысловатых обывательских тяжб. То запутались лекари при освидетельствовании умственных способностей вышневолоцкого помещика Летюхина, то надо поставить на место помещицу Лагунович, которая по таинственным причинам упорно пыталась выдать замуж за нелюбимого свою крепостную крестьянку, а когда это не удалось, отправила последнюю в смиренный дом. Богатейший, казалось бы, материал для писателя! Вот скрывающийся от полиции уголовный преступник, выправив себе фальшивые документы, втирается в доверие к тверской помещице, женится на ней, а затем

незамедлительно начинает распродавать её леса и уголья... Извлекая уроки из вятского опыта со старообрядцами, Салтыков особенно внимателен к возне вокруг «старой веры». Когда вышневолоцкий городничий Соколов для своекорыстной острастки купца Овчинникова провёл в его доме обыск, с обвинением в принадлежности к раскольникам, Салтыков окоротил ретивого администратора.

Время от времени, в период отъездов Баранова, он исполняет должность начальника губернии. После объявления Высочайшего манифеста 19 февраля 1861 года «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» занимается созданием корпуса мировых посредников в Тверской губернии, стремясь, чтобы туда попали дворяне, действительно реформистски настроенные. У мировых посредников, которые назначались для утверждения уставных грамот и разбора конфликтов между крестьянами и помещиками, было немало прав и возможностей для поддержки нововведений (или противостояния им), они были приравнены к уездным предводителям дворянства, независимым от местной власти. Но психологически миссия их была очень сложной, ибо уставные грамоты, готовящиеся помещиками и закреплявшие их имущественные отношения с временнообязанными крестьянами, последние в случае согласия должны были подписать, а как раз согласия достичь было трудно. Тем не менее Салтыков верил в этот новый институт реформ и даже способствовал назначению одним из мировых посредников по Калязинскому уезду брата Ильи.

Здесь надо обратить внимание на статью Салтыкова (не Щедрина – статья подписана: М. Салтыков) «Об ответственности мировых посредников» в газете «Московские ведомости» (1861. 27 апреля). Смысл её выражен в самом названии: уже зная, что данная мировым посредникам независимость сплошь и рядом односторонне поворачивается ими против интересов крестьян и в пользу помещиков, Салтыков последовательно выступает за гласность работы посредников – учреждение губернских съездов мировых посредников, публикацию материалов о результатах деятельности мировых посредников в губернской печати и, главное, высказывает идею о необходимости замены назначения мировых посредников их выборами.

Так Салтыков ввязался в полемику по острейшему вопросу. Его оппонентом был, между прочим, чиновник Министерства внутренних дел, статский советник Владимир Ржевский, назначенный мировым

посредником в Мценском уезде Тульской губернии, где у него было поместье. В следующей статье, написанной в ответ на выпады Ржевского, Салтыков отвечает ему уже в щедринском стиле, фактически сравнивая коллегу по ведомству с Ноздрёвым: «Что касается до мысли о губернских съездах, то она может нравиться и не нравиться г. Ржевскому, это его дело; мне, собственно, она нравится, потому что в её осуществлении я вижу самый действительный в настоящее время корректив против распространения ноздрёвских понятий о децентрализации и против ноздрёвских же поползновений мыть наше грязное бельё втихомолку... <... > вопросы о том, что они будут делать, крайне забавны. Конечно, они будут собираться не затем, чтобы досыта наболтаться, досыта наедаться и досыта напиваться (что и бывает с нашими сходками), а затем, чтобы разъяснить частные недоразумения и поставить некоторые общие меры, и затем поверить действия каждого мирового посредника в отдельности».

Впрочем, развития полемика не имела – можно предположить, что это Салтыков, написав ещё один «ответ г. Ржевскому», решил его не публиковать. Причина – в строках этого ответа, сохранившегося лишь в небольшом фрагменте. Ржевский утверждал, что хозяйствующие помещики противостоят «бюрократической централизации» и «независимость» мировых посредников необходима для их поддержки. А идеи Салтыкова, по его мнению, сродни «направлению известной школы реформаторов, желающих во что бы то ни стало благодетельствовать низшим классам». Ржевский, только что выступивший в «Русском вестнике» (март 1861 года) как критик книги Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», повёл спор с Салтыковым, перехватывая его козыри – и стилистические, и публицистические.

Вспоминая «Декрет об управлении» сторонников утопического коммуниста Гракха Бабёфа, где ограничивались права учёных интеллектуалов в пользу людей физического труда, Ржевский сравнивает Бабёфа со Скалозубом, фактически причислив Салтыкова к сторонникам полковника и единомышленникам коммуниста. Более того, Салтыков представлен защитником бюрократии, то есть «беспрерывной регламентации, беспрерывного вмешательства в частную жизнь, стремления заменить не только жизнь, но и самую совесть предписаниями начальства».

Разумеется, Салтыков попытался перехватить удар: «Гораздо справедливее и проще было бы сказать, что бюрократия представляет собою в государстве орган центральной власти, которая, в свою очередь, служит представительницей интересов и целей государственных. <...> Г-н

Ржевский напрасно берёт на себя труд формулировать мою мысль так: везде, где нет земства, господствует бюрократия. Нет, я сказал и желал сказать: где нет земства, там нет и бюрократии, а есть чепуха, есть бесконечная путаница понятий и отношений, при существовании которых всякий отдельный общественный деятель получает возможность играть в свою собственную дудку».

Сохранился и такой пассаж салтыковского ответа: «Бывают общества, где эксплуатация человека человеком, биение по зубам и пр. считаются не только обыденным делом, но даже рассматриваются местными философами и юристами с точки зрения права. Благоговей перед мнениями таких обществ было бы не только безрассудно, но и бессмысленно». Однако в целом, вероятно, Салтыков посчитал, что дальнейший спор бесплоден – оба от своих мнений не отступят, а словесная война никак не повлияет на происходящее в действительности.

Тем более что в это время он пребывает в угнетённом состоянии, о причинах которого можно догадаться по строкам его майских писем 1861 года. «Крестьянское дело в Тверской губернии идёт довольно плохо. Губернское присутствие очевидно впадает в сферу полиции, и в нём только и речи, что об экзекуциях, – пишет он управляющему Ярославской палатой государственных имуществ Евгению Якушкину, близкому ему по взглядам. – Уже сделано два распоряжения о вызове войск для экзекуций. Крестьяне не хотят и слышать о барщине и смешанной повинности, а помещики, вместо того чтоб уступить духу времени, только и вопиют о том, чтобы барщина выполнялась с помощью штыков. Я со своей стороны убеждаю, что военная экзекуция мало может оказать в таком деле помощи, но, как лицо постороннее занятиям присутствия, имею успех весьма ограниченный. Впрочем, я со своей стороны подал губернатору довольно энергический протест против распоряжений присутствия и надеюсь, что на днях мне придётся слететь с места за это действие».

Обозначенный «протест» историки не обнаружили, но в переписке Салтыков очень откровенен. «Мне в настоящую минуту так гадко жить, как Вы не можете себе представить, – это из письма давнему и доброму другу писателю Павлу Васильевичу Анненкову. – Тупоумие здешних властей по крестьянскому делу столь изумительно, что нельзя быть без отвращения свидетелем того, что делается». И вновь звучит надежда «к осени совсем рассчитаться со службой».

Поэт Аполлон Григорьев, встречавшийся с Салтыковым в Твери в июне 1861 года, сравнивает его с Калиновичем, главным героем популярного тогда романа Писемского «Тысяча душ» (1858),

знаменательно называя Щедриным: «Щедрин, как все Калиновичи, с начала появился во имя абстрактного закона, потом, как Калинович, в сущности добрый, – перекидывает, говорят, в картишки с теми самыми, на кого метал перуны...»

Интересно, что несколько позже, в 1863 году, уже в отставке, Салтыков, в театральной статье по поводу постановки пьесы Писемского «Горькая судьбина» упоминает и Калиновича, одновременно высказывая важную мысль, выражающую его представления о творчестве: «Одна из главных обязанностей художника заключается в устройстве внутреннего мира его героев. <...> Нет того человека на свете, который был бы сплошь злодеем или сплошь добродетельным, сплошь трусом или сплошь храбрецом и т. д. У самого плохого индивидуума имеются свои проблески сознания, свои возвраты, свои, быть может, неясные, но тем не менее отнюдь не выдуманные порывания к чему-то такому, что зовётся справедливостью и добром. <...> Если художник не проникнется этим условием всецело, если он будет видеть в людях носителей ярлыков или представителей известных фирм, то результатом его работы будут не живые люди, а тени или, по меньшей мере, мёртвые тела.

Это условие, равно обязательное как в жизни, так и в искусстве, соблюдается г. Писемским лишь в самой слабой степени. Он положительно смотрит на своих героев, как на организмы совершенно простые, и потому неизменно заставляет их тянуть одну и ту же ноту сквозь всю цепь обстоятельств и происшествий, которыми он считает нужным обставить их существование. <...> У него Калинович, пройдоха, заражённый грошовым честолюбием, делает всю жизнь те самые пошлости и подлости, которые грошовому честолюбцу делать надлежит...»

Аполлон Григорьев был личностью экстравагантной, но его эстетическая чуткость несомненна. Наблюдая за Салтыковым-чиновником, ему удалось ухватить черты его невольного раздвоения, внутреннего разлада, откуда и это: Щедрин – Калинович, и восприятие Калиновича самим Салтыковым.

А между тем граф Баранов своим подчинённым был доволен и в том же мае 1861 года представил в Совет министров «Всепопданнейший отчёт начальника Тверской губернии за 1860 год», где о Салтыкове было сказано: «Из числа лиц, состоящих на службе в составе Губернского правления, обращает на себя особенное внимание и заслуживает одобрения вице-губернатор статский советник Салтыков – по знанию дела и усердию в службе».

Наличие таких коллизий в биографии Салтыкова только радует: перед

нами живой человек, а не *сорвавшаяся со стены икона*. Ему ведь не только приходилось организовывать работу мировых посредников, но и самому составлять в салтыковском Заозёрье уставные грамоты. Была у него и устойчивая грёза не дожидаться благоволения Ольги Михайловны, а стать самостоятельным землевладельцем. Он примеривался к одному имению близ Ярославля, а в начале 1862 года купил, при этом влезши в долги, усадьбу близ подмосковного села Витенёво вместе с деревнями Сафоново и Юрьево.

\*

В начале июля 1861 года на имя Салтыкова почтой были присланы два пакета. В каждый неведомый отправитель вложил пять экземпляров печатного листка, в переводе на современный размер примерно А5, то ли обозначенного, то ли озаглавленного словом «Великорусс». Под ним стояла единица – как позднее выяснилось, это была претензия на продолжение.

Далее речь шла обо всём известном: «Помещичьи крестьяне недовольны обременительной переменной, которую правительство производит под именем освобождения; недовольство их уже проявляется волнениями, которым сочувствуют казённые крестьяне и другие простолюдины, также тяготящиеся своим положением. Если дела пойдут нынешним путём, надобно ждать больших смут...»

От прогнозов авторы (или таинственный одиночка «Великорусс»?) переходили к обличению «глупого и невежественного» правительства, которое «при своей неспособности вести национальные дела разумным образом, впадает в необходимость держаться системы стеснений». Предлагается выход: «Надобно образованным классам взять в свои руки ведение дел... просвещённые люди лишь должны громко сказать правительству: Мы требуем отмены таких-то и таких-то вещей, мы хотим замены их такими-то и такими-то. Требование будет исполнено».

Но это невнятное заявление, очевидно, не удовлетворяло автора. В завершающей части листка Салтыков мог прочитать следующее (и он это прочитал): «Поставим два из вопросов, особенно нуждающихся в решении:

Должна ли состоять сущность нового порядка вещей, которого одинаково желают и народ, и образованные классы, в устраниении произвольного управления, в замене его законностью,

– и:

Способна ли нынешняя династия отказаться от произвольной власти

добросовестно и твердо».

Сейчас мы, разумеется, знаем, что получил Салтыков. Листки «Великорусса» советские историки определили как первые в России нелегальные печатные прокламации, то есть печатные призывы к радикальным действиям. В 1861 году в Петербурге было выпущено три таких листка, ещё один – в 1863 году. То, что предназначенные Салтыкову экземпляры разделили надвое, вероятно, объяснялось опасением, что они не дойдут. А то, что послали не один экземпляр, тоже понятно: ожидали, что Михаил Евграфович раздаст эти откровения доверенным людям.

Но более каких-либо других людей Салтыков, очевидно, доверял губернатору. Поэтому он, скорее всего, даже с супругой не посоветовавшись, снёс все листки вместе с упаковкой графу Баранову. И тот не подвёл своего вице-губернатора: после прочтения в его присутствии всё и сжёг. Возможно, поудивлявшись топорной прямоте этой провокации.

Очевидно, творец (или творцы) «Великорусса» (между прочим, так и не раскрытые тогда жандармами, а доселе – историками), не получив никаких сообщений о воздействии прокламации на тверские умы, решили повторить посылочку. 8 и 9 сентября Салтыкову вновь пришли отнюдь не заветные пакеты и в каждом вновь было по пять прокламаций, на этот раз нумерованных двойкой (российская почта в середине XIX века работала неплохо!). Теперь стало понятно, что «Великорусс» – это название листка, а готовятся прокламации от имени некоего «Комитета».

Содержание листовки теперь занимало обе страницы, да текст ещё и не уместился на них, был оборван на полуфразе: «Мы должны вовсе уйти из Польши, чтобы...» Собственно, пресловутый «польский вопрос» был назван в числе трёх ключевых в самом начале прокламации: «Водворение законного порядка – общее желание просвещённых людей. Большинство их сознаёт, что главнейшие условия для этого таковы: хорошее разрешение крепостного дела, освобождение Польши и конституция». Не станем здесь разворачивать рассуждение об отношении Салтыкова к «польскому вопросу», ибо нам придётся разбираться и в практике Щедрина. А здесь, в позднейшей «Современной идиллии» мы помним, например, невероятного, полуфантомного пана Кшепшицюльского, олицетворяющего не столько поляков, сколько наши представления о них, а также, ранее, в «Истории одного города» замечательные слова о «польской интриге», которая, «всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света»...

Впрочем, в прокламации—2 про Польшу всё было сказано с полной определённой: «Русские приверженцы законности должны требовать безусловного освобождения Польши. Теперь стало ясно для всех, что



власть наша над ней поддерживается только вооружённой рукой. А пока в одной части государства власть над цивилизованным народом держится системой военного деспотизма, правительство не может отказаться от этой системы и в остальных частях государства. <...> Наша власть над Польшей основана только на том, что мы нарушили все условия, под которыми Царство Польское было соединено с Россией на Венском конгрессе. Мы обязались тогда, что оно будет иметь конституцию, полную независимость внутреннего управления и свою отдельную, чисто национальную армию. Мы изменили этому своему слову. Мы остаёмся в глазах всей Европы обманщиками». И так далее, к лозунгу: освободить Польшу.

Салтыков, по всему, не стал вступать в заочный диалог с радетелями конституции для Польши при отсутствии конституции российской. Вероятно, совсем не приглянулся ему в прокламации и главный тезис по крестьянскому вопросу: «Для мирного водворения законности необходимо решить крестьянский вопрос в смысле удовлетворительном по мнению самих крестьян, т. е. государство должно отдать им, по крайней мере, все те земли и угодья, которыми пользовались они при крепостном праве, и освободить их от всяких особенных платежей или повинностей за выкуп, приняв его на счёт всей нации». На фоне записки Унковского по крестьянскому делу, известной Салтыкову (и рассмотренной нами выше), перенос открыто выраженных предложений и требований в пространство социал-радикалистской нелегалщины был, разумеется, очередной глупой провокацией.

Поэтому вновь состоялся визит в кабинет Баранова...

А далее в интерпретациях происшедшего начинается тремор. Сергей Александрович Макашин называет это «нелёгкими для Салтыкова фактами его биографии». Но какого Салтыкова? Если Салтыкова, которого в большевистские времена волей-неволей старались принять в ряды ВКП(б), то даже здесь налицо противоречие. Такой Салтыков должен был не к Баранову с прокламациями бегать, а распространить полученные прокламации в Твери: что-то подсунуть на столы в присутственных местах, что-то в торговые ряды, на рынки, в трактиры, извозчикам (например, Чернышевский полагал, что именно извозчики, очевидно, как люди мобильные, склонны к восприятию соответствующей пропаганды). Однако реально живший в императорской России XIX века Салтыков ничего этого не сделал. Он не только отнёс прокламации губернатору, но и, очевидно, после решения последнего отправить крамолу в Министерство внутренних дел собственноручно написал представление начальника Тверской губернии к новому министру внутренних дел Петру Александровичу

Валуеву. Документ сохранился, он обнародован, но не грех посмотреть на него незамутнённым взором. В нём сообщается не только о второй присылке прокламаций, но и рассказана история с первой. Далее с достоинством подчёркнуто, что новые прокламации не были вновь уничтожены, а пересылаются в министерство во исполнение циркуляра Валуева по поводу того, что «воззвания» «Великорусса» стали распространяться по российским губерниям и необходимо предпринять усилия по расследованию обстоятельств рассылки «возмутительных сочинений». И губернатор Баранов это представление подписал.

С. А. Макашин высказывает предположение, что вся эта история могла быть жандармской провокацией (конкретно от надзирателя Третьего отделения за Тверской губернией, жандармского штаб-офицера Ивана Симановского), направленной против вольнодумца Салтыкова, и Михаил Евграфович, предполагая это, решил перестраховаться. Но никаких конкретных доказательств этому не приводится.

Можно понять Сергея Александровича – выходца из дворянской, помещичьей семьи, который дважды (1931 и 1941 годы) в результате чекистских провокаций оказывался в заключении и обрёл волю лишь по обстоятельствам Великой Отечественной войны – пройдя штрафбат и получив тяжёлое ранение. Но всё же к императорским жандармам никак не прищпандоришь дзержинско-менжинских и последующих красных кровопускателей. Политическая полиция императорской России в сравнении с большевистскими меченосцами выглядит кружком кройки и шитья для ветеранов труда и пенитенциарных заведений. Будь императорские жандармы чуть пожёстче и повнимательнее, не то что всероссийскую катастрофу 1917 года, но и катаклизм 1905-го удалось бы предотвратить.

Если не модернизировать восприятие фактов родной истории, а увидеть их в потоке той реальности, то придётся признать: Салтыков совершенно не хотел соприкосновений с конспиративной вознёй вокруг реформ. Он прекрасно видел противоречия развёртывающихся процессов, как видели их все в России – от императора до ещё закрепощённых крестьян, – но всегда (и мы это ещё не раз обнаружим) оставался в круге *постепеновцев*, всячески сторонясь *нетерпеливцев* (как тогда называли два крыла российского общества по их отношению к реформам).

История с подмётными «воззваниями» этим не кончилась. Ими занималось, что понятно, III отделение, и 4 октября того же 1861 года был арестован отставной поручик Владимир Обручев. Ему предъявили обвинение в распространении писаний таинственного «Великорусса», но

во время следствия он никаких признательных показаний не дал, никаких своих сообщников не назвал и в итоге сенатским судом был приговорён к каторжным работам на пять лет с лишением всех прав состояния и к поселению в Сибири навсегда. Об этой горькой судьбине молодого «участника революционного движения» можно прочитать во множестве трудов и других сочинений, посвящённых российским ревушим «шестидесятым» XIX века. Правда, что с Обручевым стало в дальнейшем, названные описания умалчивают. Но мы, сострадая репрессированному царскими сатрапами, всё же наведём некоторые справки, тем более что в эпоху интернета, даже в условиях самоизоляции, это совсем несложно.

Угодивший двадцати пяти лет от роду в Сибирь сын тверского помещика, генерал-лейтенанта Александра Обручева, имел довольно приглядную наружность. После выхода в отставку стал сотрудничать с «Современником», по его собственному мемуарному свидетельству, состоял в «дружеских» отношениях с Чернышевским и его семьёй, «практиковался по-французски» с племянницей Чернышевского Полиной (Пелагеей) Пыпиной, которая вскоре стала его невестой, но далее, возможно, в силу описываемых обстоятельств, дело не пошло, и барышня вышла замуж за физика Петра Фан-дер-Флита, впоследствии довольно известного. Набоков нашёл для неё место в своём «Даре», о чём потом к месту вспомнила Нина Берберова («Курсив мой»). Бросаю взгляд на эти реальные хитросплетения судеб лишь потому, что даже беглое знание о них делает досужими, конъюнктурными многие построения исследователей коммунистического разлива, апологетов партийности в науке.

Осуждённому 27 февраля 1862 года Обручеву уже 8 мая того же года по императорскому повелению срок каторжных работ скостили до трёх лет, который он, надо подчеркнуть, отбыл полностью. Очевидно, в сибирском захолустье у него произошла перемена представлений, так что уже в 1877 году он добровольно отправился рядовым на Русско-турецкую войну, где ему возвратили чин поручика... В итоге Обручев дослужился до генерал-майора, а в отставку вышел генерал-лейтенантом.

Некоторые литературоведы лихо усматривают во Владимире Обручеве прототип сразу двух персонажей Чернышевского – Рахметова и Алферьева (незавершённый роман), но это представляется мне большим упрощением по отношению к творческой фантазии Николая Гавриловича. Но, вне сомнений, взаимосвязаны эта буйная фантазия, роман «Что делать?» и история родной сестры Обручева Марии Александровны, оказавшейся в центре знаменитого в истории русских матримониальных отношений *mariage en trois*, брака втроём. Только ещё надо разобраться, кто на кого

влиял: Мария Обручева-Бокова, Иван Сеченов и Пётр Боков на Чернышевского или он состязался с ними, разгуливая по лабиринтам брачного раскрепощения.

Надо заметить, что в замысловатой биографии Владимира Обручева есть и факт сотрудничества с «Отечественными записками» Салтыкова, осиротевшими после смерти Некрасова. Пройдя огонь балканских полей сражений, Обручев стал здесь печататься, и это также показывает, что он не имел претензий или обид по отношению к Михаилу Евграфовичу и не связывал свой арест 1861 года за историю с «Великоруссом» с вышеописанным салтыковским рапортом.

Здесь вполне убедительно толкование С. А. Макашина. Скорее всего, «прямодушнейший Салтыков, не умеющий, не боявшийся и не пытавшийся никогда скрывать никакой правды о себе», несмотря на объявленную секретность расследования дела о воззваниях «Великорусса», не только не отмолчался о своём в нём участии, но и рассказывал с подробностями, как обстояло дело. В том числе и тем, кого, вне сомнений, взъярило желание Михаила Евграфовича следовать собственным представлениям о происходящем, а не играть по росписям «Великорусса», Чернышевского, Добролюбова, кого угодно, хоть Каткова.

Слух о том, что в аресте Владимира Обручева виноват именно Салтыков, по основательному мнению С. А. Макашина, был следствием собственных покаянных признаний нашего вице-губернатора. Его приезд в Петербург в начале ноября с целью объясниться с Добролюбовым и Чернышевским только усугубил положение. (Здесь мало помогла даже поддержка тверских друзей Салтыкова, и прежде всего Алексея Адриановича Головачёва, первоначально сурово встретившего нового вице-губернатора, но затем сошедшегося с ним взглядами.) Добролюбов, возможно, имевший прямое отношение к прокламациям «Великорусса», был смертельно болен туберкулёзом и вскоре, 17 ноября, скончался. Чернышевский объяснения Салтыкова вроде бы принял, но их взаимоотношения навсегда остались холодными. Во всяком случае, Михаил Евграфович ничего для их потепления не сделал, напротив: уже в 1864 году, когда Чернышевский пребывал в Сибири, Салтыков в обозрении «Наша общественная жизнь», печатавшемся в «Современнике», высказался довольно жёстко о романе «Что делать?». Жёстко, но справедливо, скажем мы. Хотя тем, как и Салтыков, пойдём наперекор старому российскому принципу «лежачего не бьют». Коль автор произведения в опале, надо уберечь от критики хотя бы само произведение – старый российский принцип, породивший немало дутых литературных репутаций, особенно в

XX веке.

Названных двух эксцессов оказалось достаточно, чтобы Писарев, а также эпигоны Чернышевского – Максим Антонович, Юлий Жуковский и фигуры помельче, которых Салтыков однажды назвал «духовной консисторией» «Современника» (для таких позже нашли ещё более выразительное определение: либеральная жандармерия), повернули дело в сторону травли. Подлое замечание о двурушничестве Салтыкова, быстро оторвавшееся от обстоятельств и даже лиц, его породивших, стало пересказываться в сочинениях и квазивоспоминаниях людей, которые ничтоже сумняшеся стали верить тому, что они тоже были свидетелями событий, которых на самом деле никогда не было. Этот социокультурный феномен относится не только к случаю с Салтыковым, на него обратил внимание ещё Гоголь в «Мёртвых душах» (отступление о «новооткрытой истине» в главе IX тома первого). Можно вспомнить немало примеров, когда тот или иной слух, попав в мемуары или, того пуще, в учёное сочинение, вследствие фантазии подхватывающих его фигур начинает обрастать различными подробностями и в конце концов обретает внешность неоспоримого факта.

Таковыми фантазиями переполнены мемуары-воспоминания, поэтому они перепроверяются, без преувеличения, строчка за строчкой – сопоставлениями, вызывают поиск документов, писем, иных свидетельств.

Вот более простой пример. В воспоминаниях Обручева, опубликованных и, вероятно, написанных в начале XX века, есть эпизод, относящийся к тем годам, о которых мы сейчас говорим: «Раз, идя за чем-то в кабинет к Николаю Гавриловичу, я увидел незнакомого молодого человека в аккуратном вицмундире министерства внутренних дел (или финансов) – рубашка с стоячим воротом, узенький галстук, всё такое, как редко приходилось видеть в наших сферах. Волосы тёмные, довольно длинные, лицо моложавое, бритое, немного мальчишеское, скорее незначительное, кроме большого, открытого лба и упорного взгляда. Он стоял лицом к окну, держась за спинку стула и поставив ногу на стул (опятьтаки как у нас не водилось). Я тотчас отшатнулся и в кабинет не входил, видел, значит, это лицо только один миг, а между тем оно до сих пор, как живое, передо мной; потому что, когда мы потом увиделись с Николаем Гавриловичем, он мне сказал с весёлым возбуждением:

– Знаете, кто это был? Ведь это Щедрин!

Кто бы угадал тогда, что из этого лица мысль и страдание выработают образ, написанный Крамским!»

Нам понятно, что Салтыков (не Щедрин!) был в мундире

Министерства внутренних дел (когда он стал служить по Министерству финансов, Обручев, да и Чернышевский были из Петербурга изъяты), что в описании преобладают детали психологического, а не визуального свойства. Воспоминание о знаменитом портрете Крамского, пожалуй, вызывает здесь интерес по принципу контраста, возможно, и не предусматривавшегося Обручевым. Статика живописного портрета – действительно: *мысль и страдание* – перестаёт нас удовлетворять, она нам попросту не нужна, когда мы читаем словесное описание Обручева, где схвачено главное: затянутый в мундир чиновник совершенно вольно, по-мальчишески, ставит ногу на стул в кабинете редактора журнала, в котором он рассчитывает печататься. Или не рассчитывает? И ему всё равно, кто его будет печатать, потому что он уже знает: будут!

Как это часто бывает в искусстве, а в литературе особенно часто, в драматическую для Салтыкова осень 1861 года в октябрьском номере журнала «Современник» появляется рассказ «Клевета», подписанный «Н. Щедрин». Номер октябрьский, но цензурное разрешение на печать было получено только 5 ноября. (Это никак не связано с рассказом, он прошёл без цензурных изъятий, что взбодрило Салтыкова.) В «Клевете» есть два особенно важных для автора узла. Прежде всего, здесь он продолжает начатое в очерке «Литераторы-обыватели» (Современник. № 2) строительство города Глупова. Второе, не менее важное: в глуповское пространство он помещает историю Шалимова, за которой стоит реальное происшествие декабря 1859 года с Алексеем Унковским, которого на заседании Тверского дворянского собрания обвинили во взяточничестве. И это всё вместе вызвало соответствующий отклик в Твери.

«Моя “Клевета” взбудоражила всё тверское общество и возбудила беспримерную в летописях Глупова ненависть против меня, – пишет Салтыков Анненкову 3 декабря 1861 года. – Заметьте, что я не имел в виду Твери, но Глупов всё-таки успел поднюхать себя в статье. Рылокошения и спиноотворачивания во всём ходу. То есть не то чтобы настоящие спиноотворачивания, а те, которые искони господствовали в лакейских. Шушукуют и хихикают, пока барина нет, а вошёл барин – вдруг молчание, все смешались и глупо краснеют: мы, дескать, только что сию минуту тебя обгладывали».

К сожалению, Салтыков не узнал то, что его как писателя очень порадовало бы. Жандармская перлюстрация писем велась по всему пространству Российской империи, и в одном из писем, отправленном из Нижнего Новгорода Чернышевскому в Петербург, голубые купидоны обнаружили следующий пассаж: «Существует мнение, что “Клевета”

Щедрина написана на рязанское (другие говорят – на тверское) общество, и тем самым ограничивают значение “Глупова” отдельной местностью, одним губернским городом, придавая статье этой характер исключительный, случайный. В опровержение такого ложного мнения позволяю себе привести следующее интересное и само по себе событие: <...> по получении октябрьской книжки “Современника” в Нижнем нижегородские дворяне, собравшись, по обыкновению, в клубе, толковали много о статье Щедрина и пришли к тому результату, что “Клевета” написана на них (на воре шапка горит). Этот вывод был для них до такой степени несомнителен, что они стали искать, кто бы это мог передать их тайны Салтыкову, кто знаком с ним и т. д. – всё те же глуповские приёмы. Не забудьте, что это дворянство, *первое* в России заявившее о необходимости освобождения крестьян. Что же в других губерниях?»

Впрочем, к тому времени Салтыков все решения относительно службы не только в Твери, но и службы как таковой уже обдумал. 13 января 1862 года он подаёт прошение губернатору о предоставлении ему четырёхмесячного отпуска, а 20 января и прошение об отставке: «По домашним обстоятельствам и крайне расстроенному здоровью».

Сколько правды в этом пояснении, можно только гадать. После вятских простуд и полученных хронических осложнений Салтыков мог в любой момент вполне искренно объявить своё здоровье «крайне расстроенным». А под «домашние обстоятельства» можно подверстать всё, что угодно, поэтому они в подобных случаях просто принимаются как аксиома. Хотя считаю нужным подчеркнуть: Елизавета Аполлоновна всегда была с Михаилом Евграфовичем и в столицы во время их разъездов не рвалась, а с Ольгой Михайловной он никогда и не пытался договориться.

В этот момент уже известно, что Салтыкову на замену приедет также царскосельский питомец (XII выпуск), статский советник Юрий Васильевич Толстой. Потихоньку делая чиновничью карьеру, он академически занимался историей российско-английских отношений.

Сам Салтыков уезжать из Твери не торопился. Правда, особняк на Рыбацкой улице они с Елизаветой Аполлоновной покинули и переехали на Косую улицу, в дом чиновника Дуброво. Причины, по которым Салтыков медлил с отъездом, вероятно, напрямую связаны с его размышлениями о собственном жизненном самоопределении. Мы видим, что он принял участие в чрезвычайном съезде дворян Тверской губернии, а до того, можно сказать, обеспечил его подготовку как исправлявший должность начальника губернии с 10 ноября 1861 года по 11 января 1862 года. Съезд проходил с начала февраля в Колонном зале Тверского дворянского

собрания и после двух дней работы на третий был закрыт губернатором, но «Прощение» в адрес Александра II подготовить успел.

Это был замечательный документ эпохи и общества, где дворяне, не желавшие оставаться в положении «тунеядцев, совершенно бесполезных своей родине», объявляли реформы всенародным делом и требовали созыва «выборных всей земли русской». 5 февраля в Твери прошло совещание представителей мировых учреждений губернии, на котором была высказана поддержка этого прошения. В подготовке этого «Всепопданнейшего адреса», подписанного 112 дворянами Тверской губернии, в том числе губернским и девятью уездными предводителями дворянства, вновь принял самое активное участие неугомонный Алексей Михайлович Унковский. Хотя дальнейшее было печально. Император пришёл в ярость, вновь последовали аресты, полицейский надзор, запреты поступать на государственную службу...

Тем не менее Салтыкова это всё не коснулось. Он получил желанную отставку и смог уже не как администратор, а как тверской дворянин высказать своё мнение о происходящем. Можно сказать, его выход в отставку был виртуозным – как администратор действующий он поступил по совести и в поддержку своих земляков, но когда *процесс пошёл*, он уже был свободен от служебных обязанностей.

В апреле супружеская пара покинула Тверь и в последующие годы жизни Михаил Евграфович появлялся здесь нечасто, лишь по необходимости решить какие-то хозяйственные или наследственные вопросы.

Но тёплое отношение к Твери осталось у Салтыкова навсегда, и память о бурных месяцах начала Крестьянской реформы, сочетавшихся с тверской служебной рутинной, стала для него дорогой и поучительной страницей жизни.



## «Русская правда» и современники

Эффектность ухода Салтыкова с поста тверского вице-губернатора видна нам из пространства времени: исполняя должность губернатора, Михаил Евграфович обеспечил необходимое собрание своих земляков – чрезвычайный съезд дворян Тверской губернии, а когда он начался, избавил себя от вынужденной необходимости стать его разгонщиком. В дни съезда Салтыкову обеспечилось положение удивительное: прошение об отставке (очевидно, согласованное) подано, но императорского указа ещё нет. Важные подробности этих дней мы знаем благодаря усилиям краеведа Николая Венедиктовича Журавлёва, подготовившего серьёзную документальную базу для реконструкции тверских страниц жизни Салтыкова.

В областном архиве Журавлёв отыскал относящиеся к началу февраля 1862 года письма сыну предводителя бежецкого уездного дворянства, депутата Тверского дворянского собрания от Бежецкого уезда Фёдора Михайловича Лодыгина. В письме 1 февраля читаем: «Наш вице-губернатор, известный вольнодумец, подал в отпуск и по слухам не вернётся к должности, говорят, что ему предложил это Ланской». Это действительно слухи: Ланского, покровительствовавшего Салтыкову, в кресле министра внутренних дел почти год как сменил Валуёв (а Ланской, между прочим, так совпало, скончался накануне тверских событий – 26 января 1862 года). Возможно, здесь отзываются долгие тверские пересуды о том, что Ланской не раз привлекал Салтыкова к разрешению серьёзных министерских вопросов и вполне мог способствовать его продвижению по службе. Но, главное, речь в письме идёт не об отставке, а об отпуске. О том, что Салтыков попросился в отставку, Лодыгину ещё неизвестно.

Но в его письме сыну от 7 февраля уже иное: «Красный наш вице-к должности более не вернётся; он уже подал в отставку. Но в Собрание ездил все дни». Скорее всего, о своей будущей отставке сообщил участникам съезда сам Салтыков. Тем самым он, не будучи депутатом чрезвычайного собрания, достойно, без вздутого пафоса объявлял о своей поддержке преобразований – как один из тверских помещиков, свободный от административных рангов. Журавлёв также проанализировал сохранившиеся черновики текста обращения тверских дворян к императору Александру II (так называемый «адрес») и высказал предположение, что он был «если не написан, то отредактирован Михаилом Евграфовичем».

Вновь повторяю: большинству биографов исторического лица (каждому – с собственными целями) хочется изобразить своего героя в некоей целеустремлённости, иначе какое же это историческое лицо?! Над созданием общественной репутации Салтыкова ещё при его жизни сосредоточенно поработали фигуранты социал-радикалистской нацеленности. Именно в их освещении Салтыков был окончательно загримирован под Щедрина. Принятое самим Михаилом Евграфовичем самопредставительное начертание Салтыков (Щедрин) превратили в Салтыкова-Щедрина, а затем и просто в Щедрина. А в «Щедрина», в нутро этого никогда не существовавшего гомункула можно было вставлять всё, что заблагорассудится.

После 1917 года «Щедрин» по-коммунистически должен был стать предтечей советских писателей, верных певцов большевистской партии, её социальных и философских откровений, её преобразовательных программ. Поэтому объявлялось, что Салтыков не только ходил на съезд дворян (что подтверждено документально), но и состоял в круге авторов послания императору (что очень шатко).

Для соответствующей драматизации происходящего советскими щедриноведами высказывалось и мнение, что должность тверского вице-губернатора Салтыков покинул вынужденно, во всяком случае, под некоторым давлением. Правда, никаких реальных фактов такого давления не выявлено. Не может всерьёз рассматриваться и предположение, что Салтыков, имея четырёхмесячный отпуск с сохранением оклада, вполне мог подать рапорт об отставке после его завершения. Признать такое, прямо скажем, шкурническое решение возможным для Михаила Евграфовича – значит расписаться в полном непонимании его характера, жизненных принципов, представлений о чести и достоинстве. Салтыков умел считать деньги, это неоспоримо. Но он всегда считал честно заработанные деньги – других просто не признавал.

Прочие гадания вокруг этой отставки также не подкреплены сколько-нибудь весомыми доводами. На основании многолетнего изучения мотиваций и поступков своего героя приходишь к твёрдому выводу: по складу своего характера Михаил Евграфович не относится к людям, которых можно принудить сделать что-либо через силу, наперекор себе. Много лет состоя на государственной службе, он никогда не считал себя карьерным чиновником и в историю России вошёл не как действительный статский советник, добившийся литературной известности, а как великий писатель, волею судеб дослужившийся до генеральского чина. Тем более что были среди наших писателей и чины повыше – действительный тайный

советник Гаврила Романович Державин, тайные советники Фёдор Иванович Тютчев, Аполлон Николаевич Майков, Константин Константинович Случевский... А среди действительных статских советников обнаруживаем скромного Ивана Александровича Гончарова.

Словом, о действительных причинах салтыковской отставки 1862 года мы можем судить, лишь собирая предположения современников и изучая действия нашего героя с февраля 1862 года.

Среди узкого круга ближайших друзей Салтыкова особое место занимает уже не раз упомянутый Николай Андреевич Белоголовый (1834–1895). Врач-терапевт, с молодости тянувшийся к литературе и в конце концов совершенно ей отдавшийся, он был знаком с Салтыковым с середины 1870-х годов, а сблизился уже в 1880-е, когда медицинскую практику оставил. Тем не менее Белоголовый стал для хвораго писателя своеобразным живым плацебо: Михаил Евграфович принимал его рекомендации, считал их несущими оздоровление, а однажды письменно признался этому чудесному доктору: «С Вами, кроме болезней, и о многом другом можно было посоветоваться...»

Белоголовый оставил о Салтыкове довольно обширные, хотя и незавершённые воспоминания, основанные на записи рассказов самого писателя о «жизни, воспитании, высылке, государственной службе и т. д.». Взялся за их систематизацию он уже в 1890-е годы, незадолго до собственной кончины, но коекакие свидетельства, содержащиеся в них, заслуживают внимания. Так, в них дана объективная, очевидно, основанная на впечатлении Салтыкова, характеристика губернатора Баранова: «Человек не особенно выдающегося ума, но очень мягкий и доброжелательный и не только не тормозивший, а скорее сочувствовавший либеральным стремлениям правительства». Боясь «подпасть ответственности» за какие-нибудь упущения и неправильные толкования Крестьянской реформы, Баранов «старался разделить эту ответственность с Салтыковым, взвалив на его плечи часть организационной работы в губернии».

Вместе с тем Салтыков, состоявший в дружбе с уже известным нам Алексеем Михайловичем Унковским («запас житейской мудрости в нём был богатый, русскую жизнь и все её неурядицы он изучил до тонкости и умел иллюстрировать самыми разнообразными доказательствами»), испытывал «одинаковые с ним разочарования от недостаточности программы крестьянского освобождения, горячо воевал и не с противниками освобождения... <...> а с теми людьми, которые, удовлетворившись реформой освобождения крестьян, не видели

настоятельной потребности в её развитии, и воевал не только на словах, а в печати».

Здесь, несомненно, имеются в виду пять статей 1861 года в «Московских ведомостях» и в «Современной летописи Русского вестника» (подписаны: М. Салтыков): «Об ответственности мировых посредников», «К крестьянскому делу», «Где истинные интересы дворянства?» и др. Тогда же писал он и под именем «Н. Щедрин» – как мы уже знаем, то, что позднее назвал «сатирами в прозе».

В связи с этим Белоголовый, очевидно, опираясь на суждения Салтыкова, говорит о неудобстве «совместительства литературы и особенно публицистики, с одной стороны, и видного административного поста – с другой». Однако – вновь вспомним вольный, даже импульсивный характер Салтыкова, не эти гражданственные страдания будоражили его. Белоголовый далее пишет решительное: «Служба скоро надоела Салтыкову».

Именно этот довод представляется очень убедительным.

Салтыков по своему природному дару был человеком преобразовательным, творческим, а по характеру этого дара – творцом-индивидуалистом, писателем. Это видно уже по жанровой раскованности его «Губернских очерков», где сатира переливается в лирику, а проза в драматургию. Ибо как человек-зритель Салтыков театр любил, но как писатель не ждал сценических воплощений им написанного (как мы знаем, с этим у него не очень-то ладилось). Салтыков расставлял и встраивал свои изумительные по творческой свободе драматургические миниатюры в столь же своеобразные формы своих прозаических созданий. Что и говорить, служба с юных лет приучала его работать в коллективе, но индивидуалиста, который полагается на себя самого и волей-неволей требует такого же отношения от других, перебороть не так-то просто, если вообще возможно. Даже будучи начальником, Салтыков и в этой сфере оставался самим собой, не раскалывал свою индивидуальность, необходимую для писательства.

Сохранились свидетельства времён его рязанского вице-губернаторства о том, что поступавшие к нему бумаги, подготовленные подчинёнными, он не только тщательно правил, но порой попросту переписывал (часть этих своеобразных автографов гения русской сатиры сохранилась). Позднее, редактируя «Отечественные записки», Салтыков, читая поступившее в редакцию то или иное сочинение и усмотрев в нём достоинства, начинал, не тратя времени на переговоры с автором, переделывать текст так, как считал нужным. Эти прикровенные

перелицовки до сих пор остаются одной из экстравагантных проблем щедринистики и истории русской литературы в целом.

Ход тверского Дворянского собрания и ломавшиеся на нём копы, вероятно, окончательно утвердили Салтыкова в правильности его ухода в отставку. Служба даже в благоприятных условиях давала очень скромные результаты. К слову, сменивший его на посту вице-губернатора лицейский приятель, историк Юрий Толстой затем тоже совершил поворот не в пользу карьеры. В должности товарища (то есть заместителя) обер-прокурора Святейшего синода он стал изучать монастырское хозяйство и особенности иерархического устройства Русской православной церкви после петровской реформы.

\*

1862 год Россия встречала с воодушевлением. Начало русской государственности связывалось с летописным свидетельством лета 6370-го (862 год от Рождества Христова) о призвании варягов. Весомая дата давала основу для празднования тысячелетия России – древней и теперь обновляющейся. Вскоре после восхождения Александра II на трон не кто иной, как известный нам министр внутренних дел Сергей Степанович Ланской стал энтузиастом сооружения памятника в честь этого юбилея в Новгороде Великом. Дело вызвало всенародный отклик, был объявлен конкурс проектов памятника, на котором победил молодой, двадцати четырёх лет от роду художник-баталист Михаил Микешин. Памятник заложили на площади Новгородского кремля 16 мая 1861 года, соответственно, его торжественное открытие предполагалось в 1862 году. Оно состоялось 8 сентября, только к тому времени в центре общественного внимания оказались другие, совсем не торжественно-юбилейные, а грозные события.

Это, прежде всего, распространение террористической прокламации «Молодой России» и доселе таинственные майские пожары в Петербурге. На первый взгляд на фоне бедствий, обрушившихся на нашу страну в XX веке, и прокламация и пожары выглядят маленькими эксцессами. Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что именно они положили начало следующему, после декабристского путча, этапу движения к насильственному, а не эволюционному преобразованию системы государственного управления в нашей стране, происшедшему в 1917 году.

Автором прокламации был двадцатилетний студент физико-

математического факультета Московского университета Пётр Заичневский (в другом начертании Зайчневский), из дворян. С июля 1861 года он находился под арестом в Тверской полицейской части в Москве, куда вместе с товарищами угодил за распространение крамольной политической литературы. Написанное здесь собственное творение Заичневского, по его же позднейшим воспоминаниям, «выправили общими силами, прогладили и отправили для печатания через часового». Этот довольно пространный документ, по объёму явно превосходящий листовку (формата «пол-листа», то есть примерно двадцать на тридцать пять сантиметров, с чёткой печатью; сам автор называет его, по старой традиции, журналом), незамедлительно был напечатан (по некоторым данным, в типографии, устроенной в одном из имений в Рязанской губернии) и распространялся не только в Москве и Петербурге, но и по всей России.

Содержание «Молодой России», без преувеличений, ошеломляет мизантропической чудовищностью. В острых выражениях обрисовав состояние российского общества как раскол на две взаимовраждебные части, «две партии» – «всеми притесняемая, всеми оскорбляемая партия, партия – Народ» и «партия императорская», – Заичневский предъявляет целый комплекс различных требований к власти, но следом снимает их заявлением: «Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека, и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один – революция, революция кровавая и неумолимая, – революция, которая должна изменить радикально всё, всё без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка.

Мы не страшимся её, хотя и знаем, что прольётся река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим всё это и всё-таки приветствуем её наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная!»

И наконец, назвав в финале те силы, которые эту революцию совершат («народ: он будет с нами, в особенности старообрядцы, а ведь их несколько миллионов»; «забитый и ограбленный крестьянин»; «войско», а в нём «офицеры, возмущённые деспотизмом двора», те, кто, по мнению автора, «вспомнит и свои славные действия в 1825 году, вспомнит бессмертную славу, которой покрыли себя героимученики»; «главная надежда на молодежь»: «она заключает в себе всё лучшее России, всё живое, всё, что станет на стороне движения, всё, что готово пожертвовать собой для блага народа», из неё «должны выйти вожаки народа», она «должна стать во главе движения», на неё «надеется революционная партия»), автор завершает своё сочинение потрясающим по своей кровожадности

призывом:

«Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком “Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!” двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. Может случиться, что всё дело кончится одним истреблением императорской фамилии, то есть какой-нибудь сотни, другой людей, но может случиться, и это последнее вернее, что вся императорская партия, как один человек, встанет за государя, потому что здесь будет идти вопрос о том, существовать ей самой или нет.

В этом последнем случае, с полной верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: “в топоры”, и тогда... тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и сёлам!

Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против; кто против – тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми способами.

Но не забывай при каждой новой победе, во время каждого боя повторять: “Да здравствует социальная демократическая республика Русская!”».

Вот так – не более, но и не менее.

Очень многие об этом знали, многие это читали, но надо признать: «Молодую Россию» Россия тысячелетняя сакраментально проглядела.

Понятное дело – Герцен (добрался листок и до Лондона). Хотя Заичневский отвесил ему тоже, обвинив в отсталости, Александр Иванович отозвался довольно благодушной статьёй «Молодая и старая Россия» (Колокол. 1862. 15 июля), где выглядел эдаким Павлом Петровичем Кирсановым, взирающим на лабораторные шалости Базарова.

Творение молодого мизантропа с очевидными патологическими качествами Герцен называет «юношеским порывом, неосторожным, несдержанным, но который не сделал никакого вреда *и не мог сделать*». «Жаль, что молодые люди выдали эту прокламацию, но винить их мы не станем. Ну что упрекать молодости её молодость, сама пройдёт, как поживут... Горячая кровь, *il troppo giovanil' bollore* (по-итальянски «чрезмерный юношеский пыл». – С. Д.), тоска ожидания, растущая не по дням, а по часам с приближением чего-то великого, чем воздух полон, чем земля колеблется и чего ещё нет, а тут святое нетерпение, две-три неудачи – и страшные слова крови и страшные угрозы срываются с языка. Крови от

них ни капли не пролилось, а если прольётся, то это будет их кровь – юношей-фанатиков».

Разумеется, сейчас, через полтора века с лишним, мы знаем, чья кровь проливалась, просто все боимся себе и друг другу сказать, сколько этой всенародной крови у нас с самыми благими намерениями пролилось. Но на эту вечную тему здесь рассуждать не совсем к месту. Сузим поле метафизических прений и зададим лишь вопросы, ответы на которые нам необходимы. И первый, разумеется, об отношении к прокламации Салтыкова.

Ответ, увы, лаконичен. Объективными сведениями о знакомстве Салтыкова с сочинением «Молодая Россия» щедриноведение не располагает. Вместе с тем невозможно представить, что Михаил Евграфович не знал о «Молодой России» ничего. Знал в 1862 году, так или иначе обсуждал этот сюжет и позднее, особенно со второй половины 1870-х годов, когда с «Отечественными записками» стал сотрудничать Лонгин Фёдорович Пантелеев (1840–1919), колоритная личность, талантливый, энергичный издатель и одновременно – публицист с экстремистскими наклонностями, как раз в 1862 году вступивший в только что возникшее в Петербурге тайное общество «Земля и воля», положившее начало террористическим формам борьбы с властями. Пантелеев оставил обширные воспоминания, где заметное место отведено Салтыкову, сочинениями которого он увлёкся с гимназических лет.

Его воспоминания для нас важны потому, что Пантелеев подробно пишет обо всех проявлениях российского социал-радикализма, свидетелем которых он был (в том числе и 1862 года). Разумеется, не ускользнуло бы от его пристального взора и всё соответствующее, если бы оно проявлялось у Михаила Евграфовича. Однако ничего подобного у Пантелеева нет. Более того, в неопубликованном интервью с ним 1908 года содержатся выразительные подробности. Лонгин Фёдорович подчеркнул «противоречие между идеями Щедрина (так. – С. Д.), проникнутыми широкими перспективами французских утопистов» (уж не антиутопическая ли «История одного города» имеется в виду? – С. Д.), и его личной жизнью» и то, что Михаил Евграфович «весьма сурово, как о глупцах, отозвался о первомартовцах» (то есть о террористах, убивших императора Александра II).

Поэтому скажем здесь и об отношении Салтыкова к террору. Процитированную выше статью, оправдывающую апологета тотального террора, Герцен поразительным образом начинает словами о том, что есть террор в его понимании: «В Петербурге террор, самый опасный и



бессмысленный из всех, террор оторопелой трусости, террор не львиный, а телячий, – террор, в котором угорелому правительству, не знающему, откуда опасность, не знающему ни своей силы, ни своей слабости и потому готовому драться зря, помогает общество, литература, народ, прогресс и регресс...»

Герцен – может быть, величайший из отечественных публицистов. Он поднял русскую публицистику на высоту художественного слова. Однако публицистика, исходящая из анализа фактов, а не из переживания впечатлений, как художественная проза, не может быть, по классическому замечанию Льва Толстого, «бесконечным лабиринтом сцеплений, в котором и состоит сущность искусства». Публицистика требует именно конкретных мыслей, иначе она рискует обернуться демагогическими построениями.

Как раз это мы в герценовской статье и наблюдаем. Виртуозно отвлекая внимание от «Молодой России», помалкивая о зловещей «Земле и воле», высмеивая майские пожары в Петербурге («Поджоги у нас заразительны, как чума, и совершенно национальное выражение *пустить красного петуха* – чисто народное, крестьянское» и т. д.), Герцен сгребает вместе для произведения вящего впечатления вполне понятные предупредительные правительственные меры: «“День” запрещён, “Современник” и “Русское слово” запрещены, воскресные школы закрыты, шахматный клуб закрыт, читальные залы закрыты, деньги, назначенные для бедных студентов, отобраны, типографии отданы под двойной надзор...» Итог известен: можно утверждать, что и ныне мы в России повсеместно – от университетов до средних школ – изучаем отечественный 1862 год не так, как он сложился в действительности, а по статье Герцена.

Но у Салтыкова тоже есть своя оценка этого года. Он мудро воздержался от попыток доискаться до причин петербургских пожаров (Лесков попробовал и более чем на десятилетие получил бойкот от так называемой передовой общественности, что сильно осложнило его вхождение в сады российской изящной словесности). Остался равнодушен к закрытию шахматного клуба (его создал земледелец Николай Серно-Соловьевич, разумеется, не для интеллектуальных игр, а как явочную квартиру для встреч оппозиционеров).

Довольно сдержанно отнёсся Салтыков и к приостановлению (а не запрещению, как пишет Герцен) на восемь месяцев журналов «Современник» и «Русское слово» (газета «День» была приостановлена всего на один номер). И наконец, в обзоре «Наша общественная жизнь» (март 1864 года) он высказался об этом времени так: «1862 год совершил многое: одним он дал крылья, у других таковые сшиб». Ему важно не то,

какие события произошли, а как эти события повлияли на людей, кто с чем из 1862 года вышел.

Эта оценка связана с целями тогдашней яростной полемики восстановившихся «Современника» и «Русского слова» – в контексте герценовской интерпретации происшедших в 1862 году событий. Но всё же и в сути этой оценки (а мы даём лишь её исходный тезис, оставляя читателям прочтение всей статьи) очевидна разноприродность литературных дарований Герцена и Салтыкова.

Своеобразная художественность Герцена интровертна, она формируется лирическими, субъективными доминантами его личности. «Подпольный человек» из повести Достоевского (задуманной как раз в 1862 году) соотносим не только с Чернышевским и Варфоломеем Зайцевым, но в значительной степени и с Герценом («Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить»).

Художественность Салтыкова (здесь можно сказать: Салтыкова-Щедрина) экстравертна, комизм в ней превалирует над лиризмом: несовершенства мира дольного бурно проявляются на фоне величественного мира горного, поэтому ничего придумывать не надо, всё есть в «карикатуре действительности», надо только разглядеть и описать. И в событиях 1862 года ему интересны не факты сами по себе (сколько же он огребёт за то, что критически, мягко-критически, выскажется о романе «Что делать?» – и лишь потому, что не стал делать скидку на горестное положение Чернышевского, жестоко пострадавшего в том же самом году). Ему незачем играть с ними, как играют в кубики.

Салтыкову интересно то, что произошло с соотечественниками, прочувствовавшими и пережившими 1862 год. А это видится лишь с некоторого временного расстояния.

Он был независим в представлениях о том, что в определённых кругах называли «настоящим делом», а именно к радикальным формам в решении социальных и экономических проблем («Разговоры с Зайчневским становились утомительны, – вспоминал Л. Ф. Пантелеев, – он тогда был в периоде крайней экзальтации и поминутно повторял всё одно и то же: “Прошло время слов, настала пора настоящего дела”. Перечитав не раз “Молодую Россию”, я окончательно убедился, что это горячечный бред, да ещё могущий по своему впечатлению на общество повести к очень дурным последствиям, потому все данные мне экземпляры уничтожил»).

Уничтожить-то уничтожил, но трихины остались живёхоньки...

То, что Салтыков в ту пору также размышлял о сути «настоящего

дела», подтверждается строками в его незавершённом романе «Тихое пристанище». Его опубликовали только в 1910 году, но задуман он был, по косвенным приметам, в начале всё того же 1862 года, и работа над ним, по меньшей мере, шла до начала года 1863-го.

Замысел романа исходил из важнейшей для него идеи о необходимости «из тесных рамок сектаторства выйти на почву практической деятельности». Но, пожалуй, салтыковские представления о «настоящем деле» шли вразрез с погромной программой Заичневского. Один из центральных персонажей «Тихого пристанища», исключённый из университета за участие в «беспорядках» купеческий сын Крестников, находясь в богатом уездном городе, говорит, в частности, о том, что «настоящее дело не здесь, а там, в глубине, и что там надо иметь людей». В то время как сторонники Заичневского устремлялись в столицы, во дворцы, к горлу верховной власти, персонажу Салтыкова, ведомому им, даже уездный город велик для «настоящего дела». Как говорится, *не было счастья, да несчастье помогло*. Принудительная служба Салтыкова в вятских краях навсегда притянула его сердце к российской глубинке, навсегда идея о пагубности центростремительного развития России и необходимости замены его развитием центробежным стала руководящей в исканиях писателя. Его слово о России начато «Губернскими очерками», а в середине 1880-х годов, незадолго до смерти, он пишет сюжетно симметричный им цикл «Мелочи жизни», вновь с тем же направлением: «из больших центров в глубь провинции».

У нас ещё будет место подробно сказать об этой салтыковской любви-боли, а сейчас отметим лишь, что дорогих ему героев Салтыков отправлял во глубину России, разумеется, не за тем, чтобы они там порешили пьяницу-квартильного или взорвали волостное правление. Но всё же, ожидая от них деяний созидательных, он никак не мог допустить на свои страницы героев-резонёров. Такие герои оставляют общий замысел статичным, а фабулу аморфной – подобное у него уже было в прозаических опытах 1840-х годов. Время перемен рождает, должно рождать новых героев. А оно родило Заичневского, который вызвал снисходительную усмешку Герцена и, наверное, вдохновил Чернышевского, тогда же взявшегося за роман «Что делать?». Тогда как Салтыкова этот монстр с программой «настоящего дела» – «Молодой Россией» – в дрожащих от нетерпения руках, пожалуй, испугал.

И «Тихое пристанище» осталось незавершённым.

Коль речь зашла о делах политических, попробуем, вновь и вновь отрываясь от конъюнктуры и превратного щедриноведения, установить объективно-определённые черты политических предпочтений Салтыкова, коль скоро о них написаны в советское время сотни страниц. Только пересказывать на них написанное не станем: там ложь спорит с неправдою. Куда больше доверия – проверяемого, между прочим – вызывают суждения доктора Белоголового. Как мы отметили, Николай Андреевич по своим политическим взглядам был близок к деятельному радикализму, так что встретить в лице почитаемого им Салтыкова единомышленника было бы для него нечаянной радостью. Однако Белоголовый был человеком честным и не видел никаких оснований для того, чтобы сказать о Михаиле Евграфовиче нечто, искажающее его могучий образ.

Салтыков был для Белоголового личностью из тех, которые не принадлежат «к какой-нибудь политической партии». Хотя он, пишет Белоголовый, «и имел завидно определённые политические взгляды, но с таким своеобразным оттенком, что его трудно поставить под какое-то шаблонное партийное знамя». По мнению Белоголового, его интересы к разного рода «социалистическим теориям», «его сочувствия к ненормальному и бедственному положению рабочего класса» «слишком мало» для того, чтобы «причислить Салтыкова к социалистам; вся его литературная деятельность в общем, вся его личная жизнь противоречат такому зачислению».

Далее Белоголовый приводит важнейшее суждение Михаила Евграфовича, оговаривая, что старается «употребить в этой передаче подлинные слова Салтыкова»: «Как говорят французы – *il y a fagots et fagots* («вещь вещи рознь». – С. Д.), так есть буржуазия и буржуазия; я, как сам рабочий человек, не могу не чувствовать уважения к той части западноевропейской буржуазии, которая работает с утра до вечера самым добросовестным образом и честным трудом достигает благосостояния и обеспеченности; она обладает весьма солидными познаниями, и её труды нередко производительны для всего человечества; не могу же я эту буржуазию ставить на одну доску с нашей, с каким-нибудь московским фабрикантом, ворочающим миллионами и который сам не имеет ни малейшего понятия о труде, а всю свою жизнь проводит вечным именинником в кутежах да в пирах, он даже о технике своего производства не имеет ясных понятий и не следит за его усовершенствованием, а

ограничивается тем, что нанимает для фабрики управляющего, платит по двадцать пять тысяч рублей в год, тот ведёт всё дело, и наш фабрикант только... <...> собирает деньги...»

Таково, что называется, независимое представление салтыковских общественно-политических воззрений. Однако не станем абсолютизировать и её (недаром сам писатель воздерживался от каких-либо манифестов и деклараций). Вернёмся к самому интересному в биографии писателя – к его повседневности.

В феврале 1862 года Салтыков, оставаясь в Твери, начал работать над циклом «статей», которому намечал дать заглавие «Глулов и глуловцы». Причём вступление к нему под названием «Общее обозрение» рачительный Михаил Евграфович написал на сохранившихся у него бланках «советника Вятского губернского правления».

Работа шла быстро, и ещё в десятых числах февраля «Общее обозрение» «Глулова и глуловцев» было послано Некрасову для публикации в «Современнике». А 21 февраля Салтыков отправил по тому же адресу очерки «Глуловское распутство» и «Каплуны», с просьбой напечатать всё вместе – и с расчётом на продолжение.

Однако началась очередная фантазмагория, уже привычная для взаимоотношений Салтыкова с «Современником». Скоро выяснилось, что первый очерк писателя в редакции надолго, если не навсегда (здесь мнения щедриноведов расходятся) затерялся, а покаянно набранные для майского номера два последующих очерка были цензурой запрещены...

Вновь надо отдать должное характеру Салтыкова. Такие пакости жизни его, понятно, не радовали, но всё же особым образом бодрили.

Как ни крути, его десятилетнее общение с «Современником» показывает: этот журнал так и не стал для него тёплым, родным домом. В редакции у него не было ни настоящих друзей, ни почитателей. А история с Обручевым вызвала у Чернышевского и Салтыкова стойкое взаимоохлаждение – на десятилетия, вплоть до рокового для обоих 1889 года.

Щедрину (в этом случае – так!) открыли двери «Современника», потому что нарастающий экстремизм здешней публицистики и особенно критики, которая, отдаляясь от литературных проблем, почему-то продолжала называться литературной, отпугивал одного за другим звёздных авторов. «Современник» потерял Тургенева, Льва Толстого, Гончарова, Григоровича...

И Салтыков решает, в полном согласии со своим независимым характером, ещё раз попытаться войти в туманное пространство

издательской деятельности – выпускать свой собственный журнал. В Москве, двумя книжками в месяц. Решение, скажем прямо, требующее объяснений. И хотя мы вступим здесь в зону предположений, всё же рискнём. Начнём с места издания. Москва была выбрана, как это чаще всего бывало в жизни Салтыкова, по соображениям прагматическим, связанным с его имуществом. Выходя в отставку, он не отставлял себя от помещичьих забот.

19 марта 1862 года Сергей Евграфович Салтыков писал в Петербург брату Дмитрию Евграфовичу: «Я с помощью брата Миши кое-как уладил здесь в Заозёрье будущие наши отношения с крестьянами, и грамота подписана также и с их стороны, значит, теперь дела все почти кончены...»

Надо заметить, что в классическом советском щедриноведении отношения Михаила Евграфовича с крестьянами рассматриваются, как бы деликатнее выразиться, – вскользь, почти через силу. Употребление апокрифической, пришедшей из второрядной мемуаристики фразы «Я не дам в обиду мужика...» было в соответствующих трудах доведено до лозунга, в то время как реальные документы, переписка, общественно-политический и историко-культурный контексты оставались без должного внимания.

Не кто иной, как лидер этого щедриноведения, незабвенный Сергей Александрович Макашин уже накануне 150-летия Салтыкова высказал довольно уязвимый тезис: «“Помещичья” сторона в биографии Салтыкова не должна оставаться затемнённой, хотя, разумеется, не она представляет для нас преимущественный интерес» (странное в высшей степени ограничение). Но отводил глаза, разумеется, не только Макашин. Он-то как раз честно признал, что до той поры (1970-е годы) «единственной работой, посвящённой изучению темы “Салтыков-помещик”» оставалась «построенная на документально-архивном материале статья А. Н. Вершинского “Салтыковская вотчина в XIX в. (Этюд по истории крепостного хозяйства)”» (Известия Тверского педагогического института. 1929. Вып. 5).

В свою четырёхтомную «биографию» Салтыкова-Щедрина, непревзойдённую по своду фактов, но дискуссионную по обозначенной нацеленности: показать «демократическое развитие писателя» (пожалуй, предпочтительнее просто рассмотреть *развитие писателя* без заранее заданных векторов), С. А. Макашин ввёл материалы из статьи Вершинского и некоторые другие, но всё же, повторю, с существенной редукцией реальных обстоятельств. И сегодня, разумеется, необходимо, даже в рамках нашей скромной биографической повести, наконец, попытаться увидеть

Салтыкова-помещика таким, каким он был, вне любых конъюнктурных целей, включая воспитательные и хрестоматийные.

Ещё 19 декабря 1859 года Ольга Михайловна, бывшая владелицей всех салтыковских земель – как родового имения Евграфа Васильевича, завещанного ей, так и ею приобретённых, провела их раздел. Это было непросто: владения находились в Калязинском уезде Тверской губернии (известное нам село Спас-на-Углу и новоприобретённое Ермолино) и в Ярославской губернии. Существует собственноручная записка Салтыкова, согласно которой он получил в общее владение с братом Сергеем Евграфовичем «имение своё, состоящее Ярославской губернии Угличского уезда в селе Заозёрье с деревнями 1354 души (из них в селе 646 и в деревнях 708 душ), той же губернии Даниловского уезда деревни Куреево и Липовец (39 д.) и Тверской губ. Калязинского уезда в дер. Новинках и сельце Мышкине (44 души) и лесной даче Филиппцево – 100 десятин».

После общего раздела братья не только не стали делить полученное между собою, но Михаил Евграфович, занятый своими литературными и административными делами, передал управление им Сергею Евграфовичу, по-братски решив, что любые вопросы, если они возникнут, можно решить сообща. И так длилось вплоть до кончины брата в 1872 году, после чего возникло дело о так называемом «заозерском наследстве». К его подробностям мы, сохраняя справедливую интригу, обратимся в необходимом месте нашей повести, а пока лишь заметим, что, став в эпоху реформ совладельцем, если считать с женщинами, около четырёх тысяч крепостных и земельных угодий, Салтыков решил купить собственное имение, тем самым, очевидно, переводя себя в состояние владельца, свободного от неотвратимых эксцессов с крестьянами.

Это также обернулось историей не без фарсовых подробностей. Разумеется, имение искалось на пространстве, близком к салтыковским владениям, и в итоге взгляды Михаила Евграфовича и Елизаветы Аполлоновны остановились на подмосковной усадьбе при селе Витенёве на реке Уче, близ станции Пушкино Ярославской железной дороги. (Название станции – по старинному селу поблизости и не связано напрямую с именем «солнца нашей поэзии». Хотя у нас всё так или иначе связано с Александром Сергеевичем, и «Пушкину тринадцатого выпуска», вне сомнения, было приятно сознавать, что поблизости от его дома – Пушкино. «Прошу заехать ко мне в деревню, – приглашает он в гости Некрасова. – Поворот ко мне с Пушкинской станции».)

Покупку Салтыковы (существенная подробность: имение приобреталось на имя Елизаветы Аполлоновны) совершили вскоре после

подачи Михаилом Евграфовичем прошения об отставке, то есть в конце января или в самом начале февраля 1862 года (бумаги не сохранились).

С. А. Макашин в отдельной статье подробно разобрал витенёвскую страницу жизни Салтыкова. Причём, что очень важно, отказался от обычной для его фундаментальной биографии тональности, настраивающей читателя на представление о Салтыкове как о прогрессисте-альтруисте, «главной идеей жизни» которого была «идея общественного служения литературы»<sup>[10]</sup>. Мы же, при чтении салтыковских сочинений и писем, при изучении документальной фактографии, собранной о нём (прежде всего, тем же Макашиным), вновь соглашаемся со справедливостью уже упомянутого толстовского суждения о том, что (на этот раз приведу его полностью) «для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений».

Именно поэтому ваш покорный слуга и взялся за повесть о жизни Салтыкова, что надеюсь, рассказывая о его земных годах, приблизиться самому и приблизить читателей к пониманию тех законов, которые служили основанием для появления салтыковского бесконечного лабиринта сцеплений. Мне незачем сколько-нибудь подробно разбирать здесь его творения: они есть в библиотечном, электронном и книгопродавческом доступе, берите и читайте. Как перечитываются великие книги, так вновь и вновь надо, чтобы понять великую жизнь Салтыкова, всматриваться в подробности этой жизни.

Он сговорился купить Витенёво за 35 тысяч рублей серебром, и ему пришлось влезть в большие долги – в том числе у матери он взял займы 23 тысячи рублей. За эти деньги он получал обширное хозяйство – при «господском доме» было 680 десятин земли «с находящимися на той земле лесами, водами и всякого рода угожьями», а также водяная мельница, бумажная фабрика в личном владении, «другие хозяйственные строения и заведения».

Однако уже на первом шаге по пути нового хозяйствования Салтыков обидно оступился. Как мы помним, он покупал имение зимой – но приехал его осматривать без подробных планов, вспоминал А. М. Унковский, поверхностно, как говорят французы, *vol d'oiseau* – «с птичьего полёта». Особый расчёт у писателя-помещика был на «ценность большого строевого леса и громадных запасов сена, от которых, по-видимому, ломились большие сараи. Между тем, немедленно после совершения купчей и



вручения денег продавцу, показанный ему лес оказался принадлежащим к соседней даче графа Панина, а сена оказалось не более нескольких пудов, которыми были заделаны ворота сараев». Так что имение оказалось почти бездоходным, а в дальнейшем, по свидетельству того же Унковского, разворовывание салтыковского хозяйства продолжилось.

И здесь надо вновь сказать похвальное слово Салтыкову-писателю. Он сумел без промедлений не только посмотреть на витенёвскую коллизию со стороны, но фактически превратить себя, «сельского хозяина, самого на практике испытавшего всю горечь этого ремесла», в главного персонажа собственного «летнего фельетона» «В деревне» (1863).

Салтыков-художник отодвигает от письменного стола Салтыкова-публициста (фельетон напечатан в «Современнике» без подписи). Отодвигает и создаёт потрясающую грибную рапсодию, которая только по лености и нелюбопытству наших методистов до сих пор не попала в хрестоматии по изящной словесности и политэкономии.

Тема сочинения: «деревенское дело выгодно и занято только для того, кто принимает в нём участие непосредственным своим трудом» – «не командованием только, не “печалованием”, а именно личным, тяжёлым трудом».

Прелюдия (на тему Афанасия Афанасьевича Фета) «Содержание домашней птицы»: «Утверждают люди сведущие, что крестьянину это содержание ничего не стоит, да этому можно и поверить. Тут всякая крошка идёт в дело; всё, что хотя и негодно для непосредственного употребления крестьянской семьи, в общем обороте хозяйства представляет статью далеко не бесполезную. Напротив того, в помещичьем хозяйстве (по упразднении крепостного права) вырастить птицу дома стоит гораздо дороже, нежели купить такую же на базаре, если не лучше. Теперь не такое время, когда птицам и другим домашним животным полагалось питаться остатками от скудной трапезы дворовых людей; теперь этих остатков не полагается; поэтому птица, хотя бы это была даже курица, освобождается от обязанности крохоборствовать (своего рода эмансипация), а требует особой и притом определённой дачи корма. “Так вот ты и увидишь, батюшка, во что оно тебе вскочит!” – говорила мне по этому случаю добрая моя знакомая...»

Отношения Салтыкова и Фета требуют особого весёлого рассказа, но и этот эпизод даёт возможность улыбнуться. Откуда здесь взялся Фет? Известно, что в отличие от абсолютного большинства русских писателей, пытавшихся не только упиться «поэзией земледельческого труда», но попросту стать аграрием, лишь Афанасию Афанасьевичу, едва ли не

единственному, удалось добиться здесь заметных успехов. О них он рассказывал в своих статьях, печатавшихся в «Русском вестнике» с 1862 года.

Но и в сельскохозяйственной публицистике Фет оставался поэтом, художником слова. Очерк о крестьянском скоте и птице, «вечно таскающейся по чужим дачам» и другим помещичьим владениям, Фет назвал «Гуси с гусенятами». В нём он проводил свою излюбленную идею, что дешевизна крестьянской продукции относительно помещичьей объясняется лишь постоянными потравами помещичьих угодий, с чем следует бороться строгими штрафами (впрочем, даже сцены штрафования получались у Фета весьма живописными).

Салтыков Фета невзлюбил давно и не упускал случая его пнуть (и в 1863 году тоже). Но в анонимной статье переходить на личности бесчестно – поэтому Салтыков, очевидно зажёгшись от пейзажных образов Фета, вначале выдал приведённый выше, явно полемизирующий с его карательным пафосом пассаж, а затем пишет воистину литературную рапсодию: «Из всего деревенского дела горожанину остаётся одна только отрасль – собирание грибов. О вы, которые смотрите высоко на это невинное занятие, будьте снисходительны к нему именно во уважение его невинности! Помните, что человек, предающийся ему, никого не убивает, не подрывает ничьей репутации, ни на кого не клеветает. Беспечно бродя с лукошком по лесу, он может обдумывать, что ему угодно, может воображать себя гражданином вселенной, может возвыситься даже до мысли о бессмертии души... покуда не блеснёт ему изо мха яркооранжевая головка осинника или не заставит разыграть в нём сердца иссиа-палевая шапка белого гриба! Недаром же замечено, что люди, у которых охота к собиранию грибов доведена до страсти, бывают склонны к мыслям о бесконечном, и притом самые пламенные консерваторы. Постоянно находясь на лоне природы, взявши на себя роль присяжных свидетелей её творчества, они находятся в непрерывном умилении и до того отождествляются с наблюдаемым ими грибным строем, что переносят его и на весь остальной мир. Ясно, что из этого ничего, кроме хорошего, произойти не может; ясно также, что если помещики русские захотят послушаться моего совета, то оставят всякие заботы о недоступном для них сельском хозяйстве и примутся за собирание грибов...»

Почти с тоской прерываю цитирование, оправдывая себя лишь тем, что очерк этот (как, впрочем, и очерки Фета) легкодоступен для современного читателя с интернетом.

Салтыков с таким упоением и знанием дела описывает «смирненную

охоту ходить по грибы» (выражение С. Т. Аксакова) и разные виды грибов (включая мухомор – «завидное лакомство»), что даже не зная о нём ничего, скажешь: это рассказ истинного грибника. Или, во всяком случае, истинного писателя, который влез в душу грибника... Влез, но всё же не растворился в ней, ибо Михаил Евграфович помнит, что пишет не микологическое стихотворение в прозе, а фельетон.

Поэтому он встряхивает размечтавшегося в грибных местах своего читателя: «Первый и заклятый враг гриба есть русская баба, которая чутьём слышит гриб и истребляет его почти в утробе земли-матери, начиная благородным белым грибом и кончая тощею и незвращною сыроежкой. Естественно, что она же должна явиться страшною соперницею землевладельца и на этом поприще. Землевладелец-горожанин просыпается поздно, баба встаёт с восходом солнца, обшаривает все кусты и как ни в чём не бывало уже занимается обычной работой в то время, как землевладелец, потягиваясь в постели, мечтает о том, как он будет, под сению дерев широковетвистых, срывать грибы наслаждения. От этого соперничества не упасут его ни канавы, ни убеждения; нет той канавы, через которую не перелезла бы русская баба, нет того увещания, которого бы она послушалась, когда дело идёт об интересах ея ненасытной утробы!»

Теперь довольно. В небольшом фельетоне Салтыков не только высмеял прямолинейные (и не только фетовские) формы взаимоотношений между помещиками и крестьянами, не только посмеялся и над собственными аграрными опытами, но, главное, показал, что происходящее на пространствах России, вступившей во второе тысячелетие своего существования, остаётся *бесконечным лабиринтом сцеплений*.

Воистину: «Кто желает с успехом охотиться за грибами, тот должен искать их не столько по лесам и рощам, сколько в собственном сердце своём».

В этом же фельетоне аноним-Салтыков язвительно высказывается о ходкой тогда идее сближения сословий: «Не затевай игру в сближение сословий, ибо такая попытка поведёт лишь к бесплодной трате времени, конфузу и позднему раскаянию». Нельзя не заметить, что в этой части фельетона Салтыков солидаризуется с идеями рассказа Достоевского «Скверный анекдот», опубликованного в ноябрьском (1862) номере его журнала «Время». В одном абзаце Салтыков даёт квинтэссенцию рассказа: «Положим, что вы приходите туда, где шумит простолюдинское веселье; веселье это самое искреннее, и потому оно резво, и нельзя сказать, чтоб очень чинно; но с вашим приходом вы видите, что вдруг всё изменяется: песня спускается тоном-двумя ниже, смех умолкает; праздник, бывший в

полном разгаре, внезапно заминается. Точно тень какая-то набежала на все лица, точно укор какой стремится к вам отовсюду за то, что вы смутили общую радость. И если в вас осталась хоть капля совестливости, вы повертите, повертите тросточкой и уйдёте, поджавши хвост, домой».

Этот пассаж особенно выразителен потому, что ещё в сентябре Салтыков напечатал во «Времени» очерк «Наш губернский день», после чего вместе с Помяловским и Некрасовым прекратил сотрудничество с журналом, а с 1863 года во вновь разрешённом «Современнике» начал долгую полемику с Достоевским. Но вот на что ещё следует обратить внимание: разрыв Салтыкова со «Временем» и последующие журнальные драки были связаны с *нашей общественной жизнью*, со злободневными политическими событиями того времени. Однако ввязавшийся в гражданскую войну в литературе Салтыков не может забыть писательского первородства. Вне сомнений, написанный в родной для него гротескной манере, пронизанный мягко-ядовитым комизмом «Скверный анекдот» не оставил Салтыкова равнодушным. И он, как мог в чаду словесной войны и корпоративных стеснений, выразил изображённому в рассказе свою читательскую радость и поддержку писателя-гражданина.

\*

Вернёмся в начало 1862 года. Мы, собственно, с ним и не расставались, ибо фельетон «В деревне» вырос у Салтыкова из витенёвских воспоминаний лета того же года. Но эти воспоминания не могли не сплестись с тем, что он пережил весной, когда попытался учредить свой журнал. У него были в этом деле соратники: уже неплохо знакомые нам кузены-тёзки Унковский и Головачёв. Также Салтыков, очевидно, собиравшийся вести подвижную жизнь, решил взять соредактора – выбор пал на тридцатилетнего Аполлона Филипповича Головачёва, двоюродного брата Алексея Адриановича. Это был человек с явной литературной жилкой, хотя впоследствии прославился главным образом в литературно-матримониальном пространстве – как второй официальный муж Авдотьи Яковлевны Панаевой и отец Евдокии Нагродской, одной из пионерок русской эротической литературы Серебряного века. Все они были тверяки, тесно связанные с тверской землёй, для всех Москва была удобнее Петербурга.

К постоянному сотрудничеству в журнале Салтыков также пригласил поэта средней руки, но социально активного Алексея Плещеева, бывшего

петрашевца. Он, хотя Салтыков готовил учреждение журнала в доверительной среде, тут же, по своему простодушию, проболтался о том, что «затевается рган» в письме Достоевскому.

Возникла среди отцов-основателей *ргана* и загадочная фигура Александра Ивановича Европеуса. Он, в то время бежецкий мировой посредник, был выпускником Александровского (Царскосельского) лицея – и опятьтаки петрашевцем, вместе с Достоевским и Плещеевым прошедшим инсценировку смертной казни. В Твери вместе с Унковским признавался лидером либерального дворянства; С. А. Макашин считает его тверским корреспондентом герценовского «Колокола». Подвизался он и в журнале «Современник», но своеобразно, иначе почему его там стали называть «устным сотрудником»?! Всматриваясь в затуманенную фигуру Европеуса, перебирая упоминания о нём, вдруг начинаешь видеть в Александре Ивановиче явственные черты не только грибоедовского Репетилова, но и главных персонажей щедринского романа «Современная идиллия». Но я не утверждаю, что в своих взглядах Европеус отдрейфовал вправо. Едва ли, ибо, например, известно, что в 1866 году он привлекался по делу террориста Каракозова. Суть не в политических взглядах Европеуса, а в том, что он въяве выражал то, что Грибоедов и Салтыков воплотили в своих персонажах – политическое пустозвонство, доходящее до полной душевной пустоты, фразёрство, развитое до многословной бессмыслицы. А это можно встретить на противоположных флангах политического поля. Так что прочитать «плоды раздумий» Европеуса на страницах салтыковского журнала было бы интересно... Или он и здесь стал бы «устным сотрудником»? Но, во всяком случае, можно предположить, что всей своей кипучей деятельностью Европеус что-то существенное Салтыкову-сатирику открыл, зачем-то он ему был нужен. Если не появился в будущей редакции сам – как вольноопределяющийся (так в тогдашней России называли добровольцев).

Наконец, надо назвать ещё одного вольноопределившегося добровольца. Это был Борис Исаакович Утин, ещё недавно профессор-юрист Петербургского университета, покинувший учебное заведение вместе с несколькими профессорами в знак протеста в связи с расправами над участниками студенческих волнений в 1861 году. Это был тридцатилетний красавец-интеллектуал, в натуре которого нашли согласие жизнерадостный авантюризм, прагматизм, пунктуальность и верность обязательствам чести не только на научном поприще (его магистерская диссертация в Дерптском (Юрьевском) университете называлась «Об оскорблении чести в соответствии с российским законодательством,

начиная с XVIII века»). Ещё в молодости Утин арестовывался по делу – да, вы догадались! – петрашевцев; поэтесса Каролина Павлова, влюбившись в него, тогда студента, написала цикл стихотворений, среди которых и знаменитое «Когда один среди степи сирийской...».

Ушедший из профессуры Утин опасался высылки из Петербурга и, стремясь перестраховаться, предложил Салтыкову стать материальным соучредителем журнала (то есть внести наряду с ним, Унковским и Алексеем Головачёвым сумму в пять тысяч рублей). Одновременно Утин попросил место редактора политического обозрения.

Салтыков на всё предложенное не только с радостью отозвался, но и нагрузил Бориса Исаковича (он обращался к нему в письмах так) дополнительными обязанностями: «Пребывание Ваше в Петербурге не может иметь никакого влияния на тот отдел, который Вы берёте в своё распоряжение, тем более что все мы в этом случае вполне Вам доверяем. Было бы желательно также, чтобы Вы приняли на себя критический обзор русских и иностранных сочинений, а также журнальных статей по тем отраслям наук, которые Вы найдёте более для себя близкими, а также чтение присылаемых в журнал статей по тем же предметам». Помимо этого, он просил Утина справиться в Министерстве народного просвещения о судьбе их прошения о разрешении журнала, посланного, как было положено, через Московский цензурный комитет. И Утин всё порученное ему незамедлительно выполнил.

Журнал решили назвать «Русская правда». С. А. Макашин без каких-либо обоснований высказывает соображение, что тем самым Салтыков и его соратники хотели повторить «наименование одного из программных документов декабризма, “Русской Правды” Пестеля». Правда, сопровождает эту лихую гипотезу коротким примечанием: «Не исключено, впрочем, что, называя так свой журнал, Салтыков рассчитывал вместе с тем и на определённые ассоциации с “Русской Правдой” древней Руси (сборник норм древнерусского права)».

С такими интерпретациями невозможно согласиться уже потому, что в русском общественном сознании XIX века пестелевская «Русская правда» была абсолютной крамолой – при этом крамолой малоизвестной, почти недоступной. Только в советское время, когда произошла спровоцированная Лениным канонизация участников декабристского путча, «Русская правда» Пестеля была реконструирована и издана. Так мы смогли прочитать один из самых радикальных проектов тоталитарного переустройства нашей страны, состоявшийся с воплощённой большевистской антиутопией. Если и доискиваться каких-то связей

«Русской правды» Пестеля с салтыковскими трудами, то надо обратить внимание на угрюм-бурчеевские преобразования в «Истории одного города». Черты сходства поразительные!

При этом ни Салтыков, ни Унковский, ни юрист-профессор Утин, который тоже читал программу журнала и сделал по ней свои замечания, и даже, вероятно, Европеус не страдали слабоумием. Зачем же затевать журнал, если ему дано совершенно непроходимое наименование?!

Справедливее предположить, что это мы, продукты коммунистического воспитания, соответствующим образом модернизируем мышление Салтыкова и его современников. К сожалению, это для нас важнейший памятник древнерусского права Русская Правда, восходящий к XI веку, мало что значит. У нас своё – Пестель, декабристы, Ленин! Но так было не всегда. Открытый в 1738 году В. Н. Татищевым текст памятника с тех пор углублённо изучался, разыскивались и отыскивались разные его варианты. К середине XIX века именно эта Русская Правда стала важнейшим источником для изучения Древней Руси, и Салтыков, выбирая в год тысячелетия России такое название, разумеется, не сворачивал в кармане кукиш в форме пестелевского профиля, а, напротив, хотел по-своему вписаться в исторический контекст современности. Также надо помнить, что Ярослав Мудрый, чьё имя в обыденном сознании уже тогда было связано с Русской Правдой, изображался на готовящемся к открытию в Великом Новгороде памятнике «Тысячелетие России» не только как великий князь Киевский, князь Новгородский и Ростовский, но и как автор первого письменного русского законодательства.

И самое главное: есть программа предполагаемого журнала «Русская правда». И здесь, в частности, сказано: «Главную цель, которой будет неизменно служить новый журнал, составляет: утверждение в народе деятельной веры в его нравственное достоинство и деятельного же сознания естественно проистекающих отсюда прав. Будем откровенны: цель эта, не только главная, но, по нашему мнению, и единственно жизненная, единственно возможная для предприятия, имеющего общественный характер... <...> в настоящее время самый существенный для него (народа) интерес заключается не в отыскании более или менее отдалённых идеалов общественного устройства, но в том, чтобы твёрдо стать на ногах, сосчитать свои силы и устранить те неблагоприятные условия, которые могут препятствовать дальнейшему свободному развитию русской жизни».

Бесспорно, есть программа – и есть живая работа. С такой петрашевской командой, которую набрал Салтыков (хорошо знавший,

между прочим, сильные и слабые стороны личности Михаила Васильевича и сам переживший его обаяние), скучать при издании журнала не пришлось бы. Но всё-таки, хотя С. А. Макашин предлагал рассматривать «Русскую правду» как литературно-политический журнал, такая точка зрения едва ли может быть признана состоятельной. Во всяком случае, «политика» в XIX веке толковалась не так, как толкуется теми, кто пережил политический террор в XX веке.

Во главе издания становился писатель – уже с именем, молодой, энергичный, амбициозный. Журнал, вероятно, по примеру «Русского вестника» и в очевидном соперничестве с ним, что видно уже из соотношения названий да и одного города издания, должен был выходить дважды в месяц. Главенствовал в нём раздел «Словесность. Романы, повести, рассказы, драматические произведения, очерки, путешествия и проч.» (отметим, что поэзия оставлена вне поля предпочтений, хотя раздел «Смесь» – «Фельетон, статьи юмористического содержания и т. п.» – в «Русской правде» намечался).

Важнейшими признавались разделы: «Науки» («В этом отделе будет обращено преимущественное внимание на то, чтобы излагать перед читателями в возможно полном и общедоступном виде современное положение главнейших вопросов по всем отраслям человеческих знаний»), «Критическое обозрение» («Разбор замечательных русских и иностранных сочинений и журнальных статей») и «Современное обозрение».

Предполагаемое содержание последнего пояснялось непропорционально, отдел делился на две части: «а) внутреннее обозрение, в котором будет представляться периодический общий и систематический обзор всех замечательных явлений нашей жизни, как то: движение русского законодательства, правительственных распоряжений и всех событий, имеющих какое-нибудь значение в нашей государственной и общественной жизни. В этой части также будут помещаться корреспонденции из разных мест России, небольшие статьи, относящиеся до местных провинциальных интересов или имеющие временное значение, полемика по этим предметам и т. п. и б) политическое обозрение».

Как видим, о политическом (в понимании того времени) в журнале сказано предельно кратко. И, думается, дело не в предосторожности перед цензурным комитетом – там сидели очень неглупые люди, порой и с литературными способностями. Брать на себя обязательства ввязываться в политическую деятельность при существовавшем порядке вещей мог только шарлатан или безумец, подобный Заичневскому. Салтыков ни тем, ни другим не был.



Даже в подробной программе журнала, которую не подавали в цензурный комитет, а предполагали печатать для привлечения подписчиков, речь идёт не о политических дискуссиях с последующими протестными телодвижениями, а о проблемах «современной обстановки народной жизни», о «подробном и добросовестном изучении народных нужд» и об осознании их «законности» самим народом.

В программе есть очень важный пункт об отношении к различным общественным силам, начиная от ретроградных: «...если и встретим на пути своём преткновения, направленные из лагеря старичков, то преткновения эти будут временные и отнюдь не серьёзные.

Гораздо более опасности предстоит с другой стороны, а именно со стороны недостатка единодушия и полного отсутствия дисциплины в различных оттенках партий прогресса, образовавшихся в последнее время в русской литературе и русском обществе... <...> мы считаем долгом заявить, что прежде всего обращаем внимание на практические результаты, к которым стремится каждый из них, взятый в отдельности, а не на общие, более или менее отдалённые принципы, которые питают их... <...> мы, нижеподписавшиеся, в нашей журнальной деятельности, будем преследовать не столько единство принципов, сколько единство действия. Когда мы достигнем хотя одного сколько-нибудь практического результата... <...> тогда мы будем иметь ещё достаточно времени, чтобы счестся между собой относительно основных принципов... <...>

К какой же партии мы принадлежим?... <...> мы принадлежим к партии, и в доказательство ныне же объявляем ближайший девиз её: утверждение в народе деятельной веры в собственное достоинство и деятельного же сознания прав, которые отсюда происходят».

Однако предприятие рухнуло. Несмотря на то что учредители «Русской правды» вооружились всеми документами, необходимыми для разрешения издания (Салтыков даже получил рекомендательное «свидетельство» от своего недавнего начальника графа Баранова – тот дружески подписал составленную Салтыковым бумагу), им 5 мая 1862 года было отказано. Внешне отказ был формальным и убедительным: в те месяцы действовал временный запрет на разрешение новых изданий по причине происходящего пересмотра прежних постановлений. Но Салтыков не стал ждать рескрипта с новыми правилами, а попытался купить какое-то из существующих изданий. Увы, на этом пути он столкнулся с интересами Некрасова, который, предчувствуя неприятности с «Современником», хотел сделать своей новой площадкой предполагаемое новоприобретение Салтыкова – журнал «Век», и в итоге эта запутанная интрига не дала

никакого результата.

Финал попытки издавать «Русскую правду» получился гротескным. В коридорах власти по каким-то причинам устыдились замораживания разрешений на издание и в сентябре 1862 года попытались в порядке исключения некоторые издания разрешить. Однако два министра – народного просвещения и внутренних дел – решили перестраховаться и обратились за поддержкой к главноначальствующему III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, шефу жандармов, князю Василию Андреевичу Долгорукову. И в своём ответе князь и шеф жандармов глубокомысленно заметил: «Умножение периодических изданий может быть допускаемо с крайнею осторожностью, так как даже при неимении предосудительных сведений насчёт тех лиц, которые желают быть редакторами, нельзя быть уверену в благонадёжности их собственно по этому званию...»

Более красноречивого определения сути редакторской должности невозможно придумать! И в полном соответствии с долгоруковским циркуляром редакторская «благонадёжность» Салтыкова и Аполлона Головачёва была в III отделении проверена, и в издании «литературного и политического журнала “Русская Правда” статскому советнику Салтыкову» было отказано.

То, что хотел, и то, что смог сделать Салтыков на посту редактора (соредактора) журнала, мы рассмотрим в следующей части нашей биографической повести. А пока ему предстояло заняться просто журнальной работой, стать сотрудником «Современника», который после восьмимесячного запрета стал издаваться вновь.

Насидевшись и нагулявшись в приглянувшемся им с Елизаветой Аполлоновной и действительно живописном, уютном, побуждавшем к спокойному и свободному творчеству Витенёве, Салтыковы осенью 1862 года отправляются в Петербург.

Два последующих года жизни Михаил Евграфович отдал «Современнику». В щедриноведении эти годы оцениваются в целом сдержанно, ибо их творческий результат скромнен (причём не только у Салтыкова, но и у «Современника»). Огромная человеческая энергия, непомерный художественный заряд ушли на бессмысленную и беспощадную журнальную полемику, на участие в том, что было названо Достоевским «расколом в нигилистах».

«Современник», когда в нём появился Салтыков, окончательно превратился в скопище малоприятных личностей, которые ввязались в нескончаемые и бесплодные дразги с «Русским словом» Писарева и

Варфоломея Зайцева, а потом и с «Эпохой» Достоевского. Нередко в советском литературоведении выплывали суждения, что на судьбу «Современника» роковым образом повлияли многие события: смерть Добролюбова, арест и репрессии против Чернышевского, наконец временное прекращение журнала в 1862 году...

Нет, причина была не в том, что «Современник» закрывали. Его потому и закрывали, что журнал из респектабельного издания, прославившегося отысканием новых талантов и публикациями литературных мастеров, превратился в приют нервических утопистов и полубезумных радикалов. Триединный и вечный завет братьям по лире основателя журнала Пушкина – *пробуждать лирой чувства добрые, восславлять свободу и призывать милость к падшим* – был забыт. С журналом перестали сотрудничать настоящие писатели, порой становилось непонятно: помещения редакции журнала, выпестованного под пушкинской сенью, – место встречи литературных единомышленников или конспиративное логово для злобных заговорщиков и беспощадных террористов?

При этом советское литературоведение, создававшее историю русской литературы по марксистско-ленинским лекалам, так и не удосужилось честно и беспристрастно разобраться с историей «Современника», который ещё в 1840-е годы преобразовывался Некрасовым и Белинским из «литературного журнала А. С. Пушкина», как его поначалу называли, в площадку для стычек с властью. Спору нет, в стране без представительных органов, с жёсткими сословными разграничениями, наконец, с крепостным правом приходилось искать, как выразились однажды, *место для дискуссий*. Но тогда надо признать и то, что маскируемые дискуссии эти, как правило, развиваются в сторону прекрасно предсказуемых в России непредсказуемых последствий. Это всецело понимали не только Белинский и Некрасов, но и Александр Васильевич Никитенко, профессор Петербургского университета (впоследствии академик), «умеренный прогрессист» по самоопределению. Будучи приглашён в 1847 году в «Современник» в качестве официального редактора, он вскоре отказался от такого почёта, ибо, хотя и был цензором, не привык играть втёмную. «Современник» при Некрасове сам выбрал свою судьбу. И недаром основательного Никитенко сменил гедонистичный и авантюристичный по природе своей Иван Иванович Панаев, а потом пришло время экстравагантного ригориста-эмансипатора Чернышевского и Добролюбова, вдыхавшего полной грудью и радости мира прекрасного, и горести тёмного царства. Но надо же было что-то оставить и литературе!

Да, проблема личности писателя, разумеется, запутанна. Однако окончательно запутана она именно советским литературоведением, зубодробительным и ханжеским одновременно.

Как могут видеть читатели, в нашей биографической повести мы стараемся не доходить до крайностей биографической литературы – то есть следуем только за фактами, а не за имитацией их. Поэтому мы со скепсисом, о чём писали в соответствующем месте, отнеслись к истории о некоей дочери Салтыкова, якобы появившейся у него в Вятке. Лишь потому, что факты не сходились во времени и не прослеживались в пространстве. Но есть более сложные места салтыковской биографии, которые необходимо прояснить.

Доподлинно установлено, что Михаил Евграфович, всегда живо всматривавшийся в морфологические особенности российского общества, в годы службы в «Современнике» заинтересовался так называемыми нигилистами, тем более что за ними и далеко ходить не надо было. При этом будем помнить, что в начале 1860-х Салтыкову едва исполнилось тридцать пять, а многие фигуранты общественно-политического движения шестидесятых годов были моложе тридцати, а то и пребывали в совсем юном возрасте.

Среди авторов «Современника» был выпускник училища правоведения, чиновник Государственной канцелярии, публицист Юлий Галактионович Жуковский. В его доме постоянно собирались авторы журнала (Некрасов и Салтыков приходили «запросто, без приглашений») «и за разговорами и горячими спорами проводили целые ночи». Вероятно, благодаря морально раскованному Жуковскому, у которого завязались страстные отношения с одной из жительниц хорошо известной Знаменской коммуны, Салтыкова стали постоянно видеть и здесь. Коммуну устроил, как известно, одарённый прозаик, жизнелюб Василий Слепцов. Князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, написавший, по признанию многих, выдающееся исследование «История русской литературы с древнейших времён по 1925 год», отмечал в нём, что Слепцов «обладал необыкновенной привлекательностью для противоположного пола; он осуществлял на практике идеалы свободной любви, которые пропагандировало его поколение».

Разумеется, с точки зрения современной морали, Знаменская коммуна (многокомнатная квартира в доме на Знаменской улице, в советское время получившей красноречивое название «улица Восстания», располагалась не так далеко от редакции «Современника» на Литейном проспекте) представляет нечто заурядное, но 160 лет назад для одних это было гнездо

невероятного разврата, для других – пространство свободы и любви. Здесь получали приют барышни из хороших семей и молодые дамы (кое-кто с детьми), во всех смыслах не нашедшие общего языка со своими мужьями или возлюбленными. Все они пребывали в свободном поиске жизненной судьбы, и коммуна, в тогдашних жёстких по отношению к женщинам ограничениях, вызвала всеобщий интерес. В том числе властей и, вне всяких сомнений, писателей.

Один из них, начинающий литератор Николай Лесков, будучи и сам человеком больших страстей, изобразил эту коммуну в своём первом романе «Некуда». Но что-то пошло не так, и за своё живописание Лесков, по совокупности творческих заслуг в 1862–1864 годах, был, как мы уже отмечали, сметён так называемой демократической критикой на обочину магистральной дороги русской литературы и долго в этой канаве приходил в себя.

Появление женатого на красавице неиссякаемого ревнивца Михаила Евграфовича среди прокуренных и коротко стриженных «нигилистов» Знаменской коммуны не должно нас смущать. Как помним, Салтыков и сам был заядлым курильщиком. *Дух дышит, где хочет*, и писатели смиренно ищут разрешения волнующих их вопросов там, где считают нужным. В Знаменской коммуне бывали едва ли не большинство литераторов круга «Современника», впрочем, заглядывали на огонёк все, кому это было интересно, – что полностью соответствовало принципам коммуны. Бывали здесь поэт-сатирик и переводчик Дмитрий Минаев, актёр и писатель Иван Горбунов, пожилой книголюб, остролов и друг Белинского Михаил Языков... С. А. Макашин со свойственной ему прекрасной педантичностью напоминает, что именно в доме Языкова в лицейские годы Салтыков «имел возможность часто видеть и слышать Белинского» (свидетельство А. Я. Головачёвой-Панаевой), однако в Знаменскую коммуну все они приходили не с тем, чтобы предаться воспоминаниям о *неистовом Виссарионе*, и даже не затем, например, чтобы обсудить подробности его прикровенной переписки с Михаилом Бакуниным и воззрения Николая Станкевича на этот предмет.

Так же редуцированно анализируется и тот пассаж из «Моих воспоминаний» Фета, где повествуется о высказываниях Салтыкова, отвечающего на удивлённый вопрос Тургенева об участии детей, могущих появиться у «мужчин и женщин в свободном сожителстве» Знаменской коммуны. Между тем дети в коммуне если и не рождались (она просуществовала меньше года), то всё же проживали: в частности, дети были у Александры Маркеловой и Екатерины Цениной (в девичестве

Ильиной), ставшей затем женой Юлия Жуковского.

Когда на Святках 1863 года в коммуне устроили литературно-музыкальный вечер, в нём участвовал и Салтыков. Его многолетний сослуживец (не поворачивается язык сказать: соратник) Григорий Захарович Елисеев в своих воспоминаниях свидетельствует, что Салтыков хорошо знал всех живущих в Знаменской коммуне лиц, но не относился к «совместному жительству молодых людей обоего пола» серьёзно, подшучивал над ними и «находил повод к юмористическим сравнениям с подобными фактами в прошлом». Разумеется, надо брать в расчёт и позднейшее замечание Салтыкова – уже в 1885 году, в переписке со Скабичевским, когда речь зашла о Знаменской коммуне, он высказался жёстко: «Это дело было совершенно ребяческое, так что, по моему мнению, об нём лучше всего позабыть».

Но так лишь подтверждается наше мнение, что ни подлинная история Знаменской коммуны, ни причины того, почему Салтыков оказался среди её завсегдатаев, остаются неисследованными. Но факты, которыми мы располагаем, показывают живой характер нашего героя и его наплевательское отношение к принятым в обществе правилам приличия, всегда формальным и в реальности мало что стоящим.

\*

Разумеется, в «современниковские» годы Салтыков не только собирал материалы для своих будущих сочинений в кругах демократической молодёжи. Он, как и на чиновничьем поприще, был очень прилежным сотрудником-редактором. «Ужасное дитя» русской словесности и потрясатель её основ, талантливейший Виктор Буренин находит для Салтыкова слова в превосходной степени. «Салтыков вёл литературный отдел в “Современнике” с примерной внимательностью и усердием, – вспоминает он. – Редактируя работы начинающих беллетристов, он делал нередко в их рассказах и повестях сокращения, поправки и переделки с большим тактом. Я не говорю уже о его советах начинающим писателям и полезных наставлениях: он был превосходным критиком и обладал редким эстетическим вкусом. Он не особенно ценил стихи, даже как будто недолюбливал их, но понимал очень тонко поэтические произведения. Особенно Михаил Евграфович не любил стихи, как он выражался, “куцые, без рифм”».

Однажды, разбирая в присутствии Буренина длинное безрифменное

стихотворение, присланное Плещеевым, Салтыков стал ворчать: «Читаешь, словно мякину ешь...» Возражения Буренина, что в мировой поэзии есть множество стихотворений и даже знаменитых поэм без рифм, Салтыков тоже парировал: «А вот попробуйте почитать теперь “Потерянный рай” или “Германа и Доротею” гётевскую, так, батюшка, устанете».

Не принял «Пушкин тринадцатого выпуска» и довод от Александра Сергеевича: он, мол, полагал, что «для русских стихов рифмы, может быть, и затруднительны» (у Пушкина: «Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. <...> Вероятно, будущий наш эпический поэт изберёт его (белый стих. – С. Д.) и сделает народным»).

«– Ну да что же такое, что Пушкин говорил так? А сам-то писал рифмованные стихи, и, кажется, ведь хорошие стихи, как вы полагаете? – заключил Михаил Евграфович шутливым вопросом. – Вам-то, поэтам, дай волю писать стихи без рифм, так вы их столько напишете, что гонорара за них не напасёмся. Что вам настроичить сотню белых стихов, а глядишь, за сотню-то “Современник” отдай вам полсотни гонорара: ведь Некрасов платит по полтиннику за строчку».

В рутине редакторской непрерывки Салтыков всё же находил время для таких своих сочинений, которые не вписывались в злободневный формат журнала. Среди его художественных свершений тех лет нельзя пропустить выход его книг. Это сборники «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы» (оба под именем «Н. Щедрин»), выпущенные в Петербурге в январе и в конце июля 1863 года. Первый был, как видно, подготовлен им сразу после приезда в столицу. Во второй, кроме опубликованных ранее, Салтыков включил и рассказы, появившиеся в возобновлённом «Современнике». В целом эти две книги представляли его творчество с 1857 года – рассказы, очерки и сцены, публиковавшиеся в различных журналах. Вероятно, Салтыков считал эти книги удавшимися, во всяком случае, в 1880-е годы он переиздавал их дважды, правда, всегда проводя тщательную редактуру.

В самом начале 1864 года и вновь в Петербурге Салтыков выпустил «Губернские очерки». Наконец ему удалось сделать это без участия Каткова. Его неприязнь к Михаилу Никифоровичу продолжала развиваться, и здравых доводов в поддержку этому у меня нет. Дело, полагаю, не в том, что Катков, как обычно объясняли советские щедриноведы, в своих политических взглядах двигался слева направо. Не таким уж безмятежным было это движение – но ведь и про Салтыкова нельзя однозначно сказать, что он двигался от центра влево. Так же и Катков по отношению к

Салтыкову не был столь агрессивен, как Салтыков по отношению к Каткову. Причина этой неприязни связана, скорее всего, с творческими проблемами. Так или иначе, Михаил Евграфович, уже безо всякого участия Михаила Никифоровича, провёл значительную редактуру «Губернских очерков», изменил композицию и некоторые заглавия, разделил сочинение на два тома.

Думается, эти три книжных издания были необходимы Салтыкову не только для подведения итогов предшествующего этапа его творчества. Причина была и в том, что новый этап никак не начинался. Вяз в фельетонных репликах, в мелких рецензиях (как член «команды» «Современника» Салтыков печатался только в нём и «Свистке», сатирическом приложении к журналу). Да, он стал вести в «Современнике» свободное обозрение «Наша общественная жизнь», в котором просматриваются первые черты его замечательных циклов в «Отечественных записках» 1870-х годов. Но с апрельской (1864) частью «Нашей общественной жизни» произошла странная вещь: она была набрана, но в журнал не попала. Как установили щедриноведы, вмешательства цензуры здесь не было. Предположить, что публикацию по каким-то причинам снял Салтыков, невозможно, ибо он использовал часть текста обозрения в статье «Литературные мелочи», которая появилась в апрельском номере.

Скорее всего, в редакции произошла очередная свара, которая привела к отнюдь не волшебным изменениям первоначального текста (полностью был опубликован, тоже не без коллизий, только в XX веке).

Вскоре Салтыков с женой отправился в Витенёво отдохнуть от междужурнальных и внутрижурнальных драк, но это не очень получилось. Его недруг, критик Максим Антонович, возмнивший себя главной идеологической силой «Современника», наследником дела Чернышевского и Добролюбова, вместе с ещё одним наследником Чернышевского и его кузеном, историком литературы Александром Пыпиным не пропустили в номер «Заметку» Салтыкова – справедливую реплику в адрес «Эпохи», притом защитительную по отношению к «Современнику». Пыпин был соредактором Некрасова, но последнего в Петербурге не было.

В сентябре Салтыков написал новый очерк для своей хроники «Наша общественная жизнь» и, отправив его Некрасову, в последующем письме решил расставить все точки над i: «“Заметку” мою в август<овской> книжке не напечатали, и я получил от Пыпина (уже после выхода книжки) письмо, в котором он пишет, что находит мою заметку слишком серьёзною (?). Ну, да чёрт с ними, а дело в том, что мне совершенно необходимо



видеться с Вами и поговорить обстоятельнее. Ибо тут идёт дело об том, могу ли угодить на вкус гг. Пыпина и Антоновича. Я послал на днях мою хронику, с просьбой уважить меня, напечатать без перемен. Что будет – не знаю. Когда я поступал в редакцию, Вы говорили, что необходимо придать журналу жизни, и так как это совершенно совпадало с моими намерениями, то я и отнёсся к делу сочувственно. Надо же дать мне возможность вести это дело».

Ответное письмо Некрасова неизвестно, но хроника Салтыкова в «Современнике» не появилась. И он принял единственно возможное в этих обстоятельствах решение: ушёл, а точнее, не вернулся в опостылевшую редакцию, к мелким, лицемерным людям, погрязшим в демагогических разглагольствованиях о судьбах России.

## В стране волшебств

Сидя в осеннем Витенёве, Салтыков обдумывал возможные свои пути на ближайшие годы.

«Современник» так и не стал родным для него журналом, или, скорее, он так и не пришёлся ко двору «Современника», несмотря на всю свою к нему доброжелательность. Вдобавок участие в междоусобных битвах этого издания сделало невозможным сотрудничество Салтыкова едва ли не со всеми сколь-нибудь серьёзными российскими журналами.

Финансовое положение его из-за долгов по покупке Витенёва и материнской жёсткости при их взыскании оставалось, мягко говоря, унылым. И даже возвращение на государственную службу имело некоторые сложности. Вновь прийти в Министерство внутренних дел Салтыков не мог. Он уходил с вице-губернаторского поста и возвращаться мог, по меньшей мере, вице-губернатором. Наверное, он смог бы получить место гражданского губернатора в какой-нибудь захудалой губернии, однако таковая ему была не нужна. Они с Елизаветой Аполлоновной уже прикипели к Витенёву, да и от заозерских владений не хотелось отдаляться.

Но, как мы уже не раз отмечали, Михаил Евграфович, при всём своём служебном прилежании, никогда не был пресловутой «министерской машиной»; умея без усталости работать, мог и умел, по его же слову, *кутнуть*. В годы редакторства он не порывал своих связей и дружеских знакомств в административных кругах. Понятно и то, что чиновникам – живые ведь люди! – льстило знакомство со «Щедринным», остроумным собеседником, никогда не чванившимся своими литературными успехами, а словно бы стеснявшимся их.

С 1862 года российское Министерство финансов возглавлял старший товарищ Салтыкова по Царскосельскому лицу Михаил Христофорович Рейтерн, из лифляндских дворян. Его отец, храбрый гусар, участвовавший в войнах с Наполеоном, дослужился до звания генерал-лейтенанта, отличившись и в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов. Сын наследовал все лучшие боевые качества отца, применив их на мирном поприще.

Став министром, он начал преобразовывать российскую систему управления финансами так, чтобы она могла обеспечивать широкие реформы императора Александра II. Гласность, нацеленность на увеличение государственных доходов за счёт развития производительных сил России, прежде всего в губерниях, транспортных коммуникаций

(главным образом железных дорог), стимулирование частного кредитования – эти и другие перспективные цели, обозначенные Рейтерном, требовали, естественно, доверенных помощников, и появление Салтыкова как претендента на должность в Министерстве финансов не могло не вызвать у него одобрения. Пожалуй, по душе Рейтерну было и то, что Салтыков не хотел оставаться в Петербурге, а попросил имевшуюся вакансию председателя казённой палаты в Полтаве. Но тут украинскую тему в жизни и творчестве Михаила Евграфовича ограничили обстоятельства. Наверное, при его участии, ибо открылась новая вакансия – в территориально более удобной для него Пензе (где к тому же родилась Елизавета Аполлоновна), и Салтыков получил назначение в этот город.

Казённые палаты в российских губерниях были учреждены при Екатерине II, в 1775 году. На них возложили управление государственным имуществом и строительством в губернии, им были подчинены губернские казначейства. С течением времени круг ответственности казённых палат менялся, разумеется, и в годы реформ тоже. Но при этом они продолжали ведать счетоводством и финансовой отчётностью губернского и уездных казначейств, контролировали поступление государственных доходов и распоряжались всеми губернскими расходами, но под контролем уже Министерства финансов. Также казённые палаты были своего рода объединённой бухгалтерией для всех государственных учреждений в губернии, занимались расчётами налогов, различными взысканиями (по представлению палаты часть из таковых вменялась полиции)...

По рангу председатель казённой палаты был третьим лицом в губернии после губернатора и вице-губернатора. Но по должности пребывал в особом положении, ибо, находясь с губернским начальством в постоянных служебных отношениях, одновременно он руководствовался министерскими распоряжениями и в значительной степени от губернских правителей был независим.

Правда, как оказалось, финансы не очень согласуются с литературой, причём в разнонаправленных смыслах. Его доходы должны были упасть – и они уже в 1865 году упали. Если взять подсчёты самого Салтыкова, выверенные щедриноведами, оказывается, что его годовые доходы от работы в «Современнике» были в два раза выше, чем полное жалованье председателя казённой палаты: шесть тысяч рублей против трёх.

Совсем разрывать отношения с «Современником» и Некрасовым Салтыкову, очевидно, не хотелось, однако никаких компромиссов он не искал. Об этом свидетельствует сохранившееся его короткое прощальное письмо из Витенёва Некрасову, где выверено каждое слово: «Я могу на

будущее время быть только сотрудником издаваемого Вами журнала, не принимая более участия в трудах по редакции». Имя журнала – «Современник» – не произнесено, но, впрочем, мы теперь знаем: как автор Н. Щедрин после этого появился на страницах «Современника» всего один раз, когда в январском номере журнала за 1866 год был напечатан – с большими цензурными изъятиями – его очерк «Завещание моим детям» (его далее вспомним). Но ещё красноречивее то, что этот очерк – вообще единственная публикация Салтыкова в 1865–1867 годах.

После назначения Салтыков затосковал. Вновь возвратившись в Витенёво и просидев там, вероятно, до начала нового года, он жаловался в письмах на то, что ехать в Пензу «противно». Так как нашего героя не назовёшь домоседом, очевидно, причина была именно в Пензе.

Территориальный соблазн победил, хотя для занятия именно полтавской должности у Салтыкова было больше доводов. Здесь родина «бессмертного Гоголя», в творчество которого Салтыков, можно сказать, врос – хотя и, словно остерегая самого себя, раздражался по отношению к разраставшейся в российской словесности «школе Гоголя», которая не только «всемерно старалась выдать из себя что-нибудь очень смешное, но даже принялась рабски копировать у Гоголя самую его манеру писать».

На Полтавщине и климат помягче – о климате, о погоде, как всякий русский, не только московский человек, Михаил Евграфович любил порассуждать. Имея, вне сомнений, и на климат свой взгляд. В одном из писем (правда, позднейшего времени, 1883 года) Салтыков сообщает своему корреспонденту: «Вчера у меня был Островский, который с братцем посетил Кавказ. Ужасно хвалит Батум: вот, говорит, куда ступайте! Климат – чудесный; губернатор – добрейший, а вице-губернатор – ещё добрее. Вот истинное определение русской жизни. Климат хорош; но всё-таки только тогда вполне хорош, ежели и губернатор и вице-губернатор соответствуют. Я это чувство давно испытываю».

Но, пожалуй, с начальством и здесь не возникало особых сомнений: в 1864 году полтавским гражданским губернатором был тоже царскоселец, действительный статский советник Александр Павлович Волков, губернским предводителем дворянства – местный интеллектуал, выпускник Харьковского университета Семён Николаевич Кованько, одновременно состоявший в важной должности помощника председателя губернского статистического комитета (формально председателем числился губернатор), а с полтавским вице-губернатором, также действительным статским советником Александром Михайловичем Быковым Салтыкова судьба всё же сведёт – и дружески сведёт, но позднее, в Туле.

Возможно, был у Салтыкова и литературно-злободневный интерес к Полтаве. Ещё в ноябре 1862 года в уездном городке Порхове Псковской губернии несколько местных помещиков, не смилившихся с началом Крестьянской реформы, во время благотворительного вечера жестоко избили порховского мирового посредника Володиминова за его труды по справедливому составлению уставных грамот и защите прав крестьян. Салтыков, хорошо знавший помещичьи настроения в Рязанской и даже в относительно благосклонной к реформам Тверской губернии, написал для «Современника» статью об этом инциденте, но по каким-то с точностью не прояснённым и, возможно, с цензурой не связанным причинам статья в первоначальном виде не появилась.

В это же время в редакцию из Полтавской губернии пришло письмо, где рассказывалось о скандале с мордобоем между местным мировым посредником и помещиком. Письмо было многословным, но малограмотным, а к тому же ещё и фактически анонимным: подписанным псевдонимом. Как разносторонне опытный человек, Салтыков отнёсся к посланию с возможной осторожностью, но всё же извлёк из него главное: реально существующую, и не только в Полтавской и Псковской губерниях, проблему отношения российского общества к начавшимся реформам. И переделал отторгнутую статью «Несчастье в Порхове» в статью «Известие из Полтавской губернии», где с полной определённости говорилось:

«Ни для кого не тайна, что та часть русского общества, которая называет себя цивилизованою, находится в настоящее время в некотором волнении чувств. “Звон вечеревого колокола раздался – и дрогнули сердца новгородцев!” – сказал некогда Карамзин; то же самое действие произвело на сердца россиян уничтожение крепостного права. Произошёл раскол в той самой среде, которая наиболее заинтересована этим вопросом; явились так называемые крепостники и так называемые эмансипаторы, явились ретрограды и либералы; отцы не узнали детей, дети не узнали отцов. Всё это сгруппировалось в великом беспорядке около крестьянского вопроса, всё это усиливалось вырвать вопрос из рук неприятельской партии и поближе прибрать к себе. Не надо ошибаться: в основании всей этой разладицы лежит крестьянский вопрос, один крестьянский вопрос, и ничего больше; все эти коммунизмы, сепаратизмы, нигилизмы и проч. – всё это выдуманно впоследствии, всё это только затейливые и не совсем невинные упражнения, сквозь которые проходит один мотив: упразднение крепостного права».

Статья была напечатана (Современник. 1863. № 12), сейчас её легко найти и в интернете, в ней и сегодня немало актуального, причём

выраженного мощным салтыковским пером. (Вот пример и литературоведческой добросовестности: статья была напечатана без подписи, но хотя её стиль снимает всякие сомнения, окончательно признали её салтыковской, только изучив гонорарные записи и убедившись, что именно Салтыков получил за неё 75 рублей и собственноручно это засвидетельствовал<sup>[11]</sup>.)

Но после публикации обнаружилось, что письмо с Полтавщины было порождено не поисками справедливости, а банальным сведением счётов с обвинённым в рукоприкладстве помещиком, семья которого в действительности подарила «своим временнообязанным крестьянам их усадьбы и полевой надел, за что и заслужила неприязнь со стороны прочих помещиков Полтавского уезда». При этом деяния мирового посредника были настолько противоправными, что, во избежание уголовного преследования, он «был вынужден оставить Полтаву и удалиться в г. Вельск Вологодской губернии». Таким образом, Салтыкову пришлось писать уточняющую заметку к собственной статье, которая здесь цитируется, а затем, ибо читатели не унимались, ещё одну, вновь разъясняющую позицию автора и редакции: «Второй раз считаем долгом повторить, что ни г. С. и никого вообще из участников этой истории мы не знаем, да и знать не желаем, и что самый факт драки обратил наше внимание единственно с точки зрения тех общих заключений, которые можно было вывести из всех подобного свойства фактов, которых в нашей статье приведено не мало».

Но, думается, явное раздражение Салтыкова по отношению к настойчивым читателям, не обращающим внимания на социально важные суждения, содержащиеся в статье, на серьёзность проблемы в целом, а требующим конкретного осуждения мирового посредника и защиты пострадавшего от него помещика и других лиц, постепенно угасло. Ведь в них жило не просто желание бобчинских-добчинских, чтобы о них узнали в столице – они не хотели, чтобы о них, да ещё и в знаменитом журнале, распространялись превратные вести.

Наверное, окончательно перестроило его взгляд на эту полтавскую историю письмо молодого украинского педагога и писателя Александра Конисского, в 1862 году высланного за участие в политических, «с крайним малороссийским направлением» кружках из Полтавы в Тотьму Вологодской губернии. Конисский, очевидно, хорошо знавший подвиги злополучного посредника, был настолько убедителен (само письмо не сохранилось), что Салтыков послал ему примирительный ответ. Но едва ли забыл о происшедшем, вынеся из него не только урок о необходимости

особого внимания к сведениям, сообщаемым корреспондентами, подавно анонимным, но и живой интерес к полтавским правдолюбцам.

Нам уже доводилось обращать внимание на особую предрасположенность Салтыкова к российской глубинке, на его неподдельный и постоянный интерес к тому, что происходит «во глубине России», уж он-то едва ли согласился бы с Некрасовым в том, что там – «вековая тишина».

Он знал Русь примосковную и Русь тверскую, узнал Русь северную, предуральскую и Русь рязанскую... Узнал и понимал (и передавал это в своих сочинениях), что всюду она разная, со своими языковыми и бытовыми особенностями, со своими нравами. И в понимании этого, в постижении многообразного мира Российской империи нельзя было уподобиться некоторым своим персонажам, можно было только над ними посмеяться.

В комедии «Смерть Пазухина» Салтыков вывел колоритнейшего подпоручика в отставке Живновского, в частности, разглагольствующего: «Где-где я не перебивал? Был, сударь, в западных губерниях – там, я вам доложу, насчёт женского пола хорошо! такие, сударь, метрески попадались, что только за руку её возьмёшь, так она уж и в таянье обращается! Бывал я и в Малороссии, ну, там насчёт фруктов хорошо: такие дыни-арбузы есть, что даже вообразить трудно! Эти хохлы там их вместо хлеба едят, салом закусывают...»

Но Салтыков, слава богу, не Живновский. Украина, куда он так и не добрался, осталась для него «благодатной Малороссией» (он без предпочтений обращался к обоим топонимам), освоенной и постигнутой Гоголем как «мир-город», где своё переплетается со вселенским, народное сталкивается с безразличным, живое оказывается в круговороте с бездушным. Уже в 1880-х, явственно посылая литературный поклон автору «Вечеров», Салтыков открыл свои «Пошехонские рассказы» феерическими историями, одна из которых происходит не более и не менее как «в Киевской губернии, под Чернобылом» (писатель использует одно из тогдашних начертаний названия этого несуществующего теперь города).

И сами «Пошехонские рассказы», и гротескный анабасис начального рассказа не только недооценены, но и попросту не прочитаны. Хотя Салтыков на это надеялся и даже дал нам, читателям, надёжный ключ, отпирающий ворота в это пространство самопознания. «Прошу читателя не принимать Пошехонья буквально, – писал он в те же годы. – Я разумею под этим названием вообще местность, аборигены которой, по меткому выражению русских присловий, в трёх соснах заблудиться способны».

Главное свойство открытого Салтыковым Пошехонья – невероятная его подвижность, с тяготением к беспредельности. Оно не где-то там, оно там, где человек, им объятый. Мы не обретаем Пошехонье в итоге путешествия, мы перетаскиваем Пошехонье за собою и вместе с собою.

Перечитаем этот *чернобыльский*, он же *пошехонский* рассказ, поведанный бывалым офицером Можайского гусарского полка майором Горбылёвым<sup>[12]</sup>, изъездившим «на верном коне всю Россию», причём, как он свидетельствует, «во всех обстоятельствах его жизни, прямо или косвенно, принимала участие нечистая сила».

И здесь, по вышеобозначенной причине, также:

«Ну, сами молоды, знаете, каково барану без ярочки жить. А Хиври, да Гапки, да Окси так мимо и шмыгают, и всё чернобровые. Я в то время песню знал: “И шуме, и гуде, дробен дождик иде”, – сидишь, бывало, на крылечке у хаты и поёшь, а они, шельмы, зубы скалят. Одну ущипнёшь, другую... Вечером ляжешь спать – смерть! Вот я одну и наметил.

– Как тебя зовут?

– Наталка.

– Знаю. Наталка-Полтавка... у Нижнем на ярмарци выдав... Ну, так как же, Наталочка, будешь, что ли, со мной по-малороссийски разговаривать?

– Не знаю, говорит, чи буду, чи нет. Вам, пане, може, панёночку треба?

– Ну их, говорю. Що треба, що не треба... у всех у вас секрет-то один. А ты уж приходи, так я тебе гривенничек пожертвую.

Действительно, как только смерклося – пришла. Разумеется, кровь во мне так и кипит. Запаска – к чёрту, плахта – к дьяволу... и-ах, го-о-лубушка ты моя! И вдруг... чувствую, что сзади у неё что-то шевелится...

– Що се таке?

– А это, говорит, фист.

– Как фист?

– Ведьма же я, милосенький, ведьма...

Вот так праздник! Человек распорядился, совсем уж себя, так сказать, предрасположил – и вдруг: ведьма, фист!..

Являюсь на другой день к полковнику. Докладываю. И что ж бы, вы думали, он мне ответил?

– Ах, простофиля-корнет! не знает, что в Киевской губернии каждой дивчине, в числе прочих даров природы, присвоится хвост! Стыдитесь, сударь!

Разумеется, с тех пор я уж не стеснялся. Только, бывало, скажешь: “Убери, голубушка, фист!” – и ничего. Всё равно, что без хвоста, что с хвостом.



Но Наталки я больше не видал, а только слышал, что она, пришедши от меня, целую ночь тосковала, а под утро села верхом на помело и...»

Правильно: «...и вылетела в трубу».

Но здесь я закрываю томик с «Пошехонскими рассказами» (хотя там и с Полтавской губернией история есть), передавая его читателям, и продолжаю свою биографическую повесть.

\*

В Пензу из Витенёва Салтыков поехал через Москву и Рязань железной дорогой, а затем лошадьми по старинному Московскому тракту. Добрался без приключений и отрапортовал, как положено, начальнику канцелярии министра финансов, что «14 января сего 1865 года вступил в должность». Ему была подыскана квартира на Верхней Пешей улице, близ Соборной площади, в нагорной, центральной части города. Правда, определить точно дом, где жили Салтыковы, до сих пор не удалось.

В отличие от Твери и Рязани, примерно равновозрастных Москве, Пенза как крепость появилась лишь в XVII веке, в царствование Алексея Михайловича. Расположенный при впадении реки Пензы в Суру, имея холмисто-гористый рельеф, город выглядел довольно живописно, это и сегодня отметит любой, кто впервые там окажется. Не была пензенская земля и литературно бесплодной. К моменту, когда здесь появился автор «Губернских очерков», в пензенской литературной летописи уже стояли имена Радищева, Лермонтова, Белинского, Михаила Загоскина, Ивана Лажечникова, молодого возмутителя нравственного и литературного спокойствия Василия Слепцова...

А незадолго до Михаила Евграфовича здесь в 1857–1860 годах нередко бывал ещё один будущий классик русской литературы. В молодости Николаю Семёновичу Лескову удалось устроиться агентом в английскую хозяйственно-коммерческую компанию «Шкотт и Вилькенс», которую возглавлял муж его тётки. Штаб-квартира компании находилась в селе Райском Городищенского уезда Пензенской губернии, но работа была разъездная, так что за три года, по словам Лескова, ему удалось «с возка и с барки» увидеть всю Русь от Белого моря до Чёрного.

Лесков, пятью годами моложе Салтыкова, ещё в большей степени, чем он, был дитя российских реформ. Примериваясь к литературному поприщу, он обратил внимание на удивительное явление тех лет – «трезвенное движение», возникшее в 1858 году и быстро охватившее десятки губерний.

Здесь были созданы общества трезвости, причём от слов быстро перешли к делу: начались «питейные бунты», то есть погромы питейных заведений. Однако протест этот был лишь в малой степени вызван каким-то чудом возникшим мгновенным отрезвлением населения. Причина была в том, что откупная система винокурения, которая имела на Руси многовековую историю, перестала соответствовать хозяйственным интересам страны. Откуп, то есть право за определённую плату производить и продавать алкогольные напитки, был выгоден производителям и государству, но становился всё тяжелее для потребителя.

Лесков, воочию наблюдавший питейные бунты не только в Пензенской губернии, написал три статьи на злободневную тему – «Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, водок, пива и мёда», «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе» и «Очерки винокуренной промышленности (Пензенская губерния)». Но если первые две были опубликованы в специальном «Указателе экономическом, политическом и промышленном», то «Очерки» появились в журнале «Отечественные записки» (1861. № 4). Хотя в ту пору положение журнала было непростым, всё же репутация издания, сосредоточенного на изучении России и представлении её в историческом и современном развитии, сохранялась. Фактический редактор журнала Степан Семёнович Дудышкин оценил труд Лескова по достоинству, а сам автор сохранил в своих бумагах оттиск статьи с собственноручной пометкой: «Лесков 1-я проба пера. С этого начата литер<атурная> работа (1860 г.)», несмотря на то, что имел и более ранние публикации.

Почему Лесков выделил именно это своё сочинение, понятно. Хотя в статье немало статистических таблиц и сугубо экономических расчётов, она читается не как научно-производственный труд. В ней уже чувствуется будущий автор «Отборного зерна», неувядаемого шедевра, раскрывающего вековые механизмы нашего отечественного хозяйствования. Проследивая все этапы пензенского винокурения – от «заподряды вина» в казённых палатах до «получения денег за вино», Лесков сопровождает свою аналитику живыми подробностями и фактами, относящимися именно к этому краю. Обосновывая необходимость рассматривать винокурение как «отрасль сельского хозяйства», Лесков приходит к жёсткому выводу об изжитости откупной системы: «Покровительственные меры правительства, вверившего винокурение помещикам, здесь не достигают своей цели... <... > земледельческие интересы края более выигрывали бы, если б винокурение предоставлено было не одному привилегированному классу, а вообще, без различия сословий, всем лицам, владеющим землею и

занимающимся возделыванием её: от этого вино, как нужный для правительства продукт, нимало бы не вздорожало, а земледелие заметно улучшилось бы».

Не следует, однако, придавать статье Лескова некую революционность. К моменту её появления уже было объявлено об отмене откупов, а с 1863 года была введена акцизная система – как раз министр финансов Рейтерн её и вводил.

Мы обратили внимание на эту статью безвестного тогда Николая Лескова (так статья была подписана, а скандально прославился он в 1862–1864 годах под именем Стебницкого) не только потому, что она рассматривала те проблемы Пензенской губернии, которыми, среди прочих, предстояло заниматься председателю Пензенской казённой палаты статскому советнику Салтыкову. Мы не имеем документальных подтверждений того, что он эту статью читал, хотя есть всё же серьёзный довод в пользу того, что читал.

Даже если Салтыков в 1861 году апрельский номер «Отечественных записок» только пролистывал, взять его в руки он мог, ибо в мартовском номере окончательно поменявший медицину на литературу Константин Леонтьев выступил с большой статьёй о рассказах Марко Вовчок, где нашлось место и оценке Щедрина: он причислен, наряду с Тургеневым и Писемским, к «самым лучшим из наших авторов, писавших о народе, говоривших от лица его».

А почему бы Салтыкову и в апрельском номере не поискать «продолжения банкета»? И оно ведь там есть: если Леонтьев открыл у Щедрина «чувство», «полет и взмах, смелость и летучесть в самом многословии», то Лесков не более и не менее как действительно продолжил возвышение автора – нашёл у *Н. Щедрина* эпиграф для своего очерка<sup>[13]</sup>, то есть писателя начали растаскивать на цитаты. Причём взята она не из «Губернских очерков», а из «сатиры в прозе» «Скрежет зубовный», напечатанной в январском номере «Современника» за 1860 год.

То, что это творение Щедрина привлекло Лескова, неудивительно и особых пояснений не требует. Появление этого рассказа можно считать литературным событием, и даже власти оценили его благосклонно. Министр народного просвещения, реформатор Евграф Петрович Ковалевский докладывал императору: «Рассказать содержание этой статьи Щедрина невозможно: это есть сатира на многие стороны нашей общественной жизни, а более всего на страсть красоваться и ораторствовать, злоупотребляя громкими словами, которыми нередко прикрываются весьма непохвальные стремления. Чертя ряд карикатур,

автор обнаруживает много фантазии и остроумия».

Лесков нашёл здесь необходимые ему фразы, ставшие первым эпиграфом: «Урожай у нас – Божья милость, неурожай – так, видно, Богу угодно. Цены на хмель высоки – стало быть, такие купцы дают; цены низки – тоже купцы дают».

«Вред откупов» – одна из тем «Скрежета зубовного», но здесь на место убедительности вьедливой аналитики (как у Лескова) поставлена непреложность художественных образов. Салтыков выводит к читателю «его сивушество князя Полугарова, всех кабаков, выставок и штофных лавочек всерадостного обладателя и повелителя», произносящего страстный монолог в защиту откупной системы, причём так, что доказывает её полную исчерпанность.

Но хочется думать, что, читая «Скрежет зубовный», Лесков воодушевлялся и раскрепощался не только как публицист-экономист, но и как писатель, прославленный впоследствии за мастерство в сказовой форме. Ибо в хитро оркестрованном «Скрежете» уже явственно слышно согласное разноголосье щедринского стиля, которое через несколько лет обеспечит неповторимость обличья «Истории одного города», а затем и других шедевров Салтыкова.

В соответствии с целями и самим строем этой биографической повести не стану далее уходить в пространство довольно интересной с литературоведческой точки зрения темы «Салтыков (Щедрин) и Лесков», но важные подробности вышеназванных пензенских схождений двух великих мастеров литературы и знатоков российской Психеи обязан был отметить, тем более что есть в обозначенной теме и пензенский эпилог.

Во время пребывания Лескова в Пензенском крае здесь произошло знаменательное событие: 14 августа 1859 года покинул свой пост гражданский губернатор Александр Алексеевич Панчулидзе. Покинул по собственному «прошению», но подал он его лишь потому, что с февраля того же года в губернии шла сенатская ревизия, результаты которой могли обернуться для тайного советника Панчулидзева очень серьёзными неприятностями. Панчулидзе губернаторствовал с 1831 года, и слухи о его разнообразных подвигах, плохо сочетающихся с содержанием Свода законов Российской империи, давно ходили по городам и усадьбам империи. Естественно, добрались они и до Лондона, где мониторил пространство своей нечаянной родины Александр Иванович Герцен. И он не промедлил воспеть тёзку как «источник всех несправедливостей, творившихся в продолжение его 27-летнего в Пензенской губернии царствования». А «Колокол», всем известно, в Петербурге читал ещё один

их тезка...

Словом, хотя престарелого (ему было под семьдесят) Панчулидзева и отправили на покой с миром, по итогам сенатской ревизии члены пензенского губернского правления были отданы под суд. Как нередко бывает в подобных случаях, военное и гражданское руководство губернией было вверено боевому генерал-лейтенанту, графу Егору Петровичу Толстому. Вероятно, граф был настроен на добрые дела: способствовал быстрому открытию телеграфной станции и сельскохозяйственной выставки, занимался народным просвещением: открылись женское училище и воскресная школа для обучения грамоте детей ремесленников... Но крестьянские волнения в губернии – уже не спровоцированные Панчулидзевым и его подручными, а связанные с реформами – продолжались. В апреле 1861 года после обнародования распорядка освобождения крестьян от крепостной зависимости и наделения их землёй начались волнения в сёлах Кандиевка и Черногай Башмаковского уезда, затем бунтарские настроения начали разрастаться, перекинувшись из Пензенской губернии в Тамбовскую.

В советское время считалось, что именно во время «Кандиевского восстания» впервые в России был поднят красный флаг как символ неповиновения власти... Волнения земледельцев, выступавших со словами «умрём за Бога и царя», герою турецкой и крымской кампаний пришлось подавлять войсками, причём с кровопролитием: погибло около двадцати человек. Осуждено было 174 крестьянина, из них 114 – на сибирскую каторгу и поселение.

Вероятно, эта трагедия (по существу, причины выступления крестьян сводились лишь к недоверию к обнародованным документам из-за превратного их представления) повлияла на то, что губернатор Толстой покинул свой пост (формально из-за назначения сенатором). Прибывший на его место действительный статский советник Яков Александрович Купреянов унаследовал крестьянскую проблему в полном объёме. Этому ещё не достигшему сорока лет, энергичному и, по общему признанию, честному человеку взаимопонимания с крестьянами достигнуть также не удавалось. Имея разрешение действовать «без ограничений», губернатор прибёг к наказанию бунтовщиков шпицрутенами и розгами. Крестьяне осуждались на каторжные работы, отдавались в арестантские роты...

Надо отдать должное Купреянову: он не только воевал с крестьянами, но и боролся с пензенскими взяточниками, которые, несмотря на очистительные мероприятия после правления Панчулидзева, в губернии не переводились. И всё же Яков Александрович, как, очевидно, до него Егор

Петрович, воспользовался первой же возможностью, чтобы переместиться из неудобного в эпоху реформ губернаторского кресла в Петербург. Здесь Купреянову удалось получить должность директора департамента Государственного казначейства.

Новым гражданским губернатором в декабре 1862 года был назначен Василий Павлович Александровский, из пензенских дворян... Но прежде чем приступить к рассказу о том, как служилось Салтыкову при Александровском, обращусь ещё к одному сочинению Лескова. Уже после кончины Михаила Евграфовича и незадолго, как окажется, до кончины собственной, осенью 1893 года Николай Семёнович публикует рассказ «Загон» – из своего вольного цикла «Рассказы кстати. А проpros». По свободе своей жанровой формы, по самому своему строению он сродни щедринскому «Скрежету зубовному».

В отличие от множества писателей Лесков пережил уникальную творческую эволюцию: *справа налево*. Начав с яркой критики русского социал-радикализма и став классиком так называемой антинигилистической, *противопожарной* литературы (очевидно, что Достоевский ревновал своих «Бесов» к лесковскому роману «На ножах»), в 1870-е годы Лесков увлёкся чтением Герцена, а к 1890-м годам имел репутацию сурового критика политики и практики императора Александра III, автора жёстких сочинений о русской церкви. Среди объектов его сатиры оказались не только протоиерей Иоанн Кронштадтский, канонизированный во время перестройки в лике святых праведных, но и митрополит Московский Филарет (Дроздов), и Николай I.

Можно без преувеличений утверждать, что после окончательного перехода Салтыкова в сферу психологической прозы в середине 1880-х годов, чему благотворно способствовало закрытие журнала «Отечественные записки», именно Лесков стал главным сатириком русской словесности (речь, разумеется, идёт о высокой, философской сатире, а не о журнальной юмористике). И «Загон» у Лескова тоже получился щедринской тональности. Рассказ по справедливости признан одной из вершин поздней лесковской сатиры, произведением, по своей критической мощи равным «Путешествию из Петербурга в Москву». Его и сейчас не только полезно, но и больно перечитывать.

Рассказ вырос, как это очень часто бывало у Лескова, из жизненных впечатлений от тех явлений, по которым, если воспользоваться его же словами, «видно время и веяния жизненных направлений массы». Обратившись к ходившим в российском обществе начала 1890-х годов идеям обособления России от западноевропейских государств, Лесков

выступил на стороне тех, кто полагал: «нам нельзя оставаться при нашей замкнутости, а надо вступать в широкое международное общение с миром». Иначе наше «уединённое государство» останется «загоном», то есть пространством «тёмным и безотрадным, но крепко ограждённым китайской стеною».

В своих историко-культурных построениях Лесков особо выделяет навсегда запомнившуюся ему Пензенскую губернию при Панчулидзе. Собственно, она стала для него важнейшим подтверждением метафоры *Загона*:

«В этой Пензе, представлявшей одно из самых тёмных отделений Загона, люди дошли до того, что хотели учредить у себя всё наыворот: улицы содержали в состоянии болот, а тротуары для пешеходов устроили так, что по ним *никто* не отваживался ходить. Тротуары эти были дощатые, а под досками были рвы с водою. Гвозди, которыми приколачивали доски, выскакивали, и доски спускали прохожего в клоаку, где он и находил смерть. Полицейские чины грабили людей на площади; предводительские собаки терзали людей на Лекарской улице ввиду самого генерала с одной стороны и исправника Фролова – с другой; а губернатор собственноручно бил людей на улице нагайкою; ходили ужасные и достоверные сказания о насилии над женщинами, которых приглашали обманом на вечера в дома лиц благороднейшего сословия... Словом, это был уже не город, а какое-то разбойное становище. И увидел Бог, что злы здесь дела всех...»

Салтыков попал в Пензу больше чем через пять лет после отстранения Панчулидзе. За эти годы, при Александровском, в городе прошли многие требуемые реформами преобразования. В вышедшей в 1864 году «Памятной книжке Пензенской губернии» сообщалось, что «лучшие здания в городе каменные: больница приказа общественного призрения, Дворянский институт, дом гражданского губернатора и здания присутственных мест». 10 марта 1865 года в Пензе прошла первая сессия Земского губернского собрания – распорядительного органа местного земства, где был определён состав губернской управы. Нельзя не отметить, что её председателем стал отставной штаб-ротмистр Алексей Николаевич Бекетов, из знаменитого дворянского рода Бекетовых, послужившего отечественной культуре и науке; как теперь мы знаем, двоюродный дед Александра Блока. Человек высокого нравственного достоинства, Алексей Николаевич переизбирался на эту должность в течение последующих двадцати пяти лет.

Неуклонно, хотя и медленно Пенза выбиралась из *Загона*, но Салтыков, которому предстояло провести здесь почти два года, город так и

не любил. Возможно, предубеждение начало складываться у него ещё с 1850 года, когда он организовал в Вятке сельскохозяйственную выставку, где должна была участвовать и Пензенская губерния, но пензяки до Вятки так и не добрались. Салтыков как-то сразу, без разгона стал смотреть на своё новое место жительства как на источник литературного, а точнее сказать, сатирического вдохновения.

В начале того же марта 1865 года он пишет Павлу Васильевичу Анненкову: «О Пензе могу сказать одно: не похвалю. Это до того пошлый отвратительный городишко, что мне делается тошно от одной мысли, что придётся пробыть в нём долго. <...> У меня начинают складываться Очерки города Брюхова, но не думаю, чтобы вышло удачно. Надобно, чтобы и в самой пошлости было что-нибудь человеческое, а тут, кроме навоза, ничего нет. И как плотно сучился этот навоз – просто любо. Ничем не разобьёшь».

Пробыв в городе всего полтора месяца, Салтыков уже его не любит, а если он для него и представляет интерес, то лишь как объект для литературных перевоплощений. Правда, «Очерки города Брюхова» у него так и не сложились. Но на то, что он над ними работал, есть косвенные подтверждения. В частной переписке сотрудник Пензенского архива обнаружил письмо, где сообщается о «критике», которую неназванный по понятным причинам «г-н управляющий» читал на светском вечере у местного помещика-интеллектуала Ивана Сабурова. «Смеху было довольно. Выведены все наши и в самом неприязненном виде – с подносами бегают и “ура” кричат. А что узнать легко, хотя по имени все выдуманы, а поступки нелепые, так что и быть того не может и вообразить нельзя. Губернатор по воздуху летает и нехорошими словами ругается. Чепуха страшная, а акцизные рады и говорят: так им и надо. Его же превосходительство, узнав об этой критике, был очень недоволен и с г-ном управляющим не кланяется...» Письмо датировано 28 апреля, без года, но, вероятно – по упоминанию губернатора, это уже 1866-й, а не 1865 год. Этот вывод исходит из экстравагантной эволюции тех отношений, которые сложились у Салтыкова с Александровским.

Надеюсь, мы уже усвоили: с Михаилом Евграфовичем окружающим его людям всегда было непросто. Ни острых, ни ядовитых слов он ни на кого не жалел, причём, отдадим ему должное, никогда и не таился, просто не упускал случая.

В цитированном выше письме Анненкову также содержится, по сути, небольшая язвительная новелла о губернаторе Александровском, написанная, вне сомнений, на основании тех слухов и рассказов, которые



бродили по Пензе и по губернии и быстро дошли до прибывшего сюда Салтыкова.

«Губернатор здешний вот каков: происхождения из польской шляхты, попал на службу к кн. Воронцову, был у него чем-то вроде метрдотеля и, имея значительный рост и атлетические формы, приглянулся княгине и удостоился разделять её ложе. Вследствие сего, приобрёл силу и у Воронцова, когда тот наместничал на Кавказе, и получал самые лакомые дела. Между прочим, на долю его выпало следствие о греке Посполитаки, известном откупщике, который не гнушался и приготовлением фальшивых денег. Уличив Посполитаки, как следует, Александровский (это губернатор-то и есть) предложил ему такую дилемму: или идти в Сибирь, или прекратить дело и отдать за него, Александровского, дочь с 6 милл<ионами> приданого. Выбран был последний путь, и вот теперь этот выходец – обладатель обольстительной гречанки (от которой теперь, впрочем, остались только кости и кожа) и баснословного богатства. Кроме того, Александровский приобрёл 200 т. р. след<ующим> образом. Брат его служил адъютантом у Бебутова, который, как известно, не имеет бессребреничества в числе своих добродетелей. После какой-то победы он послал адъютанта своего в Петербург с известием и, пользуясь этим случаем, вручил ему 200 т<ысяч> р., прося пристроить их в ломбарт. Николай сделал Александровского флигель-адъютантом, и тот, исполнивши поручение своего владыки, возвращался восвояси с ломбартными билетами на имя неизвестного. Но на одной из станций около Тифлиса встретился с каким-то проезжим, поссорился и получил пощёчину. Должно быть, это сильно поразило новоиспечённого флигель-адъютанта, потому что он застрелился. Билеты перешли к брату, яко к наследнику, и хотя Бебутов писал к нему письма с усовещаниями, но Александровский остался непоколебим.

Вот Вам глава Пензенской губернии; остальное на него похоже, если не хуже».

Губернатор Александровский, разумеется, ангелом не был. Вопрос об ангелоподобии людей мы в повестку дня принципиально не ставим. Но свести реальную биографию Александровского к гротескному шаржу Салтыкова тоже несправедливо<sup>[14]</sup>. Обращаю внимание на это потому, что советские биографы Салтыкова строили свои описания губернаторов, которым выпало служить с Михаилом Евграфовичем, опираясь именно на его оценки и суждения и не вникая в реально происходившее. А это уже не история отечественной литературы, а нечто иное.

То, что «Пушкин тринадцатого выпуска» стал полоскать имя

здравствовавшей тогда княгини Воронцовой, одной из пушкинских муз, да ещё в письме основателю научного пушкиноведения Анненкову, чести ему не делает. Александровский служил у Воронцова не по гастрономической части, а был чиновником особых поручений (Салтыков сам занимал такую должность, так что знал о ней не понаслышке). Да, красавец-мужчина Александровский, вероятно, пользовался успехом у дам, но всё же Михаил Евграфович со свечкой в будуаре Воронцовой-Браницкой на часах не стоял и не в историографы к Александровскому поступал, а был назначен в губернию на важную государственную должность. И, между прочим, поначалу, несмотря на этот злословный портрет, работал с губернатором в согласии.

Александровский был одним из богатейших среди пензенских помещиков, они его за это недолюбливали, и в итоге нелюбовь оказалась взаимной. Кроме того, судя по новейшим работам пензенских краеведов, это был губернатор, поддерживавший реформы, а не противостоящий им. В годы его правления (1862–1867) общественно и экономически Пензенская губерния развивалась достаточно бойко. И появление Салтыкова Александровский воспринял вполне доброжелательно, хотя, разумеется, знал, что у Михаила Евграфовича не было ни соответствующего образования, ни опыта работы в финансовых учреждениях. Но, как и Рейтерн, он, очевидно, понимал, что сила личности, её энергия, её нравственные качества важнее специальных знаний, тем более в пору, когда очень многое, в том числе и в финансовой системе, нуждалось не просто в обновлении, но во въедливом пересмотре.

И в этом смысле Михаил Евграфович не подвёл. Ворча и брюзжа, он разобрался в делах казённой палаты и не только обнаружил много частного непорядка, но и пришёл к выводу, что расписанные, казалось бы, в подробностях положения реформ, прежде всего Крестьянской, не предусматривают многие тонкости, которые каждый день подсовывала реформаторам жизнь. Никакие воинские команды, посылаемые на усмирение бунтующих сёл и деревень, не могли обеспечить будущее развитие страны и её хозяйства. Эта простая истина с трудом прокладывала себе дорогу к помещичьим и чиновничьим умам, а к большинству, судя по практике 1917 года, даже первопутка так и не проложила.

Салтыков на своём месте занялся самым сложным и вместе с тем самым естественным делом: стал приводить в соответствие с законом то, что ему было подведомственно. И если в эти годы литературного он создал мало, то его служебное творчество и этих, и всех прочих лет государственной службы не только обширно, но и невероятно

разнообразно. Написанные Салтыковым распоряжения, циркуляры, инструкции, служебные записки, бесчисленные замечания и пометки на поступавших к нему бумагах составляют особый корпус его наследия, заслуживающий внимания не только по линии психологии литературного творчества и Салтыкова в целом, но и как выразительный памятник истории отечественного социально-экономического развития.

Эти бумаги – не бюрократическая болтовня. За ними – конкретные дела, пусть малые дела, дела человека на своём месте, без которых не может быть и дел больших.

Салтыков быстро прославился как суровый, если не сказать, свирепый борец с теми, кто в губернии не выкупал промысловые свидетельства, ухитрялся торговать беспощинно, не упуская при этом из виду даже базары и ярмарки.

Столь же сурово въедлив был он и в делах реформы. Здесь одна из самых болезненных проблем была связана с тем, что называлось выкупными платежами. Лично освобождённым от крепостной зависимости крестьянам назначалась от властей ссуда для обязательного выкупа земельных наделов, отведённых по согласованию с помещиком. Но ссуду эту казна выплачивала помещику, и погашать её крестьянин должен был в течение сорока девяти с половиной лет ежегодными шестипроцентными взносами. Чехарда с этими выкупными платежами возникала изначально, ибо у крестьян при всей их малой грамотности хватало разума и трезвого расчёта, чтобы осознать ловушки предлагавшегося им выкупа. Здесь и многие препятствия по зарабатыванию ими живых денег для выкупа, и нередко низкое сельскохозяйственное качество получаемой земли, и прямой произвол помещиков и мировых посредников при выкупных операциях.

В то время как помещики, стремясь получить выкупные деньги, торопили с переводом на выкуп, крестьяне зачастую предпочитали древнюю барщинную повинность оброчной. И Салтыков, вникнув в конкретные обстоятельства труда и быта крестьян земледельческой Пензенской губернии, стал поддерживать их, казалось бы, архаичные склонности. При этом он углублялся и в историю вопроса, что приводило к неожиданным открытиям: например, оказывалось, что и до реформы многие крестьяне отказывались от помещичьих предложений перейти с барщины (издольной или издельной повинности) на оброк, так как не видели никаких источников для реального зарабатывания денег.

В одном из донесений в Министерство финансов с объяснениями по конкретному делу он писал: «Продолжаю быть уверенным в том, что

крестьяне г. Ильина едва ли будут исправно вносить выкупные платежи, и в этом убеждении меня утверждает: во-первых, неудовлетворительность удостоверения мирового посредника об их состоятельности и, во-вторых, *примеры других подобных же имений Пензенской губернии, состоявших до выкупа на издельной повинности*» (выделено мной. – С. Д.).

По подсчётам литературоведа И. В. Князева, изучавшего биографию Салтыкова по архивным публикациям и первоисточникам, за время службы в Пензе он подал 11 «особых мнений», оспаривавших выкупные сделки здешних помещиков. Хотя это даже количественно выглядит очень скромно, тем более что, к сожалению, его деятельность на этом направлении особых результатов не дала, нельзя не отметить справедливость попытки Салтыкова показать широту проблемы, её системность, то, что накапливающийся опыт проводимых реформ вступает в противоречие с изначальными предначертаниями.

Однако салтыковские выкладки были оставлены без внимания из-за формальных придирок к представленным доказательствам, а, по сути, потому, что и у высшей администрации не было какой-либо уверенности в возможности добровольного даже в малой степени урезания помещиками своих интересов. Скорее, наоборот: для большинства передача земли крестьянам стала последним источником малозатратного получения доходов.

Понимая это, Салтыков решил навести порядок в финансовой отчётности помещиков и предпринимателей. Требуя от своих подчинённых особого внимания к справедливому начислению крестьянам выкупных платежей, податных окладов, недоимок, устранения выявленных злоупотреблений, он начал целеустремлённо преследовать помещиков, задерживающих платежи, торговцев и промысловиков, плутующих с отчётностью и налогами. И тут же нашёл союзника в лице губернатора, который получил возможность законным образом свести счёты с прохладным к нему губернским бомондом и одновременно укрепить в глазах петербургского начальства свою репутацию прогрессиста-реформатора.

Но Салтыков работал не по личностям, а по закону. Его взаимоотношения с Александровским оказались довольно причудливыми. Несмотря на приведённое письмо Анненкову, семьи Салтыковых и Александровских быстро сдружились, что даже вызвало тревогу у жандармского штаб-офицера, доносившего в Петербург: «...г. Солтыков (sic! – С. Д.) приобрёл такое сильное влияние на г. Пензенского губернатора, что действительный статский советник Александровский,

зная хорошо направление г. Солтыкова и его супруги, всё-таки продолжает вести с ними семейную тесную дружбу».

Надо отметить ещё одну тонкость. Александровский по складу своего характера был грубияном, он мог, не задумываясь и невзирая на лица, словесно оскорбить любого, кто вызывал его недовольство по службе. При этом любил застолья, многолюдные празднества. Как мы знаем, и Михаил Евграфович не обладал кротким нравом. Даже боготворящий его Сергей Александрович Макашин, досконально изучив биографию классика, именно в связи с пензенским периодом деятельности вынужден был признать: «С одной стороны, это суровый, почти деспотичный администратор, раздражительный и гневный, всегда готовый сорваться на грозный окрик, вызывающий у подчинённых страх и трепет, с другой – это человек широкой, открытой души и доброго сердца, не на словах, а на деле отзывчивый к бедам и горю своих сотрудников, особенно младших по чину и положению».

Эти два человека, по своему поведению внешне схожих, несмотря на очевидное различие в нравственной подоснове характеров, поначалу сошлись на общем поле деятельности. Ведь и Александровского направили в Пензу не только потому, что у него здесь были земельные угодья, он ехал с напутствием развивать реформы. И результаты у него тоже были<sup>[15]</sup>.

Но здесь нам вновь придётся вспомнить невероятного майора Горбылёва из «Пошехонских рассказов». Волею его создателя, то есть Салтыкова, Горбылёв геройствовал не только в украинском Чернобыле. Заносило его и в Пензенскую губернию, которую он назвал «страной волшебств», удостоив её таким именованием, очевидно, по итогам общения Михаила Евграфовича с пензенскими помещиками, среди которых названы и знаменитые: Бекетовы, Загоскины, Сабуровы. Горбылёва (но только ли Горбылёва, коль Салтыков оставил реальные фамилии?) восхищали их сплочённость в защите собственных интересов, недопущение любого, от кого может исходить угроза: «Чужой человек попадётся – загрызут. Однажды самого губернатора в осаде держали за то, что он это волшебство разъяснить хотел. И выжили-таки. Ни дать, ни взять Чурова долина».

К этому выражению в лексиконе Салтыкова следует присмотреться. Оно, как видно, навеяно названием волшебной оперы А. Н. Верстовского на либретто А. А. Шаховского «Сон наяву, или Чурова долина» (1844), написанной по мотивам славянских преданий и драматических сказок Казака Луганского (В. Даля) «Старая бывальщина в лицах» и «Ночь на распутье, или Утро вечера мудренее».

Однако само слово *Чур*, по представлениям XIX века, связано с

именем славянского божества родового очага, пограничных знаков, оберегающего границы земельных владений, покровительствующего приобретению и наживе (об этом Салтыков мог так или иначе узнать у хорошо ему известного писателя, фольклориста, этнографа Сергея Максимова).

Салтыков примеривался к этому яркому образу довольно долго, хотя только в «Современной идиллии» появляется такой пассаж: «Тоска овладела нами, та тупая, щемящая тоска, которая нападает на человека в предчувствии загадочной и ничем не мотивированной угрозы. Бывают времена, когда такого рода предчувствия захватывают целую массу людей и, словно злокачественный туман, стелются над местностью, превращая её в Чурову долину».

Чурова долина получилась у Салтыкова метафорически многозначной. Среди прочего, в ней очевиден и образ недоступного пространства. В горбылёвской истории она олицетворяет помещичьи владения, а в «Современной идиллии», возможно, и всю Россию, несметные богатства которой не только не приносят счастья российскому народу, но порой вызывают у него чувство «тупой, щемящей тоски».

Но это литературное возвращение к Пензе относится к позднему времени. А в первые месяцы жизни там Салтыков написал замечательное «Завещание моим детям» – сочинение, которое нередко называют очерком, хотя оно по своей жанровой форме неповторимо. Быть может, точнее всего эту сугубо салтыковскую форму повествования определил анонимный рецензент, услышавший авторское чтение «Завещания...» на литературно-музыкальном вечере уже в 1870 году: «Это философская *bouffonnerie* (буффонада. – С. Д.), в которой бездна едких парадоксов, шалостей языка, глубины анализа и серьёзного современного смеха».

У Салтыкова получилась язвительнейшая, но совершенно справедливая сатира на всё российское дворянство в период реформ, особенно острая, может быть, потому, что в ней и ему самому, дворянину М. Е. Салтыкову, досталось от всё того же вольно им отпущенного Н. Щедрина.

Заканчивается эта буффонада убийственным финалом:

«Был вечер, на дворе гудела вьюга; сторожа разбежались (да вряд ли, впрочем, и приходили). Я крикнул: “чаю!” – но ответа не получил, ибо лакейская была пуста. Мы ходили с женой по опустелым комнатам нашего старого дома и рассуждали о том, сколько нужно иметь в наше время терпения, снисхождения и кротости; вдали раздавались голоса детей, укладывавшихся спать, и между ними голос старухи няньки, которая, без

всякой робости, кричала: “Цыцте вы, пострелята! и то уж из милости паскудникам вашим служу!” В это время взоры наши упали на книгу об Иове.

Результатом этого чтения было то, что мы вдруг как бы помолодели. Откуда взялась бодрость, надежда, уверенность... даже об чае забыли!

– Ты видишь, мой друг, – говорила жена, – если стада отнимаются, то они же и опять посылаются; если рабы разбегаются, то они же и опять возвращаются! Стоит только подождать...

– Стоит только подождать, – повторил я в сладкой задумчивости».

Чего дождалось русское дворянство, а вместе с этим *дирижирующим*, как тогда говорили, сословием и вся Россия, мы все сегодня знаем, хотя этого не помним.

\*

Отсутствие в озираемые нами годы имени Салтыкова (Щедрина) в печати не означает, что он прекратил литературные занятия. Письма его за эти годы, к сожалению, до нас почти не добрались (из Пензы и Тулы их меньше двух десятков), но всё же в одном из сохранившихся (уже из Тулы, 1867 года) есть разносторонне выразительное признание: «О себе скажу... <...> одно: ленюсь и скучаю безмерно и даже не могу преодолеть себя, потому что палатская служба опротивела до тошноты (это при том, что в Туле он находится чуть более полугода. – С. Д.). Не знаю, что со мной и будет, ежели не выручит какой-нибудь случай. Я вообще не из тех людей, которые удобно и скоро пристраиваются, а теперь ещё более стал брюзглив и нетерпелив. К этому ещё присоединились денежные затруднения. Литературного ничего в голову не идёт, кроме самого непозволительного. Коли хотите, я и пишу, но единственно для увеселения потомства».

Насчёт *непозволительного* промолчим. Как истинный перестраховщик, Михаил Евграфович на протяжении всех лет творческой деятельности постоянно подогревал самого себя, объявляя написанное им нецензурщиной. В этом откликаются надежды древних представлений: предполагая недоброе, тем самым ты отгоняешь от своего кресла дышащего тебе в затылок внутреннего редактора и пишешь так, как считаешь нужным. А о взаимоотношениях писателя с цензурой мы будем говорить подробно в следующей части нашего документального повествования.

В творческом отношении последние годы на государственной службе у

Салтыкова не пропали. Даже можно посчитать благом, что в это время он отказался от писания на злобу дня, к чему стал привыкать в «Современнике». Это было время накопления впечатлений, наблюдений, время жизни ради жизни как таковой. И заряд полученной в 1865–1867 годах творческой энергии был столь велик, что, оказавшись в «Отечественных записках» Салтыков незамедлительно выдал читателю несколько – один за другим – шедевров: «Историю одного города», «Помпадур и помпадурши», «Дневник провинциала в Петербурге», первые и самые знаменитые свои сказки...

Так что если у Салтыкова и были проблемы в Пензе, у Щедрина с Пензой всё более или менее оказалось в порядке. Хотя «Очерки города Брюхова» так и не были написаны, раблезианский угол зрения на действительность у Салтыкова окончательно установился именно в Пензе, городе П\*\*\*, как город назван в удивительном наброске «Приятное семейство (К вопросу о “Благонамеренных речах”）」, добравшемся до читателя только в 1931 году.

Если вспомнить замечательную идею Михаила Михайловича Бахтина о *микрокосме* творчества писателя, то есть о таком его произведении (обычно небольшом), в котором появляются «в предельно острой и обнажённой форме» «очень многие, и притом важнейшие, идеи, темы и образы его творчества» (пример Бахтина – «Бобок» у Достоевского; мои примеры – «Певцы» у Тургенева, «Казачьи» у Льва Толстого), то у Салтыкова (Щедрина) в качестве приближения к форме такого микрокосма может быть назван набросок (отрывок) «Приятное семейство (К вопросу о “Благонамеренных речах”）」.

Рассказчик отправлен в город П\*\*\* «с поручением дознаться под рукой, где скрывается источник пагубных, потрясших Западную Европу идей, распространение которых с особенною силой действовало между воспитанниками местной гимназии». Однако он «целый месяц провёл в этом городе – и так-таки ничего и не узнал». Причина была в том, что его по ошибке писца направили не в тот город, где находилась крамольная гимназия. Но зато в П\*\*\* «с первой минуты приезда до последней минуты отъезда, я был пленником всевозможных развлечений, которые буквально не давали мне опомниться. Я с утра до вечера чувствовал себя как бы охваченным сплошным праздником, который утром принимал меня из рук Морфея и поздней ночью вновь сдавал меня Морфею на руки, упитанного, слегка отуманенного и сладостно измученного...».

Как уже довелось отметить ранее, всё творчество Салтыкова, начиная с первых опытов 1840-х годов, исходит из оппозиции идеального и



реального, противостояния между Градом небесным и Градом земным. В этом смысле Салтыков всегда был и до конца дней остался сознательным или интуитивным приверженцем религиозной философии европейского романтизма. И в незавершённом «Приятном семействе» в тезисной, но от этого особенно наглядной форме проводится идея торжества плотского над духовным: «В П\*\*\* вас сразу ошибает запах еды, и вы делаетесь невольно поборником какой-то особенной религии, которую можно назвать религией еды».

П\*\*\* здесь не совмещён Салтыковым с его недооволощённым Брюховом, но идея брюха, утробы, прорвы, всепожирающей бездны проводится им с целеустремлённостью. «Ни общего смысла жизни, ни смысла общечеловеческих поступков, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Всё сосредоточилось, замкнулось, заклепалось в одном слове: жрать! – напишет Салтыков в своей до сих пор недооценённой и по-прежнему, увы, актуальной «философской буффонаде» «Господа ташкентцы». – Жрать!! Жрать что бы то ни было, ценою чего бы то ни было!»

Но философская буффонада – это не философский трактат, и проходит она по разряду изящной словесности, создаваемой и воспринимаемой по своим особым законам, и Салтыков эти законы долгое время искал, а, найдя, развивал.

«Жизнь в П\*\*\* какая-то непрерывная, полухмельная масленица, в которой всё перемешалось, в которой никто не может отдать себе отчёта, почему он опочил тут, а не в другом месте. Приезжего ловят, холят, вводят во все тайны...»

Хорошо, что есть у Салтыкова этот набросок. И того лучше, что нашли его довольно поздно. Он не дошёл до печати, ибо в нём не доведено до художественного совершенства богатство его центральной идеи, важнейшей для Салтыкова, вечной идеи, выразившейся у другого гения, Брейгеля Старшего в полотне «Битва Масленицы (Карнавала) и Поста» (нидерландское *Het gevecht tussen Carnaval en Vastentijd*), битва Плоти и Духа, заострённый вариант борьбы дьявола с Богом в человеческих сердцах, о чём писал Достоевский.

Но всё же в «Приятном семействе» главный смысл уже был найден и осознан. И если по служебной линии Салтыков в Пензе сколько-нибудь значительных успехов не достиг, то в творческом отношении Пенза окончательно выверила его взгляд: он стал видеть всё происходящее с двух точек зрения. А увидев и отработав, терял к нему интерес.

Кроме того, была ещё одна тонкость. В первой биографии Салтыкова-

Щедрина в советской серии «Жизнь замечательных людей» (1934) её автор, талантливый литературовед с непоправимо испорченной доносительством репутацией Я. Е. Эльсберг, размышляя над извращениями административной карьеры Салтыкова, справедливо заметил: «Быть царским чиновником и вместе с тем осмеивать таких же царских чиновников, и тем более те правящие классы, которым эти чиновники служили, было невозможно. Такое положение долго продолжаться не могло».

Однако пока продолжалось.

## Два медведя в тульской берлоге

В начале ноября 1866 года Лев Николаевич Толстой, тридцати восьми лет от роду, в полном расцвете жизненных и творческих, можно сказать, жизнетворческих сил, собирается из Ясной Поляны в Москву, о чём сообщает в письме «милому другу» Афанасию Афанасьевичу Фету, живущему в своей мценской Ивановке. Толстой едет в древнюю столицу по делам публикации новых частей «Войны и мира» и надеется если не в Ясной Поляне, то хоть там с Фетом повидаться («вы человек... <...> который в личном общении даёт один мне тот другой хлеб, которым, кроме *единого*, будет сыт человек. <...> На что это похоже, что мы так подолгу не видимся!»). Далее идёт литературное: «Что вы делаете? Не по земству, не по хозяйству – это все дела несвободные человека. Это вы и мы делаем так же стихийно и несвободно, как муравьи копают кочку, и в этом роде дел нет ни хорошего, ни дурного; а что вы делаете мыслью, самой пружиной своей Фетовой, которая только одна и была, и есть, и будет на свете? Жива ли эта пружина? Просится ли наружу? Как выражается? И не разучилась ли выражаться? Это главное».

В эти же дни ещё одна мощная российская литературная пружина, мысль Салтыкова, выражалась административно. 4 ноября Михаил Евграфович послал из Пензы короткую телеграмму в Петербург – директору департамента Государственного казначейства Министерства финансов уже известному нам Якову Александровичу Купреянову: «Согласен с удовольствием». Так он подтвердил свою готовность продолжать «дела несвободного человека» – переместиться с должности управляющего казённой палатой Пензенской губернии на такую же должность в губернию Тульскую.

Причины, по которым Салтыков покинул Пензенскую губернию, до сих пор не имеют точного объяснения. Версия о том, что он стал проверять губернские расходы за 1862–1864 годы и обнаружил «неблагополучие в отчётности, бросавшее тень уголовщины на губернатора» (у другого исследователя: «в действиях губернатора вскрыл прямое казнокрадство»), изложена неубедительно, без представления конкретных документов. Сомнителен сам факт, что в 1866 году Салтыков вдруг влез в бумаги прошлых лет, ответственности за которые нести никак не мог. А если даже по своей въедливости и влез (или влез, вторгаясь в поле деятельности только что образованной губернской контрольной палаты, – о ней ниже), то

явно нарушил негласные правила административных взаимоотношений, одно из которых: *подписано – и с плеч долой*. После этого инцидента, если он и был в действительности, его пребывание в Пензе становилось невозможным...

Однако логичнее поискать объяснение причины уезда Салтыкова из Пензы в сфере психологической. Как мы уже установили, этот город возник в его биографии случайно как слабая альтернатива ещё более удалённой Полтаве, так же, как и Пенза, тогда ещё не связанной с Москвой железной дорогой. А удобство транспортных сообщений для Салтыкова было очень важным, ибо ездить ему в эти годы пришлось много – не только по губернии, но и подальше. По скрупулёзным подсчётам С. А. Макашина, во время пензенской службы он был в разъездах 133 дня, из них 40 ушли на поездки в Министерство финансов в Петербург, а 55 дней – отпускные, за два года.

Проведя десять ревизий уездных казначейств, Салтыков проехал по губернии примерно три тысячи вёрст – разумеется, в запряжённом лошаадьми экипаже. Разнообразные впечатления накапливались, но и силы тратились, и раздражение нарастало. Сохранилось частное письмо поэта А. Н. Плещеева, датированное ещё 21 ноября 1865 года с выразительными строками: «Унковский говорит, что Салтыков в Контроль переходит. Вот не ожидал я. Знать, уж очень ему Пенза надоела...»

Вместе с тем, прощупывая почву на предмет перехода в ведомство Государственного контроля, Салтыков едва ли был объят высоким пафосом служения Отечеству. Полагаю, здесь, как и прежде у него, сходились собственные интересы с обстоятельствами жизни. У Государственного контроля как ведомства Комитета министров Российской империи были серьёзные контрольно-счётные и наблюдательные функции и по государственному бюджету, и по бюджету отдельных министерств и ведомств. Особая привлекательность службы в Госконтроле была для него, как и прежде, связана с личностями – государственным контролёром был тогда Валериан Алексеевич Татаринов, один из ведущих деятелей в команде реформаторов императора Александра Николаевича. Как говорится, Рейтерн был хорош, а Татаринов и того пуще. Он выстраивал работу Госконтроля так, что польза от преобразований была очевидной. До 1864 года ревизии государственных доходов и расходов в губерниях проводили особые отделения при губернских казённых палатах. Но с 1866 года появились особые контрольные палаты, о необходимости создания которых говорили уже несколько десятилетий. На них возложили надзор за движением государственных доходов и расходов в губерниях.

Здесь, без сомнения, Михаил Евграфович видел обширное поле для своей боевой деятельности. Он счёл для себя выгодным перейти, может быть, в той же Пензе под начало Татаринова. Хотя по рангу это было некоторым понижением в традиционной чиновничьей иерархии, но зато давало ещё большую свободу в отношениях с губернским начальством. Контрольные палаты не входили в число губернских учреждений – они были самостоятельны и, производя итоговую ревизию губернских отчётов, подчинялись непосредственно государственному контролёру и совету Государственного контроля.

Однако переход нашего героя в Госконтроль не состоялся. Почему, можно только высказывать предположения. Моё состоит в том, что с точки зрения министерских начальников Михаил Евграфович был работником, мягко говоря, с противоречивыми свойствами. Спору нет, его нравственное обличье давало основания для полного к нему доверия. Как бы Салтыков ни жаловался на недостаточность средств к существованию, было понятно, что эти средства он будет добывать собственным трудом, а не запуская одну руку в казну, а другой принимая «приношения и благодарения». Однако постоянные метания Салтыкова (Щедрина) между канцелярским и писательским столами не могли не вызывать настороженность у его доброжелательных начальников.

Чины ему шли, шли по справедливости, без задержек. Правда, его не удостоивали орденами, но и здесь были свои тонкости: едва ли причины ненаграждений надо искать в содержании жандармских донесений и кляуз сослуживцев (они тоже были). Пожалование орденами зависело от выслуги лет, от многих бюрократических тонкостей – а здесь Михаил Евграфович был непредсказуем.

Поэтому управляющим Пензенской контрольной палатой стал молодой, чуть за тридцать коллежский советник, между прочим, выпускник Ришельевского лицея в Одессе Людвиг (в крещении Яков) Карлович Делла-Вос. Это был настоящий карьерный чиновник. За предыдущие заслуги он уже был награждён орденом Станислава, а в дальнейшем, при выходе в отставку с поприща Госконтроля, получил чин тайного советника. Он и его старший брат Виктор – дети эмигранта из Испании и русской дворянки – не посрамили своего экзотического имени на Российской земле. Виктор, крупный учёный-механик, путеец, стал выдающимся организатором инженерного образования в России, именно по его настойчивой инициативе было создано быстро прославившееся своими выпускниками Императорское Московское техническое училище. Оно доныне принадлежит к числу ведущих российских инженерных вузов,

правда, до сих пор таща в своём названии, то ли по недомыслию, то ли злонамеренно, имя радикал-террориста Баумана. А дочь многодетного отца Людвиг Делла-Воса Ольга Делла-Вос-Кардовская стала в пору Серебряного века художницей, академиком живописи и автором выразительных портретов молодых Николая Гумилёва и Анны Ахматовой.

В те же месяцы, когда Салтыков искал пути для перехода в Госконтроль, у него после долгожданной публикации в «Современнике» «Завещания моим детям» зародилась надежда на более широкое сотрудничество с журналом. Но 1866 год в России оказался бурным. Весной выпускник Первой Пензенской мужской гимназии, неудачливый студент двух университетов – Казанского и Московского – Дмитрий Каракозов отправился в Петербург с целью убить императора. Эта террористическая идея вырастала в его сознании несколько лет. Но почему? Коммунистическая пропаганда тратила огромную энергию на то, чтобы изобразить своих героев-кровопускателей в ореоле самопожертвования. С этим можно и не спорить – надо лишь исследовать психическое состояние этих самых героев, посмотреть на те факты их жизни, которых не скрывают и большевики-пропагандисты. Так, всегда было известно, что и Каракозов, и его двоюродный брат Николай Ишутин, укрепивший первого в мысли, что без террористических нападений достичь социалистических идеалов невозможно, были психически нездоровыми людьми (Ишутин через несколько лет попросту сошёл с ума).

4 апреля 1866 года Каракозов стрелял в мирно прогуливавшегося Александра II (от этой своей роковой привычки император, как знаем, так и не отказался), но то ли промахнулся, то ли был остановлен оказавшимся рядом крестьянином Осипом Комиссаровым. Этот безумный террористический акт имел – и власть можно понять – разнообразные последствия. Среди них обыски и аресты, в том числе и среди литературной братии. Поскольку при обыске у Каракозова нашли журналы «Русское слово» и «Современник», оба почли за благо навсегда закрыть. Таким неожиданным образом долгая и, на мой вкус, несправедливая до хамства история общения Салтыкова с «Современником» была мигом завершена.

Между прочим, хоть и задним числом, *после ухода поезда* Некрасов, как выяснилось много лет спустя, всё же устыдился того, что в справедливых внутриредакционных спорах Салтыкова с Антоновичем и прочими радетелями идеологической чистоты принимал их сторону. В связи с закрытием «Современника» он предложил Салтыкову содействие в сотрудничестве с ежеквартальником «Вестник Европы», начавшим

выходить в Петербурге. «Вестник Европы», некогда созданный Карамзиным, теперь решился возродить профессор всеобщей истории Санкт-Петербургского университета Михаил Стасюлевич. Забегая вперёд, скажем: у него это получилось, журнал успешно издавался вплоть до 1917 года и был, наряду со всеми другими изданиями императорской России, закрыт большевиками. Но в летние месяцы 1866 года Михаил Евграфович, ещё сидевший в Пензе, заартачился. «Куда нам, свистунам, забираться в такие высокие сферы!» – будто бы сказал он, вспоминая сатирический «Свисток» при «Современнике» и намекая на то, что «Вестник Европы» не станет откликаться на злобу дня... Надо признать, здесь пророческий дар Михаила Евграфовича не проявился. У него ещё будет своя история взаимоотношений с «Вестником Европы», и это будет со всех сторон достойная история. Но о ней – в должное время.

А пока поставим в список последствий безумного каракозовского выстрела одно событие, происшедшее как раз в Крапивенском уезде Тульской губернии, куда назначался Салтыков. Василий Шибунин, писарь 2-й роты 65-го Московского пехотного полка, переведённый сюда в разряде штрафованных из Екатеринославского лейб-гренадерского полка за воровство и пьянство, продолжил разгул на новом месте службы. За это и ненадлежащее ведение писарских дел ротный командир дисциплинарно наказывал Шибунина, но однажды, выйдя из себя, после грубой перепалки, приказал не только вернуть писаря в карцер, из которого тот только что вышел, но и высечь его розгами. На это пьяный Шибунин ответил ротному публичной пощёчиной.

Дело было в июне, в разгар следствия по делу Каракозова. Трудно представить, что его история не повлияла на то, что Шибунина мгновенно предали военно-полевому суду и приговорили к смертной казни. На суде добровольным защитником дебошира выступил Лев Толстой, но все его усилия оказались тщетными. Шибунина публично расстреляли – в расположении полка, при большом стечении крестьян, сочувствовавших обречённому. Это произошло 9 августа – нельзя не заметить, что Каракозов был повешен позже, 3 сентября...

История эта хорошо известна – отчасти потому, что в смягчении участи Шибунина пытался принять участие Толстой; недавно на этот сюжет даже сняли художественный фильм. А мы обратим внимание на следующее. Казнь Шибунина, казалось, не была чрезвычайным событием, но всё же, по легко проверяемым данным, в Российской империи с 1841 по 1860 год было совершено всего три казни, а с 1861 по 1865 год – восемь. Террористы, начиная с Каракозова, как раз с 1866 года начали ухудшать

статистику, но, как ни крути, расстрел армейского пьяницы за пощёчину, данную в защиту своего достоинства, на фоне профилактического повешения впервые покусившегося на венценосную особу не может не произвести душевного потрясения.

Так и случилось: много лет спустя, в 1908 году, Лев Толстой писал: «Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо больше влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неудачи в литературе, даже потеря близких людей...» Это влияние выразилось в формировании сегодня повсеместно известной философии Толстого, отрицающей, в частности, право человека казнить смертью другого человека. Но здесь следует перечитать и то место в защитительной речи Толстого, где он указывает на одно распространённое явление в человеческом сообществе, определяемое им так: «...кроме служебных отношений, между этими людьми установились очень тяжёлые отношения человека к человеку – отношения взаимной ненависти». Это всем нам очень хорошо известно.

Невозможно представить, что дело Шибунина осталось совершенно неизвестным для Салтыкова. Но не имея свидетельств о его к этому делу отношении, мы должны указать на очевидные изменения в состоянии российской общественной атмосферы в годы реформ, на развитие у русского человека чувства собственного достоинства, что так или иначе в творчестве Салтыкова отражено, но не поставлено в центр внимания. В центре его внимания – не обретение, а потеря даже остатков человеческого достоинства.

Поэтому отметим то, как в одном небольшом географическом пространстве одно и то же явление может тектонически повлиять на литературную вселенную одного классика и внешне никак не отразиться на литературном небосклоне классика другого.

И далее: прежде чем отправиться вслед за Салтыковым в Тулу, скажем о том, чего у него там, на тульских землях не произошло.

Не произошло встречи с Львом Толстым.

Это странная особенность жизни обоих. Почти ровесники, две звезды новой эпохи реформ русской литературы они были знакомы, вероятно, с зимы 1856 года, когда Салтыков после Вятки приехал в Петербург устраивать свои служебные дела, и тогда встречались часто. Оба не были нелюдимами. Оказавшись в Петербурге в феврале 1856 года, штабс-капитан Толстой потащил весь цвет «Современника» в фотографическое ателье Сергея Левицкого (дагеротипия – совсем не дешёвый в те времена аттракцион). Так он обогатил историю русской литературы и культуры



впечатляющими фотодокументами<sup>[16]</sup>. И в поздние свои годы Толстой не уставал от толп паломников, устремляющихся в Ясную Поляну. Однако при этом с Достоевским так и не познакомился, на открытие памятника Пушкину в 1880 году в Москву не приехал (правда, и Салтыкова там не было).

Последний раз в жизни Толстой и Салтыков встречались в Петербурге в марте и в Москве в апреле 1858 года. Общение было разносторонним и дружеским. Толстой, послушав чтение Салтыковым его прозы, в своём дневнике отметил: «Он здоровый талант» (17 марта 1858 года). Салтыков дневников не вёл (во всяком случае, они нам неизвестны; наверное, ему хватило «Дневника провинциала в Петербурге»). Салтыковское суждение о Толстом записал сам Лев Николаевич – в том же дневнике, после ужина с четой Салтыковых в ресторане роскошной гостиницы Ипполита Шевалье в Старо-Газетном (ныне Камергерский) переулке: «Он (Салтыков. – С. Д.) упрекал меня в гениальности» (4 апреля).

Оценка Толстого, вероятно, не требует пояснений: чего-чего, а болезнетворной тоски в энергетически сильных сочинениях Салтыкова нет (хотя читал Салтыков Толстому из своей «Книги об умирающих»). А вот высказывание Михаила Евграфовича до сих пор остаётся непрояснённым. Возможно, здесь отзвук спора. В дневнике Толстого тех недель есть запись: «Политическое исключает художественное, ибо первое, чтобы доказать, должно быть односторонне» (21 марта). Можно предположить, что он высказал эту идею Салтыкову, а тот не согласился, ибо уже в ту пору в ранних сатирах не соглашался с сужением задач и возможностей художественного. Политические мотивы у Салтыкова представлялись не «односторонне», это была не популярная тогда «обличительная литература», а нечто иное, исходящее из метафизической сущности человека и пропущенное через политические коллизии.

И в этом смысле Салтыков, видевший художника в гуще жизни, более свободен, чем тогдашний Толстой, шедший в ту пору за идеями Белинского об особом предназначении и художника, и творчества как такового. У Салтыкова своё – служба с государевым напутствием. *Служить, как писать, писать, как служить...*

Вот и разберись тут. Тем более когда, несмотря на конфликты в Пензе, он вместе с назначением в Тулу получил чин действительного статского советника (со старшинством от 2 декабря 1866 года), то есть стал гражданским (статским) генералом. Это давало прибавку в жалованье, а также именование «Ваше превосходительство». К слову, по воспоминаниям, Салтыков отнёсся к своему новому титулу очень серьёзно:

принимая его в служебных обстоятельствах, приходил в ярость, когда слышал «Ваше превосходительство» от своих добрых знакомых и друзей.

Однако в Туле свежий действительный статский советник провёл меньше года: официально вступил в должность управляющего Тульской казённой палатой 29 декабря 1866 года, а уже 13 октября 1867 года получил такую же должность в хорошо знакомой ему Рязани. И это непродолжительное пребывание на новом месте вызывает особое внимание, необходимость серьёзного разбора, хотя о тульских месяцах жизни Салтыкова сохранилось немного материалов: полтора десятка его писем, служебные документы, коекакие воспоминания...

Железной дороги в Туле, как и в Пензе, ещё не было, но она споро строилась от Серпухова, уже связанного чугунок с Москвой, и, заедем чуть вперёд, 5 ноября 1867 года по ней началось движение. Однако Салтыков этого достижения едва ли дождался: впервые приехав в город из Серпухова на конной тяге, он так же, в экипаже, окончательно покинул Тулу то ли в октябре, то ли в начале ноября. Хотелось бы, само собой, представить его мчащимся из Тулы в Москву в одном вагоне с Львом Толстым, но ни одного намёка на это история не сохранила. Поэтому вернёмся к реальности.

В Туле Салтыковы занимали служебную квартиру в доме Игнатьевой, на Киевской улице. Хотя точное местонахождение дома установить не удалось. В отличие от Пензы, в бытовую жизнь которой супруги успели вклиниться, а Михаил Евграфович получил вдохновительные для творчества впечатления, Тула в его произведениях так и не появляется. Только однажды, по свидетельству писателя и драматурга Ивана Щеглова, уже в 1880-е годы, Салтыков, вероятно, пребывая «в особенно угнетённом состоянии духа», вдруг произнёс экстравагантное пророчество, «будто похоронят его за городом на пустыре, где сваливают мусор, без песнопения и колокольного звона, – и, когда его зароят, забредёт на могилу пьяный монах и осквернит свежую могильную насыпь. (Рассказчик выразился несколько сильнее.)

– И будет это в городе Туле! – мрачно заключил он.

– Почему “в Туле” – никто не мог понять, по всей вероятности и сам Щедрин».

Характерно это «Щедрин» в описании встречи с Салтыковым. Но и «Тула» здесь появляется, пожалуй, не случайно. Можно предположить, что с Тулой у Салтыкова в последние десятилетия жизни связывались, прежде всего, две личности. Первая – это его любимейший в «Отечественных записках» автор, талантливейший и проницательнейший уроженец Тулы

Глеб Иванович Успенский, автор «Нравов Растеряевой улицы», где этот город своеобразно воспет. Не исключено, что перед описываемой встречей Салтыков встречался с Успенским (у Щеглова есть упоминание об их общении), и потому как-то ассоциативно выплыла Тула.

Но вспомнить Тулу Салтыков мог и в связи с другой личностью – тульского гражданского губернатора и притом генерал-майора, в прошлом командира Волынского пехотного полка Михаила Романовича Шидловского. Как, вероятно, заметили читатели, мы были неизменно внимательны к взаимоотношениям Михаила Евграфовича со своими непосредственными начальниками, в том числе и губернаторами, а здесь мы просто обязаны о Шидловском подробно сказать. Ровесник Салтыкова, в том же чине, только военном, он принадлежал к старому польскому дворянскому роду; впрочем, его предки ещё в XVI веке переселились в Россию. Губернатором его назначили в 1865 году, причём он получил напутствие уделять особое внимание разворачивавшейся Земской реформе. Напутствие Шидловский воспринял по-военному чётко: организация выборных уездных и губернских земских собраний и проведение в феврале 1866 года учредительного Тульского губернского собрания прошли под неусыпным наблюдением местной жандармерии.

Было у этого «энергичного реакционера», как назвал Шидловского в своих воспоминаниях князь Д. А. Оболенский, ещё одно своеобразное качество, вынесенное, возможно, также из армейской практики. Он стал скрупулёзно влезать во все дела Тульского губернского правления, тем самым лишив своих подчинённых какой-либо самостоятельности. Каждое, даже самое незначительное решение должно было согласовываться с губернатором, что мгновенно породило волокиту и безумный круговорот служебных бумаг. Войдя во вкус, при минимальных юридических знаниях, Шидловский стал влезать и в судопроизводство, которое также было реформировано. Первой инстанцией по широкому кругу гражданских и уголовных дел стали волостные суды и мировые судьи, мировой съезд являлся окончательной инстанцией по делам волостных судов и мировых судей, а Тульский окружной суд рассматривал с участием присяжных заседателей и присяжных поверенных, то есть адвокатов, дела особой важности.

Шидловский, как вспоминал современник, «начал принимать жалобы на съезды по решениям волостных судов и расплодил такую массу дел, что в уезде нельзя было привести в исполнение ни одного решения волостного суда, всякое было обжаловано». В этих обстоятельствах жалобы на судебные решения стали расходиться по разным адресам, иные стали

добираться и до Петербурга – до министерств и Сената... Лишь многими усилиями, после вмешательства сенаторов удалось укротить ретивого губернатора. В этих обстоятельствах появление Салтыкова на ключевой губернской должности стало для Шидловского подарком.

Согласно положению «О преобразовании казённых палат и изменении штатов» от 23 мая 1866 года управляющий казённой палатой как губернским подразделением Министерства финансов был её единоличным руководителем и облакался персональной ответственностью перед министерством за всё происходящее в губернии в финансовой сфере. Однако при этом продолжал действовать «Общий наказ гражданским губернаторам» 1837 года, согласно которому губернатор наделялся всей полнотой власти в своей губернии, мог ревизовать все губернские и уездные учреждения, а главное – отвечал за надлежащий сбор всех налогов.

Это очевидное противоречие, однако, не было вопиющим (в определённой степени оно существовало и до положения 1866 года, но согласованно снималось начальством в большинстве российских губерний). Не было здесь конфликтов и у Александровского с Салтыковым, если не считать финального столкновения, где, как мы пытались показать, свои полномочия превысил Михаил Евграфович.

Но в Туле Салтыков оказался с совершенно другим настроем, так что и Шидловский был для него тоже подарком. Пожалуй, он, нацелившийся на скорое возвращение в литературу, впервые встретил столь далёкого от литературы и искусства администратора. Хотя Шидловский, так же, как и Достоевский, окончил не самое захудалое учебное заведение – Главное инженерное училище (вроде и с Достоевским был знаком), – а также военную академию, признать его интеллектуалом затруднительно. Когда позднее он угодил на место председателя совета Главного управления по делам печати, поэт Фёдор Иванович Тютчев однажды во время обсуждения какого-то конфликта спросил его: «Для чего литература и печать, если отрицать значение её заявлений?» – «Для забавы, для забавы! – крикнул не своим голосом Шидловский. – Для того чтобы людям, которым было нечего делать, было что читать. Другого значения литература и вообще печать не имеют!»

Впрочем, поначалу Михаил Евграфович не стал выяснять и утверждать с губернатором значение литературы, а взялся за изучение дел вверенной ему казённой палаты. И быстро пришёл к выводу, что «по количеству и роду производимых им денежных оборотов» Тульское губернское казначейство занимает «едва ли не одно из первых мест в Империи». А это требует его перевода из 3-го разряда во 2-й, то есть

создания дополнительных должностей бухгалтеров и кассиров.

Замечательны в отношении Салтыкова в адрес Министра финансов слова с обоснованием перемен: «Хотя при первом моём знакомстве с делопроизводством и счетоводством Тульского губернского казначейства оно найдено в надлежащей исправности, тем не менее я имел случай самым положительным образом убедиться, что чиновники казначейства до крайности обременены работой. Занимаясь почти без отдыха с утра до поздней ночи, они весьма естественно ищут себе других более лёгких и не менее вознаграждаемых служебных занятий. Прямым же последствием такого положения дел может быть крайняя изменчивость в личном составе казначейства, а вместе с тем и расстройство в делах и счетах его».

Одновременно Салтыков взялся за наведение порядка в делах торговли и промыслов. Прекрасно зная по опыту службы в Пензенской губернии сколь быстро – и неизменно с ущербом для казны – действуют предприниматели, как только ослабевают контроль за ними со стороны волостных правлений, Салтыков не только в особом циркуляре потребовал от них «постоянного наблюдения за точным исполнением правил», но и подготовил подробные пояснения о действиях лиц, пользовавшихся льготами при взятии торговых документов.

В частности, он обратил внимание на то, что в положении о льготах «отставным и бессрочноотпускным солдатам, их жёнам, вдовам, незамужним дочерям, а равно вдовам и незамужним дочерям церковно-и священнослужителей», утверждённом 9 февраля 1865 года, было упущение, которым незамедлительно воспользовались многие и продолжали пользоваться, уже по недосмотру чиновников, хотя 12 декабря 1866 года Государственный совет исключил из льготного списка питейные заведения. Также для упорядочения мелочного торга в губернии Салтыков потребовал от всех льготников «снабдить себя на право торговли особыми бесплатными свидетельствами, имеющимися в уездных казначействах».

Можно представить, что, взявшись за проверку «питейных заведений» Тулы, Салтыков исходил не только из собственных печальных наблюдений. В Туле, как было замечено, у него оказалось своё доверенное лицо. В 1866 году «Современник» до неожиданного, но предсказуемого закрытия успел напечатать четыре очерка молодого Глеба Успенского из его будущего знаменитого «растеряевского» цикла. В них с мрачным сарказмом, зловеще изображались деятельность целовальника Данилы Григорьича и его клиентура.

И теперь Салтыков быстро убедился, что Успенский, изображая «г. Т.», то есть город Тулу, совсем не сгущал краски. А поэтому распространил

надзорные действия на всю губернию. Он быстро обнаружил существующую в губернии тенденцию к сокрытию капиталов «торгующим классом», то есть купцами. Разумеется, тяга к их сокрытию, то есть к уклонению от налогов – неотъемлемое качество любого предпринимателя, но здесь она неожиданным образом поддерживалась земскими управами и даже губернатором Шидловским, утверждавшим заниженные обложения капиталов. Причины такого добросердечия могли быть различными – от своекорыстных до покровительственных, но это были серьёзнейшие нарушения, и они быстро перевели отношения между Салтыковым и Шидловским из дружеских (по воспоминаниям, поначалу новый управляющий казённой палатой «нередко бывал у него запросто, любил играть с ним в пикет») в конфликтные и враждебные.

Шидловский, уже привыкший оставлять последнее слово за собой, не потерпел того, что Салтыков стал последовательно отстаивать независимость казённой палаты от губернатора. Были и такие тонкости, снять которые можно было только взаиморасположением, взаимопониманием, поиском согласия. А этого не проявлялось и со стороны Салтыкова. Хотя, выявляя и преследуя наказаниями и штрафами всяческие нарушения, сам он порой намеренно шёл против требований закона – как пишет в своих воспоминаниях секретарь Тульской казённой палаты И. М. Мерцалов, «из сострадания к бедным торговцам». Мерцалов запомнил и записал слова Салтыкова: «Ну, претензии-то всякие в сторону, когда представляется возможность помочь бедному человеку», но, со своей стороны, выразил справедливое несогласие с этим шатким доводом, который обрекал подчинённых Салтыкова на конфликт с законом, а значит, и на серьёзные наказания по службе.

Очевидно, этот чиновник был истинным почитателем произведений Щедрина, ибо сумел воспроизвести в своих воспоминаниях (единственных о пребывании Салтыкова в Туле) психологически очень достоверную сценку, показывающую характер и стиль работы Михаила Евграфовича, мгновенно оценённые в народе:

«Однажды, часов в одиннадцать утра, является в палату целая толпа рыночных торговков, оштрафованных по актам торговой депутации за невыбор билетов на торговлю из палаток отрезами ситцев и мелочным галантерейным товаром, и вот, только входит Салтыков в переднюю, толпа эта бросается перед ним на колени с слёзной мольбой о пощаде, кричат все вместе, перебивая друг друга: “Ваше превосходительство, помилосердствуйте, не прикажите теснить и преследовать нас”.

– В чём дело? – спрашивает он.

Опять крики и вопли всех вместе, так что трудно разобрать, чего они хотят, а пройти не пускают, хватаясь за ноги. Вырвавшись кое-как из этой толпы взволнованным и расстроенным, Салтыков набрасывается на старшего делопроизводителя:

– Это вы своими протоколами пригнали сюда сумасшедших баб, не могли там на месте разобрать их и уладить дело!

– Что ж я мог сделать? Билетов не взяли при всём настоянии, пропускать их в обиду других исправных плательщиков я не имел права, тем более что торговля их у всех на виду, хотя прежде и пропускали их. Вот и галдят теперь, чтобы позволили торговать беспошлинно.

– Ну, подите, убедите их сами, что этого нельзя допускать, и пусть убираются отсюда.

Вышел к ним старший делопроизводитель, они и слушать его не стали. “Мы, говорят, желаем объяснить свои нужды генералу вашему”. Но и генерал, сколько не разъяснял им, что закон запрещает беспошлинную торговлю, что если им тяжело заплатить требуемые пошлины, могут платить по частям, – не мог вразумить и успокоить их. Потеряв наконец терпение, управляющий ушёл в свой кабинет, а их велел выгнать. Тем не менее благодаря этим воплям и мольбам о снисхождении Салтыков принял живое участие в положении бедных женщин: немедленно предписал полиции произвести дознания об имущественной несостоятельности их и затем, по получении этих дознаний, многих освободил от уплаты штрафов и пошлин, по безнадёжности поступления, об остальных просил полицеймейстера не требовать с них строго уплаты всей суммы взыскания вдруг, а взыскивать понемногу и по частям, но в том и другом случае лавок их не велел закрывать и не запрещал продолжать торговлю.

То и другое распоряжение были явно неправильны и несогласны с требованиями закона. Салтыков, конечно, вполне сознавал это и всё-таки предпочёл следовать влечению своего отзывчивого сердца, чем руководствоваться буквою закона».

Как говорится, литература – и жизнь. Надо ли добавлять, что после отъезда Михаила Евграфовича чиновники, чтобы не попасть под наказания, все эти распоряжения «*милостивого барина*» вынуждены были отменить?

Мерцалов пишет и о том, что в своей, по сути, псевдоблаготворительной деятельности Салтыков «умел легко различать и по заслугам наказывать» «проходимцев, притворявшихся бедняками», но и такую форму взаимоотношений трудно признать достаточно правомерной.

Благодаря подробным и стремящимся к максимальной объективности воспоминаниям Мерцалова мы можем разобраться в механизмах конфликта

между «главарями нашими», как он их называет. Очевидно, имея равные с губернатором служебные ранги, Салтыков решил отстаивать своё право на полную независимость от своего ровесника, с раздражением воспринимал даже вызовы к губернатору на заседания, хотя сам не отличался пунктуальностью, появляясь в присутствии позднее своих подчинённых.

Однажды, во время заседания Особого о земских повинностях присутствия, которое Шидловский проводил вечером на своей квартире, Салтыков стал горячо спорить по обсуждаемым вопросам, говорил губернатору «колкости», «а тут ещё ни к селу ни к городу подвернулся полупьяный городской голова с своей жалобой на губернаторского любимца-полицеймейстера, будто он ворует овёс и сено, отпускаемые городом на пожарных лошадей. Губернатор потерял терпение и закрыл заседание, отзываясь невозможностью вести его ввиду *возбуждённого состояния* некоторых членов».

Разумеется, такое уподобление нетрезвому градоначальнику взъярило Салтыкова, и «он стал повсюду публично издеваться над *тульским помпадуром*, написал на него памфлет под названием: “Губернатор с фаршированной головой” и читал его довольно открыто своим клубным собеседникам». Разумеется, донесли об этих читках губернатору, и Михаил Романович, как истинный офицер, поднял брошенную ему рукавицу...

Но здесь следует сказать несколько слов и об этом «памфлете» (текст его неизвестен), и об источниках творческого вдохновения Салтыкова. Надо всегда помнить: как ни упрекал Михаил Евграфович Льва Николаевича в «генияльности», он и сам был литературный гений. А гений не разменивается на простые шаржи. Романический цикл Салтыкова «Помпадуры и помпадурши», который он вывез из своих служебных странствований, был и, очевидно, останется одной из самых ярких философских сатир на человека при власти. Однако ни один из добросовестных исследователей не станет привязывать его образы к конкретным администраторам, с которыми (и которым) пришлось иметь дело с Салтыковым. Можно говорить о каких-то отдельных деталях, о вариантах сходства, но прямолинейные сопоставления невозможны.

Даже чиновник Мерцалов, хотя он и не слышал салтыковского «памфлета» и не читал его, вставляет замечательную реплику: известная всем «фаршированная голова» майора Прыща из «Истории одного города» и сам Прыщ «не имеет ничего общего с Шидловским, кроме разве названия майором, так как и Шидловский любил подписываться на исходящих бумагах: не губернатор, а *генерал-майор Шидловский*».

Действительно, правление градоначальника Прыща и даже он сам



изображены Салтыковым с симпатией. Между прочим, трагическая гибель Прыща, фаршированную голову которого съел «местный предводитель дворянства», представляет собой замечательное овеществление ходкого метафорического выражения «его съели». «Но никто не догадался, что, благодаря именно этому обстоятельству (фаршированной голове градоначальника. – С. Д.), город был доведён до такого благосостояния, которому подобного не представляли летописи с самого его основания» – так завершается история о Прыще. А мы обратим внимание на то, что во времена реформ, когда писалась «История одного города», и предводители дворянства на местах, и само дворянство фактически *съедали* многих администраторов-реформаторов, посылаемых в губернии из столицы. Так что образ «фаршированной головы» мог возникнуть у Салтыкова в связи с Шидловским, но потом приобрести именно тот художественный смысл, который был необходим в построении «Истории одного города». По некоторым данным, любимым выражением Шидловского было «Не потерплю!», которое Салтыков отдал в «Истории» градоначальнику Брудастому, «Органчику», а сохранившиеся рукописи книги показывают, что первоначально глава о Брудастом называлась «Фаршированная голова», затем «Неслыханная колбаса». Так что вновь вспомним замечательный толстовский образ «бесконечного лабиринта сцеплений, в котором и состоит сущность искусства»...

Многолетний приятель Салтыкова, член совета Главного управления по делам печати Василий Лазаревский, хорошо знавший и Шидловского, в своих записках замечает, что именно «Фаршированная голова» заставила Шидловского начать регулярные действия против Салтыкова с жалобами на то, что с ним «нельзя служить». Также Лазаревский отметил, что Салтыков о Шидловском «говорить любит, но всегда с пеной у рта».

В своей борьбе с Салтыковым Шидловский обрёл союзника в лице тульского жандармского штаб-офицера полковника Муратова. Тот ещё 7 января 1867 года отправил о вновь прибывшем управляющем казённой палатой донесение в своё ведомство: «Дейст. статск. советник Салтыков, вступив в исправление должности, приказал вынести из присутствия палаты зеркало (вопреки 49 ст. 2 тома Общ. Губерн. учрежд.), советников же Казённой палаты и её секретаря поместил в канцелярии. Сам является в присутствие в пальто (так тогда назывался род гражданского сюртука; чиновники же, тем более начальник, обязаны были носить вицмундиры. – С. Д.) и позволяет себе курить, несмотря на то, что в присутствии находится портрет государя императора». Обо всех этих непорядках Муратов также доложил губернатору, но Шидловский до поры до времени

не обращал на эти вольности внимания...

Мудрый и терпеливый министр финансов Рейтерн, долгое время принимавший сторону Салтыкова, в конце концов, изнывая от поступающих с двух сторон жалоб, стал понимать: мир здесь недостижим. До него, возможно, дошёл и такой сюжет, превращавший тульское противостояние в какой-то медвежий цирк для увеселения всего города<sup>[17]</sup>. Написав очередную жалобу министру на вмешательство губернатора в дела казённой палаты, Салтыков «велит скорее переписать это представление и, когда оно было запечатано, расписывается в получении пакета по разносной книге, сам несёт его на почту, держа перед собою как бы напоказ всем. На полдороге встречается с ним знакомая барыня и с удивлением спрашивает:

– Куда это вы, Михаил Евграфович?

– Иду Мишку травить.

– Какого Мишку?

– А вон (указывая на квартиру губернатора, помещавшуюся на втором этаже), что залез в высокую берлогу.

– А! верно, жалобу на губернатора хотите отправить? Что ж вы сами-то несёте пакет?

– Покойней будет на душе, когда сам в подлеца камень бросишь».

А Рейтерну стало покойнее, когда он наконец решился переместить Михаила Евграфовича на открывшуюся вакансию управляющего Рязанской казённой палатой.

Как видно, изнемогший в междоусобной борьбе Салтыков посопротивлялся, но затем согласился вновь поработать в Рязани.

Однако напоследок сделал странное назначение непригодного чиновника на должность уездного казначея. Со скандалом оформил ему прогонные документы, после чего раскланялся с взбудораженными чиновниками, как вспоминает тот же Мерцалов.

«— Теперь, – прощайте, я уж больше не управляющий вам; видно, и правда, что два медведя в одной берлоге не уживаются».

Это Салтыков. И нет на него Щедрина!

## Рязанские страдания – 2

Неверно было бы полагать, что мы не отдаём должного административным талантам Михаила Евграфовича. Тот же Мерцалов подробно пишет о том, что война с губернатором шла у Салтыкова наряду с серьёзной работой. «Девять только месяцев он управлял Тульской палатой, но и за это короткое время своею энергическою, неутомимою деятельностью, следы которой повсюду встречаются в уцелевших делах его управления и остаются до сего времени неизгладимыми, он принёс ощутительную пользу палате». (Надо заметить, что за Салтыковым на новое место его службы поехали три чиновника.) Далее, с чиновничьим педантизмом описываются эти полезные деяния, и они действительно подтверждают «живой и светлый ум Салтыкова, быстроту соображения, помогавшую ему всегда моментально схватывать суть дела, хотя бы и сложного», – словом, это был бы, что называется, человек на своём месте, если бы...

Если бы его давным-давно не поджидало другое место, писательское.

Много лет спустя Салтыков признавался, что конфликт с Шидловским он воспринял как предвестие отставки. Но «тогда положение моё как писателя не было ещё прочно. “Современник” был закрыт; “Отечественные записки” не перешли ещё к Некрасову. Выходить в отставку не находил я ещё возможным. Нечего делать: еду в С.-Петербург объясняться. Иду к Рейтерну. Выясняется дело, что граф Шувалов, управлявший тогда III Отделением, нажаловался на меня Государю. И Государь согласился на то, чтобы “Салтыкова убрать как беспокойного человека из Тулы”».

Салтыков, при поддержке Рейтерна, отправился к Шувалову и, по его словам, потребовал от управлявшего III отделением, чтобы тот доложил императору о превратном представлении ему Салтыкова как человека *беспокойного* – в отрицательном смысле этого слова...

Так или иначе, вместо отставки писатель получил новое назначение. Но здесь его изначально подстерегала деликатная тонкость. Вакансия поначалу примеривалась к протекции рязанского губернатора, и последний был озадачен появлением кандидатуры Салтыкова, к тому же ещё подогревшего свою щедринскую известность достославными боями с Шидловским. Но Салтыков сам сразу обострил отношения.

Только что произведённый в действительные статские советники рязанский губернатор Николай Аркадьевич Болдарев также был

ровесником Салтыкова. И тот, явившись представляться, отринул формальности, войдя в губернаторский кабинет со словами: «Ну, вот и я, ваше превосходительство!» По рассказу рязанского чиновника, записанному уже известным нам Г. А. Мачтетом, Болдарев «рассыпался в любезностях, стал уверять, что очень рад его видеть, познакомиться с ним и служить в одной губернии.

– Спасибо, спасибо, ваше превосходительство! – тем же хмурым тоном перебил его Салтыков, причём губы его слегка улыбнулись. – Очень благодарен и тронут!.. А вот министр просил меня передать вам, что ходатайство вашего превосходительства о назначении на мою должность господина М. М. – уважено им, к сожалению, быть не может!

Губернатор вспыхнул и совсем растерялся...»

В литературе о Салтыкове гуляет утверждение Мачтета, что Болдарев просил за своего родственника. Но такое прошение действительно не могло быть уважено, ибо служба родственника на высокой должности под началом другого родственника на соразмерной должности не допускалась. Но мы вполне можем допустить, что Салтыков, прекрасно зная эту коллизию, в силу своеобразия своего характера решил лишний раз покуражиться над новым для него *помпадуром*.

Надо отдать должное Болдареву: в отличие от Шидловского, этот выходец из кавалергардов, потомственный лошажник, отец семейства, не стал помогать управляющему казённой палатой в расширении поля конфликтов. Очевидно, его попечением Салтыков получил для проживания в Рязани «отличный каменный дом» (по отзыву Елизаветы Аполлоновны) – по сути, городскую усадьбу на углу Владимирской и Абрамовской улиц (ныне угол улиц Свободы и Щедрина). Зато супруг написал пространное прошение директору Департамента государственных имуществ, где, жалуясь, что он вынужден пользоваться «обширным казённым домом», просил дополнительные суммы на его содержание.

И прошение это было удовлетворено. Оставаясь с разнообразными долгами, в том числе по Заозерью и Витенёву (Ольга Михайловна воспитывала своих детей, включая «милостивого барина», не ослабляя суровости), Салтыков даже стал подумывать о том, чтобы стать присяжным поверенным. Встретившийся с Салтыковым в ноябре 1867 года в Москве адвокат, князь Александр Иванович Урусов вспоминал: «Говорили мы о делах, причём он, подобно всем русским людям, жаловался на безденежье. Говорили и о литературе, в которой он занимает такое видное место. И вдруг он спросил: не идти ли ему в защитники?»

Впрочем, здесь надо прислушаться к основательному суждению С. А.

Макашина: «Мысли о “деловой” карьере спорадически возникали у Салтыкова в кризисные моменты его материального положения. При его крайней импульсивности они выплёскивались в дружеских разговорах и письмах, но тут же или вскоре и умирали, без каких-либо практических последствий».

Оказавшись в Рязани, Салтыков уже знал, что Некрасов ведёт переговоры с владельцем журнала «Отечественные записки» Андреем Александровичем Краевским и готов стать ведущим сотрудником издания, задержка была только в условиях договора.

Правда, общим осложняющим обстоятельством стал голод зимы 1867/68 года, охвативший едва ли не всю европейскую часть России. Это создавало дополнительные трудности в работе казённой палаты, особенно в сборе налогов. С другой стороны, именно голод заставил Салтыкова внимательнее изучить не только систему взимания пошлинных сборов за право торговли и промыслов, но и практику этого взимания. Помимо прочего, он заметил, что в Рязанской и других подмосковных губерниях (очевидно, имеется в виду и Тульская) развился «особенный вид промышленников». Это «крестьяне и мещане, не имеющие фабрики и заводы в тесном смысле этих слов, но занимающиеся, по комиссии других лиц или за свой счёт, раздачей заказов различных заводских или фабричных произведений крестьянам окружных селений, которые, исполнив заказы у себя на домах, отдают их заказчику и получают от него заработную плату. Лица эти получают выгоду весьма значительную».

По воспоминаниям поддерживаемого Салтыковым чиновника Н. Н. Кузнецова, Михаил Евграфович и в Рязани работал въедливо, как видно, отрешаясь от своих литературных мечтаний. При этом сохранял желание поозоровать при каждом удобном случае. Понимая, что повторять тульский аттракцион с зеркалом, которое выставлялось во всех российских присутственных местах как эмблема правосудия, было бы дурновкусием, Салтыков в Рязани не убирал зеркало, но всякий раз, когда ему хотелось покурить в кабинете (а курить в присутственных местах запрещалось), он снимал с зеркала золочёного гербового орла и, положив его на стол с присказкой: «Ну, теперь можно и вольно», – закуривал очередную папиросу...

Любил Михаил Евграфович, как и в прежние времена, заходить в Дворянское собрание, где за ужином пил херес по рубль двадцать за рюмку. Причём однажды на вопрос знакомого – разве нельзя подороже? – ответил: «Не по карману». Потихоньку вокруг Салтыковых, как обычно, стал образовываться дружеский кружок...

Но с началом 1868 года рязанский общественный климат вокруг городской усадьбы на углу Владимирской и Абрамовской изменился. В Петербурге начал издаваться обновлённый журнал «Отечественные записки», и в каждом его номере появлялись сочинения Салтыкова. Вначале рассказ «Новый Нарцисс, или Влюблённый в себя», затем рассказ «Старый кот на покое», вошедший вскоре в цикл «Помпадуры и помпадурши». Подписаны они были «Н. Щедрин», но в оглавлении стояло «М. Е. Салтыков-Щедрин». В февральском номере Салтыков также напечатал «Первое письмо» своих «Писем о провинции». Оно было подписано нераскрываемым псевдонимом: Н. Гурин, но этот псевдоним никого в Рязани не мог сбить с толку. Местный бомонд понял: Щедрин вернулся! Да ещё в виде неведомого Гурина. И принялся вчитываться в журнальные строчки, ища в них своё и себя.

\*

Последняя служба Салтыкова продлилась всего семь месяцев – он приехал в Рязань в начале ноября 1867 года, а 11 июня 1868-го навсегда, вместе с Елизаветой Аполлоновной покинул город. Пребывая в раздумьях о своих будущих литературных делах и при этом чувствуя неопределённость в предложениях Некрасова, тяготясь службой, он всё же в уныние не впадал.

Рязанский бомонд коротал время не только в разного рода посиделках. В какой-то мере теснил скуку театр. Здесь Рязани повезло: ещё в конце XVIII века попечением тогдашнего генерал-губернатора Рязанского и Тамбовского наместничеств, интеллектуала-полиглота, меломана и при том талантливого полководца Ивана Васильевича Гудовича возник «Оперный дом», первый городской театр. В 1862 году он разместился в новом здании на Соборной площади. Этот драматический театр имел заслуженную известность как один из лучших нестоличных театров России. Здесь стремились привлечь в труппу молодые таланты, чутко выстраивали репертуар: так, гоголевский «Ревизор» появился на рязанской сцене в декабре 1836 года, вскоре после петербургской премьеры. Ставили пьесы Шекспира, любимым автором был Александр Островский...

У Салтыкова был самый естественный способ преодоления меланхолии – кроме театра и дружеских семейных визитов к рязанцам своего круга (с общительной, всегда жизнерадостной Елизаветой Аполлоновной знакомства заводились легко, а в Рязани их уже знали) он

после службы частенько отправлялся в клуб рязанского Дворянского благородного собрания, располагавшегося в одном из эффектных новых зданий Рязани на углу Почтовой и Астраханской улиц, построенном по проекту талантливого архитектора Николая Воронихина, племянника знаменитого Андрея Воронихина, создателя Казанского собора в Петербурге.

Как словоохотливый рассказчик Михаил Евграфович быстро приобрёл поклонников среди завсегдатаев клуба, особенно дам. По воспоминаниям очевидца, последние «обыкновенно приставали к нему с неотвязными своими просьбами рассказать что-нибудь интересное. Салтыков в угоду этим, по его выражению, “благоухающим розам”, рассказывал разные разности и анекдоты, от которых слушатели и слушательницы покатывались со смеха. Его блестящие остроумной сатирой и юмором рассказы были неистощимы. Но раз эти “розы” утомили его до того, что он стал извиняться перед ними и сказал: “Не могу больше, mesdames. Довольно. Надо ехать домой, жена зовёт!” Но они не унимались, просили рассказать последний анекдот, и он не устоял пред их мольбою и сказал: “Хорошо! Пусть будет по-вашему. Только расскажу с условием, чтобы вы больше не просили и чтобы этот анекдот действительно был последним”. “Розы” выразили согласие. Салтыков всем усевшимся вокруг него и окружавшим его стал рассказывать, как один молодой человек во время устройства одного из любительских спектаклей неаккуратно выполнил данное ему барынями и барышнями поручение и как они за это придумали этого молодого человека наказать.

Когда Салтыков договорил до этого места, то приостановился умышленно и замолчал. Дамы наперерыв друг перед дружкой стали просить: “Михаил Евграфович, доскажите, доскажите же анекдот. Что они с ним сделали, с этим провинившимся перед ними человеком?” Салтыков отговаривался, говоря, что скажет как-нибудь после или о наказании лучше умолчать, так как оно очень плачевно. “Розы” так атаковали Салтыкова, что он как бы невольно согласился, и, когда они ему задали вопрос: “Что же они ему сделали, какое придумали наказание?” – Салтыков решился и сказал: “Что сделали с ним, вы спрашиваете?” – “Да, да, да, да!” – раздалось со всех сторон. Тогда Салтыков, сдерживая несколько свой голос, выкрикнул басом: “Клистир ему из чернил поставили!” Все женщины моментально с хохотом вскочили со своих мест и врассыпную разбежались в разные стороны. Салтыков, сам рассмеявшись на всю комнату, встал и, простившись со знакомыми, уехал домой»<sup>[18]</sup>.

С 1858 года в Рязани существовала публичная библиотека (в бытность

вице-губернатором Салтыков состоял членом её попечительского совета). Она размещалась недалеко от Дворянского собрания, на Почтовой улице. Однако создать необходимый библиотечный фонд за счёт добровольных пожертвований не удавалось, и хотя читателей оказалось немало, жалобы на скудость выбора были постоянными. Но старейшая российская газета «Санкт-Петербургские ведомости» в Рязани не была редкостью, читалась многими. И вот в номере от 7 февраля 1868 года в обозрении журналов рязанцы могли обнаружить, что к «первоклассным талантам» русской литературы, наряду с Львом Толстым и Тургеневым, причислен управляющий их казённой палаты Салтыков. Через несколько дней те же «Санкт-Петербургские ведомости» отметили остроту рассказа Щедрина «Новый Нарцисс, или Влюблённый в себя», напечатанного в журнале «Отечественные записки». Следом, тоже в феврале, в Рязань доставили очередной номер газеты «Сын Отечества», где также хвалили публикации Щедрина в «Отечественных записках».

В библиотеке этих номеров журнала не было, но в неведении нетерпеливые читатели оставались недолго. Как видно, экземпляры «Отечественных записок» нашлись – если не в Рязани, так из Москвы кто-то привёз. Во всяком случае, сам Михаил Евграфович 21 марта 1868 года пишет Некрасову: «Мною овладела страшная тоска. <...> Мои “Письма из провинции” весьма меня тревожат. Здешние историографы, кажется, собираются жаловаться, а так как тут всё дело состоит в том, я ли писал эти письма или другой, и так как, в существе, письма никакого повода к преследованию подать не могут, то не согласится ли Слепцов или кто другой назвать себя отцом этого детища, в случае ежели будут любопытствующие узнать это. Впрочем, я оставляю это на Ваше усмотрение, потому что я теперь потерял всякую меру. Скоро, кажется, горькую буду пить. Так оно скверно».

Следом, 25 марта идёт ещё одно письмо Некрасову: «Здесь все узнали, кто автор “Писем из провинции” – и дуются безмерно. Разумеется, нельзя думать, чтобы 2-е письмо смягчило впечатление. Мне очень трудно и тяжело; почти неминуемо убираться отсюда... <...> обстоятельства мои из рук вон плохи».

Достоверных и независимых документов об этих месяцах жизни Салтыкова почти нет. Но само содержание первого очерка цикла «Письма из провинции», о котором идёт речь, сегодня воспринимается отнюдь не в тональности разящей сатиры Щедрина, о которой столько понаписано щедриноведами.

Образы упомянутых Салтыковым *историографов* (то есть разного



рода российских администраторов-ретроградов и дворянских деятелей, так или иначе сопротивляющихся самой идее реформ) и не упомянутых в письме, но выведенных в очерке *пионеров* (чиновников-реформаторов и земских деятелей, теснящих историографов) – ироническое и притом очень обобщённое изображение противостоящих фигурантов начального периода эпохи преобразований императора Александра Николаевича.

Объяснима даже странноватая вроде бы попытка Салтыкова привязать своё детище к имени молодого сотрудника «Отечественных записок», отважно идущего на литературно-общественные скандалы Василия Слепцова, автора известных циклов о русской глубинке «Владимирка и Клязьма» и «Письма об Осташкове». Первый очерк, как и последующие шесть из цикла «Письма о провинции» (всего их получилось двенадцать) подписаны псевдонимом «Н. Гурин», а это даёт пространство для игры с читателем.

Кроме того, вероятно, и сам автор испытывал некоторое творческое неудовольствие тем, как очерки написаны. Это всё же чуть беллетризованная публицистика, а не та необычная художественная проза, которая привлекла читателя ещё в «Губернских очерках» и продолжила своё развитие в 1868 году в «помпадурских» рассказах «Старый кот на покое» и «Старая помпадурша» на страницах тех же «Отечественных записок». Тем более что в мартовском номере журнала в рубрике «Петербургские театры» был напечатан без подписи салтыковский неувыдаемый шедевр, получивший в книжном издании заглавие «Проект современного балета». На считанных страницах автор развернул свою новую, историософскую на этот раз *буффонаду* в форме балетных либретто. Вначале примериваясь к созданию балета «Административный Пирог, или Беспремерное объединение», он, лукаво сославшись на цензурные обстоятельства, в итоге предлагает также вполне рискованную подробную роспись другого «современно-отечественно-фантастического балета».

Перед нашим изумлённо-восхищённым взором проходят Танец Взятки («Взятка порхает по сцене и лёгкими, грациозными скачками даёт понять, что сделает счастливым того, кто будет её обладателем. Она почти не одета, но это придаёт ещё более прелести её соблазнительным движениям»), Танцы Лганья и Вранья, Большой танец Отечественного Либерализма, Большой танец Неуклонности («который отличается тем, что его танцуют, не сгибая ног и держа голову наоборот») и многое другое, также не ушедшее за кулисы истории. В финале «народ в упоении пляшет; однако порядок не нарушается, потому что из-за кулис выглядывают будочники».

Думается, если рязанцы и обиделись на Салтыкова-Гурина, то потому,

что в первом письме «из провинции» в самом начале есть фраза: «Середку (хор)» между «прирождёнными историографами» и «людьми новыми» («пионерами») занимают «так называемые фофаны».

Хотя о *фофанах* подробно будет сказано только в четвёртом письме цикла («Опыт с достаточною убедительностию доказывает, что успех какой бы то ни было страны находится в зависимости совсем не от страдательного и бессмысленного присутствования в её истории фофанов, а от деятельного участия в ней живых и сознательных сил», прочитаем там, в частности), но и без пояснений любой житель России, говорящий по-русски, знает, что слово «фофан» означает простофиля, глупец, тупица, попросту дурак. «Фофаном» также называлась (и называется до сих пор) разновидность популярнейшей русской карточной игры в дурачки, а в письме первом прямо сказано, что карты имеют «преимущественную роль в жизни провинциала», правда, с оговоркой: «рядом с картами, в провинции уже зарождается потребность чтения и даже потребность мышления».

Поэтому горожане обиделись-рассердились, и, вероятно, мало кто вспомнил, что и сам Михаил Евграфович нередко появлялся в клубе для того, чтобы сесть за карточный стол. Также, вероятно, мало кому подумалось, что этот управляющий казённой палатой и бывший их вице-губернатор прекрасно знает и чувствует провинцию, эту самую неизмеримую российскую глубинку, «глубину» (по вдению Некрасова), «пучину» (если вспомнить название пьесы Александра Островского, появившейся в недавнем 1866 году в только что упомянутых «Санкт-Петербургских ведомостях»). Знает, чувствует, понимает и сострадает ей.

Зато, без сомнения, рязанские читатели отметили то, что предаться лирическому умилению по отношению к малопримечательным особенностям российской провинции и российской жизни как таковой несносный писатель-генерал не способен.

Очевидно, негодовали на этот салтыковский «клистир из чернил» не только многие его рязанские знакомцы. Возмутился и сам губернатор, и у него, помимо публикаций в «Отечественных записках», обнаружились для этого особые причины. Николай Аркадьевич Болдарев ещё до назначения губернатором был известен на Рязанщине как талантливый потомственный коннозаводчик. У него сложился круг друзей, который он, став начальником губернии, стремился, естественно, расширить и укрепить.

Главным своим союзником Болдарев считал такого же, как и он, выходца из кавалерии, энергичного губернского предводителя дворянства Александра Николаевича Реткина, ротмистра, обретшего чин

действительного статского советника. Но были у него и недруги, как без этого, – прежде всего, богатый помещик и притом активный деятель реформ, член Губернского по крестьянским делам присутствия, председатель Рязанской уездной земской управы Офросимов. В молодости Фёдор Сергеевич обучался на юридическом факультете Московского университета, служил по Министерству юстиции. Когда Салтыков, вице-губернатор, познакомился с ним, Офросимов трудился в губернском дворянском комитете, разрабатывавшем проект положения «об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян». Их взгляды на «улучшение» крестьянского быта, то есть на реформы, заметно различались, но оба были умными, образованными людьми, прекрасно осознавали проблемы страны и времени, так что после возвращения Салтыкова в Рязань вновь сблизились.

Соратником Офросимова в рязанских преобразованиях был председатель Рязанской губернской земской управы, князь Сергей Васильевич Волконский, прямо заявлявший о том, что борется с «крепостниками». Ещё один их соратник-реформатор – рязанский помещик Владимир Григорьевич Коробьин, сын полковника, храброго лейб-гвардейца-артиллериста, героя Наполеоновских войн, занявшегося на покое агрономией. Коробьин-сын был прокурором Межевой канцелярии, хорошо знал судебное дело, впоследствии стал сенатором. В Рязани он занимал должность председателя окружного суда и смог собрать вокруг себя единомышленников. Между прочим, в этом кружке обнаруживается также инспектор Александровского воспитательного заведения, полковник Дмитрий Петрович Победоносцев – старший брат не кого иного, как впоследствии знаменитого Константина Победоносцева, обер-прокурора Священного синода.

Что говорить, появление Салтыкова не просто оживило губернскую жизнь, но и усилило партию реформаторов. Михаил Евграфович не только в карты играл и дам развлекал в Дворянском собрании. Он принимал гостей у себя дома или отправлялся к Офросимову, Коробьину, другим близким ему чиновникам. Каких-либо серьёзных свидетельств, говорящих о том, что рязанские «пионеры» собирались в своих особняках с целью составить заговор против губернатора, у нас нет. Но, как видно, возникшее у Болдарева справедливое ощущение, что он оттесняется от центрального места в повседневной жизни рязанского благородного общества, породило в его голове совсем не благие фантазии.

Николай Аркадьевич стал писать «конфиденциальные докладные записки» на имя министра внутренних дел, где высказывал озабоченность

по поводу «весьма невыгодной перемены в образе действий» Офросимова, произошедшей после прибытия в Рязань Салтыкова. Более того, разглядел «в Офросимове до сих пор тщательно маскируемое им противуправительственное направление». Особую тревогу у губернатора вызывало то, что к своим вечерним собраниям их участники «никого из лиц, не разделяющих их убеждения... <...> не приобщают, и потому не представляется возможность узнавать, с какою именно целью собираются эти господа, но уже самая замкнутость в известном кружке, судя по направлению составляющих его личностей, указывает, что цель их сборищ не полезная».

Нарушая, по сути, правила служебной переписки и демонстрируя министру смятение чувств, губернатор рассказывает начальству о происшествии в дни празднования Масленицы 1868 года. Его, как он полагал, верный друг и единомышленник, предводитель дворянства Реткин устроил воскресный масленичный обед, пригласив на него едва ли не всех участников офросимовско-салтыковского кружка и других губернских чиновников. Но при этом демонстративно обошёл вниманием самого губернатора.

Почему произошёл этот невероятный случай, сегодня разобраться непросто – документы дошли до нас не полностью. Сам губернатор полагал, что Реткин «предпочёл охранительному принципу переход на сторону крайних либералов» потому, что поверил в некие «распространённые Салтыковым и Фроловым слухи и убоился остаться в числе отсталых».

Но что же это за такие роковые слухи, которые закрыли губернатору дверь в дом предводителя?! К сожалению, адресованные министру внутренних дел «конфиденциальные записки» Болдарева, где об этих слухах он сообщает подробно, найти не удалось. Можно только предположить, что в те месяцы схлестнулись интересы губернатора и предводителя губернского дворянства (читаем: то есть большей части рязанского дворянства).

Вероятно, «политическая демонстрация» Реткина, как называет Болдарев злополучный обед, как-то связана с долгим и накануне завершившимся судебным разбирательством по «делу о 53 временнообязанных крестьянах Данковского уезда, сельца Хрущовки, имения барона Медема, обвиняемых в неповиновении и сопротивлении властям». Первоначально конфликт помещика с крестьянами, отказавшимися от выполнения одной из своих спорных с их точки зрения повинностей, завершился самым сакраментальным и варварским итогом: в

село ввели воинскую команду, крестьян высекли и оштрафовали, после чего волнения прекратились. Однако губернской администрации этого показалось мало: взыскующие правды земледельцы были отданы под суд, причём с необоснованным обвинением в бунте, что грозило им двадцатилетней каторгой. Конфликт стал разгораться, привлекая внимание многих: уже шли реформы, в том числе реформа судебная.

То, что Болдарев ввязался в эту историю, говорило, по меньшей мере, о его недалёковидности, каких бы консервативных взглядов он ни придерживался. Данковское дело начало раскручиваться при его предшественнике, губернаторе Стремоухове<sup>[19]</sup>, и он мог, так сказать, не теряя своего ретроградного лица, выступить умиротворителем, а не карателем. Так, судя по всему, и поступил колоритный предводитель Реткин, в этих обстоятельствах не поддержавший губернатора, а смилившийся перед вызовами времени.

В итоге общими усилиями прогрессистов при дистанционном участии Ивана Сергеевича Аксакова, освещавшего процесс в своей боевой газете «Москвич»<sup>[20]</sup>, князя Александра Ивановича Урусова, выступившего адвокатом крестьян, и, без сомнения, безудержного Михаила Евграфовича, будоражившего губернское общественное мнение<sup>[21]</sup>, страдальцам незадолго до Масленицы был вынесен оправдательный приговор.

В докладной записке Болдарева, собственно, и высказывается предположение, что статья в «Москвиче», «с восторгом» представленная Реткиным на обеде и вызвавшая «общее к ней сочувствие», была написана при «деятельном участии г. Салтыкова, которого я узнаю как по общему тривиальному тону статьи, так и в особенности по горячему вмешательству его в Данковское дело». Однако нет сколько-нибудь весомых оснований считать Салтыкова автором статьи, которая была перепечатана в Полном собрании сочинений И. С. Аксакова, вышедшем в год его кончины и явно готовившемся под его надзором. Также приписать ей «тривиальный тон» можно только от большой нелюбви к автору, кем бы он ни был. Перед нами довольно яркий образчик русской публицистики, причём далеко выходящий за рамки газетной конъюнктуры.

Статья «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива (по поводу дела о Данковских крестьянах)» – каково было Болдареву читать это заглавие? – всем своим строем протестует против той «бесцеремонности обращения с человеческою личностью, которая даёт безнаказанную возможность администрации засадить крестьянина на полтора года в тюрьму без всяких достаточных оснований или продержать людей в так называемой “кутузке”

при полицейской части за слишком усердное хлопанье артистке г-же Оноре»<sup>[22]</sup>.

Автор статьи, осуждая самоуправство московской полиции и беспринципность московского мирового судьи, произносит похвальное слово провинциальным данковским судьям, которые «поступили честно: сохранили достоинство нового суда – правого и милостивого, и водворили в крестьянском населении веру в силу и независимость высшего государственного правосудия».

Согласно донесению губернатора, масленичный обед у предводителя дворянства удался на славу. Но и Болдарев своего добился. В завершение своей записки министру он вспоминал некий разговор с главноуправляющим III отделением и шефом жандармов графом Шуваловым. Шеф согласился на перевод Салтыкова в Рязань в обмен на его «обещание вести себя тихо и скромно». Однако, по мнению Болдарева, Салтыков «положительно не выполняет данного им г. шефу жандармов обещания и принимает вредное участие в делах до него вовсе не касающихся, весьма мало занимаясь делами Казённой палаты».

И бюрократические шестерёнки завертелись.

Несмотря на то что пока конфиденциальная записка добиралась из Рязани в Петербург, министра Валуева сменил Тимашев, последний это да, вероятно, и все болдаревские послания о «крайних либералах» в Рязани внимательно прочитал и обратился к Шувалову с просьбой сообщить «совершенно конфиденциально», не имеются ли «сведения о настоящих причинах возникших недоразумений и натянутых отношений между Болдаревым и названным в письме его лицами».

На этот здравый запрос Шувалов ответил очень быстро и тоже вполне здраво. Признав, что ему неизвестны «настоящие причины» возникших между губернатором и чиновниками «недоразумений и натянутых отношений», далее он высказался очень определённо:

«По сведениям, которые получаемы были во вверенном мне управлении в прежнее время, д. с. с. Салтыков нигде не пользовался сочувствием и расположением общества и действия его, хотя во многих случаях похвальные в служебном отношении, подвергались часто осуждению, точно так как поведение и личные качества его всегда более или менее вредили его частным отношениям: это было в Рязани и Твери, когда он был там вице-губернатором, затем, состоя в должности председателя Пензенской казённой палаты, он успел поссорить губернатора с дворянами, а в бытность его управляющим Тульской казённой палатой он своими поступками возбудил общее неудовольствие и порицание, так

что тульский губернатор находил совместное служение с ним невозможным и г. министр финансов предполагал уже уволить Салтыкова от службы, но ограничился переводом его в другую губернию, в предположении, что он, сознав неприличие своего поведения, изменит оное.

Ввиду всего этого и усматривая из письма рязанского губернатора, что Салтыков продолжает следовать своему направлению, я полагал бы необходимым удаление его из Рязани с тем, чтобы ему вовсе не была предоставлена должность в губерниях, так как он по своим качествам и направлению не отвечает должностям самостоятельным».

К концу мая 1868 года все жандармские и межминистерские обоснования окончательной отставки Салтыкова как «чиновника, проникнутого идеями, несогласными с видами государственной пользы и законного порядка», всегда державшего себя «в оппозиции к представителям власти в губернии», были готовы. Н. А. Белоголовый полагал, что Салтыкова отправили в отставку «по личному желанию царя», хотя никаких документальных подтверждений этому нет. Вместе с тем обратим внимание на следующее: при первом уведомлении Салтыкова об отставлении от должности управляющего Рязанской казённой палатой о полной отставке не говорилось, и он в ответном письме на имя Рейтерна просил только о причислении его к Министерству финансов.

Письмо от 3 июня 1868 года завершалось выразительным пассажем: «Позволяю себе думать, что причина столь внезапного поворота в моей жизни заключается не в служебной моей деятельности, которая всецело была посвящена честному и добросовестному исполнению лежащих на мне обязанностей. Это убеждение и надежда, что Ваше превосходительство<sup>[23]</sup> до некоторой степени находили мою службу не бесполезною, дают мне смелость просить Вас, при всеподданнейшем докладе об увольнении меня от занимаемой мною должности, довести до сведения Государя императора, что я очень хорошо помню, что я обязан Его Величеству освобождением из восьмилетнего изгнания в Вятку и что с тех пор, по крайнему моему разумению, вся моя деятельность, как служебная, так и частная, была проникнута благодарным воспоминанием об оказанной мне милости».

Не станем придавать особого смысла этикетным формам служебного письма. Хотя уже то, что проситель говорит об «изгнании в Вятку», выглядит дерзостью – в документах III отделения это перемещение называлось «отправлением на службу в Вятку».

Но если Рейтерн действительно выполнил просьбу Салтыкова и передал его слова Александру II, пусть в смягчённой форме, эту всё же

утверждённую императором отставку никак не назовёшь жестокой – наш действительный статский советник получил ежегодную пенсию в 1000 рублей серебром и служебный аттестат с не совсем точной, но фактически очищающей его от прежних «грехов» записью: «Под следствием и судом не был».

Годы спустя Салтыков вспоминал обо всех этих страстях вполне спокойно. Именно жалобы в III отделение двух губернаторов, Шидловского и Болдарева, говорил он, вызвали министра финансов Рейтерна «на необходимость предложить мне подать в отставку. А я только что собирался это сделать сам. “Отечественные Записки” перешли в это время к Некрасову, меня пригласили быть постоянным сотрудником этого журнала, и я с удовольствием бросил службу, да и не хочу о ней вспоминать! Я писатель по призванию. <...> Куда бы и как бы меня ни бросала судьба, я всегда бы сделался писателем, это было положительно моё призвание».



## **Часть пятая. Действительный статский советник в непокое (1868–1884)**

В известной нашему читателю ранней повести Салтыкова «Запутанное дело» её главный персонаж Мичулин, «со слезами на глазах и гложущей тоскою в сердце», переживает состояние двойничества, осознаёт «умственный пауперизм», «нравственное нищенство» своего «страждущего двойника». Исследователи не без оснований видят здесь влияние Достоевского, но делаемые сопоставления с «Двойником» кажутся чересчур прямолинейными. Даже «странный, мифический» Мичулин, предстающий перед «настоящим, издали наблюдающим» Мичулиным в знаменитой пирамиде, составленной из человеческих тел, своеобразен. Но, главное, в дальнейшем сама по себе тема двойничества мало Салтыкова занимала, как чересчур очевидная и не добирающаяся до смысла тех глубинных противоречий (как помним, другая его ранняя повесть и называется «Противоречия»), которые таятся в каждом человеке. Тем более что, придумав Н. Щедрина и запустив его в широкий оборот, Салтыков погрузил не только свою жизнь, но и последующее восприятие её как литературоведами, так и просто читателями в особое пространство, в котором то и дело возникает путаница, вплоть до курьёзов. Хотя сам Салтыков очень чётко отделял себя от Щедрина и даже графически заключил последнего в скобки, в щедриноведении (заметьте, что салтыкововедения у нас просто не существует) с именованием царит полная чехарда... Но наша цель не пинать предшественников, а увидеть Михаила Евграфовича Салтыкова в пространстве его земной жизни. И при этом показать, что эта постоянная перефокусировка: то Салтыков, то Щедрин – возникла как раз в те полтора десятка лет с небольшим, когда наш герой оказался в журнале «Отечественные записки».

Притом, по меткому наблюдению одной из его племянниц, Михаил Салтыков и Николай Щедрин были два совершенно противоположных человека и очень плохо между собой ладили, что было причиной всегдашних его терзаний и дурного расположения духа.

## Горький хлеб журнальной подёнщины

Подлинная история журнала «Отечественные записки» до сих пор не написана. Хотя в XIX веке он был одним из самых известных российских периодических изданий, и даже сейчас, уже в посткоммунистические времена, предпринималось несколько попыток если не возродить его, то, во всяком случае, что-то своё под этим названием выпускать. Вне сомнений, этот, говоря сегодняшним языком, бренд не утратил своей привлекательности.

Но истории классических «Отечественных записок», выходявших в императорской России, нет. То есть, разумеется, коекакие труды об этом журнале появлялись в советское время, но они, за редчайшими исключениями, писались по канонам коммунистического обществоведения и ничего сколько-нибудь объективного о жизни журнала и о его содержании любознательному читателю не сообщали. Достаточно сказать, что в монографии, вышедшей уже в 1986 году и посвящённой «“Отечественным Запискам” Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина (1868–1884)», Ленин и его сочинения названы около сорока раз, а самая содержательная, научно безупречная работа Владимира Бограда об «Отечественных записках» этих лет упоминается лишь по случаю. Исторический контекст в книге представлен на основании марксистско-ленинских догматов с минимальным вниманием к российским деятелям того времени и с бессмысленной характеристикой эпохи императора Александра III: «Общественный подъём сменился жестокой реакцией, натиском контрреволюции».

Но и позднее идеологизированный (и мифологизированный) подход к наследию «Отечественных записок» не был преодолен. Отдельные работы, появляющиеся в поле современной российской исторической (пожалуй, историки пишут об «Отечественных записках» больше, чем кто-либо) и филологической науки, малотиражны и, как видно, не вызывают серьёзных поправок в укоренившихся концепциях. Поэтому мы, может быть, наивно полагая, что эти превратные концепции к большинству читателей XXI века всё же не пробились, попытаемся просто посмотреть на то, как жил журнал «Отечественные записки» после того, как туда пришли Некрасов и Салтыков, чем он был богат и какие проблемы его преследовали. Посмотрим, листая журнал, а также документы и письма, которые откроют взаимоотношения его редакции с авторами, цензурой, – и, между прочим, с

читателем, ради которого, собственно, периодика и выпускается.

К 1868 году, когда этот журнал вновь попал в руки Некрасова (и Салтыкова), он уже имел долгую – полувековую – историю, причём довольно пёструю, если взять слово из салтыковского лексикона. «Отечественные записки» придумал и вывел в свет принадлежавший по своим жизненным качествам к неиссякаемому племени российских чудаков Павел Петрович Свиньин (1787–1839). Фамилия неблагозвучная, конфузливо-смешная, а в действительности это лишь причудливый извив генеалогических древ. Свиньины относятся к старому, восходящему к XV веку костромо-галичскому дворянскому роду.

Окончивший с серебряной медалью Московский университетский благородный пансион, а затем Императорскую Академию художеств, Павел Петрович вошёл в круг воспетых Пушкиным «архивных юношей», то есть молодых интеллектуалов-чиновников уже нам известного Московского архива Коллегии иностранных дел. Страстный путешественник, он по делам службы смог добраться даже до Соединённых Штатов (как он их называл в своих записках). Очевидно, дальние заграничные путешествия привели Свиньина к простой идее о необходимости больше узнать о собственной необъятной стране. Накопившиеся путевые заметки и рисунки он решил обнародовать. Так в 1818 году в Петербурге появился сборник «Отечественные записки Павла Свиньина» с бесхитростным, но по смыслу неоспоримо привлекательным эпитафием на титульном листе:

Любить Отечество – велит природа, Бог;

А знать его – вот честь, достоинство и долг.

Содержание составил десяток очерков Свиньина – о Киево-Печерской лавре, о Бессарабской области, о Тульском оружейном заводе... Рассказал он и о выдающихся россиянах, причём выходцах из народа, – химике и технологе Семёне Власове, скульпторе-каменотёсе Самсоне Суханове, изобретателе-кожевеннике Иване Кукине...

Вскоре сборники превратились в журнал «Отечественные записки». За полвека с ним произошло многое: он закрывался, менял состав авторов. В 1839 году его издателем-редактором стал Андрей Александрович Краевский (1810–1889), личность под стать Свиньину, не менее, хотя и по-иному одарённая. Первым делом он пригласил соредактором непревзойдённого интеллектуала, писателя-энциклопедиста, князя Владимира Фёдоровича Одоевского. Для создания крепкого литературно-критического отдела Краевский перетащил из Москвы в Петербург Белинского, посулив ему жалованье в три с половиной тысячи рублей в год, хотя и ассигнациями. Правда, здесь он со своим планом – «дать

пристанище всем мнениям без различия партий» – слегка обмишулился. Белинский был до мозга костей именно человеком партии (её в коммунистическое время превратно называли «революционной демократией») и, несмотря на его природную одарённость и неисчерпаемую витальность, в целом не принёс блага ни русской литературе, ни русской общественной мысли. Ему, смутьяну и буяну, было тесно в границах журнальной программы, взлелеянной Свиньиным и Краевским, – *«споспешествовать, сколько позволяют силы, русскому просвещению по всем его отраслям, передавая отечественной публике всё, что только может встретиться в литературе и в жизни замечательного, полезного и приятного, всё, что может обогатить ум знанием или настроить сердце к восприятию впечатлений изящного, образовать вкус»*. Силы у него – странная это болезнь, чахотка! – были немереные.

Вплоть до ухода Белинского из «Отечественных записок» в 1846 году здесь шла «холодная» война между ним и Краевским. «Холодная» потому, что в российских обстоятельствах разного рода умственных стеснений (не будем идеализировать эпоху императора Николая Павловича) энергичные писания Белинского привлекали к «Отечественным запискам» читателей из самых разных мест России (в 1840-е годы тираж журнала дошёл до восьми тысяч; для сравнения – тираж также многопрофильного журнала «Библиотека для чтения», сходного по объёму и составу, в конце 1830-х годов чуть превышал шесть тысяч). Здесь, как мы помним, появились и первые повести Салтыкова – «Противоречия» и «Запутанное дело».

Краевский придал «Отечественным запискам» обличье, с которым они и вошли в историю российской культуры, – литературный, политический и учёно-аналитический ежемесячник, один из первых российских, так называемых *толстых журналов*. Хотя в последующие годы издание вышло из круга самых популярных, всё же оно сохранило содержание, соответствующее своему ответственному названию.

Этому способствовал прошедший разностороннюю выучку у Белинского литературный критик Степан Дудышкин (1820–1866). Придя в «Отечественные записки» в 1852 году, он оберегал его содержание от «перенесения экономического вопроса в историю, в литературу, в право, в фельетон»<sup>[24]</sup>, на чём начали сосредоточиваться в «Современнике» ещё при Белинском и подавно переориентировались при его идейных наследниках, Чернышевском и Добролюбове. Внезапная смерть Дудышкина от сердечного приступа, совпавшая с закрытием «Современника», заставила Краевского вновь перебирать варианты сохранения «Отечественных записок», ибо тираж их падал и в 1867 году составлял не более двух тысяч

экземпляров.

Надо отдать Андрею Александровичу должное: при всей своей хозяйственной расчётливости (а как без неё при ведении дел?) он был наделён хорошим художественным вкусом, прекрасно осознавал свободные права творчества и, разумеется, литературы; стремясь, как всякий издатель, к доходу – за ним любой ценой не гнался. Принимая «Отечественные записки» у Свиньина, он полагал, что теперь в его руках «последняя надежда честной стороны нашей литературы»<sup>[25]</sup>, и всегда помнил о необходимости сохранять эту амбициозную миссию журнала.

Кроме того, у большинства людей истинно талантливых есть прекрасное свойство: в хорошем деле они могут договориться друг с другом. В июле 1867 года после неспешных раздумий Краевский пригласил Некрасова возглавить беллетристический отдел «Отечественных записок». А тот, похвалив прозу в журнале, сразу начал гнуть своё: «Всё, что можно было бы ещё привлечь, сопряжено с затратами очень рискованными, потому что, как Вы сами знаете, упрочение и усиление журнального успеха зависит в наше время не от беллетристики».

Тем не менее переписка и переговоры продолжились. В октябре уже возникло имя Салтыкова, которому ещё только предстояли рязанские ристалища с Болдаревым. Первоначально Некрасов также присматривался к Писареву, неприкаянному после закрытия «Русского слова», хотел привести в «Отечественные записки» и бывших «современников» – Антоновича, Пыпина, Жуковского, Елисеева...

Однако не только Краевского, но даже Салтыкова все эти фигуранты едва ли радовали. Ещё в пору сотрудничества с «Современником» Салтыков, не терпевший эпигонов и начётчиков, призывал «молиться об укрощении антоновичевского духа» и вроде бы даже сочинил на сей предмет особую молитву. А экстремала Писарева Михаил Евграфович однажды в пылу полемики назвал «чимпандзе» (шимпанзе). Так что поначалу Салтыков соглашался быть лишь автором «Отечественных записок». Каждый отвоёвывал своё, но чтобы обновлённый журнал смог выходить с января 1868 года, два прагматика, Краевский и Некрасов, вынуждены были быстро прийти к компромиссу.

В это же время начали один за другим отваливаться предполагаемые соратники, совершенно не нужные и Краевскому, и Салтыкову. Антонович после закрытия «Современника» развеивался где-то в Европе, а поскольку с мобильной связью и с интернетом тогда было как-то не очень, постольку его особо и не искали. Любвеобильный публицист Юлий Жуковский начал страстно торговаться о величине своего жалованья в создаваемой редакции

– и, естественно, ни с Некрасовым, ни с Краевским не договорился. Будущий академик Александр Пыпин, расставаясь с радикалистскими завихрениями юности, поступил на службу в респектабельный новый журнал «Вестник Европы», хотя ради корпоративного приличия и сделал вид, что не может войти в редакцию, коль отвергнут Жуковский. Трагическая нелепица оборвала жизнь Писарева: он, скрепя сердце согласившись писать для «Отечественных записок», в июле 1868 года неожиданно утонул во время романтической поездки на Балтику со своей троюродной сестрой, писательницей Марией Вилинской (литературное имя – Марко Вовчок)<sup>[26]</sup>.

Правда, унылый богослов-расстрига Григорий Захарович Елисеев, тоже из «современников», возглавил публицистический отдел «Отечественных записок», но всё же глубинную Россию по опыту жизни он знал и хоть в какой-то мере соответствовал названию журнала, в котором изготовился работать. Да и у Салтыкова особой аллергии на Елисеева не было.

На титульных листах журнала в 1867 году стояло: «Отечественные записки, журнал литературный, политический и учёный, издаваемый А. Краевским». В самом низу страницы указывалось, что печатается он в типографии А. Краевского. С января 1868 года имя Краевского как издателя с титула было снято (хотя в названии типографии осталось), однако он продолжал числиться официальным редактором. Так графически были обозначены некоторые административные затруднения при смене редакции. Согласно заключённому 8 декабря 1867 года нотариальному договору об аренде «Отечественных записок», Некрасов объявлялся «гласно ответственным редактором». Краевский же, гласит договор, «оставаясь собственником журнала “Отечественные записки”, принимает на себя все обязанности издателя журнала, то есть всю хозяйственную часть издания». При этом, «предоставляя Некрасову полную свободу во всём, что касается собственно редакции журнала, Краевский как собственник сохраняет за собою право просматривать в корректурных листах все статьи, приготовленные к печати, и если заметит в них что-либо, могущее вызвать преследование администрации, то имеет право печатание такой статьи приостановить, сообщив свои соображения Некрасову».

Увы, один пункт этого договора – о Некрасове как «гласно ответственном редакторе» – так и не удалось выполнить: официальным редактором «Отечественных записок» оставался Краевский. Некрасова, несмотря на неоднократные попытки изменить положение, на это место власти так и не пустили. Но вскоре после его кончины, не чиня каких-либо

препятствий, 27 марта 1878 года утвердили официальным редактором Салтыкова, каковым он и оставался вплоть до прекращения журнала. Именно при Салтыкове-редакторе тираж «Отечественных записок» порой стал переваливать за десять тысяч экземпляров. В силу своего характера браня Краевского устно и эпистолярно, в реальности он сохранял с собственником журнала и его издателем ровные, деловые и даже товарищеские отношения.

Краевский пережил Салтыкова всего на несколько месяцев: в августе 1889 года его привезли мёртвым из Павловска в собственный дом на углу Литейного проспекта и Бассейной улицы (здесь помещалась и редакция «Отечественных записок»). Дмитрий Васильевич Григорович, в молодости заслуживший похвалу Белинского, писавший для «Современника», а затем отдрейфовавший в искусствоведение, разнёс по столице слух, что Андрей Александрович умер в объятиях своей содержанки – некоей вдовы-полковницы. Этот *несносный наблюдатель-семьянин*, покаянно называвший себя «величайшим блядуном» и сам содержавший молодых барышень, решил прибавить нечто свеженькое к тем слухам, которые давно ходили о многодетном отце и многолетнем вдовце Краевском. Покойный, став председателем Комиссии по народному образованию Петербургской думы и основав в городе более двухсот начальных школ, будто бы оказывал особое покровительство нескольким молодым учительницам.

Как мы знаем, Михаил Евграфович никогда не прикидывался ханжой, но и то, что он называл *клубницизмом*<sup>[27]</sup>, не приобретало у него пошлых, склочных черт. Он тоже знал о неуёмной увлечённости своего издателя миром прекрасного, но даже в драматических ситуациях придавал этому художественный окрас. Так, сообщая П. В. Анненкову об откликах по поводу закрытия «Отечественных записок», писал: «Краевский отозвался, как ему, в качестве старого кобеля, надлежит. “Я, говорит, мог бы ещё попользоваться от ‘Отеч<ественных> зап<исок>’. – Так попользуйтесь! говорю. – Нет, теперь уж что – а мог бы... продать!”».

Щедриноведа долго ломали головы о причинах нередко экстравагантных чиновничьих решений по отношению к «Отечественным запискам». Казалось странным, что после закрытия «Современника» Некрасова вновь допустили к периодическому изданию. Было обращено внимание на то, что известный интеллектуал, министр внутренних дел Пётр Александрович Валуев, прекрасно знавший европейскую практику обращения с оппозиционными изданиями, решил и в России «сосредоточить бродячие литературные силы бывшего “Современника” в одном журнале, полагая, что в противном случае они разбредутся по

другим изданиям». Однако это мнение одного из цензоров того времени представляется сильным упрощением происходившего в действительности. Валуев, если помнить о других его нестандартных административных шагах, пёкся не о судьбах «современников» (два журнала – не забудем и про «Русское слово» – уже закрыли, зачем же обеспечивать самим себе необходимость закрытия ещё одного?).

Отчасти, возможно, действия Валуева объясняются суждением осведомлённого в правительственных интригах поэта Аполлона Майкова, писавшего 7 января 1868 года Достоевскому: «На нынешний год готова высыпать целая ватага из молчавшего лагеря. Злые языки говорят даже, что их выпускают для поражения Аксакова и Каткова (условно говоря, славянофилов-реформистов и консерваторов. – С. Д.) и русской партии (приверженцев просвещённого самодержавия уваровского толка. – С. Д.)». Напрашивается вывод: Валуев хотел обеспечить литературно-общественное поле силами на всех флангах для новых журнальных драк, драк, разумеется, подконтрольных. Обеспечить для того, чтобы тем самым отрегулировать всегда выигрышный механизм сдержек и противовесов – помогающий избежать экстремального и, следовательно, неуправляемого развития событий.

В пользу такого варианта, предусматривающего взаимоподавление разных политических сил, говорит то, что цензором, надзирающим за «Отечественными записками», стал шестидесятилетний тенор, композитор, музыкальный критик Феофил Матвеевич Толстой. Историю взаимоотношений этой экзотической личности с журналом в 1868–1871 годах подробно изучил Корней Чуковский. На основании приводимых им писем Толстого можно сделать вывод, что с первых номеров журнал попытались сделать максимально управляемым. Это не удалось лишь потому, что Некрасов, не испытывавший никаких иллюзий по поводу благоволения власти, быстро нашёл путь приручения цензора: стал печатать на страницах «Отечественных записок» разнообразные сочинения Толстого и его приятелей, причём сопровождая это весомыми гонорарами.

Благодарный Толстой из беспристрастного строгого цензора быстро превратился в горячего защитника и хранителя журнала. Правда, такой откровенно коррупционный альянс не мог существовать долго: в октябре 1871 года министр Тимашев указал заведующему Главным управлением по делам печати, уже известному нам Михаилу Романовичу Шидловскому на «совершенное неудобство того способа наблюдения, которому были подвергаемы “Отечественные Записки”». Толстой вынужден был уйти в отставку, а журнал стал готовиться к завершению курортного сезона.



Впрочем, это освободило редакцию от необходимости вынужденно публиковать на своих страницах писания, которые полностью расходились с принятыми там критериями творческого качества.

О цензуре нам ещё придётся говорить, а сейчас посмотрим, как устроился Салтыков в этом знаменитом российском издании, которому на протяжении полутора десятков лет суждено было оставаться главным раздражителем российской литературной, а во многом и общественно-политической жизни.

*Зачем это им было нужно?* Сакраментальный вопрос, на который необходимо ответить сегодня. На него отвечали и раньше, но высказанные ответы не кажутся убедительными. Советские щедринovedы, нещадно пытаясь модернизировать реальные исторические пружины поступков и действий и при этом, как в щедринском Танце Неуклонности, до вывиха шейных позвонков лоя взглядом соответствующие партийные решения, помещали некрасовско-салтыковские «Отечественные записки» в сплетение «революционно-просветительских идей “наследства 60-х годов”» и «идей старого народничества» (вариация, также восходящая к ленинской оценке: этот журнал – «главный легальный орган народнического движения, рупор народнической идеологии»).

Если же следовать фактам, то смысл и содержание завершающего цикла существования журнала «Отечественные записки» были определены тем, что журналом руководили крупнейший в период после Пушкина и до Блока русский поэт Некрасов и один из титанов русской прозы Салтыков, а постоянным автором был величайший русский драматург того времени – Александр Николаевич Островский<sup>[28]</sup>. Именно их несравненная художественная мощь, а не выдающиеся редакторско-издательские таланты притянули к «Отечественным запискам» внимание российских читателей.

И Некрасов, и Салтыков не были редакторами, самоустранившимися от публикаций в собственном журнале. С точки зрения высокой издательской этики это не совсем правильно. И уязвимо, если бы это были не они, а литераторы из других классов литературной табели о рангах. Они приняли в свои руки «Отечественные записки» не только под влиянием различных обстоятельств, но руководясь своей главной творческой силой – интуицией. Приняли не для того, чтобы создать для литературоведческих начётчиков XX века «орган революционной демократии», а чтобы вверить своим современникам издание, которое представляло бы русскую литературу такой, какую они сами хотели бы читать.

И это во многом получилось (идеала здесь нет). Получилось потому, что в основу своей работы соредакторы положили следование началам

художественности, а не принципам идейной чистоты. Был ещё Елисеев, но он мало что определял, а сам по себе энергичный критик Николай Михайловский сразу начал глушить издание аттракционами своих эффектных схем. Но и он с художественной точки зрения был очень красноречив: те, кто искал в «Отечественных записках» продолжения политических битв «Современника», обнаруживали там статьи старательного, но бескрылого Скабичевского и Михайловского, в которых удивительным образом отражалось его умение «лихо танцевать мазурку»<sup>[29]</sup>. «Шестидесятые годы» ушли в историю, а их фигуранты, составлявшие лагерь так называемых «нетерпеливцев», социал-радикалы, пытавшиеся заменить реформы катастрофическим взрывом, потерпели полное нравственное фиаско на путях созидания.

Можно и нужно пожалеть Чернышевского, оказавшегося в местах не столь отдалённых по установлениям ещё дореформенной российской юриспруденции, оплакать безвременно погибших Добролюбова и Писарева, но проблема была не в этих потерях, а в том, что реальной практике, пусть противоречиво, но развёртывавшихся реформ новые «нетерпеливцы» могли противопоставить только террор, начатый нелепым выстрелом Каракозова и зловеще развернувшийся в семидесятые годы. То, что «нетерпеливцы» неотвратимо скатятся к прямой уголовщине, показал Лесков в романе «На ножах» (первопубликация прошла в журнале «Русский вестник» с октября 1870-го по октябрь 1871-го) и, вслед за ним, Достоевский в «Бесах» (печатались в том же «Русском вестнике» в 1871 году, завершены в декабре 1872 года).

Нужно отметить ещё одну особенность этого времени, порождённую самим цивилизационным развитием. Привычная журнальная полемика с её неспешным ритмом становилась вчерашним днём. Бурно развивались коммуникации, прежде всего телеграф и железные дороги, с каждым годом росло значение газет как мобильных трибун для обсуждения любых вопросов общества и культуры. Ещё болгаринская «Северная пчела» с её огромными тиражами и распространяемостью самим своим существованием пророчила наступление новых информационных времён, а когда система правительственных привилегий, которыми пользовался Булгарин-газетчик, была и ослаблена, и расширена, журналы как суррогатная форма парламентаризма окончательно перестали быть актуальными. Кроме общеизвестных и универсальных «Санкт-Петербургских ведомостей» заявили о себе «Московские ведомости» Михаила Каткова и Павла Леонтьева, «Голос», газета политическая и литературная, которую Краевский прозорливо учредил ещё в 1863 году,

выходившее как раз с января 1868 года «Новое время» Алексея Суворина... Таким образом, сидя на журнале, его публицисты и сам Салтыков заведомо обнаруживали невозможность ведения спора с газетами. Это, прежде всего, отвращало их от конъюнктурных выпадов, а главное, подталкивало к необходимости обобщений и отыскания таких контекстов, которые события дня представляли бы во взаимосвязи с событиями года, эпохи, самой истории страны.

И Салтыков с Некрасовым незамедлительно учли все эти новые обстоятельства существования своего детища. Надо видеть, что помимо стихотворений, в том числе на актуальные темы, и поэм «Дедушка», «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов опубликовал в «Отечественных записках» неувядаемую поэму «Современники», которая выглядит блистательным поэтическим панданом к сатирическим циклам Салтыкова 1870-х годов и очевидно относится к тому, что мы выше уже назвали *философской буффонадой*, а не к популярной тогда стихотворной юмористике.

Салтыков, печатавший с 1868 года всё, им создаваемое, только в «Отечественных записках», пережил здесь поистине творческое преображение. Настроив в 1868 году для журнала кучу рецензий (Михаил Евграфович был не только проницательным читателем, но и удивительным критиком-парадоксалистом), с января года 1869-го он стал печатать там «Историю одного города» (отдельным изданием вышла в ноябре 1870 года). В февральском номере под общей шапкой «Для детей» появились «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» и «Пропала совесть», а в мартовском – «Дикий помещик». Первоначально они предназначались для задуманного с Некрасовым детского сборника, а в итоге уже в 1880-е годы попали в знаменитый цикл щедринских сказок, о которых мы ещё скажем в своём месте, но не здесь, ибо к сказочной форме Салтыков вернулся только после закрытия «Отечественных записок».

А «История одного города» до сих пор составляет некоторую проблему для российского читательского сознания. Книгу то включают в школьную программу по литературе, то выносят из неё, и похоже, что многомудрые методисты просто не знают, что с ней делать. Пускать её по разряду антисамодержавной сатиры как-то неловко (хотя блистательные по исполнению, но совершенно посторонние иллюстрации, например, Сергея Алимова, к этому подталкивают). Представлять как неисчерпаемый источник злободневных аллюзий и ошарашивающих ассоциаций соблазнительно, но как-то непедagogично, особенно на фоне роста учительских зарплат.

Между тем почти любое массовое издание этой книги (а перепечатывают «Историю одного города» часто), даже самое утлое, сопровождается двумя письмами Салтыкова, в которых он, удивлённый первыми интерпретациями своего сочинения, решил не то, чтобы его объяснить, но обозначить то главное, ради чего «История» и написана.

В итоге получился, по сути, манифест всего его творчества, и вот его ключевые точки.

Со стороны содержания:

«Не “историческую”, а совершенно обыкновенную сатиру имел я в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают её не вполне удобною. Черты эти суть: благодущие, доведённое до рыхлости, ширина размаха, выражающаяся с одной стороны в непрерывном мордобитии, с другой – в стрельбе из пушек по воробьям, легкомыслие, доведённое до способности не краснея лгать самым бессовестным образом.

В практическом применении эти свойства производят результаты, по моему мнению, весьма дурные, а именно: необеспеченность жизни, произвол, непредусмотрительность, недостаток веры в будущее и т. п. Хотя же я знаю подлинно, что существуют и другие черты, но так как меня специально занимает вопрос, отчего происходят жизненные неудобства, то я и занимаюсь только теми явлениями, которые служат к разъяснению этого вопроса»;

«В слове “народ” надо отличать два понятия: народ исторический (*то есть действующий на поприще истории; он оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих*) и народ, представляющий собою идею демократизма. Первому, выносящему на своих плечах Бородавковых, Бурчеевых и т. п., я действительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием (*если он выказывает стремление выйти из состояния бессознательности, тогда сочувствие к нему является вполне законным, но мера этого сочувствия всё-таки обуславливается мерою усилий, делаемых народом на пути к сознательности*)».

Со стороны формы:

«Искусство, точно так же, как и наука, оценивает жизненные явления единственно по их внутренней стоимости, без всякого участия великодушия или сострадания»;

«Я выработал себе такое убеждение, что никакою формою стесняться не следует, и заметил, что в сатире это не только не безобразно, но иногда даже не безэффектно. И мне кажется, что ввиду тех целей, которые я

преследую, такое свободное отношение к форме вполне позволительно».

Здесь, между прочим, мы находим и ключ к тому, как сегодня читать «Историю одного города». Подивившись и посмеявшись над «Описью градоначальникам», надо читать этот свободный роман как историю взаимоотношений русского народа с властью. Тогда всё становится понятным даже без комментариев, но никак не теряет своего значения, ибо всё, что нам рассказывают о нас же, заслуживает всяческого внимания и обдумывания. Хотя это и нелегко.

Между прочим, именно на «Истории одного города» просто объяснить особенности чтения произведений Салтыкова. Давнее утверждение о том, что их невозможно понять без историко-культурных комментариев, отводится, как только мы снимаем с наследия писателя навязанный ему шлейф антисамодержавной сатиры. У Салтыкова всегда говорится о человеке и людях, о человеке и его семье, о сообществе людей на родной земле. Для того чтобы вполне понять «Горе от ума», «Евгения Онегина», «Мёртвые души», тоже нужны некоторые умственные усилия и некоторое образование – а смысл любых комментариев заключается не в том, чтобы преодолеть непонимание, а в обогащении читательского восприятия.

Заметьте: «История одного города» появилась сразу вслед за «Войной и миром», автор которой, по его собственному утверждению, больше всего любил в своём произведении *мысль народную*. Но та же *мысль народная* главенствует и в «Истории одного города». Салтыков в «Истории одного города» так же, как Лев Толстой в своей книге, преобразовал в необходимой для него конфигурации традиции исторического романа и показал своё видение действий народа «на поприще истории». Это для него самое важное здесь. А собственно морфологии власти, фигурантам народоуправления посвящён его до сих пор недопрочитанный цикл тех же лет «Помпадуры и помпадурши» (первое книжное издание вышло в ноябре 1873 года). И если сегодня читать его именно с этой точки зрения, ни на одной странице не заскучаете.

«Изображая жизнь, находящуюся под игом безумия, я рассчитывал на возбуждение в читателе горького чувства, а отнюдь не весёлонравия», – пишет Салтыков об «Истории одного города», но это относится не только к ней. «Помпадуры и помпадурши» насквозь пронизаны токами иронии разнообразных оттенков, от тёплого юмора до жёлчного сарказма.

С виртуозной экспрессией придумав именование губернских администраторов (помпадуры) и их возлюбленных (помпадурши), Салтыков развернул перед своими читателями особый мир, где государственное подчинено частному. Это было тем более выразительно,

что, как писатель не раз повторял, у него различаются смыслы слов «государство» и «отечество». А здесь... какое уж отечество! Помпадуров и помпадурш Салтыков относит к тем своим персонажам, для которых отечество «есть известная территория, в которой мы, по снабжении себя надлежащими паспортами, имеем местожительство», и явно не причисляет их к тем «личностям, которые слову “отечество” придают очень серьёзный смысл» и «прямо говорят, что отечеству надлежит служить, а не жрать его».

Пустоутробное, жизнерадостно-животное существование помпадуров вдохновенно живописуется Салтыковым: «Он был так хорош, что она невольно загляделась. Брюнет небольшого роста, но чрезвычайно пропорционально сложенный, он, казалось, был создан для того, чтобы повелевать и очаровывать. На левой щеке его была брошена небольшая бородавка (она всё заметила!), а над губой прихотливо вился тёмный ус, который он по временам прикусывал. Красота его была совсем другого рода, нежели красота старого помпадура. У того и нос и губы были такие мягкие, такие уморительные, что так и позывало как-нибудь их скомкать, смять, а потом, пожалуй, и поцеловать. Но не за красоту поцеловать, а именно за уморительность. У этого, напротив, всё было крепко, всё говорило о неуклонности, неупустительности и натиске...»

Но смысл этого изображения совсем не в том, чтобы свести счёты с теми или иными конкретными администраторами, подвернувшимися на служебном пути. Перо Салтыкова напитано энергией того состояния, что власть в управлении людьми освобождает от каких-либо сдерживаний силы самоуправления, таящиеся в каждом человеке. И укорота этому на земных путях не отыскивается!

«Уже начинали спускаться сумерки, и на улицах показалось ещё больше усиленное движение, нежели утром. По так называемой губернаторской улице протянулась целая вереница разнообразнейших экипажей; тут были и пошевни, запряжённые лихими тройками, украшенными лентами и бубенчиками с малиновым звоном, и простые городские сани, и уродливые, нелепо-тяжёлые возки, и охотничьи сани, везомые сильными, едва сдерживаемыми рысиками. В пошевнях блистали наезжие львицы, жёны местных аристократов; охотничьими санями и рысиками щеголяли молодые наезжие львы. По временам какая-нибудь тройка выезжала из ряда и стремглав неслась по самой середке улицы, подымая целые облака снежной пыли; за нею вдогонку летело несколько охотничьих саней, перегоняя друг друга; слышался смех и визг; нарумяненные морозом молодые женские лица суетливо оборачивались назад и в то же время нетерпеливо понукали кучера; тройка неслась

сильнее и сильнее; догоняющие сзади наездники приходили в азарт и ничего не видели. Тут был и Коля Собачкин на своём сером, сильном рысаке; он ехал обок с предводительскими санями и, по-видимому, говорил нечто очень острое, потому что пикантная предводительша хохотала и грозила ему пальчиком; тут была и томная мадам Первагина, и на запятках у ней, как дома, приютился маленький Фуксенек; тут была и величественная баронесса фон Цанарцт, урождённая княжна Абдул-Рахметова, которой что-то напевал в уши Серёжа Свайкин. Одним словом, это была целая выставка, на которую губерния прислала лучшие свои цветы и которая могла бы назваться вполне изящною, если бы не портили общего впечатления девицы Лоботрясовы, девицы пожилые и скарёдные, выехавшие на гулянье в каком-то лохматом возке, запряжённом тройкой лохматых же кляч.

Козелков смотрел из окошка на эту суматоху и думал: “Господи! зачем я уродился сановником! зачем я не Серёжа Свайкин? зачем я не Собачкин! зачем даже не скверный, мозглявый Фуксенек!” В эту минуту ему хотелось побегать. В особенности привлекала его великолепная баронесса фон Цанарцт. “Так бы я там...” – говорил он и не договаривал, потому что у него дух занимался от одного воображения...»

Разумеется, Козелков и своё, и не совсем своё, и вовсе не своё возьмёт. Ибо, повторю, «Помпадуры и помпадурши» – это не о провинции, и не о властях в провинции, а о взаимоотношениях человека с силой власти.

Салтыков, без сомнения, запомнил обиду, которую не таили на него рязанцы за «Письма о провинции». Во всяком случае, не оправданием перед ними, а свидетельством о том, что «Письма о провинции» отнюдь не питаются презрением к людям этой самой провинции, а передают человеческие взаимоотношения в пространстве и во времени, стали ещё два его произведения, печатавшиеся в «Отечественных записках» в 1869–1872 годах.

Цикл «Господа ташкентцы: Картины нравов» вырос как художественное осмысление последствий исторических событий – присоединения в 1860-х годах к Российской империи среднеазиатских территорий (Ташкент в 1867 году стал центром образованного здесь Туркестанского генерал-губернаторства). Это тоже вариация на тему «писем о провинции», только здесь взят совершенно другой угол зрения: в новую российскую провинцию, наполняя созданные здесь структуры российской власти, хлынули чиновники – из столиц, из русских губерний – и заработали так, что Салтыков не только создал вечную метафору *Ташкента*, но и обосновал её воспроизводимость в иных пространствах и

временах.

«Как термин отвлечённый, – поясняет он, – Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем». Но при этом «истинный Ташкент устраивает свою храмину в нравах и в сердце человека.

Всякий, кто видит в семейном очаге своего ближнего не ограждённое место, а арену для весёлонравных походов, есть ташкентец;

всякий, кто в физиономии своего ближнего видит не образ Божий, а ток, на котором может во всякое время молотить кулаками, есть ташкентец;

всякий, кто, не стесняясь, швыряет своим ближним, как неодушевлённую вещь, кто видит в нём лишь материал, на котором можно удовлетворять всевозможным проказливым движениям, есть ташкентец.

Человек, рассуждающий, что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, существующее для того, чтоб на нём можно было плевать во все стороны, есть ташкентец...».

Говоря о неуёмной энергии *ташкентцев*, Салтыков вольно или невольно побуждает нас вспомнить о других типах времени (и жизни как таковой), уже выведенных им в литературное пространство. Но в отличие от консервативных «историографов» и рефлексирующих «пионеров» *ташкентцы* преисполнены энергией социального эгоизма и в своих стяжательских устремлениях непревзойдённы.

«В мире общественных отношений нет ничего обыденного, а тем менее постороннего, – говорит Салтыков. – Всё нас касается, касается не косвенно, а прямо, и только тогда мы успеем покорить свои страхи, когда уловим интимный тон жизни или, иначе, когда мы вполне усвоим себе обычай вопрошать все без изъятия явления, которые она производит».

Вопрос, чего хотят ташкентцы, «разрешается одним словом:

Жрать!!

Жрать что бы то ни было, ценою чего бы то ни было!».

А «как добыть еду», для *ташкентца* не составляет затруднений. «Пирог, начинённый устностью и гласностью, – помилуйте! да это такое объеденье, что век его ешь – и век сыт не будешь!»

Можно, разумеется, обсуждать рискованность образов, прямо названных по реальному и ходкому топониму, Можно даже предположить негодование не только уроженцев и проживавших в реальном Ташкенте (которых и в нынешней России немало), но и тех, кого новая «устность и гласность» вознесла к верхушке общества и к возможности «жрать что бы то ни было»... Но можно и принять игру писательской фантазии, тем более



что Салтыков стремится к обновлению слова.

*Ташкентец*, пишет он, «это просветитель. Просветитель вообще, просветитель на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук. <...> Он создал особенный род просветительной деятельности – просвещения безазбучного, которое не обогащает просвещаемого знаниями, не даёт ему более удобных общежительных форм, а только снабжает известным запахом».

Наблюдение за происходящим побудило Салтыкова не только обозначить род ташкентцев, но и назвать их виды:

- «ташкентца, цивилизующего *in partibus* (в стране неверных);
- ташкентца, цивилизующего внутренности;
- ташкентца, разрабатывающего собственность казённую (в просторечии – казнокрад);
- ташкентца, разрабатывающего собственность частную (в просторечии – вор);
- ташкентца промышленного;
- ташкентца, разрабатывающего смуту внешнюю;
- ташкентца, разрабатывающего смуту внутреннюю;
- и так далее, почти до бесконечности».

Наряду с неувядаемым циклом о ташкентцах Салтыков пишет роман-обозрение «Дневник провинциала в Петербурге». Вновь, по сути, споря с обидевшимися рязанскими «провинциалами», он запускает своего провинциала в столицу и предлагает посмотреть, что получается (между прочим, первоначальное заглавие – «В погоне за счастьем, история моих изнурений» – было экспрессивнее, хотя и близко к фельетонности, которую усматривал в «Дневнике» сам Салтыков).

А получается очень весело, пока не становится жутковато: в основе сюжета – фантазмагорические аферы в интеллектуальных и хозяйственных сферах жизни на фоне проекта «О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств». Очнувшись после всех своих столичных походов в больницу для умалишённых, провинциал записывает в своём дневнике: «“Хищник” – вот истинный представитель нашего времени, вот высшее выражение типа нового ветхого человека. “Хищник” проникает всюду, захватывает все места, захватывает все куски, интригуется, сгорает завистью, подставляет ногу, стремится, спотыкается, встаёт и опять стремится...»

Но, замечает ведомый автором провинциал, «за хищником смиренно выступает чистенький, весь поддёрнутый “пенкосниматель”. Это тоже “хищник”, но в более скромных размерах. Это почтительный пролаз, в

котором “сладкая привычка жить” заслонила все прочие мотивы существования. Это тихо курлыкающий панегирист хищничества, признающий в нём единственную законную форму жизни и трепетно простирающий руку для получения подачки. Это бессовестный человек, не потому, что он сознательно совершал бессовестные дела, а потому, что не имеет ясного понятия о человеческой совести.

“Хищник” проводит принцип хищничества в жизни; пенкосниматель возводит его в догмат и сочиняет правила на предмет наилучшего производства хищничества. <...>

“Хищник”, свежую своего ближнего, делает это потому, что уж такая ему вышла линия; но он всё-таки знает, что ближнему его больно. Пенкосниматель свежает своего ближнего и не задаётся даже мыслью, больно ли ему или не больно.

“Хищник” рискует; пенкосниматель идёт на верное.

“Хищник” не дорожит приобретёнными благами; пенкосниматель – любит спрятать и капитализировать. <...>

“Хищник” мстителен и зол, но в проявлении этих качеств не опирается ни на какие законы; пенкосниматель мстителен и зол, но при этом всегда оговаривается, что имеет право быть мстительным на основании такой-то статьи и злым – на основании такого-то параграфа».

Пенкосниматель – поистине глобальное литературное открытие Салтыкова. Черты этого прихотливого социально-психологического типа и самого стиля человеческого поведения просматриваются не только в героях последующих произведений Салтыкова, но и у различных персонажей русской и мировой литературы, причём сатирические среди них занимают очень небольшое место.

Между прочим, когда в июле 1872 года Главное управление по делам печати (сиречь цензура) объявило редакции «Отечественных записок» первое предостережение (то есть предупреждение о возможном закрытии; оно, согласно новым цензурным правилам, проводилось после получения трёх предостережений), в редакции решили, что это было вызвано именно публикацией «Дневника провинциала в Петербурге». (Хотя формально в предостережении указывалась очередная статья в ежемесячной журнальной хронике «Наши общественные дела», которую вёл постоянный автор «Отечественных записок», публицист Николай Демерт, талантливый, но запойно пьющий, – за «резкое порицание недавно изданных законов о народном просвещении» и стремление «к возбуждению в обществе недоверия к сим законам, а в учащих как неуважение к начальству и преподавателям, так и неудовольствие против вводимой ныне системы

образования».)

А по сюжету «Дневника» персонажами с участием тайного советника Козьмы Пруткова обсуждались проекты «об упразднении» и «об уничтожении», под которыми подразумевались утверждённые в июне ужесточения во временных правилах о печати.

\*

Несмотря на цензурные неудобства, в эти годы бурного творческого развития произошли радостные изменения и в семейной жизни Михаила Евграфовича.

Переехав из Рязани в Петербург, Салтыковы поселились на Фурштатской улице, близ Таврического сада. «Квартира у нас очень удобная и красивая, – писала Елизавета Аполлоновна, – везде освещено газом, и лестница из белого мрамора». Разумеется, у Салтыковых была прислуга, со временем появился свой конный выезд – лошади, экипаж, сани с медвежьей полостью, которую доставили из Витенёва.

Жили Салтыковы, по свидетельству той же Елизаветы Аполлоновны, весело: летом отдыхали на островах, ходили в гости и сами принимали гостей, устраивали семейные обеды, так как братья Салтыкова Дмитрий, Сергей и Илья с семьями бывали в Петербурге и наездами жили здесь. Михаил Евграфович принимал участие в устройстве судьбы своих племянников – рано осиротевших детей сестры Любови Евграфовны, в замужестве Зиловой, умершей в 1854 году (обладавшая богатым голосом широкого диапазона Прасковья Зилова (Верёвкина), окончив Петербургскую консерваторию, стала европейски известной оперной певицей). Сестра Елизаветы Аполлоновны Анна, вышедшая замуж довольно поздно, приезжала в гости из нижегородского имения Янова, в котором жила вместе с родителями.

Среди приёмов в домах петербургского культурного сообщества, где бывал Салтыков с женой, надо отметить вечера на Васильевском острове у художника Николая Николаевича Ге. Они были знакомы с 1857 года и испытывали друг к другу взаимную симпатию, Михаил Евграфович писал о картинах Ге «Тайная вечеря» и «Пётр I, допрашивающий царевича Алексея...». Именно кисти Ге принадлежит первый живописный, психологически очень глубокий портрет Салтыкова (1872). Михаил Евграфович также видел Ге иллюстратором «Истории одного города» (он «по моим наставлениям может сделать нечто хорошее») – правда, зная

художественную манеру Ге, трудно предугадать результат, но всё же очень жаль, что этот опыт так и не свершился.

Салтыковы были завсегдатаями спектаклей французской труппы Михайловского театра, итальянской оперы, Александринского театра. Елизавета Аполлоновна, по многим свидетельствам, была одарённой пианисткой, и, хотя так и не достигла профессиональных высот и успеха, рояль, на худой конец, фортепьяно никогда не молчали в их доме. Музицированием, может быть, вспомнив детство, увлёкся и Михаил Евграфович. Он брал у жены уроки, любили они играть и в четыре руки.

Музыкальные пристрастия Салтыкова были довольно прихотливы, но и здесь он шёл своими путями художественного гения. Его можно было застать за разбором нот бетховенских симфоний, но при этом он с вдохновением совершал сатирические выпады против новаторской музыки Мусоргского, правда, сквозь призму восприятия нелюбимого критика Владимира Стасова – по его мнению, «пенкоснимателя» от искусства.

\*

Для истинного писателя всё становится литературным событием. Долгие годы супруги Салтыковы оставались бездетными, и наконец 1 февраля 1872 года у четы родился сын Константин. Первое сообщение о появлении первенца Салтыков послал Некрасову: «Родился сын Константин, который, очевидно, будет публицистом, ибо ревёт самым наглым образом. Происшествие сие случилось сего 1 февраля в 3 часа ночи».

Всё или почти всё могло оказаться и оказывалось объектом щедринской сатиры. Почти всё – но не детство, не дети. Порой мелькали у него, правда, в каких-то сюжетных коллизиях маленькие расчётливые буржуйчики, но это лишь прорывалась досада на малолетнюю чичиковщину, на преждевременное взросление, на неумение порадоваться счастьем своего детства, если оно протекает в безмятежном достатке.

Через несколько дней Салтыков писал витенёвскому управляющему Алексею Каблукову: «1-го числа этого месяца в 3 часа пополуночи (в ночь с 31 января) родился у нас сын Константин, который и просил Вас любить его. <...> И жена и ребёнок здоровы, хотя жена страдала 24 часа. Попросите священника Николая Ивановича отслужить молебен за моего малого (именинник 21 мая) и заплатите из моих денег 5 р.».

И завершил своё письмо просьбой:

«Просим принять благосклонно нашего сына, который кажется нам прелестнейшим ребёнком в Целом мире».

Второй прелестнейший ребёнок – дочь Лиза – родилась у Салтыковых 9 января 1873 года. «У меня родилась дочь Елизавет», – сообщает он автору «Отечественных записок» Александру Энгельгардту, как, впрочем, и всем своим корреспондентам в эти дни. В марте того же года Салтыков пишет матери: «Костя уж довольно хорошо ходит без посторонней помощи и начинает кое-что лепетать. Но зубов у него мало: всего шесть, и это мешает отнять от груди. Впрочем, к Святой думаем кормилицу рассчитать. Лиза начала улыбаться. Она порядочная крикунья. Костя, как две капли воды, похож на мой портрет, который писал покойный живописец Павел. Как будет потеплее, я сниму с него фотографию и пришлю Вам». А Елизавета Аполлоновна прибавляет: «Спешу благодарить Вас за присланный на зубок Лизе подарок, она очень маленькая и чёрненькая. Костя похож на Вас больше, чем на Мишу. Он очень ласковый ребёнок. Теперь нам придётся менять квартиру, так как в этой очень тесно, и бедный Мишель отдал свой кабинет детям, а сам занимается в гостиной, где ему все мешают».

Квартиру Салтыковы сменили только в мае 1874 года. Семья переехала в дом князя Курцевича в уютном районе Пески, недалеко от Николаевского (ныне Московского) вокзала. Но здесь они прожили недолго: после первой длительной поездки за границу петербургское место жительства пришлось поменять. Найденная Салтыковым в июне 1876 года девятикомнатная квартира – «почти у самого Невского», на Литейном проспекте, дом 62 (ныне 60) – стала его последним жизненным пристанищем. Здание сохранилось, но несмотря на многолетние, ещё в ленинградские времена усилия С. А. Макашина, щедриноведов, деятелей культуры, музей-квартиру Салтыкова здесь так и не открыли. Нет его и доньне. Висит только установленная ещё в 1914 году Петербургской городской думой и позднее подновлённая скромная мемориальная доска. Зато – кульбит совершенно в духе щедринской поэтики – симметрично, на левой половине дома красуется помпезная плита с барельефом Ульянова-Ленина – оказывается, в этом доме он проводил конспиративные встречи по поводу издания нелегальщины. Гарь террористических организаций, злокозненно зависшая над наследием Салтыкова, так и не развеялась...

Порой, по разным причинам, в щедриноведческих работах приводятся слова из одной рецензии на щедринскую публикацию в «Отечественных записках»: «“Отечественные Записки” – это не что иное, как Щедрин. Щедрина есть что-нибудь – “Отечественные Записки” читаются; нет Щедрина – не разрезаются».

Самое интересное, что отзыв о публикации критический, а напечатан он в журнале-газете «Гражданин» в пору, когда его редактировал Достоевский. К тому времени, как этот отзыв появился, Салтыков напечатал в «Отечественных записках» немало произведений. Но дело не только в количестве: постоянные публикации Салтыкова постепенно приобретали художественно определённую, но совершенно салтыковскую (щедринскую) форму. Её начатки теперь легко просматриваются в «Признаках времени», в «Письмах из провинции» (время и место), развиваются в «Господах ташкентцах» и цикле «Благонамеренные речи», запущенном в октябре 1872 года. Как знать, может быть, форма «Дневника писателя» пришла в голову Достоевскому, когда он читал салтыково-щедринское в «Отечественных записках» (кстати, он не все их подписывал Щедриным)?

Многообразный, мерцающий, ведущий с читателем сложную интеллектуальную игру «Щедрин» и порой амбициозный и, во всяком случае, лиро-эпически, а не сатирически настроенный «Писатель» Достоевского трудносопоставимы. Но и тот и другой всё-таки в своих начинаниях заявляют о непреложности права на независимое высказывание. И право это получило подтверждение самым естественным образом: того и другого читатели с нетерпением ждали.

Вместе с тем, даже признавая замечание критика о верховенстве Щедрина в «Отечественных записках», невозможно свести все культурно-историческое значение этого журнала лишь к тому факту, что здесь печатались Салтыков, Некрасов и Островский. Журнал в новом обличье появился, когда на российском журнальном поле главенствовал такой гигант, как «Русский вестник», и стал мощно развиваться «Вестник Европы». По богатству литературных предложений «Отечественные записки» конкуренции с ними не выдерживали, но редакция на это ставку и не делала. Её читателя, воспитанного на Добролюбова, Чернышевском, Писареве с их прагматическим отношением к изящной словесности, в журнале интересовала главным образом вторая часть, «Современное обозрение», да и в первой – художественной – они искали Большие Идеи, а не Большой Стиль.

Разумеется, публицистические (политические) разделы существовали

и у конкурентов, но там давали не те интерпретации современных событий, которые нужны были читателям «Отечественных записок». Их большинство по-прежнему составляли пёстрые по своим взглядам и предпочтениям нетерпеливцы, преимущественно из разночинной среды, кающиеся дворяне, барышни, вдохновлённые конспиративным чтением романа «Что делать?»...

Справедливости ради надо сказать, что очеркистика, публицистика, обозрения «Отечественных записок» Некрасова и Салтыкова носили аналитический характер и обозначали действительные проблемы развития России. Политическую крамолу в этих номерах находили только два рода читателей: ретроградные цензоры, без которых порой не обходилось, и, уже в XX веке, советские литературоведы, страстно желавшие представить журнал как «трибуну демократической и революционной пропаганды». В действительности же это была живая дискуссионная площадка, где проходил достаточно свободный обмен мнениями, порой противоположными; недаром, повторим, «Отечественные записки» последнего периода их существования историки изучают прилежнее литературоведов.

Литературоведам с беллетристикой и поэзией журнала очень непросто. Утвердившееся на страницах «Отечественных записок» противостояние так называемому «чистому искусству», фактическое продвижение необходимости утилитаристских подходов в литературе остаются на совести всех сотрудников редакции, не исключая Салтыкова. Ими поддерживалась бытописательная, накрепко связанная с событиями современности проза, те беллетристы, у которых уже была репутация умеющих, по известному выражению Чернышевского, писать «о народе правду без всяких прикрас» – Фёдор Решетников, Василий Слепцов, Александр Левитов, Иван Кущевский. Способные, но явно не звёзды, к тому же в большинстве со своими однообразными личными проблемами. Позднее появились Илья Салов и Николай Златовратский – имена, оставшиеся в третьем ряду русской литературы того времени. Единственным литературным открытием «Отечественных записок» надо признать Всеволода Гаршина, хотя, повторим, на поиск художественных талантов установки у редакции не было.

Постоянный интерес к прозе «Отечественных записок» обеспечивали лишь два автора – Салтыков и Глеб Успенский. Но и то сказать: сложноустроенная проза и того и другого, рассчитанная на интеллектуальные усилия и, по сути, сотворчество, не предполагала массового читателя.

Также следует обратить внимание на следующую особенность редакционной политики, непосредственно связанную с Салтыковым. Он взял на себя добровольную и очень трудозатратную обязанность редакции тех поступающих в журнал произведений, которые чем-то привлекали, но по разным причинам ещё не признавались готовыми для обнародования.

Писатель Павел Засодимский оставил свои воспоминания о сотрудничестве с «Отечественными записками». В них неплохо переданы общий тон общения Салтыкова с авторами и стиль его работы. Засодимский, постоянный автор журнала «Дело», прекратил отношения с редакцией, разойдясь во взглядах на артельные труды крестьян, и предложил свою новую повесть «Печать Антихриста» «Отечественным запискам». Отправившись за ответом в редакцию, он встретился с Салтыковым:

«Первое впечатление, произведённое на меня нашим знаменитым сатириком, было не особенно приятное. Его серьёзное лицо, густые нахмуренные брови, большое *rinse-nez* в тёмной черепаховой оправе, сердитый взгляд, как мне показалось, словно с недовольством надутые губы – не понравились мне. Его глухой голос, говор, ворчливый тон, жесты, – всё в нём мне показалось грубо, отпугивало меня. Он напомнил мне одного строгого директора гимназии.

– Мы берём вашу повесть... – проворчал он, не спуская с меня глаз и поблёскивая своим ужасным *rinse-nez*. – Только вот насчёт заглавия... “Печать Антихриста”... Что такое!.. Надо переменить... Что это за “печать”! <...>

Я ему возразил, что из повести ясно видно, что это за “печать”.

– Так-то так, да всё-таки неловко... – продолжал он. – Лучше – попроще... Надо придумать что-нибудь другое... А то, Бог знает что, – “Печать Антихриста”! Испугать можно... Да что ж мы... пойдём – сядем! – перебил он себя на полуслове. <...>

– Ну, например, скажем, “История села Смурина”? – подумав, предложил Салтыков.

– “История села Горюхина” Пушкина... – заметил я.

– Гм! Да... положим... – проворчал мой собеседник. – Ну, “Летопись”... “Хроника”, что ли...

Так мы и порешили».

Но этом правки не закончились. Салтыков попросил подписать повесть «Хроника села Смурина» псевдонимом именно потому, что прежде Засодимский печатался в журнале «Дело». Хотя оба журнала общественное мнение относил к так называемому «прогрессивному направлению», сам



Салтыков считал, что они *разных лагерей, не одного прихода* (и, действительно, в сравнении с узкокорпоративным «Делом», изданием социал-радикалистской нацеленности, «Отечественные записки» выглядят примером аналитической открытости и художественной широты).

Помимо этого, Салтыков основательно переработал текст повести, убирая из неё фрагменты, которые, по его мнению, не могли пройти через цензуру («посгладил коегде», по его выражению). Надо признать, что здесь Михаил Евграфович перестраховывался – такое происходило на протяжении всей его литературной работы, и он знал за собой этот грех, сокрушённо говоря о своём «трепетании» перед цензурой. Зачастую воспринимая её именно как недремлющего Аргуса (хотя поистине лютым Аргусом отечественная цензура стала только во времена большевизма), он недооценивал тот факт, что среди *цензурных чертей*, как он называл цензоров, было немало образованных и по-своему свободных людей. И они многократно, пусть по разным причинам (но именно потому, что были «не олухами», по выражению Салтыкова), не вмешивались в тексты, которые получали для цензурирования. В итоге многое из правленного Салтыковым Засодимский восстановил в книжном издании – и без каких-либо цензурных помех.

В воспоминаниях Засодимского также выразительна своей характерностью следующая подробность: «По окончании делового разговора Михаил Евграфович вдруг оживился, “опростился”, редакторская суровость слетела с него, и сатирик-громовержец обратился в приятного, весёлого и очень для меня симпатичного собеседника. При виде такой чудесной метаморфозы я подумал: вот уж именно “наружность иногда обманчива бывает, иной – как зверь, а добр, тот ласков, а кусает”. <...> В первый раз он может напугать, – думал я... <...> под этой суровой, мрачной, угрюмой наружностью скрывался очень добрый, даже мягкий человек...»

Но, повторю, Салтыков занимался не только перестраховочным цензурированием поступающих материалов. Вместо обычной работы с автором, который самостоятельно устраняет замечания редактора, Михаил Евграфович попросту, сообразно своему вкусу, переписывал не приглянувшиеся ему фрагменты произведений. Это составило особую проблему для щедриноведов, которые не раз обнаруживали в художественно заурядных текстах забытых авторов, которые нередко встречались в «Отечественных записках», неожиданно яркие детали, подробности, реплики, сюжетные ходы...

Таким образом, тема «Салтыков-редактор» и сегодня остаётся

достаточно таинственной и, возможно, навсегда оставляющей неразрешимыми загадки авторства.

Не очень просто складывались отношения редакции и с именитыми писателями. Несмотря на свой непреложный авторитет, Салтыков так и не смог привлечь в журнал ранее здесь печатавшегося, между прочим, посмертного зятя Свинына, разнообразно одарённого Писемского, чутко искавшего особый путь для России, с оглядкой на успехи чужестранного и без какой-либо идеализации национальных достижений. (Может, последний не забыл литературные бои шестидесятых, где ему не раз доставалось от Салтыкова в обличье Щедрина?)

Фактически отверг «Отечественные записки» и Лев Толстой. Невзирая на сложные отношения с Михаилом Катковым, редактором «Русского вестника», где он печатал «Войну и мир» и «Анну Каренину», Толстой опубликовал у Салтыкова и Некрасова лишь одну статью, правда, большую, – «О народном образовании» (1874. № 9). Другой постоянный автор «Русского вестника», Достоевский, после скандала с Катковым по поводу изъятия из романа «Бесы» главы «У Тихона», откликнувшись на выгодное по гонорару предложение Некрасова, решил передать свой новый роман «Подросток. Записки юноши» в «Отечественные записки». Однако такое решение было не по нраву Салтыкову, который после прочтения первых частей назвал роман Достоевского «просто сумасшедшим». Как и Толстой, Достоевский стал для салтыковских «Отечественных записок» автором одного произведения. Хотя в декабре 1876 года Салтыков как ни в чём не бывало просил у Фёдора Михайловича «хотя небольшой рассказ», тот сотрудничество не возобновил...

Непросто обстояло дело в журнале и с поэзией. Наперекор присутствию в литературе Афанасия Фета, как раз вновь ставшего Шеншиным, русский лиризм в эпоху реформ перекочевал в пантеон (в современном, а не в римском значении этого слова), как теперь видно, набирая новое качество перед расцветом в ту пору, которую назовут Серебряным веком. Но пока истинные таланты были наперечёт. Из таковых, кроме Некрасова, в постоянных авторах журнала состояли Алексей Жемчужников, один из создателей Козьмы Пруtkова, неторопливый поэт странной судьбы, и переводчик, а также поэт-сатирик Дмитрий Минаев, по-своему стихотворно поддерживавший щедринскую линию «Отечественных записок».

Однажды на страницах журнала появился Яков Полонский с поэмой «Мими», за которую пришлось заплатить непомерный гонорар, даже в ущерб безотказному и аккуратному Островскому.

Плодовитый, но среднеспособный Алексей Плещеев был секретарём редакции, а после смерти Некрасова взял под свою опеку поэтический отдел, однако свежего лирического ветра он в атмосферу «Отечественных записок» принести не мог.

В журнале печаталось немало переводных произведений, но усмотреть в отобранном черты какой-то системы затруднительно. Скорее, здесь исходили из возможностей переводчиков, сотрудничавших с журналом. Наряду с проходными версификациями здесь можно найти очень интересные опыты. Так, Дмитрий Михаловский предпринял первую попытку сделать полный перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло, Пётр Вейнберг перевёл кантату Роберта Бёрнса «Весёлые нищие», а Николай Курочкин – стихотворения Шарля Бодлера, которого наряду с Некрасовым и Уитменом следует отнести к первооткрывателям урбанистической темы в мировой поэзии. Можно, правда, добавить, что в одном из номеров было напечатано переведённое тем же Михаловским стихотворение Сюлли-Прюдома, которому многие годы спустя было суждено стать первым лауреатом Нобелевской премии по литературе. Но тогда придётся вспомнить и то, что сам Нобель видел таким лауреатом Льва Толстого, но тот отказался...

Нет, нам с такой адвокатурой не справиться. Честнее признать, что не поэзия шла среди главных пунктов программы «Отечественных записок». После кончины Некрасова наш *Пушкин тринадцатого выпуска* и вовсе впал здесь в полное равнодушие: он терпеть не мог стихов Надсона, но дал ему место на страницах журнала. Затем в «Отечественных записках» прошла первая серьёзная публикация Дмитрия Мережковского-поэта. Но это, как и сюжет с Надсоном, лишь подтверждает истину – случайности чаще происходят в самых рационализированных пространствах. Это ещё и на фоне того факта, что и Мережковский как поэт – величина незначительная.

Литературная принципиальность Салтыкова порой шла вразрез не только с коммерческими интересами издания, но и с фундаментальным принципом любого журнала – пробовать на вкус и на вес разнообразные новации современного искусства, прихотливо соотносящиеся с общественно-политическим развитием страны.

Ещё в 1868 году вырвавшийся из узилища Писарев, вероятно, смиряя инстинкты социального отрицания, взрослея и устремляясь к постижению человеческой природы, увлёкся сочинениями молодого французского писателя Антуана Гюстава Дроза и, что называется, с колёс «переделал» для «Отечественных записок» его свежий, 1868 года, роман «Le Cahier bleu

de M-elle Cibot» («Синяя тетрадь мадемуазель Сибо»), в переводе названный «Золотые годы молодой француженки». В своём примечании к публикации Писарев обращал внимание на то, что это сочинение – первый романский опыт Дроза, уже имеющего репутацию «талантливого и блестящего фельетониста». Но «эта книга, как по идее, так и по выполнению, стоит гораздо выше его лёгких, отлично отделанных и лакированных, но очень фривольных фельетонных безделушек». Вместе с тем, продолжал Писарев, «при всей своей фривольности, эти фельетоны не лишены интереса, и мы в скором времени воспользуемся ими, как материалами для характеристики умственной и нравственной жизни в тех слоях французского общества, в которых они произвели сильное впечатление и приобрели себе обширные круги друзей и врагов».

Однако планы Писарева остались невоплощёнными не из-за его безвременной гибели (в конце концов подхватить и развить чужие идеи – дело естественное и нередкое). В том же 1868 году, в ноябрьском номере журнала появилась салтыковская (хотя и без подписи) статья «Новаторы особого рода», оформленная как рецензия на роман Петра Боборыкина «Жертва вечерняя», но направленная против «клубничизма» и клубничной (то есть фривольной) литературы в целом. Особую остроту ситуации придавал помещённый в этом же номере рассказ Салтыкова (подпись: Н. Щедрин) «Старая помпадурша», который можно и пустить по разряду фривольности (если внимать анонимной статье Салтыкова), и отнести к драгоценностям раблезианской сатиры, оспаривающей автора бесподписной статьи.

Остаётся высказывать только догадки о причинах такого соседства, но то, что оно отражает некий принципиальный конфликт между Салтыковым и Щедриным, – вне сомнений.

Самообуздание?

В статье проводилась жёсткая попытка установить границу между «традицией плотского цинизма», выражающей «учение о срывании цветов удовольствия», и литературой, изображающей «всякого рода праздных, скучающих, исковерканных и поражённых язвою мельчайшего самолюбия людей», главные жизненные принципы которых «вращаются около самого ограниченного числа представлений, между которыми едва ли не самую видную роль играют: необузданность воли, стремление подавить сознательную работу мысли, трудобоязнь и, наконец... клубника во всех видах и формах, как отдохновение от подвигов по части необузданности».

Но, как показывает литературная практика и прежде всего творчество самого Салтыкова, граница эта зыбка и приложима лишь в обсуждении

произведений вполне заурядных. Автор статьи совершенно справедливо отмечает, что «самый мир истины и права есть мир нарождающийся и потому окружённый обстановкою настолько колеблющеюся, что она ещё слишком мало ограждает его от притязаний своеволия и необузданности». Но он же не может не признать, что даже изображение «нищего духом нахала» или «страдающего разжижением спинного мозга эстетика-клубниста» нельзя считать излишним, тем более зачастую они выступают «не в роли действующих лиц без речей», но «в роли героев» – «сторонников отжившего предания и бессознательности».

Однако затем, неправомерно рационализируя творческий процесс (чего сам в своей практике не придерживался), Салтыков пускается в рассуждения о *смысле* «весёлого содержания» произведения, который всегда должен ограничивать изображение обсуждаемого («хлам»), чтобы не свести это к «нимфомании и приапизму», не «помутить в читателе рассудок и возбудить в нём ощущение пола».

Естественно, Боборыкин был не согласен с причислением «Жертвы вечерней» к порнографической литературе, о чём и написал позднее в своих воспоминаниях: «Замысел “Жертвы вечерней” не имел ничего общего с *порнографической* литературой, а содержал в себе *горький урок* и беспощадное изображение пустоты светской жизни, которая и доводит мою героиню до полного нравственного банкротства».

Но не только спор о воплощении замыслов остался незавершённым – сама по себе проблема *красоты порока* до сих пор остаётся в круге самых актуальных как для литературы и искусства, так и для самой жизни (смотрите, например, у Достоевского в романе «Братья Карамазовы», который автор не понёс в «Отечественные записки», а послал ужасному Каткову в «Русский вестник»).

Хотя бы то хорошо, что Салтыков, жёстко и даже безапелляционно споря с Боборыкиным, не только не отлучил его от «Отечественных записок», но, напротив, постоянно расширял поле сотрудничества с этим «русским Золя».

\*

Издание, редакция газеты или журнала перестраивают всю жизнь человека. Он начинает жить в двоящемся времени – его жизненное расписание жёстко подчиняется графику выхода номеров, сразу в двух пространствах – в пространстве номера и только затем в пространстве

жизни. Такое самоотвержение совсем не обещает удачи с изданием, но почему-то вновь и вновь разные люди в разных местах земли за это берутся. По самым разным причинам, но, может быть, у каждого редактора есть стремление достичь того ощущения, о котором мы знаем с детских лет. А именно...

В одном из номеров «Отечественных записок» было напечатано сделанное Дмитрием Минаевым стихотворное переложение сказки Андерсена «Королевское платье» (*Keiserens nye Klæder*; традиционный перевод – «Новое платье короля»). В его финальной строфе, можно сказать, метафорически отражена программная претензия редакции «Отечественных записок» – стать изданием, представляющим отечественную реальность на основании разума и невзирая на лица.

Из окон, точно как из лож,  
Смотрели дамы, молодёжь,  
Крича единогласно:  
– О, как наряд его хорош!  
И как он сшит прекрасно!..  
Но мимо мальчик шёл.  
– Да он почти что гол!..  
Ребёнок крикнул звонко...  
И поняли все разом,  
Что только у ребёнка  
Нашёлся здравый разум.

## Салтыковы и Головлёвы

Взаимоотношения человека со своими родителями, братьями и сёстрами, если они есть, – самая обыденная форма человеческого существования. Из реальности они неостановимо перетекают в пространства человеческой памяти, порой переходят в семейные предания, фамильные легенды и были.

Куда сложнее с биографиями людей известных, знаменитых, великих. Мне долгое время казалось, что по отношению к биографиям людей, оставивших свой след в истории человечества, нельзя быть чересчур въедливым в поисках и, тем более, обнародовании частных подробностей их семейных историй. Но однажды моя точка зрения значительно, если не полностью, изменилась. Это произошло, когда я много лет назад впервые прочитал роман «Господа Головлёвы» и обратился к комментариям и примечаниям. К счастью, и дома и в школе я получил хорошее литературное воспитание, согласно которому надо вначале прочитать книгу, а затем браться за истолкования её, сделанные серьёзными дядями и тётями.

Читал я роман не по массовому изданию, сопроводительный аппарат был обширным, но при всём моём пристрастии к разного рода дискурсам очень быстро я почувствовал возмущение. Возмутило, что комментаторы целеустремлённо пытались провести ту мысль, что роман во многом построен Салтыковым на автобиографическом материале, а одна из главных его героинь, Арина Петровна Головлёва, едва ли не списана автором с собственной матери, Ольги Михайловны Салтыковой.

С этим я заведомо не хотел соглашаться, даже не вникая в какие-то приводимые комментатором доводы. Не хотел соглашаться по нескольким причинам, главная из которых была совершенно эмоциональной. Почему, думал я, вообще кому-то могло прийти в голову, что мой любимый со школьных лет Михаил Евграфович Салтыков способен заняться столь примитивным шаржированием своей матери и других ближайших родственников?!

Моё изумление, перерастающее в возмущение, также было вызвано тем, что, читая «Господ Головлёвых», я так и не догадался, что в них «художественно обобщается исторический процесс разложения помещичьего класса, выносятся “смертный” приговор крепостничеству и вместе с тем обличается паразитизм и угнетение, ложь и

человеконенавистничество эксплуататорского, собственнического строя вообще».

Зато я с первых страниц почувствовал и увидел: передо мной разворачивается невероятная по своей зримости, а порой вызывающая оторопь своей узнаваемостью картина жизни большой семьи и человеческих страстей, в этой семье неостановимо кипящих. При этом, естественно, в некоторых поступках и речах персонажей я, несмотря на свою молодость и жизненную неопытность, обнаруживал уже виденное или пережитое мною.

Я знал, что сила моего собственного впечатления от «Господ Головлёвых» не будет поколеблена никакими идейно подкованными его толкователями, я теперь открыл, что в русской литературе есть не одно воплощение «мысли семейной» – в «Анне Карениной», есть её воплощение ещё в одном шедевре, написанном в те же годы, – в «Господах Головлёвых». Я понял: передо мной роман о семейном устройстве на все времена и страны, роман всемирной мощи... И тогда вдруг захотелось разобраться, что же на самом деле происходило в семье Салтыковых, коль родились столь дикие – и на мой тогдашний, и подавно сегодняшний взгляд – подходы.

Впрочем, я не мог согласиться с обозначенными интерпретациями ещё и потому, что не допускал, уже вне романного пространства, в самой жизни такого прямолинейно беспощадного отношения Михаила Евграфовича к своей родной матери. Я взялся за письма Салтыкова, за воспоминания, затем появилась публикация фрагментов писем Ольги Михайловны Салтыковой, других материалов из их семейного архива<sup>[30]</sup>. И сегодня я совершенно уверен, что рассказывать о семье Салтыковых и самого Салтыкова необходимо. Только так мы сможем развести художественное творчество писателя и его реальную биографию.

Двоящаяся натура Михаила Евграфовича, постоянные борения её эмоциональных стихий с глубочайшим, мудрым умом очевидны. Обдумывая причины, по которым у него постоянно происходили столкновения с другими людьми, приходишь к выводу, что он, чаще всего, эти столкновения не предупреждал, давал им возможность произойти, чтобы затем обратиться к спокойным формам общения.

Так же было у него и в семейной среде, где вообще не принято сдерживать эмоции.



7 июля 1872 года умер Сергей Салтыков, младший брат Михаила Евграфовича. Они с 1859 года совместно владели селом Заозерье с деревнями в Угличском уезде Ярославской губернии. Это своё оброчное имение при разделе владений им отписала Ольга Михайловна. Тогда же по просьбе Михаила Сергей принял на себя управление имением, что было документально оформлено, и это длилось в согласии, хотя и не без хозяйственных шероховатостей, вплоть до его кончины. Заозерье давало Салтыкову дополнительный доход, особенно важный в годы, когда он оставлял государственную службу, отнюдь не лишней и в годы управления «Отечественными записками».

Однако после смерти Сергея выяснилось, что необходимый новый раздел наследства не пройдёт гладко. Причина была не только в том, что злоупотреблявший алкоголем покойный оставил долги. В раздел вдруг встроился старший брат Дмитрий Евграфович, уже пребывавший в отставке, действительный статский советник, и вовлёк в него другого брата – Илью Евграфовича. Естественно, были претензии и у вдовы Сергея Евграфовича (её интересы представляла мать). В итоге дело, которое при согласии можно было решить быстро, стало перерастать в тяжбу.

В лучшем на сегодняшний день собрании сочинений Салтыкова в двадцати томах (двадцати четырёх книгах) под редакцией Сергея Александровича Макашина, приложением к корпусу писем напечатаны основные материалы дела о «заозерском наследстве». Среди них наибольший интерес представляет записка Салтыкова присяжному поверенному Ивану Сергеевичу Сухоручкину, относящаяся к октябрю 1872 года, где подробно представлены сведения о самом наследстве, первоначально полученном братьями от матери, его состоянии ко дню смерти Сергея, претензии наследников и предлагаемый проект раздела.

Это поистине поразительное произведение в обширном салтыковском наследии. Михаилу Евграфовичу была подвластна любая форма письменной речи. Его письма (даже притом что они, к нашей печали, сохранились довольно плохо) составляют, по сути, второе собрание его сочинений, богатейший автокомментарий к собственной жизни. На сей раз спокойные внешне, несущие необходимую хозяйственную информацию строки источают отчаяние. Автор «Губернских очерков», «Смерти Пазухина», «Повести о том, как мужик двух генералов прокормил», «Истории одного города» становится субъектом судебного разбирательства.

Писатель, берясь за перо, может выступить от имени своего персонажа, придумать повествователя, спрятаться за какой-то невероятной маской, наконец, постараться выразить самого себя, свою личность. Но

здесь выведенный Салтыковым «Михаил» оказывается затянутым в чудовищный смерч имущественных претензий, оттягивающий от лица воздух и лишаящий возможности дышать.

«В декабре 1861 года коллежская советница Ольга Салтыкова дала займы Михаилу Салтыкову 23 тыс. сер. на два года; затем, когда Михаил не уплатил в срок денег, начала иск, вследствие которого на доходы с имения Михаила был наложен арест и приступлено было к описи самого имения. Но в это время Сергей, как управлявший общим имением по доверенности, действительно указал на ту часть имения Михаила, которая следовала ему *в случае раздела*, и собираемые с этой части доходы действительно отсылались на удовлетворение долга г-же Салтыковой, и даже продана была пустошь Филиппцево...»

*Пустошь Филиппцево* – и другие пустоши, которых немало в этом деле... От русского языка не увернёшься, он вновь и вновь будет напоминать тебе о дополнительных и об основных значениях слов.

Этот мельчайший эпизод жизни продолжал гнездиться в глубинах памяти Салтыкова, не отпускал его до тех пор, пока Филиппцево, ласково названное «пустошоночка», не мелькнуло в «Пошехонской старине».

Пустоши, пустошоночки...

В октябре 1873 года, когда дело о заозерском наследстве всё ещё длилось, в «Отечественных записках» появился очередной очерк цикла «Благонамеренные речи» – «Опять в дороге».

«Как-то не верится, что я снова в тех местах, которые были свидетелями моего детства. Природа ли, люди ли здесь изменились, или я слишком долго вёл бродячую жизнь среди иных людей и иной природы, – так начинается он. – Я еду и положительно ничего не узнаю. Вот здесь, на самом этом месте, стояла сплошная стена леса; теперь по обеим сторонам дороги лежат необозримые пространства, покрытые пеньками. Помещик зря продал лес; купец зря срубил его; крестьянин зря выпустил на порубку стадо. Никому ничего не жалко; никто не заглядывает в будущее; всякий спешит сорвать всё, что в данную минуту сорвать можно. И вот, давно ли началась эта вакханалия, а окрестность уже имеет обнажённый, почти безнадежный вид. Пеньки, пеньки и пеньки; кой-где тощий лозняк.

– Нехороши наши места стали, неприглядны, – говорит мой спутник, старинный житель этой местности, знающий её как свои пять пальцев, – покуда леса были целы – жить было можно, а теперь словно последние времена пришли. Скоро ни гриба, ни ягоды, ни птицы – ничего не будет. Пошли сиверки, холода, бездождица: земля трескается, а пару не даёт. Шутка сказать: май в половине, а из полушубков не выходим!

И точно: холодный ветер пронизывает нас насквозь, и мы пожимаемся, несмотря на то что небо безоблачно и солнце заливает блеском окрестные пеньки и побелевшую прошлогоднюю отаву, сквозь которую чуть-чуть пробиваются тощие свежие травинки. Вот вам и радостный май. Прежде в это время скотина была уж сыта в поле, леса стонали птичьим гомоном, воздух был тих, влажен и нагрет. Выйдешь, бывало, на балкон – так и обдаёт тебя душистым паром распутившейся берёзы или смолистым запахом сосны и ели...»

Коль начнёшь цитировать Салтыкова, трудно оборвать. Сказал он своё и в искусстве русского литературного пейзажа, соединяя на одной странице могучую лирику северной природы и тяжёлое живописание мрачного хозяйствования человека на необъятных лесных просторах.

С. А. Макашин проделал психологически очень тяжёлый труд по изучению хитросплетений изнурительного дела о заозерском наследстве, затянувшегося до 1874 года, но и позже вызывавшего споры при разграничении владений. Волей-неволей действия Салтыкова в нём вступали в достаточно жёсткое противоречие с теми принципами нового российского жизнеустройства, которые он так или иначе отстаивал и в своих сочинениях, и при редактировании «Отечественных записок».

Хотя с имущественной точки зрения итоги заозерского передела оказались для Салтыкова всё же вполне утешительными, его, очевидно, преследовало ощущение морального фиаско. Расчисленные интересы действительного статского советника Салтыкова одолели горячее слово Н. Щедрина. Вероятно, именно в это время он окончательно пришёл к выводу о необходимости жёсткого выбора. Лелеемые с молодости фантазии удалиться в деревню, в имение и там, как отец, предаваться уединённым размышлениям и посильным трудам, по разным причинам не сбылись. Попытка по-человечески, по совести распорядиться тем, что досталось по воле судьбы, в конце концов привела к семейным дразгвам. По природе своего характера Салтыков стремился делать всё наилучшим образом, он был тем, кого сегодня называют перфекционистом. И сама жизнь показала ему, что помещичье дело не исключение, оно также требует перфекционизма, полной отдачи. А нам, между прочим, несколько отойдя от тональности биографической повести в сторону щедринских буффонад, можно было бы написать занимательную вставную новеллку «Салтыков – помещик». Она не получилась бы благостной. Но всё-таки Салтыков опомнился сам – хотя, возможно, не без взирания на опыт своего так сказать двоюродного свояка.

Ещё в 1859 году двоюродная сестра Елизаветы Аполлоновны по отцу,

Анна Макарова, вышла замуж за химика Александра Энгельгардта, и с тех пор семьи не выпускали друг друга из виду. Анна Энгельгардт получила известность как переводчица и деятельница женского движения, а профессор, декан Петербургского земледельческого института Энгельгардт стал известным агрохимиком. Когда в 1871 году за поддержку студенческих волнений Энгельгардта пожизненно выслали из Петербурга и он поселился в своём имении Батищево в Дорогобужском уезде на Смоленщине, Салтыков предложил ему писать статьи для «Отечественных записок», изображающие «современное положение помещичьих и крестьянских хозяйств сравнительно с таковым же до 1861 года». И Энгельгардт не просто откликнулся, создав в итоге знаменитый цикл «Письма из деревни», но и устроил у себя опытное хозяйство, основанное на новейших достижениях науки и практики.

У Энгельгардта открылся и литературный талант, во всяком случае, уже самое начало его первого письма читается забавно:

«Вы хотите, чтобы я писал вам о нашем деревенском житье-бытье. Исполняю, но предупреждаю, что решительно ни о чём другом ни думать, ни говорить, ни писать не могу, как о хозяйстве. Все мои интересы, все интересы лиц, с которыми я ежедневно встречаюсь, сосредоточены на дровах, хлебе, скоте, навозе... Пока баба ставит самовар, я лежу в постели, курю папироску и мечтаю о том, какая отличная пустошь выйдет, когда срубят проданный мною нынче лес...»

Письма «Из деревни» Энгельгардта стали печататься в журнале с майского номера 1872 года, и это растянулось на несколько лет. Параллельно он публиковал очерки «Из истории моего хозяйства», статьи об агрономических проблемах, и это, полагаю, Салтыкова как редактора очень радовало, но Салтыкова-помещика, продолжавшего малоуспешные попытки рационального ведения собственного хозяйства в любимом Витенёве, только огорчало. Любопытно, что особенно печалился он, когда Энгельгардт, увлечённый своими сельскохозяйственными делами, делал большие паузы между статьями. «Конечно, читатель вправе сетовать, что он не находит в журнале хорошего чтения, но ведь и наше положение – совсем безвыходное, – пишет он Энгельгардту 20 января 1877 года. – Находясь между цензурным бешенством, с одной стороны, и бесталанностью – с другой, мы должны испытывать самые мучительные ощущения. Поэтому и Ваша уклончивость поразила меня очень и очень неприятно. Но пришлите хоть что-нибудь, хоть из истории Вашего хозяйства – всё же Ваша статья, всякая, будет для журнала большим подспорьем. Чем дальше в лес, тем больше дров, говорит пословица, а у

нас именно дров-то и нет: одни пеньки остались».

В эти же дни он ведёт переговоры по продаже Витенёва: «И жалко Витенёва, да не к рукам мне оно». В начале апреля 1877 года имение купил елецкий хлеботорговец Сергей Калабин. Причин для этого странного решения видится несколько. Хотя чета Салтыковых Витенёво любила, оно было очень убыточным и к тому же находилось далеко от Петербурга. Оно требовалось прежде всего для летнего отдыха, хотя и он из-за дел журнальных не бывал безмятежным («в Витенёво уже по летам я не ездок»). Кроме того, с апреля 1875-го по июнь 1876 года семья Салтыковых жила за границей, а лето, проведённое в Витенёве, за время отсутствия хозяев ещё более погрузившемся в различные жизненные, хозяйственные и сельскохозяйственные сложности, привело Михаила Евграфовича к окончательному выводу, что с миссией цивилизованного, а не дикого помещика ему не справиться и «интеллигентным землевладельцем», как Энгельгардт, не стать («Я продал Витенёво за 21 500 р. Калабину, и все расходы на его счёт. Мне это очень грустно, но делать нечего; во-первых, оно ничего не приносило, а во-вторых, угрожало такими расходами в будущем», – из письма витенёвскому управляющему Алексею Каблукову).

При этом, как видно, у Салтыкова сохранялась иллюзия, что потерпев неудачу с помещичьим хозяйствованием, он сможет быть respectable петербургским дачником. Ещё весной, не позже начала мая 1877 года он купил на берегу Финского залива, близ Ораниенбаума, мызу Лебяжье. Сама по себе покупка казалась удачной. Умевшая радоваться жизни Елизавета Аполлоновна писала о приобретении с восторгом:

«Уезжаем в наше новое имение Лебяжье. Там тоже нам досталась отличная коляска. <...> Там два попугая, за одного из них заплачено 600 руб. Мебель отличная на 17 комнат, с коврами и с такими прелестными дорогими зеркалами, что мы их в город перевезли. Спальная мебель роскошная. Там в доме амосовские печки, и вода проведена и в дом и в прачешную. Парк с утрамбованными дорожками, с оранжереей и с парниками. Мельница на речке и Финский залив близ дома, к нему ведёт аллея берёзовая. Ужасно много разных служб, два каретных сарая, скотный двор, 4 коровы, 4 лошади, пропасть кур, индеек, пчёл и свиней. Не знаю, что мы со всем этим будем делать. И лес есть. Земли всего 163 десятины. И заплатили мы за всё это очень дёшево, 131/2 тысяч».

То есть от денег, вырученных за Витенёво, у Салтыковых ещё что-то и осталось. Но вопрос Елизаветы Аполлоновны – *что мы со всем этим будем делать?* – оказался не праздным. С хозяйством в Лебяжьем Салтыковы тоже не справились. Михаил Евграфович, прожив на

прекрасной мызе всего месяц, жалуется драматургу Островскому: «Не проученный подмосковным опытом, я опять надел на себя ярмо собственности и скажу откровенно, что безалабернее едва ли что может быть. Я ничего не пишу, ничего не читаю, а только с дерьма пенки снимаю. Жалуюсь на дождь и на ведро, укоряю человеческий род в лени и от времени до времени проклиная час своего рождения. Вообще, мысли совершенно не совместные с занятием литературой, а так как в сей последней заключается единственный надёжный способ заработка денег, то я уже начинаю подумывать о том, каким бы образом отделаться от собственности».

Константин Салтыков, сын писателя, в замечательной книге воспоминаний «Интимный Щедрин» рассказывает:

«Мой отец в общегитии был чрезвычайно доверчивым человеком. Эту особенность его характера многие эксплуатировали в свою пользу. Я... <...> писал о некоторых сотрудниках “Отечественных записок”, которые всячески выманивали у него денежные авансы под затем зачастую не выполнявшуюся ими работу для журнала... <...> когда он захотел иметь свой собственный клочок земли и купил... <...> мызу Лебяжье, то ему управляющий... <...> показывая именьице, указал как на входящий в состав такового лес с прекрасными деревьями. Лес этот, однако, оказался чужим, и когда папе понадобился на что-то лесной материал и он послал туда рабочих, то их оттуда, понятно, спровадили. Моя мать тоже не была подготовлена к роли помещицы. В результате их обоих не обманывал только ленивый. Крестьяне за работу брали втридорога, фрукты из построенного отцом грунтового сарая куда-то исчезали. Тоже происходило и с парниковыми овощами. На скотном дворе были вечные недоразумения. И таким образом, про моего отца в качестве помещика можно сказать, что не он пил кровь местного населения, а что, наоборот, оно выпускало из него всеми доступными способами соки».

Неудивительно, что уже в 1879 году Лебяжье, «не без убытку», замечает Константин Салтыков, было продано. На несколько лет Михаил Евграфович успокоился, но потом, уже после закрытия «Отечественных записок», соблазнился, несмотря на отговоры, «землей в Тверской, родной ему губернии» (вновь обратимся к воспоминаниям Константина Салтыкова). «Он стоял на своём, желая, как он говорил, быть ближе к народу и перестать странствовать по заграницам да дачным местностям. Затее не суждено было осуществиться по вине тверского земства, которое, узнав про намерение отца поселиться в родных палестинах (хотя и другого уезда), собиралось чествовать его приезд особенно торжественно на

узловой станции. Когда об этом сообщили отцу, думая его порадовать, он страшно вспылil, обозвал тверичан людьми неразумными, подводящими себя под репрессии администрации своим желанием чествовать его, “вредного” человека, и отказался от мысли приобрести землю. Это было, пожалуй, лучшее, что он мог сделать».

\*

Теперь скажем о самом главном, что принесла Салтыкову история с заозерским наследством.

Прежде всего, у него окончательно установились добросердечные отношения с матерью. С самого начала этой повести я, строго следуя документальным свидетельствам, старался показать, что Ольга Михайловна, несмотря на свою строгость, была человеком тонко чувствующим, всепонимающим, мудрым. Прекрасно видя все соблазны и развращающие искушения крепостного душевладения, она постаралась, чтобы её сыновья научились зарабатывать хлеб собственным трудом. Как ни жаловался Михаил Евграфович на суровость матери, надо видеть, что она относилась к нему согласно правилу: кому много дано, с того много и спрашивается. А при разделе Заозерья Ольга Михайловна проявила настоящую мудрость и всячески постаралась не допустить сыновей до разрыва друг с другом, зорко разглядев именно в Дмитриии Евграфовиче главный источник раздора и мелочных счётов.

Осенью 1874 года Ольга Михайловна заболела, и 3 декабря скончалась в имении сына Ильи, близ Калязина, в сельце Цедилове. Вероятно, Михаил Евграфович поехал туда, но по завещанию Ольгу Михайловну хоронили близ её любимого Ермолина, при церкви Святого Георгия на Хотче<sup>[31]</sup>. К погребению он не успел, а притом ещё сильно простудился.

Второе обретение, которое принесла ему тяжба, – литературное. В октябрьском, 1875 года номере «Отечественных записок» Салтыков опубликовал очередной очерк из длящегося цикла «Благонамеренные речи» – «Семейный суд». Работая над ним, он, очевидно, пытался литературно преодолеть те изматывающие думы, которые не отпускали его после тяжбы с братьями вокруг Заозёрья. Но, по его мнению, потерпел здесь неудачу. Написанным остался недоволен и в ответ на похвалы Некрасова писал ему о «Семейном суде»: «Мне лично он не нравится. Кажется, что неуклюж и кропотливо сделан. Свободного, лёгкого творчества нет, а я всегда недоволен тем, что туго пишется».

Однако у Некрасова вдруг появился мощный союзник – Тургенев. В отличие от Николая Алексеевича он едва ли знал, из какого судебного семейного «сора» вырос этот рассказ. И писал Салтыкову:

«Тотчас прочёл “Семейный суд”, которым остался чрезвычайно доволен. Фигуры все нарисованы сильно и верно: я уже не говорю о фигуре матери, которая типична – и не в первый раз появляется у Вас – она, очевидно, взята живой – из действительной жизни. Но особенно хороша фигура спившегося и потерянного “балбеса”. Она так хороша, что невольно рождается мысль, отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким исполнением? Но на это можно ответить, что романы и повести до некоторой степени пишут другие – а то, что делает Салтыков, кроме его, никому. Как бы то ни было – но “Семейный суд” мне очень понравился, и я с нетерпением ожидаю продолжения – описания подвигов “Иудушки”».

Это очень интересное многослойное высказывание, и, надо сказать, Салтыков вполне на него отозвался.

Замечание Тургенева, что делаемое им более делать никому, его не особенно вдохновило. Эти свои, как мы их решили именовать, философские и публицистические буффонады он доводил до виртуозности. А как давнему автору «Русского вестника», который теперь печатал у себя первых мастеров русской прозы, ему, конечно, хотелось написать и «крупный роман», а не просто цикл злободневных очерков, пусть и притягивающий читателей. Тем более если в одном из таких очерков почитаемый им Тургенев усматривает зерно настоящего романа.

Дополнительным стимулом к работе над «Господами Головлёвыми» стала публикация в «Русском вестнике» романа Льва Толстого «Анна Каренина». Прочитав его первые главы, Салтыков раздражённо писал 9 марта 1875 года П. В. Анненкову: «Вероятно, Вы... <...> читали роман гр<афа> Толстого о наилучшем устройстве быта детор<одных> частей. Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что ещё существует возможность строить романы на одних половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного кобеля Вронского. Мне кажется это подло и безнравственно. И ко всему этому прицепляется консервативная партия, которая торжествует. Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя?»

Добросердечные комментаторы предполагают, что причины этого недовольства связаны с болезненным состоянием Михаила Евграфовича, жестоко страдавшего в те недели от ревматизма. А мне видится рефлекс литературного соперничества, ревности.



Толстой взялся за роман, по его же признанию, руководствуясь *мыслью семейною*, а ведь Салтыков ещё за несколько лет до «Анны Карениной» писал в «Господах ташкентцах», что «роман утратил свою прежнюю почву с тех пор, как семейственность и всё, что принадлежит к ней, начинает изменять свой характер. <...> Этот тёплый, уютный, хорошо обозначившийся элемент, который давал содержание роману, улетучивается на глазах у всех. Драма начинает требовать других мотивов...». Естественно, он, высказываясь об «Анне Карениной», понимал, что такая полемика – только для застолий в узком кругу, выразить недовольство полноценно можно, только написав своё... А там уж – как получится.

Надо вспомнить дальнейшее – «Семейный суд» вскоре стал первой главой романа «Господа Головлёвы» – Салтыков учёл суждения Тургенева и о персонажах, прежде всего, матери и «Иудушке». Даже если признать реальность утраченного ныне письма Салтыкова А. М. Унковскому от 13 ноября 1875 года, в котором он называет Дмитрия Евграфовича «негодяем», добавляя: «Это я его в конце Иудушки изобразил»<sup>[32]</sup>, хотя, как указывали исследователи, речь здесь идёт о времени, когда образ Порфирия Головлёва только формировался.

То, что его образ, а подавно образ Арины Петровны отводились автором от чаемых многими прототипов, засвидетельствовал даже Н. А. Белоголовый, довольно поверхностный в своих художественных вкусах и малочуткий к тонкостям в человеческих отношениях: в «повести “Семейство Головлёвых”... <...> Салтыков воспроизвёл некоторые типы своих родственников и их взаимную вражду и ссоры, – но только отчасти, потому что, по словам автора, он почерпнул из действительности только типы, в развитии же фабулы рассказа и судьбы действующих лиц допустил много вымысла».

Зато для поэта Алексея Жемчужникова, искущённого в таинственных путях создания «лабиринта сцеплений», Иудушка ещё в 1876 году, когда «Головлёвы» только выбирались из «Благонамеренных речей», был *одним из самых лучших созданий* Салтыкова. «Это лицо – совершенно живое. Оно задумано очень тонко, а выражено крупно и рельефно. Вышла личность необыкновенно типичная. <...> В ней есть замечательно художественное соединение почти смехотворного комизма с глубоким трагизмом. И эти два, по-видимому, противоположные, элемента в нём нераздельны. <...> Относиться к нему с постоянным негодованием и злобою также нельзя, потому что он бесспорно комичен, особенно когда творит самое, по его мнению, важное в нравственном отношении дело: когда рассуждает о Боге или молится Ему с воздеванием рук».

Окончательное заглавие – «Господа Головлёвы» – прихотливо рождавшаяся книга Салтыкова получила в 1880 году, при выходе отдельным изданием.

Салтыков ответил Льву Толстому.

И оказалось: спорить не о чем.

## Отец семейства

Февральский номер «Отечественных записок» за 1869 год, один из первых, которые вышли уже при салтыковском участии, и сегодня восхищает богатством содержания. Помимо щедринских «Повести о том, как мужик двух генералов прокормил» и «Пропала совесть», здесь опубликованы «Разоренье» Глеба Успенского, продолжение труда великого народознатца Сергея Максимова «Народные преступления и несчастья», комедия знаменитого тогда драматурга Алексея Потехина «Рыцари нашего времени», стихотворения Алексея Плещеева и Виктора Гюго в переводе Виктора Буренина... Некрасов печатает новые главы из своего эпоса «Кому на Руси жить хорошо» – «Сельская ярмонка» и «Пьяная ночь».

В последней характеристику одного из персонажей автор выделил курсивом, и не ошибся: она стала афористическим обозначением работы по-русски, отечественной, так сказать, НОТ – научной организации труда:

*Он до смерти работает,  
До полусмерти пьёт!*

Конечно, Михаил Евграфович читал эти строки. Относил ли к себе, неизвестно (всё же запойным он никогда не был, нещадно терзал себя лишь грехом табакокурения), но и в служебные годы расписание его рабочего дня не отличалось прилежанием.

Хотя с начала 1880-х годов доктор Белоголовый прекратил врачебную практику, Салтыков продолжал считать себя его постоянным пациентом. По мнению Белоголового, до 1875 года здоровьем Салтыков «пользовался хорошим и вёл ту безалаберную жизнь, которая была тогда в обычае у петербургских литераторов и открыто была в противоречии всем правилам гигиены; днём сидел за работой, а вечера проводил за карточным столом, много пил вина и поздно ложился спать». Всё изменилось в конце 1874 года, когда Салтыков во время горестной поездки на похороны Ольги Михайловны жестоко простудился. Эта простуда способствовала развитию у него «болезни, которая так жестоко отравила всё его последующее существование» – «ревматизма суставов, осложнённого воспалением сердца».

Ровно за год до смерти, 26 апреля 1888 года Салтыков писал

Белоголовому: «Весь мир закрыт для меня, благодаря злему недугу. Ещё хотелось бы настолько иметь сил, чтоб написать оправдательную записку с изложением последних лет моей горькой жизни, с тем, чтоб напечатали её после смерти». набросок такой записки после кончины Салтыкова был найден в его бумагах, опубликован, но оригинал вскоре пропал. Эта записка представляет интерес как самоанализ писателя, но её трудно рассматривать как объективный диагноз. Салтыков пишет: «Я никогда не мог похвалиться ни хорошим здоровьем, ни физической силою, но с 1875 года не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злему недугу, с которым я сойду в могилу.

Не могу также пройти молчанием и непрерывного труда: могу сказать смело, что до последних минут вся моя жизнь прошла в труде, и только когда мне становилось уж очень тяжело, я бросал перо и впадал в мучительное забытие».

Как раз эта *мучительная восприимчивость современности* и была главной причиной постоянных обострений.

Помимо Белоголового, который, повторю, был для Салтыкова живым плацебо, его лечил знаменитый Сергей Боткин. Один из мемуаристов записал его суждение. На вопрос, какой болезнью болен Михаил Евграфович, профессор «ответил, что спросить нужно иначе: какой болезнью он не болен». Но и то сказать: в этих словах присутствует некоторая ирония, ибо хорошо известен восходящий к Гиппократу врачебный принцип, который утверждал и которому следовал Боткин: *надо лечить не болезнь, а больного*. Это, между прочим, прекрасно понимала и верная спутница Салтыкова Елизавета Аполлоновна, которая с годами всё чаще становилась своего рода громоотводом для вспышек негодования и гнева, исторгаемых её супругом.

Мемуарист вспоминает комментарий Елизаветы Аполлоновны, когда во время беседы с ней из кабинета писателя «беспрестанно раздавался громогласный неистовый кашель». «Он всегда так... – пояснила Елизавета Аполлоновна. – В самом деле кашляет, но ещё и от себя прибавляет».

Так или иначе, но в апреле 1875 года по рекомендации врачей, и прежде всего Белоголового, Салтыков в сопровождении семьи выезжает на лечение за границу. Это была его первая поездка за пределы Отечества, и, надо сказать, смена пространства и, главное, образа жизни сказалась благотворно и на его здоровье, и на творческом состоянии.

За рубежом Салтыковы провели больше года – до июня 1876 года.

Вначале жили на знаменитом южногерманском курорте Баден-Баден. Здесь Михаил Евграфович приходил в себя – в Петербурге к поезду на Варшавском вокзале его вели под руки. В Баден-Бадене попечением сердечного друга многих писателей, удивительнейшего Павла Васильевича Анненкова, к Салтыкову пригласили лучшего на этом курорте врача Хайлигенталя (Салтыков и Анненков называли его в тогдашней огласовке Гейлигенталем) и тот добился успеха. Хотя поначалу Михаил Евграфович, по словам Анненкова, выл, на стены лез, ругал всех, пославших его сюда.

Остававшийся в Петербурге Некрасов даже нацелился вернуть сюда семью Салтыкова, о чём писал Анненкову: «Нечего Вам говорить, как уничтожает меня мысль о возможности его смерти теперь, именно: у-ничтожает. С доброй лошадьёю и надорванная прибавляет бегу. Так было со мной в последние годы. Журнальное дело у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко; Салтыков нёс его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним, как могли. Не говорю уже о том, что я хорошо его узнал и привязался к нему. <...> Последняя моя телеграмма (о семействе) вызвана была некоторыми особыми соображениями. Между нами, в семейном быту его происходит какая-то неурядица, так что он ещё здесь колебался – не ехать ли ему одному. Я подумал, не назрел ли вопрос окончательно, и в таком случае немедленно поехал бы, чтоб взять от него элемент, нарушающий столь необходимое для него спокойствие. Но ехать за семейством в случае несчастья мне самому не было бы резону, мы найдём, кого послать. Не на кого оставить журнал».

Общеизвестно, что личная жизнь самого Некрасова сложилась, мягко говоря, экстравагантно. *Meriage a trois*, романы наперекор приличиям... Это была своего рода драма, ибо печальник народного горя так и остался с довольно поверхностными представлениями о семейной жизни, пребывая в основном на уровне клубничества, если воспользоваться салтыковским словом. И в этом письме Некрасов намекает на то, что знали многие в кругу «Отечественных записок».

У Салтыкова были недруги, были враги, старшего брата Дмитрия Евграфовича он называл своим «злым демоном». Но оказались в биографии Михаила Евграфовича и два поистине подколодных змея, два брата-адвоката, Владимир и Пётр Танеевы. На общественной совести Владимира непревзойдённая заслуга – он был одним из первых, кто принёс в Россию трихину коммунизма Марксова разлива и при этом ещё выступал вульгарным до абсурда материалистом. Самочинно записав Салтыкова себе в друзья, Танеев попытался протащить в «Отечественные записки» свою компилятивную, притом изобиловавшую многими передержками статью о

Первом интернационале и Парижской коммуне. Михаил Евграфович было взял сочинение, но затем вернул, высказав опасение, что статья «может вызвать предостережение» от цензуры. И хорошо, что вернул – скажем мы сегодня. Вполне возможно, что Салтыков перестраховывался, но статья эта, будучи напечатанной, вызвала бы не цензурные гонения, а непременно жёсткую критику знающих предмет обществоведов.

Неприятное впечатление производят и пространные воспоминания Танеева «Русский писатель М. Е. Салтыков (Эзоп)». С одной стороны, они свидетельствуют о едва ли не абсолютной эстетической глухоте мемуариста, так и не уяснившего, с какой титанической личностью его свела судьба, хотя и он пишет, что Салтыков «имел огромный художественный талант». С другой – даже правдоподобные детали в этих воспоминаниях получают толкование пошлое, мелкотравчатое.

Вероятно, испытывая к Елизавете Аполлоновне не только симпатию, но и более сильное чувство, впрочем, безответное, многодетный супруг Танеев тем не менее постарался превратно живописать семейные отношения Салтыковых. Большинство биографов писателя этим грязнописанием без особых раздумий воспользовались, в результате чего очень непростая, под стать мужу натура жены писателя стала изображаться почти шаржированно, в ложном освещении.

Очевидно, при участии Владимира Танеева была сплетена и другая интрига, которая доныне плавает на периферии салтыковской биографии. Именно он ввёл в дом Салтыковых своего младшего брата Павла, который влюбился в жену писателя (во всяком случае, есть свидетельство, что его кабинет украшали несколько портретов – вероятно, фотографических – Елизаветы Аполлоновны) и стремился добиться от неё взаимности. Дело дошло до того, что Михаил Евграфович стал сомневаться в своём отцовстве в отношении дочери (это и имеет в виду Некрасов), правда, по этому поводу взрывы ревности Салтыкова возникали, когда Лиза была ребёнком и отец не проглядывал в ней так явственно, как уже в подростковом возрасте. Сам Павел Танеев эти слухи возмущённо отвергал, чего не скажешь о его братце, который не удержался от того, чтобы намекать на романтические увлечения Елизаветы Аполлоновны.

Признаюсь, я не приверженец того ригоризма, который Салтыков пытался проповедовать в статье «Новаторы особого рода». Но я приверженец идеи, чтобы литературоведение, в частности историю литературы, считать своего рода наукой. А наука требует точности фактов, чистоты опыта. И поскольку реальных фактов по вопросу, тревожившему ещё Некрасова, у нас нет, постольку и оставим его за пределами биографии

Салтыковых.

Мы заговорили об этом пассаже лишь потому, что горячее желание Некрасова способствовать в 1875 году выздоровлению Салтыкова путём его отчуждения от семьи могло привести лишь к катастрофе.

Семья занимала в жизни Салтыкова важнейшую роль. И семья, в которой он вырос, и подавно его собственная семья, тем более после появления в ней детей. Лизу и Костю Елизавета Аполлоновна сильно баловала и, однажды заметив за собой этот грех, по воспоминаниям, не без иронии проговорила: «Ну что же делать? Ведь у меня их только пара – сын и дочь; если бы была вторая пара, то я их воспитывала бы по-другому: я кричала бы на них с утра до вечера».

Отношения Михаила Евграфовича с собственными детьми, как и у Елизаветы Аполлоновны, были «непедагогическими». Но по-своему. В одной из первых его сказок, предназначенных, в отличие от позднейших, именно для детей, изображаются скитания совести, которую никто не хотел приютить, и «напротив того, только о том думал, как бы отделаться от неё». Наконец, сама совесть потребовала от своего очередного незадачливого содержателя, чтобы он отыскал «маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил» её, совесть, в этом сердце. *Авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведёт, да и в люди потом со мной выйдет – не погнушается.*

Завершается сказка так: «Растёт маленькое дитя, а вместе с ним растёт в нём и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нём большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».

Эта надежда на то, что, если сызмальства заселить в человека-ребёнка совесть, жизнь его под управлением совести будет *не робкая*, сохранилась у Михаила Евграфовича до конца дней.

И надежда и вера Салтыкова в силы детства удивительна, но она несомненно была, что подтверждается в его биографии многим – а также многими мемуаристами. «Симпатичною чертою его была любовь к детям», – пишет о молодом, ещё вятских лет Салтыкове вообще-то неблагосклонная к нему Лидия Спасская, передавая воспоминания своих родителей. И эта безотчётная тёплая любовь постоянно искушала его волю воспитателя, отводя всяческие рациональные обоснования строгостей по отношению к детям. Так что можно утверждать: в отношениях матери и отца Салтыковых к своим детям восторжествовали не педагогические теории, а трудноуправляемое чувство родительской любви.

Костя и Лиза внесли в нервическую, а лучше сказать, мятежную

натуру Михаила Евграфовича, в его проклинаемый им же характер сложнейшее чувство неустойчивого, тревожного умиротворения. Вскоре после рождения сына он писал Александру Энгельгардту: «Я уже приближаюсь к 50-ти, и старческое чувство заставляет меня радоваться этому рождению, но мысль, что я *должен* прожить до 66 лет, чтоб увидеть этого молодого человека на ногах, просто сражает меня».

Появление на свет дочери также стало для него праздником, это понятно даже по немногим сохранившимся письмам, где неожиданно возникающие среди какого-нибудь делового или рутинного текста живые упоминания о детях прекрасно передают горестные радости позднего отцовства. «Я целый месяц был сам не свой, – вдруг сообщает он Ольге Михайловне, прервав рассуждение о судебных тяжбах. – Костю отняли от кормилицы, и он страдал поносом. <...> Маленькой Лизе тоже привили оспу, и она немного страдала».

Дети стали не только частью его жизни и её смыслом, он постоянно соотносил всё происходящее в мире с их судьбами. То, что Салтыков выезжал на лечение с семьёй, было для него неоценимым благом. Он не только отвлекался от журнальной рутины, но и получал взамен роскошь общения с собственными детьми.

Впрочем, и в Петербурге он всячески старался вникнуть в заботы подраставших Кости и Лизы. В замечательной по своей достоверности и человеческой честности мемуарной книге «Интимный Щедрин», написанной Константином Салтыковым, но долгое время по конъюнктурным причинам не признававшейся советскими щедриноведами, приводится очень выразительная история.

Однажды гимназистка Лиза, у которой по каким-то причинам не получалось сочинение, заплакала. «С заплаканными глазами вышла она к вечернему чаю и на вопрос отца о причине горя сказала ему, что так и так – не может выполнить заданной ей письменной работы. Отец, шутя, пожурил её за то, что она, будучи дочерью писателя, не в состоянии сама сочинять. Затем позвал её к себе в кабинет, заставил рассказать тему заданного письменного упражнения, нашёл, что она для детского понимания действительно не особенно подходящая. Однако как-никак, а сочинение нужно было представить написанным на следующий день. И вот отец, вооружившись пером, сам его написал, принаравливаясь к детскому пониманию темы. Моя сестра всё написанное отцом переписала и на следующий день, не без гордости, подала “своё” сочинение Авиловой (гимназическая учительница. – С. Д.), ожидая за таковое не менее пятёрки, быть может, даже с плюсом. Каково же было её разочарование, когда,



получив свою тетрадку обратно, она увидала под своей рукописью начертанную цветным карандашом жирную двойку с минусом. Горю её не было пределов, и она, вернувшись домой, упрекала отца в том, что он ей испортил четверть. Папа же много хохотал над инцидентом и рассказывал всем знакомым о том, как ему была за сочинение поставлена двойка с минусом, показывая им при этом тетрадь. Конечно, Авилова узнала про случившееся и в своё оправдание говорила, что она потому поставила Лизе такой низкий балл, что подозревала, что сочинение писала не она. Впрочем, кажется, эта двойка не испортила сестриной четверти».

Интересно, что эта психологически тонко переданная история широко известна в более традиционном, почти шаржевом по отношению к Салтыкову варианте. Он изложен Софьей Унковской, гимназической подружкой и одноклассницей Лизы Салтыковой, уверяющей, что сочинения, которые им задавались, для Лизы обыкновенно писал Михаил Евграфович. А затем сердился: «“А каков ваш учитель-то, Соня, поставил мне тройку с минусом за сочинение ‘Море и пустыня’, а вам сколько?” – “А мне пять”. – “Я его хочу пригласить, вашего Дружинина, и прямо сказать: ‘Да когда же я наконец, милостивый государь, пятёрки дождусь?’ Этакий болван! И какие темы даёт вам: ‘Аничков мост’. Ну, что тут напишешь? А это ещё лучше: ‘Язык народа – хранитель его славы’. Идиот, совсем идиот!” А дело было в том, что учитель ясно видел, что сочинение написано не ученицею, а её отцом, и потому не ставил пяти».

Историк литературы М. В. Строганов во время скрупулёзной проверки достоверности воспоминаний Константина Салтыкова установил, что Михаил Евграфович в учении и сыну помогал так же, как помогают тысячи родителей по всему миру: вместе с ним решал задачи по математике. Но при этом негодовал в письме приятелю: «Есть ли у вас задачки: Малинина и Буренина и Евтушевского? Загляните и скажите: не следует ли этих мудрецов повесить?» Тем не менее, очевидно, под влиянием отца Лиза окончила педагогический класс гимназии и получила право преподавания русского языка и арифметики в начальных школах (другое дело, что по обстоятельствам жизни она этим правом не воспользовалась – в отличие от Софьи Унковской).

Константин Михайлович вначале учился в казённой гимназии, затем в знаменитой частной, Гуревича. В своих воспоминаниях он подчёркивает: отец «всегда стоял за то, чтобы я и моя сестра хорошо знали иностранные языки». Помимо учения в гимназии, для их домашней практики Елизавета Аполлоновна брала в гувернантки иностранок, и в итоге Салтыковы-родители добились того, что их дети свободно изъяснялись на

французском, английском и немецком. Вместе с тем, признаётся сын писателя, учился он «не особенно хорошо, не лучше моего одноклассника, сына Достоевского Фёдора. Мне совершенно не давался греческий язык. Отец всячески урезонивал меня получше учиться этому языку, угрожая, что, в случае если меня исключат за незнание его, он меня отдаст пасти свиней. Но несмотря на всё желание постичь греческую премудрость, она мне никак не давалась, и меня пришлось перевести в *alma mater* моего отца – Лицей, где обходилось без греческого».

Ещё интересная подробность. Как сын отставного действительного статского советника (то есть генерала в гражданском чине), Константин имел право участвовать в конкурсе для обучения на казённый счёт. И Михаил Евграфович, бывший в московском Дворянском институте и в лицее казённокоштным воспитанником, зная, что конкурс жёсткий, даже стал дополнительно заниматься с сыном: «Отец, как всегда, очень волновался перед и во время экзаменов и всё просил меня его “не подвести”. Я оказался добрым сыном и “не подвёл” родителя, выдержав конкурсное испытание первым. В награду за выказанное геройство мне, кроме полагавшегося казённого мундира, сшили и собственный, которым я очень гордился, и купили форменную треуголку. Повеселевший отец вспоминал, как он, будучи лицеистом, школьничал, причём как-то однажды катался верхом на французе-воспитателе».

Воспоминания Константина Михайловича имеют довольно спорное заглавие – «Интимный Щедрин» – речь в них идёт о жизни его отца, а не о его сочинениях, подписанных псевдонимом «Щедрин». Да и слово *интимный* в нашем нынешнем повседневном употреблении приобрело то из своих значений, которое почти не связано с содержанием книги. Вместе с тем если, вслед за Салтыковым-сыном, под *интимностью* понимать подробности частной жизни как таковой, то можно согласиться: в этой книге Салтыков и его семья предстают в достоверных обстоятельствах своих семейных и личных взаимоотношений. (К сожалению, каких-либо сведений, что Елизавета Михайловна оставила воспоминания, нет.) Константин Михайлович писал свою книгу в годы, когда и в русской литературе, и в самой России, уже ставшей советской, сложился миф о Щедринах, где доминировали общественно-политические, идеологические, а не какие-то иные черты. И ему, как видно, было важно, не вступая в долгие споры с несправедливыми с его точки зрения интерпретациями, передать читателям своё восприятие «того русского великого человека, который почти весь свой век посвятил литературе», и его окружения. При этом Константин Михайлович, совершенно не избегающий в своём

повествовании конфликтных и самокритичных подробностей, избрал тональность добросердечия, которая не могла быть выдержана, если бы в отношениях семьи Салтыковых не было теплоты.

Именно он настоятельно указывает на те черты характера и факты жизни своей матери, которые безосновательно не хотели учитывать щедриноведы. Опираясь как на собственные впечатления, так и на факты, Константин Михайлович отстаивает утверждение, что брак родителей был заключён по любви и это чувство у них, пусть и с видоизменениями (а у кого их нет?!), сохранялось всегда. Салтыков делал всё, чтобы его семья не испытывала затруднений, по-настоящему любил свою отнюдь не глупую жену-красавицу, конечно, ревнуя её.

«И моя мать была достойна его любви, – пишет Салтыков-сын. – Правда, что, будучи замечательно красивой женщиной, она любила хорошо приодеться, причесаться по-модному, любила также разные дорогие украшения, но не требовала от мужа того, чего он дать ей не мог. Безропотно следовала она за ним из Вятки в Тулу, из Тулы в Рязань и т. д., не имея нигде постоянной осёдлости, безропотно сносила все его капризы, зная, что они являются результатом его болезненного состояния. А когда он падал духом, ободряла и утешала его. И он бодрился и с новыми силами принимался за свой труд.

Да, много было ею сделано, чтобы сохранить России великого писателя, не раз с отчаяния решавшегося навсегда покончить с литературой».

Константин Михайлович, среди прочих доводов в защиту матери, обращает внимание на обстоятельство, которое не могут опровергнуть даже её недруги-литературоведы. «Отец писал какими-то иероглифами, совершенно непонятными для большинства не только малограмотных наборщиков того времени, но и для интеллигентных людей. Кроме того, он беспрерывно делал выноски на полях листа бумаги, связь которых с текстом было найти довольно замысловато. Вообще рукописи его для человека, не освоившегося с его рукой, с его методом писания, представляли нечто крайне неразборчивое. И вот мама терпеливо занималась перепиской мужниных рукописей, которые в переделанном ею виде и попадали в наборные типографий».

А то, что при этом Елизавета Аполлоновна, по общему неоспоримому мнению, красавица, «брюнетка с серыми глазами, прелестными волосами и мягким голосом», не предалась декларированному феминизму (как, например, Екатерина Жуковская, откровенно ненавидевшая семью Салтыковых), лишь подтверждает незаурядность её ума и здравость

мировосприятия. Впрочем, едва ли такое увлечение, если бы оно и возникло, порадовало бы Михаила Евграфовича. Хотя он ворчал, что и жена наряжается, и дочку их тоже стала баловать нарядами, но сам же делал всё от него зависящее, чтобы его *куколки* неизменно были пригляднее всех.

## Литература в мире, увиденном Салтыковым

Между прочим, в воспоминаниях Константина Михайловича среди других неоценимых свидетельств есть и уточняющее наше понимание восприятия Салтыковым действительности как таковой.

Сын заметил, что приближаясь при возвращении домой из-за границы к пограничной станции Вержболово<sup>[33]</sup>, отец «как-то сразу увядал, нервничал, не отвечал на вопросы, курил папиросу за папиросой. <...> А между тем приезд в Вержболово и пребывание на этом пограничном пункте не представляли из себя ничего страшного. В то время начальником станции Вержболово был симпатичный старик, бывший офицер, по фамилии Маркович. Его знали положительно все петербуржцы, которые обычно ежегодно ездили за рубеж. <...> Возвращаясь домой, моя мать обыкновенно из Берлина предупреждала об этом Марковича, который и встречал нас с своим обычным радушием. Обыкновенно на платформу вместе с начальником станции выходили нам навстречу начальник таможи и жандармский ротмистр. Маркович отбирал у нас паспорта, начальник таможи – багажную квитанцию, а ротмистр провожал нас в станционный буфет, куда вслед за тем те же должностные лица приносили нам отобранные документы, причём, вероятно, никто в наших вещах не рылся. Такое внимательное отношение со стороны пограничных властей несколько успокаивало отца. <...> Марковича заменил не менее предупредительный Христианович. То же внимательное отношение к нам повторялось каждый раз, как мы проезжали границу, и всё-таки, несмотря на это, каждый раз как поезд покидал Эйдкунен, последнюю прусскую станцию, отец видимо чрезвычайно волновался, как бы боясь, что его возьмут да арестуют.

Но этого ни разу не случилось...»

Что и говорить, Михаил Евграфович имел непреодолимую склонность к накручиванию напряжённости. С одной стороны, он ощущал себя совершенно свободным человеком и делал то, что считал нужным, встречался с теми, с кем ему желалось, писал так, как вело его вдохновение. Но затем он, даже без каких-либо оснований, смотрел на себя со стороны властей как на крамольника, толковал свои поступки как государственно предосудительные. Нередко это он распространял и на свои сочинения, толкуя каждое соприкосновение с цензурой как продолжение вечно длящегося единоборства. Не раз, мы уже отмечали это, он, предупреждая возможные осложнения при первоиздании своих и чужих

произведений в «Отечественных записках», делал смягчающую редактуру, а потом старался, не всегда успешно, восстановить вымаранное в книжных публикациях.

Двойственные чувства испытывал Михаил Евграфович и по отношению к своему жизненному пространству. Служба в Вятке, а затем в примосковных губерниях – важнейшая часть творческой биографии Салтыкова. «Без провинции у меня не было бы половины материала, которым я живу как писатель, – говорил он Петру Боборыкину, добавляя при этом: – Но работается мне лучше всего здесь, в Петербурге. Только этот город подхлестывает мысль, заставляет уходить в себя, сосредоточивает замыслы, питает охоту к перу...»

Для подтверждения этого тезиса можно вновь вспомнить замечательный роман-обозрение «Дневник провинциала в Петербурге». В нём Салтыков, автор «Губернских очерков», «Помпадуров и помпадурш», «Господ ташкентцев», построил повествование на оппозиции *провинциального* и *столичного*, создав свой петербургский миф, свою оригинальную топографию российского пространства.

А через несколько лет у него возникла возможность показать и новое соотношение пространств: российского и европейского. И здесь это его двойное, стереоскопическое зрение проявилось в полной мере.

По свидетельству Константина Салтыкова, первоначально вынужденные по медицинским причинам выезды за границу полюбились отцу. «Любимым его городом был Париж, уличная жизнь которого, бойкая и задорная, доставляла ему несказанное удовольствие», – замечает он, и это подтверждается и другими мемуаристами, и письмами самого Салтыкова.

«Полечившись в Германии, папа обыкновенно ездил в Париж и, насколько хватало сил, жил его уличной и театральной жизнью, забрасывая временно всякую работу. Сам водил нас смотреть в Елисейские поля *Guignol* (Петрушку), причём от души смеялся, когда этот последний дубиной колотил жандарма и полицейского комиссара; ходил с нами кормить лебедей в Тюльерийском саду, ездил с нами на *grandes eaux*<sup>[34]</sup>, т. е. смотреть на фонтаны в Сен Клу и в Версале. А один часами гулял по бульварам, приходя домой усталый, но довольный. Все удивлялись той перемене, которая происходила в нём, когда он ощущал под ногами асфальт парижских бульваров. Он становился жизнерадостным, и обычная суровость неизвестно куда исчезала.

– Я, – как-то сказал он кому-то при мне, – тут перерождаюсь. Ну, а там... – махнул рукой, очевидно, намекая на Россию, – я старая, разбитая рабочая кляча. И всё же, – без неё (т. е. без России) я обойтись не могу... И

умру с радостью, служа ей...»

В этом заявлении, даже если оно действительно было выражено в такой пафосной форме, нет ни грана лицемерия. Вся биография Салтыкова показывает, что он, будучи довольно подвижным по натуре человеком, никак не относился к тем, кого называют *столичными штучками*. И в России его тянуло из столиц если не в свою усадьбу (он, напомним, стремился к её обретению), то на дачу. За пределы отечества он мог, если бы захотел, отправиться после возвращения из Вятки, однако прошло почти двадцать лет, и только болезнь заставила его проехать через Вержболово.

За десятилетие с 1875 года Салтыков с семьёй совершил пять поездок за границу. Жил в Баден-Бадене, Ницце, Висбадене. В августе 1880 года отправился из немецкого Эмса посмотреть Швейцарию, но не повезло – попал в дождливые дни, Альпы затянуло туманом. В Париже он был, по меньшей мере, трижды – в 1875, 1880 и 1881 годах. О европейских странствованиях Салтыкова мы знаем по его сохранившимся письмам и книге очерков «За рубежом». Кроме того, существуют, разумеется, различные воспоминания, но этот жанр – заклятый помощник биографа, полагаться на них совершенно невозможно, они, как уже не единожды говорилось, требуют тщательной перепроверки.

Например, есть довольно обширная и литературоведчески важная тема взаимоотношений Салтыкова с французскими писателями, в свою очередь, прямо соотносимая с темой «Салтыков (Щедрин) и французская литература». И того пуще – Салтыков и пресловутый реализм.

Пётр Боборыкин, который был не только плодовитейшим беллетристом, но и теоретиком литературы, взял на себя смелость дать в поминальной, по сути, статье о Салтыкове сцену, отнесённую им к началу 1870-х годов. Когда за обедом у Некрасова зашла речь о современных парижских писателях, «Михаил Евграфович, помолчав довольно долго, разразился, к десерту, огульным неодобрением парижских знаменитостей.

– Один у них есть настоящий талант, – решил он, – это – Флобер; да и тот большой, говорят, хлыщ!»<sup>[35]</sup>.

Это изображение, явно связывающее Салтыкова с известным суждением Собакевича, отнюдь не уникально. Черты Михаила Семёновича в Михаиле Евграфовиче усматривали многие, и не только в обличье. Историк литературы Николай Страхов, фигура очень заметная на российском литературном поле, чуть позднее отказал «г. Щедрина» даже в звании сатирика («не принадлежащему к настоящему художеству»), заявив, что «вся эта пресловутая сатира сама есть некоторого рода ноздрёвщина и

хлестаковщина, с большою прибавкою Собакевича»<sup>[36]</sup>.

По этому поводу кипели литературно-общественные страсти. После личного знакомства с Флобером и другими французскими писателями Салтыков возмутился, прочитав в «Отечественных записках» опубликованную в его отсутствие статью Боборыкина «Реальный роман во Франции».

«Первая фраза, произнесённая Михаилом Евграфовичем, когда он вошёл в кабинет, была:

– Какой это вы нашли у них реализм?!

Я, конечно, не стал спорить, а дал ему излить свой протест...» – вспоминает Боборыкин.

По некоторым предположениям, этот протест выразился и в том, что Салтыков самолично провёл редактуру окончания «Реального романа во Франции», предназначенного для публикации в следующем номере журнала. Это понятно: в салтыковских сочинениях, не только критических, но и очерковых, встречаются слова «реальное», «реальность», довольно часто «реальная почва», то есть действительность во всём её многообразии, но со словом *реализм* он обходится очень аккуратно. Как Достоевский заявлял: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т<о> е<сть> изображаю все глубины души человеческой»<sup>[37]</sup>, так и Салтыков тоже имел свои вполне ясные представления о том, что он хочет написать и с какой целью. И нам надо с этим разобраться, чтобы понимать его сочинения.

Правда, сразу отметим, что теоретические высказывания, из которых мы можем сделать заключения о творческом методе Салтыкова, обнаруживаются в тех сочинениях, которые он не публиковал под своим или щедринским именем, и атрибутированы они были как салтыковские лишь в XX веке. И добавить: теоретические постулаты мало чего стоят, их надо соотносить с живыми творениями писателя, что мы тоже сделаем.

Вот печатается в октябрьском номере «Отечественных записок» знаменательного 1868 года большая анонимная статья «Напрасные опасения (По поводу современной беллетристики)», ныне признанная как салтыковская. В ней заявляется, что в «новой русской литературе» происходит «расширение арены правды, арены реализма», выражающееся в уяснении «положительных типов русского человека». Что и говорить, для сатирика, нацеленного на изображение как раз *отрицательных типов*, заявление необычное. С другой стороны, *арена правды*, и его теперешний соратник Некрасов пророчил возможность такого в литературе ещё в пору,



когда Салтыков прозябал в Вятке: *Он проповедует любовь Враждебным словом отрицанья...*

Заявление об «арене реализма», пожалуй, получает пояснения в другой статье «Насущные потребности литературы» (октябрь 1869 года). Она атрибутирована Салтыкову с изрядной долей условности, без тщательного тематико-стилистического анализа, но на кое-что в ней всё же следует обратить внимание, коль она появилась в «Отечественных записках» и, значит, при любом раскладе, не встретила возражений Салтыкова.

Заведомо не беря в расчёт мнение «людей заурядных, которых жизнь не представляет поводов для серьёзного умственного труда, людей, исключительно посвящающих себя кропотливым заботам об удовлетворении интересов дня», людей, кому «литература была не чем иным, как бессознательным эхом их мнений и убеждений», автор утверждает: «единственная задача, которую имеет в виду литература, есть исследование истины». А «истина есть умиротворение общества», истина «есть открытие положительного закона, который имеет уяснить отношения человека к человеку и к природе, положив им в основание твёрдые и для всякого вразумительные начала».

Уже неплохо – и не противоречит просветительским воззрениям Салтыкова, как и последующее, самое важное, то есть не декларации, а, что называется, обобщение опыта. В статье отмечается, что истину стремятся обрести и человек, и «литература, которая ничего другого не делает, как формулирует требования человеческой и общественной совести и даёт им надлежащую постановку». Причём литературе вверяется приоритет над обществом, ибо она «всегда идёт далее общества, всегда видит истину ближе» уже в силу своей творческой природы, противостоящей «завещанной преданием рутине, которою располагает большинство».

Но поскольку истина составляет «исключительную цель стремлений» науки, литературы и общества, постольку «исследование её не может заключать в себе ничего опасного или подлежащего преследованию», то есть «принцип свободного исследования признаётся неприкосновенным относительно истины и ограничивается лишь тогда, когда идёт речь о заблуждениях». В обстоятельствах, когда «ни наука, ни литература» не обладают «идеальной истиной», а знание подвергается непрерывным поправкам с каждым новым открытием, вопрос о «всякого рода недоразумениях, заблуждениях и ошибках» никак не сбросишь со счетов. Тем более что существует «великое множество направлений, преследующих одну и ту же цель, но понимающих её каждое с своей точки зрения».

Из множества выделяется четыре основных направления поиска истины жизни. Приверженцы первого, «школы социально-экономической», «видят истину жизни в правильной организации человеческого труда и в равномерности распределения благ, производимых воздействием этого труда на творческие силы природы». Для них «корни политических вопросов всегда заключались в экономическом положении тех стран, в которых они возникали», а «устранение общественных затруднений может быть достигнуто только при помощи разрешения экономических вопросов, и притом такого разрешения, которое удовлетворяло бы ожиданиям заинтересованного в том большинства».

Вторая школа, «политическая», продолжающая господствовать в Европе, видит истину «в расширении политических прав человека, а идеал общественного устройства – в политическом равенстве. Задачи, к разрешению которых стремится школа социально-экономическая, они относят к разряду второстепенных, и хотя не отрицают значения экономических вопросов, но подчиняют их отвлечённым целям свободы и равенства».

Третья – «школа реалистов, которые поставили себе задачей определение отношений человека к природе, раскрытие законов, управляющих последнею, и освобождение общества от призраков, которые задерживают его развитие».

И четвёртая – «школа спиритуалистическая, утверждающая, что жизнь человека должна служить некоторым трансцендентальным целям, устранение которых было бы равносильно устранению поводов к самосовершенствованию».

Но не полагайте, что автор статьи, будем считать – Салтыков, относит себя к «школе реалистов». Нет, автор статьи убеждён, что истина «не может быть столь существенно разнообразна», как она представлена в названных четырёх школах, а это значит, что «большинство существующих ныне литературных и научных школ проповедует то, что на общепринятом языке называется заблуждением», хотя в каждом из этих *искренних* заблуждений заключена «частица истины».

Таким образом, дело состоит не в том, чтобы обличать заблуждения, а «в том, чтобы заменить заблуждение истиной». А это, по убеждению автора, может быть осуществлено только в соблюдении «неприкосновенности принципа свободного исследования», что должно быть обеспечено и в науке и литературе. Особое внимание обращено на то, что множество фактов показывает: «политические перевороты во всех государствах Европы имели источником совсем не свободу речи, а,

напротив, стеснение её».

Но, повторю, самое ценное в этой статье – не обоснованная критика стеснений политической цензуры, а подробное обоснование того, что только неукоснительное соблюдение принципов свободы исследования (читаем: творчества) способно обеспечить конкуренцию мысли, «ибо стеснениями мы не парируем никаких опасностей, а только отдаляем открытие истины и продолжаем ту нравственную и умственную смуту, которая, несмотря ни на какие карательные и предупредительные меры, не прекратится до тех пор, пока будет существовать естественная причина, её поддерживающая».

«Опасности от самого разнообразия истин, проводимых различными литературными школами», нет, ибо «над всеми ими витает один общий вопрос: устройство отношений человека к человеку и к природе. На этой соединяющей почве возникают все споры и делается возможным устранение тех направлений, которые не представляют достаточной устойчивости и оправданий».

«Раздоры и разделения в обществе происходят не от полноты свободы, даваемой направлениям, ищущим истины, а или от ограничения её, или от искусственного поощрения одного направления на счёт другого».

И далее: «Отношения литературы к массам суть отношения свободные», «литература убеждает, а не насилует и никому не угрожает. Угрожать могут люди, власть имеющие, литература же только развивает общество до высоты обладаемых ею идеалов».

Таким образом, автор (и в любом случае стоящий за ним Салтыков, которому такая анонимность выгодна) оставляет право за писателем на свободу не только в выборе направления, но и на переход от одного направления к другому. Литература как «высший орган общественной мысли», обладая «свободой речи и свободой исследования», разрабатывает вопросы жизни «спокойно и разносторонне». Причём контекст и этой статьи, и всего салтыковского творчества показывает, что для писателя важна как внешняя свобода от цензурных стеснений, так и внутренняя свобода от литературных направлений, даже если в них состоят близкие ему по взглядам люди.

Поэтика Салтыкова (Щедрина) – одна из самых свободных в писательском мире, причём зачастую мало соотносимая с его же собственными теоретическими и литературно-критическими декларациями. Тем более что в тогдашнем литературном пространстве не было жёсткой терминологической классификации, и то, что, например, Золя действительно называл в обоснованиях собственного творчества

(статья «Экспериментальный роман») *натурализмом*, в русском переводе становилось *реализмом*. При этом все выдумки про критический реализм, переродившийся в итоге в реализм социалистический, появились, понятно, позднее. Белинский, например, вообще прекрасно обошёлся без термина *реализм*, а Салтыков, по его собственному признанию, «воспитанный на статьях Белинского», в этой терминологической чехарде, споря даже не с самим Золя, а с переводом его на русский, заявил в книге «За рубежом»:

«Современная французская литература... <...> для того, чтоб скрыть свою низменность, не без наглости подняла знамя реализма. Слово это небезызвестно и у нас, и даже едва ли не раньше, нежели во Франции, по поводу его у нас было преломлено достаточно копий. Но размеры нашего реализма несколько иные, нежели у современной школы французских реалистов. Мы включаем в эту область *всего* человека, со *всем* разнообразием его определений и действительности; французы же главным образом интересуются торсом человека и из *всего* разнообразия его определений с наибольшим рачением останавливаются на его физической правоспособности и на любовных подвигах».

Но и у самого Салтыкова в творческой практике не всё было так убедительно-ясно, как в творческих декларациях. Жанровую форму книги «За рубежом», как и большинства других его книг, трудно связать с традиционными жанровыми формами. Поэтому причислим её к ранее обозначенному нами определению – *философская буффонада*. Ибо основа повествования в ней – беллетристическая, сюжетная, а не аналитическая.

Тем не менее Салтыков счёл необходимым дать в ней пространное отступление фельетонной формы, развивающее критику творчества Золя, но сосредоточенное на материале именно совсем свежего романа «Нана». Он вышел во Франции отдельной книгой 15 февраля 1880 года, и весь тираж был раскуплен в этот же день; пошла череда допечаток, в итоге общий тираж первого издания составил 55 тысяч – абсолютный рекорд для французского книгоиздания. В то время как в разных странах книгу долгое время преследовали, в России запретили только французский оригинал, но не из-за натуралистических описаний, а по причине вплетения в сюжет образов некоторых «коронованных особ».

Надо признать, что Салтыков, объявив «Нану» «бестиальной драмой», в которой «главным лицом является сильно действующий женский торс, не прикрытый даже фиговым листом, общедоступный, как проезжий шлях», в окружении «соответствующего числа мужских торсов», ломился в открытую дверь, хотя и проявляя при этом обычную для него прозорливость. В рабочих заметках Золя к роману, обнародованных много

лет спустя, с полной определённой было сказано: «Книга должна быть поэмой пола, и мораль её всё тот же пол, переворачивающий мир» – и с пояснениями: «Целое общество, ринувшееся на самку»; «Свора, преследующая суку, которая не охвачена похотью и издевается над бегущими за ней псами». Писатель определил свою творческую цель – и достиг её.

Тогда стало заметно ещё одно узкое место салтыковской критики. В 1880 году в России несколько сокращённый перевод «Нана» печатался сразу в трёх изданиях – в газетах «Новое время» и «Новости» и в журнале «Слово», следом в Петербурге вышло отдельное издание. А «За рубежом» Салтыков начал печатать в «Отечественных записках» только с сентября 1880 года, глава с его анти-«Нана» появилась в январском номере 1881 года (с авторской датировкой «25 декабря 1880 г.»), а к моменту выхода его книжного издания (сентябрь 1881-го) роман «Нана» уже прочно обрелся в российском читательском мире. Некоторым образом актуальный в журнале, в книге этот пассаж уже через несколько лет начинает выглядеть, по меньшей мере, курьёзом: роман Золя неотвратно обрел историко-литературный фон, и то, что выглядело скандальным в 1880 году, среди творений русского Серебряного века читается уже совершенно иначе.

Особенно изумляет то, что сам Салтыков, завершая характеристику «Нана», здесь же с изумляющей точностью предсказывает развитие линии такой литературы: «Всё в этом романе настолько ясно, что хоть протягивай руку и гладь. Только лесбийские игры несколько стушёваны, но ведь покуда это вещь на охотника, не всякий её вместит. Придёт время, когда буржуа ещё сытнее сделается – тогда Золя и в этой сфере себя мастером явит. Но сколько мерзостей придётся ему подсмотреть, чтоб довести отделку бутафорских деталей до совершенства! И какую неумолимость, какой железный организм нужно иметь, чтоб выдержать труд выслеживания, необходимый для создания подобной экскрементально-человеческой комедии! <...> Сегодня – Нана, завтра – представительница лесбийских преданий, а послезавтра, пожалуй, и впрямь в герои романа придётся выбирать производительниц и производителей экскрементов!»

Разумеется, Салтыков понимает, что не только талантливый Золя, попавший ему под раздачу, подвизается на поприще литературы «половой бестиальности». И он, не удовлетворяясь своим пророчеством, помещает следом (и вновь с сохранением в книжном издании) пародию не только на Золя, но главным образом на сочинения его *рабских подражателей* и эпигонов французского натурализма в целом. Однако эта пространная пародия в форме изложения романа о некоем Альфреде оказалась

лишённой обязательного качества настоящей пародии – динамики. В лучшем случае Салтыкову удалось передать лишь критикуемое им «мельканье мысли» у «реалистов французского пошиба» в их унылых сочинениях.

Кроме «весьма замечательной» деятельности Золя и подражающих ему носителей скудоумного «псевдореализма», Салтыков называет и третью стадию «современного французского реализма», которую представляют «произведения порнографии». Салтыков делает здесь глубокомысленное замечание, свидетельствующее о его стремлении избегать упрощений: «Не буду распространяться здесь об этой литературной профессии; скажу только, что хотя она довольно рьяно преследуется республиканским правительством и хотя буржуа хвалит его за эту строгость, но потихоньку всё-таки упивается порнографией до пресыщения. Особливо ежели с картинками».

Хорошо известно, что толкование порнографии и порнографического изменчиво. То, что в конце XIX или в начале XX века относили к порнографии, через несколько десятилетий было благополучно легализовано. Показательно иное – сам Салтыков, попав в Париж, погрузился в историю, отбрасывающую на известные его инвективы новый ответ. Вот перед нами, с небольшими сокращениями, антипорнографический выпад в книге «За рубежом»: «Убедиться в том, что современный властелин Франции (буржуа) – порнограф до мозга костей, чрезвычайно легко: стоит только взглянуть на модные покрои женских одежд. В этой области каждый день приносит новую обнажённость. <...> Театр, который всегда был глашатаем мод будущего, может в этом случае послужить отличнейшим указателем тех требований, которые предъявляет вивёр-буржуа (прожигатель жизни. – *Ред.*) к современной женщине, как носительнице особых примет, знаменующих пол. <...> В парижских бульварных театрах покрой женских костюмов до такой степени приблизился к идее скульптурности, что ни один гусарский вахмистр, наверное, не мечтал о рейтузах, равносильных, по выразительности, тем, которые охватывают нижнюю часть туловища m-lee Myeris в “Pilules du Diable”. И надо видеть, как буржуа, весь в мыле и тяжко сопя, ловит глазами каждое движение этих рейтуз!»

А вот вновь воспоминания Боборыкина о, как он пишет, «эстетических вкусах покойного»:

«Самое привлекательное, что есть для приезжего иностранца, это – парижские театры. И к искусству французских актёров, даже и в “Comedie Franchise”, относился он очень строго:

– Они, – говаривал он мне не раз, – умеют только хорошо *произносить* стихи и прозу, да и то в комедии; в трагедии я их *пения* слышать не могу! Вся их игра – в дикции. А жесты у них – рутинные, мимика лица – казённая и бедная.

И это, в общем, довольно верно. <...> Салтыков пожелал пойти в театр на феерию “La Biche au bois” («Лесная лань» (*фр.*) – С. Д.). Мы смотрели её втроём с общим добрым знакомым, князем У[русовым]. Выставка женского тела в разных эволюциях и группах давала ему повод ядовито и забавно острить в антрактах над нравственным уровнем парижских сцен. В театре он сильно раскашлялся и после четвёртого акта запросился домой, обвязав себе шею большим фуляром, хотя температура была тропическая.

Вышли мы на бульвар... <...> и нас охватила живая картина ночного Парижа.

– Вот это здесь лучше всего! – вскричал Салтыков, и его глаза сразу повеселели.

Он постоял с нами, любуясь бульварной толпой, где преобладал простой люд. <...> Кажется, только это ему безусловно и нравилось в Париже».

Так сказать, театр и жизнь: писатель-демократ выходит на свежий ночной воздух, спасаясь от порнографического зрелища.

Но вот письма самого Салтыкова. В начале сентября 1881 года Михаил Евграфович пишет из Парижа известному Михаилу Тариеловичу Лорис-Меликову (его мы ещё вспомним): «Погода здесь весь нынешний день стояла омерзительная, и я кашляю ещё больше, нежели обыкновенно. Театры почти все уже открыты, и завтра я уже отправляюсь смотреть “Niniche”. Дают, впрочем, и серьёзные вещи, но я, будучи легкомыслен, смотреть их не пойду».

Интересующиеся, что это за «Ниниш», легко удовлетворят своё любопытство. Это – комедия-водевиль бельгийского драматурга Альфреда Неоклеса Эннекена (Геннекена) и французского журналиста Альбера Мийо (Милло) на музыку Мариуса Бульяра, написанная специально для возлюбленной Мийо – известной комической актрисы Анны Жюдик (Джудик), между прочим, не раз упомянутой в сочинениях Салтыкова.

Через несколько дней наш театрал берётся за послание к своему близкому с лицейских времён приятелю Виктору Гаевскому:

«Пишу к тебе совершенно больной, потому что все эти десять дней в Париже проливные дожди, сырость, слякоть, а я не остерёгся, ходил в театры и схватил жесточайшую простуду. Выходит, что я живу здесь взаперти совершенно так, как бы жил на Колтовской или в 1-м Парголове.

Даже в эту минуту жена и дети присутствуют на представлении “La Biche au bois”, а я, как дурак, сижу дома. А представь себе, в этой пьесе есть картина “Купающиеся сирены”, где на сцену брошено до 300 голых женских тел (по пояс), а низы и задницы оставлены под полом в добычу машинистам. Я слышал, что Унковский нарочно приехал инкогнито в Париж и перерядился машинистом, чтобы воспользоваться задами (300 задниц!). Но как только мне будет полегче, я сейчас же отправлюсь. А может быть, тоже машинистом переоденусь».

Несколько лет назад прекрасная исследовательница русской литературы, прима современной щедринистики Евгения Строганова в справедливом стремлении очистить образ Салтыкова от идеологических и всех прочих наслоений подготовила и опубликовала подборку «мушкетёрских писем» Салтыкова – доверительных и всегда озорных, раблезианских посланий к ближайшим друзьям. Мы только что прочитали одно из таковых. В большинстве из них содержатся подобные по фееричности микроновеллы, смысл которых выходит далеко за границы литературных шалостей. Также уместно добавить, что речь идёт о постановке в одном из главных парижских театров Порт-Сен-Мартен водевиля-феерии «Лесная лань» (*La biche au bois*) братьев Карла Теодора и Жана Ипполита Коньяров.

И наша история с этой *лесной ланью* ещё не достигла кульминации. Из письма Салтыкова князю Александру Ивановичу Урусову 16 сентября 1881 года, внутреннее, по Парижу: «Многоуважаемый князь. <...> Если Вы свободны в воскресенье вечером, то возьмите билеты в *fauteuils d'orchestre* (кресла партера. – С. Д.) в “La Biche au bois” (*th. Porte St. Martin*) и уведоьте меня. Надо взять билеты завтра. Ближе 4-го ряда не берите. *Location* (предварительная продажа билетов. – С. Д.) в 5 часов запирается. Я всё ещё болен и с трудом хожу. Но будет же конец этому. <...> Ежели сами не поедете, то и для меня не берите билета. Ибо похабство – это такая вещь, которая требует обмена мыслей».

Наконец, из письма Салтыкова Гаевскому от 25 сентября узнаём о свершившемся: «Я всё хвораю, и буду хворать, вероятно, до конца брэнного моего существования. На днях болезнь было поутишилась, но стоило мне двукратно пообедать вне дома, и опять настало мученье. <...> Был в “La Biche au bois”. Урусов сидел около меня и всё кричал, чтоб его на сцену пустили. Задницы были голубые, зелёные, розовые, красные, белые с блёстками, и у всех – ангельское выражение».

Всё это, разумеется, поначалу выглядит несколько странно. С одной стороны, Салтыков последовательно выступает против порнографии (как её



тогда понимали) в литературе и искусстве. С другой – несмотря на хвори, оказавшись в Париже, устремляется смотреть постановки, которые сам же квалифицирует по разряду, мягко говоря, весьма сомнительных с точки зрения высокого искусства. Одновременно вспоминается то, что многих своих сатирических персонажей и в разных произведениях Михаил Евграфович ловко прихватывает за увлечение разносортной клубничкой, которую ароматно описывает.

Как же объяснить это противоречие, если изначально отвергнуть предположение, что наш любимый писатель просто ханжит и лицемерит, что он склонен к двуличию и т. д.? Я отвергаю это предположение совершенно искренне, тем более что у меня есть очень серьёзный союзник. Только что вышла замечательная статья крупнейшего историка русской литературы Михаила Строганова, где он, рассматривая развитие форм массовой культуры, убедительно показал, как в репертуаре музыкального театра, особенно «лёгкого», ещё в XIX веке отражались актуальные социальные и эстетические вопросы, в том числе проблемы женской эмансипации. Но зритель XIX века (получается, и Салтыков тоже) «воспринимал тело актрисы не как театральное, а как собственно женское, открытые части тела манифестировали женщину не как носительницу определённым образом эстетизированного тела, а как женщину публичную».

В связи с этим М. В. Строганов справедливо замечает, что «проблема опошления больших социальных идей при усвоении их массовым сознанием остаётся. Но эти большие социальные идеи рождаются для блага не только интеллектуальной элиты, способной сохранить их во всей чистоте. Большие социальные идеи рождаются для всеобщего блага, даже для тех, кто воспримет их только как похабное тело, фривольный жест и равноправие в сальностях».

Но всё же здесь необходимо очень важное уточнение, тем более что на нём принципиально настаивал ещё Пушкин (*«Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботах суетного света / Он малодушно погружён...»*). По разным причинам, но неотвратимо возникающая сакрализация писателей да и мастеров других искусств, не только не отменяет, но и побуждает к новым исследованиям и конкретным биографий, и феномена творческой личности как таковой (что также предусмотрел и на что указал Пушкин: *И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он*).

В обозначенной коллизии в жизни Салтыкова мы видим ещё одно подтверждение крупномерности этой фигуры, ещё одно подтверждение его

принадлежности к кругу титанов русской литературы – его современников. Достоевский и в частной переписке, и в своих произведениях, и по воспоминаниям упорно и бесстрашно рассуждал о безднах человеческого сознания и однажды, пусть устами своего персонажа, договорился до того, что «иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Ещё страшнее кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны...». Лев Толстой настойчиво стремился к полнокровному изображению жизни, среди многих его суждений можно указать на запись в дневнике (18 мая 1890 года): «Мы пишем наши романы... <...> всё-таки ужасно грубо, одноцветно. Люди ведь всё точно такие же, как я, т. е. пегие – дурные и хорошие вместе, а ни такие хорошие, как я хочу, чтоб меня считали, ни такие дурные, какими мне кажутся люди, на которых я сержусь или которые меня обидели». То же самое можно отнести ещё к одному гению русской литературы – Николаю Алексеевичу Некрасову, грешная жизнь и высокое творчество которого слились в противоречивом, но нерасторжимом единстве. Более того, ригорист Николай Гаврилович Чернышевский многое, если не всё допускал если не для себя, то для своей супруги, а главное, утверждал эти идеи в своих беллетризованных писаниях – не только в романах «Что делать?» и «Пролог», но и в таинственной повести «Не для всех, или Другим нельзя»<sup>[38]</sup>.

\*

Салтыков по своим воззрениям, как мы давно установили, был убеждённым романтиком, то есть в его мировидении главенствовала вертикаль, возносящаяся от мира дольного к миру горнему – при всей неодолимости противоречия между ними, – от градов земных к Граду Небесному, от житейской суеты к идеалу. Революция для романтика – лишь катаклизм, потрясение почти тектоническое, разрушение, которое вовсе не предваряет созидание.

Но, и это мы также давно знаем, Салтыков был чужд бытового и поведенческого аскетизма, его стиль жизни всегда, может быть, за исключением только считанных, предсмертных лет, отличали раблезианские черты или, говоря точнее: раблезианское в его произведениях выросло из жизненных предпочтений, из самой повседневности, в которой он жил. Чтобы далеко не ходить за примером, перелистаем те страницы книги «За рубежом», где Салтыков поистине обрушивает на читателя смерчи запахов

(О Зюскинд!) – Москвы, а в ней Охотного Ряда, Тверской, Ильинки; Пензы, Парижа, Эмса, но, естественно, вдруг, от мощной словесной живописи – переход с таким сугубо щедринским ароматическим изворотом: «По-моему, на крестьянском дворе должно обязательно пахнуть, и ежели мы изгоним из него запах благополучия, то будет пахнуть недоимками и урядниками...»

*Дано мне тело – что мне делать с ним?* – это сказано лишь несколько десятилетий спустя, но неотвратимо вспоминается вместе с другим: *Быть может, прежде губ уже родился шёпот. И в бездревесности кружились листья...* И во многовековой *бестелесности* литературы и даже искусства телесность всё-таки существовала, хоть и не так открыто, как у Рабле и у немногих подобных. Разнообразно она присутствует и в произведениях Салтыкова.

Те щедриноведы советского времени, которые настаивали на антирелигиозности и атеизме Салтыкова, выглядели, разумеется, жалко, ибо у них не было опоры в главном: в соответствующих заявлениях самого Салтыкова. Он очень аккуратно высказывался даже о суевериях, об очевидно нелепых попытках слияния науки и веры, которые в России 1870-х годов достигли уровня моды. Шаржированные портреты священнослужителей в его произведениях малочисленны и всегда вынесены на обочину повествования. Но главное доказательство религиозности, по меньшей мере, сознания Салтыкова предстаёт в этом его постоянном поиске морального начала в человеке и утверждении его главенства в жизни.

Ловя самого себя на разного рода плотских искушениях и далеко не всегда умея их объяснить (но ведь и доньше, несмотря на построения Фрейда и т. д., почти всё здесь – *terra incognita*: «Чем загадочнее жизнь, тем более она даёт пищи для любознательности и тем больше подстрекает к раскрытию тайн этой загадочности», это как раз из книги «За рубежом»), Салтыков нашёл два пути укрощения собственных страстей. Как литературный критик он стал прямо-таки савонарольски бороться с «клубницизмом» в литературе, порой выходя с этими же отстрелами на простор своих знаменитых циклов-обзоров в «Отечественных записках» 1870-х годов. При этом, очевидно, не только искренне веря, что любострастие, «чуждых удовольствий любопытство» (синонимия этого в салтыковских текстах богатейшая) есть смертный грех, но и самокритично полагая, что его преодоление – дело тяжкое, он щедро стал наделять «телесным озлоблением» многих своих сатирических персонажей, порой сводя изображаемый характер к одной этой черте.

Выступить адвокатом Салтыкова не приходится, написанное им –

лучший его адвокат. То, что «тоскует он в забавах мира», прекрасно показано именно в книге «За рубежом» – особенном, именно *рубежном* произведении на его творческом пути. Выезды в Европу позволили Салтыкову самолично увидеть и Россию, и русского человека в координатах человечества.

«За рубежом» не только эффектно завершает ряд циклов 1870-х годов, начатый «Господами ташкентцами». Писатель проходит по российским пространствам с востока на запад, оказываясь в конце концов *за рубежом*, – но для того ли, чтобы сделать вывод об однородной пригодности этих пространств для сатирического осмеяния, для того ли, чтобы, уподобившись одному из персонажей книги, «осуществить Красный Холм в Париже, Версаль претворить в Весъегонск, Фонтенбло – в Кашин»?!

Ответ понятен, но пояснения необходимы.

Писатель наконец увидел те страны, тот мир, о котором знал по книгам с ранних лет жизни – «С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моём юнестве...», а Франция, как и Германия, – две колыбели европейского романтизма, два их крупнейших пространства. Но Салтыков попадает в Европу, когда романтический скепсис по отношению к эксперименту построения счастливого общества в соответствии с рецептами кровожадного садиста Робеспьера и доктора Гильотена был усилен потрясениями 1830 и 1848 годов, Франко-прусской войной, ужасами Парижской коммуны (к слову, театр Порт-Сен-Мартен, где Салтыков смотрел водевиль-феерию «Лесная лань», в пору уличных боёв коммуны был сожжён и восстанавливался из пепла).

И он, начинавший свой путь в романтическую эпоху и занимавшийся не «опровержением романтизма»<sup>[39]</sup>, а глубоким, многолетним осмыслением его, романтизма философии, вслед за Пушкиным и Гоголем приходил к выводу, что в романтических постулатах кодифицированы не конкретно-исторические, а универсальные начала, определяющие принципы человеческого существования. И Франция, и Германия, которые предстают со страниц книги «За рубежом», только со значительными натяжками могут быть истолкованы как сатирические, критически ориентированные образы. Напротив, это как раз реальное воплощение того компромисса, который смогла заключить романтическая теория с жизненной практикой.

Заметное место в книге занимает образ золотого века<sup>[40]</sup>, присутствующий также в системе романтических представлений. Как

показал Ф. П. Фёдоров, «земной мир и по горизонтали своей – двоemiрен», то есть воплощение духовной деятельности у романтиков связывается с устремлённостью мира к золотому веку<sup>[41]</sup>. Для молодого Салтыкова и «молодой читающей публики» сороковых годов необходима была лишь «уверенность, что “золотой век” находится не позади, а впереди нас», причём его воплощение связывалось с социально-утопическими теориями.

Но в книге «За рубежом» писатель говорит именно о романтическом понимании мифологемы золотого века, ещё точнее, осмысливает её в свете романтической иронии. «Две жизни шли рядом: одна, так сказать, pro domo, другая – страха ради иудейска, то есть в форме оправдательного документа перед начальством. <...> В первой области – вопрос о том, позади ли нужно искать золотого века или впереди; во второй – вопрос об устройстве золотых веков при помощи губернских правлений и управ благочиния...»

Нельзя не видеть, что именно романтическое, а не социально-утопическое понимание золотого века кажется автору книги «За рубежом» естественной формой отражения идеального в человеческом сознании. Вместе с тем в книге Салтыков довольно жёстко отзывается о идеях, заключённых в произнесённой незадолго до этого (июнь 1880 года) Пушкинской речи Достоевского. Общеизвестно, что сама по себе эта речь зиждется на литературном материале эпохи господства романтизма, а ключевые её образы – Алеко, Онегин, Татьяна – суть романтические герои. Но именно это и не устраивает Салтыкова, который хочет связать ключевые жизненные идеалы не с предельно обобщёнными выводами, причём представляющими, по сути, профанную перелицовку Евангелия («Стать настоящим русским... <...> значит только... <...> стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите»), а с реальными результатами человеческих исканий. Отсюда и явное определение любимого Достоевским «русского скитальца» в разряд «праздношатающихся», отсюда и превращение восславленной Достоевским «всемирной отзывчивости» во «всминутное отвлечение».

Как мощная творческая личность Салтыков-Щедрин не мог держать себя в рамках того или иного художественного направления. Он постигал жизненную истину в свободном поиске, исходя из быстротекущей реальности и возвращаясь к ней вновь и вновь. Но всё же, памятуя о том, что писатель формировался и развивался в эпоху, когда романтизм из декларативного направления времени стал компонентом культурной реальности и передал её тезаурусу своё наполнение ключевых понятий, прежде всего, таких как *идеал, личность, народ, история*, суть творчества

Салтыкова-Щедрина в целом можно обозначить как *романтизм без романтика*<sup>[42]</sup>.

Ибо, будучи на заре своего идеологического оформления системой, противостоящей рационалистическому упоению миражами «окончательных решений», в течение XIX века, усвоив его опыт, романтизм стал жизненным – и творческим! – началом, утверждающим в реальности примат психологического над социальным. Как «великие принципы 1789 года» – то есть *свобода, равенство, братство* – очень скоро приобрели общечеловеческую значимость, без внимания к тому, что они означали для провозгласивших их впервые, так идеи философского романтизма приобрели силу противостояния всему исходившему из социальной конъюнктуры, пренебрегающему субстанциальными (в нашем веке говорят – экзистенциальными) свойствами человеческой природы.

Ибо национальное тоже понимается Салтыковым романтически, согласно идеям братьев Шлегелей и братьев Гриммов, а не по интернационалистским росписям коммунизма. Так осознание русскими романтиками, оказывавшимися на Кавказе, национальной самобытности и ценностей иных национальных культур дало нашей литературе феномен кавказской темы, а переходящее с титула на титул заглавие «Кавказский пленник» постепенно приобрело философское звучание: пленена не столько плоть героев, пленяется – и уже, в отличие от плоти, без надежды на освобождение, – их сознание, теряющее европоцентричность, националистичность восприятия.

Путешествие Салтыкова за «рубежи» показало, что демаркации, проведённые людьми, имеют относительное значение для писателя и, во всяком случае, не могут определять какие-либо концептуальные построения. Достаточно вспомнить в связи с этим смену сельскохозяйственных ландшафтов за окном вагона после пересечения пограничной российской станции Вержболово. Зримая реальность может в одно мгновение разрушить наши превратные представления о самих себе. Вместе с тем это не посрамление личности, а лишь её освобождение для движения к той высшей реальности – духовной, координаты которой, собственно, и пытался установить романтизм.

## Мир, показанный Щедриным

Злобный Владимир Танеев, упоминаясь выше, нередко приводит в своих воспоминаниях правдивые факты, пытаясь, однако, придать им превратный смысл. В частности, он рассказывает, как однажды летом Салтыков вместе с Унковским приехал на воскресенье к ним на дачу в Гатчине.

«Было ещё несколько гостей. После завтрака мы все пошли гулять. Впереди бежали дети.

На самой дороге какой-то кучер, очевидно, пьяный, гонял лошадь на корде.

Кто-то из нас обратился к нему, по тогдашней моде, с вежливой просьбой:

– Дайте, пожалуйста, пройти. Идут дети.

Кучер не обратил на это никакого внимания. Просьба была повторена несколько раз и бесполезно.

В это время мы подошли с Салтыковым. Он закричал громовым голосом:

– Говорят тебе, мерзавец, убери свою лошадь!

Всякий умеет ценить дурное обращение. И кучер, и лошадь мгновенно исчезли».

Это прекрасная сцена, ибо она показывает, что Салтыков никогда не терял ощущения реальности, ибо народ был для него не богоносцем, не конягой из его сказки, не «воплотителем идеи демократизма», а и тем, и другим, и третьим – тем русским народом, к которому принадлежал он сам: плотью, языком и духом.

У нас нет нужды питать себя иллюзиями, а подавно скрывать что-либо. Не видя каких-либо черт прямолинейного автобиографизма в творчестве Салтыкова, особенно при изображении персонажей, не могу не отметить, что в изображении времени, современности, XIX века, он, естественно, питается собственными переживаниями, ощущениями, впечатлениями. Но даже фраза из начальной главы «Пошехонской старины» – «Детство и молодые годы мои были свидетелями самого разгара крепостного права» – не относится к Салтыкову так же, как к его Никанору Затрапезному. Ибо если Затрапезный изображён его создателем именно как свидетель рабства (это слово на Руси употреблялось – и справедливо – очень часто), Салтыков был волей-неволей и его носителем,

и одной из жертв.

Извращённый уклад жизни, при котором один православный человек мог купить или продать другого православного человека, стал одной из болезней его души, его тяжёлым недугом. «Как человек, возлежавший на лоне крепостного права и питавшийся его благостынями, я помню, что у меня были “права”, и притом в таких безграничных размерах, в каких никогда самая свободная страна в мире не может наделить излюбленнейших детей своих. Ибо что может быть существеннее, в смысле экономическом, права распоряжаться трудом постороннего человека, распоряжаться легко, без преднамеренных подвохов, просто: пойдёшь и сработай то-то! Или что может быть действительнее, в смысле политическом, как право распоряжаться судьбой постороннего человека, право по усмотрению воздействовать на его физическую и нравственную личность? Насколько подобные “права” нравственны или безнравственны – это вопрос особый, который я охотно разрешаю в отрицательном смысле, но несомненно, что права существовали и что ими пользовались», – пишет он в замечательнейшем цикле «Убежище Монрепо» (о нём чуть ниже), и хотя сказано это от имени персонажа, персонаж этот тоже непрост... Почему суровый сатирик Салтыков оказался плохим помещиком, а нежный лирик Фет-Шеншин – хорошим, объяснить можно, и даже убедительно. Но важно не это, а само состояние жизни и того, и другого, и всех остальных в атмосфере общественного нездоровья.

Читатели этой повести, пожалуй, отметили очень осторожное отношение вашего покорного слуги к воспоминаниям. Но и превратно написанные воспоминания в определённом виде отражают происходящее в реальности. А именно – самозабвенная «нигилистка» и феминистка российского разлива Екатерина Жуковская, в итоге связавшая свою жизнь с надёжным подкаблучником, уже известным нам Юлием Жуковским, оставила воспоминания, по общему мнению литературных экспертов, очень субъективные. Разумеется, Салтыков, не нашедший общего языка с её эластичным супругом, изображён в них очень жёстко, хотя и с демонстративной претензией на достоверность.

«Думаю, что самый опытный сердцевед затруднился бы дать отчётливую характеристику Салтыкова – до того он был соткан из противоречивых настроений и взглядов, – пишет Жуковская. – Это была какая-то смесь доброты и злости, зависти, жадности и щедрости, иногда наивности до смешного и замечательной целомудренности, столь чуждой теперешнему поколению литераторов». Про целомудренность она, пожалуй, пишет правду: в ней можно было убедиться, когда Михаил



Евграфович бывал в разнузданной Знаменской коммуне, где верховодила Жуковская, тогда носившая фамилию первого мужа – Ценина.

В воспоминаниях Жуковской обращает на себя внимание следующий пассаж, касающийся также нам известной Анны Николаевны Энгельгардт, которой Салтыков на протяжении долгого времени делом помогал справляться с жизненными передрыгами:

«Разговаривая однажды с... <...> милейшей, на редкость умной Анной Николаевной... <...> я, передавая ей какие-то забавные выходки Салтыкова... <...> заметила ей: “Совершенно незнакомый с ним человек мог бы принять его за крепостника”.

– Да он в корне крепостник и есть! – воскликнула она. – Весь его либерализм – наносный элемент; он просто опоздал родиться и попал в такое время, когда крепостничество не к месту и не к лицу. Как талантливый человек, он быстро усвоил веяния времени и сделался либералом.

И действительно, вспоминая теперь Салтыкова начала нашего знакомства, то есть в начале шестидесятых годов прошлого столетия, я должна признать, что он значительно полевел с годами».

То, что Жуковская выставила Анну Энгельгардт неблагодарной дамой, на совести мемуаристки. Но допустимо и то, что довольно жёсткая характером Энгельгардт, одна из первых русских феминисток и, напомним, двоюродная сестра Елизаветы Аполлоновны, могла назвать своего зятя и похлеще. Однако представить Салтыкова приспособленцем сложно. Все в один голос утверждают, что его поведение всегда поражало своей открытостью и нерасчётливостью, он «веяния времени» не усваивал и не впитывал, а оценивал с той высшей этической точки зрения, которую мы на протяжении всей повести стремимся определить. Подавно назвать его *либералом* можно только в общем значении этого слова, как последовательного носителя идеи свободы человеческой воли.

К Салтыкову полностью можно отнести слова, которые были сказаны о Пушкине, с которым он связан многими нитями. «Пушкин соединял в себе два единых существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти», – говорилось в «Отчёте о действиях корпуса жандармов за 1837 год». Оценка проницательная, даром что жандармская. Поэт, писатель действительно не может не быть ненавистником *всякой* власти, ибо жизнь его подчинена богопознанию, взысканию Идеала, а не земным страстям. В этом высокий смысл либерализма, и к таким либералам, бесспорно, принадлежал Салтыков. Однако устремлённость к Идеалу не мешала истинным либералам сохранять ощущение жизненной

реальности (вновь вспомним Пушкина: «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать»). Вероятно, именно романтическая сердцевина души Салтыкова помогала ему служить долгие годы на благо Отечества, при этом сохраняя верность девизу: «Практиковать либерализм в самом капище антилиберализма», как бы самоиронически он к нему порой не относился.

Но Салтыков различал истинное свободолюбие и свободомыслие, которое, однако, не называл либерализмом, ибо в его словаре с *либерализмом* и *либеральным* связываются его разнообразные имитации едва ли не во всех сферах жизни. «Россияне так изолгались в какие-нибудь пять лет времени, что решительно ничего нельзя понять в этой всеобщей хлестаковщине, – писал он ещё в 1861 году. – В публичных местах нет отбоя от либералов всевозможных шерстей, и только слишком чуткое и привычное ухо за шумихою пустозвонных фраз может подметить старинную заскорузлость воззрений и какое-то лукавое, чуть сдерживаемое приурочивание вопросов общих, исторических к пошленьким интересам скотного двора своей собственной жизни».

Сложилось так, что для утверждения своих ценностей Салтыкову не потребовались производные для укоренённого в европейском, а отчасти и в русском сознании слова *Libert*, вполне респектабельные в принципе, но как-то тяжело вписывающиеся в российское пространство, где ещё остаются плохо определёнными значения наших исконных слов *свобода* и *воля*.

Это Робеспьеру всё было ясно, когда он писал в своей «Декларации прав человека и гражданина»: «Свобода состоит в возможности делать всё, что не наносит вреда другому». А у нас Салтыков аккуратно вкладывает рассуждение в уста одного из своих персонажей, между прочим, «батюшки», – «небольшое это слово, а разговору из-за него много бывает. Свобода! гм... что такое свобода?! То-то вот и есть...». Это салтыковский священник, которого аккуратный в религиозной сфере Салтыков делает таким же осторожным, каков он сам.

Но он знает, что для многих соотечественников его круга, «хотя свобода есть драгоценнейший дар творца, но она может легко перейти в анархию, ежели не обставлена: в настоящем – уплатой оброков, а в будущем – взносом выкупных платежей. Эту мысль я зарубил у себя на носу ещё во время освобождения крестьян и, я помню, был даже готов принять за неё мученический венец». Это заявление главного персонажа цикла «Убежище Монрепо» – написанного уже после первого европейского вояжа, в 1878–1879 годах.

Распрощавшись с собственными помещичьими грёзами Салтыков ставит в центр цикла – повествование от первого лица – удивительное лицо, «культурного русского человека» или просто «культурного человека», в котором собраны черты многих его знакомцев, также обдёрнувшихся на ниве сельскохозяйствования, и его самого в первую очередь. Этот «культурный человек», то и дело оказывающийся в состоянии «заспанного человека», «унылого человека», вынужден выстраивать отношения с переверотившимся крестьянским миром, где даже «подневольный человек» теперь по-другому подневолен, «верному человеку» требуются новые надёжные ручательства смысла его *верности*, а главенствующий уже в силу своей многочисленности «серый человек» в своих намерениях определяем лишь гадательно. И отношения выстраиваются плохо или почти не выстраиваются, ибо за всеми этими *человеками* просматривается ещё один – «чумазый человек» или, коротко, «чумазый».

В первом книжном издании 1880 года «Убежище Монрепо» завершается «Предостережением», которое в журнале печаталось как отдельное произведение. И это авторское решение тоже было справедливым, ибо в этом гротескном послании от имени отставного корнета Прогорелова пророчествуется пришествие этого «чумазого», даже не фигуры, а явления, не менее многозначительного, чем знаменитейшее оно в финале «Истории одного города».

Легко было советским щедриноведам – они без особых разногласий увидели в «чумазом» олицетворение русской буржуазии. Нам сложнее: перечитывая Салтыкова, мы видим, что «предостережение» обращено к «кабатчикам, менялам, подрядчикам, железнодорожникам и прочих мироедских дел мастерам», то есть, как понятно из текста, к самим «чумазым».

«Вся цивилизованная природа свидетельствует о скором пришествии вашем. Улица ликует, дома терпимости прихорашиваются, половые и гарсоны в трактирах и ресторанах в ожидании млеют, даже стерляди в трактирных бассейнах – и те резвее играют в воде, словно говорят: слава богу! кажется, скоро начнут есть и нас! По всей весёлой Руси, от Мещанских до Кунавина включительно, раздаётся один клич: идёт чумазый! Идёт и на вопрос: что есть истина? твёрдо и неукоснительно ответит: распивочно и навынос!»

Салтыков – не сентименталист, замысливший бегство от цивилизации, не луддит и не Лев Толстой, как раз в те годы присматривающийся, если использовать заученную формулу Ленина, к «точке зрения патриархального, наивного крестьянина». Но он и пишет не от себя, а от

имени отставного корнета, «некогда крепостных дел мастера, впоследствии оголтелого землевладельца, а ныне пропащего человека». Так, может быть, отставной корнет лжепророчит, может быть, его предостережения, во всяком случае, ограниченного свойства, вследствие отчаяния.

Читаем дальше: «Присутствуя при этих шумных предвкушениях будущего распивочного торжества, пропащие люди жмутся и ждут... Они понимают, что “чумазый” придёт совсем не для того, чтобы “новое слово” сказать, а для того единственно, чтоб показать, где раки зимуют. Они знают также, что именно на них-то он прежде всего и обрушится, дабы впоследствии уже без помехи производить опыты упрощённого кровопивства; но неотразимость факта до того ясна, что им даже на мысль не приходит обороняться от него. Придёт “чумазый”, придёт с ног до головы наглый, с цепкими руками, с несытой утробой – придёт и слопаёт! Только и всего».

Вот что страшит Прогорелова: слом старой системы мироустройства и полная неясность в основаниях новой. Далее происходит вираж в сторону сближения Прогорелова с, так сказать, лирическим героем автора, ибо кому же ещё можно доверить следующее рассуждение, появляющееся вдруг в «Предостережении»?

«Я, Прогорелов, грамотен – вот в чём суть. <...> Благодаря этим наблюдениям, я знаю, например, что независимо от клеймёных русских словарей в нашей жизни выработался свой собственный подоплечный словарь, имеющий очень мало сходства с клеймёными. И... <...> когда речь идёт о выражениях ещё не утвердившихся, новоявленных, каковы, например: интеллигенция, культура, дирижирующие классы и пр., то я положительно предпочитаю последний первым. Я инстинктивно чувствую, что клеймёные словари фаталистически обречены на повторение задов. <...> Но, по счастью, рядом с клеймёными словарями существует толковый интимно-обывательский словарь, который провидит и отлично объясняет смысл даже таких выражений, перед которыми клеймёный словарь стоит, уставясь лбом в стену. Вот к этому-то неизданному, но превосходнейшему словарю я всегда и обращаюсь, когда мне нужно вложить персты в язвы.

<...> Мысленно развёртываю его и читаю следующее:

*Интеллигенция, или кровопивство...*

*Правящий класс, или шайка людей, втихомолку от начальства обьегоривающая...*

Дальше я уже не читаю: с меня довольно. <...> Нет нужды, что прочитанные определения противоречат бессознательной номенклатуре, усвоенной мною с пелёнок: то, что открылось передо мной, так прозрачно-

ясно, что я забываю все пелёнки, заподозреваю все клеймённые словари и верю только ему одному, нашему единственно правдивому и единственно прозорливому подоплечному толковому русскому словарю!

И затем целый ряд мыслей самого внезапного свойства так и роится в моей голове.

Горе – думается мне – тому граду, в котором и улица, и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна! наверное, в граде сём имеет произойти неслыханнейшее воровство!

Горе той веси, в которой публицисты безнужно и настоятельно вопиют, что семейство – святыня! наверное, над весью этой невдолге разразится колоссальнейшее прелюбодейство!

Горе той стране, в которой шайка шалопаев во все грубы трубит: государство, *mon cher! – c'est sacrrrre!* («Мой милый – это свящщщщенно!») (*фр.*). – С. Д.) Наверное, в этой стране государство в скором времени превратится в расхожий пирог!

А работа воображения не только не отстаёт от работы мысли, но, по обыкновению, даже опережает её. Картины следуют за картинами... ужас! <...> Но куда бежать? <...> Воистину говорю: никогда ничего подобного не бывало. Ужасно было крепостное мучительство, но оно имело определённый район (каждый мучительствовал в пределах своего гнезда) и потому было доступно для надзора. Ваше же мучительство, о мироеды и кровопийственных дел мастера! есть мучительство вселенское, не уличимое, не знающее ни границ, ни даже ясных определений. Ужели это прогресс, а не наглое вырождение гнусности меньшей в гнусность сугубую?

Интеллигенция! дирижирующие классы! И при сём в скобках: «сюжет заимствован с французского»! Слыханное ли это дело!»

Что это – пародирование ретроградных идей?! Или, действительно, предостережение о том, что отказ от гнусностей незамедлительно приведёт к обретению, путём заимствования, ценностей?

Очевидно, второе. Об этом свидетельствует весь прихотливый строй цикла, начиная с его намеренно галлицинированного, офранцузенного названия. *Mon repos* – по-французски «мой отдых», почти стандартное для русской усадебной культуры название тихого, располагающего к отдыху места. И, между прочим, с этим иронически использованным галлицизмом так же, в очередной раз иронически представлено в цикле слово *либерал*. Таковым, проверяя главного персонажа на благонадёжность, прикидывается становой пристав Милий Васильич Грацианов:

«Не вдруг раскрыл он мне свою душу, но всё-таки сразу дал понять,

что он либерал, а иногда даже обнаруживал такое парение, что я подлинно изумлялся смелости его мыслей. Так, например, однажды он спросил меня, как я думаю, не пора ли переименование квартальных надзирателей в околоточные распространить на все вообще города и местечки империи, и когда я ответил, что нахожу эту меру преждевременной, то он с большой силой и настойчивостью возразил: “А я так думаю, что теперь именно самая пора”. В другой раз он как бы мимоходом спросил меня, какого мнения я насчёт фаланстеров, и когда я выразился, что опыт военных поселений достаточно доказал непригодность этой формы общежития, то он даже не дал мне развить до конца мою мысль и воскликнул:

– А я, напротив того, полагаю, что если бы военные поселения и связанные с ними школы военных кантонистов не были упразднены, так сказать, на рассвете дней своих, то Россия давно уж была бы покрыта целой сетью фаланстеров и мы были бы и счастливы и богаты! Да-с!

Разумеется, я слушал эти рассуждения и радостно изумлялся. Не потому радовался, чтобы сами мысли, высказанные Грациановым, были мне сочувственны, – я так себя, страха ради иудейска, вышколил, что мне теперь на всё наплевать, – а потому, что они исходили от станowego пристава. Но по временам меня вдруг осеняла мысль: “Зачем, однако ж, он предлагает мне столь несвойственные своему званию вопросы”, – и, признаюсь, эта назойливая мысль прожигала меня насквозь».

Так оно и оказалось.

\*

Выезд Салтыкова за границу не только поправил его здоровье – произошло качественное переосмысление им собственного творчества. Увиденная им Европа, люди Европы и люди в Европе, писатели Европы (конечно, прежде всего выдающиеся мастера французской литературы) окончательно утвердили его представления о недостаточности, мелкости конкретно исторической сатиры. Высказанное в спорах вокруг содержания и смысла ещё «Истории одного города» потребовало не теоретических тезисов, а многозначных литературных образов. То, что только формировалось в журнальных циклах 1870-х годов, теперь требовало новых воплощений. Так из очерков начал вырастать великий роман «Господа Головлёвы».

«Убежище Монрепо» стало первой книгой, написанной в попытке увидеть человека сразу с двух точек зрения – в координатах российской

современности и в обстоятельствах развития вечных универсалий характера и жизненной судьбы. Причём и сама российская современность теперь невольно соотносилась им с современностью европейской, и потому таким важным становилось не утверждение тех или иных приоритетов, а пригодность этих приоритетов в различных человеческих обстоятельствах. Одно это открывало новые возможности творческой свободы, так что, например, рассуждение о «подоплечном толковом русском словаре» – это не сатирическая байка, а мудрая притча, а сам цикл «Монрепо» – это не только самоироническое резюме собственных агрохозяйственных попыток, не только язвительная реплика на энгельгардтовские «Письма из деревни», которые он сам же печатает в «Отечественных записках», но и сокрушённый вопрос: а дальше что? Дальше-то что с нашим «подоплечным толковым русским словарём», непрерывно перелицовывающим установившиеся было значения и смыслы?!

Это обновление поэтики, её поворот от направленной социальности к философскому, фундаментальному осмыслению происходит, что называется, вовремя. Именно в 1870-е годы он уверенно вышел в первый, лицевой ряд русской литературы. Но хотя о каждом его новом произведении много пишут – не только в столичных изданиях, но и в провинциальных газетах, – в этом многописании всё явственнее просматривается то, что в итоге создаст его превратный образ сатирика, неутомимого борца с общественным неустройством.

Невзирая на то, что ещё в 1872 году Виктор Буренин, не только знаменитый фельетонист, но и чуткий знаток литературы, писал: «Кроме значения “отца обличительной литературы”, г. Салтыков имеет и более прочное значение: он художник... вся сила его произведений всё-таки в художестве, а не в чём-то ином. Покуда он имеет дело с живым отрицательным явлением или типом, он реален и глубок, он ясен и правдив, его сатирическое мирозерцание правильно, его негодование и смех прямо бьют в ту цель, куда направляются. Но как скоро г. Салтыков выходит из роли сатирика-художника, как скоро он посвящает на сатиру, истекающую не из непосредственных жизненных впечатлений, а основанную на смутных теоретических воззрениях, как скоро он желает из художника превратиться в мыслителя-юмориста, – он становится поверхностным...»

К сожалению, именно эти, *теоретические* стороны творчества Салтыкова стали выпячиваться критиками уже при его жизни. Причины – в условиях борьбы с реформами – понятны, но от такого понимания ещё горше. Конкретно-социальные инвективы лишь актуализируют общечеловеческий комизм описанного уже в сатирических циклах 1870-х

годов.

С годами «Отечественные записки» становились для Салтыкова если не обузой, то добровольной каторгой. Да, он имел постоянную площадку для своих выступлений, но кто осмелится утверждать, что это был для него единственный вариант существования в литературе?!

Журнальное хозяйство, да ещё при его въедливом характере, требовало неусыпных забот, тем более после кончины Некрасова в канун 1878 года. Хотя на протяжении довольно долгого времени отношения Салтыкова и Некрасова были прохладно-прагматическими, общий труд в «Отечественных записках» сблизил этих талантливейших людей, и потерю Николая Алексеевича Михаил Евграфович воспринял тяжело, хотя и говорил близким, что именно рассеянный образ жизни, который вёл Некрасов, привёл его к преждевременной, причём мучительной кончине.

Во время его похорон, по воспоминаниям Константина Салтыкова, произошёл случай, который вновь напоминает нам о пагубности прямолинейного восприятия. Некрасов жил в доме Краевского на углу Литейного проспекта и Бассейной улицы, а квартира Салтыковых находилась поблизости – на Литейном же в доме Красовской. Хоронили Некрасова на кладбище Новодевичьего монастыря. «Следовательно, похоронная процессия должна была проследовать мимо окон нашей квартиры, – рассказывает Константин Михайлович. – И вот мы всей семьёй за исключением отца, отправившегося отдать последний долг своему бывшему редактору, собрались у окон, выходящих на улицу. Скоро перед нашими глазами начала развёртываться громадная процессия людей всех слоёв общества, искренно оплакивавших того, который, несмотря на свои неуравновешенные нравственные качества, никому из широкой публики неизвестные, весь свой поэтический великий талант отдал на служение массе униженных и обиженных, требуя для них тех же прав, которыми обладала лишь небольшая кучка привилегированных лиц. Похороны были действительно величественны. Гроб несли на руках, толпа заполнила всю ширину проспекта, сотни голосов пели покойному “вечную память”.

За катафалком ехал ряд карет. Из одной из них вдруг высунулся папа и, показав нам игральную карту, скрылся в окошечке экипажа.

Когда отец приехал домой, то мама спросила его, что значил этот его жест, на что он ответил, что, едучи на кладбище, он и его компаньоны по карете засели за партию в винт, будучи уверенными, что душа Некрасова должна была радоваться, видя, что его поминают тем же образом, каким он любил проводить большую часть своей жизни».

При всём нашем недоверии к мемуаристам эта история,



запомнившаяся ребёнку, возможно, и потому, что она вспоминалась взрослыми и позднее, представляется правдивой. Оба были заядлыми картёжниками. Хотя Салтыков видел в карточной игре лишь легкомысленный и приятный способ отвлечься от серьёзных служебных или литературных дел. Некрасов же имел славу профессионального игрока, порой именно посредством карточных выигрышей поправлявшего свои издательские дела. А происшедшее – вполне в духе характера Салтыкова, страдавшего от болезней жизнелюбца, чуждого всяким пафосным ритуалам, включая похороны. Здесь же надо вспомнить, что сохранилось его собственноручное письмо, посланное 14 марта 1879 года Александру Николаевичу Еракову, инженеру путей сообщения, одному из ближайших друзей, входившему в «компанию мушкетёров»:

«14 марта 1879. Петербург.

Сегодня, 14 числа, после продолжительной и тяжкой болезни, скончался М. Е. Салтыков. Панихиды ежедневно в 8 часов вечера; но необходимо заезжать за А. М. Унковским».

Столь своеобразным способом приглашались к игре постоянные карточные партнёры Михаила Евграфовича.

Так или иначе, Салтыков, который из-за предсмертной болезни Некрасова с конца августа 1876 года руководил «Отечественными записками», теперь, с марта 1878-го, стал их ответственным редактором, заключив с собственником Краевским договор об аренде журнала сроком на шесть лет на прежних условиях. Правда, за Краевским сохранилось право просматривать в корректурных листах номера журнала и отказываться от печатания материалов, могущих вызвать административное или судебное преследование. Григорий Елисеев остался редактором важнейшего для Салтыкова публицистического отдела, который освещал «вопросы внутренней жизни», также в редакторы был приглашён давно сотрудничавший с «Отечественными записками» Николай Михайловский. Он должен был сосредоточиться на литературной критике и библиографии. Сам Салтыков, по-прежнему ведавший литературно-художественным отделом, среди общих забот с нарастающей мощью продолжил писать свою обновляющуюся прозу...

Однако 14 февраля 1879 года «Отечественные записки» получили от совета Главного управления по делам печати первое предостережение о закрытии журнала. Формально оно было уже вторым, но после взятия 10 декабря 1877 года в ходе Русско-турецкой войны крепости Плевна ранее сделанные предостережения были на радостях отменены, и потому это предостережение решили считать первым.

Причина его была довольно нелепой. Вначале постоянный цензор журнала Николай Евграфович Лебедев обратил внимание Главного управления на публикацию в январском номере «Отечественных записок» перевода рассказа «Антуан Матье» бельгийского писателя Поля Гези, а также на статью Николая Михайловского «Житейские и художественные драмы». Что ему в них не приглянулось, можно только гадать. Возможно то, что рассказ Гези из его книги «Уголок жизни бедняков» был написан не без натуралистических подробностей, а статья Михайловского, помимо прочего, толковала о «самоубийствах между военными».

Однако почтенный старец, действительный статский советник Дмитрий Петрович Скуратов, в молодости причастный к тайным обществам, будучи членом Главного управления по делам печати, прочитав журнал, решил на заседании совета управления дать Лебедеву мастер-класс цензурного искусства, а вместе с тем показать коллегам, что старый конь борозды отнюдь не портит.

Отвергнув претензии Лебедева к Гези и Михайловскому («статьи не только отнюдь не выдаются в ряду других, помещённых в той же книге, особенною тенденциозностью, но, напротив, настолько слабы в этом отношении, что заявление о них следует оставить без последствий»), он перенаправил внимание присутствующих: «в том же нумере издания в целом ряде других статей неприязненное и даже более – явно враждебное отношение редакции ко всем без исключения правительственным мероприятиям и ко всем органам правительственной власти высказывается так рельефно, что статьи эти не могут и не должны быть оставлены без серьёзного внимания со стороны цензурного ведомства».

При этом Скуратов предъявил письменные отрицательные отзывы на одиннадцать публикаций журнала (половину всех материалов номера!), включая рассказ Салтыкова «Больное место». Энгельгардта, выступавшего в номере с очередным письмом «Из деревни», Скуратов назвал противником «всяких чиновничьих мероприятий, касающихся внутренней жизни народа», а для «Внутреннего обозрения» Елисеева потребовал «немедленного взыскания». Скуратова страстно поддержал уже известный нам бывший лицеист и сладострастный рязанский губернатор Пётр Дмитриевич Стремоухов. Выказывая тонкий художественный вкус и предусмотрительность, он не стал придирается к двум сочинениям Салтыкова, напечатанным в номере, но потребовал за публикации Энгельгардта, Елисеева и статью экономиста Черняева «Соляной налог с финансовой точки зрения» объявить «Отечественным запискам» первое предостережение.

Хотя полной поддержки бдительные цензоры не получили, в том числе и от председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета, тайного советника Александра Григорьевича Петрова, всё же большинством при согласии тогдашнего министра внутренних дел Льва Макова решение было принято, а император его одобрил.

В этой истории есть и другие любопытные детали. В частности, Маков через несколько лет застрелится только лишь на основании подозрений его в коррупции, а рассказ Салтыкова «Болезненное место», ныне затерявшийся среди его более знаменитых сочинений, тогда же был высоко оценён многими критиками как мастерски написанная психологическая проза.

Надо сказать, что заработать подобным образом следующие предостережения «Отечественные записки» могли довольно скоро: Салтыков вёл журнал смело, стараясь, чтобы издание после смерти Некрасова не потеряло ни подписчиков, ни лица. Но, к счастью, профилактические наезды с пагубными последствиями на несколько лет были прекращены. Хотя эксцессы бывали: так, в сентябре того же 1879 года была арестована сентябрьская книжка журнала: был вырезан лист из главы «Finis Монрепо» и половина главы из очерка, входящего в цикл «Круглый год».

Что же произошло? На этот раз бдительные цензоры, в целом одобрив «Finis Монрепо», указали: «Говоря о новых строгих мерах, предпринимаемых правительством, автор позволяет себе в настоящих обстоятельствах предлагать правительству шутовскую и безнравственную идею “умников в реке топить, а упование возложить на молодцов из Охотного ряда. А когда молодцы начнут по зубам чистить, тогда горошком. Раз, два, три и се не бе. (Очевидно, под горошком сатирик понимает картечь.) Молодцов горошком, а на место их опять умников поманить. А потом умников горошком, так оно колесом и пойдёт”».

Тираж журнала в этот момент был более восьми тысяч, и типографии пришлось заниматься вырезкой листа из всех экземпляров, так что к подписчикам номер пришёл только в конце сентября.

Несмотря на административные эксцессы, в ту пору у Салтыкова был явный прилив сил. Он даже стал соглашаться выступить с чтением своих произведений на благотворительных вечерах в пользу Литературного фонда, где был помощником председателя. Особенно запомнился многим вечер 9 марта 1879 года в зале Дворянского собрания (это, для любителей литературного краеведения, угол Итальянской и Михайловской улиц Санкт-Петербурга, сейчас там филармония). Несмотря на то что состав был звёздный: Тургенев читал своего «Бурмистра», Достоевский – главу из

«Братьев Карамазовых», выступили также Плещеев и Яков Полонский, Салтыков, читавший первые главы нового романа «Современная идиллия», «произвёл сенсацию: вызывали три раза». Присутствовавший на вечере поэт и фольклорист Дмитрий Садовников отмечал в своём дневнике, что Щедрин (так уж приросло к Салтыкову его литературное имя!) читал «очень своеобразно», «временами и очень кстати зевая. Его одутловатое лицо, значительная седая борода и тёмные ещё волосы, самый голос, – всё это как нельзя более шло к содержанию и тону рассказа о том, как русский человек “годит”».

«Современная идиллия» и сам Салтыков придавал особое значение. Он писал её именно как роман, писал несколько лет. Выросла она из небольшого рассказа, напечатанного ещё при жизни Некрасова, в феврале 1877 года, о похождениях двух «годящих», то есть выжидающих, интеллигентах с мыслью о пародировании литературы, которая защищает «интересы любострастия». Название Салтыков недолго думая, совершенно по-постмодернистски, выдернул со страниц «Отечественных записок», но донекрасовских – там в 1865 году была напечатана повесть Василия Авенариуса «Современная идиллия», которую Михаил Евграфович в своё время отнёс к «клубничизму новейшего времени», а саму манеру письма Авенариуса охарактеризовал так: «Половые отношения, которые у него всегда на первом плане, выражаются до такой степени голо и незамысловато, что рассказ об них возбуждает в читателе не игривость в мыслях, а отвращение».

Первоначальный замысел, развиваясь и усложняясь, превратился в итоге в одно из самых оригинальных произведений русской (да и не только русской) литературы. Хитроумие «Современной идиллии» в том, что она, выросшая на почве литературы и разнообразно связанная с литературой (*литературность* романа порождает всё новые исследования), сюжетно ввергает своих читателей в те сферы жизни, где без какой-либо литературы прекрасно обходятся, открывает ему «угрюмую сферу жрания», напоминает ему о всепоглощающем и неусыпно подстерегающем пространстве брюха. Питаемая литературным словом книга разворачивает перед нами мир пустословия, словесной имитации и краха искателей «нового слова». «Бессловесность, ещё так недавно нас угнетавшая, разрешилась самым удовлетворительным образом. Мы оба сделали до крайности словоохотливы, но разговоры наши были чисто элементарные и имели тот особенный пошиб, который напоминает атмосферу дома терпимости. Содержание их главнейшим образом составляли: во-первых, фривольности по части начальства и конституций и, во-вторых, женщины, но при этом не

столько сами женщины, сколько их округлости и особые приметы».

Хотя Салтыков полагал, что его раблезианская книга заворочит и усыпит цензуру, он и на этот раз просчитался. 22 января 1883 года редакция «Отечественных записок» получила второе предостережение за публикации январского номера. Здесь уже хорошо нам известный цензор Лебедев усмотрел крамолу в статье Николадзе «Луи Блан и Гамбетта» и в сценах «Злополучный пискарь, или Драма в Кашинском окружном суде», входящих в «Современную идиллию». То, что в поле цензурного внимания попал колоритный Николай (Нико) Николадзе, засветившийся на поприще безбрежной эмансипации ещё во времена публикации романа «Что делать?», понятно – его связи с народовольцами были хорошо известны полиции. Но сполна досталось и Салтыкову. В своём рапорте цензурному комитету Лебедев отмечал, что в публикуемых главах «Современной идиллии» «проводится идея полного отрицания всего существующего в нашем обществе и народе», «автор предаёт... <...> осмеянию не пороки общества, не злоупотребления отдельных правительственных лиц, а подводит под бич сатиры высшие государственные органы, как политические суды, и действия правительства против политических преступников, стараясь и то и другое представить читателю в смешном и презренном виде и тем самым дискредитировать правительство в глазах общества».

Совет Главного управления по делам печати продолжил экзекуцию и подвёл черту: «Настоящий очерк не есть простая сатира, имеющая целью указать и осмеять действительные недостатки судебной организации вообще, а переходящая всякое приличие карикатура, не ирония, а нахальное издевательство, неистовое глумление над правительством в деле преследования политических преступников, что не может быть дозволено в печати». Поначалу форма «административного взыскания» для журнала обсуждалась, но итог оказался печальным: второе предостережение.

Это было серьёзно, и российская молва откликнулась соответственно. Не только по столицам, но и по стране пошли слухи о высылке Салтыкова из Петербурга. Поначалу Михаил Евграфович отнёсся к этому с жёлчной иронией, писал приятелю: «А провинция окончательно думает, что я выслан из Петербурга. В Одессе видели, как я проезжал в Тифлис на жительство. В Самаре адрес мне готовили, но только не знали, в *какой город Пермской губернии* я выслан. Из Москвы телеграммы шлют: что со мной?»

В этом же письме он рассказывает о своих житейских и литературных горестях. Болел Костя, слегла с дифтеритом Елизавета Аполлоновна. «С тех

пор как жена заболела, я – один. Какое это жестокое свойство человеческой природы подчиняться панике! Оно способно родить ненависть к человечеству, ненависть тем более горькую, что, в сущности, сам сознаёшь несправедливость её. Следовательно, и ненависть к самому себе. Я этот сюжет когда-нибудь разработаю. Я нынче всё сказки пишу. Три хотел было в февральской книжке поместить, и даже напечатал, но вырезал. Так вот одну из сказок этому предмету посвящу. В майской книжке будет окончание “Соврем<енной> идиллии”, которую я кой-как скомкал, лишь бы кончить. А затем, кажется, забастую. Нельзя мне писать: подло. И сколько ругательств на меня из охранительного лагеря сыплется!»

Но всё же Салтыков, жалуясь в письмах и так смягчая невзгоды, старается не унывать. Друзья вспомнили, что исполняется 35 лет публикации в старых «Отечественных записках» – в марте 1848-го – роковой повести «Запутанное дело», и устроили дружеский обед в ресторане Донона. Понравилось – и 28 апреля у того же Донона устроили завтрак, так отметив другое салтыковское 35-летие – высылки на службу в Вятку.

Своеобразно приветствовали его социал-радикалы. Некий московский нотариус Орлов (Северов), совершавший пожертвования террористам, и художник-дилетант Дмитрий Брызгалов сотворили довольно неуклюжую аллегорическую картину маслом, которая стала известна под названием «Салтыков, выходящий из леса реакции». После чего за счёт средств «народовольцев» она была фотографически размножена и стала нелегально распространяться по России, а в советское время стала непременной иллюстрацией в большинстве изданий, посвящённых Салтыкову.

Добралась она и до самого героя, и он послал Орлову благодарственное письмо: «Крайне Вам обязан за присылку картины, которая так сходственно и с обстоятельством дела согласно изображает существо вещей. Такого сходного портрета я, во всяком случае, не имел и не видел. Что касается до обстановки, то, не имея ничего сказать против гадов, преследующих сзади, ни даже против просвета, который всегда как-то по штату полагается, я бы, на месте художника, и по ту сторону просвета устроил встречу гадов. Ибо и это тоже по штату полагается. Вообще, это было бы полное изображение отечественного прогресса с непрерывно идущими гадами и с прогрессом, в форме генерала от инфантерии или действительного тайного советника».

## Третье предостережение

Вернёмся немного назад – к роковому дню 1 марта 1881 года.

Вспоминает Константин Михайлович Салтыков:

«Мы с сестрой в сопровождении гувернантки-немки... <...> отправились, по обыкновению, гулять в Александровский сад, рядом с Адмиралтейством. Играли мы там с другими детьми, как вдруг где-то невдалеке раздались один за другим два-три выстрела, как бы из пушки. Мы мгновенно остановились играть и, полагая, что стреляют со стенки Петропавловской крепости, бросились к нашей гувернантке, которую мы, как все дети вообще, считали всезнающей, с вопросом, по какому такому случаю стреляют. Однако вопрос остался без ответа: всезнающая, по нашему мнению, немка никакого объяснения нам дать не могла. Разочарованные, возвратились мы к играм, но вдруг возникшее волнение около нас заставило гувернантку вывести нас из сада, усадить в карету и отвезти домой. На Невском проспекте, к нашему с сестрой вящему удивлению, было необыкновенно шумно и суетливо. Шныряли взад и вперёд жандармы, полиция растерянно бегала во все стороны, ходили патрули... Я, конечно, тогда не знал, что совершилось ужасное злодеяние, а именно цареубийство! Но вот подъехали мы к дому. <...> Здесь меня встретило необыкновенное зрелище, которое никогда не изгладится из памяти: на пороге квартиры стоял мой отец, облачённый в халат, имея свой плед на плечах. Он, который вследствие болезни никогда и никуда не решался выходить из квартиры, не будучи тепло одетым, стоял на пороге и с тревогой глядел на нас:

– Убили... Убили... – спросил он трясущимся голосом.

Мы с сестрой да гувернанткой ничего не понимали и, понятно, вытаращили глаза. Тогда Михаил Евграфович махнул сердито рукой и ушёл к себе, а мы последовали за ним... <...> я был тогда совсем мал, но помню, как ужасно было горе отца...»

Отношение Салтыкова к злодейскому убийству террористами императора Александра II представляло одно из самых узких мест советского щедриноведения. Было необходимо найти хоть что-то, подтверждающее салтыковское одобрение или хотя бы сочувствие к одержимым политическим безумцам. Но не получалось. Салтыков, несмотря на свой взрывной, нередко вздорный характер, был, в сущности, нежным, сердечным человеком. Он любил собак, птиц, судя даже по

сказкам, вообще хорошо чувствовал живой, природный мир. В отличие от многих русских писателей-современников, например, Аксакова или Некрасова, оставался равнодушным к охоте и даже рыбалке. Смерть любого живого существа вызывала у него тоску, самые горькие чувства.

Вновь дадим слово Константину Салтыкову, столь нелюбимому многими присяжными щедриноведами:

«К террористическим выступлениям отец вообще относился отрицательно. Относился он также отрицательно и к системам репрессий, выражавшихся в повешении людей, в заточении их в крепости, в ссылке на долгие годы в Сибирь и вообще куда бы то ни было.

Сам он был строго беспартийным человеком...»

Обратим внимание, что Константин Михайлович пишет это уже в советское время, наперекор очевидным идеологическим приоритетам красной эпохи. Особую неприязнь у него вызывают суждения Сергея Кривенко, сотрудника «Отечественных записок», вошедшего в террористическую «Народную волю» и считавшего, что Салтыков «в конце концов сделался бы социалистом».

Салтыков-сын обращает внимание на то, что его отца «в правящих кругах не считали человеком политически опасным, зная его замкнутый образ жизни и круг знакомства. У него не было вследствие этого производимо обысков. Рассказ о том, что будто бы как-то раз жандармы обыскивали его квартиру, а он, следя за их работой, якобы вполголоса пел “Боже, царя храни”, является вымыслом от начала до конца». Известно, что этот слух был распушен социал-радикалами и дошёл до европейской прессы, из-за чего Салтыков писал опровержение в газету «Daily News».

Несмотря на трения с цензурой, Салтыков с каждым годом всё увереннее выходил из сатирических бухт на простор большой литературы. Не оставлял он и надежд на дальнейшее развитие реформ. В круге его жизни было немало *нетерпеливцев*, одержимых пафосом всеобщего разрушения, но были и созидательные фигуры, из которых нельзя обойти вниманием крупного российского государственного деятеля, боевого генерала, героя нескольких войн, графа Михаила Тариеловича Лорис-Меликова (1825–1888).

Они были фактическими ровесниками, годы их жизни идентичны (Салтыков скончался через несколько месяцев после смерти Лорис-Меликова). Оба имели склонность к изучению языков – Лорис-Меликов вообще владел восемью, то есть был полиглотом. Он учился в известном Лазаревском институте восточных языков и мечтал, как и Салтыков, об университете. Обоим это не удалось: Лорис-Меликов вынужден был пойти



по военной стезе, Салтыков окончил лицей и стал чиновником Военного министерства... Интересная подробность: у того и другого младшие дочери носили имя Елизавета – Лиза Салтыкова была на год младше.

Но личное их знакомство произошло только в 1880 году, около 9 мая, когда Лорис-Меликов состоял главным начальником Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия; также ему временно подчинили Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, занимавшееся, как известно, политическим сыском.

«На днях был я у гр. Лорис-Меликова (сам пожелал познакомиться), – пишет Салтыков 15 мая 1880 года писательнице Н. Д. Хвоцинской. – Принял отлично благосклонно, расспрашивал о прежней моей ссылке в Вятку, и вдруг, среди благосклонности, вопрос: “а что, если бы Вас теперь сослали (я, конечно, шучу, прибавил граф)”? На что я ответил, что в 1848 г. моё тело было доставлено в Вятку в целости, ну, а теперь, пожалуй, привезут только разрозненные члены оногo. А впрочем, дескать, готов, только вот как бы члены в дороге не растерять. Тем не менее должен сказать: это человек хороший и умный. Знает солдата до тонкости, а стало быть, не чужд и знания народа. И представьте себе, в течение часа ни разу меня не обругал».

В этом же письме он рассказывает и о встрече с Николаем Саввичем Абазой, ближайшим соратником Лорис-Меликова, новым начальником Главного управления по делам печати: «Я думаю, что льготы действительно будут, но сомневаюсь, чтоб они распространялись на ту общечеловеческую почву, которая составляет *pia desideria* (идеалы (лат.)). – С. Д.) “Отечеств<енных> записок”. Для нашего журнала, по-видимому, нет ни правой, ни левой – все карты биты. На днях Абаза говорил мне: “Ваш журнал внушает к себе в известных сферах чрезвычайное озлобление, поэтому я могу Вам посоветовать только одно: осторожнее!” На что я ему возразил, что у нас есть только одно понятие, прочно установившееся – это: осторожнее! И затем, взяв одр свой, возвратился в дом свой для дальнейших по сему предмету размышлений. А результат таковых следующий: как бы при либералах-то именно и не погибнуть».

Вероятно, и во время встречи с Лорис-Меликовым шла речь о литературной работе Салтыкова, во всяком случае, в письме Г. З. Елисееву он вновь говорит о «призывах к осторожности», которые слышал от Лорис-Меликова и Абазы. Смысл этих призывов понятен: в своей деятельности на новом посту Лорис-Меликов рассчитывал опираться и на печать, а «Отечественные записки» в то время были одним из ведущих российских

журналов, причём настроенным именно на всестороннее расширение и развитие реформ, проводимых Александром II. Очевидно, он опасался, что критические выступления «Отечественных записок» против его курса могут сыграть на руку его недругам в правительстве и в кругах, близких к императору.

Салтыков-сын полагает, что его отец «не напрашивался» на отношения с Лорис-Меликовым, но «вместе с тем не мог оттолкнуть от себя лицо влиятельное», которое «могло быть крайне полезным любимому журналу». Кроме того, по мнению Салтыкова, Лорис-Меликов, занимавшийся в то время подготовкой «конституции Российской империи», испытал большое затруднение при выполнении её, не будучи знакомым с бытом русского народа. Среда, его окружавшая, тоже с этим бытом была или вовсе не знакома или почти не знакома. И вот кто-то посоветовал графу обратиться к моему отцу, известному как опытный администратор, имевшему много дела с народом. <...> Лорис-Меликов внял совету и обратился к отцу с просьбой оказать ему содействие. Папе просьба пришлась по душе, ибо он приветствовал всякое начинание, направленное к раскрепощению от самодержавного строя русского народа, и он согласился дать графу просимые этим последним указания. Таким образом завязались между либеральным сановником и известным писателем чисто деловые отношения, на предполагавшееся благо народа. Событие 1-го марта расстроило весь план Александра II и прекратило работу комиссии, одним из закулисных участников которой был мой отец».

Салтыков-Щедрин оценил изменения, произошедшие в общественной жизни с приходом во власть его нового знакомца. «По цензуре теперь легче, да и вообще полегчало, – пишет он А. Н. Островскому 25 июня 1880 года. – Лорис-Меликов показал мудрость истинного змия библейского: представьте себе, ничего об нём не слыхать, и мы начинаем даже мнить себя в безопасности. Тогда как в прошлом году без ужаса нельзя было подумать о наступлении ночи».

Вместе с тем выразителен следующий эпизод, относящийся к сентябрю 1880 года. Лорис-Меликов уже как министр внутренних дел встретился 6 сентября с редакторами влиятельных газет и журналов. Как сообщал он 20 сентября в докладе Александру II, деятельность российской печати «за последние 4–5 месяцев» несколько изменилась к лучшему, «печать входит в обсуждение наиболее интересующих общество вопросов с большею прямою и даже некоторою самостоятельностью». Но его главная цель здесь – «создание такой прессы, которая выражала бы лишь нужды и желания разумной и здравой части общества и в то же время

являлась верным истолкователем намерений Правительства».

На вышеуказанной встрече он предложил редакторам свою программу действий, в том числе и в области печати. От журнала «Отечественные записки» на встрече был Г. З. Елисеев (Салтыков-Щедрин находился в Париже), поместивший в девятом номере журнала статью «Несколько слов по поводу злобы дня», где подробно и доброжелательно излагалось содержание и результаты совещания у Лорис-Меликова. Это, по свидетельству критика Н. К. Михайловского, вызвало недовольство Салтыкова: в такой публикации он усмотрел знак превращения журнала в «официальный орган».

Свою оценку совещания писатель дал в письме П. В. Анненкову 20 сентября: «Лорис-Меликов созывал всех редакторов и прочитал им речь, в которой заявил, что о конституции и думать нечего и распространять конституционные идеи значит производить в обществе смуту. Вот, значит, и либерализм выяснен. Но о том, чтобы полиция действовала в пределах законности, и о том, чтобы земским учреждениям не препятствовали пользоваться *всеми* правами, предоставленными законами, – писать можно. При этом, разумеется, оскорбил одного из редакторов, а именно Полетику, сказав, что *ради подписчиков* “Молва” смущает публику. Полетика попросил его так не выражаться. На это Лорис-Меликов возразил, что с такими идеями не только издавать газету нельзя, но и жить в России невозможно, а Полетика сказал: если считаете себя вправе, то высылайте меня, а газету закройте. Словом, Полетика оказался героем. И потом все разошлись».

Летом 1881 года Салтыков, уехав для лечения за границу, с надеждой обсуждает известия о возможном возвращении во власть Лорис-Меликова и Д. А. Милютин. Тогда же Лорис-Меликов открывает Салтыкову некоторые подробности полицейского надзора, вместе с тем уверяя, что надзора за писателем «никогда не было». От Михаила Тариеловича Салтыков узнаёт и о создании тайной «Священной дружины» для конспиративной борьбы с социал-радикалами, что отразилось в третьем «Письме к тетеньке». Собственно с этой точки и начинается процесс, приведший к закрытию «Отечественных записок»...

Долгие десятилетия деятельность «Священной дружины», при всей затруднённости добывания сведений о ней, изображалась сугубо отрицательно, в то время как объективно она стала одной из первых, если не первой контртеррористической организацией в России. Созданная прежде всего для охраны императора и членов императорской фамилии, «Священная дружина» требовала соблюдения конспиративности. Это

вызывалось главным образом недоверием к жандармско-полицейским структурам, недоверием, резко возросшим после 1 марта, хотя и приводило к разобщённости действий. Понятная по замыслу и своей идее, «Священная дружина» в практическом отношении, как многие инициативы «снизу» (хотя и родившаяся в придворных кругах), оказалась неэффективной.

Художественная прозорливость и здесь не подвела Салтыкова: мало что зная об этой секретной организации, он смог в резко сатирической форме сказать о её слабых местах, художественно высказал свои предположения о причинах их возникновения. Вместе с тем вполне вероятно, что в данном случае писатель также испытал эмоциональное воздействие Лорис-Меликова, несправедливо отправленного в отставку и на этом основании скептически оценивавшего правительственную политику.

После отставки Лорис-Меликова и его отъезда за границу их с Салтыковым отношения стали со временем почти дружескими, хотя писатель, словно надеясь на возвращение графа к политической деятельности, старался избежать гласности и подробностей этих отношений. Обычно, приезжая за границу, Салтыков сам искал встреч с Лорис-Меликовым. В сохранившихся письмах обсуждение проблем здоровья было для этих двух пожилых людей постоянной темой. И это свидетельствует об особой доверительности их отношений. Также примечательно, что Салтыков удержался от литературного изображения Лорис-Меликова в своих сатирических произведениях.

Узнав о его смерти, Салтыков писал Белоголовому 15 декабря 1888 года: «Вот и Лорис-Меликова не стало. Меня это известие очень взволновало, и я вчера целый день был сам не свой. Это был один из немногих симпатичных русских правителей, и хотя пребывание его у кормила было недолговременно, но, по крайней мере, в течение этого пребывания Россия избавлена была от тех несносных, загадочных шёпотов. <...> Мрут хорошие русские люди. Как поредел в течение каких-нибудь 5–6 лет круг знакомых, это подумать горько. Нынешний год особенно был лют».

В этом частном некрологе очевидны важные знаки, прямо подтверждающие репутацию Салтыкова как государственно мыслящего деятеля, последовательного реформатора, а отнюдь не самозабвенного борца с самодержавием, каковым на протяжении почти столетия его повсеместно изображали. Основа его дружеского, доверительного сближения с Лорис-Меликовым зиждилась на близости их политических

воззрений, на общности в понимании целей проводимых в России реформ. И тот и другой в своей многообразной деятельности следовали принципам созидания, эволюционных, а не революционных преобразований. Их критика и неприятие тех или иных общественно-политических и экономических явлений в России исходили не из общего отрицания, а из неустанного и честного поиска реальных компромиссов между идеалом и реальностью. Действуя в необходимых случаях решительно и смело, идя на конфликты с чиновничеством, они оба никогда не брали сторону сил разрушения и противостояли социал-радикализму.

Но тучи сгустились. После того как Михайловского 1 января 1883 года выслали из Петербурга за выступление перед студентами Технологического института, литературная критика и публицистика журнала попали в руки Сергея Кривенко. Однако беда была не в его неспособности должным образом вести эти дела, а в том, что в течение короткого времени он фактически превратил редакцию «Отечественных записок» в конспиративную квартиру «народовольцев» и других террористов.

Это не могло длиться долго, и 3 января 1884 года Кривенко был арестован. 8 марта произошло объяснение Салтыкова с начальником Главного управления по делам печати Е. М. Феокистовым, а 20 апреля вышло «Правительственное сообщение» о прекращении Совещением министров внутренних дел, народного просвещения и юстиции и обер-прокурора Святейшего синода издания «Отечественных записок» как «органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет своими ближайшими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ».

## **Часть шестая. Житие Михаила Салтыкова, русского писателя (1884–1889)**

*В октябре 1876 года постоянно хворавший Салтыков писал смертельно больному Некрасову: «Мы до того отождествились с нашей специальностью, литературным трудом, что сделались вне её почти негодными для существования. В этом отношении наша жизнь может быть названа даже проклятою. У меня не раз бывали порывы выбиться из неё, но я убеждён, что как только настала бы минута освобождения, так тотчас же убедился бы, что мне ничего больше не остаётся, как слоняться из угла в угол без дела».*

*Обезоруживающее искреннее признание, тем более что здесь оно прямо связывается с изданием «Отечественных записок». Выпуск любого периодического (повременного, как тогда говорили) издания, даже ежемесячного, придаёт жизни всех, кто к этому причастен, совершенно особый характер и, во всяком случае, организует не только труд, но и быт, но и досуг.*

*Рано или поздно каждый редактор осознаёт себя не вполне самому себе принадлежащим. Другое дело, что это обычно не приводит к решению всё бросить и вернуться в поле свободного творчества. Редактирование газеты, журнала – это жизнь в жизни. И как мы знаем, что наша жизнь конечна, так и в трудах по выпуску журнала мы не забываем, что этот пот и напряжение жил тоже могут безвременно оборваться. Поэтому до гробовой доски не оставлял журнал Некрасов (как не оставил его Белинский), не оставил бы, кашляя и стеная, и Салтыков.*

## Недоконченные беседы

Салтыков в одном из писем жаловался: «Заккрытие “Отечественных записок” и болезнь сына окончательно сломили меня. Недуг охватил меня со всех сторон и сделался главным фактором моей жизни...»

Но Костя выздоровел, с семью тысячами подписчиков закрытого журнала он разобрался (большая часть получила в компенсацию подписку на московский ежемесячный журнал «Русская мысль»), а недуги – что ж, они остались, но как-то отступили.

Хотя в щедриноведении, сложившемся на протяжении столетия с лишком, закрытие «Отечественных записок» рассматривается как «катастрофа» (это слово самого Салтыкова из письма Григорию Елисееву от 5 мая 1884 года) и «гибель того дела выдающегося национально-исторического значения, служению которому писатель отдал немалую часть своей жизни и труда» (С. А. Макашин), необходимо с этим поспорить.

Тот же Сергей Александрович Макашин в своё время опубликовал документ Департамента полиции под служебно-регистрационным названием «Записка о направлении периодической прессы в связи с общественным движением в России» и сделал это под выразительным заголовком «Из истории литературной политики самодержавия: Как готовилось закрытие “Отечественных Записок”». Однако и содержание этой «Записки...» и анализ Макашина приводят к неожиданному выводу: сама редакция в неменьшей мере, чем власти, готовила закрытие своего журнала и была к этому закрытию готова. Дело не только, приютившихся в редакции пособниках террористов – шли сложные внутренние процессы перерождения издания из аналитического в пропагандистское.

В письмах Салтыкова 1884 года содержится немало высказываний, на первый взгляд подтверждающих его определение «катастрофы». С упразднением «Отечественных записок» он, многие годы печатавший все свои сочинения только здесь, потерял свою главную трибуну. «Меня, прежде всего, поражает (и до сих пор не могу освоиться), что я лишён возможности ежемесячно беседовать с читателем. <...> Один ресурс у меня оставался – это читатель. Признаться сказать, едва ли не его одного я искренне и горячо любил, с ним одним не стеснялся».

Своё состояние Салтыков определял как «физическую агонию», в письмах не раз жаловался на ухудшение здоровья, связанное именно с

закрытием журнала. Однако переживая эмоциональное потрясение, он говорит и о других обстоятельствах перспектив своего труда в «Отечественных записках». Так, после смерти Некрасова он только после долгих раздумий принял решение возглавить журнал. А судя по письму К. Д. Кавелину от 12 мая 1884 года, намечал не продлевать с Краевским контракт на редакторство. Хотя 20 октября 1883 года контракт был продлён до 1 января 1886 года, причины этого – сугубо финансового свойства – названы самим Салтыковым в письме А. Н. Островскому в том же октябре 1883 года: «...мне туго в материальном смысле».

Объявленные в советское время «лучшим демократическим журналом России» тех десятилетий и даже просто «лучшим журналом России» реальные «Отечественные записки» прошли достаточно сложный, даже замысловатый путь существования.

Определение «лучший» нельзя отнести к научным, хотя в литературоведении советского периода с его идеологическими доминантами оно выглядело неоспоримым. Но, например, в обоснование этого качества не приводилось, что было бы логично, количество художественных произведений, увидевших свет на страницах издания, а затем выдержавших проверку временем. В этом смысле, вспомним, «Отечественные записки» оставил далеко позади, издававшийся в то же время журнал «Русский вестник», где в 1856 году состоялся второй, «щедринский» дебют М. Е. Салтыкова. У «Отечественных записок» была репутация социал-радикалистского издания, это обеспечивало им достаточно высокий спрос. По данным В. Э. Богграда, «Отечественные записки» в 1882–1883 годах достигли пика своего тиража – более десяти тысяч экземпляров. Тираж «Русского вестника» был куда скромнее.

Сам Салтыков, также в письмах, давал итоговые оценки и самому журналу, и своей деятельности в нём: «Поистине, это был единственный журнал, имевший физиономию журнала, насколько это в Пошехонье возможно. <...> Наиболее талантливые люди шли в “Отеч. Зап.”, как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер. Мне – *доверяли*, моему такту и смыслу, и никто не роптал, ежели я изменял и исправлял (речь, напоминая, идёт о редакторской деятельности Салтыкова, который значительно правил, если не сказать – переписывал произведения многих авторов, поступавшие в журнал. – С. Д.). В “Отеч. Зап.” бывали слабые вещи, но *глупых* – не бывало» (курсив Салтыкова).

Он говорил о необходимости этого журнала «не потому, чтобы... <...> превозносил этот журнал выше небес, но потому что если у него не было положительных качеств, то было отличное качество отрицательное. Он



представлял собою дезинфицирующее начало в русской литературе и очищал её от микробов и бактерий. Вы это качество оцените очень скоро, ибо и теперь читать русскую книгу всё равно что нюхать портки чичиковского Петрушки».

Но, если не считать конъюнктурной публицистики «Отечественных записок» (аналитическая проза Глеба Успенского идёт по особому разряду, ему Салтыков платил по 250 рублей за лист, а Стасюлевич в «Вестнике Европы» предложил только 150), главным «дезинфектором» журнала был сам Салтыков, и закрытие издания не только не стеснило этот талант, а напротив: освобождало его от издательской подённости. Таким образом, не вдаваясь здесь в подробности, следует признать, что в его прекращении для Салтыкова были положительные стороны, поначалу не осознаваемые даже им самим.

«Интеллектуальная жизнь этой эпохи – эпохи “мысли и разума” – отличалась интенсивностью во всех сферах, – говорится о России 1880-х годов в академическом издании недавнего, перестроечного времени. – И если техника, наука, живопись, музыка, как известно, переживали расцвет, то и словесное искусство не стояло на месте»<sup>[43]</sup>.

Салтыков не мог не почувствовать двусмысленности положения, в котором он оказался. С одной стороны, возглавляемый им журнал «Отечественные записки», принадлежавший к числу оппозиционных изданий, прекратил своё существование. С другой – сам он, неутомимо писавший циклы сатирических очерков о современности, чрезвычайно популярные в образованной среде, давно возвысился над этими жанрами.

Как автор художественно новаторских книг «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа Головлёвы», «Современная идиллия», Салтыков встал в первый ряд русских писателей, именно писателей, а не публицистов. И в 1880-е годы, когда литература, пусть почти принудительно, оказалась перед необходимостью отвлечься от политической конъюнктуры и заняться «вечными вопросами», он мог продолжить свой труд прозаика-художника, мастера своеобразной психологической прозы.

И продолжил: уже осенью 1884 года выходят его книги «Недоконченные беседы (“Между делом”))» и блистательные «Пошехонские рассказы». В ноябре начинается публикация цикла «Пёстрые письма» в авторитетнейшем российском журнале «Вестник Европы». Освобождённый от бремени органа, превращённого его неверными соратниками из литературного издания в прибежище разного рода подрывных сил, Салтыков обрёл полную творческую свободу. За

последние пять лет своей жизни он создал несколько крупномасштабных, подлинно художественных произведений и начал подготовку к изданию своего первого собрания сочинений. Страдая от многих болезней, писатель тем не менее обладал огромной жизненной энергией.

В отличие от своих сотрудников в «Отечественных записках», Михайловского и Скабичевского, Салтыков, оказавшись в состоянии свободного выбора после закрытия их постоянной трибуны, мгновенно обрёл силы для перехода в новое творческое качество. Его же напарники, оставаясь главными фигурантами критического цеха 1880-х годов, не только не смогли освободиться от своих узкопартийных пристрастий, но, пожалуй, даже укрепили их. Продукция и того и другого представляет сегодня интерес лишь как реликт эпохи.

Завершив в августе 1886 года «Пёстрые письма», Салтыков тут же начинает цикл «Мелочи жизни». Это не очень заметное произведение писателя поражает, однако, удивительным сочетанием публицистики и психологической прозы. Ровно через год, 27 августа 1887 года, после журнально-газетных публикаций глав, вышло книжное издание «Пёстрых писем».

И вновь без перерыва – болезни каким-то чудом в который раз отступают – Салтыков начинает неотрывно работать над «Пошехонской стариной» и заканчивает эту самую объёмную свою книгу в январе 1889 года. И хотя своеобразие художественной завершенности финала «Пошехонской старины» щедриноведы продолжают обсуждать до сих пор, сама по себе творческая продуктивность Салтыкова в 1884–1888 годах, вплоть до рокового апреля 1889-го, не вызывает никаких сомнений. Поистине прав был Михаил Евграфович, сказав ещё осенью 1883 года: «Я совсем болен. К прежним болезням, составляющим, так сказать, неприкосновенный фонд, присоединяются случайные: прострел, флюс, болезнь седалищного нерва. А главная болезнь – “Отечественные зап<иски>”». И наконец от этой главной болезни пришло исцеление. Полное.

Известно свидетельство Плещеева, писавшего Чехову 13 сентября 1888 года о работоспособности Салтыкова: «Этот больной старик перещеголяет всех молодых и здоровых писателей». Красноречиво уже то, что Плещеев, двумя месяцами старше Салтыкова, с 1872 года бывший членом редакции «Отечественных записок», прекрасно знал трудовую неутомимость Салтыкова и ему было с чем сравнивать.

О необходимости раскрыть «некую психо-биологическую загадку» Салтыкова периода «Пошехонской старины», объяснить его творческую

неисчерпаемость писал С. А. Макашин. Но в этих обстоятельствах переносить внимание на физиологическое состояние Салтыкова едва ли обоснованно. Он в ту пору однажды, как обычно, без стеснения высказался о Григории Захаровиче Елисееве: мол, он «всё своё дерьмо внутри хранит и оттого болен. Да и на других нагоняет досаду». Салтыков не хранил ничего внутри. Он принял на себя особую, только ему свойственную форму откровенности, которая даже хорошо знавших его нередко озадачивала. Вот он в августе 1883 года пишет доктору Белоголовому, что собирается раньше срока уехать вместе с Костей из Парижа в Петербург: «Супруга тоже предлагает свои услуги по части препровождения, но я знаю, что это будет одно надругательство, и отказываюсь. Лучше пусть я больной до Петербурга доеду, но недели две отдохну от гнусного пустословия, в основании которого лежит негодование на мою болезнь и на отсутствие гвардейской правоспособности (она не стесняясь укоряет меня этим)».

Никого не щадил Михаил Евграфович, но и себя не щадил. Поистине права Елизавета Аполлоновна: «В самом деле кашляет, но ещё и от себя прибавляет». Это относится не только к болезням и физическим состояниям, каждое из которых он, сидя за письмом или беседуя с кем-либо, мог представить как роковую катастрофу.

Мы только после перепроверок доверяем мемуаристам, но и Салтыкову надо доверять, лишь помня об изменчивости его натуры, об особом умении любое явление жизни, даже бытовое, представлять в той или иной художественной обработке. Есть сложно реконструируемый образ Михаила Евграфовича Салтыкова, и есть его образ, созданный им же в его письмах. И нам надо выбрать, с кем мы хотим познакомиться. Я, взявшись за эту биографическую повесть, чётко разграничил сферы восприятия.

Есть собрание сочинений Салтыкова (Щедрина) – каждый желающий может читать и перечитывать входящие в него разнообразные произведения.

Есть замечательный, хотя, увы, не лучшим образом сохранившийся свод писем Салтыкова – и у каждого желающего есть такая же возможность вычитывать из этих сотен страниц образ их автора.

Есть немало изданных воспоминаний о Салтыкове – забавное чтение. Именно из них очень многие вычерпывают сведения о писателе, хотя часть мемуаристов ничтоже сумняшеся величает реально жившего человека, о котором они сулят поведать правдивые истории, его литературным именем: Щедрин.

Более сложная проблема состоит в реконструкции и исследовании психологических состояний Салтыкова в разные периоды его жизни.

Особенный интерес представляет то, что происходило с ним после 1 марта 1881 года, когда началась эпоха императора Александра III. Эпоха, главный фигурант которой на протяжении всего времени большевистского владычества подвергался особо яростному оплёвыванию. Хотя, впрочем, и до 1917 года социал-радикалистские силы неусыпно трудились над созданием её сумеречного образа. Причины этого в известной степени можно понять и при изучении происходящего с Салтыковым в 1880-х годах.

Знаменитые слова Константина Леонтьева «надо *подморозить* хоть немного Россию, чтобы она не гнила», которые любят вспоминать по любому поводу без ссылки на источник и вне контекста, удивительным образом датированы 1 марта 1880 года, когда оставался ровно год до катастрофы. Леонтьев так пояснял впоследствии этот тезис, ставший помимо его воли скандально знаменитым: «Надо одно – *подмораживать* всё то, что осталось от 20-х, 30-х и 40-х годов, и как можно подозрительнее (*научно-подозрительнее*) смотреть на всё то, чем подарило нас движение 60-х и 70-х годов».

Собственно здесь дальновидный русский интеллектуал развивал мысли, высказанные много ранее известным С. С. Уваровым: «Мы, т. е. люди XIX века, в затруднительном положении; мы живём средь бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперёд. Никто здесь не может предписывать своих законов. Но Россия ещё юна, девственна (Леонтьев: «В России много ещё того, что зовут варварством, и это наше счастье, а не горе». – С. Д.) и не должна вкусить, по крайней мере теперь ещё, сих кровавых тревог. Надобно продлить её юность и тем временем воспитать её. Вот моя политическая система... Моё дело не только блюсти за просвещением, но и блюсти за духом поколения. Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно. Вот моя теория».

Александр III вынужден был принять вызов своего, уже не взрывоопасного, а попросту взрывного времени. Его иногда называют периодом «контрреформ», не желая замечать, что при определённых политических стеснениях экономические преобразования продолжались, следствием чего стало улучшение положения не только крестьянства, но и рабочих (фабричные законы 1884–1886 годов). В 1880-е годы активно развивалась промышленность, усиленно строились железные дороги, способствуя развитию благого для огромной страны переселенчества. Значительны были успехи и в международных делах, причём основой

политики был отказ от вооружённого решения конфликтов...

Однако, как это обычно бывает, материальные успехи России воспринимались той частью её общества, которую уже было принято называть образованной (к ней принадлежал и Салтыков), сдержанно, а вот цензурные и политические ограничения, нередко вынужденные, встречались с нарастающим пессимизмом. Эти настроения подробно описаны Р. В. Ивановым-Разумником в его «Истории русской общественной мысли». Он толкует террористическую деятельность социал-радикалов как «поединок на жизнь и на смерть» между «представителями системы официального мещанства и русской интеллигенцией», закончившийся «полным поражением интеллигенции в её борьбе за политическую свободу и социальные реформы».

Иванов-Разумник видит в «тусклой и серой эпохе восьмидесятых годов» эпоху «общественного мещанства», время, когда, в отличие от николаевского царствования, нет союза «всех представителей интеллигенции» в «борьбе с мещанством»: «В правительственных сферах вновь провозглашается система официального мещанства и не встречает достойного отпора в громадном большинстве “культурного” общества; общественное мещанство присоединяется к мещанству официальному». Вывод автора неутешителен: «В восьмидесятых годах русская интеллигенция почти сходит на нет, вымирает; ибо основным отрицательным признаком интеллигенции... <...> является именно её анти-мещанство»<sup>[44]</sup>.

Один из самых ярких литературных дебютантов 1880-х, как показала вся его дальнейшая жизнь, человек высокой нравственности, наделённый социально ответственным мышлением, В. Г. Короленко писал впоследствии, уже после смуты 1905 года, но до катаклизмов года 1917-го, что 1 марта 1881 года «разразилась потрясающая трагедия русского строя». После чего, по его мнению, началась «глухая реакция, отметившая собой всё царствование Александра III и подготовившая потрясения, из которых и теперь ещё не вышла Россия».

Нет нужды спорить с современниками о годах, в которые мы не жили. Но право на исторический взгляд, подкреплённое трагическим опытом XX века (не забудем и близкое по теме: мучительные – при большевиках – последние годы жизни Короленко и репрессии против Иванова-Разумника, завершившиеся его смертью на чужбине), даёт основание предположить, что ощущение этой самой «глухой реакции», «сумерек» (Чехов), «полунощности» (Лесков), «непроглядной ночи» (Надсон) было вызвано не только общественно-политическими причинами. Но, разумеется, в том

случае, если отказаться, наконец, от использования произведений художественной литературы лишь как «материала» для «характеристики эпохи» и не смешивать объекты и цели литературной критики и политической публицистики.

## Сказки между делом

Галина Кузнецова в известном «Грасском дневнике» (25 июля 1929 года) рассказывает, что обедавший у Буниных бывший русский посол в Испании А. В. Неклюдов высказал суждение, что «Россия была испорчена литературой. <...> Всё общество жило ею и ничего другого не желало видеть. Ведь даже погода в России должна быть всегда дурной, по мнению писателей». Я, рассказывает Неклюдов, «как-то указал кому-то, что у Щедрина во всех его сочинениях ни разу нет солнечного дня, а всё: “моросил дождик”, да хмуро, да мерзко. И что же? Так и оказалось. Просмотрели всего Щедрина – так и оказалось!».

Замечательно! Но что если в поисках щедринской погоды просмотреть книги писателя ещё раз? Доверяй, но проверяй! Любое обобщение, прикладываемое к тонким материям творчества да и к самой стране, России, не очень дорого стоит. Автор этих строк тоже просмотрел всего Щедрина, не только сочинения, но и письма. *Так не оказалось!*

А оказалось, что никакого особого «критического» или, тем более, «сатирического» отношения к погоде у Салтыкова не было. Его взаимоотношения с климатом (читаем письма) не выходят за рамки подобных отношений у любого человека: атмосферу почти не чувствуешь и не обращаешь на неё внимания в здоровье, она сильно влияет на самочувствие при недугах. Но есть и особенность: к родной погоде, как и к родной природе, Салтыков относился куда мягче, чем к климату Европы. И это понятно: на тамошние курорты он ездил уже немолодым человеком, для лечения, а курортная погода не может быть изменчивой. Любую набежавшую на солнце тучку в Баден-Бадене, Ницце или Висбадене Салтыков воспринимает очень остро.

В пору его европейских перемещений этот больной утвердился в мысли: *«Не ищите климата, а ищите доктора»*. Он понял, что, во всяком случае, климатическое лечение – не для него. Более того, в письме из Висбадена он делает заключение: *«Вообще, заграничная жизнь, как и всегда, действует на меня неблагоприятно»*. А уже вернувшись в Петербург, пишет М. Т. Лорис-Меликову в Ниццу: *«Я полагаю, что решение приехать в Россию уже само по себе принесёт Вам пользу. Как ни благотворно ниццкое небо – впрочем, я лично нашёл его несколько коварным, – но постоянная отчуждённость от “своего” должна парализовать и самые благотворные влияния климата. Я имел честь ещё в Висбадене лично*

высказывать Вам мнение, что при известным образом сложившейся жизни самое лучшее – свой дом...»

При этом, как и для многих писателей, ненастье для Салтыкова было хорошим временем для работы. В художественных произведениях он изображал разную погоду – и солнечную, и скверную, в зависимости от того, о чём повествовал. Во всяком случае, ничего подобного прямолинейным аллегориям у него в погодных описаниях не найти. Ещё в ранней повести «Противоречия» есть знаменательные слова: «Я люблю её, эту однообразную природу русской земли, я люблю её не для её самой, а для человека, которого воспитала она на лоне своём и которого она объясняет» (курсив мой. – С. Д.).

Но не только природа, но и погода у Щедрина действительно объясняет человека, а не иллюстрирует сатирические инвективы писателя. Психологическая нагруженность погодных описаний и упоминаний у Щедрина очевидна. Более того, салтыковское отношение к погоде как непреодолимым (природным, а не общественным) обстоятельствам образа действия определяет и художественные средства её изображения. Здесь писатель отнюдь не сатирик, а чаще всего лирик; во всяком случае, в его погодных описаниях нет сарказма, хотя они могут быть освещены иронией в её разнообразных оттенках.

Писатель-народник Николай Русанов вспоминал, что Глеб Успенский (чей талант высоко ценил Салтыков) однажды добродушно посмеялся над Марксом, который «проштрафился в этом году» в новгородском селе Чудово, где летом Успенский отдыхал. «В “Капитале” говорится, что стоимость – это лишь человеческий труд. Но вот в прошлом году “стоимость” лукошка грибов была 15 копеек, а в нынешнем году бабы и за 50 копеек не отдадут... А всё оттого, что в прошлом году дождь всё лето шёл, а за это лето и трёх дней хорошего дождя не было... Вот вам Маркс дождя-то и не предусмотрел».

К сожалению, большинство истолкователей Щедрина, а по их наущению и читателей, также «не предусматривало» многих начал его поэтики, сводя её к сугубо сатирической, если не сказать – осуждающей («даже погода в России должна быть всегда дурной»). Так что бывший царский сановник, ставший доброхотным щедриноведом, заслуживает некоторого снисхождения. Кроме реальных изображений погоды у Щедрина, есть ведь ещё и климат восприятия его произведений. А его никак нельзя назвать благоприятным.

В нашей средней школе традиционно изучают сказки Щедрина, представляя их как одну из главных вершин его творчества. Хотя почему-то



из тридцати с лишним сочинений Салтыкова, которых он объявил сказками, читается всего пять-шесть, от силы семь. Скажем прямо, сказочная форма в литературе всегда хоть чуточку, но остаётся стилизацией, имитацией фольклора – в то время как литература сильна авторским словом. И Салтыков знал это прекрасно и ценил неизменно. Но зачем же он тогда их, сказки, писал?!

С самыми первыми сказками всё просто – в своём месте мы об этом сказали. И про мужика, кормившего двух генералов, и про дикого помещика, и про пропавшую совесть он писал для задуманного детского сборника. А потом – многолетний перерыв, и к сказкам он вернулся, наряду с многообразным и упорным писанием других произведений, только после закрытия «Отечественных записок».

Объяснение этому, вероятно, кроется в его сохраняющейся тяге к публицистике. Но теперь своей печатной трибуны у Салтыкова не было и, вынужденный печататься в разных периодических изданиях, он стал искать новые способы высказывания на злобу дня с выразительными знаками, объединяющими его публицистические сочинения. Такие способы Салтыков нашёл, в частности, на пути возвращения к уже своеобразно представленной им жанровой форме «сказки», притом что объединение стилистически разнородных произведений этим знаком с вековой традицией зачастую было условным.

Между прочим, именно изучение цензурной истории салтыковских сказок показывает, что запреты здесь имели очень определённое основание: запрещалось то, что наводило на прямые ассоциации с личностью и деятельностью императора. Так, сказки «Медведь на воеводстве» и «Орел-меценат» были напечатаны в России только в 1906 году. Но даже советские щедриноведы признавали, что содержащиеся в сказке «Медведь на воеводстве» злободневные намёки на правительство Александра III – не главное в ней. Сегодня очевидно, что Салтыков, вне зависимости от его первоначального замысла, сатирически изобразил, кажется, универсальную для России модель государственного управления, которая, в разных модификациях, существовала в императорской России, при большевиках, в перестроечное и постперестроечное время и при посткоммунизме, перерастающем в необольшевизм.

Цензурный запрет на сказку «Орел-меценат» имел свои серьёзные основания, так как в свете гуманитарной политики 1880-х годов произведение было явно несправедливым по отношению к императору Александру III, как теперь видно, обеспечившему широкое и плодотворное развитие науки, техники, культуры, литературы и искусства. Однако с

общей точки зрения сатира сказки прозорливо высмеивала общие недостатки меценатства и благотворительности, воспроизводящиеся в разных исторических условиях и при разных формах правления. Поэтому и сегодня свободная от исторических аллюзий сказка звучит свежо и остро.

Но эти издержки на новом, «постзаписочном» творческом пути Салтыкова были непринципиальны. Великий сатирик в течение немногих лет обрёл черты великого писателя, поднявшегося над конъюнктурой времени, над «категорическими формами» и постигающего мир с точки зрения вечных человеческих ценностей.

Возвращаясь к словам надежды в статье мартовского (1881) номера «Отечественных записок» о том, чтобы при «новом царствовании начался и новый период русской жизни», следует сказать: объективно как для России, так и для Салтыкова-писателя эпоха Александра III действительно стала новым, созидательным периодом. Это подтверждается художественными свершениями 1880-х годов, окончательно утвердившими его в классическом ряду русской литературы и мировой сатиры. Формально, но вместе с тем и знаменательно это выразилось, помимо прочего, в том, что 19 апреля 1885 года, наряду с Львом Толстым, Салтыкова избрали почётным членом Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете.

И что бы там ни писал и как бы ни жаловался на цензуру Михаил Евграфович, чиновники хорошо понимали, с кем имеют дело, и относились достаточно взвешенно не только к нему, но и в целом к публикациям в «Отечественных записках». Например, в «Вечере пятом. Пошехонское “дело”» «Пошехонских рассказов», написанном Салтыковым осенью 1883 года, по существу, шла речь о российском обществе, пребывающем в интеллектуальном инфантилизме и неспособном осознать, что политика Александра III, продолжившего реформы с учётом разрушительной деятельности социал-радикалов и злодейского убийства его отца-императора, нацелена на преодоление экстремизма во всех сферах российской жизни, на конкретное участие человека, прежде всего, в экономических и культурных преобразованиях.

Этот здравый критицизм автора был вполне оценён и цензором журнала, отмечавшим: «Очерк этот нельзя назвать благонамеренным, так как в нём наше общественное положение представляется в печальном виде; но, принимая в соображение, что в таком положении он обвиняет не правительство, а само общество и известную часть литературы, и что в таком духе и направлении пишутся Щедриным все статьи, цензор не считает эту настолько вредною, чтобы она требовала ареста декабрьской

книжки».

Выразительная история произошла с книгой Салтыкова «Недоконченные беседы (“Между делом”))». Она много значила для него даже психологически – он стал готовить её к печати после закрытия «Отечественных записок», так отвлекаясь от горестных мыслей. Издавал книгу искушённый Стасюлевич, не устававший радоваться, что волею судьбы заполучил такого автора.

Прекрасно зная цензурные правила и то, что книги объёмом, превышающим десять печатных листов, освобождаются от предварительной цензуры, Стасюлевич после печати тиража (3050 экземпляров) предусмотрительно рассыпал её набор. Так книга вышла в свет, хотя и была сопровождена в соответствующих кулуарах следующим заключением председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета, мудрого старца Александра Григорьевича Петрова: «Очерки эти изложены с тою же тенденциозностью и пессимизмом, с тем же грубым глумлением над обществом, которыми отличаются все произведения Салтыкова, но, по мнению цензора, которое я вполне разделяю, эти очерки не настолько вредны, чтобы по поводу их задерживать книгу. Я полагаю, что прекращение “Отечественных Записок”, редактором которых был Салтыков, не находилось ни в какой связи с этими очерками. Вследствие сего Комитет не видел основания препятствовать выпуску книги в свет».

Эта книга как-то затерялась среди щедринских сочинений, может быть, потому, что она, хотя и составлена из очерков, писавшихся и печатавшихся более десяти лет, всё же личностно-салтыковская. Заглавие её довольно хитроумно: хотя щедриноведение связывает его прежде всего с намёками на закрытие «Отечественных записок» (очерки первоначально печатались в журнале), в номинативах здесь всё же *беседы* (слово) и *дело*. В книге Салтыков довольно жёстко, а для читателя увлекательно изображает наше традиционное многоговорение, то, как мы в самых разных обстоятельствах *исходим словами*, оставаясь, чаще всего, в жестоком конфликте с самим собой.

Следом за этой книгой Салтыков без цензурных помех выпустил «Пошехонские рассказы», а одновременно с ноября 1884 года стал печатать в «Вестнике Европы» новый цикл – «Пёстрые письма». Ворчал при этом в письме Михайловскому: «Мое участие в “Вестнике Европы” я считаю ниспосланною мне провидением карою. Нет ничего ужаснее, как чувствовать себя иностранцем в журнале, в котором участвуешь. А я именно нахожусь в этом положении. Не понимаю, о чём хлопочут эти люди, хотя вижу, что у них есть что-то на уме. Какая-то шпилька. Но, во

всяком случае, это не такой совершенный нужник, как “Русская мысль”, а только ватерклозет». Смысл письма понятен: адресат – Михайловский, который воевал с «Вестником» (а «Вестник» воевал с ним), но забавно, что под раздачу, куда более жёсткую, попала «Русская мысль», журнал, главным редактором которого был друг детства и всей жизни Салтыкова Сергей Андреевич Юрьев. Именно «Русскую мысль», напоминаю, стали получать подписчики «Отечественных записок» после закрытия журнала – как компенсацию.

Отдельным изданием «Пёстрые письма» вышли в ноябре 1886 года. На этот раз Салтыков вновь, после «Писем к тётенке», проверял свои возможности в эпистолярной прозе, и вновь получился творчески интересный опыт. Письмо как форма доверительной речи, доступная каждому человеку, становится способом представить панорамную картину пёстрой, как её видит Салтыков, современности со своеобразными героями времени. Интерпретаторы цикла жёстко привязывали его к общественным, политическим и психологическим реалиям 1880-х годов, как они им виделись, но поскольку в основу действия Салтыков взял деятельные, чаще всего не в положительном смысле характеры с их пёстрыми судьбами, постольку в них волей-неволей не только стали проявляться универсальные черты человеческой натуры, но и сама в самих *признаках времени* стала просматриваться определённая повторяемость – вначале ретроспективная, а с ходом лет – и доньше – актуальная.

Цензурных затруднений с книжкой «Пёстрые письма» не было.

Вообще отношение к писателям у цензуры, у власти, у императора наконец в эти непредвзято рассматриваемые времена было отнюдь не людоедским – напротив, сдержанно-прозорливым. Так, 6 июля 1883 года был освобождён из сибирской ссылки и переведён на жительство в Астрахань Чернышевский.

Мизантропичный, без сомнения, обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев, над которым Салтыков раблезиански потешался в своих письмах, ещё в 1880-е годы предлагал императору отлучить Льва Толстого от церкви. Выслушав все аргументы «за», император сказал: «Не делайте из него мученика, а из меня его палача». Тема будет закрыта, а «“сиятельный нигилист” останется свободным критиком порядка и ниспровергателем устоев в “стране самовластья”»<sup>[45]</sup>. Ещё из жизни Льва Толстого при Александре III – первоначально запрещённая к публикации повесть «Крейцера соната», которую император назвал циничной, была им же в 1891 году разрешена к публикации в составе собрания сочинений Толстого, что также представляется обоснованно-здоровым.

В июне – августе 1885 года Салтыков вновь совершил поездку за границу. Жил он в Висбадене, откуда писал жалобные письма в Россию: «Руки дрожат, ноги колеблются, в голове шум и совершенное ослабление деятельности, потеря памяти, отсутствие воздуха и почти непрестанное умирание – вот какую картину я из себя представляю. И всё это вследствие заграничного путешествия, которое меня, измученного, окончательно доконало. Мне следовало бы забраться в какое-нибудь русское деревенское уединение, а меня погнали в Германию, где одно плохое знание русского языка выводит меня на каждом шагу из себя. Ночи я почти совсем не сплю, но днём дремлю, не переставая. Никогда ничего подобного не было – очевидно, конец»...

А осенью в Петербурге навалились на него все хвори, и пределы Российской империи он уже никогда не покидал.

Лето следующего, 1886 года Салтыковы решили провести на даче в финской Новой Кирке. Здесь Михаил Евграфович, непрерывно жалуясь в рассылаемых письмах на погоду, недостаточность средств, жену, болезни, продолжал писать сказки и взялся за новую книгу – «Мелочи жизни». Поначалу он не хотел печатать её в «Вестнике Европы», решил попробовать в газете «Русские ведомости», но вскоре оказалось, что с чуждым Стасюлевичем работать проще, чем с более ему близким Василием Михайловичем Соболевским...

Так или иначе, но этот цикл, сюжетно симметричный с «Губернскими очерками», оказался новым витком в развитии салтыковской прозы, открывающей всё новые стороны пространства русского мира. Изумлённый Скабичевский писал, не особенно задумываясь: «Восьмидесятые годы были временем полного общественного затишья; жизнь начала однообразно и монотонно течь день за днём, бедная выдающимися событиями. Ничто уже в такой степени не волновало, не увлекало, не выводило из себя, как прежде. Понятно, что и характер и тон сатир Салтыкова значительно изменились: на место саркастического, жёлчного смеха прежних произведений является теперь величаво эпическое, степенное созерцание, исполненное то глубокой скорби, то восторженного пафоса».

Однако причина изменений была не в «затишье» времени, а в том, что Салтыков достиг высшей творческой силы в изображении всего, что ему

желалось изобразить. Готовя отдельное издание, опасался цензуры, загодя обдумывал, какие можно сделать уступки, ещё не понимая, что написанное им – цензуре неподвластно. Так и оказалось – книга вышла в свет без помех 27 августа 1887 года.

## Пошехонье надо любить

В круге отечественных историко-культурных преданий давно возвращается рассказ о том, что первый директор Царскосельского лицея Василий Фёдорович Малиновский, умирая, в полузабытьи, произнёс, обращаясь к кому-то, ведомому только ему: «Главное, что во вверенном мне воспитательном учреждении нет духа раболепства».

У Салтыкова был невероятно запутанный характер, но духа раболепства в нём никогда не было. «Пушкин тринадцатого выпуска» не посрамил ни лицей, ни имя того, к кому приравняли его однокашники. *Пушкин, тайную свободу пели мы вслед тебе...*

А где свобода, там и воля, воля во всех значениях этого слова. В письмах Салтыкова последних лет – неумолкающая череда жалоб на измученность недугами, на бездейственность лекарств. Но в этих же письмах отражается и его то, что его лечит, не даёт сгинуть, – литература, творчество...

Летом 1887 года писатель, поселившись с семьёй на даче в Серебрянке по Варшавской железной дороге, в 150 верстах от Петербурга, работал над «Пошехонской стариной». Когда доктор Белоголовый попытался дать ему какие-то литературные советы, терпеливо ему ответил: «Благодарю Вас за письмо и за память, а более всего за пожелание, чтоб я работал. К сожалению, я в настоящее время не чувствую никакого влечения к работе и нахожусь в какой-то глубокой прострации, от которой бог весть когда избавлюсь. <...> Вы указываете мне на автобиографический труд, но он и прежде меня уже заманивал. <...> Но Вы, кажется, ошибаетесь, находя эту работу лёгкою. По моему мнению, из всех родов беллетристики это самый трудный. Во-первых, автобиографический материал очень скуден и неинтересен, так что необходимо большое участие воображения, чтоб сообщить ему ценность. Во-вторых, в большинстве случаев не знаешь, как отнестись к нему. Правду писать неловко, а отступать от неё безнаказанно, в литературном смысле, нельзя: сейчас почувствуется фальшь».

Он обещает Белоголовому написать нечто автобиографическое, а пока работает над «Пошехонской стариной», которую автобиографической называть не желает. Его прощальная книга начинает печататься в «Вестнике Европы» с октября 1887 года. Этой же осенью он составляет план собрания своих сочинений.

Последнее лето жизни Салтыкова, лето 1888 года, прошло на даче в

Преображенской по той же Варшавской железной дороге. «Пошехонская старина» продолжала печататься в «Вестнике Европы», он, страдая от люмбаго, писал новые главы, но когда познакомился с историком флота Феодосием Фёдоровичем Веселаго, бывшим цензором «Отечественных записок» в 1860-е годы, то стал приглашать его и слушать, очевидно, ностальгически, «анекдоты, свидетельствующие об его цензорской проницательности». И, вероятно, ему становилось легче.

В периоды обострения болезни многие, сострадая Салтыкову, стремились ему помочь. И он, надо заметить, эту помощь принимал, но с разбором. Однажды жена салтыковского знакомого, сенатора Александра Шульца «без церемонии» заявила ему, что «следует не лечиться, а приобщиться св. Тайн». Салтыков немедленно послал другу-Унковскому письмо с описанием произошедшего. «Так как я ничего не ответил на это предложение, то она, посидев, побежала к жене, которая в это время одевалась, и сказала ей, что я равнодушно отнёсся к её совету, а жена ей в ответ, что я, напротив, очень благочестив и слежу за детьми. Теперь, того гляди, она побежит к Победоносцеву, и мне пришлют попа. Сделайте милость, посоветуйте, что теперь делать. Ведь хорошо, если только убеждать попа пришлют, а вдруг как прямо со св. дарами».

Но Салтыкову становилось всё хуже, и, по воспоминаниям сына, «моей матери вдруг захотелось, чтобы над папой прочёл свою молитву прославленный в то время о. Иоанн Кронштадтский. Долго она не решалась сделать моему отцу предложение пригласить к нам о. Иоанна. Наконец она ему об этом сказала, и, к её удивлению, папа только пожал плечами, но от встречи со священником не отказался.

И вот мать моя с необычайными трудностями добилась того, что в известный день прославленный иерей появился в нашей квартире. Однако, принимая его, мой отец строго настрого наказал, чтобы об этом не было известно Боткину, из боязни, что профессор обидится, что его заменяют как врача, хотя бы временно, священнослужителем. Был отдан приказ швейцару, чтобы он Боткина во время пребывания о. Иоанна не принимал под тем предлогом, что отец отдыхает. В назначенные женщиной, всегда возившей священника и бравшей за это известную мзду, час и день у нас появился прославленный как исцелитель о. Иоанн, одетый в атласную рясу. <...> Глаза о. Иоанна были замечательны, они как бы пронизывали насквозь людей, и возможно, что он был гипнотизёром, благодаря чему действительно он мог внушать людям то, что желал. Благословив отца, о. Иоанн поставил его пред собой и, будучи отделён от него столиком, на котором лежали икона, крест и евангелие, прочёл свою знаменитую



молитву, начав её шёпотом, усиливая постепенно голос и окончив её в повелительном тоне, как бы требуя от Бога исполнения этой молитвы. Произнесена она была так, что когда затем спросили отца, понял ли он её, он отвечал отрицательно, зато похвалил рясу священника.

После прочтения молитвы о. Иоанна пригласили выпить чаю, и вот во время этого чаепития и произошёл инцидент с профессором Боткиным.

Как я уже писал выше, швейцару был отдан приказ не принимать Сергея Петровича. Отдавая этот приказ, моя мать, однако, не учла... <...> того, что карета, в которой возили о. Иоанна, где бы она ни остановилась, была немедленно окружаема толпой народа, часть коей жаждала получить батюшкино благословение, часть же останавливалась из простого чувства любопытства. <...> Проезжавший мимо Боткин был удивлён сборищем и, опасаясь, не случилось ли чего с отцом, велел своему кучеру остановиться у подъезда, где и узнал от собравшихся причину людского скопления, причём ему даже сообщили, у кого именно находится “кронштадтский батюшка”. <...> С. П. вошёл в швейцарскую и, несмотря на протесты привратника... <...> поднялся в третий этаж, где находилась наша квартира, входная дверь которой была почему-то не заперта. Профессор... <...> беспрепятственно прошёл через переднюю и очутился в столовой, где пили чай. Можно себе представить, какое замешательство произошло среди нас при виде высокой плотной фигуры С. П., вдруг неожиданно появившейся в комнате. Но Боткин, добродушно улыбаясь, положил конец замешательству, пожурился отцу за то, что этот последний захотел скрыть от него о. Иоанна, с которым он был давно знаком.

– Батюшка и я коллеги, – пошутил Боткин, – только я врачую тело, а он душу...

Никаких недоразумений, которых боялся отец, инцидент не возбудил», но, печально заключает сын, вскоре писатель умер.

Я вспомнил эту историю не только потому, что она очень редко воспроизводится в воспоминаниях о Салтыкове, очевидно, как портящая его стандартный революционно-демократический образ. Но, справедливости ради сказать, что она не представляет Михаила Евграфовича и глубоко верующим православным христианином.

Главное – в другом. В Салтыкове не было не только богоборчества, он находил для метафизических, субстанциональных сосредоточений очень заметные, концентрирующие места в своём творчестве.

Только при первом взгляде на порядок расположения сказок в составленном им прижизненном сборнике он кажется условным. Следом становится понятно: совершенно естественным образом Салтыков

движется от событий своей современности, от популярных тогда научных и политических теорий уже не к фольклорным, поэтическим, а метафизическим началам народной жизни, определяющим его мораль и нравственность, его духовную культуру. Поэтому в завершение книги, названной автором «Сказки», поставлены, по сути, пасхальный рассказ, сказка о правдоискателе-вороне, олицетворяющем вечность, древнейшую, ещё языческую стихию в человеке, и рождественская сказка. Без какого-либо дутого пафоса, но очень определённо Салтыков обозначил главную опору художественного мира своих непростых сказок – изначальную устремлённость человека к правде и справедливости, укреплённую именно религиозными и никакими иными началами.

Наконец, великая «Пошехонская старина», только после завершения которой Салтыков отошёл в вечность, начинается рассказом о *гнезде*, что связано с важнейшим для славян космогоническим образом *яйца*, а заключается кратким, но очень выразительным описанием Масленицы:

*«Блины, блины и блины! Блины гречневые, пшеничные (красные), блины с яйцами, с снетками, с луком...»*

То, что блины являются основной едой на Масленицу, хорошо известно. Общеизвестна и связь символики блинов «со смертью и с небом как с иным миром», со свадебными обрядами, а главное, в самой форме блина и его использовании на Масленицу отражён солярный культ – блин как знак оживающего солнца<sup>[46]</sup>. Вольно или невольно, у Салтыкова эти масленичные блины символизируют годовой круговорот в мире, некую замкнутость жизненного цикла – впрочем, естественную, предопределённую не социальными причинами, а природными, космическими началами...

В середине апреля 1889 года вышел в свет первый том девятитомного собрания сочинений Салтыкова. Остальные писатель уже не увидел. 28 апреля в 3 часа 20 минут дня он скончался и холодным дождливым днём 2 мая был похоронен на Волковом кладбище Петербурга, согласно завещанию, – рядом с могилой Тургенева. В советское время, вопреки его последней воле, прах был перенесён в другое место кладбища.

После кончины супруга Елизавета Аполлоновна постаралась обеспечить детей, по справедливости разделив между ними имущество. Скончалась она в 1910 году.

Главное дело жизни Константина Михайловича – книга его воспоминаний «Интимный Щедрин», которая вам теперь знакома. На жизнь он зарабатывал репортёрским и переводческим трудом. Скончался в 1932 году от туберкулёза. Детей у него не было.

Елизавета Михайловна, в первом браке баронесса Дистерло, во втором – маркиза де Пассано, после октябрьского переворота вынуждена была покинуть Россию. Судьба библиотеки отца, которая хранилась в оставленной ею петроградской квартире, неизвестна. Скончалась она в Париже в 1927 году и похоронена на кладбище Пер-Лашез.

Трагической оказалась судьба её дочери, внучки Михаила Евграфовича и Елизаветы Аполлоновны – Тамары Николаевны Гладыревской (Дистерло). Зная несколько языков, она работала переводчицей на московском оборонном заводе, а в 1938 году была арестована и пала жертвой большевистского террора – расстреляна как участница «контрреволюционной националистической организации». Остались две дочери – Елена и Софья – приложившие немало усилий для восстановления доброго имени матери.

Сын Елизаветы Михайловны Андрей (Андре да Пассано; 1905–1993) подростком вместе с родителями покинул Россию, стал художником-графиком, рисовал комиксы. Жил в Мексике, скончался в США. Наследников не оставил.

Немало Салтыковых, потомков большой семьи Ольги Михайловны и Евграфа Васильевича, продолжают жить и трудиться в России.

## Основные даты жизни и творчества М. Е. Салтыкова (Щедрина) <sup>[47]</sup>

1826, 15 (27) января – в селе Спас-Угол (ныне Талдомский район Московской области) в семье коллежского советника Евграфа Васильевича Салтыкова (1776–1851) и его жены Ольги Михайловны (урождённая Забелина, купеческого рода; 1801–1874) родился шестой ребёнок, сын Михаил.

17 января – крещён в церкви Преображения Спаса постройки XVI века.

1827, 3 сентября – О. М. Салтыкова сообщает мужу: «Миша так мил, просто чудо. Всё говорит и хорошо. Беспреданно со мной бывает и не отходит».

1829, 3 августа – Е. В. Салтыков пишет жене: «Тебя же ради Бога прошу детей не слишком много наказывать, ибо если что без тебя было, за то уже они и наказаны, а впредь остерегать их и подтверждать, чтобы смирны и прилежны были...»

Осень – начинает заниматься французским языком с гувернанткой старших братьев и сестёр.

1831, 23 августа – 1 октября (?) – вероятно, первая поездка Салтыкова в Москву (с матерью и братом Дмитрием). Гостят в доме бабушки Михаила Петровича Забелина. Поездка, очевидно, была связана и с тем, что Ольга Михайловна подавала прошение в Московское дворянское депутатское собрание о внесении детей её – сына Михаила, дочерей Веры и Любви – в дворянскую родословную книгу. 26 октября прошение было удовлетворено.

1832, 16 октября – первый известный автограф Салтыкова: написанное по-французски поздравительное стихотворение, обращённое к отцу и поднесённое ему в день рождения.

1833, 15 января – в день рождения Миши «крепостной человек, живописец Павел» начал обучать его русской грамоте.

1834 – сестра Надежда учит братьев Николая и Михаила музыке. Под наблюдением старшего брата Дмитрия они занимаются чистописанием на русском, французском и немецком языках, изучают грамматику этих языков, российскую и всемирную историю, Закон Божий, риторику.

1836, 17 августа – Салтыков успешно выдерживает экзамены и зачисляется «полным пансионером» в третий класс шестиклассного

московского Дворянского института, накануне преобразованного из университетского пансиона.

1837, 18 июня – Салтыков сдаёт все экзамены за третий класс, однако оставлен на второй год, «но не по причине неуспеха в науках, а по малолетству» (17, 469).

1838, март – апрель – как лучшие воспитанники Салтыков и Павлов (Иван Васильевич, будущий публицист, издатель журнала «Московский вестник») препровождаются в Императорский Царскосельский лицей для продолжения учения. Известие о переводе Михаил принял с отчаянием и умолял родителей оставить его в Москве, ибо хотел поступить в Московский университет.

25 июля – после сдачи экзаменов Салтыков зачисляется воспитанником XIII курса лицея (набрав 75 баллов, получил право быть принятым во второй класс, но по возрасту зачислен в первый).

1 августа – начинаются занятия в лицее.

1839, 7 марта – первое известное письмо Салтыкова. Отправлено из Царского Села и адресовано родителям: «Я вам скажу, маменька, что в Петербурге все русские изделия дороже, нежели в Москве, а иностранное дешевле. <...> В Лицее не любят москвичей, разумеется, не все, потому что умные никогда не станут этого делать без причины»..

Март – апрель – Салтыков с матерью и сестрой проводит Пасхальную неделю в Петербурге. По впечатлениям матери, «очень милый мальчик выходит и хорошо говорит по-фра<нцузски>, неме<цки> и немного по-англицки...».

1840 – Салтыков, один из первых по успехам воспитанник лицея, увлекается словесностью. Пробует силы в стихотворстве.

1841, март – первая публикация Салтыкова – стихотворение «Лира» в журнале «Библиотека для чтения» (№ 3; подпись: «С-в. 1841 г.»).

1843, апрель – Салтыков участвует в лицейском «возмущении» – выступлении воспитанников выпускного класса против профессора русского языка Ф. В. Гроздова. Хочет выйти из лицея и поступить в университет, но не получает разрешения родителей.

1844, май – июнь – выпускные экзамены в лицее (с января 1844 года носит название Императорского Александровского). По традиции экзамены проходили в присутствии высокопоставленных гостей и многочисленной публики; отчёты о них публиковались в газетах.

17 августа – торжественный выпускной акт в лицее. Салтыков выпущен в гражданскую службу с чином X класса (коллежский секретарь). Как казённокоштный воспитанник он был обязан пробыть шесть лет на

государственной службе.

*23 августа* – определён на службу сверх штата в канцелярию Военного министерства.

*1845–1846* – живя в Петербурге, бывает в гостях у знакомого ему ещё с лицейских лет М. В. Буташевича-Петрашевского, где в небольшой компании обсуждаются, в частности, социально-утопические теории. В конце 1846-го – начале 1847 года конфликт Салтыкова с Петрашевским привёл к разрыву прежних отношений.

*1846, 8 августа* – получает штатную должность помощника секретаря (столоначальника) 2-го отделения канцелярии Военного министерства.

*1847, сентябрь* – Салтыков работает над повестью «Запутанное дело».

В ноябрьском номере журнала А. А. Краевского «Отечественные записки» за подписью «М. Непанов» публикует повесть «Противоречия». Впоследствии Салтыков не раз посмеивался над ней: «до того она была дика, восторженна и написана под очевидным впечатлением фурыеристских тенденций» (свидетельство Н. А. Белоголового).

*1848, март* – в журнале «Отечественные записки» печатается повесть Салтыкова «Запутанное дело» (подписана «М.С.»).

*29 марта* – на заседании цензурного комитета повесть «Запутанное дело» признана предосудительным сочинением.

*Около 20 апреля* – Николай I обращает внимание князя А. И. Чернышёва на то, что в его министерстве служит чиновник, напечатавший произведение, «в котором оказалось вредное направление и стремление к распространению идей, потрясших всю Западную Европу».

*В ночь с 21 на 22 апреля* – проходит арест Салтыкова по распоряжению Чернышёва и назначение им специальной следственной комиссии. По её докладу император, «снисходя к молодости Салтыкова, высочайше повелеть соизволил уволить его от службы по Канцелярии Военного Министерства и немедленно отправить на служение тем же чином в Вятку, передав особому надзору тамошнего начальника губернии».

*28 апреля* – вечером, из помещения гауптвахты, в сопровождении жандармского штабс-капитана Рашкевича и дядьки Платона титулярный советник Салтыков выехал на службу в Вятку, которую он сам называл «изгнанием».

*7 мая* – Салтыков прибыл в Вятку.

*3 июня* – назначен чиновником губернского правления без содержания.

*15 августа* – Е. В. Салтыков посылает прошение императору о помиловании сына. Прощение было отклонено.

*12 ноября* – назначен старшим чиновником особых поручений при

губернаторе без содержания.

*1849, 11 марта* – Салтыков подаёт прошение на имя вятского гражданского губернатора А. И. Середы о разрешении с 1 июня четырёхмесячного отпуска в Тверскую и Ярославскую губернии и лечении от «золотушных припадков» в Санкт-Петербурге. Середа поддержал прошение, но министр внутренних дел отклонил его.

*30 мая – 20 августа* – исправляет должность правителя губернаторской канцелярии.

*29 июля* – приказ Николая I следственной комиссии по делу петрашевцев сообщить III отделению все сведения о Салтыкове.

*24 сентября* – допрос Салтыкова чиновником Кабалеровым и жандармским полковником Андреевым по делу петрашевцев.

*1850, начало марта* – О. М. Салтыкова приезжает в Санкт-Петербург и от своего имени подаёт третье прошение о помиловании сына. Резолюция Николая I: «Рано».

*5 августа* – назначен советником Вятского губернского правления.

*7 августа* – письмо матери о «полном и беспрекословном» согласии на её предложение «относительно отказа от папенькина имения». Просит, «чтобы в отказном акте было упомянуто, что я отказываюсь от части в папенькином имении без всякого за то вознаграждения, чтоб более Вас моей уверенностью и покорностью успокоить». Просит отпустить на волю крепостного дядьку Платона, «не вынуждая его жениться».

*15 августа – 1 сентября* – в Вятке проходит сельскохозяйственная выставка с участием шести губерний. В её организации и проведении Салтыков принял самое деятельное участие как распорядитель и член комитета.

*14 октября* – письмо брату Дмитрию в ответ на сообщение о том, что мать подыскала ему богатую невесту – дочь калязинского уездного предводителя Н. П. Строилова: «Что за охота и думать об этом, потому что я решительно заранее отказываюсь от всех Строиловых и комп.».

*1851, 22 января* – письмо Салтыкова брату Дмитрию: «Бросили меня все, и знакомые и родные. <...> Я полагаю, что они думают, что я как советник должен иметь посторонние доходы; если это так, то они ошибаются, потому что никогда рука моя не осквернится взяточничеством».

*29 января* – подписывает присланный матерью отдельный акт на владение Дмитрием Евграфовичем родовым поместьем Салтыковых Спас-Угол, просит брата, чтобы сестра его дядьки Платона с дочерью были отделены вместе со всем их семейством.

*13 марта* – скончался Евграф Васильевич Салтыков.

*1852, 6 февраля* – Салтыков доверяет матери подтверждение акта о семейном разделе тверской родовой вотчины Е. В. Салтыкова, «так как онный акт учинён по моему желанию, и я добровольно от всего наследственного имения покойного родителя моего отказался». О. М. Салтыкова обязывалась часть из своего состояния выделить сыновьям Михаилу и Сергею, не получавшим доли в отцовском наследстве.

*13 апреля* – произведён в коллежские асессоры.

*24 ноября* – Салтыков, проведя по поручению вятского губернатора Н. Н. Семёнова расследование волнений крестьян Трушниковской волости Слободского уезда «из-за спорной сенокосной земли», подаёт рапорт, где указывает на причины недовольства крестьян: «самое бедное положение» их и произвол власть имущих. По мнению Салтыкова, «единственный способ водворить между крестьянами прочный порядок и тишину заключается в скорейшем наделении их землёю, по числу душ...».

*1853, 20 июня* – получив наконец четырёхмесячный отпуск «для устройства домашних дел» после кончины отца, приезжает в Спасское.

*15 октября* – возвращается в Вятку.

*6 ноября* – сообщает брату Дмитрию о согласии Ольги Михайловны на его сватовство к Елизавете Аполлоновне Болтиной (1838–1910), дочери бывшего вятского вице-губернатора. Родители невесты из-за её малолетства просили возобновить предложение через год.

*1854, 16 ноября* – кончина сестры Любви Евграфовны, в замужестве Зиловой.

*1852–1854* – Салтыков добросовестно исполняет свои служебные обязанности; часто отправляется в служебные разъезды по Вятской и соседним губерниям, в частности, ведёт следствие о раскольниках. Многочисленные ходатайства о его освобождении или переводе в другую губернию на службу отклоняются.

*1855, 18 февраля* – кончина императора Николая I.

*Вторая половина апреля* – во Владимире Салтыков получает согласие родителей Елизаветы Болтиной на брак с нею.

*Конец сентября* – в Вятку по делам ополчения приезжает генерал-лейтенант и генерал-адъютант П. П. Ланской, двоюродный брат нового министра внутренних дел, с женой Натальей Николаевной (в первом браке Пушкиной, урождённой Гончаровой). Познакомившись через вятскую приятельницу жены с Салтыковым, Ланской принял «живейшее участие» в его положении.

*13 октября* – П. П. Ланской отправляет в Петербург официальное



представление об освобождении Салтыкова от ограничений по службе, причислении его к Министерству внутренних дел или переводе «в одну из внутренних губерний России, преимущественно в Калужскую, Тверскую, Орловскую или Тульскую, на должность, подобную занимаемой им ныне».

*13 ноября* – министр внутренних дел С. С. Ланской извещает вятского губернатора о том, что император Александр II «высочайше повелеть соизволил: дозволить Салтыкову проживать и служить, где пожелает» (письмо получено в Вятке 23 ноября).

*29 ноября* – с Салтыкова снят полицейский надзор.

*24 декабря* – Салтыков, сдав дела, продаёт, а частью бросает имущество и покидает Вятку.

*1856, 13 или 14 января* – приехал по железной дороге в Петербург.

*12 февраля*— надворный советник Салтыков уволен от должности советника Вятского губернского правления, с причислением к Министерству внутренних дел.

*Между серединой февраля и началом марта* – вероятная дата начала работы над «Губернскими очерками».

*Апрель – июнь* – после отрицательного отзыва Тургенева и безразличного отношения к «Губернским очеркам» Некрасова как редактора «Современника» Салтыков передаёт их в новый московский журнал «Русский вестник».

*6 июня* – венчание Салтыкова с Елизаветой Болтиной в «Крестовоздвиженской, что в бывшем монастыре, церкви Пречистенского сорока», на Воздвиженке, недалеко от Арбатских ворот.

*20 июня* – Салтыков назначен «исправляющим должность чиновника особых поручений VI класса при министре» с жалованьем 1200 рублей серебром в год.

*15 августа* – во второй августовской книжке «Русского вестника» появляются первые четыре рассказа из «Губернских очерков» (подписано «Н. Щедрин»). Очерки печатаются в журнале до декабря (всего 20 очерков, 33 главы в окончательной редакции, вышедшей в начале 1864 года).

*1857, 11 января* – цензурное разрешение книжного издания «Губернских очерков» в двух томах (Москва, типография Каткова и К<sup>о</sup>). Книга расходуется в течение месяца. Катков повторяет издание, а Салтыков продолжает работу над произведением.

*28 сентября* – Салтыков произведён за отличие в коллежские советники.

*Декабрь* – тверской губернский предводитель дворянства А. М. Унковский подаёт императору Александру II записку с изложением своего

проекта освобождения крестьян с землёй.

*1858, 6 марта* – назначен вице-губернатором в Рязань.

*6–9 апреля* – поездка в Ермолино для обсуждения с матерью условий подготовки имений к предстоящим преобразованиям.

*15 апреля* – вступил в должность рязанского вице-губернатора.

*7 августа* – открытие Тверского губернского комитета под председательством А. М. Унковского для выработки положения о крестьянах. Большинство в комитете составили энтузиасты реформы.

*3 ноября* – высочайше утверждено предложение Тверского комитета составлять проект реформы на основаниях, которые сам комитет считает полезными.

*10 декабря* – скончался Николай Евграфович Салтыков.

*1859, январь* – заявление 16 крупнейших калязинских землевладельцев, в том числе О. М. Салтыковой, против действий губернского комитета по улучшению быта крестьян.

*7 февраля* – закрытие Тверского губернского комитета по крестьянскому делу.

*15 февраля* – с многочисленными купюрами и сокращениями цензура разрешает к печати рассказ Салтыкова «Развесёлое житьё» (Современник. № 2).

*4 марта* – избран по предложению И. С. Аксакова действительным членом старейшего в России Общества любителей российской словесности при Московском университете (выборы прошли заочно).

*Около 8 ноября* – из-за разногласий с новым губернатором Н. М. Муравьёвым подаёт прошение о переводе в Тверскую губернию.

*Ноябрь* – избран членом созданного по инициативе А. В. Дружинина Общества для пособия нуждающимся литераторам и учёным (Литературного фонда).

*19 декабря* – акт о разделе имения, по которому Салтыков получал в общее владение с братом Сергеем часть земель в Угличском и Даниловском уездах Ярославской губернии и в Калязинском уезде Тверской губернии, с тем чтобы доходы делились поровну. На случай возможного раздела предусматривались условия, по мнению Салтыкова, ему «в ущерб»: ему предназначались 16 безземельных деревень с 523 душами в трёх уездах двух губерний. Такое решение матери Салтыков в записке судебному чиновнику 1872 года объяснял следующим образом: «...так как Михаил считался в семействе строптивым, то и предполагалось, вероятно, этим указанием его обуздать» (19 II, 331–332).

*1860, 3 апреля* – назначен тверским вице-губернатором.

25 июня – вступил в должность.

2 июля – как официальный редактор начинает подписывать «Тверские губернские ведомости».

29 июля – произведён «за отличие в статские советники» со старшинством с 21 апреля (узнал о новом чине 12 августа).

30 июля – губернатор уведомляет Салтыкова об утверждении министром внутренних дел его предложения оставлять на свободе крестьян, ссылаемых помещиками в Сибирь, до окончательного разрешения их дела.

9 августа – пишет постановление губернского правления, отклоняющее проект создания при тверской полиции особого отделения для надзора над рабочими на том основании, что «проект этот может послужить лишь к стеснению рабочего класса новыми формальностями и к обложению его отяготительными сборами».

1861, 2 января – в донесении жандармского штаб-офицера дана характеристика вице-губернатора Салтыкова: «Сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно подчинённых; этими качествами приобрёл особенное доверие и внимание Начальника губернии...»

19 февраля – император Александр II подписал Манифест об освобождении крестьян и Положения к нему.

20 февраля – цензурное разрешение февральского номера журнала «Современник» с очерком Н. Щедрина «Литераторы-обыватели», где впервые появляется образ города Глупова.

23 мая – во «Всепоподданнейшем отчёте начальника Тверской губернии за 1860 год», представленном в Комитет министров, подчёркнуто: «Из числа лиц, состоящих на службе в составе губернского правления, обращает на себя особенное внимание и заслуживает одобрения вице-губернатор статский советник Салтыков – по знанию дела и усердию к службе».

Начало июля – Салтыков получает по почте два пакета с десятью экземплярами прокламации общества «Великорусс» и неофициально предъявляет эти «листки» губернатору графу П. Т. Баранову, который уничтожает их в присутствии Салтыкова.

11 сентября – Салтыков после получения по почте десяти экземпляров второго номера листка «Великорусс» предъявляет их губернатору в надежде, что тот их вновь уничтожит. Однако Баранов, предупреждённый циркулярным предписанием министра внутренних дел, отправляет прокламации вместе с конвертами в министерство.

4 октября – в Петербурге по обвинению в распространении листов «Великорусса» арестован В. А. Обручев. Социал-радикалы в столичных литературных кругах без должных оснований связывают это с поступком Салтыкова.

11 октября – Салтыков подаёт прошение в Тверское дворянское депутатское собрание о внесении его с женой в дворянскую родословную книгу Тверской губернии.

Октябрь или начало ноября – Салтыков подписывает письмо к исправляющему должность губернского предводителя дворянства В. Д. Бровцыну от тверских дворян с протестом против натиска помещиков-крепостников и отказом от сословных привилегий во имя создания «прочного основания» для единения всех сословий (вероятно, Салтыков был одним из его авторов).

7 декабря – цензурное разрешение ноябрьского номера «Современника» с очерком «Наши глуповские дела», в котором Щедрин, размышляя о том, что есть история города Глупова, в конце концов восклицает: «Возможна ли такая история, которой содержанием был бы непрерывный бесконечный испуг?!»

12–13 декабря – состоялся первый съезд мировых посредников Тверской губернии, за проведение которого отвечал Салтыков как исполнявший обязанности губернатора.

Декабрь – для покупки подмосковного имения Витенёво Салтыков берёт в долг деньги сроком на два года у тверской знакомой Н. С. Ржевской и 23 тысячи рублей серебром у матери.

1862, 9 февраля – высочайший указ об отставке Салтыкова на основании его прошения от 20 января («по домашним обстоятельствам и крайне расстроенному здоровью»).

22 марта – в зале тверского Дворянского собрания состоялся литературный вечер, организованный Салтыковым в пользу неимущих чиновников. На вечере выступили приглашённые им А. Н. Островский, А. Н. Плещеев, А. М. Жемчужников, И. Ф. Горбунов. Салтыков прочитал рассказ «Озорники» из «Губернских очерков».

Середина марта – апрель – Салтыков в Москве пытается организовать издание литературно-политического журнала «Русская правда» с целью «утверждения в народе деятельной веры в его нравственное достоинство и деятельного же сознания естественно проистекающих отсюда прав».

6 апреля – цензурное разрешение журнала братьев Достоевских «Время» с двумя пьесами Щедрина «Соглашение» и «Погоня за счастьем» под общим заглавием «Недавние комедии».

5 мая – отказ под формальным предлогом министра народного просвещения разрешить издание «Русской правды».

19 июня – приостановка цензурой издания журнала «Современник» на восемь месяцев.

7 июля – арест Н. Г. Чернышевского и заключение его в Петропавловскую крепость.

18 сентября – окончательный отказ разрешить «Русскую правду» на основании письма начальника III отделения Долгорукова, полагавшего, что «даже при неимении предосудительных сведений насчёт тех лиц, которые желают быть редакторами, нельзя быть уверену в благонадёжности их собственно по этому званию...».

Начало ноября – Салтыков приезжает в Петербург и с декабря работает в редакции журнала «Современник» с окладом 150 рублей в месяц.

1863, 5 февраля – цензурное разрешение первой после приостановления сдвоенной книжки «Современника» (I–II) с произведениями Салтыкова и началом его публицистического цикла «Наша общественная жизнь».

Март – май – в журнале «Современник» печатается роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

Вторая половина мая – первая половина сентября – Салтыков с женой живёт в своём имении в селе Витенёве (куплено на имя жены в начале 1862 года).

1864, лето – осень – Салтыковы в Витенёве.

Лето – О. М. Салтыкова законным порядком предъявила к взысканию заёмные письма М. Е. Салтыкова.

Октябрь – Салтыков решает покинуть журнал «Современник» из-за разногласий с входящими в редакцию М. А. Антоновичем, А. Н. Пыпиным, Г. З. Елисеевым (под разными предлогами было отвергнуто 18 его статей, что Салтыков называл цензурой «духовной консистории»).

20 октября – подаёт на имя министра финансов М. Х. Рейтерна, также воспитанника Царскосельского лицея, главного руководителя и деятеля финансовых реформ, прошение об определении его на открывшуюся вакансию председателя казённой палаты в Полтаве.

6 ноября – назначен, возможно, по его просьбе, на другую вакансию – председателем Пензенской казённой палаты.

Не позднее 25 ноября – Салтыковым написано письмо в редакцию «Современника», Н. А. Некрасову (опубликовано в № 11–12): «Оставляя Петербург, я могу на будущее время быть только сотрудником издаваемого

Вами журнала, не принимая более участия в трудах по редакции».

1865, 14 января – вступил в должность председателя Пензенской казённой палаты. Отходит от литературной деятельности и не печатает в этом году ни одного произведения.

1866, 1 июня – после террористического акта Каракозова закрыты журналы «Современник» и «Русское слово».

5 сентября – О. М. Салтыкова заключила условия с сыном Сергеем Евграфовичем, который обязывался по доверенности М. Е. Салтыкова «уплатить долг в течение 8 лет из доходов должника».

2 ноября – ввиду напряжённых отношений с губернатором Александровским, в действиях которого Салтыков нашёл злоупотребление служебным положением, он, по собственной просьбе, назначен управляющим казённой палатой в Туле.

9 декабря – Салтыкову присвоен чин действительного статского советника (со старшинством от 2 декабря).

29 декабря – вступил в новую должность.

1867, 13 октября – переведён на должность управляющего Рязанской казённой палатой.

8 ноября – вышел на службу в Рязани.

1868, 29 мая – на основании докладной записки, составленной в III-м отделении, Министерство финансов отзывает Салтыкова с должности.

14 июня – уволен в окончательную отставку с пенсией 1000 рублей серебром в год, но без обычного при таких чине и должности награждения орденом.

Сентябрь – становится редактором первого отдела (беллетристика, переводные романы; поэзия – совместно с Некрасовым) журнала «Отечественные записки» и деятельнейшим его автором (с 1869-го по апрель 1884 года печатается только здесь).

1869, январь – начинается публикация «Истории одного города».

Февраль – март – публикация первых сказок.

Октябрь – первый очерк из цикла «Господа ташкентцы».

С 22 декабря по 2 февраля 1871 года – Салтыков состоит кандидатом в члены комитета Литературного фонда.

1870, <12 февраля> – О. М. Салтыкова даёт расписку в получении от Салтыкова части его долга в сумме 1150 рублей серебром.

Сентябрь – завершена публикация «Истории одного города».

1871, 2 февраля – Салтыков избран членом комитета Литературного фонда.

1872, январь – публикация первой главы романа «Дневник

провинциала в Петербурге».

*1 февраля* – рождение сына Константина.

*7 июля* – смерть С. Е. Салтыкова в Москве.

*10 июля* – приезд в Спасское на похороны Сергея Евграфовича.

*19 июля* – первое предостережение «Отечественным запискам», в частности, в связи с публикацией «Дневника провинциала».

*Октябрь* – публикация первого очерка из цикла «Благонамеренные речи» – «В дороге».

*Декабрь* – выходит отдельное издание «Дневника провинциала в Петербурге».

*26 декабря* – на Второй передвижной выставке помещён портрет Салтыкова работы Н. Н. Ге.

*1873, 9 января* – рождение дочери Елизаветы.

*Между 14 и 20 января* – выходит первое книжное издание «Господ ташкентцев».

*8—17 мая* – поездка в Заозерье и Углич по делам раздела общего с Сергеем Евграфовичем имения. Также Салтыков побывал в Твери и у матери в Ермолине.

*Между 25 ноября и 1 декабря* – выходит первое книжное издание цикла «Помпадуры и помпадурши».

*1874, 2 февраля* – Салтыков переизбран членом комитета Литературного фонда.

*Май – сентябрь* – за несколько статей, в том числе за «Тяжёлый год» Салтыкова, майская книжка «Отечественных записок» задержана министром внутренних дел (17 мая), запрещена Советом министров (30 июля) и уничтожена.

*Сентябрь* – начата публикация цикла «В среде умеренности и аккуратности».

*3 декабря* – в селе Цедилове, имении Ильи Евграфовича, скончалась О. М. Салтыкова. Похоронена в склепе под церковью Святого Георгия на Хотче (ныне деревня Станки) близ Ермолина.

*Около 11 декабря* – приезд Салтыкова на могилу матери. Во время этой поездки он простудился и тяжело заболел суставным ревматизмом, что привело к общему ослаблению всего организма: «С 1875 года не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно».

*1875, февраль* – обострение болезни Салтыкова.

*12 апреля* – по рекомендации доктора Н. А. Белоголового впервые выезжает на лечение за границу.

15 (27) апреля – 24 августа (5) сентября – Салтыков с семьёй отдыхает в Баден-Бадене; встречи с Тургеневым, А. Ф. Писемским, П. В. Анненковым, Г. З. Елисеевым и др.

Август – цензура запрещает предназначавшуюся для сентябрьской книжки «Отечественных записок» четвёртую главу «Экскурсий в область умеренности и аккуратности».

25 августа (6 сентября)–8(20) октября – Салтыков в Париже; встречи с Тургеневым, Елисеевым, Г. И. Успенским, М. М. Стасюлевичем и др.

Октябрь – публикация в цикле «Благонамеренные речи» очерка «Семейный суд», ставшего впоследствии первой главой романа «Господа Головлёвы».

15 (27) октября – 5(17) апреля 1876 года – Салтыков лечится в Ницце.

1876, 6(18) апреля – 5(17) мая – Салтыков в Париже; встречи с Тургеневым, Анненковым и др.; знакомство с Флобером, Золя и Эдмоном Гонкуром.

Июнь – возвращение в Россию; проводит лето в Витенёве.

26 августа – тяжело заболевший Некрасов уезжает в Крым; с этого времени Салтыков руководит редакцией «Отечественных записок».

9 сентября – выходит в двух томах отдельное издание «Благонамеренных речей».

1877, 2 февраля – Салтыков избран товарищем (заместителем) председателя комитета Литературного фонда (по 2 февраля 1878 года).

Февраль – начинается публикация романа «Современная идиллия».

Март – май – Салтыков продаёт Витенёво и покупает имение в селе Лебяжье под Ораниенбаумом; живёт здесь до конца августа, по понедельникам приезжая в Петербург.

Ноябрь – первое издание книги «В среде умеренности и аккуратности» (датирована 1878 годом).

27 декабря, в 8 часов 50 минут вечера – скончался Н. А. Некрасов (похороны 30 декабря).

1878, 10 марта – Салтыков подаёт прошение в Главное управление по делам печати об утверждении его ответственным редактором «Отечественных записок».

27 марта – министр внутренних дел А. Е. Тимашев по докладу начальника Главного управления В. В. Григорьева утверждает Салтыкова ответственным редактором.

8 апреля – Салтыков заключает договор с собственником «Отечественных записок» А. А. Краевским об издании журнала: за последним оставлено право просматривать в корректурных листах номера



журнала и отказываться от печатания материалов, могущих вызвать административное или судебное преследование.

*Август* – начинается публикация цикла «Убежище Монрепо».

*1879, 14 февраля* – первое предостережение «Отечественным запискам» за «Внутреннее обозрение».

*9 марта* – вечер в пользу Литературного фонда, где Салтыков читает первые главы «Современной идиллии».

*Сентябрь* – арест сентябрьской книжки «Отечественных записок»: вырезка листа из «Finis Монрепо» и половины главы из «Круглого года».

*28 декабря* – чтение в пользу Литературного фонда; Салтыков читает «Монрепо-усыпальница» и «Finis Монрепо».

*30 декабря* – избран членом ревизионной комиссии Литературного фонда.

В 1879 году И. Н. Крамской завершает начатый в 1877 году портрет Салтыкова (по заказу П. М. Третьякова). По просьбе писателя делает для него копию портрета.

*1880, 2 февраля* – Салтыков стал членом комитета Литературного фонда (по 7 декабря 1881 года).

*Март* – выходит книжное издание «Убежища Монрепо».

*До 25 мая* – Салтыков составляет проект постановления Литературного фонда об учреждении в связи с открытием памятника Пушкину Пушкинского капитала для издания замечательных литературных и учёных трудов.

*Между 16 и 23 июня* – выходит отдельное издание «Круглого года».

*28 июня* – Салтыков выезжает за границу, где посещает Швейцарию, Баден-Баден, Париж.

*Июль* – первое отдельное издание «Господ Головлёвых».

*25 сентября* – возвращение в Петербург.

*21 декабря* – восьмилетний сын Салтыкова Константин избирается, по заявлению отца, членом Литературного фонда.

*1881, 28 января* – кончина Ф. М. Достоевского. Салтыков просит Н. К. Михайловского представлять на похоронах «Отечественные записки».

*29 января* – Салтыков присутствует на панихиде по Достоевскому.

*1 марта* – в Санкт-Петербурге злодейски убит император Александр II. Осуждение Салтыковым этого террористического акта.

*Начало июня* – Г. З. Елисеев, тяжело заболев, уезжает за границу, фактически выйдя из редакции «Отечественных записок».

*Около 30 июня* – отъезд Салтыкова за границу.

*С 3(15) июля по 19(31) августа* – Салтыков в Висбадене.

*Июль* – начинается публикация цикла «Письма к тётеньке».

*С 20 августа (1 сентября) по 21 сентября (3 октября)* – Салтыков в Париже.

*31 августа* – по случаю 25-летия со дня начала печати «Губернских очерков» в Москве группа литераторов, художников, артистов, профессоров устраивает обед. Образован денежный фонд для открытия школы имени Салтыкова.

*Между 9 и 15 сентября* – тиражом 5020 экземпляров выходит единственное прижизненное издание книги «За рубежом».

*22 сентября* – Салтыков возвращается в Петербург.

*Около 19 декабря* – впервые составил план издания Полного собрания своих сочинений и ездил вместе с А. Н. Островским для переговоров к книгопродавцу М. О. Вольфу.

*Декабрь* – скульптор Л. А. Бернштам делает бюст Салтыкова.

*1882, 2 марта* – Салтыков и М. М. Стасюлевич организовали обед в честь А. Н. Островского.

*27 апреля* – юбилей доктора С. П. Боткина. Во время приветственного обеда физиолог И. М. Сеченов предлагает тост за Салтыкова как «уважаемого диагноста наших общественных зол и недугов».

*Середина октября* – выходит отдельное издание «Писем к тётеньке».

*1883, 1 января* – ближайшего помощника Салтыкова по журналу Н. К. Михайловского высылают из Петербурга.

*22 января* – второе предостережение «Отечественным запискам», в частности, за публикацию сцен «Злополучный пискарь...» в «Современной идиллии».

*Январь – май* – по обеим столицам и в российской глубинке ходят слухи о высылке Салтыкова из Петербурга.

*Около 12 февраля* – из предосторожности Салтыков вырезает из уже готового номера журнала три свои сказки: «Самоотверженный заяц», «Бедный волк» и «Премудрый пискарь».

*19 марта* – в петербургском ресторане Донона проходит дружеский обед в честь 35-летнего юбилея литературной деятельности Салтыкова.

*8 апреля* – в ресторане Донона устроен памятный завтрак Салтыкова с друзьями в связи с годовщиной его высылки в Вятку.

*7 мая* – завершение журнальной публикации «Современной идиллии». В этом же году выходит книжное издание романа.

*Не позднее 5 июля* – нотариус Н. П. Орлов и художник Д. Н. Брызгалов присылают Салтыкову аллегорическую картину-коллаж, где сатирик изображён выходящим из «леса реакции», что вызывает благодарственное

письмо последнего.

*5 июля – 23 августа* – заграничная поездка Салтыкова (большую часть времени провёл в Баден-Бадене).

*Август* – начинается публикация «Пошехонских рассказов».

*27 сентября* – похороны И. С. Тургенева на петербургском Волковом кладбище. Салтыков участвует в панихиде.

*20–22 декабря* – с помощью А. Н. Островского и его брата-министра проводит через цензуру сказки, вырезанные из февральского номера (напечатаны в № 1 за 1884 год).

*1884, 3 января* – арест С. Н. Кривенко, одного из помощников Салтыкова по ведению «Отечественных записок».

*Февраль – март* – Салтыков вынужден изъять из журнала несколько сказок.

*8 марта* – объяснение Салтыкова с начальником Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистовым.

*20 апреля* – выход «Правительственного сообщения» о прекращении Совещанием министров внутренних дел, народного просвещения и юстиции и обер-прокурора Святейшего синода издания «Отечественных записок» как «органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет своими ближайшими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ» (журнал имел около семи тысяч подписчиков – значительное число для того времени; большая их часть получила в компенсацию подписку на московский ежемесячный журнал «Русская мысль»).

*Октябрь – ноябрь* – выходят книги «Недоконченные беседы (“Между делом”))» и «Пошехонские рассказы».

*Ноябрь* – начало публикации цикла «Пёстрые письма» в журнале «Вестник Европы».

*1885, 19 апреля* – избрание Салтыкова и Л. Н. Толстого почётными членами Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете (действительным членом состоял с 1859 года).

*18 июня – 29 августа* – последняя поездка Салтыкова за границу (в основном живёт в Висбадене).

*Между 13 и 24 ноября* – тяжёлый приступ болезни.

*1886, начало июня – 27 августа* – живёт на даче в Финляндии (Новая Кирка).

*Сентябрь* – первое книжное издание сборника сказок – «23 сказки».

*Между 9 и 12 ноября* – отдельное издание «Пёстрых писем».

*1887, 30 марта* – составляет план издания своих сочинений.

*С 21 мая по 29 августа* – живёт на даче (станция Серебрянка Варшавской железной дороги, около 150 вёрст от Петербурга), где работает над «Пошехонской стариной».

*Октябрь* – в «Вестнике Европы» начинает печататься «Пошехонская старина».

*17 ноября* – составляет новый план собрания сочинений для издателя И. М. Серебрякова (не состоялось).

*1888, с 5 июня по 18 августа* – Салтыков на даче (станция Преображенская (Толмачёво) Варшавской железной дороги). В «Вестнике Европы» продолжается печатание «Пошехонской старины» (№ 4,5,9—12).

*1889, середина марта* – сильное ухудшение здоровья Салтыкова.

*Апрель* – письмо-завещание сыну.

*Середина апреля* – выходит в свет первый том девятитомного собрания сочинений Салтыкова в издании автора (типография М. М. Стасюлевича). Остальные тома вышли после кончины писателя.

*26 апреля* – Салтыков лишился речи и владения руками, затем потерял сознание.

*28 апреля, 3 часа 20 минут дня* – не приходя в сознание, Михаил Евграфович Салтыков скончался.

*2 мая* – похороны на Волковом кладбище, по завещанию Салтыкова – рядом с могилой Тургенева (в советское время, вопреки последней воле писателя, прах был перенесён в другое место кладбища).

## **Краткая библиография**

## Основные издания сочинений М. Е. Салтыкова

Сочинения М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). Т. 1–9. СПб., 1889–1890 (*первое собрание сочинений писателя. Составлено по его плану. Первый том вышел при его жизни*).

Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений: В 20 т. М.; Л., 1933–1941 (*фактически полным не является; имеет немало текстологических изъянов; сопроводительные статьи и комментарии идеологически конъюнктурны*).

Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. (24 кн.). М., 1965–1977 (*доныне остаётся самым полным, текстологически проработанным, комментированным изданием сочинений и писем автора*).

М. Е. Салтыков-Щедрин о литературе и искусстве: Избранные статьи, рецензии, письма. М., 1953.

Салтыков-Щедрин М. Е. Сказки / Подг. изд. В. Н. Баскаков, А. С. Бушмин. Л., 1988 (*пока единственная книга Салтыкова, выпущенная в академической серии «Литературные памятники» издательства «Наука». К сожалению, сопроводительный аппарат книги, подготовленный по канонам советского литературоведения, сегодня устарел*).

Салтыков-Щедрин М. Е. Мысли о литературе и искусстве: Сборник / Сост., вступ. ст. и прим. М. Г. Зельдовича. Киев, 1989 (*Памятники эстетической мысли*).

Салтыков-Щедрин М. Е. Комедии и драматическая сатира / Сост., авт. вступ. ст. и прим. В. А. Туниманов. Л., 1991 (*Библиотека русской драматургии*).

Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. СПб., 2000. Издание подготовлено Е. Н. Грачёвой и А. В. Востриковым в стремлении преодолеть стереотипы советского щедриноведения.

Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. СПб., 2010 (*содержит обширный сводный комментарий к произведению; включены фрагменты прежде не публиковавшихся комментариев академика А. И. Белецкого*).

Салтыков-Щедрин М. Е. Иронические и саркастические мысли на разные случаи жизни / Сост. В. В. Прозоров. М., 2019.

## Воспоминания и биографические работы

М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр. и доп. М., 1975. (1-е изд. – 1957).

Кривенко С. Н. М. Е. Салтыков. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк. СПб., 1891 (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова).

Арсеньев К. К. Салтыков-Щедрин. (Литературно-общественная характеристика). СПб., 1906 (Серия «Вожди русского сознания»).

Салтыков К. М. Интимный Щедрин. М.; Пг., 1923 (неоднократно републиковалась в посткоммунистическое время с научными комментариями М. В. Строганова – 1-й выпуск Щедринского сборника, 1-я кн. антологии «М. Е. Салтыков-Щедрин: pro et contra» и др.).

Амфитеатров А. В. Михаил Евграфович Салтыков. – В кн.: Салтыков М. Е. Избранные сочинения. Т. I. Берлин; Пг.; М., 1923.

Иванов-Разумник Р. В. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Часть первая. 1826–1868. М., 1930.

Эльсберг Я. Е. Салтыков-Щедрин. М., 1934 (Жизнь замечательных людей).

Макашин С. А. Салтыков-Щедрин. Биография (1826–1856). М., 1949 (2-е изд. – М., 1951).

Макашин С. А. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860-х годов. Биография. М., 1972.

Макашин С. А. Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860-е – 1870-е годы. Биография. М., 1984.

Макашин С. А. Салтыков-Щедрин. Последние годы. 1875–1889. Биография. М., 1989.

Турков А. М. Салтыков-Щедрин. М., 1964 (Жизнь замечательных людей; 2-е изд., испр. и доп. – 1965).

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в портретах, иллюстрациях, документах / Сост. В. Н. Баскаков; под ред. Е. И. Покусаева. Л., 1968.

Турков А. М. Салтыков-Щедрин. 3-е изд., доп. М.: Советская Россия, 1981.

Турков А. М. Ваш суровой друг: Повесть о М. Е. Салтыкове-Щедрине. М., 1988 (Писатели о писателях) (5-е изд., испр. и доп. М., 2014).

Тюнькин К. И. Салтыков-Щедрин. М., 1989 (Жизнь замечательных людей).

*Соколова К. И.* Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: Книга для учащихся старших классов. М., 1993.

*Салтыков К. М.* Пенза – Петербург: Статьи, заметки, письма, воспоминания / Сост. Д. Ю. Мурашов. Пенза, 2016.

*Сажин В. Н.* Михаил Салтыков-Щедрин. Одинокий скорпион. СПб., 2021 (Жизнеописания).

*М. Е.* Салтыков-Щедрин и его современники: Энциклопедический словарь / Сост. и ред. Е. Н. Строганова. СПб., 2021.



## Материалы и исследования

Литературное наследство. Т. 11–12: М. Салтыков (Щедрин). Кн. 1. М., 1933.

Литературное наследство. Т. 13–14: М. Салтыков (Щедрин). Кн. 2. М., 1934.

Литературное наследство. Т. 67: Революционные демократы. Новые материалы. М., 1959.

Литературное наследство. Т. 87: Из истории русской литературы и общественной мысли. 1860–1890-е гг. М., 1977.

Ольминский М. С. Щедринский словарь / Под ред. М. М. Эссен, П. Н. Лепешинского. М., 1937.

М. Е. Салтыков-Щедрин: К пятидесятилетию со дня смерти: Статьи и материалы. Л., 1939.

Библиография М. Е. Салтыкова-Щедрина. Т. I. М. Е. Салтыков-Щедрин в печати / Сост. Л. М. Добровольский, В. М. Орлов. Л., 1949.

Добровольский Л. М. Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1848–1917. М.; Л., 1961.

Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1918–1965 / Сост. В. Н. Баскаков. М.; Л., 1966.

Боград В. Э. Журнал «Отечественные записки». 1868–1884: Указатель содержания. М., 1971.

Салтыков-Щедрин. 1826–1976: Статьи, материалы, библиография. Л., 1976. Публикуется библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1965–1974.

Салтыков-Щедрин и русская литература. Л., 1991. Публикуется библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1974–1987.

М. Е. Салтыков-Щедрин: pro et contra: Антология: В 2 кн. СПб.: Изд-во РХГА. Кн. 1. 2013; Кн. 2. 2016. Публикуется библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1988–2016.

Щедринский сборник. Статьи. Публикации. Библиография. Тверь, 2001.

Щедринский сборник. Вып. 2. Тверь, 2003.

Щедринский сборник. Вып. 3. Тверь, 2009.

Щедринский сборник. Вып. 4: Статьи. Публикации. Материалы энциклопедии // Культура и текст: сетевой научный журнал. Барнаул, 2015. № 4 (22).

Щедринский сборник. Вып. 5: М. Е. Салтыков-Щедрин в контексте времени. М., 2016.

Журавлёв Н. М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии. Калинин, 1939.

Вольпе Л. М. М. Е. Салтыков-Щедрин в Пензе. Пенза, 1951.

Прямков А. М. Е. Салтыков-Щедрин в Ярославском крае. 2-е изд., доп. и перераб. Ярославль, 1954.

Князев И. В. М. Е. Салтыков-Щедрин в Туле. Тула, 1960.

Журавлёв Н. В. Салтыков-Щедрин в Твери. 1860–1862 / Ред., биогр. справка и вступ. ст. Н. В. Яковлева. Калинин, 1961.

Князев И. В. М. Е. Салтыков-Щедрин в Твери (1860–1862). Летопись служебной деятельности // Уч. зап. Астрахан. гос. пед. ин-т им. С. М. Кирова. Т. 27. Вопросы литературы и журналистики. Астрахань, 1969. С. 115–156.

Кудрявцева З. И. Документы к биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина // Русская литература. 1979. № 2. С. 114–116.

М. Е. Салтыков-Щедрин и Тверь / Сост. А. Пьянов. М., 1976.

Киселёв В. Н. Салтыков-Щедрин в подмосковном крае. М., 1970.

Петряев Е. Д. М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке. 2-е изд. Киров, 1988.

Самосюк Г. Ф. Летопись жизни и деятельности М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1879–1881. Саратов, 1990.

Келейникова Н. М. Правда слова не знает границ (М. Е. Салтыков-Щедрин в западноевропейской печати). Ростов н/Д., 1989.

Макашин С. А. Изучая Щедрина: (Из воспоминаний) // Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 120–150.

Туниманов В. А. О Сергее Александровиче Макашине и его последней книге // Русская литература. 1990. № 4. С. 170–175.

Строганова Е. Н. [сост.]. М. Е. Салтыков-Щедрин и Тверской край. Библиохронологический указатель. Тверь, 1991.

Шестопалова Г. А. Летопись жизни и творчества Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, 1826–1848 годы / Моск. пед. ун-т. Каф. рус. клас. лит. М., 1994.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Тверские страницы жизни / Отв. ред. Е. Н. Строганова. Тверь, 1996.

М. Е. Салтыков-Щедрин в зеркале исследовательских пристрастий / Ред. – сост. Р. Д. Кузнецова, Е. Н. Строганова. Тверь, 1996.

Цензура в России в конце XIX–XX веке: Сборник воспоминаний / Сост., авт. вступ. ст., прим. и ук. Н. Г. Патрушева. СПб., 2003.

Чечнева А. В. М. Е. Салтыков-Щедрин в Рязани. По местам жизни,

деятельности и творчества. Рязань, 2008.

*Строганов М. В.* М. Е. Салтыков и Н. Щедрин: спор об имени // М. Е. Салтыков-Щедрин: pro et contra: Антология. Кн. 1. СПб., 2013. С. 814–818.

---

<b>notes</b>
--------------

## Примечания

Все даты в книге, за исключением особо оговорённых, даны по старому стилю.

Здесь и далее произведения и письма Салтыкова цитируются по изданию: *Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. М., 1965–1977. – Прим. авт.*

Высший свет (фр.). – Здесь и далее примечания автора.

4

Проклятый (*ut.*).



В незаконченном и неотправленном письме П. А. Висковатову. См.: *Покровская Е.* Достоевский и петрашевцы // Достоевский. Статьи и материалы. Пг., 1924. С. 270.

*Дмитриев А. С.* Теория западноевропейского романтизма // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 11.

*Дмитриев А. С. Предисловие // Избранная проза романтиков. Т. 1. М., 1979. С. 17.*

Имеется в виду памфлет «Histoire edificante et curieuse de Rothschild I-er, roi des juifs» («Поучительная и забавная история Ротшильда I, короля евреев») Жоржа Мари Матьё-Дернвеля (Mathieu-Dairnvaell), изданный в Париже в 1846 году и высоко оценённый Фридрихом Энгельсом в статье «Правительство и оппозиция во Франции» (1846).

*Кирпотин В. Я.* Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина. М., 1957. С. 31.

*Макашин С. А.* Салтыков-Щедрин. Последние годы. 1875–1889: Биография. М., 1989. С. 4.

См.: *Евгеньев-Максимов В.* Новые материалы о сотрудничестве М. Е. Салтыкова-Щедрина в «Современнике» // Литературное наследство. Т. 13–14. Кн. II. М., 1934. С. 59.

Необходимо заметить, что среди гусарских полков русской императорской армии Можайского полка не было (но, согласимся, именование очень красноречивое, многозначное) и звание майор также не из гусарского лексикона – это, по кавалерийским чинам, ротмистр. Гусары появились в России при Петре I, а новое качество это воинство получило при Екатерине II, когда упразднённое на Украине слободское казачье войско было переформировано в пять гусарских полков, получивших названия, связанные так или иначе с городами, где они создавались: Ахтырский, Изюмский, Сумский, Острогожский и Харьковский. В XIX веке количество гусарских полков было увеличено, но при императоре Александре III армейские гусарские и уланские полки были вновь переформированы – теперь в драгунские полки и т. д. «Пошехонские рассказы» начали печататься в августовском (1883) номере журнала «Отечественные записки», когда новая военная реформа была в разгаре, что придавало всей истории дополнительный колорит.



Справедливости ради в очерке есть и второй эпиграф, из трёхтомной монографии экономиста Л. В. Тенгоборского «О производительных силах России» (М., 1854, 1858): «Винокурение, важное само по себе, как отрасль промышленности, в России имеет ещё большую важность, если смотреть на него с точки зрения наших земледельческих интересов». Этот тезис всячески развивается Лесковым.

Возможно, в письме Салтыков пересказывает (и даже литературно облагораживает) стихотворно беспомощный анонимный памфлет «Рассказ В. П. Александровского своим детям», ходивший по губернии в списках и в конце концов попавший на глаза пензенского жандармского штаб-офицера подполковника Андрея Егоровича Глобы. Благодаря заботливым донесениям этого интеллектуала с университетским образованием и крепости соответствующих архивов сохранён как этот «Рассказ...», так и немало подробностей и документов о пребывании Салтыкова в Пензе и о губернской жизни в целом.

Необходимо обратить внимание на то, что сын губернатора Сергей Васильевич Александровский (1863–1907), долгие годы успешно служивший в Обществе Красного Креста, включая период Русскояпонской войны, в 1906 году был назначен пензенским губернатором и погиб от руки эсера-террориста, устроившего в Зимнем театре Пензы кровавую бойню (её жертвами стали ещё трое, в том числе театральный художник).

Салтыков в этот кадр попасть не успел – как мы помним, его литературная слава началась через несколько месяцев, причём поначалу на страницы «Современника» его не пустили.

К слову, в Твери памятник Салтыкову (Щедрину) сооружён возле цирка; а в Туле некоторое время назад появился энтузиаст, не без оснований предлагающий переименовать до сих пор существующую улицу Ленина в улицу Салтыкова-Щедрина (хотя такая в Туле уже есть), площадь Ленина – в площадь Салтыкова-Щедрина, демонтировать памятник Ленину на площади Салтыкова-Щедрина и установить на постамент памятник Салтыкову-Щедрину. Как известно, напоминает энтузиаст, вождь мирового пролетариата туляков не любил, заявив: «Значение Тулы для республики огромно, но народ в ней не наш» (<https://www.roi.ru/17582/>).

*Кузнецов Н. Н.* Воспоминания о М. Е. Салтыкове-Щедрине (1865–1868). – В кн.: М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересм. и доп. Т. 1. М., 1975. С. 174–175.

Действительный статский советник Пётр Дмитриевич Стремоухов, прилежно учившийся в Александровском лицее, был знаком Салтыкову с 1840-х годов. Вернувшись в Рязань, Салтыков, разумеется, узнал пикантные подробности замены Стремоухова на Болдарева: первый не устоял перед чарами жены губернского чиновника Веры Александровны Басаргиной. Вне сомнений, Салтыкову стало известно, что и новый губернатор также увлёкся этой «рязанской Аспазией» (об этом даже докладывал в Петербург в своих аналитических записках жандармский штаб-офицер). Салтыков по-своему распорядился знанием об этих губернских страстях – они творчески перевоплотились в рассказе «Старая помпадурша» (1868). Интересовали его и прикровенные связи Стремоухова с впоследствии знаменитейшим строителем российских железных дорог Самуилом Соломоновичем Поляковым, в бытность его губернатором – почётного члена Рязанского губернского попечительства детских приютов, купца 1-й гильдии, но здесь, кажется, до образных обобщений фантазия не дошла.

См. статью И. С. Аксакова об этом деле: *Аксаков И. С.* Полное собрание сочинений. М., 1886. Т. 4. Общественные вопросы по церковным делам; Свобода слова; Судебный вопрос; Общественное воспитание. С. 610–618.



Также привлекает внимание личность служащего в губернском прокурорском надзоре товарища (то есть заместителя) прокурора по Ранненбургскому и Данковскому уездам, губернского секретаря Николая Петровича Фролова. Возможно, это как раз тот Фролов, который без инициалов упоминается Болдаревым. Пищу в предположительной тональности, так как в круге возможных рязанских знакомцев Салтыкова просматривается ещё один Фролов, Александр Семёнович, коллежский регистратор, депутат Дворянского собрания от Ряжского уезда. Вместе с тем для него не находится какой-либо конфликтной коллизии, могущей вызвать описываемый масленичный переполох.

Здесь Аксаков вспоминает инцидент в Большом театре. Московские полицейские за слишком бурные, по их мнению, аплодисменты во время представления оперы «Жизнь за царя» вывели из зала и отправили в «кутузку» молодых театралов, после чего мировой судья, не разбираясь в обстоятельствах, приговорил их к штрафу». «...в новом суде, как в зеркале, отразится, без всяких подбавочных обличений, сама собою вся красота их расправы», – писал автор статьи.

Рейтерн к тому времени уже давно имел чин действительного тайного советника, и, как отмечает С. А. Макашин, его следовало титуловать «Ваше высокопревосходительство». Представить, что Салтыков не знал об этом, невозможно, как и то, что он допустил опisku. Эта эпистолярная подробность, как и письмо в целом, наглядно показывает особенности характера Салтыкова.

Русские писатели. 1800–1917. Т. 2. М., 1992. С. 194.

Письмо С. Межевичу от 20 июля 1838 года цитируется по книге: *Орлов В. Н. Пути и судьбы. Литературные очерки.* М.; Л., 1963.

В некрологе «Отечественных записок» (1868. № 8), написанном поэтом и переводчиком Николаем Курочкиным, было подчёркнуто, что Писарев, которому было запрещено выезжать за границу, отправился в Дубельн, близ Риги, «по совету врачей, для поправления своего здоровья, расстроенного как усиленными литературными занятиями, так и ненормальными условиями жизни, в каких незадолго до своей смерти находился около четырёх лет» (по обвинению в политической агитации был приговорён к заключению в крепости). Также автор некролога счёл необходимым дать такую подробность погребения Писарева на Волковском кладбище после отпевания в церкви Мариинской больницы: «Чёрный гроб его был украшен множеством цветов. Несмотря на тяжесть его (под внешним дубовым находился свинцовый гроб), провожавшие его друзья (и между ними также и девушки) несли далеко на руках».

Слово «клубничка», как помним, гоголевский Ноздрёв использовал для фигурального обозначения любовных походов. Сатирическое понятие «клубника» Салтыков впервые употребил в «Нашей общественной жизни» (6, 16). Бульварный листок «Петербургская клубничка. Не для детей» действительно выходил в столице в конце 1862 года, причём «считал даже своей обязанностью осмеивать “направления”» (*Кравцов Н. И. Сатирическая журналистика 60-х годов. – В кн.: Шестидесятники. М.; Л., 1933. С. 420*).

Редакторы стремились ежегодно, по возможности, открывать пьесами Островского январские номера «Отечественных записок», и драматург этот марафон выдержал, причём без потерь в качестве. Так, в журнале были напечатаны «На всякого мудреца довольно простоты» (1868), «Горячее сердце» (1869), «Бешеные деньги» (1870), «Лес» (1871), «Не всё коту масленица» (1871), «Не было ни гроша, да вдруг алтын» (1872), «Комик XVII столетия» (1873), «Поздняя любовь» (1874), «Трудовой хлеб» (1874), «Волки и овцы» (1875), «Богатые невесты» (1876), «Правда – хорошо, а счастье – лучше» (1877), «Последняя жертва» (1878), «Бесприданница» (1879), «Сердце не камень» (1880), «Невольницы» (1881), «Таланты и поклонники» (1882), «Красавец-мужчина» (1883), «Без вины виноватые» (1884)... Кроме того, Островский опубликовал здесь две пьесы, написанные в соавторстве, и перевод драмы современного итальянского драматурга Итало Франки. И только «Снегурочку» (1873) он перенёс в журнал «Вестник Европы», так как Некрасов, которому сказочная пьеса не понравилась, предложил за неё низкий гонорар.



Наблюдение А. М. Скабичевского.

Из родового архива Салтыковых: Материалы для биографии писателя  
*Публ. Н. С. Никитиной; предисл. и коммент. С. А. Макашина / Салтыков-Щедрин. 1826–1976: Статьи. Материалы. Библиография. Л., 1976. С. 251–342.*

К глубокому прискорбию, вероятно, уже в 1940-х годах, когда церковь, превращённая в зернохранилище, оказалась на время бесхозной, склеп был варварски вскрыт, а находящиеся в нём могилы Ольги Михайловны, Ильи Евграфовича, его дочери Елены Ильиничны, в замужестве Орловой, другие захоронения были варварски, в поисках барских драгоценностей, уничтожены.

Неизданные и несобранные письма Салтыкова (Публикация С. А. Макашина) // Литературное наследство. Т. 67. С. 531. Дата сожжённого письма сообщена В. П. Кранихфельдом. «Конец Иудушки» означает здесь главу «Выморочный».

Ныне литовский Вирбалис на границе с Калининградской областью России.

Большие воды (*фр.*).

*Боборыкин П. Д.* «Монрепо» (Дума о Салтыкове) // Новости и Биржевая газета. 1889. 7 (19) июня. № 154. Интересно, что в письме Салтыкова Некрасову из Парижа от 3(15) мая 1876 года есть такой пассаж: «Вчера я был утром у Флобера, с которым ещё прежде познакомился: вместе обедали в одном ресторане. Познакомился с Золя и с Гонкуром. Золя порядочный – только уж очень беден и забит. Прочие – хлыщи». Хотя впервые это письмо было опубликовано только в 1929 году, вероятно, его обсуждали в редакции «Отечественных записок», и определение «хлыщи» запомнилось Боборыкину, то есть перед нами, возможно, пример временной контаминации.

Русь. 1883. 17 января. № 2. С. 34–35.



*Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 27. Л., 1984.  
С. 65.

См.: *Скафтымов А. П.* Сибирская беллетристика Н. Г. Чернышевского.  
– В кн.: *Нравственные искания русских писателей*. М., 1972. С. 303–338.

Так называется параграф в обширной, но пустопорожней работе В. Я. Кирпотина «Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина» (М., 1957): «Часть вторая. Эстетические взгляды. – Раздел второй. Борьба за реализм. – 3. Опровержение романтизма» (С. 237–259).

Впрочем, как всегда у Салтыкова, имеющий, помимо философски-серьёзной наполненности содержания, и травестийные воплощения; например: «А между тем этим полезным “неизвестным людям”, не теряя золотого времени, скрутили назад руки» (14, 47); «Большинство из нас ещё помнит золотые времена, когда по всей Руси, из края в край, раздавалось: эй, Иван, платок носовой! эй, Прохор, трубку!» (14, 221).

Фёдоров Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988. С. 246.

Подобно его стилистической модели из той же книги «За рубежом»: Третья республика во Франции – это «республика без республиканцев».

*Польских И. А.* Литература 80-х – начала 90-х годов [XIX века]. – В кн.: История всемирной литературы: В 9 т. М., 1991. Т. 7. С. 152.

*Иванов-Разумник Р. В.* История русской общественной мысли. Ч. VI. От семидесятих годов к девяностым. Пг., 1918. С. 104, 105.



*Боханов А. Н.* Император Александр III. М., 2006. С. 286.

Ср.: *Соколова В. К.* Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. XIX – начало XX в. М., 1979. С. 47.

Дни рождения и кончины писателя, а также время пребывания за границей даны по старому и новому стилю, прочие – по старому стилю. При составлении использовались разыскания В. Е. Евгеньева-Максимова, Р. В. Иванова-Разумника, Н. В. Яковлева, С. А. Макашина, Н. С. Никитиной, Г. А. Шестопаловой, Е. Н. Строгановой, К. И. Тюнькина.